

ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ

РАССКАЗЫ
УЗБЕКСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Ташкент

Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма
1988

СОСТАВИТЕЛИ:

доктор филологических наук Н. В. Владимирова,
кандидат филологических наук И. У. Гафуров

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемый сборник рассказов узбекских писателей — своеобразная антология узбекского рассказа — в отличие от предыдущих подобных книг, изданных на русском языке, не только включает обширный список имен и произведений представителей «малого» жанра узбекской прозы, но и знакомит русского читателя с национальным своеобразием и самобытностью узбекского рассказа.

Освоение этого нового для узбекской литературы жанра потребовало от его создателей постижения новых форм и художественных поисков. И те новые качества, которые возникали в процессе развития жанра, были обусловлены конкретными особенностями литературного и исторического процесса. Линия развития рассказа не была совершенно обособленной от процесса становления большой национальной прозы, и все же рассказ имеет самостоятельную социально-художественную родословную.

В рассказах 20-х — начала 30-х годов, представленных именами Фитрата, Чулпана, Абдуллы Кадыри, Абдуллы Каххара, Гафура Гуляма, Айдын, Гайрати, Сабира Абдуллы и других писателей, совершенно очевидно пристрастие к сатирическим приемам отображения действительности. Это был период, когда рассказ, как новая форма,

избрал своей опорой сатиру.

Фитрат развенчивает религиозные представления о смысле человеческого бытия, беспощадно разоблачает лживость догм ислама и проповедей его служителей.

Чулпан пишет о страшной судьбе узбекской женщины. В его рассказах — жестокость реализма с романтической символикой, с патетикой стиля, свойственная и русской литературе 20-х годов. Сатирические произведения А. Кадыри, А. Каххара, Г. Гуляма тесно сопряжены с политическим просвещением масс, с задачами утверждения новой общественной морали. Обращаясь к фольклору, народным художественным формам осмысления жизненных явлений, писатели этого призыва развивали действительно-эффективную форму сатирического рассказа и боролись против негативных явлений действительности.

Новое видение проявлялось не только в изображении событий сегодняшнего дня, но и в переосмыслении прошлого. И особое значение имело освоение традиций, связанных с формами наиболее близкими этому жанру — с народными сказами, легендами, сатирой.

Писатели обращались к сокровищнице фольклора и тогда, когда создавали образы героические, воспевая нового человека, и тогда, когда придавали рассказу сатирическое направление. Например, в рассказе А. Кадыри «О чем говорит упрямец Ташпулат» изображен самобытный характер, близко стоящий к героям юмористических «плутовских» произведений. Сюжетный мотив, распространенный в фольклоре и письменных литературах многих народов — путешествие в рай — варьировался Фитратом, Гайрати, Сабиром Абдуллой и другими писателями. Художественное своеобразие этих рассказов в их эмоциональной непосредственности, динамичном диалогическом построении. Так, в рассказах новеллистов среднего поколения, представленных именами Саида Ахмада, Хамида Гуляма, Аскара Мухтара, Адыла Якубова, Пиримкула Кадырова, Ульмаса Умарбекова, Суннатуллы Анарбаева и многих других, старое, традиционное замечательно переплетается с новым — новыми взглядами, новым пониманием отношений между людьми. Творчество этих писателей формировалось в суровые военные годы, и их жизненные впечатления были связаны с реальными человеческими характерами, с драматическими коллизиями, и, быть может, поэтому их творческий рост был ощутимо динамичен и уплотнен во времени. И узбекской

малой прозе этого периода расширяются и углубляются познания об исторической истине, осмысляются исторические события и человеческие судьбы.

Послевоенное поколение писателей отличает внимание к нравственно-психологическим и бытовым проблемам, возникают новые темы, новый герой, новые социальные взаимоотношения. В поисках новой структуры и формы национального рассказа писатели идут в основном по пути раскрытия внутреннего мира героя. Рассказ все чаще обращается к сфере человеческих чувств, к социальной психологии, острым общественным конфликтам. Говоря о дистанции лег, мы имеем в виду тенденции литературы, традиции художественные и эстетические, сыгравшие роль в переориентации литературных тем и мотивов.

Воспитание социально здорового, нравственного в человеке неотделимо от анализа того, что разрушает личность. И здесь представляют интерес рассказы Шукура Халмирзаева, Уткура Хашимова, Тимура Пулатова и тех, которые пришли в новеллистику несколькими годами позже и сразу же заявили о себе устойчивыми нравственными оценками добра и зла, гуманизма и бездуховности.

Защищая и отстаивая свою позицию, рассказчики поднимают вопросы эстетические, социально-исторические, философские, прочно связанные со сложной и меняющейся действительностью и ее проблемами. Нравственный мир человека, его любовь к родной земле, его взаимоотношения с людьми, с природой живо интересуют писателей разных поколений, но особенно это присуще молодым.

Узбекский рассказ многолик, и в этом прелесть и обаяние жанра. «Тысяча и одна жизнь» книга, в которой отразились пути становления, итоги развития и самобытность узбекского советского рассказа.

Чулпан

ДЕВУШКА-«ПЕКАРЬ»

I

Все это уже случилось, и они оба молча лежали, вытянувшись на постели.

Дом, двор и вся улица были погружены в глубокую тишину. Потом она стала различать шорохи в соседнем доме, голоса, доносившиеся с улицы, смех ребятишек. В окна комнаты лился мутный свет, который освещал посеревшее лицо девушки.

Раздался голос суфи, призывавшего к утренней молитве. Ульмасбай вскочил.

Он поправил на себе одежду и подумал, что нужно разбудить девушку. Он подошел к ней.

Глаза ее были открыты, в них застыло горе. Она повернула бледное лицо к Ульмасбаю. Взгляд палача — мужчины и ее печальный, полный муки и ужаса взгляд встретились. Мужчина гордо, холодно, резко рассмеялся. Девушка с отвращением посмотрела на него, оба молчали. Ульмасбай неслышными шагами подошел к окну и распахнул его.

В комнате стало светло. Девушка быстро натянула на себя одеяло и села.

Ульмасбай было пошел к двери, но взгляды их вновь встретились. Он отвернулся, но снова повернул к ней голову и снова нагло заулыбался. Девушка посмотрела прямо ему в глаза и сказала слабым голосом:

— Что вы наделали?

Со злым и равнодушным смехом Ульмасбай ответил:

— Получил удовольствие. Не печалься...

Девушка отвернулась и сказала дрожащими губами:

— Будьте вы прокляты, господи!

Ульмасбай не обратил внимания на ее слова. Он снова рассмеялся и пошел к двери. Из глаз девушки лились слезы...

Ульмасбай, стоя у двери и не оборачиваясь, сказал:

— Вставайте, приведите себя в порядок. Скоро вернутся женщины. Я выйду за дверь.

Он вышел и затворил дверь.

Девушка плакала. Она поднялась и кое-как поправила одежду. Да она и не раздевалась. Она попала в лапы голодного волка, едва войдя во двор.

Девушка подобрала паранджу и чиммат и хотела выбежать из этой страшной комнаты. Дверь была не заперта. Она отворила ее. За дверью стоял Ульмасбай.

Даже огромное и вольное море томится в тисках берегов, находится в их власти. В нем кипит гнев, и оно с силой швыряет волны в каменную глыбу берега. Волны разбиваются о него и снова откатываются, и вновь, и вновь бьются о берег. И это бесконечная борьба.

Девушка будто море; равнодушный, безжалостный берег — Ульмасбай. И что значит маленькая пиалка, брошенная в стальную твердь берега и разлетевшаяся на мелкие осколки? Она даже не задела его. Поняв свое бессилие, волна впитала в себя весь свой гнев и ненависть.

Девушка накинула паранджу и бросилась к двери.

Но попавший в тюрьму разве может легко выбраться из нее? Попавший в лапы волка разве может уйти от него невредимым? И разве может вырваться тот, кто попал в логово льва? Если есть на свете дракон, разве он милосерден? Глубокие овраги, высокие горы разве созданы для того, чтобы вызволить попавшего в них человека? Разве сабля имеет жалость? Разве меч гладит голову, разве скорпион своим жалом, похожим на иглу, может что-нибудь зашить?

Нет!..

Девушка сделала всего два или три шага и... сзади схватили ее сильные руки. Беспощадные руки были так сильны, что она не успела вскрикнуть или позвать на помощь, даже пошевелиться. В той же комнате, на том же месте, тот же мужчина снова насилывал ее.

Женщины, уехавшие из дома на праздник дынь, не приехали; они оставили в доме мужчину. На сей раз девушка быстро поднялась, схватила паранджу и, словно ветер, вылетела из комнаты.

За спиной раздался громкий насмешливый голос Ульмасбая;

Эй, милочка, напрасно убегаешь. Женщины не вернутся сегодня.

Останься, будем пировать до рассвета...

Она добежала до калитки и снова услышала голос Ульмасбая :

Эй, девушка-пекарь, ты оставила полную плетенку лепешек!

Когда девушка добралась до дома, ее больная мать доживала последние минуты. Какая-то дальняя родственница вот уже три дня жила у них и присматривала за больной.

Больная сегодня не ела, оставила свою еду дочери. Девушка села рядом с постелью матери. На всем свете у нее не было никого, кроме этой умирающей женщины. «Господи, что же делать? Что делать?»

Когда суфи призывал к вечерней молитве, больная скончалась.

Теперь девушка потеряла все.

Мать умерла. Никто и не знал, что она умерла и ее похоронили. У старухи никого из родных не было. Мир велик. И людей в этом мире много... Но те, кто не узнал о смерти старой женщины, узнали о том, что девушка с кем-то «гуляла» — весь город узнал. Но ведь это неправда. Ее обманул Ульмасбай, он сказал, что в доме купят все ее лепешки, всю плетенку. Пять лет она пекла лепешки и на вырученные деньги покупали необходимые продукты. Так они кормились с матерью. Кому теперь докажешь правду? Ее знают лишь окна и двери в доме Ульмасбая. Но они не умеют говорить.

Прошло почти два года... Несчастливая девушка дважды выходила замуж. Вначале у нее была молодость, красота и немножко надежды. Теперь их нет. От мужа она ушла в старой одежде, в рваной парандже. А два месяца назад она сбросила паранджу, у нее осталась лишь рваная одежда, несчастное сердце, измученное тело и страшная намять.

III

Суд.

Показательный суд.

Широкий двор маленькой мечети полон народа. На деревьях дети.

— Ахмад, ты где?

— Эй, Юлчи, Юлчи, куда ты делся?

— Эргаш, поди сюда! Я здесь!

— Тухта, слезь, говорю, слезь, а то я тебя пну.

— Мясник Ульмасбай, сын Абдукадыра, обвиняется в том, что надругался над девушкой, приносившей в город из кишлака продавать молоко.

Суд продолжается...

Вопросы закончились...

Свидетели дали показания...
Обвинители высказались...
Защитники выговорились...
Кто-то приводил доказательства.
Кто-то что-то отрицал.

Обвиняемому дали слово. Он говорил. Он все отрицал. Он защищался...

Когда он кончил, к судьям подошла молодая женщина без паранджи, с папкой в руках. Она едва сдерживала дрожь.

Судьи, защитники, обвинители, свидетели, зрители — все смотрели на нее.

Она на минуту замерла:

— Дайте мне слово!

Народный обвинитель объяснил:

— Эта женщина — председатель женотдела! Так как речь идет о чести женщины, нужно дать ей слово!

— ...Слово! Слово!—закричали вокруг.

Женщина сделала несколько шагов вперед. Все молчали. Широкий двор мечети словно вымер.

Время шло. Женщина молчала. В воздухе застыла тревога.

Женщина дрожала, дрожала, как лист на дереве...

И вдруг громко начала говорить:

— Я пекла лепешки, продавала их и этим заработком содержала старую мать. Это было пять лет назад. Однажды... Однажды...

Она задохнулась и еще сильнее задрожала, потом раздался дикий, нечеловеческий крик, и она упала на землю.

Внизу, там, где сидел обвиняемый, словно эхо, тоже раздался крик. Это был крик ужаса, смертельного страха.

Суд был прерван...

И снова был суд...

Теперь девушка — море — говорила спокойно. Берег — Ульмас — стоял неподвижно.

Берег был сметен, сокрушен...

Гора была опрокинута...

Море собирало свои волны, оберегая, охраняя их от берегов, погружаясь в печальные думы.

Абдулла Кадыри

НА УЛАКЕ

*Этот рассказ был написан в 1915 году по
детским воспоминаниям.*

I

Вчера сам папа разрешил мне побывать на улаке, и сегодня я наскоро проглотил чай и побежал в конюшню. Мама и папа засмеялись: смотри, у тебя выросло шесть ног и семь рук.

Я схватил скребницу, расседлал своего конька с белой отметинкой на лбу и начал его чистить. Конь волновался, мотал головой, бил копытом землю, махал хвостом. Я мечтал: бог даст, на следующий год я буду участвовать в состязаниях и тогда все ахнут: «Вот так Тургуннаездник! Отличный джигит».

Я надел на коня изящное монгольское седло, купленное мне в подарок на праздник хаит. Начистил русскую уздечку, ту самую, что выпросил у дяди, потом стал поодаль и осмотрел коня — все было в порядке: сбруя на месте, седло, как влитое, подпруга прилажена вплотную, а уздечка, ах какая уздечка, просто царская. А вот нагрудника не было, и это меня немножко расстроило.

Я с минутку подумал и вспомнил, что на днях брат принес новый ремень. Я незаметно вынес его из дома и смастерил нагрудник. Мой конь горячился и рвался вперед. Я в последний раз осмотрел его и привязал к столбу.

Осталось одеться самому: чесучовый камзол, русские длинные штаны, лакированные сапожки, бархатная тубетейка. И можно садиться в седло.

У мамы есть странная привычка: как только сунешься за новой одежкой, она обязательно кричит: «Испачкаешься, в гости идти не в чем будет!» И пока не захнычешь, ничего не выйдет. И на сей раз я сначала похныкал, потом оделся и подвязался шелковым кушаком. Тихонько, чтобы не видела мама, зашел в комнату и сунул под камзол папину нагайку с серебряной ручкой.

Работник принес мясо. Я попросил его вывести коня на улицу, а мясо сам отнес маме и побежал. Мама закричала вслед: «Не испачкайся,

не гони лошадь, не лезь в толпу!»

Я вскочил на коня, подобрал полы халата и хлестнул плеткой. Конь помчался.

II

Как раз, когда я поил лошадь из глубокого арыка, подъехали всадники. Среди них были знакомые брата, и они поздоровались со мной. Один спросил, где брат, и я сказал, что брат еще утром отправился на улак.

— Наш Махкамбай страстный любитель улака,— сказал тот, который спросил о брате.

— А ты куда направляешься?

— На улак.

— Скажи на милость! Тоже, значит, наездник. Так и будем звать: Тургун-наездник!

Мне очень понравилось, что меня называли наездником, и я подумал: «Какие хорошие люди!»

Едем целым отрядом. Мой белолобый не отстает от других, а иногда и обгоняет. Слышу, кто-то говорит: «Хорош у тебя иноходец, парень».

Мужчины толкуют о чем-то своем, задают и мне вопросы. Я робею. И опять заходит разговор о брате:

— Много я видел наездников,— говорит один,— но такого страстного любителя улака, как Махкам, впервые встречаю.

— Так у него же деды и прадеды знаменитые наездники,— говорит сын Сабира-мельника и кивает на меня.— Смотрите, мальчишке двенадцать лет, а тоже собрался на улак.

От этих слов мне становится жарко и хочется смеяться, но я сдерживаюсь.

— Мой отец рассказывает удивительные вещи о дедушке Махкама.

— Знаменитый наездник был,— говорит парень с усами.— И побеждал зараза сто и даже двести наездников.

— Значит, был королем состязаний,— вставил сын Сабира-мельника.

— И ты бы стал королем, будь у тебя хорошая лошадь и сила в руках,— заметил другой.

Мне было приятно слушать, как хвалят моего деда.

В эту минуту мы слышали конский топот, я оглянулся и увидел верхового на буланой лошади. Он был обнажен до пояса и держал перед собою облезлого козла.

Он поравнялся с нами и поздоровался.

— На этой неделе поможете мне, а? — улыбаясь, сказал Туган-ака.

— Кому же помогать, как не вам,— ответил парень и добавил нетерпеливо:— Ну-ка, попроворней.

Он некоторое время ехал с нами, но потом, видно, ему надоело, он ударил лошадь плетью и полетел, как птица. «Мне нужно спешить»,— услышали мы его голос.

Теперь речь зашла о лошади только что умчавшегося человека.

— Хорош скакун,— сказал Туган-ака,— настоящий иноходец.

— Летит как ветер,— добавил парень с усами.

III

Брата мы встретили на маленьком базарчике Домбрабад. Он с друзьями заказывал чайханщику плов. Улицы поселка никто не поливает, поэтому очень пыльно.

Наконец мы добрались до места, где должно было происходить состязание. Огромная, просторная поляна. Народу собралось много. И участников, и зрителей. Под двумя густолиственными, раскидистыми карагачами кипят два огромных, как бочки, самовара. Немного поодаль выставлены мешки с огурцами и продавцы выкрикивают: «Хрустящие огурчики, сладкие огурчики!»

Брат спешил около чайханы. Было жарко, и я спрятался в тени карагача. Многие смотрели на меня и моего коня. Я смущался и тербил гриву моей лошадки. Всюду гул, шум, все с нетерпением ждут начала состязаний.

— Сегодня ничего интересного не будет,— слышу я чей-то голос.

— Не ври, именно сегодня и будет интересно,— перебивает другой,— приедут Салим и Мурад.

— Конечно, если Салим приедет,— вставляет кто-то.

— Да, лошадь у него казахская, не любит нагайки.

— Их было трое,— говорит какой-то старик,— а вот уже два года одного не видно, он-то был настоящий.

— Верно, верно, и я его уже давно не встречал. Коренастый такой парень?

— Да. И никто не знает, куда он делся.

И еще долго говорили об этом парне. Кто-то уверял, что он умер, кто-то кричал — жив!

— Да нет же, его покалечила лошадь.

— Начинают,— чей-то голос перекрыл шум, все сразу умолкли.

На поле выехали два наездника на танцующих конях. «Салим и Мурад»,— зашептали вокруг.

— Который Салим? Тот черный, рябой?

— Ох, наверно, Салим победит!

Один из наездников был на сером, другой — на пегом коне, оба огромного роста.

Публика заволновалась:

— Сейчас увидим настоящие скачки!

— Что будет сегодня!

— Смотрите, какой конь у Мурада, просто крылатый.

— О каком ты говоришь, о сером или пегом?

— Оба чистокровные, никто таких не догонит.

— Вот тот, с торчащими ушами, видно сразу, как ветер.

— Дело не в ушах, а в породе.

— Говорят, что черный конь победит.

— Покойный отец всегда, когда покупал коня, разглядывал копыта, все дело в копытах.

Вслушиваясь в этот гомон, я про себя думал: «А какие копыта у моего коня?»

Подъехали мои друзья — мальчишки с нашей улицы — Нурхон, Хайдар-шепелявый и Шакир-сопливый. У нас завязался свой разговор.

Нурхон рассказал, как он выпрашивал у отца коня, а Хайдар — о том, что в дороге его конь все время смотрел на кобылу Шакира и ржал.

Мы смеялись, Шакир клялся, что никогда больше не будет ездить на кобыле. Потом они увидели нагрудник и стали спрашивать, сколько такой стоит.

— А нагайка серебряная?

Я смотрел на свою лошадь, одежду и понимал, что выгляжу лучше их.

— Давайте поскачем,— предложил Хайдар-шепелявый.

Мы сели на коней, я ударил своего плеткой, и он вырвался вперед. Я доскакал до холма и стал ждать мальчиков. Они подъехали, и мы снова заговорили о лошадях. Нурхон объяснил, что его лошадь не может

быстро нестись, потому что брат напоил ее, разгоряченную, холодной водой.

Хайдар ругал своего соседа Эсана за то, что тот неожиданно бросил с крыши глиняный катыш прямо на его лошадь. С тех пор, сколько ни бей, она только пугается и ни с места.

О моем коне Хайдар сказал: «Твоего ни с каким сравнить нельзя».

— Ты счастливец,— добавил Нурхон,—но только смотри, не доверяй его никому, испортят коня.

Мы еще долго беседовали, а потом потихоньку поехали назад. Я опять оторвался от них и поскакал вперед. А когда приблизился к толпе, то вдруг подумал: пусть и меня заметят. И хлестнул коня плетью. Он полетел как ветер, и многие смотрели на меня и моего черного, с белой отметиной на лбу, конька, а я все думал: «Смотрите на меня, запоминайте»,— и все стегал коня.

IV

Среди зрителей началась суматоха. Вон собирают награду победителю. Вон Мурад уже встал. Салим надел колпак наездника. Мясник Рузи сейчас будет резать козла, уже нож точит. Вон и байские сынки поднялись. Кажется, Салим снимает халат! Ага, молодцы!

Мы с нетерпением ждали начала.

Наездники то снимали верхние халаты, то застегивали подпругу на коне.

Мой брат снял шелковую чалму и полосатый халат, отдал все это мне и тоже поскакал на главную дорожку. Уже почти все участники собрались, а козла все еще не приносили. Зрители теряли терпение: «За это время и верблюда можно было зарезать».

Через несколько минут откуда-то появился Ариф-саркар, за ним человек в колпаке первого наездника. Колпак был набекрень, и сам он сидел в седле скособочившись.

— Вон и козла приволокли.

— Кровь-то всю выпустили? — спросил кто-то.

— Будьте спокойны,— ответил Ариф-саркар и резким движением швырнул на землю тушу козла. Потом подъехал к зрителям и крикнул:

— Подайтесь назад! Детей уберите. С лошадьми шутки плохи.

Ариф-саркар погнал свою лошадь к месту, где лежал козел.

— Посмотрим, кто из вас самый ловкий... Посмотрим! Давай,

давай,— кричали зрители.

Состязание началось.

Один хватает тушу, другой вырывает у него, тянет к себе, налетает третий, четвертый, и вот уже тушу тянут восемь человек — каждый в свою сторону. Подскакивают еще и еще наездники. Каждый старается отобрать тушу у другого. Тянут за ноги, за хвост, за шею. Очень трудно выбраться из этой свалки. Вот один ухватил тушу, но не успел проскакать и десяти шагов, его настигают другие.

— Под колено ее, под колено клади! — кричат зрители.

— Отпусти уздечку, возьми плетку в зубы, не глазами по сторонам.

— Ага, схватил! Не отдавай!

— Поворачивай налево, налево!

— Держи, не отдавай!

— Вот окаянный, прозевал, а еще наездник!

— Чтoб твoя лoшaдь сдoхлa, этo жe нe лoшaдь, a ишaк.

Туша срывалась, и тогда кто-нибудь из зрителей мчался со всех ног, хватал и подавал ее другу, знакомому, брату, старался сделать это попроворнее, чтобы «чужие» не выхватили. Но его оттесняли, и он выскакивал, хромя и потирая руку. А потом подробно рассказывал соседям

о том, как его прижали.

Уже никого нельзя узнать в лицо. Пыль, гам, запах пота. Каждый старался схватить тушу, сунуть ее под колено, никто не обращал внимания на разбитую голову, битый глаз, вывихнутую руку. Лишь бы схватить козла и сунуть под колено. Это уже половина победы.

Но не каждому это удавалось. Уже многие хватали тушу, а не могли ускакать дальше — их настигали соперники.

Прошло уже много времени.

Вдруг наездники внезапно съехались в кружок, притихли. Мы все, конные и пешие, бросились туда, к ним. Я очутился сзади и никак не мог прорваться поближе.

Все встревоженно спрашивают друг у друга: «Что, что стряслось?»

Через несколько минут я услышал голос: «Осторожно, осторожно».

— Ну-ка, отойдите подальше.

Толпа качнулась назад.

— Что, кто?

— Да ничего. Эсанбая лошадь затоптала.

— Очень покалечила?

— Нет.

Люди переглядывались: несчастье, беда!

— Ну-ка, посторонись! — Несколько верховых выехали из толпы. Они везли пострадавшего. Его осторожно положили под дерево. Послали за арбой. Кто-то брызгал водой в лицо Эсанбая, но он не шевелился.

— Пять лошадей топтали беднягу.

— Не все ли равно — пять или десять. Ударили в живот или в шею.

— Если у него век долгий, выживет.

«Он мне на прошлый хаит дал полтинник,— подумал я.— Он добрый, пусть выживет, господи».

Эсанбая уложили в подъехавшую арбу. Брат и еще трое парней повезли его в город.

— Пусть приложат соленую вату!

— Нет, лучше положить нагретые отруби!

Они уехали, а улак продолжался. Я пробыл до самого конца. Больше ничего не случилось.

V

Домой я вернулся поздно и уснул как убитый. Утром мама разбудила меня: «Вставай, вот придет отец, он тебе задаст»,— и сдернула с меня одеяло.

— Папа разве не на базаре? — удивился я спросонья.

— Он на заупокойной молитве. Хоронит Эсанбая,— тихо ответила мама.

Я мгновенно проснулся.

1915

О ЧЕМ ГОВОРIT УПРЯМЕЦ ТАШПУЛАТ

(Веселый разговор)

Что-то в последние дни становлюсь я таким нечестивцем... И чего они хотят, эти неподпоясанные? Порази меня дух твоего святого, если я хоть что-нибудь понимаю... Слушай, Махкам-палван, был я вчера в махалле, подходит ко мне один: вас, говорит, комиссия вызывает. Пошел. Сует мне этот «комиссия» клочок бумаги — точь-в-точь в какой

насвай заворачивают. Вам пришло семь с полтиной «налоговой», говорит. У меня в глазах потемнело. Кто это сказал, спрашиваю. Власти, говорит. А кто такой «власти», говорю. Не выкобенивайся, говорит, плати семь с полтиной. Ох, говорю, напущу я проказу на твою щегольскую рожу! Не выпячивай кадык, говорю, чтоб тебе нос речным илом забило! Ну, говорит, палван, найдите какой-нибудь выход... Нет, говорю, получишь свои семь с полтиной на Страшном суде! И ушел.

Скажи, Махкам, этот «налоговой» на самом деле есть, или комиссия чаевые выколачивает? Ну, ладно, сам скажи — я что, деньги с веток стряхиваю, что ли? Какой дурак даст Ташпулату семь с полтиной, когда я на жалкие чаевые перебиваюсь? Да и то, если перепадут... Что ж мне, петуха своего единственного продать? Или перепелку? Сапоги мои, сам знаешь, уж пятнадцать дней в закладе, а чапан, ты сам видел, я вчера за три целковых продал. Бог свидетель, «головам» лопаются... Что они, повесят меня, эти евнухи, если я не заплачу? Да пусть меня бог накажет, если им хоть копейку дам.

Эй, ты, рыжий, дашь ты мне, наконец, чилим, сучий ты сын?..

Гляди, гляди. Махкам, чье же это райское создание идет?.. Оно что, вовсе без костей, что ли? Ишь. какое пухленькое... Эй, эй, есть и у нас пиалушка чая! Вот кобелиная подстилка, и не обернулась!.. Ноль внимания. Постой, постой, а не дитя ли это Салима-Колючки?.. Как яблочко налитое. Если б Хаджи-цирюльник увидел — сдох бы сразу. Веки припухлые, шейка тонкая... Эй, эй, отзовись!

* * *

Бог свидетель, и пусть он меня покарает, если я хоть малость понимаю, что это нынче творится! Ну, что это за новая школа? Кто ее выдумал? Вообще это что — школа? И учат там уму-разуму?.. Я как-то забежал туда — за петухом своим гнался. Полный двор молокососов, ни тебе «здрасте», ни тебе «до свиданья», перепуганные какие-то. Что это — правильно, да? Петух мимо пробежал, проворчал, так они сбились в кучу, прижались в уголке друг к дружке. Ух, вы говорю им. У, храбрецы говорю. Мне бы вашу храбрость. Эй, Махкам, думаешь, в этой новой школе вырастят хоть одного джигита?.. Да если из этих недоделанных маменькиных сынков не выйдет евнухов, привяжи меня рядом со своей собакой!

Ты слышал, что говорит этот сучий сын Хайдар?.. Ученики, что

учатся в этой школе, будут, говорит, летать на айраплане. Что это — айраплан, ты не знаешь?.. Ты видал, я запускал пестрого змея! Господи, прости, я же привязал к его хвосту четырех щенят! Скулят, сволочи... Да покарай меня дух предков, если я хоть в грош ставлю это барахло, хлам этот... Пстой, пстой, Махкам, ты, клятвопреступник, ты куда — в кабак? Дай мне в долг копеек пять-десять, а, сукин сын? И мне охота отведать святой водички... А то, ох, и надоело это фараоново зелье. Слушай! Посмотри мою перепелку, только вчера из клетки вытащил, глянь-ка... Попробуй ее кому-нибудь толкнуть, а? Это еще не битая, ей-богу!

Да, что же это делает твой Салим-Карлик, а? Я у него спрашиваю свой выигрыш — отворачивается. Он что, нищим меня сделать хочет? Ты скажи ему, пусть отдаст по-хорошему. Если озлюсь, я же с него шкуру спущу, как с поросенка! Бог свидетель, я нынче без гроша... Так его. прах твоего предка — безденежье замучило!..

* * *

Эх, сказал бы я тебе!.. Вот твои баи — все до одного у меня на ладони, эти твои Бувадахон-тура, Азимбай-угольщик, Саиб-Рохля, Азим-Проныра, Мирхалик-Кривой. Магшукур, Юсуфходжа, Шаалим-Хромец и этот, из молодых, Азиз-старьевщик. Я уж про тех молчу, что на ситцевом базаре — все они паршивцы, все свои делишки обдeldывают. Эти подлецы хоть одного бедняка на голове погладили? Или школу построили?.. Эх, вы, баи, всех бы вас... отряхнуть бы на вас подол!

Был я третьего дня в Коктеракe, так Азиз-старьевщик из цыганской махалли у самой дороги крытый навес поставил. Бог свидетель, я с четырех сторон заходил — любовался. Сам он развалился на пуховых подушках — точь-в-точь горшок с маслом тетки Шарван. Этот толстый байвачча своих гостей одной «белоголовкой» угощает! Да! Вот это мне нравится...

Это кто, кто там прошел, на голове шапка? Смотри-ка. Это что же, мусульманское дитя? Это у них власть, да?.. Господи, да все, что он сделал, я б засунул ему в штаны!.. Смотри, какой серьезный, гляди, серьезный какой! Держи-и негодника, держи-и вора, он чужую жердь заглотнул! Держи жулика-а!..

На днях один из таких бездельников напялил набекрень красную тубетейку — и идет, переступает... А вид такой гордый, словно он и с

губернатором с одной тарелки есть не станет. Идет, зажал нос платочком... Бог свидетель — была б на улице хоть пылинка. Ох, меня зло взяло! Постой-ка, Ташпулат, говорю я себе, испорти настроение этому господину, благое дело сделаешь! Подтянул штаны, да и выскочил на середину улицы. Сам знаешь мою привычку ногами притоптывать — ну, пыль поднялась до неба, ей-богу! Видел бы ты — иду я, выбрасываю ноги, а за мной прямо дым из трубы! Поди теперь, узнай того господинчика...

И вдруг улицу свист пронзил. Стоп, сказал я себе, это что, кто-то из негодников околел?.. А тут свист, а тут свист!.. А кроме меня, на улице другой милиции нету. И вдруг из тучи пыли выскакивает этот господин — как Гороглы-султан! Что это, говорю, у тебя настроение испортилось?.. Да кто это здесь напылил, говорит. А у самого морда, как у злой собаки. И вдруг я чувствую — мой гнев впереди меня на сорок шагов бежит. Распахнул я крылья, как орел, и двинулся на него.

— Кто напылил, да? Я напылил!

— Зачем ты это сделал?

— А тебе что?

— Идем в район!

— А я в районе никому не должен!

Смотрю, дело всерьез. Погоди, говорю, коли уж идти в район, так надо быть ему под стать!.. Снял я халат, бросил его наземь, тубетейку на лоб надвинул, протянул руку, ухватил этого господина за его портянку на шее, да ничего не вышло — только я собрался его проучить, как народ на улице собрался. Вызволили-таки его из моих когтей. Так его, дух твоего предка! Эй, ты, говорю, убирайся на свою Александрийскую, где нету пыли!.. А старый город — пристанище мусульманских детей... Вспомнил бы свою улицу Первых ласточек, куда вы пришли с одним мешочком джиды!.. И неужели правда, что эти отступники переехали в «городска» район?..

Ну, до свиданья, что ли, Махкам... займи-ка мне из твоих грошей копеек пятьдесят. Если я сегодня пил чай — можешь считать, твои честные деньги выброшены на ветер... Ну, ладно, приходи завтра в чайхану Наби-персиянина... «пожалиска»...

* * *

Салом-алейкум! Ты жив, братец? Ни в какой погреб не упал, сохрани

господь?.. Ох, и соскучился я, а ты обо мне и не вспоминаешь, каналья!

Сказать тебе но-божески, воротит меня от любого из этих твоих молодых грамотеев-афанди. Гляну на них — веру сменить хочется. Волосы отрасли, а ум проспорили. Не спорь, не спорь — аллах свидетель, я и вполтину не вру, не то пусть бог меня покарает.

Ты что, сам из этих афанди? Ну да, посмотри на свою шелковую рубашечку. Так и хочется высморкаться ей в кармашек. Не смейся, бог свидетель, смотрю я на тебя — и от веры отрекаюсь. Все вы у меня, людишки, на кончике ногтя!.. На такую рубашку небось госказна пять целковых подкинула?..

Не смейся, говорю тебе, не смейся. Кто тебя насмеяться то научил? Если, случаем, не спешишь к портному, послушай два словечка Ташпулата-богача. Слышь, прочти вот этот клочок бумаги, прочти! Хорошенько разбери, что здесь написано, и растолкуй мне насчет этого твоего «налогового». Мое-то положение ты знаешь. Если я со вчерашнего дня держал что-нибудь во рту. пусть меня накажет святой Джабраил. Позавчера лежал я в чайхане Наби, он-то мне и сказал — тебя, мол, комиссия зовет. Пошел я, ни бе ни ме, протягивают бумагу. Что, говорю, царю войны понадобились? Смеется. Ну, говорит, вам пять целковых пришло налоговой. Так я же, говорю, уже закрыл свою лавку в мануфактурном ряду! Не знаю, говорит, поди и сам объясни. Ей-богу, терпение мое лопнуло. Засунул я за пазуху эту бумагу и пошел к налоговому начальству. Смотрю, а там полно таких же божьих тварей, как я, с опущенными головами. Эй, говорю, который из вас здесь старшой? Послали меня к одному, что за столиком сидел, вытащил я из-за пазухи бумагу и протягиваю. «Пожалиска . говорю, разберись. Имя, говорит, Ташпулат. Имя отца? Эшмурат. И что же ты думаешь? Да, говорит, Ташпулат, сын Эшмурата, вы должны заплатить пять рублей. А если, говорю, мелких нет?.. Где, говорит, работаете? Шатаюсь. Безработный. Открывает свою пухлую тетрадь: «Ташпулат, сын Эшмурата, мельник». Тут и смех меня разобрал, и затрясло от злости. Эй, говорю, брат, на той мельнице, что вы видели, жернов давно сломался! Если я за весь год смолот там пять фунтов, пусть бог меня покарает! Мы, говорит, за ваш жернов не ручались. А твой дядя Ташпулат за пять целковых не ручался. Все, говорит, можете идти! И ты, братец, тоже можешь сидеть спокойно!.. Во рту у меня был насвай, хотел я ему в рожу плюну ть, да не поддался шайтану, вышел себе спокойненько, подбрасывая тубетейку.

Что, ты думаешь, он мне сделает? Протянет нитку через нос моей голодной собаки?..

А ты знаешь, кто этот подонок, главный «налоговой»? Есть же бай Ишанходжа-чурбак, так это его сын — этот негодяй главный «налоговой». Нигман-рябой его зовут. Ходил я, ходил иногда на эту мельницу, но зачем? Анашу курить! Наверно, тогда он меня и приметил. Решил: дядя Ташпулат — мельник. Рябая сволочь! Бог свидетель чтоб я теперь еще раз на эту мельницу пошел!.. Возьми-ка эту бумагу, скажи там, если спросят, скажи, мол, ввек он больше не будет курить на той мельнице анашу!

ОТ АВТОРА. Пришли ко мне друзья дяди Ташпулата, чтоб я им заявление написал. Написал я — и потерял покой: а ну как явится куча друзей Ташпулата из других мест, узнав обо мне как о писце заявлений?.. Вот я и счел за благо записать слова самого Ташпулата.

А рябой «налоговой» и вправду имеет привычку родственнику своему богатому писать всего девять рублей налога, а кому-нибудь другому, что даже и с приказчиком родственника не сравнится,— девяносто... Проклятый рябой!.. Хороший сынок, родственный, папочку, может быть, вообще от налога освободил. Это его сыновние чувства разбирают...

* * *

Бог свидетель, тянет меня богохульствовать. И у доброго дела донышко с дыркой. Вот скажи мне, что такое «бапиржа Гурды»?¹ Вот, например, если взвесить его на весах, сколько он пудов потянет? Бог свидетель, ходил я под дверью этого негодника два месяца, склонял голову, просил хлеба, работы, а в меня камни летели. Если ты в этом хоть малость сомневаешься, поклянись сорока четырьмя годами моей мусульманской веры! Мне не досталось даже трамвайной рельсы почистить. Пусть меня на том свете припечет, ежели вру! Тебе, племянник, враньем кажется, а перед богом — чистая истина!..

Вчера в доме Салима-недотепы устроили мы вроде хашара. Махаю я кетменем по колено в грязи, плаваю в глине, как утка в луже, смотрю — идет по дорожке один из этих новых молодчиков, в руках у него кожаный портфель, на ногах сапожки со скрипом... Эй, спокойно ли у

¹ Искаженное — «Биржа труда».

вас в стране, хозяин, спрашиваю. Ни тебе «здрате», ни тебе «бог в помощь». Подходит ко мне эдак чинно, поступью завязтого законника. «Кто хозяин этого дома?» У Салима-недотепы — душа в пятки. Дрожь разобрала, не ведает, что бормочет. «Вы откуда взяли людей?» Да по домам их собрал, говорит Салим. «Почему не с биржи?» Салим на меня посмотрел, и ребята с крыши поглядывают. А я говорю: «Это ж, братец, хашар, взаимопомощь». — «Что еще за взаимопомощь?» А это, говорю, если ты не будешь думать о чаевых, да скинешь свою рубашечку с оборками, да сапоги снимешь, да полезешь ко мне сюда — это и будет называться «взаимопомощь». Нечего, говорит, новые законы выдумывать! Ей-богу, мне захотелось веру сменить. Иди, иди, говорю, нет у тебя купчей на эту недвижимость. Еще ненароком грязь в морду попадет. И тут я давай размешивать глину ногами, кетменем размахивать, ну, он сразу в сторонку. А-а, говорю, закон знаешь, а заповедных слов не ведаешь, а хозяин? А ведь сказано: «Принял в хашаре участие — твой труд вознаградится; выпил да покался — грех тебе не зачтется»... А молодчик и этого не слушает: вытащил тетрабочку да переписал одного за другим нас всех — точь-в-точь список приглашенных на свадьбу! Вот после этого мы все и решили утром к этому самому «бапиржа Турды» отправиться. Вчерашние дела, братец!.. И вот иду нынче не торопясь, и, бог свидетель, печаль меня разбирает от того, что происходит в мире. Слушай, ежели у тебя в кармане копеек десять-пятнадцать, дай-ка их сюда, во имя праха твоих предков!..

* * *

Во имя господя! Пошел я по этому пути. Но ведь, когда ни глянь, альчик вечно вогнутой стороной вверх падает! Не везет мне в азартной игре, не везет, все вкривь да вкось, хоть вату подстели — все равно жестко. Вместо хлеба камень кусаю. Все лето работал и только воду пил, а заработал одну тыкву для чилима. Прошло светлое лето, ничего урвать не удалось, даже трех-четырёх фунтов анаши. Ох, братец, ладно, не в этом даже дело. Оставшиеся от старика один-два танапа земли — тоже на кон поставил! Триста шестьдесят три жилки затряслись во мне, когда я крикнул: «Пан или пропал!» И все уплыло... Стал живую мать оплакивать — кормить-то ее теперь нечем...

Н-да, повесть короткая. Чтоб урвать анаши да пропитанья дней на

пять-десять, пошел по дворам друзей, дехкан сарыкульских. Прихожу, а в Сарыкуле плач, стон! Что, говорю, волки, что ли, на ваши дома напали?.. Бог свидетель, два часа смотрел я на эту панику, собаки своих хозяев не узнают, а люди взвалили тыквы на плечи — думают, это головы. А из-за чего, спросил?.. Кто-то, по имени «горотьска комхоз», возвестил, печать приложив, чтобы все рабы божьи через семнадцать часов записались да съехали, а его «землемериска» уже и подсчитал, как, мол, землю использовать. А-а, кричат, вся сарыкульская земля в государство переходит!.. Ну вот, говорю, значит, это правда, что царским батракам землю дают, негодники. На сарыкульское собрание собрались все такие же, как я, полководцы. Говорят, кому что в голову взбредет. Если, мол, даже власти выстрелят в нас из тридцати-аршинных пушек, все равно мы из Сарыкуля «сапсим» не двинемся. Ух, шутят шалопаи с властями! Эй, народ, сказал я, нарушать закон — это вам не чилим выкурить. Хм, а что ж нам делать, кричит один. А что тебе делать, отдай землю, а сам волков лови! А есть среди вас пастухи — кабанов пасите!.. Чур-чур — гомонят, гомонят, а разговор не клеится. Зашел я к Назиму-зеленщику, урвал фунта два анаши — и оставил Сарыкуль на волю господню...

* * *

Иногда обижаешься на собственную мать, коли она тебя не понимает. Утром недовольство, вечером недовольство, господи боже мой! Одни упреки! Да, мать — это, конечно, мать, но что она говорит, братец Махкам! Уже четыре раза шел снег, а ты крышу не чистил, возьми лопату, полезай на крышу. Бог свидетель, это Ж пустой разговор, а пустых разговоров я терпеть не могу. Что значит — четыре раза шел снег? А, Махкам? Я что, дурень, что ли? Да пока он не выпадет раз десять, да не ляжет аршина на полтора — не возьму я в руки никакой лопаты, не полезу я на эту крышу. Делай дело по силам, верно, Махкам? И почему эти старухи вечно ворчат, гундят, вот капать будет, вот течь будет, вот крыша упадет... Ну, упадет, ну, новую наляпаем...

Выхожу на улицу — паника. Что случилось?.. Сегодня выборы. Восьмеро бедняков меня окружили. Что стряслось-то? Да выбираем тебя в начальство. Ох, ты, господи боже мой, «галавам» кружится. Как же? А где на выборах эти шевелящие усами элликбаши-зятя, Таджиходжаин, Беназар-ходжи — где они?.. Бог свидетель, мне эти

государственные дела не по нраву. Махаллинских домла-помла. Эрназар-ходжи, Пирназар-ходжи —э-э, мы их всех уважаем, позапирали в их домах, а сверху еще замки навесили. Если хоть один из вас вылезет из амбара-помбара и вмешается — не обижайтесь потом. А вспоминаю я николаевские выборы — белые шары, черные шары — и настроение у меня тут же портится...

Зачем, вы думаете, собирали деньги со всей махалли казий да Бадалмат-дума — собирали да в конверт клали?.. Подмажут кого надо — белый шар, не подмажут — черный шар. И это снова нужно нашим негодникам? Дать бы по носу этому казию-домле, да и думе заодно. Поднять бы руку да и сесть за столик — вот только боюсь Абдуджаббара-кары, строгий он, скажи, Махкам!

Тебе брехней кажется, братец, а богу — правдой, Абдуджаббар-кары как-то призвал меня на строгий допрос, все равно как мункар и накир в могиле; думаешь, уже богу душу отдал, а у тебя насвай во рту.

«Кто ты?»

«Ташпулат».

«Чем занимаешься?»

«Грузы таскаю».

«Хул еган ты!»²

«Иногда и жидкое, иногда сухое — в общем, что попадается, то и ем».

«Ах ты... а в игры азартные играешь?»

«Конечно, играю — если есть что на кон поставить...»

Бог свидетель, понимал бы я хоть что-нибудь в этой нынешней суете. Зачем ему знать, ем ли я жидкое? Хул еган — ну, и что ему в этом? Если лезет в горло — сухое ем, не лезет — жидкое. Так-то, Махкам...

² Буквально: «Ел ли ты жидкое?»—так понимает Ташпулат слово «хулиган»

Абдулла Каххар

ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ

Последние дни марта. Облака, плывущие по бездонно-голубому небу, затеяли неистовую игру с солнцем. Однако солнце, омытое ключьями облаков, выныривая будто из купели, все ярче, все горячее глядело на восходы, на все живое, еще дремавшее и не ведавшее о наступлении весны.

Миррахимов, человек щедушный, попал в больницу совсем недавно. Завернувшись в огромный, не по росту, неуклюжий мохнатый халат, сидел он у окна и смотрел на улицу, словно мыш, которая гласит на мир, высунув мордочку из огромной рукавицы. Вдруг он заволновался: что за чудесная погода, прямо благодать, а он, со здоровыми руками-ногами, должен сидеть взаперти и любоваться на мир из окна!..

Миррахимов хотя и был щедушен, но обладал густым и могучим басом, – не умел говорить тихо. Прибывшая сестра стала участливо расспрашивать его о здоровье, о настроении. Она стала увещивать его, мол, только терпение поможет больному излечиться от недуга, намекнув при этом на Мاستуру Алиеву, с которой всем больным стоит брать пример терпения и выдержки.

Оказалось, что Мастура Алиева, доставленная в больницу в тяжелом состоянии, вот уже восемь месяцев не выходит из палаты; все обитатели больницы уже знают о ней, и многие побывали у нее. Чувство гуманности вдруг обуяло и Миррахимова.

– Давайте навестим эту бедную женщину! Кто знает, сколько ей осталось жить на этом свете... Говорят, она совсем плоха...

– Да, ей-то очень тяжело – сказала сестра и вздохнула. – Легко ли переносить страдания целых десять лет!

Дядюшка Ходжи, лежавший на своей кровати у самого входа в палату и читавший какую-то книгу, вдруг с легкостью, не подобающей его больному и грузному телу, приподнялся и сдернул с глаз очки.

– Неужели десять лет? И десять лет болеет?

– Да, вот уже десять лет. Не прошло, говорят, и года после замужества, как она захворала, бедняжка. Не может есть: пища через горло не проходит. Пищу ей вводят прямо в желудок... Сделали ей там такое отверстие, понимаете... Иногда сама себя питает, иногда муж.

– Муж! Да неужели у нее есть муж?

– Есть. Здесь он. Пять месяцев от нее не отходит!

Дядюшка Ходжи умолк. Наконец он произнес:

– Мало того, что целых десять лет ходил за больной женой, а теперь вот и в больницу пришел...

– И не говорите... – сказала сестра. – Он упросил врачей, и ему позволили поставить в палате кровать для него.

Дядюшке Ходжи не терпелось посмотреть – и не столько на больную, которая так упорно и терпеливо борется с тяжким недугом, сколько на беззаветно преданного ей мужа. Он встал, решительно запахнул халат, повязался кушаком и сунул ноги в тапочки.

– А ну, пошли! Видно, святые это люди, надо навестить.

Сестра побежала предупредить Мاستуру и ее мужа о предстоящем визите.

Спустя минуту мы уже шли по длинному коридору, ища десятую палату; впереди шествовал, выпятив огромный свисающий живот, дядюшка Ходжи. У входа в палату нас вежливо и почтительно встретил молодой человек с большими, искрящимися глазами, смуглый, как индус. Выразив каждому из нас свою признательность, он пригласил нас в палату. Мы вошли. В эту минуту солнце нырнуло под облака, и в палате потемнело, как в сумерки. С кровати, что стояла слева от громадного окна, вдруг послышался слабый, нет, скорее мягкий голос:

– Добро пожаловать!.. Спасибо, что пришли! Только человек придает силы человеку... большое вам спасибо!.. Акрамджан, пригласите присесть.

Солнце снова выглянуло, и мы увидели Мастуру... Перед нами лежал не человек, нет, не больной человек, а мертвец, настоящий мертвец с пожелтевшей, как пергамент, кожей, – кожа до кости. И только глаза, большие глаза смотрели на нас... Представьте себе человека, сидевшего перед гробом и вдруг увидевшего, что у покойника задергалась нога или рука, – как бы почувствовал себя этот человек? Точно так же чувствовали себя и мы, глядя на ее глаза, сверкавшие на мертвенно-бледном лице.

Молодой человек, приветливо встретивший нас, видимо, муж Мастуры, принес нам стулья. Присели только Миррахимов и я. Дядюшка Ходжи остался стоять, грузным своим телом загородив от нас Мастуру. Я придвинул ему стул и хотел было дернуть его за полу халата, как вдруг заметил, что у дядюшки Ходжи колыхнется живот... Я

удивился: чему бы ему так смеяться? И взглянул ему в лицо... Он стоял белый как полотно! Заметив, что дядюшку Ходжи обуял страх, сестра забеспокоилась и с тревогой сказала ему:

– Ах, дядюшка Ходжи, я и забыла дать вам лекарства! Идемте, идемте! – И она поспешно увела его из палаты.

Я забеспокоился, как бы дядюшка Ходжи, выйдя в коридор, не потерял сознание, не грохнулся на пол. Но, слава богу, обошлось.

Хотя сестра и увела дядюшку Ходжи под благовидным предлогом, но было уже поздно: Мастура все увидела. Некрасиво получилось, нехорошо. Я и Миррахимов сидели, не зная, что сказать, куда девать глаза. Я все же отважился незаметно взглянуть на больную. А Мастура, улыбаясь бескровными губами, повернулась к мужу.

– Запишите-ка, Акрамджан, в свой дневник: пришли меня навестить трое храбрецов, и один со страху удрал, а двое остались, не в силах бежать.

И она засмеялась, засмеялась сухо, отрывисто, словно ребенок.

От ее шутки, особенно от ее смеха, по спине у меня забегали мурашки, но потом мне вдруг показалось, что с лица Мастуры сошла мертвенная бледность, будто живительная свежесть, переполняющая ее глаза, передалась щекам. Миррахимов что-то забормотал было, извиняясь за дядюшку Ходжи, но Мастура оборвала:

– Не беспокойтесь, такие вещи на меня не действуют, – сказала она. – Акрамджан, расскажите-ка им историю с гробом... нет, я сама им расскажу! Так вот было это лет пять с лишним назад. Как сейчас все помню... Выпал густой снег. Лежу я вот так же, как теперь, напротив окна, Акрамджан сидел и, кажется, штопал себе носки... Вдруг вижу – распахнулась наша калитка и показывается что-то красное! Смотрю, удивляюсь: гроб! Двое друзей Акрамджана тащат к нам во двор гроб! Сердце во мне так и екнуло... Ах, беда какая, думаю, неужели я уже умерла?.. Не успела я прийти в себя и сказать что-то Акрамджану, как те двое прислонили гроб к стене и вошли в комнату. Увидели они меня живую, ихватила их кондрашка, совсем как давеча вашего дядюшку Ходжи. Акрамджан тоже сидит себе и ничего не понимает... В то время мне и в самом деле было очень плохо, того гляди, ноги протяну. И вот увидел кто-то в автобусе плачущего мальчишку, подумал, что это мой братишка плачет, и пошли-поплыли слухи о моей смерти... Ну, а гроб потом сожгли в печке... Вот я и говорю, все эти страхи на меня совсем не действуют. Они действуют на людей, которые ожидают смерти, да

ведь я-то не ждала и ждать не собираюсь! Если уж на то пошло, я не верю даже, что человек может ожидать своей смерти, то есть готов совсем отказаться от своих надежд. Даже совсем больной человек, который вот-вот умрет, у которого и язык уже не повинуется, и смотрит он, как будто прощается со своими близкими... А я и это не считаю признаком смерти: нет, он не прощается, а смотрит на своих близких с надеждой, ожидает, что они скажут ему: рано, рано ты собрался сводить счеты с жизнью... ты не умрешь. Эту вот надежду я и считаю самой сильной, самой важной для человека в жизни...

Акрамджан очень радовался тому, что Мастура оживилась, беседуя с нами, но он тревожился и беспокоился за жену, как бы эта беседа не утомила ее, и всячески старался заставить говорить нас, говорил сам, чтобы дать больной передышку.

– А вы чем больны? – спросил он Миррахимова.

Тот назвал сразу три болезни.

– Ах, боже ты мой!.. – воскликнула Мастура. – В таком маленьком теле? Да как же уместились целых три болезни?

Раздался хохот. Особенно весело и заразительно смеялся сам Миррахимов, Акрамджан, с нетерпением ожидавший окончания разговора о болезнях, тот час подхватил шутку, брошенную Мастурой, и оказалось, что он на редкость остроумный человек; мы на время вовсе забыли о всяких недугах, шутили и смеялись напропалую. И когда наша непринужденная беседа неожиданно оборвалась – из-за могучего баса Миррахимова, – мы были огорчены. Врач, проходя по коридору, видимо, услышал неподобающий месту смех Миррахимова и, приоткрыв дверь, заглянул в палату. Он пристально поглядел на Мастуру и, заметив, что она утомлена, выставил нас за дверь. Акрамджан тоже вышел. Он долго и взволнованно выражал нам свою благодарность, уверяя, что любезность, которую проявили мы, навестив больную, придаст ей много сил и бодрости. Благодарность была во всем его существе, особенно в его больших, чуть увлажненных глазах. Мы не сомневались, что он готов расстаться даже с глазом, если б знал, что это доставит жене хотя бы минутную радость.

Мы вернулись к себе в палату. Дядюшка Ходжи лежал на своей кровати и, отдуваясь, прихлебывал сладкий чай. Никто не заговорил о неприятном случае: ни он, ни мы. Да и сами мы, Миррахимов и я, ни слова не вымолвили до самого вечера: мы были погружены в мысли о Мастуре и не находили, что сказать, как выразить свои впечатления,

свои чувства.

Наступила ночь. Больные улеглись. Дядюшка Ходжи уже спал и похрапывал. Миррахимов то и дело ворочался с боку на бок и, заметив, что я тоже не сплю, приподнял голову:

– У этой женщины не одна душа – тысяча и одна, поверьте! – сказал он. – Душа в ней едва теплится, как огонек угасающей свечи. А если и угаснет, то не раньше, чем зажжет другую из оставшейся тысячи! Вот эта надежда и не подпускает к ней смерть!

После долгого молчания он снова заговорил:

– А муж ее, муж-то? Я вам скажу, что и ему дана тысяча и одна молодая жизнь, но он все отдает своей Мастуре...

Мало ли, много ли прошло дней, но вот мы расстались. Миррахимов уехал к себе домой, а дядюшка Ходжи укатил на курорт.

Спустя много времени судьба снова забросила меня в эти края. Я не мог, проезжая мимо больницы, не заглянуть в нее. Расспросив сестру, я узнал, что через час Мастуру кладут на операцию. Пять месяцев отговаривали ее врачи, уверяя, что с операционного стола она уже не встанет, но ничего не помогло: Мастура решилась, дала расписку, в которой соглашалась на рискованную операцию.

Я хотел зайти в палату и поведать ее; я подумал, что мое посещение и дружеское слово придадут ей хоть немного силы и бодрости, но врачи не допустили меня к ней.

Когда наступило назначенное время, Мастура вышла из палаты, поддерживаемая с двух сторон сестрой и Акрамджаном. Однако, выйдя из палаты, она отстранила их и пошла твердым шагом, сама добралась до операционной, сама открыла дверь и скрылась за нею. Все внимание Акрамджана было сосредоточено на жене, и он не замечал меня. А Мастура хотя и увидела меня, но прошла молча: небось не узнала.

Я не стал дожидаться конца операции; мне было известно, что врачи не очень-то охотно шли на нее; мне было понятно и состояние больной; я подумал, что женщина, бесстрашно смотрящая в глаза смерти, похожа на человека, вдруг оказавшегося в тьме кромешной и запевшего, чтобы заглушить свой страх. Вечером я решил позвонить в больницу, и, честное слово, рука моя отчаянно дрожала. Но, слава богу, операция прошла удачно. Так мне по крайней мере сообщили.

Я уехал и долго ничего не знал о судьбе Мастуры. Я часто вспоминал ее и желал выздоровления и многих лет жизни этой женщине, у которой оказалось столько сил и терпения, чья душа была

прочнее железа. И когда спустя три года, я встретил Акрамджана с какой-то незнакомой женщиной, я готов был горько, по-ребячьи расплакаться.

Нигде праздники не проходит так весело, интересно и красочно, как в Голодной степи, ибо люди, съехавшиеся сюда со всех областей республики, завезли с собою свои песни и танцы. На этом празднике мне довелось побывать в Гулистанском районе, среди своих хороших друзей. Акрамджана с незнакомой мне женщиной я повстречал именно здесь, в Гулистане. У обочины дороги сидела верхом на лошади и что-то ела смуглая женщина среднего роста, стройная, – сама молодость. Акрамджан был занят тем, что затягивал подпругу своего коня. Увидев меня, он что-то тихо сказал женщине. Она ловко спешила, и оба торопливо направились к нам. И женщина, и Акрамджан поздоровались со мной, как со старым другом. Но сколько я ни силился, сколько ни пытался отогнать далекое виденье, мне это не удалось: так и стояла у меня перед глазами та больная, что медленно вышла из палаты и потом исчезла в дверях операционной. И не смог я приветствовать их так же горячо, искренно, как они меня. С Акрамджаном я еще кое-как обнялся, а женщине нехотя протянул руку.

– Вы меня не узнаете? – спросила молодая женщина и, легко нагнувшись, сорвала листок подорожника, росшего на бровке арыка.

– Простите, не могу припомнить... – пробормотал я.

Женщина откусила листок подорожника и, пожеывая, спросила:

– Ну, а теперь? И теперь не хотите узнавать?

Узнал! Узнал ее по глазам! Женщина, чьи глаза щедро дарили радостную улыбку миру, была Мастура!

Я растерялся и спросил, сознавая, что говорю явную глупость:

– Что же вы делаете в этих краях?

Она засмеялась.

– Да вот работаю, теперь у меня силы хоть отбавляй.

Мы беседовали долго. Муж и жена провожали меня довольно далеко, ведя своих лошадей за поводья. Потом мы простились, супруги вскочили на лошадей и ускакали. Я смотрел им вслед, и они казались мне орлами, парящими над раздольной степью. Когда они почти слились с горизонтом, один из всадников вдруг резко повернул обратно и поскакал к нам. То была Мастура. Подъехав на несколько шагов, она крикнула:

– Прошу вас, передайте от меня поклон дядюшке Ходжи! – и

ускакала к Акрамджану, дожидавшемуся ее где-то на горизонте.

Вернувшись в город, я стал разыскивать дядюшку Ходжи, чтобы исполнить желание Мастуры. Но, увы, я узнал печальное известие: дядюшка Ходжи, оказывается, умер.

1956

СТРАХ

Ничего-то вы, доченьки мои,
не знаете о былой женской доле,
а рассказать вам — и не поверите!..

Матушка Турахон³

Вот уже две недели бушевал колючий ветер поздней осени, завывая в голых ветвях деревьев, свистя под карнизами домов, стучась в плотно закрытые двери и окна... В такие вечера люди становятся молчаливыми и тихими, как овечки, сбиваются в группки и сидят тихо, чего-то ожидая.

Все семь жен Алимбека Додхо собрались вокруг сандала в комнате самой старшей из них, Нодирмохбегим. Додхо после молитвы вернулся почему-то не в духе. Все жены при виде его вскочили. Одна сняла с его головы чалму, другая почтительно протянула руку к его чекменю, третья приготовилась стягивать с ног ичиги... Самая младшая, Унсиной из Ганджиравона, всего пять месяцев назад ставшая жилицей пышных хором Додхо, поднесла ему кальян. Только раз, но зато долго и протяжно, потянул Додхо из кальяна и, даже не пожелав позабавиться проказами своей любимицы — обезьяны, прошел в передний угол, приоткрыл окно и одним глазом взглянул во двор. Ветер бесновался: то завывал шакалом, то протяжно мяукал, как кошка. На дворе была непроницаемая темень.

Плотно прикрыв окно, Додхо уселся на свое обычное место и начал перебирать четки. Пальцы его быстро и ловко пересчитывали

³ М а т у ш к а Т у р а х о н , или, как ее зовут в народе, Турахон-оё,— одна из самых светлых личностей в истории современного Узбекистана. Первой из узбечек она вступила в Коммунистическую партию и сбросила паранджу и чачван. Вела активную борьбу за раскрепощение женщин. Встречалась с В. И. Лениным.

отполированные камешки, он прислушивался к вою ветра и думал: «Как, должно быть, страшно теперь на кладбище!»

Кладбища и так неприглядны, а еще столько страшных небылиц, жутких историй рассказывают в народе про них. У любого, кто вспоминает в такие неуютные вечера про кладбища, особенно у таких, как Додхо, давно пережившего возраст пророка и хранившего в сундуке для себя саван, — даже на кончике языка выступает холодный пот при одной мысли... Нет, даже не о смерти, а о том, что ему предстоит переселиться туда!

Чтобы отогнать эти мрачные мысли, Додхо отложил четки и заговорил о том о сем, но женщины его не поддержали, и слова повисли в воздухе.

Вдруг порыв ветра сильно ударил в окно. Что-то, царапая стекло и цепляясь за раму, медленно поползло вниз. И все, кто сидел в комнате, не смея вздохнуть, испуганно посмотрели друг на друга. Чтобы успокоить жен, а еще больше себя, Додхо поднялся и снова приоткрыл половинку окна. От ветра, ворвавшегося в комнату, закачалась висючая лампа. Додхо высунул голову, посмотрел вниз и обрадованно проговорил:

— Циновка это! Оказывается, циновка!

Сорвавшаяся циновка почему-то напомнила ему носилки с мертвецом, которые он видел вчера, а вспомнив их на плечах людей, снова представил себе кладбище, и в его памяти ожили все страшные рассказы о склепах и мертвецах, запомнившиеся ему еще с детства. Чтобы преодолеть страх, Додхо заговорил именно о них и, скорее перед собой, чем перед женами, стал расхваливать свою неустрашимость и храбрость.

Старшая из жен, Нодирмохбегим, тоже рассказала одну историю:

— Девчонкой я еще была. Собрались как-то у нас друзья отца, полная комната гостей. Был вечер, такой же вот ветреный. Кто-то из гостей спросил: «Кто из вас может отправиться сейчас на кладбище и вонзить нож в могилу Аскара-палвана?» Один из гостей достает нож из ножен и говорит: «Я могу!» Поспорив на одного барана, смельчак отправился. Ждут друзья, ждут, а его все нет. Утро настало. Пришли к нему домой, и там его нет. Приходят на кладбище, а он лежит мертвый, возле самой могилы Аскара-палвана. Оказывается, он, бедняга, вонзил нож в могилу и нечаянно прихватил и подол своего халата.

Женщины поежились. После долгой паузы Унсиной прошептала:

— Глупый он был, этот человек. Из-за одного барана... Было бы за что погибать... я бы пошла...

Слова ее, услышанные Додхо, задели его самолюбие. Как эта девчонка смеет говорить: «Было бы за что... я бы пошла...», когда у него, Додхо, начинают трястись колени при одном упоминании о кладбище, когда он не смог бы пойти даже в том случае, если бы ему посулили ханский престол.

И Додхо, раздраженный, начал насмехаться над ней:

— Вот так дочь мельника, а? Какова? Целого барана ни во что не ставит, видали? А сколько баранов ты бы хотела? Ей-ей, я тебе дам десять баранов. Пойдешь ты вонзать нож в могилу? Сто баранов, половину своего богатства — отдам, пойдешь?

Медленно перебирая пальцами монисто, Унсиной ответила:

— Не надо мне никакого богатства...

Эти слова Унсиной еще сильнее задели Додхо:

— А что же тебе надо?

Унсиной промолчала. Однако нельзя, невозможно было оставлять вопрос Додхо без ответа, поэтому другие жены, боясь быть избитыми за проступок Унсиной, начали дергать, шпынять и толкать ее со всех сторон:

— Отвечай же, чего молчишь?

— Язык, что ли, у тебя отнялся?!

Унсиной подняла голову, поглядела на Додхо, не отрывавшего от нее глаз, и ответила:

— Если позволите... Я вернусь в Ганджиравон... Я бы не только в одну могилу, в десять могил всадила бы десять ножей!

Все жены Додхо хорошо поняли замысел самой младшей из них, один только Додхо понял ее по-своему.

— Опять в Ганджиравон! И месяца еще нет, как ты возвратилась оттуда!

Нодирмохбегим, вытянув под сандалом руку, ущипнула Унсиной за ногу и сделала ей знак глазами: «Слава богу, он не понял! Ну и довольно об этом, помолчи!» Но Унсиной, как человек, отчаявшийся вконец, смело и безбоязненно глядя на Додхо, проговорила:

— Нет, я хочу сказать — насовсем... Если бы вы разрешили, я бы совсем уехала...

Женщины низко опустили головы, согнулись, словно тяжелая ноша легла на них, хотя дерзкие слова были произнесены одной лишь

Унсиной. Но, к удивлению и вопреки ожиданию всех, Додхо не схватился за камчу, не крикнул в гневе: «А ну, покажи, где у тебя зачесалось?!» Напротив, он заговорил спокойно и даже мягко, хотя в голосе его звучал едва скрытый сарказм:

— Вот как? Ну что ж, пусть будет по-твоему.— И, немного подумав, не скрывая раздражения, он продолжал: — Но на кладбище пойдешь не с ножом, а с кумганом, и у самой гробницы святого Онхазрета вскипятишь чай, заваришь его в чайнике и доставишь сюда. Ладно?

— Ладно, ладно!—ответила Унсиной, глядя на него вдруг загоревшимися глазами.— Но... Лишь бы вы не отреклись от своих слов...

От гнева Додхо чуть не задохнулся: то, что какая-то жалкая нищенка так рвется из его почти царского дома, показалось ему невероятным оскорблением. Теперь ни у кого из его жен, даже у Нодирмохбегим, которая сидела сама не своя от терзавшего ее страха, так как была уверена, что Унсиной не вернется живой с кладбища, и у той не осталось смелости, чтобы вымолвить прощение для молодой женщины.

Длинная, седая борода Додхо затряслась, задрожал и голос:

— Хорошо, я сдержу слово! Чтобы ты успокоилась, сейчас говорю — ты мне чужая! А когда вернешься с кладбища, станешь трижды чужой⁴. Бери же кумган — и отправляйся!

Тут же, закрыв рукавом лицо от Додхо, Унсиной выбежала из комнаты. Нодирмохбегим поняла, ничего она не в силах сделать для спасения женщины, но хотела выбежать вслед за ней, чтобы приободрить, утешить, однако не смогла этого сделать: одним лишь сумрачным взглядом Додхо приковал ее к месту. Остальные жены одна за другой тихо, на цыпочках, покинули комнату.

Унсиной накинула на себя паранджу, надела чиммат, набрала в кумган воды и, насыпав в чайник щепотку чая, пустилась в путь. Тускло и сумрачно светила луна. Край неба походил на грудку грязно-желтых тряпок. В грязновато-тусклом свете мрачно выступали из темноты дома и сгибающиеся на ветру тополя. Порывы бесновавшегося ветра каждый раз сбивали Унсиной с дороги. Она свернула паранджу и

⁴ По шариату, мужу достаточно сказать: «Ты мне чужая!» — как женщина теряет права жены. Но она может стать женой — при повторном бракосочетании. Если же муж трижды сказал: «Ты мне чужая!» — то разрыв окончательный.

чиммат, сунула их под мышку, и ей стало немного легче идти.

Все, что слышал Додхо про кладбища, слышала и Унсиной. Если в такую злую ночь кладбище наводило на Додхо невыразимый страх, то и на Унсиной оно наводило не меньший ужас. И все же кладбище мертвых казалось ей менее страшным, чем кладбище живых, где она жила. К тому же ни о чем другом она не думала, не мечтала, как о том, что вот завтра возвратится в свой родной Ганд- жиравон, свидится с отцом, матерью, подружками.

Она чувствовала себя сейчас совсем маленькой — девчонкой, получившей от отца праздничные деньги и отправившейся на базар за покупками, и шла быстро, почти бежала навстречу ветру. Только изредка, когда порывы ветра бывали сокрушительны, она шагала, полуобернувшись к нему. Но вот она свернула в переулок, ведущий к самому кладбищу. Сердце у нее екнуло, когда под мерно раскачивающейся старой, почерневшей от времени чинарой она увидела смутно белеющие гробницы. Перейдя мостик, над арыком и сделав несколько шагов, она остановилась. Страх сковал ее, мысли о возвращении в Ганджиравон, о свидании с родными и подружками исчезли, ей вдруг показалось, что вокруг могил и гробниц бродят призраки, закутанные в белые саваны. Ей даже показалось, что волосы у нее на голове поднялись дыбом и приподняли платок. Она невольно отступила назад, но потом, словно пытаясь убедить кого-то в своей смелости, дважды прокричала в темноту: «Мертвые — мертвы! Мертвые — мертвы!» — и ринулась вперед. Остановилась она лишь у громадного корявого ствола чинары, под которым возвышалась гробница Онхазрета.

Кумган и чайник Унсиной опустила на землю, паранджу и чиммат кинула в сторону и потом радостно подумала: «Вот и ушло большее, осталось меньшее». Но радость ее была преждевременной: все она захватила из дома, не было только самого необходимого — дров! Забыла! Мысль

о том, что надо собирать дрова на кладбище, снова заставила ее похолодеть от страха — ей показалось, что из каждой гробницы поднимается рука мертвеца, из каждой могилы раздается зов. Она снова начала выкрикивать: «Мертвые — мертвы!» — и эти возгласы несколько успокоили ее, придали ей силы. Она бродила в темноте меж могилами и гробницами, водя руками по земле, обшаривая камни, куски глины, подбирая все, что попадалось, и опускала в подол платья

сухие былинки, шуршащий камыш, верблюжьёю колючку, которой так богаты кладбища. Не ощущая боли в окровавленных руках, Унсиной наконец развела костер. В один миг вспыхнул яркий огонь, затрещала колючка, пышно пламеняя в красноватом отсвете пламени, сквозь ключья колыхающегося на ветру ды ма из темноты выступали бугры могил. Чудилось, что они вдруг ожили, пришли в движение, словно их обитатели пытаются пробить головами крыши своих темниц.

Унсиной снова и снова уходила на поиски дров, и каждый раз, когда сухая трава с треском разгоралась, молодая женщина страшилась, что этот шум и треск огня разбудит дремлющие призраки.

Вода в кумгане закипела. Унсиной торопливо заварила чай, затоптала огонь, чтобы не занялась сухая трава на кладбище, и пустилась в обратный путь, держа в одной руке чайник с горячим чаем, в другой кумган,— шла ощупью, ослепленные ярким огнем костра глаза ее долго не могли привыкнуть к темноте. Вдруг под ней провалилась земля, и левая нога ушла куда-то вниз. Она почувствовала, как кончики пальцев ноги коснулись чего-то мягкого. Не переставая повторять заклинание: «Мертвые — мертвы!» — она гнала от себя страх, но стоило подумать, что, может быть, наступила на мертвеца, по телу ее пробежала дрожь. Унсиной рванулась, вытянула ногу из ямы, оставив в ней кавуш. Доставать его оттуда у нее уже не было сил, так и пошла она: в кавуше одна нога, в мягком ичиге — другая. Пройдя несколько шагов, она вдруг вспомнила, что паранджу и чиммат оставила возле гробницы, и остановилась. Вернуться за ними Унсиной была не в состоянии, сейчас она боялась не только возвратиться туда, но и обернуться назад: ей чудилось, будто мертвецы смотрят ей вслед, высунув головы из своих могил и гробниц. Так она и стояла, не зная, что делать дальше, как вдруг не то из гробницы, не то откуда-то сверху раздался странный голос, и через секунду на плечи ей взобралось какое-то чудовище. Чудовище протянуло к ее горлу длинные, обросшие шерстью лапы. Унсиной закачалась, как бы от сильного удара в грудь, и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, как чудовище, оставив ее, медленно заковыляло прочь и исчезло за гробницей. Унсиной поняла — это обезьяна. Обезьяна Додхо! Разумеется, не сам Додхо привел ее сюда, он прислал ее с кем-то из своих людей. Бог мой, есть ли еще кто на свете, кто мог бы сравниться с Додхо в бессердечии и жестокости!

Унсиной теперь несколько успокоилась: каким бы безжалостным и жестоким ни был этот человек, все же он находился где-то поблизости.

Покинув кладбище, она выбралась на большую дорогу. Пройдя полпути, Унсиной почувствовала боль в левой руке, а боль эта напомнила про кумган. Где же кумган? Ведь она несла его в левой руке! Остановившись на миг, она прижала обеими руками к груди горячий чайник и ускорила шаги. Но, как это часто бывает во сне, ей думалось, что она топчется на месте и чайник становится все тяжелее и тяжелее.

Унсиной едва добралась до массивной двери комнаты Нодирмохбегим и с трудом открыла ее, переступив порог и сделав несколько шагов, она в изнеможении опустила на колени и поставила чайник на сандал, из носика чайника еще вилась тонкая струйка пара. И потом, словно достигнув исполнения самого заветного желания в жизни, упала и потеряла сознание.

Дремавший у сандала Додхо вздрогнул, открыл глаза и задвигал губами. Подняв голову, увидел Унсиной, и ему показалось, будто она умирает. Не отрывая от нее вытаращенных глаз, он медленно и осторожно поднялся и, словно убегая от смертельной опасности, одним прыжком перемахнул через сандал и выбежал вон.

Придя в сознание, Унсиной увидела, что лежит возле сандала, а Нодирмохбегим плачет. Правый глаз у нее распух, под ним расплылся синяк, а белый кисейный платок закапан кровью, Унсиной хотела было спросить, не отказался ли Додхо от своего обещания, но вместо этого тихо, почти шепотом, спросила:

— Что это с вами?

А произошло вот что. После ухода Унсиной на кладбище Нодирмохбегим обратилась к Додхо с мольбой сжалиться над юной Унсиной, вернуть ее домой. В ответ она получила страшный удар в лицо. Но Нодирмохбегим не стала рассказывать об этом, она только еще горше заплакала, поглаживая Унсиной по голове, прижимаясь щекой к ее щеке. Потом послала человека на кладбище за горстью земли и, когда принесли горсть земли, размешала ее в пиале с водой и протянула Унсиной:

— Испей, сердечко мое, испей. Ты испугалась... Тому, кто пережил страх на кладбище, нет лучшего лекарства, как испить воды с горстью кладбищенской земли.

Унсиной выпила мутную воду и почувствовала себя немного лучше.

— Господь бог отблагодарит вас за меня... Могу ли я теперь уехать в Ганджиравон?

— Можешь, можешь,— ответила Нодирмохбегим.— Вот придешь

немного в себя — и отправишься.

В просветлевших глазах Унсиной заблестели слезы.

— Да я ничего, я здорова... До полудня совсем встану на ноги, а там можно и в путь... Только пошлите в Ганджиравон человека, отца и матушку порадовать...

Не страшась побоев Додхо, Нодирмохбегим тут же снарядила человека в Ганджиравон.

Но Унсиной не дотянула до полудня, скончалась...

В вечерних сумерках тело Унсиной завернули в одеяло и положили на арбу. По-прежнему ревел и бесновался ветер, воя и свистя в голых ветвях деревьев.

Из ворот вышла Нодирмохбегим в парандже, с небольшим белым узелком в руках. Она присела на корточки лицом к воротам, прошептала что-то, молитвенно воздев руки, потом, согнув их в кулаки, трижды ударила о землю, словно пытаясь вогнать в нее тьму, и самого Додхо, и его богатое обиталище. Затем поднялась резким движением: «Ноги моей больше не будет здесь!» — повернулась, вскарабкалась на арбу и села в изголовье покойной.

Арба тронулась, а когда она выбралась за городские стены, навстречу попался слуга, ходивший в Ганджиравон, чтоб обрадовать родителей Унсиной...

1961

Гафур Гулям

УЛОВКИ ШАРИАТА

На крыше коровника пристроились две горлинки. В свете солнечных лучей они казались ослепительно белыми, а большие темные глаза коровы, лениво жевавшей, приобрели какой-то светло-коричневый оттенок. Корова то и дело облизывала длинным языком сухие ноздри и отмахивалась от мух хвостом с кисточкой на конце: на каждый шорох она отвечала мычаньем — протяжно, но отнюдь не мелодично.

Горлинки с остервенением выдергивали друг у друга перья.

На открытой террасе сидит сам мулла Дилькаш и чинит потник. Тут же, на пышной подушке, прикорнула женщина лет сорока пяти, а женщина помоложе и покрасивее подкрашивает усмой брови перед небольшим ручным зеркальцем. Это — жены муллы Дилькаша.

Мулла Дилькаш в сердцах воткнул шило в потник и повернулся к старшей:

— Вот эта корова и та умнее тебя, хоть жвачку жует, а ты!.. Тебе разжуешь, так ты глотаешь, будто одолжение делаешь!

Женщина привстала:

— Эта корова лучше меня? Если так, то вот эта глупая горлинка в тысячу раз умнее вашей любимицы! Горлинка хоть в зобу еду бережет, а эта — позавтракает и ждет обеда. Чтоб ей пусто было!

— Не гневи бога, неблагодарная! Из-за твоей дурацкой болтовни я на базар не поспею. Если бы ты вовремя заштопала потник и чалму выстирала, я бы давно уже уехал, но ты одно только знаешь — язык чесать.

— Значит, она настоящая жена, а я дура? Ну так пусть она и стирает вам чалму, а заодно и саван! Весь день от зеркала не оторвешь.

Младшая швырнула зеркало на пол. Одна бровь так и осталась ненакрашенной.

— Накажи аллах моего отца! завопила она.— Отдал меня на растерзание! Ни одного светлого дня! Не жизнь, а мука!

Мулла Дилькаш — человек с характером. Он немало побродил по свету, много повидал, встречался с разными людьми, был мастер вести долгие и приятные беседы. Когда мулла Дилькаш привел в дом вторую жену, он понял, что в жизни еще не все радости исчерпаны.

— Человеку с достатком каждую бы неделю жениться,— часто любил повторять он. И стал всерьез подумывать о третьей жене. Но... мнение людей!.. Избавиться бы от старшей!

«Думаешь ли ты жениться, мулла Дилькаш? — размышлял он. И сам себе отвечал: — Клянусь духом святого Баховиддина, женюсь! Так что толку от этого шума? Найди себе мудрого советчика и начинай потихоньку действовать».

Мулла Дилькаш бросил потник на середину двора, натянул халат и, схватив чалму, выскочил из дома. У кого же попросить совета?

Колебался он недолго и остановил свой выбор на знаменитом мулле Абульбаки Маргилони, который ухитрился в свое время четырежды жениться и четырежды благополучно расстаться со всеми своими женами. Зато в последнее время мулла жил отшельником в одинокой келье кесаккурганского медресе.

На счастье муллы Дилькаша, святой оказался в келье.

Поговорили о том о сем. Не спеша. Наговорились досыта. Абульбаки — все больше о жизни. Мулла Дилькаш — о разных торговых сделках. Затем Дилькаш попросил совета, и мудрец не заставил себя долго ждать. Помолчав минуту-другую, он милостиво изрек:

— Сын мой, разрешение ваших сомнений можно найти в шариате. Внимайте мне. Постарайтесь как-нибудь ночью ненароком коснуться губами груди вашей старшей жены.

— Грудь?

— Не торопитесь, сын мой. Вы притворитесь спящим и совершите это во сне.

— А дальше?

— Вы только выразите по этому поводу беспокойство, а наутро привед те жену ко мне.

Мулла Дилькаш в нетерпении дожидался ночи. И хотя очередь была провести ночь в покоях младшей, он остался у старшей. Было уже за полночь. Жена уснула. Мулла Дилькаш как бы во сне нечаянно коснулся губами груди жены. Женщина проснулась и возмущенно вскрикнула:

— Чтоб у тебя борода по волоску высыпалась! Ты что, с ума сошел?

Мулла Дилькаш не отзывался. Жена замахнулась и крепко шлепнула по голой спине Дилькаша.

— Чего дерешься?

— Да тебя убить мало!

- Младшая так не делает.
- Лучше бы ты окошел.
- Ты чего ругаешься?
- А ты чего сосешь меня как дойную корову?..
- Когда?
- Сейчас!
- Врешь!
- Клянусь детьми.

Мулла Дилькаш вскочил с молитвой:

- Слушай, жена, а как это дело толкует шариат?
- Откуда мне знать?
- Надо завтра же сходить к мулле.

Наутро муж и жена входили в келью муллы Абульбаки Маргилони. Низко поклонившись святому, мулла Дилькаш робко произнес:

- Господин, мы совершили тяжкий грех.
- Говорите, сын мой.
- Вот она, эта женщина — моя жена, а я сегодня ночью, со сна, как сосунок...

- Как сосунок?
- Да, господин.
- Так ли, сестра моя?
- Да, господин.

Мулла Абульбаки почесал бороду.

— Совершилось невероятное. Отныне вы не муж и жена, а мать и сын.

— Мать и сын?! — воскликнул встревоженным голосом мулла Дилькаш.

Да, уважаемый мулла, вы ей сын, а вот она — ваша мать, родная мать, вскормившая вас грудью.

Мулла Дилькаш растерянно посмотрел на жену, жена на муллу Дилькаша.

- А нет ли другого толкования, господин?
- Так велит мусульманское благочестие.
- Лучше бы мне умереть! — воскликнула жена.
- Тише, не кричи, люди услышат.

Заплатив мулле за услуги, новоиспеченные мать и сын покинули келью. Поравнявшись с воротами медресе, мулла Дилькаш почтительно обратился к жене:

— Мама, теперь вам придется женить меня. Трудно вед человеку, привыкшему иметь двух жен, обходиться одной!

— Издох бы ты маленьким. Нашел себе маму, проклятый! Зовп меня хотя бы сестрой...

1930

ВОРИШКА

Мама у нас умерла весной семнадцатого года. Отца мы к тому времени уже давно лишились, и никого, кроме старенькой бабушки, Ракия-биби, у нас теперь не оставалось. Отчетливо помню, как по вечерам она укладывала нас на айване на рваный рябой палас — единственный представитель рода ковровых, что уцелел в доме — а сама ложилась с краю, точно оберегая бедное свое гнездо с птенцами. Это была усохшая, пригнувшаяся к земле старушка, ростом немного выше нас; ей перевалило за восемьдесят, но она неустанно хлопотала и сохраняла единственную слабость: привычку к насваю.

Однажды осенью, когда мы уже спали на айване, тесно прижавшись друг к другу — ночи заметно похолодали — что-то меня разбудило. В квадрате черного низкого неба меж стенами и крышей висели надо мной Семь разбойников, и оттуда же — так мне показалось в первый миг — доносился угрожающий бас. Наверное, он и разбудил меня; в следующее мгновенье я понял, что бас доносится с крыши, а ему отвечает ласковый голос бабушки. Было, пожалуй, время третьих петухов.

— Ну и что, воришка? Дальше-то что? — говорила бабушка.

Воришка! Надо же!.. Я затаил дыханье и оглядел двор.

Он был просторный и совершенно пустой. К айвану примыкала стена дядиного дома. Самого дяди дома не было — он ночевал с семьей за городом. Полагалось бы испугаться, но бабушкин голос был привычно ласков, как воркованье старенькой голубки, и страха я не испытал — один жгучий интерес. Еще бы! Ночью нас вор навестил! Тот завтра пойдет разговоров по махалле! А я-то — как разукрашу все своим дружкам! Лишь бы поверили... Но вор — вот ведь недотепа! Нашел куда забраться... Да у нас в доме, с лопатой ищи — ничего не найдешь...

Вор попал к нам случайно. Перебираясь с крыши на крышу, он

угодил на дядину, и, пока раздумывал, как быть дальше, в носу у него отчаянно засвербило — от пыли или от ветерка; он чихнул во всю силу своих легких, а бабушка, которая лежала без сна с насваем под языком и все думала свою горькую думу, выплонула на- свай, глянула наверх и увидела на крыше мужской силуэт.

— Воришка? — спросила она.

— Э-хмм...

Бабушка привстала, опершись на локоть.

— Послушай-ка меня, сынок,— сказала она.— Я тебя учить не хочу, у тебя свои дела, у меня свои, каждый добывает хлеб по-своему. Но работа у тебя тонкая, пока насморк, отдохнул бы, отлежался, подумал бы о себе, а то ведь пропадешь ни за что...

— Заглохни, старая,— сказал вор зловещим басом. Помолчал в темноте, словно обдумывая, потом добавил помягче: — А и верно, старушка... ночное чиханье — не в пример громче...— Снова помолчал — и опять, ворчливо: — А ты, старая, ежели все разумеешь, и помолчать бы могла, не заметить. Ночь, дрыхнуть надо!

— Ну, и не заметила бы,— сказала бабушка,— а тебе что толку? Взять у нас так и так нечего...

Вор только засопел.

— О-ох, воришка, сыночек мой,— горестно заворковала Ракня-биби.— Спать-то надо, да я не могу. На душе кручина, вот и кручусь, днем по двору, ночью на постели. Все думаю, все думаю...

— О чем думаешь-то? — сказал вор, и бас у него еще помягчел, словно в него добавили маслица. Я услышал, как он стал снимать чапан.

— Как о чем? — бабушка даже удивилась.— Сам, что ли, не поймешь?— вот об них, об четырех сиротках... Во- он лежат... Время, сам знаешь, какое, а сироты — разве сладят они с таким миром? И пожалеть-то — кому? Дядя-арбакеш, так он, бедолага, со своей семьей мыкается. Едим, только б ноги не протянуть. Во всем доме продать нечего — ни одно-ой вещицы...

— Ни одной...— повторил вор неопределенно, и непонятно было, то ли он подтверждает, то ли высказывает сомнение.

— А они, несмышлениши,— продолжала бабушка,— когда еще вырастут? Когда хлеб добывать начнут? Я-то — доживу ли? Дотяну? Из четырех — один мальчик, и ему-то тринадцати нет. А девочек — три, мал мала меньше... А и вырастут — кто на них позарится? Кто за них денежки выложит — на тряпье, да на сватовство, да на угощение?.. Как

тут не думать! Ох, горюшко мое, беда, сыночек, беда, воришка...

Судя по звукам, доносившимся с крыши, полночный гость расстилал чапан. Потом он сочувственно спросил:

— Четверо, говоришь? Да-а... И у меня на шее — не меньше: двое ребятишек, да жена, да мать-старуха. Вроде тебя... Курице — и той сколько зерна надо, а четыре рта чем наполнить? Четыре лепешки заработать — и то душу на кон поставишь. Иди, кланяйся, хоть с метлой, хоть стрелой, хоть тешой, хоть душой...

Человек на крыше, побряхтев, улегся и продолжал:

— А по правде тебе сказать, бувиджан, аллах меня ни силой, ни умом не обидел. Думаешь, я по своей воле по ночам гуляю?.. Я, если хочешь знать, и семьянин настоящий... и ремесленник, дай бог каждому! Кавуши шил — всем на зависть! Ан нет! Не прокормишься ремеслом! Все перевернулось!.. Сел на трон Керенский — думали, войне конец, а вышло наоборот. Еще пуще воюют! И все ремесла прахом пошли. Для кавушей, к примеру, кожа нужна, клей, гвозди, лак. Так сырье — дорояге готового! Я — работай, я и приплати?..

— Неужто, сынок, так тебе и скитаться по крышам?

— А чем заняться-то? — Вор, похоже, снова приподнялся и сел.— Ну, хотел я тащишкой на базаре заделаться. Так простой народ нынче оптом-то ничего не закупает, помалу берут да сами и тащат! А у богачей — колеса. Они богатеют, богачи-то, а мы нищаем! Так-то вот, бабушка... Недавно Бува-ата, лучший мастер в махалле, весь свой набор сапожный — все колодки, да молотки, да иглы, да гвоздочки — все на пуд кукурузной муки сменял!.. И правильно сделал. Дехканам нынче не до обуви... И все ремесленники разорились, не одни мы: и ткачи, и медники, и кожевенники... Даже домла в мактабе — и тот с голоду землю лижет! Это учитель-то! А тут — и ложки постного масла не наберешь...

— Да пропади они пропадом с этой проклятой войной! — сказала бабушка.— Воистину это светопреставление и есть, а, сынок, а, воришка?.. И что только будет с моими сиротами?.. Да и ты?.. С горя грех на душу берешь... Только не туда ты ходишь, сынок, ей-богу. Лазил бы к кому побогаче. Тут вот рядом, в махалле, и Каримкоры живет, торговец ситцем, и подрядчик Адылходжабай, и Матъякуббай, промышленник... Вот у кого добра не счесть. Младенцы — и те на золоте едят! Продырявил бы у них крышу — хоть разжился бы!..

— Эх, старая,— сказал вор, вздохнув, и тут его голос показался мне очень знакомым,— рассуждаешь глупей своих несмышленишей. Да

разве к богачам заберешься!.. И стены толстенные, и крыши железные, и псы злющие, каждый с теленка. Раздерут на части, после не соберешь... Ха! Адылходжабай, говоришь? Да у него двор еще и городской с винтовкой стережет... Не-ет, хоть тяжка забота, а в Сибирь неохота...

— Ты прав, сынок, прав. А все же и тут поосторожней будь, а то справят тебе волчью свадьбу...

Вор, должно быть, снова лег — или уселся, подложив под себя ноги.

— И ты, права, буви,— сказал он и после паузы продолжил доверительно: — Вот я тебе расскажу. Недавно я из сарая Арифавонючки четырех кур с петухом спер...

— Да ну! — бабушка оживилась.— Ну, молодец! Ведь они, проклятушие, могли тебя хуже любого чиха выдать! Раскудахтались бы!..

— А я пузырек с водой прихватил... Подкрался, набрал в рот воды — да как брызну на них!.. Глупей курицы-то никого нет. Подумали, дождик, головы под крыло, а я их по одной — ив мешок!..

— Ай, сынок! — восхитилась бабушка.— Как ты догадался!..

— Слушай дальше, дальше слушай... Я-то упер, да Ариф-вонючка, видно, пронюхал. Взял я петуха — и отнес элликбаши Рахманходже. Ариф-вонючка к нему — и видит своего петуха!.. Ну, и умылся. Задом, задом — и домой.

— А что этот Рахманходжа?..

— Неплохой человек. С ним, мать, можно договориться... В прошлом году меня в мардикеры записали, отправить хотели куда-то. Я — туда-сюда, туда-сюда — набрал полсотни рублей. Прихожу к нему: «Вот, мол, элликбаши-ата, все, что имею...» Помог — оставили меня. Приличный человек!..

— Ну, дай бог счастья ему и деткам!.. А теперь слушай меня, воришка, слушай, сыночек, скоро и светать начнет. Вон уж светлая звезда вышла!.. Ты по тутовнику- то скользни вниз, там рядом пень ореховый. Дам тебе топор, отколешь пару щепок, кумган поставим. Сын-то нам вчера две кукурузные лепешки оставил — попьем чай все вместе...

Вор помолчал.

— Нет уж, старая,— сказал он вдруг прежним басом.— Пень вам расколю, а чай сами пейте. Ни к чему мне свое лицо показывать...

— Вай, сынок! И мы тоже люди. Неужто так и уйдешь от нас с

пустыми руками?..

Вор буркнул что-то неразборчивое.

— Погоди,— продолжала бабушка,— что ж тебе взять?.. А-а, слушай, там в мехмонхоне казан лежит полупудовый. Было время, три семьи из этого казана ели!.. Бедно жили, а дружно. Теперь вот осталась одна я с сиротками. Когда-то им этот казан сгодится!.. Так возьми, сынок, казан! Продашь, поживешь с семьей день-другой...

Вор помолчал секунду.

— Нет,— сказал он вдруг чуть сдавленным голосом,— не возьму, мать, не такой уж я...— он снова замолк, как бы стараясь с собой справиться, и когда заговорил снова, то, видно, старался, чтобы вышло подбробнее: — Что это ты, мать, так отчаиваешься. Днем-то твои сироты небось веселятся, бегают. Краешек лепешки-то уж для них найдется. А там — вырастут. Обязательно вырастут, мать, увидишь! И казан пригодится, может, еще мал будет!.. Дай бог нам дожить до их тоев! Прощай, бувиджан, заря уже...

— Ну, прощай, воришка, не забывай нас...

* * *

Неделю спустя я услышал на улице знакомый голос. Потом я не раз встречал этого человека, но ночной истории не рассказал никому. Только порой, когда проснешься ночью, снова слышится мне этот разговор, пока я лежу, прикрыв глаза.

1933

Айдын

САПОЖНИК ОТКОЧЕВАЛ

Осень в тот год выдалась ранняя, и неожиданные заморозки принесли много хлопот всем владельцам загородных садов и виноградников. Если бы, например, в саду Исмата-ходжи виноград, оставленный на выдержку до глубокой осени, не прикрыли вовремя матами из соломы, то сушильщикам изюма, пожалуй, совсем нечего было бы делать.

Семью свою Исमत-ходжи давно перевез в город, но сам бывал в саду каждый день. Приедет с утра, прикажет постлать в беседке ковер, одеяла и сидит до вечера — под локтем подушка, рядом чилим — в четыре глаза смотрит за работниками. Чуть что, обругает и пригрозит: «Эй, смотри, из заработка вычет сделаю!»

В те дни не только три работника Исмата-ходжи, но и конюх, и даже две служанки ичкари не знали ни сна, ни отдыха. Днем они переносили из сада тяжелые корзины яблок, груш, ночами давили виноград для бекмеса и затем все это добро перевозили арбами в город.

Исमत-ходжи, конечно, радовался такому обильному урожаю, работники же проклинали и хозяина, и сад: яблокам и грушам, казалось, не будет конца, а кроме них, еще совсем нетронутые, стояли десять ореховых деревьев!

Но вот однажды вечером, отправляясь в город, Исमत-ходжи приказал Эрмату, старшему рабочему:

— Завтра начинайте трясти орехи. Да не тяните. За день надо управиться, чтоб потерь не было!

Эрмат пробормотал что-то неразборчивое. Бай рассердился:

— Что ты там бормочешь?

— Я — ничего. Одним, говорю, пожалуй, не управиться, — ответил Эрмат, отпуская повод хозяйского скакуна.

Исमत-ходжи нахмурился.

— Собери ребят из квартала. Подыщи таких, чтоб сунуть им по паре орехов — и вся плата! — приказал он и хлестнул плетью коня.

На рассвете следующего дня в широкие ворота байской усадьбы въехала высокая кокандская арба. Когда арба миновала длинную тополевую аллею и остановилась, с нее сошел десяток бедно одетых мальчишек, не выспавшихся и продрогших на холодном осеннем утреннике.

Ребят даже не напоили чаем, а сразу повели на площадку, где росли орехи.

Четыре работника залезли на огромные деревья, каждое больше чем в обхват толщиной, и принялись трясти широко раскинутые ветки и сбивать орехи длинными палками.

Ребята сначала было оживились, собирали с большой охотой, но скоро на площадке послышались жалобы:

— Руки отмерзли!

— Есть хочется!

— Ой, в голову орехом попало!

В это время, накинув на голову старый камзол, подошла тетушка Хайри, одна из работниц Исмата-ходжи. Она разожгла рядом с площадкой огонь, поставила кипятить воду в черном закопченном кумгане, затем принялась помогать мальчикам.

Ребята, увидев, что дело идет к завтраку, повеселели. Один из них догадался тихонько раскусить орех и съесть. Другие тотчас последовали его примеру.

Тетушка Хайри сделала вид, что ничего не замечает, но, оглянувшись, шепотом окликнула ребят и кивнула в сторону кургана: оттуда, ведя за руку девятилетнего сына Ульмас бая, шел сам Исма-т-ходжи.

Собрав скорлупу от съеденных орехов, ребята побросали ее в огонь и принялись за дело с особым рвением.

— Вот и Ульмас-бай наш явился на хашар,— сказал Исма-т-ходжи, подходя к площадке.— Ну-ка, покажите свое проворство, ребята! Кто больше соберет, тот и орехов получит больше.

Мальчики молча продолжали заниматься своим делом, лишь изредка украдкой поглядывая на хозяйского сына.

Ульмас-бай был одет в теплый халат, крытый зеленым плюшем, в красные бархатные штаны. На голове у него была теплая шапка с лисьей оторочкой, на ногах лаковые ичиги с капишами. Он не отходил от отца и хмуро поглядывал на мальчиков.

— Что ж ты, сынок? Иди, собирай орехи.

Исма-т-ходжи легонько подтолкнул сына, но тот ухватился за отцовскую руку и не двинулся с места.

Откинув полы суконного чекменя, бай присел на тополе-вый пень, торчавший рядом с площадкой, и стал наблюдать за ребятами.

Среди мальчиков особенно бедно одетым выглядел сын латальщика обуви Эргаша. На нем был рваный красного ситца

халатишко, из дыр которого выглядывали клочки ваты, на ногах — старые капиши, оскалившиеся деревянными шпильками, на голове — старенькая потертая тюбетейка. Собирая орехи, мальчик часто дул на озябшие руки и поглядывал в сторону тетушки Хайри, занявшейся кумганом.

Исмату-ходжи это не понравилось. Он сердито прикрикнул на мальчика:

— Эй, ублюдок! Ты чего поглядываешь на кумган? Собирай быстрее!

— Кто, дада? На кого вы?— встрепенулся Ульмас-бай.

— А вон, сын латальщика. проклятье его отцу.

— Дада, я видел, как он положил орех к себе в карман!

— Откуда ты взял?— обиженно отозвался сын латальщика.— Я все кладу в мешок. Не ври!

Исмат-ходжи даже привстал с места.

— Что?! Как ты смеешь так разговаривать! Иди, сынок, обыщи его хорошенько!

Потряхивая парой амулетов, пришитых к плюшевому халату, Ульмас-бай подошел к сыну латальщика и, часто шмыгая носом, принялся обшаривать его карманы.

Мальчики перестали собирать орехи и с беспокойством ожидали чем все это кончится. Каждый думал: «Попался бедняга! Изобьет его бай!»

Все, однако, закончилось благополучно. В карманах сына латальщика ничего не оказалось, и Ульмас-бай под насмешливыми, недружелюбными взглядами ребят, пристыженный, возвратился к отцу.

Исмат-ходжи ничего не сказал. Недовольно хмурясь, он поднялся с пня, поручил сына тетушке Хайри и ушел с площадки.

Как только хозяин скрылся в калитке, тетушка Хайри заторопилась с завтраком: заварила чай в кумгане, разостлала в сторонке два порожних мешка и позвала всех участников хашара.

Сад тотчас огласился радостными возгласами и звонким смехом. Кто-то из мальчиков, увидев тлеющие угли на том месте, где кипятился чай, предложил:

— Давайте разожжем костер и погреемся!

Ребята быстро набрали сухих веток, разожгли костер и уселись рядком вокруг огня, даже не взглянув на разостланные вместо ска-терти мешки.

Тетушка Хайри раздала к чаю хлеб — взрослым рабочим по целой лепешке, ребятам — половинку, а сверх этого каждому по два ореха.

Первым покончил с завтраком сын латальщика. Он встал и пошел собрать еще дров для костра.

Набрав целую охапку сухих веток, мальчик увидел длинную толстую жердь, перекинутую поперек тополя, поваленного у края площадки, бросил на землю ветки и начал качаться.

Подбежал Ульмас-бай.

— Покачай и меня! — попросил он.

Сын латальщика передвинул жердь, подождал, пока Ульмас-бай сядет, подкинул его раз-другой.

Ульмас-баю это очень понравилось, и он потребовал:

— Подкидывай выше!

— А если упадешь? — предупредил его сын латальщика.

— Подкидывай, сын нищего!

— Ну, ладно, если так...

Сын латальщика нажал на свой конец до отказа. Ульмас-бай взлетел вверх и, не удержавшись, упал на землю.

Подбежали остальные ребята, подросла тетушка Хайри с Эрматом. А Ульмас-бай лежал ничком, не издавая ни звука.

Эрмаг поднял его, повернул лицом вверх.

— Воды! Несите воды! — бледнея, проговорил он.

Ульмас-бай очнулся только после того, как тетушка Хайри обрызгала его лицо водой.

— Ой, нога! Нога! — ревел он во весь голос.

В суматохе, никто не заметил, как подошел бай.

— Что случилось?

Узнав от Эрмага, что сын вывихнул ногу, Исмаг-ходжи прежде всего обругал тетушку Хайри, потом набросился на ребят:

— Нарочно подстроили! Вот я вам!..

— Нет, бай-ата, — осмелился возразить один из мальчиков, — Ульмас-бай сам требовал, чтобы он подкидывал повыше.

— А кто его свалил?

— Сын латальщика...

Бай взревел:

— Где этот сын нищего? Подать сюда собачье отродье, я ему обе ноги переломаю.

Но сына латальщика уже давно не было в саду. Он еще издали

заметил хозяина, перелез через дувал и убежал.

Замотав вывихнутую ногу сына поясным платком. Исмат-ходжи велел Эрмату нести его к курганче, и сам пошел следом, проклиная латальщика с его сыном и грозясь расправиться с ними по-своему.

* * *

На следующий день на голову латальщика обуви Эргаша обрушилась нежданная беда. Утром Исмат-ходжи вызвал Эргаша в мечеть и долго срамил его при народе, грозя всякими карами. Затем несчастья посыпались на латальщика одно за другим.

Старший сын Эргаша был водоносом. Он подносил воду чайханщикам и тем помогал семье. И вот чайханщики, будто сговорившись, все как один отказали ему в работе.

Сам Эргаш обычно сапожничал, пристроившись на тротуаре у лавки Турды-бакалейщика, но на этот раз не успел он расположиться со своим инструментом, как бакалейщик прогнал его от своей лавки.

А к концу дня по всему кварталу прошел слух, что Исмат-ходжи подал жалобу казию и требует возмещения убытков за увечье сына.

Вечером Эргаш-латальщик вернулся домой понурый. Переступив порог калитки, он хмуро оглянулся по сторонам, будто искал кого-то, и вдруг закричал на жену:

— Сейчас же найди мне твоего проклятого сына! Убью его! Убью и тело швырну к ногам Исмата-ходжи. Пусть что хочет с ним делает. Хоть зажарит, хоть так съест... Я должен, видишь ли, возместить убытки за вывихнутую ногу. Да у меня и вши нет, чтобы расплатиться.

— Вай,— всплеснула руками жена латальщика,— какие такие убытки? С сыном его ничего не сделается, поправится. Разум свой проглотили вы, что ли? Не могли сказать — мальчишка, мол, не нарочно это сделал. Они, мол, играли!

Эргаш-латальщик рассердился еще больше.

— Сидишь дома и лопочешь, что придет на язык, будь ты проклята! Не слышишь, какой он шум поднял на весь квартал? Бедняка, говорят, и на верблюде собака достанет,— где мне тягаться с ним? На его стороне все старшие квартала и сам казий.

Жена латальщика не нашлась что сказать. Перед заходом солнца, выглянув в щель калитки, она сама видела, как со двора Исмата-ходжи, разглаживая бороды и сытно рыгая, выходили эликбаши, имам

квартирной мечети, суфи и таиб — торговец машем.

Эргаш, уже несколько поостывший было, вдруг бросился к терраске.

— А, вот ты где, помереть бы тебе маленьким!

Он подскочил к сыну, прижавшемуся в угол терраски, ударил его по одной щеке, затем по другой. Мальчик заревел и кинулся под защиту матери. Та обхватила его обеими руками, прижала к себе.

В порыве злости Эргаш набросился на жену. Мальчик, воспользовавшись минутной суматохой, успел выскользнуть на улицу и убежал к соседям.

Жена латальщика горько рыдала, прислонившись к стволу тутового дерева посредине двора.

— Вместо того, чтобы принести в дом пару лепешек,— вот, мол, поешьте,— вы нас затрещинами потчуете. Да лучше умереть, чем переживать такое!..

Эргаш-латальщик стоял поодаль, низко опустив голову. Ему было стыдно. Хотелось подойти к жене, утешить ее, но он только махнул рукой.

— И ты подыхай, и я вместе с тобой. Вот мы сразу и избавимся от всех бед-печалей.

Латальщик опустился на край террасы и уронил на руки голову.

На следующий день латальщика вызвали к казию. После короткого допроса, в продолжение которого латальщик стоял у самого порога, со сложенными на груди руками, мирза по знаку казия выпроводил его в коридор, а немного погодя вышел сам и сунул ему в руки листок бумаги, испещренный арабскими закорючками.

Латальщик минуту смотрел на бумагу, потом попросил мирзу:

— Сын мой, я темный человек, прочитайте, что тут написано.

Мирза небрежно взял бумагу и начал читать:

«За нанесение оскорбления действием сыну почтенного и уважаемого всеми Исмата-ходжи, а также преднамеренное увечье ноги оно, Эргаш-латальщик, сын Досмата, изгоняется из сего квартала и обязан откочевать не позже утра следующего дня. Дом Эргаша-латальщика должен быть передан упомянутому Исмату-ходже в возмещение понесенных им по случаю увечья сына убытков».

Мирза снова сунул бумагу латальщику и, даже не взглянув на него, прошел в казихану.

* * *

На рассвете следующего дня суфи квартальной мечети, прокричав призыв на молитву, вышел в притвор. В это время на противоположной стороне улицы показалось какое-то странное шествие: впереди, согнувшись чуть ли не вдвое, шел мужчина с тюком, завернутым в кошму и перевязанным веревкой; за ним следовал взрослый парень с мешком на спине, затем девушка с глиняным кувшином под мышкой, мальчик лет десяти с узелком и, наконец, женщина в старенькой парандже с ребенком на руках.

Суфи некоторое время присматривался к проходившим и вдруг захихикал.

— Хи-хи-хи... Да это же латальщик со своим караваном откочевал! Хи-хи-хи... И поделом, поделом! Не тягайся с сильным, не равняйся с именитым!

Эргаш-латальщик обернулся, посмотрел на суфи из-под тюка, но, ничего не сказал, только плюнул и зашагал дальше.

Шакир Сулейман

ФАТИМА САДЫКОВА

I

Значит, такие дела, говоришь, творятся на белом свете, а, Туланбай? Все поют на разные голоса? Как говорится, «пришедший на поминки плачет не о покойнике, а о своем горе». Да и то. посмотришь попристальней — вчерашний бесштаный босяк наверху сидит, и в руках власть держит, а мулла Надирмат...

— Да, мясник горюет о сале, а козел о жизни. Мы о чем печемся, а они о чем?

— Ну что ж! Терпение! Посмотрим, что дальше.

— Теленок разогнался, но добежал лишь до сарая. Кричат о колхозе, а кто пойдет в их колхоз!

— Да, кстати, как та телка, что ты взял у меня прошлой весной? Выросла? Случал?

— Случал, но...

— Без всяких «но». Бери телочку насовсем, то есть не телочку, а дойную коровку. А если на твое счастье она отелится, будешь купаться в молоке. Тебе с такой семьей без коровки нельзя, брат.

— Это так, но если вступим в колхоз, боюсь, отберут.

— Да, и это верно. Время тревожное...

— «То, что болтаешь дома, не скажешь на базаре». Они и пони имеют все иначе, чем люди.

— Это вот самое мне и не нравится в колхозах: забирают, отбирают, объединяют. Например, заберут твою единственную скотинку, которую ты растил и берег пуще глаза. У Мирвали уведут единственного жеребенка, у Шерали — двух барашков. А спросишь — будут кричать «колхоз, колхоз», а в колхозе нет моего и твоего — все общее: и скотинка, и земля, и вода, и женщины. Прикусишь язык да замолчишь.

— А если не вступать в колхоз?

— Не позволят. Ты сильный. Они в первую очередь берут таких. Попробуй не вступи! Кстати, у тебя, кажется, и коза есть? Окотилась?

— Окотилась, да козленок сдох.

— Ах, бедняга, значит, понадобилась скотинка богу. Но, с другой стороны, хорошо, что козленок сдох. Ни тебе, ни им. Все равно отвязали бы и увели.

— Слушайте, бай, что же мне советуете, продать их, что ли?

Ага, поумнел, парень! Я этого вопроса ждал. Только пусть этот разговор останется между нами, я верю тебе, как брату. Я уже все свои дела устроил: две пары волов отправил на Минг-тепа, баранов угнал в такое место, куда муха не залетит, поручил верным людям. Верблюдов продал и денежки припрятал. А того жеребенка, ну знаешь, ночью зарезал, наделал казы и тоже спрятал. Ты же знаешь, Мирсагат не оборванец. Он знает, куда девать скотину. А напоказ выставил клячу, двух чесоточных баранов и тощую телку. Пусть забирают.

— Здорово, бай.

— Вот как надо решать дела! Старики говорят: «Прежде чем приобретешь богатство, приобрети ум». Если комиссия будет недовольна, я сложу руки и скажу: «Все, что есть, берите». Что они мне сделают? Что они могут мне сделать?

— Так что, мне тоже продать?

— Конечно. Скажешь: «Так случилось, братцы, корову съели волки, коза сломала ногу, я зарезал ее и съел, осталось у меня пять кур — берите».

— Правильно!

— Конечно, какой дурак своими руками отдаст свою собственную скотину этим мошенникам. Ты же видишь, одни батраки и босяки, которые света не видели, в руках десяти рублей не держали, помоями питались, над головой крыши не имели, а кричат: «Сделаем колхоз!», «Вступим в колхоз!» Кричат, как голодные привидения. Конечно, сделают колхоз: твоя корова, моя лошадь, а они хозяева. Кому неохота на готовенькое.

— А... Мирхамид-ака. Гиясбай, входите. Хайрулло, беги поставь самовар. Скажи хозяйке, чтобы готовила плов. Входите, гости дорогие, добро пожаловать.

— И Туланбай здесь?

— Да, мы здесь делимся своими горестями.

— Горе горем, а дело делом. Сейчас не время горевать.

— Да, время такое, милый Хаитбай, когда и погорюешь, а когда й делом займешься.

— Да, Мирсагат-ака, дела наши плохи. Сами заварили, сами и расхлебываем.

— Что еще случилось?

— Вы ведь знаете Садыка-растяпу с нижней улицы?

— Знаю, знаю.

— Так вот его дочь Фатима привязалась к нам вчера на собрании.

— Откуда еще эта напасть?

— Эта девчонка учится в Ташкенте. Приехала вчера сюда — член комиссии.

— Научилась разговаривать?

— Да что там разговаривать! Подпоясана ремнем, в красноармейской гимнастерке, волосы подстрижены. Просто самарская бандитка. А слова произносит, одно другого тоньше.

— Вот ослица!

— Так она же комсомолка, все только ей в рот и глядят. «Ликвидируем кулаков как класс»,— говорит.— «Кулаки годами пили нашу кровь», «Мы не видели светлого дня».

— Значит, мы пили ее кровь?

— Да, Мирсагатбай, вы пили ее кровь, вы — самый крупный богачей, цепной пес кулачества. За полчаса она нас сделала насильниками и вписала в черный список. Я хотел повернуть разговор, так она и ко мне прицепилась. «Вы льете воду на мельницу кулаков. говорит.— Вы, говорит, становитесь на сторону классового врага и не думайте, что если вы председатель сельсовета, то мы до вас не доберемся».

— Так и говорит?

— Точно так и говорит. Я сказал ей, что если она представитель власти, то нечего всех пихать в список кулаков. Но я, как председатель, как представитель, избранный народом, не стану вмешиваться в это дело. Поднялся шум. До полночи кричали, галдели.

— Да, плохи наши дела. Из-за нас и вам в глаза тычут. Срочно нужно что-то решать, иначе мы погибем.

Мы затем и пришли. Давайте вместе думать, может, что-нибудь и придумаем.

— Ну, а вы что предлагаете?

— Что мы можем предложить? Придумайте что-нибудь, а мы уж с вами.

— Как я понял, разговаривать с ней бесполезно. Она упрямая и настроена против нас. «Опасно больному лучше умереть»,— говорят старики. Если вы согласны со мною, нужно убрать ее, как того представителя. Как вы на это смотрите?

— Правильно. С тем представителем хорошо получилось. Мы бросили его труп подальше от кишлака. И никто ничего не узнал. Как

вы, Тулан? Стоит наказать ее?

— Верно говорите. Ну что, например, я сделал этой ослице? Обзывает кулаком.

— А они все такие, всех в одну кучу валят.

— Только не подавайте виду. Я найду человека — комар носа не подточит.

— Договорились. Все тихо-мирно. «Видел верблюда?»— «Нет, не видел».

II

— Товарищи! Я повторяю: классовый враг взбешен. Он не будет сидеть сложа руки. Чужая неминуемая гибель, он будет сопротивляться, вредить. Здесь по моему докладу выступили некоторые товарищи. Они еще не поняли до конца сложившейся обстановки. Например, товарищ Раззакова пыталась оправдать Муллабая: «Он середняк, единоличник. У него никаких дел с кулаками». Товарищ Кузыбай защищает председателя сельсовета: «Хайтбай-ака заботится о кишлаке, а если он и связан с кулаками, мы его покритикуем, убедим». Товарищи! Это ребячество. Это потеря бдительности, это мягкотелость по отношению к классовому врагу. Вы не учитываете силы классового врага. Я хорошо знаю и Раззакову, и Кузыбая. Я росла с ними. Вместе пасли скотину. Но мы еще не до конца знаем цель кулаков, духовенства, баев. Я раньше тоже думала, как вы. Ташкент изменил меня. Нам нужно серьезно подойти к этому вопросу. Здесь присутствуют члены комсомольского актива, и я буду откровенна. Вы все знаете, что убили сельского корреспондента Турсунова. Кто зарезал активистку Тургуной? На чьих руках их кровь?

В прошлом году комсомолку Таджихон Ниязову вместе со старухой матерью зарезали в их доме. Товарищи! Это сделали классовые враги. Здесь, в нашем кишлаке, они есть. Мы должны найти их и уничтожить.

Я в своем докладе говорила о Мирсагатбае. Потому что Мирсагат руководит в кишлаке темной силой, и он не сидит сложа руки.

Председатель сельсовета Хайтбай бывает у него, ест его жирный плов, а на собраниях защищает его.

Муллабай — родственник Мирсагата, и Мирсагат прибрал его к рукам. Он должник Мирсагата. Это тоже говорит о том, что Муллабай в руках Мирсагата.

Еще один факт. Вчера после собрания Хаитбай, Гияс, Мирхамид и Мавланбай перемигнулись и отправились к Мирсагату. Они заседали несколько часов. Вы видите, как действуют кулаки. Они переманивают наших людей в свой лагерь. И если даже Мирсагат прикинется овечкой и десять раз в день будет здороваться с комсомольцами, его нельзя упускать из виду. С ядовитого языка змеи не каплет мед. Волк не погладит вас острыми клыками. Наша задача — быть бдительными, не давать врагу бесчинствовать, следить за каждым его шагом. Комсомольцы должны быть впереди.

III

— Я вам рассказала все. Помогите мне или заберите с собою в Ташкент. Я не могу оставаться здесь, лучше под поезд брошусь.

— Подожди. Кто приходил сватать?

— Рыжий Мулла.

— Что он говорил матери? Не плачь.

— Сказал, что лучшего дома твоя дочка не найдет, что Мирсагатбай уважаемый человек в кишлаке, что сын его красавец и смирный, правоверный мусульманин. Если сговоримся, то свадьбу устроим осенью. И председатель сельсовета на их стороне. Ну сами подумайте, ведь я старше этого плешивого байского сынка. Да он еще и косой вдобавок. А у меня есть жених.

— Постой, что ответил отец?

— Что он может ответить? Отдадим, говорит. И матери приказал, чтоб уломала меня. Пусть, говорит, не дурит.

— Ничего они не сделают. Я сама вмешаюсь.

— Фатима, вас какая-то женщина спрашивает.

— Пусть зайдет сюда. Не горюй, Хайри, они тебя не заставят.

А Мирсагатбаю скоро вообще конец.

У меня ведь нет, кроме вас, защитника, я очень надеюсь на вас.

— А, Бахриниса-апа, входите. Что случилось?

— Я хочу сказать вам кое-что, только не здесь. Давайте выйдем в огород.

— Хорошо. А ты иди и ни о чем не беспокойся.

Женщина, накинув на голову халат, вышла в огород и огляделась, а потом уже обратилась к Фатиме:

— Со вчерашнего дня у нас в доме скандал — ругаемся с мужем. Он

даже бил меня. А сегодня утром жены Мирхамида курносого и рыжего Муллы принесли бумагу. Заставляли меня тоже подписать, говорят, пошлют это заявление в город. А что подписывать, я ведь не понимаю. Муж тоже заставляет подписать. Это, оказывается, заявление о том, что все мы не хотим вступать в колхоз. Они заставили меня подписать. А заявление-то к Ахунбабаеву.

Ты там скажи Ахунбабаеву, чтобы он вычеркнул мою подпись. И расскажи все. Они ходят по дворам и заставляют женщин подписываться. Слушай, Фатима, я боюсь, чтобы в этой суматохе не погибли безгрешные души.

— Заявление многие подписали?

— Не знаю, там многие приложили палец. Написали его в доме Мирсагатбая. Они говорят, что если эта бумага дойдет до Ахунбабаева, то колхоза не будет. Только никому не говори, Фатима, что я тебя предупредила.

Фатима улыбнулась:

— Агония перед смертью.

— Я ухожу, Фатима, будь осторожна.

Солнце оставило свои последние слабые лучи на верхушках деревьев и тихо скрылось. С поля возвращались дехкане. Издали слышалось блеяние овец.

— Фатима, мы можем опоздать на поезд.

— Ничего, успеем.

Фатиме еще нужно поговорить со многими.

— Ты видела парторга?

— Нет.

— А председателя сельсовета?

— Он только что был около красной чайханы. Разговаривал там с рыжим Муллой.

— Ну ладно, пошли.

Они вышли из кишлака. Фатима и комсомолец Сабир шли молча.

— А вот и огни станции,— сказал спутник Фатимы, восемнадцатилетний Сабир.

— Да, считай, уже пришли.

— Знаете, Фатима, я буду учиться на агронома и, бог даст, выращу такой хлопок...

— Ты веришь в бога? А ведь комсомольцы в бога не верят.

— Да я просто так сказал.

Они подходили к мосту.

— Фатима, давайте быстро пройдем. Это нехорошее место.

— Эх ты, трусишка,— засмеялась Фатима, и в эту минуту ей на голову накинули что-то темное.

— Кто это, кто это? Сабир, беги!

Но горло Сабира сжали две сильные руки.

Фатима — крепкая девушка, она боролась с бандитами, но сильные руки сжали и ее горло. Что-то горячее коснулось ее тела, и она упала.

А вражеские руки связали два трупа и бросили в воду. Послышался плеск. И люди в черном исчезли в темноте ночи.

Радость Мирсагатбая была недолгой. На третий день его арестовали со всей шайкой. Рыжего Муллу, курносого Мирхамида, Мавланбая, Тулана, участника кровавой расправы Эргана схватили за пловом у Мирсагатбая.

Палачей посадили на арбу и привезли в кишлак. Их встретили сотни глаз, полных презрения и ненависти.

Парда Турсун

ВОТ ТАК ЗАКОН!

Клуб был полон народа. Вошел Болта, и все взгляды устремились на него. Даже те, кто хорошо знал его — близкие, соседи и друзья,— уставились на Болту, словно видели его впервые. Болта шел по залу, огибая скамейки, и вытирал лицо рукавом чапана: то ли от стыда, то ли от простуды — у несчастного был сильнейший насморк.

Он сел у самой сцены. В зале зашептались.

На передних скамейках, сплошь занятых женщинами, шел оживленный разговор.

— Не зря его называли «тупоголовым», ведь бедный учитель бился с ним два года, а так и не научил алфавиту.

На сцене сидела круглолицая девушка в красной косынке. Прислонившись полной грудью к столу, она что-то писала. Вошли члены суда. Все с шумом встали и с любопытством разглядывали солидного человека в черном костюме и блестящих сапогах. Это судья. За ним шли две женщины-заседатели. Когда зал успокоился, девушка в красной косынке сообщила, что народ собрался. Судья объявил заседание суда открытым.

— Шарафат-ой, дочь Туйчибая!— громко вызвал он.

Со скамьи поднялась женщина в розовом платке, накинутом на плечи, и подошла к столу.

— Расскажите, Шарафат-ой, в чем вы обвиняете вашего мужа Болту, сына Кучкара.

— Я хочу сказать,— начала женщина и кашлянула,— хочу сказать, что выходила за него замуж с надеждой на его тихий нрав.

— За кого, говорите конкретно.

— Да за Болту. Он был такой заброшенный, грязный, вшивый.— В зале засмеялись, судья постучал карандашом по стакану.— Я его вымыла, вычистила, и он стал, как другие люди. Пусть сам скажет. А теперь...— Женщина заплакала и закрыла руками лицо. Ее плечи дрожали

— Не плачьте!.. Мы накажем его. Что теперь?

Женщина вытерла глаза кончиком платка и подняла голову.

— Теперь он меня оскорбляет. Я понесла ему обед на поле, а он спрашивает: «Почему поздно?»—и говорит нехорошие слова.

Вечером я хотела пойти с женщинами в ликбез, а он не пускает. Кому, говорит, нужна твоя ученость? Я ему: «Ты что же, против закона?» А он: «Не знаю никаких законов. Ты моя жена. Прикажу умереть — умрешь, прикажу воскреснуть — воскреснешь».

И еще...— Она опять заплакала.

Судья пошептался с заседателями. Вызвали свидетелей. Два колхозника, стоя по стойке «смирно», доложили о том, что они лично слышали, как Болта оскорблял жену.

— Мы ему говорим: «Нехорошо, Болта», а он: «Жена моя, и не ваше собачье дело».

— Болта, сын Кучкара.

Болта встал. Он стоял с очень виноватым видом, втянув голову в плечи и положив руки на живот.

— Скажите, Болта, сын Кучкара, за что вы оскорбили свою жену?

Болта опустил голову.

В зале поднялся шум.

— Расскажите здесь,— сказал судья,— за что вы ругали Шарафат-ой?

— ...Я работал в поле,— начал Болта,— ну, а она носила мне еду...

— Кто носил еду?— спросила женщина-заседатель.

— Да она, моя жена, Шарафат-ой.

— Ну, и что дальше?

— Ну, я ел и работал дальше. Как-то она принесла мне еду поздно. Я спросил: «Почему?» А она говорит: «Кормила грудью ребенка». Потом еще раз, сказала: «Принесу обед в полдень» — и не принесла. Ну, я ее и выругал.

— Как вы ее ругали?

— Я сказал: «У какого любовника была?»

— Ага, значит, вы обвинили вашу жену в измене, а какие у вас основания предъявлять Шарафат-ой эти обвинения?

Болта опустил глаза и покачал головой.

— Никаких. Этими делами она не занимается.

— Так зачем же вы ее оскорбили?

— Она же моя жена.

— Значит, жену можно оскорблять, а может, еще и бить?

— Не бил я. Она же моя собственная жена. Ну ругнул, что же здесь такого?

Судья оглядел присутствующих:

— Значит, вы считаете, что жена — ваша собственность и вы можете ее ругать как хотите. Кто вам дал на это право? Она советская гражданка. И не кажется ли вам, что вы тем самым выступаете против освобождения женщины? Вы нарушаете советский закон. Это преступление.

Болта смотрел в пол. Казалось, что он только теперь понял, что совершил преступление и что его по-настоящему судят.

Он медленно поднял голову и, глядя на судью, тихо сказал:

— Простите, ради бога, это из-за невежества, я не понимал.

— А теперь поняли?

— Понять-то не совсем понял. Но теперь я ее ругать не буду,— плачущим голосом ответил Болта.— Конечно, я ошибся. Теперь...

Объявили получасовой перерыв.

И началось... Публика шумела, галдела, кричала и смеялась. Говорили везде: в зале, во дворе, у двери. Какая-то женщина точно знала, что скажут защитники, другую интересовало, что скажут обвинители.

Больше всех суетилась маленькая тощенькая старушка.

— Муж мой, царство ему небесное,— говорила она тонким голосом,— бил меня смертным боем. Однажды расколос мне голову, а сколько раз ломал руки и ноги! Не счесть! И думаете, нашелся хоть один храбрец, кто бы защитил меня или остановил его, упокой бог его душу?

А теперь вот судят за то, что ругнул женщину. Видали, какой бледный стоит, боится тюрьмы. Ух ты, растяпа! «Виноват», говорит, «простите», говорит.

Вот до чего дожили, до каких законов, а?

Заседание суда продолжалось.

Хусаин Шамс

БУТАБАЙ ПРОЗРЕЛ

Выпал снег. Он лежит тяжелыми хлопьями на согнувшихся деревьях. Холод обжигает лицо.

Но на улице полно народу.

Радиорепродуктор кричит не смолкая: закончилась утренняя гимнастика, и начался концерт легкой музыки. Из больших железных ворот кокандского исправительного дома вышел молодой парень. На нем истрепанный, в лохмотьях халат, на ногах старые чарыки, на голове — засаленная, выцветшая тюбетейка. Он очень похож на бродягу.

В руках у парня бумага, только что полученная от начальника исправительного дома — высокого черного мужчины. Этот черный сказал ему:

— Бутабай, ты не виновен, отнеси эту бумагу прокурору.— А потом посмотрел на него и добавил:— Почему ты молчал до сих пор и не рассказал все, как есть?

Бутабай ничего не понял. Он знал одно: его опять гонят из теплого дома. А теперь он стоит на улице, безнадежно глядя по сторонам, и думает с обидой: «Семь лет батрачил у хозяина — копейки не получил. Три месяца работал в этом доме — тоже ничего не заплатили, да еще посылают к прокурору».

Люди куда-то шли, торопились по своим делам, и он чувствовал себя никому не нужным.

«Все счастливы,— думал он,— только я один никак не могу отделаться от бед. Хозяин всю жизнь поучал: «Не бери серебро — бери благословение, будешь в выигрыше». Какой уж тут выигрыш, когда нет ни копейки».

Пойти бы к этому советчику. Но он далеко.

У Бутабая гудела голова, а из репродуктора лилась веселая песня.

«И почему это за все три месяца хозяин ни разу не навестил меня?—думал Бутабай.— Ведь он говорил, что стал мне отцом».

Ворота распахнулись. Из них быстро вышел служащий и куда-то заторопился. Бутабай побежал за ним:

Слушайте, братец, как же мне быть? Хозяин за семь лет не заплатил, здесь три месяца работал — ничего не дали, да еще и выгнали. За что?

Ведь я старался.

Человек остановился. За три месяца он хорошо узнал этого наивного парня, который подметал камеры, кипятил чай и постоянно искал какое-нибудь дело для своих привыкших к работе рук.

— Слушай, Бутабай, тебе ведь объяснили, что ты не виновен. Ты можешь устроиться на работу, поступить учиться. А хозяина мы заставим заплатить тебе за все семь лет, да еще и посадим в тюрьму.

Бутабай заплакал:

— За что же его сажать, он правоверный мусульманин.

— Ну ладно, пойдем со мной к прокурору. Надо тебя пристроить куда-нибудь. Будешь работать, станешь богатым и, может быть, не таким наивным.

— Мне хозяин говорил, что можно разбогатеть, если скажешь о своем желании на двадцать седьмую ночь рамазана. Разве сейчас рамазан?

— Да идем же. Будет тебе и рамазан.

* * *

А дело было так.

В одном из кокандских кишлаков имам Кудрат-махзум решил удвоить свое богатство и занялся спекуляцией. Прикупил земли и нанял издольщиков из безземельных крестьян. Отменным чтением корана и проповедями о рае и аде он покориł слушателей.

Но авторитет Кудрата-махзума был поколеблен с установлением советской власти в кишлаке. Правда, своею хитростью этот богач сумел избежать черного списка, хотя и потерял большую часть богатства. «Была бы голова цела, а тубетейка найдется»,— говорил он. Но зло он все же затаил. Еще бы, его чары распространялись теперь лишь на нескольких стариков.

В кишлаке появилась комсомольская ячейка. Комсомольцы здорово досаждали имаму. Они его частенько одергивали. Своими благословениями он с удовольствием испепелил бы их, но... руки коротки.

Кудрат-махзум частенько писал дехканам заявления и расписки.

Однажды к нему пришел кишлачный парень Бутабай.

— Входи, дитя мое,— пригласил его Кудрат.

— Простите,— сказал парень,— хоть это и невежливо, но я пришел

просить вас написать мне заявление.

— С дорогой душой. О чем?

— Хочу записаться в комсомол.

Кудрат вздрогнул. Ах, с каким бы наслаждением залепил он сейчас этому Бутабаю пощечину. Но что делать, он не может себе позволить этого. «Зачем это я своими руками буду готовить своего же палача,— подумал Кудрат.— Нет, не такой уж я дурак».

— Посидите немножко, чаю выпейте,— обратился он к Бутабаю,— а заявление от нас не уйдет.

Бутабай смутился, но чай выпил.

Кудрат понял: этот парень растяпа. И не собирался упускать благоприятный случай. Кудрат встал и закрыл дверь на ключ.

— Ну, Бутабай, сынок, так ты хочешь вступить в комсомол?

Бутабай помолчал для приличия и тихо сказал:

Все мои ровесники записались. Я тоже хочу научиться отличать белое от черного.

Похвально. А там что же, учат отличать белое от черного?

Это прозвучало у Кудрата зло. Бутабай тихонько поднял голову и посмотрел на бая. Его взгляд встретился с пронзительным взглядом Кудрата, и Бутабай опустил глаза.

— А бог, сын мой, как же бог? Забыть бога! Заранее обречь себя на вечные муки. Ты думал об этом? Ты ведь сын мусульманина. Твой покойный отец разве завещал тебе стать учеником большевиков? Помилуй бог! Куда зовут, туда и тащиться?

Бутабай молчал. А Кудрат старался. Он прочел такую «проповедь», что Бутабаю казалось, Кудрат вот-вот вручит ему ключи от рая.

У тебя нет отца,— закончил свою речь Кудрат.— Я буду тебе отцом. Оставайся у меня. Я сам научу тебя отличать белое от черного. Будешь муллой. А потом я жену тебя. Трудись хорошенько и запомни: большевики пробудут недолго.

Бутабай стал рабом Кудрата. Он верил Кудрату. А Кудрат читал вечерами Бутабаю о Хазрате Али, Имаме Хасане, Имаме Хусане. И призывал следовать их подвигам.

Бута день и ночь размышлял о рае, боге, молитвах, ноете, чертях и ангелах. Без молитвы он не садился есть.

«Стану муллой, буду рассказывать людям о загробной жизни, а если милость господня снизойдет на меня, разбогатею»,— мечтал он.

Но пока Бутабай вставал чуть свет, чистил скотину, работал на

огороде, рубил дрова. И так пробежало семь лет. За это время мать Бутабая умерла, а слушатели Кудрата разбежались. Да и сам Кудрат присмирел. Он переехал в другой кишлак и стал колхозным мельником. Начали поговаривать о том, что в доме Кудрата есть слуга, и Кудрат решил избавиться от Бутабая. Но когда он заикнулся об этом, Бутабай расплакался.

Кудрат рассуждал так: «Если комсомольцы узнают всю подноготную, меня заставят заплатить Бутабаю за семь лет работы». И Кудрат решился.

Он приказал Бутабаю свести на базар пеструю корову и подождать его там. Бутабай исполнил приказание. Он долго ждал хозяина, и только к концу базара тот явился с двумя милиционерами. Бутабая схватили.

Я жду вас целый день,— говорил он Кудрату.— Может быть, вы думаете, что я не поил корову? Так я поил. Правда, не кормил, но у меня не было денег на сено.

А Кудрат кричал:

— Это и есть моя корова! Два дня ищу!

Собрался народ. Бутабая хотели побить, но милиционеры увели его.

Так Бутабай попал в тюрьму. Но и тут он не сидел сложа руки. Мыл и чистил камеры, носил воду. И вот теперь, когда выяснилось все, Бутабая выпустили.

Через неделю Бутабая привели в зал суда. И там он увидел своего хозяина. Тогда Бутабай окончательно прозрел.

А потом он вступил в колхоз, стал комсомольцем, Бутабай больше не жалел своего бывшего хозяина, не боялся ада. А когда у него спрашивали о Кудрате, он обстоятельно объяснял, какой лисой и дьяволом был его бывший хозяин.

Миркарим Асим

ТОМИРИС

(Исторический рассказ)

I

Кочевники-массагеты, властители пустынь, расстилавшихся от Укуза до Яксарта⁵, готовились к встрече невесты. Их стойбище ярко озарялось в эту ночь факелами и полыхавшими между юрт кострами. В небе сверкали звезды. Стар и млад, мужчины и женщины пребывали в радостном возбуждении. Ждали невесту. Из огромных медных котлов, в которых варилось баранье и сайгачье мясо, распространялся аппетитный запах.

Предводительница племени Томирис брала в жены своему сыну Сипарангизу красавицу Зарину из племени сак, или, как их еще называли, тиграхуд — по остроконечным войлочным колпакам, украшавшим их головы.

Расстелив на земле мягкий войлок, женщины хлопотали у котлов, украшали длинные крытые арбы, которые должны были заменить юрты.

Вдруг один из юношей, хлопочущий у костра, пристально вгляделся в тьму и замер, прислушиваясь.

— Скачут! Скачут! — закричал он.

И действительно, спустя несколько мгновений у самого костра осадил коня гонец.

— Едут, едут! — громогласно оповестил он, не слезая с коня.

Хотя все знали, что прибудет еще не сама невеста, а только сопровождаемые молодежью старцы и старухи, все становище заликовало. Еще бы! Невеста невестой, но именно после молитвы этих прибывших первыми старцев и старух, почитаемых не только за лета, но и за мудрость, могло начаться пиршество.

Как только гонец соскочил, его коня услужливо взял под уздцы, один из юношей и, отведя в сторону, привязал возле других коней к колышку, самого же гонца пригласили к старцам, сидевшим в кругу рядом с большой юртой, освещаемой факелами на шестах и отблесками

⁵ У к у з и Я к с а р т — древние названия Амударьи и Сырдарьи.

костров.

Все стойбище, кроме стариков, поднялось на ноги, чтобы встретить дорогих гостей. Спустя некоторое время раздался топот лошадиных копыт. Молодежь выбежала навстречу и, низко кланяясь, приветствовала:

— Добро пожаловать, дорогие, да будут благословенны дороги, приведшие вас к нам!

Поддерживая коней под уздцы, они помогали старухам и старцам сойти на землю. Молодые же, едва осадив коней, проворно соскакивали сами и передавали поводья юнцам. Ни для кого не было удивительно то, что на конях прискакали не только молодые, но и старики. В те далекие времена у племен массагетов и саков воистину было так. Младенцы, еще не научившись ходить, уже умели держаться на конях, и росли они, ползая меж ног жеребят, резвясь и играя с ними. Кони, чуткие животные, понимали каждое движение всадника, беспрекословно подчиняясь ему. От коня часто зависела судьба человека: преследовать ли врага или в критический момент спастись с женами и детьми, со стариками и старухами от набегов — тут конь становится единственным спасителем для массагетов. Одряхлев, кочевник едва держался на ногах, но скакать на коне мог. Он словно сросся с седлом и чувствовал себя в нем уютнее, чем на земле.

Гости поздоровались с поднявшимися навстречу им стариками племени, затем все расселись на пестрых войлоках. Вот мудрейшие, воздев руки, поблагодарили бога солнца Михру, без ведома и покровительства которого, как полагали они, не благоденствовало бы их племя в этих степях. На этом торжественная часть праздника кончилась. И только тогда, по чьему-то безмолвному знаку, молодые люди, заранее выделенные и считавшие для себя честью прислуживать на подобных торжествах, весело и лихо забегали, принося мясо на блюдах и крепкий кумыс в бурдюках. Начался пир...

Когда приезжие отведали всех кушаний и развеселились от крепкого кумыса, снова поднялся радостный переполох: прибыла невеста с целой свитой подруг, родственников, воинов и прочих сопровождающих. Сопровождать невесту мог любой желающий, и чем больше их было, тем считалось почетнее. Полагалось, чтобы каждый, подъезжая к становищу, ликовал, кричал — словом, производил как можно больше шума, дабы все видели, как велико уважение к невесте и ее жениху.

Этот великий шум прибывших слился со свадебной песней хора джигитов и девушек. При свете костров, взметавшихся вверх языками пламени, начались пляски. Пир продолжался не один час.

Было уже далеко за полночь, когда жених и невеста уединились под пологом одной из богато украшенных арб. Но перед этим, по обычаю, они должны были побороться, так полагалось в те времена, когда женщины кочевых племен воевали наравне с мужчинами. Так что в силе и ловкости они подчас не уступали своим избранникам. Жених, поверженный невестой, краснел, но не более. Поражение мужчины в таком единоборстве вовсе не считалось позором. И то сказать, главой племени массагетов была женщина — Томирис, от руки которой пал в битвах не один враг.

Невеста Зарина — высокая, черноволосая, с нежносмуглым лицом и черными сверкающими глазами — выделялась своей красотой даже среди других красавиц степнячек. Но славилась она также и силой.

Выйдя в круг, она метнула быстрый взгляд на сидевших в стороне джигитов и девушек, точно желая угадать, как они отнесутся к ее возможному поражению. Ведь жених, по слухам, был не робкого десятка, сильный и ловкий. Низко поклонившись Томирис, сидевшей в окружении особо уважаемых стариков и старух, она обернулась к большеглазому и высокому Сипарангизу, который вышел в круг и стоял, готовый к борьбе. Зарина, уложив косы, крепко обвязала голову платком. Стан ее был туго опоясан кожаным ремнем. Догадываясь, что на разные приемы у нее не хватит сил, Зарина решила попытать счастье сразу. Как только сошлись вплотную, она в первый же миг молниеносным движением обхватила противника. Сипарангиз не ожидал этого. Не дав опомниться, Зарина, напрягши все силы, оторвала его от земли и попыталась опрокинуть. Коснись Сипарангиз спиной земли, она считалась бы победительницей. Джигиты и девушки со стороны невесты, гордясь ею, восторженно закричали, предвкушая победу. Но торжествовать было рано. Жених, оттолкнувшись от земли ногами, сумел перевернуться и выскользнуть из рук Зарины. Теперь они заходили по кругу. Каждый ждал подходящего для решающего броска мига. Зарине удалось, сделав обманное движение, дать подножку, что позволялось в борьбе. Джигит упал, но тут же вскочил, а Зарина отпрянула. На этом, кажется, удача покинула невесту. Сипарангиз, то ли задетый за живое, то ли в пылу азарта, заходил вокруг нее так проворно, что Зарина едва успевала следить за его

маневрами — за неуловимыми для стороннего наблюдателя наклонами, замираньями, движениями рук, головы, по которым боец должен мгновенно угадывать замысел противника. Зарина заметно утомилась. Синарангиз, почувствовав это, не замедлил перейти в наступление. Сделав обманный выпад влево он в тот же миг, изловчившись, схватил ее за правую руку, дернул на себя и, обхватив за талию, оторвал от земли. Опрокинуть ее на спину для него теперь не представляло труда. Все затаили дыхание. Ждали, сможет ли невеста воспользоваться последней возможностью и, оттолкнувшись, вывернуться. Как знать, отчаяние и самолюбие могут совершить чудо. Джигит, опытный боец, разумеется, учитывал это. Опрокидывая Зарину с правой стороны, в последнее мгновение он молниеносно взметнул ее вверх и положил с левой. Закричали, заулюлюкали соплеменники жениха. Это продолжалось всего „несколько мгновений. Как только невеста поднялась и, покрасневшая от смущения, поправила на себе одежду, жених, ласково улыбаясь, взял ее за руку. Их обступили женщины и повели под свадебный полог...

Веселье продолжалось недолго. Внезапно налетел ветер, начался песчаный буран, от которого прячется все живое. Прошло несколько мгновений, и звезд уже не было видно. Кочевники укрылись в крытых арбах, где они спасались от зноя песков, страшной черной пыли, сильного ветра.

«Не к добру это,— предрекали некоторые старухи,— быть беде».

На их слова не обратили особого внимания. Буря прекратилась так же внезапно, как и началась. Люди соскочили с арб, отряхнули войлок. Вновь запылали костры, вокруг которых, веселясь и беседуя, провела ночь молодежь.

На рассвете молодая чета с друзьями, по заведенному обычаю, отправилась на охоту. Степь, необозримая и цветущая, расстилалась у ног юной жены, точно радуясь ее счастью и восхищаясь ее красотой. Казалось, все вокруг ликовало солнцу в небе, травы в степи, звонкоголосые жаворонки.

Точно опьяненные солнцем и воздухом, носились ласточки, из густых зарослей высоких трав неожиданно появлялись и так же быстро исчезали длинноногие фламинго — птицы с оперением сказочной красоты, пугливые, нежно-розовые, грациозные...

Мимо кочевья то и дело проносились стада стройных сайгаков. Копыта их высекали искры, звенела и гудела под ними земля. Казалось,

мать-природа в это утро радовалась счастью молодых и благословляла каждой своей травинкой, каждым цветком...

Пока молодежь охотилась, в становище со сторожевых постов прискакал гонец. Он осадил коня у просторной арбы, накрытой ярким войлоком. Арба отличалась не только внушительной величиной. В ней жила предводительница племени массагетов — Томирис. Еще стройная и красивая, облаченная в златотканый чапан, Томирис, женщина лет сорока, сидела в окружении старейшин.

Гонец безо всяких церемоний доложил Томирис, что послы шаха Ирана два дня назад переправились через Укуз. Они вот-вот должны прибыть.

Томирис негромко ответила что-то, гонец поскакал обратно, а военачальники, энергично отдавая распоряжения, стали придирчиво осматривать воинов, постоянно дежуривших вокруг становища.

Наконец на гребне ближнего холма показались послы. Один из них, в богато украшенном халате, дородный и плечистый, с лицом мясистым, но волевым,— видимо, главный из послов,— медленно подъехал и остановил коня в нескольких шагах от роскошной арбы, где сидела Томирис.

Воин-богатырь, вооруженный саблей и луком со стрелами, степенно приблизился к послу и, взяв его коня под уздцы, придержал, пока посол не спешился. Две высокие девушки, вооруженные так же, как и мужчины-воины, быстро расстелили у самой арбы войлок и стали по сторонам, замерев в поклоне. Только после этого Томирис поднялась и, придерживая саблю, висевшую на золотом ремне, спустилась к послам. Тут же подошли две девушки с секирами и стали по обе стороны от Томирис.

Посол, опустившись на колени, поцеловал землю, затем поднялся и громко сказал:

— Наш великий властелин, шах Ирана Кайхисрав, кланяется вам, красавица царица. Он желает вам здоровья, могущества, несметных богатств и шлет в знак дружбы эти дары: златотканые, парчовые, шелковые одежды и драгоценности.

По его знаку приблизились двое из свиты и, низко поклонившись, положили у ног Томирис узлы и шкатулку.

Томирис в изящных и пышных словах выразила свою благодарность, пожелала здоровья, благ, могущества шаху Ирана, затем пригласила послов сесть на тигровые шкуры, посланные поверх

войлока.

Гости разместились на шкурах, против них расположилась Томирис. По правую руку от нее сели старцы, а по левую — воины — мужчины и женщины. Томирис справилась о самочувствии послов, о том, как они доехали. Глава посольства с учтивой улыбкой отвечал, что и положено отвечать в таких случаях: чувствуют они себя прекрасно, доехали очень хорошо. Затем перед гостями расстелили кожаные скатерти, одно за другим стали подавать блюда из рыбы, птицы, вареного и жареного мяса баранов и сайгаков.

Послы с любопытством посматривали по сторонам. Эти массагеты удивляли их. Они не имеют ни городов, ни даже кишлаков, кочуют с места на место, женщины у них воюют наравне с мужчинами. Удивляла и сама царица, ничем не отличавшаяся от соплеменников. Вот и сейчас джигиты, угадывающие по движению бровей Томирис все ее желания, вели себя просто — обслуживали без должного трепета, охотно и проворно. Словом, нетрудно понять, что в племени массагетов при известной простоте отношений между вождем и соплеменниками царит в то же время единство. И жизнь у всех одинаково трудная, суровая.

Посол, невольно сравнивая вождя массагетов с шахом Ирана, жившим в роскоши в великолепных дворцах, имевшим невольниц и несметное количество рабов, высокомерно думал про себя: «И она считает себя царицей! Сидит и ест вместе со всеми подданными, которые не испытывают перед ней ни страха, ни трепета. Подумать только, вон один из них, который сидит ближе всех к царице, то и дело чуть ли не из ее рук выхватывает куски жирного мяса. Ну и царица! Ни короны, ни трона. Только жалкая арба. И как дерзки и наглы у них женщины, едят вовсю, разговаривают с мужчинами как с равными, позволяют себе насмешки над ними. Мужья же этих баб, должно быть, совсем бесчувственные животные — даже не ревнуют своих жен. И где это видано, чтобы женщина носила оружие, была воином?! Жалкие, бедные люди, ни рабов, ни слуг, ни невольниц. Дикий, совсем дикий народ! Годятся только рабами быть!»

Кайхисрав, отправляя в путь послов, объяснил им свой замысел: «Если я возьму в жены Томирис, не понадобится вести с ними войну, отправляться в далекий, изнурительный поход по пустыням. Вы должны добиться согласия Томирис».

И сейчас, сидя напротив царицы массагетов, посол из кожи вон лез,

чтобы выполнить наказ своего повелителя.

— Во всем подлунном мире ни одна женщина еще не правила столь великим государством, как ваше, ни одна страна не имела столь мудрой, справедливой царицы, как вы,— рассыпался он в похвалах.— Бог солнца одарил вас и красотой несравненной, и славой. Если бы вы, великая царица, соединили свою судьбу с судьбой великого шаха, то все другие цари мира склонили бы головы перед нашим могуществом.— Низко поклонившись, посол закончил: — Слава о вашей красоте и уме дошла до нашего великого шаха. Он полюбил вас. Я прибыл не только в качестве посла, но и свата.

Томирис, слушавшая посла чуть наклонив голову, при его последних словах выпрямилась:

— Что-о? Сватом?!

— Да, сватом,— повторил посол, приложив правую руку к груди и чуть поклонившись.— С той поры, как умер ваш муж, прошел год. Вы еще молоды, красивы. Только повелитель нашего великого и необъятного царства может быть достойным мужем для вас.

— А что, у него все жены поумирали? — сухо спросила Томирис.

— Нет, все его жены здоровы. Но если вы станете женой шаха, то все другие его жены будут вашими рабынями.

Лицо Томирис помрачнело, она нахмурила брови. Царице все уже было ясно. Кайхисрав, прославившийся своей жестокостью в войнах, которые он вел непрерывно, прославившийся своей алчностью, предлагает ей стать его женой. Но ведь и глупцу ясно, каковы истинные намерения шаха. Как нагл и самоуверен, однако, этот Кайхисрав! Нет, при всем уважении к миссии послов они должны получить недвусмысленный ответ. Принять его предложение — значит отдать в рабство свой народ. Томирис с внутренним содроганием представила себе жалкую участь, ожидающую ее соплеменников. Насмешливо взглянув на посла, она холодно и твердо сказала:

— Ваш шах влюблен не в меня, а в мою страну, в наши богатства. Ему нужна не я, а мой изобильный край. Вы, уважаемые послы, передайте своему повелителю: я решительно отвергаю его предложение. Я не желаю быть его женой, не желаю отдавать в рабство свой народ.

Не лучше ли было вам, прежде чем отвергать предложение нашего великого шаха, посоветоваться со своими полководцами, с мудрыми старейшинами,— произнес с заметной иронией посол, бросая взгляд на

тех, кто сидел рядом с Томирис.

— Тут нечего голову ломать,— сказал сурово один из старцев.— Наш мудрый вождь словно угадала наши мысли: Томирис не быть женой иранца, нам не быть рабами твоего повелителя. Так скажет тебе каждый массагет. Если шах прибудет к нам гостем, мы примем его. Придет с войной — истребим всех его воинов и их же кровью напоим вашего Кайхисрава.

При последних словах посол побагровел от возмущения и ярости, но сдержался и промолчал. Глаза сидевших против него воинов и старцев сурово и прямо смотрели на него. И в ответ на эти невидящие взгляды посол заговорил вновь:

— Мы еще никогда не слыхивали подобной дерзости. Шах Ирана послал нас с добрыми намерениями, желая осчастливить вашу царицу и ее народ. Могущество подарено ему богами, и он должен использовать его на благо всех в подлунном мире. Жаль, очень жаль, что вы не понимаете этого...

— Не стоит продолжать,—довольно бесцеремонно перебила его Томирис,— знаем мы, что это за благо. Хоть золотом осыпьте нас с головы до ног, и тогда не променяем нашу волю на ваше покровительство.

В этот момент издали донеслись возгласы молодых людей, возвращающихся с охоты. Посол, и без того уже начавший испытывать некоторую опаску перед этими влюбленными в свою свободу людьми, увидев скачущих, почему-то испугался. Томирис бросила насмешливый взгляд на посла.

Не бойтесь,— сказала она,— мой сын Сипарангиз со своей молодой женой и друзьями возвращаются с охоты.— Она усмехнулась и добавила: — Хорошо, что он не слышал вашего предложения, сын мой молод и горяч — несдобровать бы вам.

Через несколько мгновений в сопровождении джигитов и девушек подсказали Сипарангиз и Зарина и бросили к ногам Томирис несколько туш кийиков — степных оленей. Заметив послов, которые поднялись с мест, молодые, догадываясь, что гости, наверное, прибыли издалека, соскочили с коней. Томирис представила им послов. Сипарангиз и Зарина поклонились гостям и сели рядом на тигровые шкуры.

Зарина то и дело почтительно поглядывала на мужа и молчала. Так уж было принято среди массагетов — пока муж не заговорит, жена не должна была начинать беседу первой. Через несколько мгновений

Сипарангиз, отдавая дань приличию, осведомился у послов об их самочувствии, о том, как доехали, затем с живым огоньком в глазах, с откровенным любопытством стал расспрашивать о жизни во дворце Кайхисрава: сколько там сокровищ, и правда ли, что кроме большого количества жен он содержит еще красавиц невольниц. Расспрашивал о нравах и обычаях чужой земли.

Посол, поглаживая свою крашеную бороду, вежливо улыбался и обстоятельно рассказывал о придворной жизни, подчас привирая, считая, видимо, что чем сильнее будет искушение, тем лучше. Молодежь действительно слушала его рассказы о несметных сокровищах шаха, о прекрасных невольницах, о роскошных пирах и празднествах с неподдельным изумлением. Послы же, поглядывая на их лица, снисходительно и хитро улыбались, что не ускользнуло от внимания Томирис.

— Приглашенные на пиры знатные люди царства в золототканых одеждах,— продолжал посол,— молодые люди в шелках, послы, прибывающие из дальних и ближних стран, сперва низко-низко кланяются солнцеподобному шаху, затем садятся на мягкие одеяла и облакачиваются на пуховые подушки. И тут же слуги начинают разносить и ставить перед каждым самые разнообразные кушанья и яства. На самом видном месте, танцуя, изгибаются полуобнаженные красавицы невольницы. Гости, любуясь ими, пьют из золотых чаш шароб. Шароб,— как-то значительно повторил это слово посол,— подносят им кравчие, мелодично позвякивая бубенцами, которыми увешаны их шелковые пояса. А с другой стороны — музыканты...

— Простите, вы сказали — шароб, а что это такое? — перебил посла один джигит, особенно внимательно слушавший его.

— Шароб готовится из сока винограда, удивительно приятный напиток, выпьешь его одну чашу — и на душе становится легко и весело.

— Легко и весело! — восхищенно повторил джигит.

Томирис сидела, бросая исподлобья взгляды на посла.

Сипарангиз заметил это и, кажется, догадался, что в его отсутствие произошло нечто, что вызвало гнев матери. Вот потому-то, наверное, она хмурится и молчит. Замолчал и Сипарангиз. Скоро послы удалились в отведенную для них юрту.

Что послы не могли явиться просто так, нетрудно было догадаться, поэтому Сипарангизу нельзя было не рассказать о цели их миссии.

— Добровольно сдаться в рабство?! — воскликнул юноша, выслушав рассказ матери.— Надо отрезать им уши и носы и отправить восвояси! — произнес он гневно.

— Не по своей воле они пришли,— возразила Томирис.— Послы пересказали нам только то, что влил в их уши шах. Вернем им дары и отпустим. Уже это будет оскорблением для шаха!

II

Кайхисрав, захватив Согдиану, подошел со своим войском к левому берегу Укуза. Белый шатер шаха, необыкновенно высокий, просторный внутри, был установлен на высоком холме, в некотором отдалении от берега,— на расстоянии, недостижимом для стрел с противоположного берега. Выслушав послов, возвратившихся от Томирис, он помрачнел, долго думал, взвешивая все обстоятельства, и только тогда признался себе, что сватовство к Томирис было легкомысленной затеей. Ну конечно, как он мог предположить, что гордая царица массагетов пойдет к кому-то в добровольное рабство,— нет, только силой оружия можно покорить массагетов.

Как и ожидала Томирис, через несколько дней после отъезда послов гонцы донесли, что войско Кайхисрава, готовясь к переправе, сооружает на том берегу Укуза огромные плоты. Томирис созвала на совет опытных военачальников и мудрых аксакалов. Один из стариков — морщинистый, со шрамами на лице, в прошлом военачальник — предложил разбить врага при переправе, где он будет в невыгодном положении. Массагеты — искусные стрелки — могли поражать цель с дальнего расстояния, попасть же в человека, плывущего на плоту через Укуз, мог бы любой из них. Надо попросту осыпать врага градом стрел, и если даже не удастся разбить войско шаха, то урон ему будет нанесен огромный.

Старику решительно возразил Сипарангиз:

— Если мы так поступим, что скажут про нас хорезмийцы, дай, геты, что скажут саки⁶, кочующие за Яксар- том? «Массагеты, боясь сразиться с иранцами, только издали пускали в них стрелы на переправе». Это же позор для нас! Я предлагаю отправить посла, чтобы прямо сказать им: «Переправляйтесь беспрепятственно, мы мешать не

⁶ Названия племен, населявших Междуречье.

будем. Но когда вы переправитесь, мы будем бороться за нашу землю и истребим вас всех!»

— Но мы можем переправиться к врагу и сами помериться с ним силой в открытом бою! — горячо поддержал Сипарангиза какой-то юноша.

Старики неодобрительно, а иные и насмешливо взглянули на него, но промолчали, ждали, что скажет Томирис, которая сидела, погруженная в глубокое раздумье. Не разумом, а чувством руководствовался ее сын. Молодой Сипарангиз не знал, что между племенами не было единства. Старик прав: стрелять, стоя на берегу реки, по тем, кто плывет, куда удобнее, чем биться на равнине. Но, независимо от исхода боя, над таким «сражением» долго злорадствовали бы в других племенах. Томирис не могла не думать о чести своего рода и племени. Будучи мудрым вождем, она предвидела, что можно применить и другую тактику: завлечь врага в глубь пустыни, измотать его, а потом, навязав бой в выгодном для себя месте, разбить наголову. Но, видя, как рвутся в бой молодые воины, она пока не стала говорить о своих замыслах. Сдержанно поддержав сына, только добавила:

— Да, мы будем биться за нашу землю, но главный бой дадим врагу там, где пожелаем сами.

Старцы, словно угадав замысел вождя, поддержали Томирис.

— Мы с основными силами уйдем пока в глубь пустыни,— твердо решила Томирис, зная, что против мнения большинства старцев никто не станет выступать.— Л ты, сын, со своим отрядом встретишь врага.

Сипарангиз согласно кивнул.

Не знал, не ведал юноша, сколь дорого обойдется ему его собственная неопытность и горячность...

Кайхисрав со своей конницей и тяжело вооруженной пехотой беспрепятственно переправился через Укуз и сразу же пошел походом к стану массагетов, туда, где были приняты его послы. Но он не обнаружил массагетов ни через два дня, ни через неделю похода, хотя передовые отряды-разведчики рыскали во всех направлениях. И тут-то Кайхисраву стал ясен замысел массагетов: заманить его войско в глубь пустыни, истощить и, внезапно напав, разбить. Уже сейчас его войско начало страдать от недостатка еды и воды. А ведь лето только начинается, степь желтеет, скоро выгорит совсем, на чахлой траве недолго продержится его конница.

Кайхисрав созвал совет.

— Эти проклятые массагеты чувствуют себя в пустыне как в собственной арбе,— начал посол, побывавший в стане массагетов.— Пустыня для них — мать родная, а для нас — мачеха злая. Они знают свои потайные колодцы, а мы ни одного не можем отыскать...

— Что же вы предлагаете? — неторопливо перебил его Кайхисрав, сидевший в глубине шатра.

— Их можно легко разбить, но для этого надо употребить одну хитрость. Пусть третья часть нашего войска, которую мы в изобилии снабдим водой, едой, а еще больше вином, отстанет от нас...

Шах внимательно слушал своего многоопытного посла, уже не раз оказывавшего ему неоценимые услуги. «Что ж, если эти простаки массагеты позволили нам беспрепятственно переправиться через реку, то, вполне возможно, могут попасться и на эту хитрость...» — думал шах, основавший деспотическую державу персов и не гнушавшийся в достижении цели ни коварства, ни вероломства,— именно так покорил он Иран, Египет, Согдиану, всю южную часть Средней Азии.

Коварный план старой лисы — посла — шах одобрил. Отставший от основного войска отряд, разбив шатры и вырыв в земле глубокие очаги, как будто начал готовиться к пиршеству.

Томирис, проведав об этом через своих быстрых как ветер конных разведчиков, решила разбить отставший отряд птаха. Именно это дело она поручила Сипараигизу.

— Если тебе удастся истребить отряд,— наказала она сыну,— то следуй по пятам за Кайхисравом. Мы же, как только узнаем о твоей победе, с основными силами нападём на Кайхисрава, ударим по его войску в лоб. Ты нападёшь сзади. Их станет к тому времени меньше: истощенные, они не выдержат битвы. Мы окружим их и разобьём. Ты готов исполнить свой долг?

— Готов!—твёрдо ответил Сипарангиз.

— Иди, мой сын, да поможет тебе бог солнца!

Когда конный отряд массагетов напал на отставший отряд шаха, воины-пранцы, уже вынув мясо из котлов и разложив его по дастарханам, собирались развязать полные вина кожаные бурдюки. Они не успели это сделать... Застигнутые врасплох, они подняли шум и суматоху, которая длилась несколько мгновений, а потом обратились в бегство. Кони их почему-то стояли наготове... Массагеты взяли в плен только небольшую группу воинов, не ведая, что те сдались намеренно,

хотя могли бы уйти со всеми остальными.

Один из пленников обратился к Сипарангизу:

— Да, видно, ты великий полководец, налетел как ураган, застал врасплох, а мы, думая, что ты далеко, собирались попить шароба, попить мяса и на бурдюки с вином, невольно обратив на них внимание и Сипарангиза, потом как ни в чем не бывало добавил, вздохнув: — Все это теперь достанется вам...

— Нам некогда распивать твой шароб,— нетерпеливо ответил Сипарангиз, хотя задержал взгляд на бурдюках с вином, вспомнив рассказы посла об этом волшебном напитке.

— Джигиты проголодались, устали, надо дать передохнуть и коням,— сказал один из воинов.— Поедим и поскачем дальше.

— Да, да, не мешало бы подкрепиться,—поддержали его и остальные.

Сипарангиз заколебался, затем, ища хоть какой-то повод отказаться от соблазна отведать живительного зелья, спросил у пленного иранца:

— Эй ты, а этот твой шароб и еда не отравлены? Смотри, головой отвечать будешь...

— Неужто мы будем отравлять то, что собирались есть и пить сами? Не враги же мы себе! Клянусь богом над всеми богами Ахурамаздой, что нет в них никакого яда. Ешьте, пейте, только, умоляю, сохраните мне жизнь!

— Если твои слова правдивы, то...— Сипарангиз, взглянув на пленников, повелительно кивнул им в сторону дастархана.

Пленники сели за дастархан и стали уплетать мясо, не забывая то и дело опрокидывать в себя чаши с вином. Продельвали все это они с большим аппетитом. Воины Сипарангиза, с завистью следя за пирующими пленниками, ждали только разрешения вождя. Наконец он подал им знак. И вмиг все они расселись за дастарханы, оттеснив пленников. Первым делом выпили по чаше желанного шароба, затем принялись за еду. Напиток — удивительное зелье — теплом разливался по телу, веселил душу, делал все вокруг радостным и необыкновенным. Они пили и пили, желая продлить и усилить это чудесное состояние души, не чувствуя, что теряют власть над собой, потешаясь друг над другом. Опьянев окончательно, они послали мясо и несколько бурдюков вина сторожевым постам, проявляя заботу о своих

товарищах...

Воины Сипарангиза, намеревавшиеся только утолить свой голод и скакать дальше за врагом, забыли обо всем на свете, потеряли счет времени. Не ведали они, что Кайхисрав, который рассчитывал именно на это, притаился недалеко со своим войском, ожидая лишь сигнала.

Никто не заметил, как один из пленников поднялся, выбрал облюбованного заранее коня, отвел его в сторону, вскочил и помчался ветром в степь.

«Опьяневших воинов сторожевого охранения перебили, как беспомощных младенцев. Ни один из воинов отряда Сипарангиза не мог оказать сопротивления. Те, кто заметил мчавшихся во весь опор воинов Кайхисрава, не сразу даже могли сообразить, что происходит. Когда же опомнились, было поздно. Большинство, пытаясь подняться, тут же падали пронзенные стрелами. Жалкими выглядели и те, кто, добравшись до коней, успели взобраться на них. Они забыли о том, что, желая дать отдохнуть и коням, ослабили подпруги. Едва успевали сесть, как седло начинало крениться и, теряя равновесие, не владея собой, воины обрушивались с коней на землю. Не представлял опасности даже тот, кто успел обнажить сабли. Какая спьяну битва! Словом, весь отряд Сипарангиза во главе с ним был пленен. С завязанными за спиной руками предстали они перед Кайхисравом. Воины Сипарангиза, только теперь отрезвев, испытывая боль и позор, стояли опустив головы. Шах с торжествующе- снесным видом долго оглядывал их, затем откровенно издеваясь над Сипарангизом, усмехнулся:

- Ну! Вспомни-ка, богатырь, что вы там говорили моему послу? Не будете моими рабами! Ха-ха-ха! Поглядите на него! — Вторя шаху, захохотали и его приближенные, но только шах оборвал смех, умолкли и они.— Скоро будет моей рабыней и твоя мать! Эх ты, сопляк, а еще хотел воевать со мной, отряд мой уничтожить.

Сипарангиз вскинул голову, с презрением уставился на шаха.

— Да, я хотел сразиться с тобой, но, увы, не выпало такое счастье на мою долю. По неопытности поддались мы на твою хитрость, на твое коварство. Если б ты, бесчестный...

— Замолчи, глупец! — крикнул стоявший рядом с шахом военачальник и плеснул на грудь Сипарангиза чашу горячей воды.

Сипарангиз вздрогнул. Кайхисрав захохотал, желая еще больше унижить гордого воина. Шаха поддержали и его приближенные. Сипарангиз, овладев собой, выпрямился и взглянул на врагов с таким

бесстрашием, с такой холодной ненавистью, что смех умолк.

— Недолго вам смеяться, — произнес Сипарангиз так хладнокровно, точно не он, а иранцы были его пленниками. — Теперь-то вы не проведете нас. Живым из наших степей никто из вас не выберется, шакалы, напялившие тигровые шкуры...

И вновь его заставили замолчать, окатив грудь горячей водой. На этот раз Сипарангиз даже не поморщился. Приближенные выжидательно уставились на Кайхисрава: может быть, шах снова засмеется, надо успеть вовремя поддержать повелителя. Но Кайхисрав и не усмехнулся. Более того, лицо его вдруг преобразилось, стало едва ли не доброжелательным. Он, готовый казнить и истреблять непокорных, был одарен своеобразной проницательностью — умел угадывать, что именно могло причинить сильнейшую боль человеку. Он чувствовал сейчас и состояние души благородного, неопытного Сипарангиза, ставшего жертвой собственного неведения и молодой безрассудной отваги. Кайхисрав знал, что худшей казнью для Сипарангиза была бы его встреча со своими соплеменниками. Он хотел жестоко потешиться над воином. Снисходительно улыбнувшись, он обратился к Сипарангизу:

— Я верю, ты воин отважный. Люблю таких. Не хочется мне губить тебя. Да и мать твоя убиваться будет... Я отпущу тебя одного к своим, хочешь?

Сипарангиз, готовый мужественно встретить самую ужасную смерть, при последних словах Кайхисрава побледнел. «К своим! — с ужасом подумал он. — Как встретит меня мать? Что скажут в племени? «Погубил весь отряд и явился как загнанный степной волк?!» Нет, смерть лучше позора!»

— Ну? — насмешливо улыбнулся шах. — Хочешь?

— Развяжите мне руки, — тихо попросил Сипарангиз.

По движению бровей шаха один из воинов подбежал и освободил Сипарангизу руки. И прежде чем кто-то успел шевельнуть рукой, Сипарангиз выхватил из-за пазухи маленький острый кинжал и, вонзив его себе в грудь, рухнул замертво.

Персы остолбенели. Был поражен и шах.

— Он предпочел смерть позору! — медленно произнес Кайхисрав и, помолчав мгновение, dokonчил: — Истинный воин... Что ж, пусть и эти, — он указал на пленных, — отправятся за ним...

III

При известии о гибели Сипарангиза и всего его отряда в сердце Томирис и ее соплеменников точно вонзились стрелы. Истощенный, разрывающий сердце вой носился над становищем массагетов. Билась и рвала на себе одежду обезумевшая от горя Зарина. Ветер уносил в пустыню разноголосы и женский вопль.

Томирис не плакала. Уставив в одну точку неподвижный взгляд, она сидела не шевелясь и только одну глубокую, смертельную усталость ощущала в сердце. Душа ее словно онемела и замерла, не в силах преодолеть страшную боль...

Завывал ветер, шелестела сухая трава.

Под вечер Томирис очнулась, вышла из арбы, зорко взгляделась в просторы пустыни и вдохнула всей грудью горячий воздух. Мщение! Только мщение может исцелить ее душу...

Томирис собрала на совет старейшин, военачальников и бывалых воинов. Молодежь рвалась в бой с врагом немедленно, казалось, одного их гнева достаточно, чтобы разбить врага.

Томирис обвела суровым взглядом согбенных стариков, рвавшихся в бой молодых и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Отцы, матери, сестры и братья, всем вам ясно, зачем мы сюда собрались. Коварная персидская собака, заманив в ловушку наших джигитов, предала их всех смерти. Теперь только бой, только святая месть, только победа может вернуть нам надежды, желание жить. Что нам надо предпринять, чтобы истребить врагов,— об этом я хочу посоветоваться с вами.

Заговорил сидевший на почетном месте белобородый старик с пронзительным взглядом:

— Во многом виноваты мы сами. Видели, но не обращали внимания на то, что наши молодые воины беспечны. Оставили их без надзора. За это и покарал нас бог солнца и воды, бог всего сущего — Михра. Если бы отряд, которому поручили разбить врага, возглавил не двадцатилетний Сипарангиз, а более опытный военачальник, и будь в этом отряде больше бывалых воинов, мы не лишились бы наших отважных джигитов...

— Верно вы говорите,— невольно вздохнув, перебила его Томирис.— Видно, я без меры возгордилась своим сыном, он только начал оперяться, а я, ни с кем не посоветовавшись, поставила его во

главе отряда. Дорого мы заплатились за это...

Томирис взглянула на старика в шрамах, который некогда предлагал разбить врага при переправе, и кивнула ему, предлагая высказаться. Он с глубоким сочувствием взглянул на Томирис и сказал:

— У нас есть еще опытные воины, достаточно сил, чтобы заставить врага покинуть нашу землю. Пусть немощные старики и женщины угонят скот в глубь пустыни. Мы же, маскируясь в песках, должны навязать врагу бой в выгодном для нас месте. У нас есть преимущество,— закончил старик,— которое поможет нам. Мы как свои пять пальцев знаем расположение всех потайных колодцев. В пустыне, сами знаете, утоливший жажду вдво сильнее. Мы навяжем бой именно в тот момент, когда сами освежимся водой, а они будут изнурены жаждой.

В тот же день старики, женщины и дети угнали стада, а воины начали приводить в порядок свое оружие. Каждый, кто сражался в первых рядах, кроме лука и стрел был вооружен еще двумя копьями и выпуклым щитом. За поясами у них висели короткие мечи — акинаки. Остальные воины к тому же были вооружены еще и секирами — сагариями. Воины в большинстве были одеты в длинные чапаны без ворота и в шаровары, заправленные в высокие сапоги, на головах у них были шапки с остроконечным верхом из плотного войлока.

Когда все было готово к походу, Томирис обошла свое войско, проверяя оружие и одежду воинов. После этого взошла на холм, сняла с себя щит и меч и, положив их на землю, обратилась с мольбой о победе к богу солнца — Михре:

— О солнце, создатель земли и небес, огня и воды — всего сущего! Ты откроешь глаза — светло и ярко становится в мире, закроешь — все погружается в тьму. Ты наполняешь наши стада, силой твоей наливаются колос, рождается обильный урожай! О творец, единственный и всемогущий, не допусти, чтобы мы стали рабами персов! Сделай могучими наши руки, бесстрашными души, поддержи священный огонь мести в наших сердцах! Пусть наши стрелы, копья, мечи и секиры поразят всех врагов до единого!

Окончив молитву, она снова наценила на пояс меч со щитом и спустилась вниз. Сев на белого коня, который нетерпеливо ржал и бил копытами, она, обратись к своему выстроившемуся войску, сказала:

— Братья и сестры, близится бой, который решит судьбу массагетов. В душах наших пылает священный огонь мести. И как бы ни

был силен враг, в ярости ему не превзойти нас. Мы победим! Верю, среди вас не найдется ни одного, кто струсит перед врагом. Мы победим!

— Мы победим! Мы победим! — мощно и гневно разнеслось над пустыней.

Томирис взглянула вверх — высоко в небе, раскинув крылья, парил могучий орел. Это было добрым предзнаменованием. Орел, провожающий войско в поход, считался предвестником победы.

— Это пророчество богов, мы победим! — громко воскликнула Томирис.

— Мы победим! — мощно отозвался многотысячный глас.

Кайхисраву, опьяненному легкой победой, казалось, что войско Томирис, не слишком дисциплинированное, а значит, небоеспособное, потеряв один из своих отборных отрядов, и вовсе пало духом. Надо скорее настичь и разбить его. И Кайхисрав сразу же после победы над Сипарангизом помчался во главе своего войска туда, где должны были находиться массагеты. Желание персов разделаться с кочевниками-массагетами, захватить их стада и устроить многодневное пиршество, желание потешиться над их женами и сестрами было так велико, что Кайхисрав, если бы захотел, не в силах был сдержать свое войско, рвущееся к добыче и насилию.

Но когда персы прибыли к месту предполагаемого становища противника, массагетов и след простыл. Во все стороны расстилалась необозримая, бескрайняя степь. Шах ощутил в себе бешенство хищника, упустившего добычу. Снова надо было разведывать, куда направилось войско Томирис. Многие отряды, отправившиеся на поиск, исчезали бесследно. В ожидании вестей томился шах, томилось изнывающее от жажды войско.

Через несколько дней гонцы донесли, что войско Томирис находится неподалеку. Тут же выступили в поход, но уже без прежней надежды застать противника врасплох. Они напали на горячие следы... Измученные, изнывая от жажды, голодные, вконец обессиленные, они прямо-таки наткнулись наконец на войско Томирис. Высланный вперед отряд не вернулся, — видимо, был перехвачен массагетами. Оставалось только принять бой. Тем более что войско массагетов преградило им путь. Повернуть назад значило посеять в войске панику, которой немедленно воспользовался бы враг, оказавшийся не только хитрым, ловким, но и обнаруживший большое военное искусство

маневрирования.

Бой завязался у подножия холма. Солнце, катившееся к закату, освещало только головы и спины массагетов и в то же время, ударяя в глаза воинов шаха, ослепляло их. За холмом по обе стороны притаились в засаде конные отряды массагетов.

Персы численно превосходили массагетов, поэтому они решили сблизиться с врагом как можно стремительнее, не дав возможности использовать массагетам свое испытанное и славившееся в их руках оружие — лук и стрелы. Но стремительного, молниеносного налета у изнуренных жаждой, голодом и усталостью персов не получилось.

Массагеты же стреляли необычайно метко. Лучники выстроились в несколько рядов. Первый ряд, расстреляв все свои стрелы, поворачивался; остальные ряды расступались и пропускали их назад. В бой вступал второй ряд лучников. Таким образом, массагеты вели сражение, непрерывно осыпая противника градом метких стрел. Персы заматались при виде павших товарищей, их обуял страх, еще до рукопашной они понесли огромный урон. Уже начало боя определило поражение персов. К моменту сближения лучники, расстреляв все стрелы, пустили в ход копыя со щитами и мечи-акинаки. В бой вступили воины, вооруженные мечами и алебардами.

Каждый перс знал, что, отступая, непременно наткнется на копыя своих же, которые не пощадят,— поэтому воины прилагали отчаянные усилия, чтобы остановить наступавших на них массагетов. Скоро войска сошлись вплотную. Люди бились насмерть. Невообразимый хаос царил на поле битвы и длился до вечера. Каждый массагет дрался, отстаивая жизнь своих детей, свою землю и волю. Ярости их не было предела, и персы, по мере того как затягивалась битва, все более теряли надежду.

Неожиданно с левого фланга на них налетела конница Зарины. Иранцы начали отступать. Но тут во главе отборного отряда конницы с саблей наголо поскакал вперед сам Кайхисрав, до этого наблюдавший битву с небольшого возвышения.

Бой разгорелся с новым ожесточением.

И в это решающее мгновение Томирис, все время наблюдавшая с холма за битвой, во главе отряда из самых отважных джигитов ринулась туда, куда Кайхисрав ввел новые силы. Носившиеся по полю конные массагеты из резервного отряда превосходили врага в стремительности, сеяли смерть и ужас среди врагов. Последний отряд

Кайхисрава не смог переломить ход битвы. Его самого на всем скаку пронзил копьем воин из отряда Томирис. Массaget налетел на него с такой молниеносной стремительностью, что никто не смог, не успел преградить ему путь. Увидев, что пал их шах, персы в смятении обратились в бегство. Массагеты поскакали в обход и истребили большинство бежавших. Оставшиеся, побросав оружие, сдались в плен. Массагеты ликовали. Теперь жизни их -жен и детей были спасены. Они сдержали свою клятву. Дорогой ценой, потеряв почти половину своего войска, победили они...

— Кайхисраву отрубите голову и принесите мне! — приказала Томирис, разгоряченная битвой.

Чтобы исполнить приказ Томирис, воины бросились искать тело Кайхисрава. Кто-то из массагетов знал Кайхисрава в лицо, и потому опознали его быстро. Отрубили ему голову и принесли Томирис.

— Теперь наполните кровью бурдюк!

Воины исполнили приказ вождя.

Томирис взяла голову за бороду. Забрызганная грязью и кровью, с разинутым ртом, в котором было выбито большинство зубов, и с вытекшим глазом, мертвая голова шаха выглядела не столько страшной, сколько отвратительной.

— Эй, Кайхисрав, всю жизнь ты жаждал крови, всю жизнь истреблял людей. Так напейся же теперь их крови досыта! — воскликнула Томирис и бросила голову в наполненный кровью бурдюк, верх которого тут же скрутили жгутом и крепко связали.

Под одобрительные крики победителей бурдюк зарыли глубоко в землю, словно навсегда запрятали там семя войны, зла и насилия.

Томирис воздела руки к небу и возблагодарила бога Михру за дарованную победу:

— Отныне земля наша свободна, но пусть стрелы и копья наши, о воины-массагеты, будут всегда наготове, чтобы никогда над нашей степью не заходило солнце свободы.

Юлдаш Шамшаров

ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ

Памяти Туйчи хафиза

I

Хотя лишь вчера поднялся после тяжелой долгой болезни, он чувствовал себя достаточно бодро, был весел, шутил, разговаривал с сыном и внуками.

А к вечеру ему захотелось уединения. Он медленно прогуливался во дворе, окутанном сумерками, иногда останавливался, как будто что-то вспоминая или к чему-то прислушиваясь, и пробовал вполголоса напевать какую-то мелодию.

Жена, появившаяся во дворе, обрадовалась, увидев мужа в хорошем настроении; она набросила ему на плечи халат и хотела было предложить, чтобы он отдохнул, но хафиз, словно угадав ее намерение, улыбнулся и шутливо сказал:

— Чтобы болезнь ушла, надо гнать ее. Тень муаллима Навои овевля меня, и грех не воспользоваться этой минутой наития. Принеси-ка мне танбур.

Он уселся на сури, скрестив ноги; с помощью надетого на палец медиатора стал настраивать танбур. Жена удалилась в дом, чтобы заварить чай.

Пальцы хафиза, перебиравшие струны, слушались плохо, они будто одеревенели. «Неужели болезнь все-таки успела сделать свое черное дело? — подумал он с беспокойством и решительно отогнал эту мысль. — Нет, я не сдамся!» Он помассировал пальцы, провел ими по струнам, снова помял их, и танбур наконец зазвучал в полную силу. Аккомпанируя себе, он запел, и недовольно поморщился: голос его не потерял своего чарующего тембра, но был еще слаб, хафиз чувствовал, что не дотягивает до той высоты, какая требовалась при исполнении ма- кома, сочиненного им на газели Навои «Черные глаза». Вздохнув, он замолк и задумался.

Любовь к газелям пробудил в его сердце, как утверждал сам хафиз, великий Навои. И впервые он спел «Черные глаза» еще молодым, — он тогда был охвачен пламенем любви и полон сил и уверенности в себе.

Те, кому довелось услышать проникновенное, берущее за душу звучание его танбура и его бархатистый, завораживающий голос, искренне восхищались: «Молодец, джигит! Эту газель исполняло множество сладкоголосых хафизов, но только теперь она наконец нашла своего певца».

Слава хафиза росла, у него становилось все больше поклонников и в родном краю, и за его пределами, песни, которые он создал и исполнял, были записаны на пластинку в Москве.

О хафизе распространялись легенды — были среди них и такие.

* * *

Это случилось еще до революции.

Однажды к нему подошел грузчик и смущенно, нерешительно проговорил:

— Не считите за дерзость, но я хочу попросить вас... Загляните завтра в наш дом, осчастливьте нас своим искусством...

У хафиза посветлело на душе, он пообещал грузчику, что придет, и в этот момент к нему приблизился на холемом коне посланец одного городского богатея. Конь поражал своим роскошным убранством: попона из шелка, седло расшито серебром. Не удосужившись слезть с седла, всадник передал хафизу, что хозяин приглашает его на свадьбу — украсить ее музыкой и пением. Окинув взглядом коня, хафиз усмехнулся краешком губ и вежливым тоном произнес:

— Уверен, при одном виде такого коня любой хафиз, кланяясь, поспешил бы к дому уважаемого бая. Но, к сожалению, я уже заверил вот этого бедняка, что завтра буду у него. Так что вы извинитесь за меня перед своим господином; надеюсь, он великодушно простит меня за то, что я вынужден был отказаться от высокой чести...

И он дружелюбно кивнул грузчику: вы, мол, идите и ни о чем не беспокойтесь.

На следующий день хафиз щедро одарил гостей бедняка своим искусством, а на обратном пути завернул к богачу — на свадебной той. Приглашенные на свадьбу уже разошлись, — какое же это торжество без песен? — и опустевший двор выглядел унылым. Бай, восседавший в одиночестве за пышным дастарханом, хмуро глянул на хафиза.

— Ты зачем явился? Только тебя тут и ждали.

— Так ведь вы сами позвали меня на свадьбу, — лукаво улыбнулся

хафиз,— вот я и приш.ел.

— Позднее — не мог?

— Петь никогда не поздно.

И хафиз заиграл на танбуре, и, как чистый родник, зажурчал в вечернем сумраке его пленительный голос. На звук этого голоса стали стекаться отовсюду люди, песни лились до утра, и до утра длилось застолье; люди покинули двор вместе с хафизом. Бай, считавший, что все можно купить за деньги, был очень удивлен этим.

А спустя несколько дней за хафизом пришли слуги эмира и, не спрашивая его согласия, повели во дворец к властелину.

Эмир восседал в центре просторного зала, с украшенными искусной резьбой стенами и потолком, в окружении верных приспешников.

Хафиз, сохраняя гордую осанку, поздоровался с эмиром легким наклоном головы, чем поверг всех присутствующих в изумление и растерянность.

Лишь эмиру не изменило самообладание; снисходительно улыбнувшись, он бросил находившемуся рядом с ним густобородому визирю:

— Ничего, необъезженного коня постепенно приучают к седлу. Послушаем-ка его пение,— так ли уж оно восхитительно, как говорят?

Хафиз, заняв место среди других музыкантов и певцов, затянул один из своих любимых макомов; голос его, сильный, глубокий, нежный, заполнил собой весь зал; эмир, заслушавшись, не отрывал глаз от хафиза; с трудом овладев собой, он уставился в пол и с тревогой подумал: «Нет, не так-то просто будет надеть седло на этого гордеца».

Всех заворожило пение хафиза.

Песни сменились танцами. Эмир находился в приподнятом состоянии духа. Густобородый визирь объявил хафизу его повеление:

— Повезло тебе, братец. Твое пение пришлось по душе его величеству. Ты достоин чести — с сегодняшнего дня услаждать досуг его величества.

— Я надеюсь,— почтительно наклонив голову, громко сказал хафиз, — его величество простит меня, если я отклоню эту честь.

Все были ошеломлены дерзостью певца; эмир даже приподнялся, впившись в хафиза пронзительным взглядом:

— Я думал, ты почтешь за счастье — радовать нас своим искусством!

— Согласен, ваше величество,— это большое счастье. Но достойна

ли его моя скромная особа? Боюсь, голос мой слишком слаб для дворцовых залов.

На лице эмира появилось гневное выражение.

А придворный певец, которому грозила нищета, согласись хафиз с предложением эмира, подумал с благодарностью и горечью: «Ну, молодец! Другой бы, будь ему такая милость, землю целовал, благодаря бога за ниспосланное ему счастье. Не завидую я участи, которая его ждет...»

Эмир встал, и все поднялись следом, но визирь, которому властитель что-то сказал, жестом руки повелел всем сесть и поманил к себе хафиза. Когда эмир вышел из зала, визирь подтолкнул хафиза в спину:

— Следуй за ним! И проси у него прощения, глупец!

Шагая вслед за эмиром, хафиз старался не думать о том, что его ждет.

В мрачном помещении с земляным полом эмир остановился и оглянулся на хафиза:

— Значит, дворцовые залы для тебя слишком просторны?

— Простите меня, ваше величество, но я был искренен с вами.

— Что ж, мы можем подобрать для тебя более подходящее место, где шея твоя согнется, как у всех, кто заточен в зинданы.

В помещении, которое эмир со зловещей усмешкой обвел рукой, царил гнетущая тишина. Хафиз вздрогнул:

— Так это тюрьма, ваше величество?

— Да, здесь в глубоких зинданах томятся строптивцы, не пожелавшие покориться моей воле.

— Неужели же в ваших владениях столько непокорных?

— В могилах — они уже покорные. Вот они, — эмир кивнул на невесть откуда взявшихся нукеров и тюремщика, теснившихся чуть поодаль, — опускают в зинданы живых и уносят отсюда мертвецов. Последних куда больше, чем первых, уверяю тебя.

Злобная усмешка исказила лицо эмира. Нукеры, казалось, только ждали повеления своего властелина.

Стараясь придать своему тону как можно больше естественности и непринужденности, хафиз проговорил:

— Вы не жалеете себя, ваше величество, обрекая на муки свою душу, свою совесть.

— Ты думаешь, невежественной черни так дорог мой душевный

покой? — раздраженно произнес эмир. — Тебе, например, — дорог?

— Дорог, дорог, ваше величество, — поспешил заверить его хафиз, — Когда у властителя покойно на душе, всем от этого лучше, и ему самому тоже.

Эмир подвел хафиза к дыре, ведущей в зиндан; хафиз заглянул в черную глубину и, выпрямившись, подняв голову, спокойно посмотрел на властителя:

— Жизнь человеку дарована аллахом, уже поэтому надо ее ценить. — Он кивнул на зиндан. — Там, наверно, темно и сыро?

Эмир рассмеялся:

— Не бойся, этот зиндан уже занят.

— И кто же там заточен?

— Музыкант — вроде тебя.

— И вина его так тяжела, что ему нельзя было избежать зиндана?

У эмира потемнел взгляд:

— Он сказал в наш адрес оскорбительные слова.

Тут хафиз вспомнил, что уже слышал от кого-то о смелом музыканте, который до того был возмущен деспотизмом эмира, что назвал его «бешеным верблюдом». Эмиру донесли об этом, и смельчак угодил в зиндан.

С мягкой улыбкой хафиз заметил:

— Может, это была просто неудачная шутка?

Эмир насупился:

— Ты, кажется, хочешь добиться, чтобы и тебя сунули в зиндан?

— Я не достоин такой чести, ваше величество...

— А мне думается — более, чем достоин. В зиндане ты сможешь распевать свои песни, сколько душе угодно.

— Боюсь, песням в зиндане не уместиться, — и они вырвутся наружу.

«На что это он намекает? — подумал эмир, испытующе вглядываясь в открытое лицо хафиза. — Удивительно, он словно и не страшится того, что его могут бросить в темницу. Другой бы на его месте целовал мне ноги, моля о снисхождении, а он улыбается, как дитя. Может, он просто глуп? Да нет, не похоже. Или это певец черни, готовый на бунт, и так спокоен потому, что опирается на ее силу? Как бы не вспыхнули беспорядки, если я сгною его в зиндане. Все ведь сочтут его невинной жертвой! Ладно. Пусть пока разгуливает на свободе. Расправиться с ним никогда не поздно».

И эмир сделал вид, что смягчился:

— Цени наше великодушие, певец, мы даруем тебе свободу, но советуем не злоупотреблять ею...

Благополучно вырвавшись из когтей эмира, хафиз задумался о причинах, заставивших жестокосердного властителя сменить гнев на милость. В ту пору в эмирате было неспокойно. Среди подданных эмира множилось число недовольных его правлением. Бунтари обосновались в горах, совершали оттуда набеги на города и кишлаки, захватывали в качестве заложников должностных лиц и отпускали их лишь в обмен на своих товарищей, брошенных в зинданы.

Хафизу дважды довелось побывать у этих бунтарей, взбодрить их сердца своими песнями. Тогда-то он и убедился, что вот эти люди, поднявшиеся против эмирского гнета, самоуправства, жестокости, и являются силой, которая держит тирана в постоянном страхе. Время от времени эмир пытался даже заигрывать с простыми тружениками, называя их в своих речах «моими возлюбленными детьми», «моим дорогим народом».

Когда хафиз вернулся однажды из дальней поездки, его друг, которого все именовали «аксакалом», сообщил ему, что эмир вознамерился устроить во дворце состязание певцов, пригласив на него известных своим мастерством исполнителей из всех провинций.

— Что ж,— сказал хафиз,— грех не принять участие в таком состязании.

— Ты сам лезешь в западню! — испугался за него ДРУГ.— Эмир не упустит случая упрятать тебя в зинн-дан.

— Что же мне — из страха перед зинданом расстаться со своими песнями? Нет, друг мой, танбур и песня — это оружие в моих руках, и я не собираюсь его сложить.

Во дворце собралось множество певцов, с иными хафиз даже не был знаком. Он выбрал свое среди них место, откуда его голос был бы хорошо слышен.

Эмир переводил испытующий взгляд с одного певца на другого: когда он увидел хафиза, в больших его глазах мелькнула усмешка. Хафиз же оставался спокойным, с любопытством наблюдал за гостями, прибывшими сюда и из окрестных селений, и издалека; его, казалось, не слишком-то заботила собственная участь, и он не думал о том, что сулит ему участие в состязании. Это его хладнокровие бесило эмира, не терпевшего тех, кто в его присутствии держался свободно и

непринужденно.

Начались выступления певцов.

Первый из них, в длинном камзоле, застегнутом на все пуговицы, в белой шелковой чалме, представ перед эмиром, отвесил ему низкий поклон, чуть не коснувшись своей чалмой пола. Затем, помолившись о благополучии эмира, он попросил у него разрешения — приступить к пению. Голос у него оказался довольно слабым, лишенным приятности, но мелодию он выводил с изощренным мастерством — и как только закончил петь, эмир одарил его покровительственной улыбкой и похлопал в ладоши. Все поздравили певца, густобородый визирь надел на него парчовый халат и вручил ему кошелек с золотыми монетами, а сам певец, благодарно кланяясь, пожелал эмиру долгой жизни на благо его подданных и вновь за него помолился.

После этого с места поднялся незнакомый джигит, стройный, чернобровый и черноглазый, с открытым, смелым выражением смуглого лица. Поклонившись эмиру, он ударил по струнам тара и запел высоким звенящим голосом; он пел, полузакрыв глаза, и в этот момент для него в мире не существовало ничего, кроме исполняемой им мелодии; он даже не сразу услышал сдержанные аплодисменты эмира и его приближенных, оборвавшие песню, а когда понял, что продолжения песни никто не ждет,— растерянно оглянулся по сторонам и, опустив голову, быстрыми шагами вышел из зала.

У хафиза защемило сердце. Он решил по-своему отомстить за оскорбленное достоинство певца-джигита,— показать, что такое настоящее искусство.

Грянули звуки танбура, словно вызывая всех на бой, и привольная песня взмыла под дворцовые своды, заставив всех притихнуть. Чарующий голос хафиза подействовал и на эмира, на лице его было написано блаженство, он чуть покачивался, и все присутствующие стали покачиваться в такт мелодии, подчинившись ее власти.

А хафизу чудилось, будто сам муаллим Навои стоит перед ним, опираясь на палку, и улыбается — поощрительно и вдохновляюще.

*О, черноглазая моя, не будь жестокой, снизойди
До мук моих и навсегда в глаза и в сердце мне войди.*

Когда отзвучала последняя нота — зал походил на огромную, ритмично колыхавшуюся колыбель...

Первым пришел в себя эмир; все еще находясь в благостном состоянии, он хлопнул в ладоши; густобородый визирь, вскочив с места, накинул на хафиза парчовый халат, принесенный слугой, и насыпал ему с подноса в ладони пригоршню золотых монет.

Удивленный таким неожиданным для него оборотом дела, хафиз поклонился эмиру и, твердо, уверенно ступая по ковру, удалился из зала.

Он не слышал жесткого смешка, клокотнувшего в горле эмира.

Не успел он дойти до своего дома, как его нагнал посланный эмиром слуга и привел назад, но не в дворцовый зал, а в темницу, где хафиза уже поджидал властитель, стоявший возле одного из зинданов.

Встретившись с просветленным, искрящимся улыбкой взглядом хафиза, эмир удивленно поднял брови:

— С чего это ты так весел?

— А как же, ваше величество,— готовно ответил хафиз,— ведь бежали мои враги.

— Враги? Кто же это?

— Печаль и уныние, ваше величество. Их прогнала песня.

Кусая губы, эмир думал: «Может, он и вправду блаженный? Вот уж вторично стоит он у зиндана, на краю гибели, а выглядит еще более веселым и дерзким, чем в прошлый раз. Неужели он не ведает, что его ждет? А если догадывается, то почему не целует полы нашего халата, не молит о пощаде? Нет, он явно из бунтовщиков и надеется на помощь своих друзей».

Чтобы испытать его, эмир спросил:

— Скажи нам, хафиз, положи руку на сердце,— тебя и в самом деле не страшит зиндан?

— Вы, конечно, хотели бы, ваше величество, чтобы я боялся. Вам ласкают слух вопли и мольбы узников. Но я и в зиндане буду петь. Вот хотя бы этот маком.

И хафиз запел:

*О, друг, когда умру, омой
Мне тело розовой водой,
И саван на меня набрось
Из лепестков нежнейших роз...*

Стены темницы, казалось, расступились, давая простор

легкокрылой мелодии, она свободно парила в затхлом воздухе, но эмиру сейчас не доставляла удовольствия, у него было такое ощущение, будто песня ястребом набрасывается на него, терзая ему сердце. Сам хафиз, стоящий перед ним, виделся ему дивом из страшной сказки; и, закрыв ладонями уши, эмир закричал:

— Уберите его прочь с моих глаз! В зиндан его, в зиндан!

Тюремщик мигом исполнил его повеление, но когда эмир отнял руки от ушей,— в них ударила мелодия, которая, чудилось, обрела еще большую силу; она нападала на него, жалила, как оса; она гналась за ним, когда он, снова зажав уши ладонями, бросился бежать из темницы.

С этой минуты эмир потерял покой и сон. Стоило ему задремать, как в ночных видениях являлся ему хафиз в образе дива и громко, торжествующе смеялся, и песня ястребом витала над эмиром.

В конце концов, он не выдержал и, призвав к себе визиря, приказал:

— Выпусти его из зиндана, и пусть убирается на все четыре стороны!

Густобородый визирь, вытащив из зиндана упрямец- хафиза, хмуро сказал:

— Прочь отсюда! И прекрати петь!

Хафиз засмеялся ему в лицо:

— Я же говорил, что песня не умещается в зиндане. И как я могу не петь, если песня — это свет, а свет нельзя погасить! Я пою не для вас, а для народа, которому песня нужна, как воздух.

К тому времени, когда хафиз снова очутился на свободе, здание старого мира уже трещало по швам, и достаточно было нового урагана, чтобы оно рухнуло, погребя под своими обломками деспотов и тиранов.

С гор спустились повстанцы, они штурмовали город; на помощь им пришли солдаты свободы — красные аскеры; город оказался в окружении; около недели длился жестокий бой, увенчавшийся победой народа, в руки которого перешли и город, и эмирский дворец.

Восторжествовали свобода и справедливость, и народ отметил это веселым празднеством, украшением которого были и песни хафиза.

* * *

Когда жена принесла хафизу чай, он сидел на сури, чуть покачиваясь, и вполголоса напевал что-то. Посмотрев на него с сочувствием, жена сказала:

— Вы бы отдохнули...

Но хафиз, думая о своем, с воодушевлением произнес:

— Вот уж верно молвится,— нет худа без добра. Когда мы в последний раз виделись с эмиром, я, стоя у зиндана, запел «Черные глаза», и голос мой зазвучал неожиданно высоко; до сих пор удивляюсь, как это у меня получилось. Помню, эмир тогда вышел из себя. А мне стало ясно, что я еще не достиг нужного звучания этого отрывка. Сколько прошло уж времени, а я все продолжал искать нужную тональность. Вот, послушайте.

Он пробежал пальцами по струнам танбура, и нежной горлицей сорвалась с его уст песня, в которой слышалась мольба влюбленного, с тоской ожидающего свидания с любимой:

*О, черноглазая моя, не будь жестокой, снизойди
До мук моих и навсегда в глаза в сердце мне войди.*

— Подумайте,— продолжал хафиз,— сколько веков пленяет слух и душу человека эта газель, в которой представлен высокий образец любви к женщине, почитания любимой, верности ей... Какая тут чистота чувства, пронзительная нежность, совершенство формы...

Хафиз положил танбур рядом с собой, задумался о чем-то, и вскоре его сморил сон, он так и задремал с медиатором на пальце.

Жена улыбнулась и покачала головой:

— Боже, до чего неугомонный человек, все не может успокоиться, все думает, как принести радость людям...

II

Еще не ушла ночь, когда он попрощался с женой; и даже в эти последние минуты жизни не изменил своей привычке — шутил, бодрился...

И вот он лежит на супа, недвижимый, безгласный; на нем одеяние, в котором уходят в вечность, на голове новая тибетейка, сверху он накрыт бекасамовым халатом.

Во дворе толпится народ; многие подпоясаны бельбагами, опираются на палки; и все охвачены скорбным молчанием.

Только жена покойного все качает головой, словно не веря в случившееся: как же, вроде здоров был, и вдруг...

В каком-то недоумении она рассказывает:

— Он попросил воды, я принесла, а он уже отошел, и на лице улыбка, тихая такая, светлая... Вчера еще был такой оживленный, все говорил и петь пробовал, и вот покинул нас, оставил — в слезах, в печали...

Когда пришли люди, которые должны были нести носилки с телом покойного, двор огласился плачем женщин и детей, но вдова жестом призвала всех к тишине; открыв лицо хафиза, она еле слышно заговорила:

— Перед смертью он успел сказать мне... Мол, прежде, чем меня похоронить, пусть мне дадут полежать на супа, в последний раз полюбоваться небом... И накажите всем, чтоб не плакали, а проводили меня в последний путь с песней. Он не любил, когда люди плакали...

Но сама с трудом говорила, слезы душили ее, горе переполняло ее сердце; она отошла в сторону, видно было, что она еле держится на ногах; поникшая, с опущенными плечами, она походила на бескрылую птицу; но, выполняя последнюю волю мужа, изо всех сил сдерживалась, чтоб не разрыдаться.

Хафиз покоился на супа, глядя в небо мертвыми глазами. Небо было чистое, прозрачное, и оттого казалось глубоким и бескрайним.

Внезапно зазвучала музыка, в небо взмыла песня, нарушив скорбную тишину и словно унося с собой в беспредельный голубой простор уныние и печаль, которые хафиз когда-то назвал своими врагами.

Лица собравшихся просветлели, и даже вдова хафиза невольно стала покачиваться в такт мелодии.

Песни следовали одна за другой, воспаряя все выше и выше, и когда похоронная процессия тронулась в путь, песни вскипали то в первых рядах процессии, то в ее гуще, то мелодию подхватывали шедшие последними.

Число людей, явившихся проводить своего любимца, все росло, вскоре уже казалось, что нет конца людскому потоку.

Лишь двое, имам и кари, брели в сторонке, а потом вообще отстали от процессии.

Имам, в недоумении пожимая плечами, осуждающе проговорил:

— О, господи, что же это творится! Одного из уважаемых наших аксакалов хоронят с песнями. Такого я еще не видывал за всю свою жизнь. Не иначе, кари, как наступает конец света.

— Не понимаю вас, почтеннейший...

— Я хочу сказать: ведь он божий раб, и на его похоронах должно соблюдать религиозный обряд.

— А он вот пожелал, чтобы его похоронили по-нню- МУ<— возразил кари,— и, как знать, может, господь внушил ему это желание. Ведь верой покойного была песня.

— По-вашему, бог повелел мусульманам вместо того, чтобы творить молитву, петь песни? — Имам даже хихикнул, будто от щекотки.

А кари гнул свое:

— Я просто сказал, что на все божья воля.

Имам взглянул на него с удивлением.

А со стороны кладбища до них доносилась песня.

И пока совершался ритуал захоронения, в воздухе лились макамы, которые хафиз бережно собирал и искусно обрабатывал в течение долгих лет, и песни, сочиненные им самим.

Близкие, друзья, почитатели хафиза медленно расходились.

Один из стариков, вздохнув, сказал своему спутнику:

— Много же народу пришло проводить его. Не каждому выпадает такая честь.

— Хафиз заслужил ее всей своей жизнью. Он оставил нам песни, которым звучать — в веках.

А песня все рвалась в небо...

1950

Ибрагим Рахим

УСЫ, НЕРВЫ И ШАГОМЕР

Когда закончилась уборка хлопка, то, как обычно, многие наши колхозники начали готовиться к поездке в Ташкент за покупками.

Дело в том, что в нашем кишлачном магазине есть товары из многих стран мира. Смекалистые люди из Ташкента и других городов специально приезжают к нам, чтобы купить сверхмодные плащи, пальто, платья, костюмы, обувь и так далее. Уж чем-чем, а модным ширпотребом наш кишлак обеспечен полностью. А вот некоторые очень популярные у нас товары — ну, там, красивый платок, яркий материал на халат, удобную, как говорится, на каждый день, обувь — попробуй, купи! И приходится ташкентским модникам ехать к нам, а нам — к ним. Ну, да мы не особенно сердимся на нерасторопных торговых работников — все-таки из-за них мы лишний раз в Ташкенте побываем, — а так, пожалуй, и не собрались бы.

Среди собирающихся ехать в Ташкент был и Таджибай; по прозвищу, «таджанг». Таджанг — значит нервный. Характер у Таджибая был очень вспыльчивый. У шоферов есть такое словечко — заводной. Таджибай заводился с пол-оборота, вспыхивая от одного слова, как сухая солома от спички. Хватался за свои усы (а они были красивые, он ими очень гордился), потом за сердце, начинал призывать аллаха, и далее в ход уже шли различные горячие слова и выражения. Теперь понятно, почему его прозвали «нервным»?

Так вот, Таджибай-таджанг собрал у себя дома общее семейное собрание по вопросу: кому что покупать в Ташкенте?

Семья у него была большая: шестеро детей, очень старая бабушка, племянница, оканчивающая институт в Москве.

Жена Таджибая, Хадича, в колхозе не работала: у нее и дома дела хватает.

— Если бы у меня, как у индусской богини, было восемь рук, — говорила Хадича, — то я, пожалуй, могла бы и в клуб ходить по вечерам, в кино и даже на танцы. Но раз у меня две руки, то придется ждать, когда младших ребят можно будет сдать в детсад, а старшие начнут помогать по хозяйству.

Это в городах, знаете, заведут себе двоих-троих детишек и уже вздыхают: ах, как быть, ах, что делать, ах, как трудно! А у нас и десять

детей не редкость, а никто не ахает и не охает.

Так вот, на общесемейном собрании Таджибай-таджанг принялся за составление списка покупок. Все шло хорошо до тех пор, пока речь не зашла о туфлях. Именно с туфель и начались необычные события, о которых мне хочется вам рассказать.

Хадича сказала так:

— Почему, дорогой мой Таджибай, вы хотите себе одну пару туфель и мне тоже одну? Тому, кто больше ходит, нужно купить не одну, а две пары.

— Молодец, женушка! — Таджибай от удовольствия даже свои замечательные усы распушил. — Я был уверен, что именно эти слова и скажешь. Конечно, теперь я со спокойной совестью куплю себе две пары туфель: одну — черную, другую... в общем, там видно будет.

— Э-э, Таджибай,— возразила Хадича.— Вы меня не поняли. Разве вы ходите больше меня?

— Как? Что ж, по-твоему, я... — Таджибай так удивился, что даже забыл возмутиться,— Да ты не заболела ли, Хадича?

— Спасибо, я здорова. Только любой скажет, что мне приходится за день ходить больше, чем вам.

— О аллах! — воскликнул Таджибай, начиная нервничать.— Эта женщина целый день дома, а я хожу по полям! И не на такси из конца в конец езжу! Я, может, в день прохожу больше, чем солдат-пехотинец!

— Тогда ничего,— ответила Хадича,— ведь пехота вся теперь у нас механизирована.

— И как у тебя язык поворачивается сравнивать мою работу со своей!— вскричал Таджибай.— Я целый день на ногах!

— А я лежу, чай пью,— усмехнулась Хадича.

Но когда Таджибай-таджанг входит в раж, он уже никого не слушает, кроме самого себя.

«Я хожу меньше жены! О аллах! — он захохотал так, как хохочут в детских мультфильмах злые волшебники.— Это самое смешное, что я слышал за всю свою жизнь! Нет, я должен пойти в чайхану и рассказать этот анекдот всем друзьям. Уж и повеселю я их! Они меня будут целый месяц кормить пловом за такую шутку! Охо-хо-хо! Я мало хожу!.. Может, ты еще скажешь, что я вообще целые дни стою на месте? Что я совсем не двигаюсь?! Что я уже не человек, а столб? Ты это хотела сказать? Я столб! Спасибо, женушка! Подожди же!..»

Ну, действительно, что тут говорить — «таджангом» зря у нас в

кишлаке не назовут!

После того, как вся семья целый час успокаивала Таджикибая (ставила на проигрыватель его любимые пластинки, дочери танцевали; бабушка даже сказку начала сказывать), он немного остыл и, нервно поддергивая усы, молвил:

— Я все-таки должен рассказать об этом друзьям. Пусть и они повеселятся.

— А завтра с утра вместе со мной можете заниматься хозяйством и увидите, сколько я хожу, — сказала Хадича.

Таджибай ничего не ответил, только посмотрел на жену как-то странно: дескать, опять за свое, не заболела ли?

В чайхане друзья не спеша пили кок-чай, кричала перепелка в клетке («питпилдык, питпилдык»), местные острословы обсуждали взаимоотношения гангстеров и полиции в США.

Когда было выпито по одной-другой пиале чая и разговор перешел на воспоминания о тех днях, когда женщины кишлака снимали с себя паранджу, Таджикибай, снисходительно улыбаясь, сказал:

— Э-э, почтенные, сейчас я вас повеселю. Как вы думаете, что мне сегодня сказала моя Хадича?

Догадки не заставили себя ждать:

— Что у тебя будет еще один сын!

— Что тебе давно пора сбрить усы!

— Что давно пора купить автомобиль!

Таджибай только посмеивался в ответ. А когда все предположения были исчерпаны, произнес:

— Она сказала, чтоб в Ташкенте я купил себе одну пару туфель, а ей две.

— Почему?

— Потому, почтенные, что она, видите ли, за день проходит значительно больше, чем я! — проговорил Таджикибай.

— Недаром твою Хадичу считают большой умницей! — подзадоривая уже «заведенного» Таджикибая-таджанга, сказал бригадир Гафур и подмигнул товарищам: — А вдруг она права?

Таджибай опешил, даже про чай забыл, стал перечислять все, что он делает за день (получилось, что он чуть не обегает дважды всю землю по экватору), и под конец заявил:

— Клянусь памятью моего отца: если выяснится, что я прохожу за день меньше, чем моя жена, то сбрую свои усы!

Прятели зашумели:

— Бросьте пустые клятвы, почтенный!

— Кто же может в этом споре указать правого и неправого?

— Никто не может проверить, кто из вас прав.

— Почему? — спокойно произнес бригадир Гафур.— Проверить, кто сколько прошел за день, очень просто. Нужно купить шагомер. Это такие, вроде часов, приборчики, которые считают шаги. Шагомеры даже в нашем магазине продают — они лежат на верхней левой полке, рядом с консервами. Стоят дешево. Таджикибай купит шагомер — и все станет ясно.

Таджибай поклялся, что завтра же приобретет шагомер, и Хадича убедится, что ей за глаза хватит и одной пары туфель.

Ничего не говоря жене, он купил шагомер и весь день ходил с ним. Шла зимняя пахота (сельских работ в колхозе всегда хватает), так что к вечеру на шкале шагомера Таджикибай с удовольствием увидел пятизначную цифру, которую тут же и продемонстрировал в чайхане.

В воскресенье Таджикибай остался дома.

— Что с вами, мой дорогой муженек? Уж не заболели? — спросила Хадича, которую удивило, что Таджикибай никуда не пошел.

Но еще больше ее удивило то, что Таджикибай начал ходить за ней с самого раннего утра, не отставая ни на шаг. Хадича идет в сад — и он в сад. Она останавливает у тандыра — и Таджикибай остановится рядом. Хадича в магазин, и муж с ней шагает.

— Что с вами? Почему вдруг вас начали интересовать хозяйственные дела? — не переставала удивляться Хадича.— Или у вас других забот нет?

В конце дня она уже начала сердиться:

— Вы боитесь, что я сбегу от вас? Помнится мне, даже в молодости вы меня так не ревновали!

Таджибай бормотал в ответ что-то нечленораздельное, многозначительно вздыхал, хватался за усы, но не мог же он сказать жене, что проводит проверку. Попробуй скажи ей, она в два раза больше шагов делать будет.

Но Хадича ничего не подозревала — она ведь и о существовании такой штуки, как шагомер, не догадывалась.

Где-то во второй половине дня ноги у Таджикибая начали гудеть, как провода на ветру. Часам к шести вечера походка его начала существенно меняться: ноги волочились, и попасть шаг в шаг с женой

ему было очень трудно. Поскольку к восьми часам Таджибай уже не мог угнаться за Хадичой, то ему приходилось просто делать шаги на месте, благо шагомеру в принципе все равно: шаг вперед, шаг назад и шаг на месте — зачет одинаков. Дети удивленно смотрели на отца, который, следя взглядом за порхающей по дому матерью, топтался на месте, как дрессированный верблюд.

— Что с тобой, сынок? — спрашивала с тахты бабушка.— Что ты все время перебираешь ногами? Садись, отдохни.

— Производственная гимнастика... ох... считается лучшим средством... э-э... для сохранения бодрости... ох! — хватаясь за поясницу, отвечал Таджибай.

Когда после ужина встали из-за стола, то Таджибай еле-еле смог добраться до своей кровати.

Хадича же все еще хлопотала по дому, ее шаги слышались во дворе, в саду. Она успевала и телевизор посмотреть, и ребят уложить спать, и на завтра приготовить еду.

Таджибай уже не то что ногой, рукой не мог пошевелить. Едва-едва достал из кармана шагомер. Ого-го-го! Цифра шагов вдвое превышала ту, которую он с гордостью показывал друзьям!

Таджибай тотчас же перевел шаги в метры и ойкнул: получалось что-то вроде семидесяти километров! Расстояние от их кишлака до Ташкента? Хадича еще продолжала сновать туда-сюда!

...Когда уже на заходе солнца Таджибай вернулся из Ташкента с покупками, то автобус, как всегда, остановился прямо против чайханы.

Пиалы замерли в руках приятелей, и недоуменные слова, как вздохи, вылетали из губ:

— Кто это? Вроде бы Таджибай!

— О аллах! Если это Таджибай, то где же его усы?

Зачем ему усы, когда у него шагомер есть? — усмехнулся бригадир Гафур.— Интересно, сколько же пар туфель он купил своей Хадиче?

Рахмат Файзи

СВЕКРОВЬ

Тетушка Сабри прямо с поля зашла в детский сад. Она каждый день заходит за внуком. И всегда здесь шум и веселье. Девочки укачивают «дочек» и поют колыбельные песни. Мальчишки оседлали коней и скачут в неизвестность. А вот толстый шалун прицепил к паровозу вагоны, везет их вдаль и сам пыхтит рядом. Девочки прыгают через скакалку и, напрыгавшись вволю, бегутся за мячи.

Тетушка Сабри видит все это ежедневно, и всю ее усталость как рукой снимает.

Она любит ходить сюда и раз навсегда договорилась с невесткой, что забирать внука из сада будет она, бабушка.

Воспитательницы приветливо встречают ее, приглашают посидеть. Тетушка Сабри садится и счастливо улыбается.

- Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Вот эта толстушка дочка Салтанатхон? Просто куколка, а сладкая какая! Дай бог здоровья. А наше детство...— Тетушка Сабри вздыхает.— Что мы видели? Кусок сухого хлеба, да и то не всегда. А кукол мы делали из тряпок. Каждый ребенок был лишним ртом в семье. Господи! Родила я своего старшенького, век не забуду. Мне же шестьдесят пять, а вспомню и сейчас плачу. Родила я его на рассвете. Бедная мама, всю ночь сидела около меня, она и приняла сына. Потом вскипятила самовар, налила мне чаю и достала из кармана кусочек пыльного сахара. Приберегла для меня. Свекровь вынесла две кукурузные лепешки. Мама, бедная, беспокоилась, меня нужно было накормить. Но говорить об этом она не решалась. А в доме у нас пусто. За день до родов я сама из остатков муки испекла кукурузные лепешки.

Я сильно ослабла. И тут пришел муж и принес что-то в беленьком мешочке. Отдал свекрови. Свекровь накинулась на него:

— Ага, для жены деньги нашлись, а я вчера попросила, так не было.

Муж молча вышел. А рассерженная свекровь принялась готовить мне жидкую затируху из пшеничной муки, которую где-то достал муж. Но разве я могла есть?— Тетушка Сабри вздохнула.— Вот так мы и жили.

— Ваша свекровь была такой жадной? — спросила молоденькая воспитательница.

— Тогда и мне так казалось. Она все время была недовольна, ворчала, всего боялась. Сейчас я сама свекровь и понимаю: нельзя было ее винить. Все из-за бедности. Вот у меня не одна, а три невестки. Младшенькая со мной живет. Разве я могу пожалеть для нее что-нибудь, дай бог ей здоровья. У нас все есть, и в голову не приходит жалеть. Засиделась я с вами, пора домой,— сказала тетушка Сабри.

Она позвала внука.

— Домой, да, бабушка?

— Скорее, сынок.— Она взяла Кабулджана за руку и вышла на улицу.

И вот идут они — бабушка и внук. Бабушка моложавая, румяная, а внук, крепенький, смуглый, бежит впереди. И вспомнила тетушка Сабри детство своего младшего сына — отца Кабулджана. Уж очень похож мальчик на отца.

...Тетушка Сабри с четырехлетним сыном на руках шла на первое собрание членов колхоза «Солнце Октября». Собрание закончилось поздно, на улицах темно, а ей во что бы то ни стало нужно попасть домой. Ребенок давно заснул у нее на плече, а тут пошел дождь. Она пошла быстрее и попала в арык. Ребенок заплакал. Тетушка Сабри быстро подняла его,— слава богу, ребенок не ушибся. Она успокоила его, и Сабирджан, снова засыпая, все показывал на ножку. Оказывается, в грязи потерялась одна калоша. Она долго искала ее в темноте, но так и не нашла. До своего кишлака тетушка Сабри добралась далеко за полночь.

А до рассвета свекровь не дала уснуть.

— Конечно,— кричала она,—ты не зарабатываешь, поэтому ничего не жалеешь, разбрасываешься. Шатаешься всюду, рада, что муж умер.

Тетушка Сабри проплакала тогда до самого утра.

Сейчас она вспоминала ту ночь и жалела свекровь. Да, бедность и горе делают человека жестоким. А потом... Потом она вступила в колхоз и растила своих мальчиков.

Теперь вот внучек такой же точно, как Сабирджан тогда.

— Кабулджан,— позвала она внука,— что тебе папа обещал привезти из Москвы?

— Велосипед. И еще... самолет.

Дома тетушка Сабри лишь успела переодеть внука, вошла тетушка Рисолат.

— Добро пожаловать, Рисолат, что-то давно вас не видно.

— Нездоровится,— пробурчала вечно недовольная Рисолат.

— А у врача были?

— Была, да ничего не нашел врач. Здорова, говорит. А мне кажется, сглазили меня.

— Не верю я сглазу.

— Что это вы так наряжаете внука, думаете, он вам мраморный памятник поставит? — перевела разговор на другое Рисолат.

Тетушка Сабри рассердилась.

— Поставит пли не поставит памятник, лишь бы был здоров. Проходите, садитесь,— добавила она.

Рисолат взобралась на широкую деревянную кровать посреди двора и уселась, а тетушка Сабри занялась самоваром.

Рисолат была женою брата покойного мужа тетушки Сабри. Не любила ее тетушка Сабри за болтливость и хвастовство.

Рисолат одевалась, словно молодая девушка, в яркие атласные платья, брови густо красила усмои и на руки надевала браслеты и кольца.

— А что это ваша Гульджахон всегда так поздно приходит?— спросила она тетушку Сабри, накрывавшую стол для гостыи.

— Да нет, не всегда. У нее нынче экзамены. Устает она. Да и шутка ли — механизатор и еще экзамены сдает.

— Экзамены?

— А вы не знали?

— Я думала, она на курсах.

— Нет. Заканчивает десятый класс. Теперь уже немножко осталось. Спасибо председателю, разрешил лишь присматривать за бригадой пока.

— Так ее сняли с бригадиров?

— Да нет, просто дали возможность сдать экзамены.

Тетушка Сабри заторопилась в кухню.

Спустились сумерки, и стало прохладнее. Тетушка Сабри зажгла свет во дворе и позвала внука.

— Гульджахон вернется поздно, давайте ужинать.

Тетушка Сабри подала плов и присела.

— Волнуюсь,— призналась она,— словно мне нужно сдавать экзамен.

— Да, повезло вам с невесткой,— сказала Рисолат,— а вот мне...

— А что вам, чем плоха ваша? Вежливая, хозяйка, красавица.

— Это так со стороны кажется, язык у нее поганый.

Я ведь знала вашу невестку еще девочкой. И зря вы ее ругаете, дорогая.

— Зря! Другая на моем месте давно бы сбежала от такой невестки, а я терплю, ради сына.

— Что опять случилось? — спросила тетушка Сабри.

— Позавчера утром поехала я в город. Невестка моей младшей сестры устраивала свадьбу. Ну и заночевала там. А вчера к вечеру возвращаюсь, моя невестка дуется. Я-то приехала усталая. Ну и расплакалась, пожаловалась сыну. А сын защищает ее. Обидно! Это она его таучила. Я начала плакать, собрались соседи. А Кара- мат, сестра тракториста, говорит мне: «Вы сами виноваты».

— Правильно, сами виноваты, Рисолат. Вы ведь моложе меня лет на восемь, а не работаете. Ну ладно, никто вас не заставляет. Так зачем же поднимать скандал и наговаривать на невестку? Вместо того, чтобы помочь ей по дому. Эх, Рисолат, Рисолат! Никак вы ничего не хотите понять.

Рисолат молчала.

— Вы извините,— продолжала тетушка Сабри,— но я люблю правду в глаза говорить. Ведь вы мне родственница, и я вовсе не хочу, чтобы над вами смеялись.

— Да,— задумчиво протянула Рисолат,— может быть, и правда, сама я виновата.

В калитку постучали. Тетушка Сабри бросилась открывать.

— Мамочка, дорогая, сдала,— закричала Гульджан и обняла тетушку Сабри,— На пятерку,— добавила она.

Тетушка Сабри тихонько вытерла слезы и заспешила к гостье.

1953

Саид Ахмад

ЖУРАВЛИ

Здесь, за холмом, шум реки уже не был слышен. Тишину нарушал лишь одинокий журавлиный крик, исходивший почему-то не с высоты а откуда-то снизу. Ветер донес до меня запах ананасов. Метрах в двухстах от пыльной дороги я увидел шалаш и сидящего возле него старика. Из шалаша соблазнительно пахло ананасными дынями. Мне захотелось утолить жажду ломтиком дыни, и я свернул к шалашу.

Старик сидел неподвижно, видимо, боялся спугнуть перепелок, слетевшихся к ловушкам на бахче. Он прислушивался к их щебету. Возле старика на арабском паласе примостился... журавль, поджав под крылья длинные ноги. Время от времени он поглядывал на красный диск солнца, уходящий за холмы, и выкрикивал что-то на своем птичьем языке. Каждый раз, когда журавль вскрикивал, его фиолетовый хохолок на голове колыхался и сверкал, словно шелковый, иод лучами солнца. Я так был заворожен этой картиной, что чуть не споткнулся о чайник. Старик поднял голову и удивленно посмотрел на меня. Я вдруг вспомнил, что у сторожей на бахчах всегда бывают злые собаки, и замер, ожидая, что откуда-нибудь они сейчас выскочат и набросятся на меня.

Я испуганно спросил:

— Где ваша собака?

Нет, нет у меня собаки, — ответил старик. — Пожалуйста, проходите. Не держу я собак — они могут искушать журавля.

Журавль, увидев чужого, поднялся и ушел за шалаш.

Старик расстелил одеяло, пригласил меня сесть и, повернув голову в ту сторону, куда ушел журавль, проговорил успокаивающе:

Не бойся, не бойся! — Затем обратился ко мне: — А вас какой ветер к нам занес, сынок? Вы не из начальства?

Не зная, как представиться, я растерянно помолчал, но все же ответил:

Я гость вашего селенья, отец. Торопился к поезду, но услышал аромат дыни и завернул к шалашу, не смог пройти мимо. Теперь ваша воля: угостить меня или нет. Разумеется, я заплачу.

Старик недовольно нахмурился.

Брать деньги с гостя на бахче — не крестьянское дело. У нас дыней

угощают, а не торгуют. Принести вам, или сами выберете? Лучше сами сорвите, она вам вкуснее покажется. Пройдите в конец поля — там ананаски.

Старик, указав мне дорогу к грядкам, поднял чайник, о который я чуть не споткнулся, зачерпнул воды и занялся костром, с хрустом ломая о колено сухие ветки. Он крикнул мне вслед:

— Если хотите попробовать настоящую дыню, выбирайте ту, на которой трещинки от утренней росы, такие дыни излечивают от сорокалетних недугов.

Дойдя до конца бахчи, я замер от восторга: оттого ли, что ветер стих или воздух здесь был пропитан ароматом дынь,— запах кружил мне голову. Отовсюду слышалось легкое потрескивание, будто опытный продавец рвал ткань. Это покрывались сетью трещинок спелые, наполненные сахарным соком дыни. Около моих ног застрекотала перепелка, попавшая в ловушку.

В шалаш я вернулся с дыней в одной руке и с перепелкой в другой. У старика уже закипал чай. Взглянув на мою дыню, старик улыбнулся:

— Вот и видно горожанина, разве можно сказать, что ели дыню на бахче, если не съели ее на грядке, где она созрела.

С дружелюбной усмешкой старик вытянул из-за голенища нож и протянул мне. Затем из узелка, висевшего под самой крышей, он достал хлеб, сушеный урюк, сахар и стал готовить дастархан к чаю.

Я разрезал дыню и словно впервые в жизни дорвался до нее, сам не заметил, как съел всю. Старик протянул мне пиалу с крепким чаем. Пальцы у меня слипались. Старик рассмеялся.

— Вот какие сладкие у нас дыни,— приговаривал он, поливая воду мне на руки.— Это новый сорт, ананаски. Многие мечтают достать семена.

Солнце уже село, когда издали послышалось журавлиное курлыканье. Старик взглянул на небо и не отрывал глаз от далекого косяка журавлей, пока тот не исчез за горизонтом, растворившись в прозрачном, огненном занавесе заката. Журавль за шалашом забеспокоился и, словно собираясь взлететь, захлопал крыльями, расправляя их.

Давно уже стихли голоса улетевших птиц, а из-за шалаша все еще слышались тяжелые взмахи крыльев.

Лицо старика стало серьезным. Исчезла улыбка с губ, взгляд потускнел, и даже прибавилось морщин на лбу. Он озабоченно

поднялся и принес журавля в шалаш.

— Эх, божья тварь. Соскучился по землякам? Сородичи твои полетели в жаркие страны. Ну, лети и ты с ними. Иди, иди! Ведь и ты такой же.

Журавль, шевеля фиолетовым хохолком, взволнованно и грустно глядел вдаль, вслед каравану, словно желал доброго пути своим братьям.

Я спросил:

— Откуда журавль? Давно он живет здесь?

— Ранней весной я получил телеграмму от сына Андруши,— ответил старик.— Он сообщил, что едет в дальние края, и просил подождать, пока вернется. А я уже собрался было в Ленинград. И тут телеграмма, как гром с ясного неба. Уронил я арбуз, как говорится. После такой вести мне ничто не было мило. Очень соскучился по сыну! Ни есть, ни пить, ни спать не хотелось. Как-то раз я все-таки задремал и увидел сон: будто Фазлиддин, такой печальный, спрашивает меня, почему брат не пишет? А я скрываю от него, что Шамсуддин погиб. Затем вдруг, откуда ни возьмись, появился Шамсуддин, и оказывается, он тоже в обиде на меня, что я не сообщил ему о гибели Фазлиддина. Тут я проснулся от множества голосов. Мне показалось, что чабаны гонят мимо дома отару овец. Взглянул во двор, а там кружатся и кричат журавли. Впервые тогда я увидел журавлей так низко. Стою, удивляюсь, слушаю их. Полчаса кружились они над моим домом с курлыканьем, таким жалобным, будто стон, а два журавля то резко спускались, чуть не ударяясь о карниз крыши, то поднимались, то опять опускались... Потом стая улетела к югу. А утром за домом я нашел этого журавля и понял, что произошло. Журавль был ранен. У него не хватило сил улететь дальше. С тех пор живет со мной. Очень привык. А теперь уже третий день мучается. Как увидит улетающих журавлей — не находит себе места.

— А летать он все еще не может?

Может. Иногда куда-то улетает, а потом опять возвращается.

Старик умолк, прислушиваясь к чему-то.

Вы опоздали к поезду, сынок. Теперь уж не поспеете, поезд подходит,— сказал он, зажигая керосиновую лампу.

Через несколько минут послышался пронзительный гудок паровоза и сквозь частые ряды тополей замелькали освещенные окна вагонов.

— Я вам постелю, ночуйте здесь. Завтра поедете.

Он положил мне в изголовье скатанный халат и ушел проверять ловушки.

Осторожно шагая с грядки на грядку, чтобы не наступить на хрупкие стебли дынь, старик собрал перепелок в мешок. Походив за шалашом, он решил, наверное, что я уже сплю, на цыпочках вошел в шалаш и, подойдя к журавлю, безмолвно сидевшему в своем углу, что-то шепнул ему. Может быть, он поведал журавлю о своих детях. Значит, у него погибли два сына! В Ленинграде живет третий сын... Почему его зовут Андреем?

Я, протянув руку, на ощупь нашел спички и папиросы. Старик повернулся ко мне:

— Не спите?

— Что-то не спится.

Старик молча подошел к лампе, погасил ее и сел подле меня, скрестив ноги. При лунном свете хорошо было видно лицо старика, обрамленное седой, словно светящейся бородой.

Было тихо. Слышалось стрекотанье кузнечиков или сверчков.

Отец, я хочу спросить у вас... Заранее прошу прощения за любопытство.

Пожалуйста, спрашивайте.

Расскажите мне о ваших сыновьях и об Андрее.

По видимому, старик продрог, он потянул с пола одеяло и накинул себе на плечи. Луна вдруг скрылась, скрылось во тьме и лицо старика.

Он хотел что-то ответить, но вместо этого тяжело вздохнул. Так тяжело вздыхать может человек только при тяжелой утрате.

Старик потер лоб, потрогал бороду, тихонько хлопнул себя ладонями по коленям и наконец сказал:

— О сынок, если бы человек не наделен был терпением, его давно задавило бы горе. Вот, видите, я еще жив. а думал, свалюсь и больше не встану. Я потерял двух сыновей. Двух! Когда началась война, моему первенцу, Шамсуддину, было двадцать два года, а младшему, Фазлиддину, — девятнадцать. Старшего не взяли в армию из-за зрения.

— А что у него было с глазами?

— Во время тоя в честь рождения сына Умар-ходжа устроил фейерверк. Шамсуддин тогда еще не умел ходить, покойная жена уложила его спать в люльку. Надо же случиться беде! Один из зарядов угодил в люльку и там разорвался. Мальчику обожгло лицо и

повредило левый глаз. Этот глаз совсем перестал видеть. Поэтому его взяли на трудфронт. А Фазлиддина призвали в армию. Я проводил его до станции Байтук. Был он в Ленинграде, писал нам. А Шамсуддин писал из Подгорья. Вы случайно не были в Подгорье?

И не дожидаясь моего ответа, старик продолжал:

Я был в Подгорье. Меня вызвали туда, когда устанавливали памятник. Там, в Подгорье, есть электростанция. Когда немцы добрались до Подмосковья, эта станция стала снабжать токком заводы и население столицы. Немцы не жалели ни самолетов, ни бомб, чтобы вывести станцию из строя.

Шамсуддин мой работал на выгрузке угля. Однажды, когда он шел на работу, вдруг объявили тревогу. В небе появился немецкий самолет. Одна из бомб угодила во двор детского сада, прямо в кучу песка. Рядом в доме находились дети. Шамсуддин выхватил из песка бомбу и кинулся с ней к реке. Но из-за своего зрения споткнулся, бомба взорвалась... Еще до конца войны я поехал туда, на его могилу. Детскому дому присвоили имя моего сына, а во дворе установили бронзовый бюст.

У старика дрогнул голос. Я что-то пытался говорить, чтобы успокоить его.

- Не надо, сынок, не утешайте меня. Поплачу, станет легче.

Потом он снова заговорил:

Фазлиддину я не сообщил о смерти брата. Целый год он в каждом письме просил его адрес. А тут вдруг я получил второе черное письмо, где сообщалось, что мой меньшой утонул во время сражения. У бедняжки нет даже могилы. Вот и остался я...

В звездном небе словно взлетели качели — появилась еще одна журавлиная стая. Не отрывая взгляда от каравана, старик продолжал:

— Остался я одиноким, будто никогда не было у меня сыновей. Не знал, куда себя деть, места не находил, бродил, как помешанный. Ясный день казался мне темнее ночи. Председатель наша, умница, взяла меня с собой в Андижан. В ту пору туда доставили детей из Ленинграда. Председательница будто невзначай показала мне этих ребят и уговорила взять на воспитание мальчика. Я и взял Андрюшку, измученного, слабенького. Поставил на ноги. А потом дошел до меня слух, что родственница разыскивает его. Я молчал, не мог отдать ребенка. Мальчик, когда подрос, стал часто вспоминать Ленинград, отца, мать. Сердце мое обливалось кровью. Не выдержал. Сам пошел и

попросил, чтобы разыскали в Ленинграде родителей Андрея Карпова. Оказалось, что и мать и отец Андрея погибли во время блокады. Пришло сообщение, что мальчика давно ищет тетя. У него словно крылья выросли, готов был улететь гуда. Собрались мы и поехали. Своими руками отдал мальчика его единственной родственнице. А сам опять осиротел... Опять тоска... Андрюша там учился, в Ленинграде, женился, родился у него сын — и назвал он сына Сабиром. Дал сыну мое имя — Сабир! Недавно гостили они у меня. Когда прощались на станции Байтук, внук как обнимал меня, целовал, говорил: «Дедушка, я приеду, буду жить у тебя!» Я им в вагон положил десяток огромных ананасок... Как вы думаете, довезли они их до Ленинграда?

Конечно, довезли.

Когда я отдал Андрюшу тетке, каждое утро просил у бога смерти. А теперь повидал внука и не хочу умирать, хочу дожить до его свадьбы. Жаль, годы у меня преклонные... Ох, довольно вспоминать, надо спать.

Старик умолк. Я долго не мог уснуть. Перед моим мысленным взором проходила жизнь этого человека.

Я уже начал засыпать, когда до моего слуха донеслись журавлиные крики. Будто где-то рядом хлопали крылья. Старик вскочил с постели, я тоже приподнял голову.

— Улетел! с обидой и горечью выговорил старик.

Журавль, хохолком которого я любовался всего лишь несколько часов назад, летел к югу, вслед за стаей. Косяк, сделав полукруг, полетел обратно, к нему навстречу. Строй нарушился. Журавлиная переключка походила на веселый разноголосый женский говор на свадьбе.

Наладив строй, журавли плавно покружились над нашим шалашом и ушли на юг к предрассветному небосклону.

Старик ласково и грустно проговорил:

— Ушел!

Каждую весну, когда я вижу журавлиный караван и люблю их полетом в бирюзовом небе, вспоминается мне одинокий старик на краю колхозной бахчи.

Едва услышу вдали журавлиное курлыкание, мне кажется, что воздух напоен ароматом ананасных дынь.

Как бы я хотел снова увидеть спускающегося к шалашу журавля с покачивающимся нежно-фиолетовым хохолком на голове!

ТИШИНА

Трудно приходится тому кто не умеет плакать.

Страдание, боль, досаду, гнев все уносят слезы. И гот, кому не дано выплакать печаль свою, словно бы весь застывает, и долго-долго грусть владеет ею сердцем.

Наверное, поэтому старые люди творят: поплачь, облегчи Душу.

Мудрые слова!

Талибджан не умел плакать. Нет, он плакал, но где-то глубоко в сердце беззвучно, без слез. И эти непролитые слезы были для него вечной мукой. За неделю волосы Талибджана стали белыми, как крыло белого голубя.

Пришло время послушать докторов.

И еще вспомнил Талибджан о своей ее с I ре. Вроде как сгнула она в далеком кишлаке. Талибджан не видел ее тридцать с лишним лет. Сколько у нее детей? Где работает муж?.. Он ничего не помнил, а скорее всего и не знал.

Но был родной кишлак. Гам он вырос. Гам была улица его детства. И еще река, где он купался, долина... Ему помнилось, что долина была удивительно спокойная, а река шумная, бурная,

Быть может, там обречет он немного тишины? Она так нужна ему!

Он взял небольшой чемоданчик и отправился в путь.

Широкий сай разделял кишлак на две части. У окраины кишлака сай привольно разливался и образовывал десятки островков.

Когда-то в детстве Талибджан, наплескавшись вволю в воде, зарывался в песок на какомнибудь островке и подолгу лежал, отогреваясь на солнце. Лежал на спине и смотрел на небо. Небо тот да было синее, чем сейчас. Белые пенистые облака медленно проплывали над кишлаком. У из камышей доносилось кваканье лягушек и криканье уток.

И лежа вот так, на спине, устремив взгляд в небо, Талибджан словно облетал весь мир. А ночью он чуть ли не до рассвета любовался, не отрываясь, мерцающими звездами.

И вот сейчас он стоит на тропинке своего детства. Но дороги назад нету! Он уже не тот босоногий, обожженный солнцем беззаботный мальчишка, а седой, пожалуй, даже старый Талибджан. и лицо его покрыто тяжелыми морщинами.

Он смотрит на реку. Увы! Не стоит искать глазами хотя бы смутные следы далекого детства.

Сколько шалостей и веселья унесла с собой эта река

Здесь он вырос. Здесь его посетили первые надежды, первые надежды, первые мечты. На этих тихих и пыльных улочках, что вон там, за рекой, он узнал свою первую любовь радостную, как песня, забываемую, как стихи.

До чего же далеки, невозможно далеки те дни! Талибджан долго, очень долго стоял на мосту, охваченный воспоминаниями

Только к вечеру добрался до дома сестры.

Тогда, в те далекие времена, сестра была девчонкой. На два года моложе его. Когда же он видел ее в последний раз? Тридцать четыре года назад это была полногрудая девушка, и каждая черточка ее лица и глаза светились радостью, сознанием своей привлекательности. Такой она и осталась в памяти Талибджана.

«Какая она сейчас?»—думал он.

Талибджан толкнул калитку и нерешительно шагнул во двор. Мальчишка лет четырнадцати воззрелся на незнакомого мужчину. Вытер тряпкой перемазанные маслом руки, поднялся.

В противоположном углу двора трое ребят, сидя на корточках, что-то мастерили. А на айване, спиной к вошедшему Талибджану, сидела старуха.

Талибджан окинул взглядом двор, дом, айван. Сердце его вздрогнуло и сжалось, в груди стало тесно и горячо.

А может, сестра уже давным-давно переехала и здесь живут чужие люди?

Паренек подошел к Талибджану, поздоровался.

— Это дом Зайнабхон? — глухо спросил Талибджан.

— Да, входите, пожалуйста.

Талибджан облегченно вздохнул.

— А кем вы приходитеесь Зайнабхон?

— Внук. А вы кто?

Талибджан не успел ответить. Старуха на айване вдруг окликнула паренька:

— С кем это ты разговариваешь, сынок?

Господи! Это же ее, ее голос! Родные, теплые, далекие, полузабытые нотки... Талибджан бросил свою поклажу и побежал к айвану. Заслышав шаги, старуха заволновалась, попыталась было встать.

Это была мачеха Талибджана.

«Сколько же ей? — подумал Талибджан, разглядывая иссохшую фигурку с тоненькой шейкой.— Должно быть, за девяносто?.. Да, за девяносто».

Когда Талибджан покинул кишлак, мачехе было около шестидесяти. Вот она, жизнь человеческая!

Талибджан приблизился к айвану и, наклонившись, обнял старуху. Он уткнулся лицом ей в плечо и на мгновение замер.

— Кто ты? Я слышу знакомый запах.

Старуха была слепа. Она осторожно ощупывала плечи Талибджана, гладила его, но не узнавала.

Скажи мне, кто ты? Уж не Талиб ли ты?.. Сынок, я чую запах Талибджана.

У Талибджана сжалось сердце. Старуха гладила его по голове, плечам...

— Где же ты скитался, сынок? — говорила она, как маленькому.— Где бродил, когда глаза мои были зрячими, глупенький?

Талибджан не отвечал, охваченный давно забытым чувством. Легонько отстранив Талибджана, старуха повернулась к правнукам.

— Что же вы остолбенели,— сказала она,— зовите бабушку, бегите скажите отцу. Дядя ваш приехал...

Во дворе поднялся гам, ребята бросились разыскивать бабушку, сестру Талибджана.

Ишь, озорники, дай им бог здоровья,- улыбнулась старуха. Она нащупала чайник, завернутый в безрукавку, и ловко налила чай в пиалу. Где ты, сынок? Выпей ка. Я заварила с корицей. Пей, сынок.

Талибджан взял из ее рук пиалу. И вдруг вспомнил, что и тогда, тридцать с лишним лет назад, мать заваривала такой же чай - с корицей. Сейчас он глотал эту ароматную влагу и с удивлением чувствовал: то, что было тогда, давно в детстве, живет в нем и поныне.

Запыхавшаяся женщина лет пятидесяти в туго повязанной золотистой косынке на голове подбежала к Талибджану, бросилась ему на шею.

Брат... братец!.. Приехал!

Это была его сводная сестра Зайнаб.

Талибджан с грустью глядел ей в лицо.

— Вот видишь, приехал...

Ребята с интересом, не отрываясь глядели на них.

— Чего стоите? обернулась к ним Зайнаб. - Это же ваш дядя. Ну-ка

зовите всех!

Ребята давным-давно известили всех родных о приезде дяди, и во двор один за другим уже входили мужчины.

Три дочери Зайнаб были замужем, у каждой из них росли дети — у одной четверо, у другой пятеро. А у старшего сына — шестеро.

Пришел муж Зайнаб, подойдя к Талибджану, обмял его.

Во двор за тащили барана и, подведя его к старухе, попросили благословения. Старуха долго что-то шептала и наконец провела ладонями по лицу. Барана зарезали у ног гостя.

Наступил вечер, в домах зажглись огни. Зайнаб накрыла дастархан прямо во дворе, под деревьями. Старший зять бережно перенес к столу старуху. Собрались соседи, друзья.

Зайнаб накинула на плечи Талибджана новенький стеганый халат, подарила тюбетейку, села она напротив него и все глядела, глядела, думая о чем-то своем, далеко. Она радостно смеялась, но Талибджан видел, как слезы застилают ей взор. Она так и смеялась со слезами на глазах.

И Талибджан думал о чем-то своем, все время молчал. Он не умел плакать и почти не смеялся.

Наступила ночь. Зайнаб постелила брату тут же во дворе, на сури, рядом с мужем. Тот, утомившись за день, сразу уснул, а Талибджан лежал с открытыми глазами и видел над собою звезды звезды своего детства. Они по-прежнему перемигивались.

Было очень тихо. Небо звездное, ясное, как когда то давным- давно. Круглая, словно медное блюдо, лупа по-хозяйски прогнала стайку темных облаков и засияла на небесах. Казалось, это сияние проникает прямо в грудь, хочет отогреть окаменевшее сердце Талибджана. В застывшей тишине было слышно, как сонно шевелятся воробьи в ветвях старого карагача.

И вдруг, нарушая тишину, издалека донесся взрыв: ударившись о стены гор, раскатился взволнованным эхом! Второй взрыв... третий...

... Еще не занялся рассвет, а Зайнаб уже занималась хозяйством — замешивала тесто для завтрака, хлопотала возле тандыра.

Будут свежие лепешки»,— обрадовался, как когда-то в детство. Талибджан. Он шевельнулся. Сестра заметила.

Не спится, брат, а? Это гору взрывают. Водохранилище строят. Ты лежи, подремли еще.

Небо прочертили молочно-белые лучи, сверкнула молния. Яркие

всполохи электросварки то зажигали, то гасили гигантскую свечу — верхушку могучей чинары. Откуда-то донесся скрежет,— должно быть, это подъемный кран или экскаватор. Шум этот не раздражал Талибджана. Наоборот, радовал почему-то.

Он лежал и ждал новой вспышки.

До самого утра небо озаряли пронзительные лучи, и всякий раз «вспыхивала» верхушка чинары. Снова и снова металлический скрежет разносился по округе.

Талибджан лежал и думал, думал...

Когда он покинул родной кишлак, ему едва исполнился двадцать один год. Было это ровно тридцать четыре года назад. С тех пор он успел закончить институт; воевал, вернулся с фронта; закончил в Москве аспирантуру. Побывать на родине все было недосуг. Порой ему думалось, что здесь, в кишлаке, у него, пожалуй, и нет родных. Мачеха — добрая, славная, но мачеха. Сестра — сводная. Кто его тут ждет?

Подумать только!... Когда Зайнаб подросла, мачеха хотела выдать ее замуж за Талибджана. «Зачем девушке уходить в чужой дом?»— говорила она. Талибджану было всего четыре года, когда умерла его родная мать. Отец женился на вдове с двухлетней дочкой.

Вот эта девяностолетняя старуха и есть та самая вдова, которая пришла к ним в дом. А Зайнаб — та двухлетняя девочка. Они росли вместе, Талибджан и Зайнаб, и он любил ее и считал своей сестрой. Как раз тогда, когда Зайнаб стала невестой, он ушел из кишлака.

Он вернулся с войны, но не вернулся в кишлак. От мачехи получил письмо. Талибджан тогда только что женился и собирался ехать за границу. И, конечно, снова не выкроил времени побывать в кишлаке.

Каких только не повидал с тех пор стран, где только не был! Ань-Шаньский металлургический комбинат, строительство афганской бетонной дороги, Асуанская плотина...

Талибджан вспоминал, вспоминал... всю свою жизнь, счастливые и черные дни.

Родился сын. Там, на Ань-Шаньском комбинате, он был совсем малышом. На Асуанской плотине — уже подростком.

Когда строили шоссейную дорогу, у сына уже ломался голос и начали пробиваться усы. Талибджан с женой решили отправить его на родину, заканчивать советскую школу.

А потом сына призвали в армию.

А потом!.. Потом жена попала в автомобильную катастрофу.

Талибджан похоронил ее на чужбине.

Сколько трудностей вынесла она вместе с ним! Как мечтала увидеть сына!

Некоторое время спустя Талибджан вернулся на родину. Сын все еще служил в армии. Талибджан не сообщил ему о смерти матери. Все не решался.

Вот и вся жизнь. Вот и все, что выпало на его долю.

И сейчас, глядя на небо, такое до боли знакомое, он вспоминает день за днем всю свою жизнь...

Когда он открыл глаза, солнце стояло уже над головой. Мачеха сидела около него и ждала пробуждения. Возле старухи примостились правнуки и, не шевелясь, во все глаза глядели на нового дядю.

— Вставай, сынок.

Ее голос снова напомнил детство и болью отозвался в сердце. Ему захотелось, как в детстве, обнять ее, уткнуться лицом в ее платье, рассказать о своих бедах. Но ничего этого он не сделал. Просто приподнялся с постели.

На вершине горы сияли солнечные лучи.

Своим мудрым сердцем старуха почувствовала, что у него тяжело на душе, что он страдает. За чаем она сидела против Талибджана и говорила тихим голосом:

— Я знаю, сынок, у тебя горит душа. Расскажи мне.

Талибджан с трудом проглотил глоток чая.

— Жену, невестку вашу, похоронил в чужой земле,— глухо сказал он.— Сын погиб...

Старуха помолчала. От старости она уже не могла плакать. Затем придвинулась к нему ближе, опираясь о тьюфячок. Протянула руку, на ощупь нашла его голову, погладила.

— Так уж устроен мир. сынок. На долю одних — счастье, других — беда. Что делать? Хоть и слепая я, а чувствовала — тяжело у тебя на душе. Зарыл свое счастье в чужой земле... Что поделаешь, судьба! — Еще помолчала.— Скоро придет зять. Он хороший. Сходи с ним в горы, развейся.

Талибджан поднял старушку и перенес на айван. Она была легкой, как птичка.

А какая дородная, статная была она тогда, в годы его детства. Он вспоминал: она носила серебряный браслет, и он был едва заметен на ее полной налитой руке. А теперь руки у нее тоненькие, как палочки.

— Принеси сюда мой чай с корицей, сынок.

Талибджан взял с сури чайник, покрытый детской тубетейкой.

— Теперь ступай, походи немножко, пока зять не придет за тобой. Пстой, забыла... Сядь-ка.

Талибджан сел. Старуха прочла коротенькую поминальную молитву, упомянув жену и сына Талибджана, провела руками по лицу и отпустила его.

Талибджан вышел на улицу.

Солнечные зайчики играли на заборах и шиферных крышах. По гладкой асфальтированной дороге сновали самосвалы, от их покрывшек на дороге оставались черные жирные следы.

Талибджан бродил по улицам кишлака. Людей почти не видно, все на работе.

Он побрел туда, где так любил лежать мальчишкой. Снял туфли, подвернул брюки до колен и, перейдя речушку, очутился на островке. Вода текла спокойно и лишь там, подальше, билась о камни. Даже здесь был слышен шум моторов. Из глубины гор отчетливо раздавался лязг металла, гул экскаватора. Талибджан лег на песок и вновь уставил взгляд на небо.

Вот оно, его родное небо,— безмятежное, прозрачное. Облака, тянущиеся с запада, нежные, чистые, как душа младенца, мягкие, как грудка белого зайчишки.

И все время — гул моторов.

Талибджан приехал в родной далекий кишлак искать тишины. Но и здесь ее нет. Проснулись дремлющие чинары и веками спящие утесы. И даже речушка, которая тихонько унесла вниз по течению его детство, даже усталые воды ее тоже вращают теперь лопасти моторов. И это обиталище покоя и тишины похоже нынче на кипящий котел.

Талибджан пролежал на песке почти до самого вечера. Ему не хотелось покидать этот уголок, где свободно гулял ветер и все еще ютились воспоминания детства.

Уже в сумерки он взял в руки ботинки и пошел босиком по пыльной дороге. Шел легко, словно наконец-то обрел душевный покой, оставив тревогу и горестные мысли на этих песчаных островках. И, проходя по улицам кишлака, Талибджан думал о том, что теперь он знает, как развязать тугой узелок, стягивающий сердце.

Он искал тишины. Но там, где тишина, нет жизни.

Жизнь угасает в тишине. Тишина разрушает не только камни, но и

человеческую душу. Стоячая вода загнивает, дерево сохнет, тишина зовет, завлекает и душит жизнь. И только в настоящей жизни человек обретает покой. Наверно, в этом-то и есть смысл жизни.

Утром Талибджан верхом отправился в горы — туда, где строилось водохранилище.

Где-то далеко, почти на самой вершине, показались два всадника. Один из них приподнялся на стременах. Это—Талибджан. Он глядит на родной кишлак.

Там, внизу, шумит вода, шумят деревья. А за горами — шум экскаватора, грохот взрывов, которыми рвут горную породу. Это и есть кусочек живого мира, изгнавшего тишину.

Талибджан хлестнул коня. Конь пустился тяжелым наметом к вершине горы.

Хамид Гулям

НЕВЕСТКА

В кишлаке Шаханд волнение. У всех на устах имя Насибы. «Ничего себе невестка попалась бабке Хадиче — первая девушка в городе». «Счастливец этот Мамаджан — завладел сокровищем». «Счастье принесла в дом Насиба: овца бабки Хадичи окотилась двойней и облигация выиграла десять тысяч». «А как хороша — просто луна на четырнадцатый день». Но нашлись люди, которые позволили себе усомниться: «Бросьте хвалить эту невестку, еще и месяца нет, как приехала, а уже села на голову бабке Хадиче». — «Эй, Ахмадали, это ты, что ли, назвал ее сокровищем? Какая корысть бабке Хадиче от ее учености?» — «Счастье принесла... А что, без нее овца не окотилась бы двойней или номер облигации переменялся бы?» — «Красавица... Что, Мамаджану с ее лица воду пить?»

Нет дыма без огня. Появилась в кишлаке Насиба, да такая видная и пригожая, и в обращении ласковая, — почему же не поговорить о ней.

Еще два года назад, когда Мамаджан ездил на курултай, кто-то пустил слух, что вернулся Мамаджан из города влюбленный. Об этом узнала вся молодежь кишлака Шаханд, и озорники даже сложили частушки о любви Мамаджана. А когда Мамаджан уехал в Ташкент на курсы агрономов, некоторые девушки кишлака приуныли. И не зря. Все письма от Мамаджана бабка Хадича носила соседской дочери Кумри прочитать вслух с выражением, а на сей раз, читая письмо, полученное в начале августа, Кумри смутилась, стала заикаться, читать по слогам и без всякого выражения. Короче, Мамаджан сообщал о том, что женился на Насибе, что они устроили небольшую вечеринку для друзей Насибы — медиков, а настоящую свадьбу собираются справить в Шаханде. «17 августа, — писал Мамаджан, — мы будем дома».

Бабка Хадича не из тех, кто падает духом от радости. Она знает, как скромна ее Мамаджан, как не хочет он, чтобы беспокоилась и суежилась мать. Но не тут-то было: любимый сын с долгожданной невесткой едут домой, а бабка Хадича будет сидеть сложа руки?

— Сегодня какое число? — спросила бабка у Кумри.

— Семнадцатое.

Бабка Хадича натянула простенькое батистовое платье, надела лакированные чупяки и заторопилась в колхозную контору. Девушки

на хлопковом поле, мимо которого спешила бабка Хадича, переглянулись:

— Отдохните, тетушка Хадича. Что пишет Мамаджан?

Бабка Хадича помахала им рукой.

— Едет, едет с женой, выходите вечером к парому... Встречать...— прокричала она.

На ее счастье председатель, которого не так-то просто поймать, оказался в конторе.

Бабка Хадича влетела к нему пулей.

— Извините, помешала,— сказала она.— Мамаджан едет с женой, вечером выходите к парому: как-никак ведь он звеньевой, стоцентнеровик.

— Непременно,— сказал председатель, протягивая руку бабке Хадиче.— Поздравляю! На свадьбу приду. Если что надо — говорите.

— Да все есть, спасибо,— счастливо улыбнулась бабка Хадича,— но вот овца-то у меня котная, мне бы с фермы барана, да рису для плова и мешков пять муки. И еще... Я запасла невестке отрезы, так надо пригласить из района хорошую портниху, невестка-то городская.

— Идет! — весело сказал председатель.— Все сделаем. Ну-ка, Джурабай,— обратился он к шоферу,— отвези тетушку Хадичу куда ей нужно. Да вечером будь на берегу. Встретим Мамаджана.

Бабка Хадича влезла в «Победу».

Вечером на берегу Нарына был настоящий праздник весны. Машины, мотоциклы, велосипеды. Не только молодежь, но и старики вышли встречать невестку бабки Хадичи. Паром приготовлен и стоит на страже. Вот появилась шоколадная «Победа». Рядом с Джурабаем — председатель. А на заднем сиденье между сыном и невесткой сияющая бабка Хадича.

Все взгляды обращены к Насибе: в белом платье, с короной иссиня-черных кудрявых волос, Насиба держит букет цветов и улыбается. Хороша...

— Девочки, смотрите, Мамаджан чуб отрастил...

— Похудел!..

— А как же, он теперь агроном.

— Как ему идет чесучовый китель!

«Победа» въехала на паром, и на воде появились мелкие волны.

Зазвенели дутары, танбуры, флейты, запели свадебную песню. Недаром говорят, что в кишлаках на берегу Нары- на все парни —

певцы и все девушки — плясуньи.

Машина съехала с парома, девушки помогли выйти невесте. И здесь она сразу покорила весь кишлак: низко поклонилась всем. Бабка Хадича даже всплакнула от восторга.

С тех пор прошел месяц, и весь месяц не смолкают разговоры о невестке бабки Хадичи.

Перед свадьбой долго совещались в доме у бабки Хадичи все члены правления (ведь у Мамаджана нет отца, он погиб в борьбе с басмачами). Решили пригласить весь кишлак. Ведь свадьба бывает раз в жизни. А когда речь зашла о водке для мужчин и вине для женщин, подросла Насиба и попросила разрешения участвовать в совещании.

— Мамочка,— обратилась она к бабке Хадиче,— мы устроим свадьбу по-новому — и мужчины и женщины будут сидеть за одним столом. Ведь Мамаджан — передовой человек, агроном, вы — бригадир шелководов и жена погибшего красного командира, а я — лечу людей.

Обсуждение затянулось за полночь. А назавтра была свадьба, и молва о ней обошла все окрестные кишлаки.

«Рассудительная невестка попалась бабке Хадиче»,— говорили старики. «Столы-то как накрыла — загляденье»,— говорили девушки. «Водки маловато было»,— посетовал какой-то весельчак. «Но тебе-то хватило с лихвой, до сих пор не можешь проспаться»,— возразили ему.

Короче, с того самого дня парни и девушки стали мечтать именно о такой свадьбе.

Через несколько дней за завтраком Насиба обратилась к свекрови:

— Мы с Мамаджаном на выигранные деньги хотим купить мебель и приемник, а на остальные — мотоцикл. Мамаджан ведь ездит по полям, да и нас с вами подвезет.

Бабка Хадича одобрила предложение, но заикнулась о ковре, ведь он совершенно необходим для молодоженов.

— Ну зачем нам ковер, мама? — попробовал возразить Мамаджан.

— Мама права,— сказала Насиба,— ковер нужен, но его мы купим позже.

На том и порешили.

А доктор Насиба быстро подружилась не только с больными, но и со здоровыми. И даже соседская дочка Кумри, та самая Кумри, что читала когда-то бабке Хадиче письма от Мамаджана, сменила гнев на милость.

«Ну и что же, что городская»,— говорила она, словно возражая

кому-то, и подробно рассказывала, как она заболела на поле и как доктор Насиба сразу же определила у нее малярию и трогательно заботилась о ней. А назавтра добилась того, чтобы с самолета протравили все поля — от комаров.

И где бы теперь ни зашел разговор о чуткости, доброте, красоте и внимании — все приводят в пример невестку бабки Хадичи.

Вот какая невестка попалась ей. Везет же людям!

1955

Хаким Назир

СУХОЕ ДЕРЕВО ТОЖЕ ГНЕТСЯ

Все собрание, от начала до конца, бригадир Халикджан просидел без звука, точно воды в рот набрал. И только когда все разошлись. Халикджан обратился к председателю — тот лишь вчера был назначен и проводил первое собрание колхозников. Халикджан пожаловался: бригаде прирезали земли, увеличили план урожая, но ведь людей-то больше не стало. Да и среди тех, кто есть, некоторые никуда не годятся...

— Во-первых,— председатель Тургунов уже начал было собирать бумаги, но теперь отложил их и сел опять на свое место,— надо было об этом сказать на собрании. А во-вторых, кого вы имеете в виду конкретно?

— Да вот, к примеру,— парень огляделся, понизив голос,— Бури-Ялак¹. Что есть он, что нет его в бригаде — все одно...

— Простите, простите! Вы это о живом человеке говорите? Ну, разве так можно...

— Извините.— Халикджан виновато улыбнулся.— Так уж его люди прозвали. Да вот, узнаете сами...

— Это, наверно, Бурибай Арсланов, ваш дядя? — Председатель в упор глянул на опешившего Халикджана.

«Уже всех знает,— пронеслось у Халикджана в мыслях. Только вчера приехал в колхоз...»

— Да,— сказал он, вздохнув,— это мой дядя, но правду о нем вынужден вам сказать. Когда-то, еще в войну, он был здесь председателем колхоза, но позже за какие-то махинации угодил за решетку. Вернулся по амнистии, судимость сняли. И вот уже, наверное, лет семь палец о палец не ударит для колхоза. Пользы от него — ни на грош. Сколько раз я с ним разговаривал, когда стал бригадиром! Чего только не предлагал ему — любую работу... И в ус не дует! Мне давно уже это надоело.. Но все же недавно снова к нему ходил. «А какую,— спрашивает,— работу дадите?»—«Пока,— говорю,— как у всех мужчин: кетменем махать». И тут он мне — что бы вы думали? прочел целую лекцию о том, что кетмень — устарелое орудие, о том, как вредно для здоровья работать кетменем... В общем, как говорится: велишь лодырю

работать — он тебя начнет воспитывать получше отца родного. «Хорошо,— говорю,—садитесь тогда на арбу».— «Хо- хо! — смеется.— Да разве же мой отец был арбакешем, а не земледельцем?» В общем, не желает он гнуть поясницу для колхоза. Иначе говоря, вы махнули рукой на своего дядю, так?

— А что поделаешь, если человек на всех поплевывает свысока? Да что тут говорить, ни один председатель ничего не мог поделать с этим Бурибаем. Поговорите хоть с его сыном Турабом. Тот просто извелся с ним...

Тургунов наконец понял, что дядя с племянником, видимо, давно и крепко не поладили. Попросил рассказать подробно о делах в семье Арсланова. И Халикджан рассказал. Жена Бурибая, их сын и дочь всегда работали и продолжают работать в колхозе на совесть, зарабатывают хорошо, и приусадебный участок не маленький, семья живет в достатке. А Бурибай занимается какими-то темными махинациями, только никак его не выследить... Деньги у него водятся... И он их не жалеет: иногда целыми днями напролет валяется у себя в саду на коврах с компанией собутыльников. Или заявятся все в чайхану, затеют там перепелиные бои — для бездельников лучше нет забавы. А чаще Бурибай неделями слоняется невесть где. В прошлом году Тураб, его сын, женился. Невестка школу окончила, работает в детском садике. А Бурибаю хоть бы что — по-прежнему пьянствует у себя в доме. Как-то сын попытался образумить отца, пока тот еще с утра не напился. Куда там! Бурибай как закричит: «Родной отец тебе стал в тягость? Прокляну!..» Тут уж сват его, отец невестки, возмутился. «Возьму,— говорит,— свою дочь обратно, не оставлю в таком доме...»

Тургунов внимательно слушал взволнованный рассказ молодого бригадира. Парень совсем недавно вернулся из армии, еще гимнастерки не сносил. Энергичный, горячий, видать... Но к людям, кажется, подходить не всегда умеет. Тургунов вспомнил напутствие секретаря райкома: этот колхоз не поднять, если думать только об урожае и не работать с каждым человеком.

— Так что же станем делать? — Председатель серьезно и с доверием глянул в глаза бригадиру.

— Говорят: сухое дерево не согнется. Надо мне кого-то другого в бригаду...

— Это нетрудно.— Председатель улыбнулся в черные усы.— А вот как быть с вашим дядюшкой?

Оставить под паром.— Халикджан гоже улыбнулся.— Как землю истощенную...

— Ну-у, дорогой! — Тургунов поднялся с места.— Боюсь, что ваше решение необдуманное. Человека постичь, конечно, нелегко. Труднее, скажем, чем секреты агрохимии... Но все же можно. А главное — нужно! Без этого — какие мы руководители?

— Но я же этого человека насквозь вижу! — Халикджан опять заволновался.— Никакого толку из него не выйдет!..

— Хорошо, давайте-ка сходим к нему домой.

— Сейчас? — встревоженно спросил бригадир.

— Да нет. можно и завтра.

...Но назавтра председатель весь день никак не мог встретить Халикджана и наконец сообразил, что эго не случайно. Ближе к вечеру решил отправиться один. Первый же встречный указал ему добротный дом за высоким глиняным дувалом в самом конце улицы, на отшибе. Широкие ворота — свободно пройдет и арба и грузовик — оказались на запоре. Тургунов привязал коня к полувывсохшей орешине на улице, постучал в калитку,— она чуть приоткрылась. На приусадебном участке — ни души. У дувала посевы пшеницы, кукурузы, бахча и огород, дальше, до самого дома, разросшийся сад. Под старым развесистым деревом супа — широкий деревянный помост. Здесь, несмотря на теплое время года, грудой навалены ватные, в атласе, одеяла, пуховые подушки. На них, лицом кверху, спит грузный человек в халате и смятой рубашке. В стороне, на коротконогом столике, в тарелках остатки плова, ломти лепешек, конской колбасы, соленых огурцов. Мухи вьются вокруг прожорливым роем, садятся на губы, усы спящего, и он причмокивает во сне.

Тургунов огляделся. Сад был поистине в образцовом порядке: урюковые и персиковые деревца, усыпанные весенним белым цветом, окопаны, стволы побелены; видны молодые побеги, привитые и тщательно прибинтованные к ветвям взрослых деревьев.

— Бурибай-ака! — тихо окликнул Тургунов.

Спящий не шевельнулся. Председатель окликнул еще раз погромче. Арсланов приподнял голову:

— Кто? Ты, Маткабул?

Он смотрел в другую сторону и не видел вошедшего.

— Никого... Наверное, во сне послышалось,— проворчал Бурибай, потягиваясь и зевая.— Вот сегодня опять ни слуху ни духу о нем...

Игрок — он игрок и есть... Или, подлые души, забыли про меня?! Как осы — только туда летят, где сладкое...

— С кем это вы, Бурибай-ака? — спросил Тургунов.

— О-о-о!..— обрадованно протянул Бурибай и довольно ловко вскочил на ноги, схватил со столика свою тубетейку — из-под нее вспорхнула перепелка, кинулась в траву...

Бурибай сделал вид, что не заметил, и босой подбежал к председателю, протянул обе руки для приветствия. Он явно пытался держаться молодцом, расправил плечи. Но все равно было заметно: сдал от безалаберной жизни, здорово сдал. Хотя и стариком назвать нельзя — едва за пятьдесят, руки крепкие, в усах только пробивается седина.

Поздоровавшись, Бурибай уселся на супе, скрестив ноги, подушки протянул гостю. Тургунов тоже сел, спросил хозяина о здоровье. Обменявшись традиционными фразами, оба помолчали. Бурибай вдруг всполошился — взгляд его упал на остатки пиршества:

— Ох, уважаемый, извините, такой беспорядок! — И он принялся швырять под супу тарелки и все, что на них было. Незаметно попытался столкнуть туда же пустую бутылку — она, как назло, выглядывала из-под столика. Но бутылка выкатилась — прямо под ноги председателю.— А, не обращайтесь внимания! — пробормотал Бурибай, пряча глаза.— Гость один заходил... Ну и...

— Не беспокойтесь.— Тургунов сел удобнее.— Я рад вас видеть в добром здоровье. Надо посоветоваться. Мы созывали опытных товарищей, таких, как вы. Вероятно, вам не сообщили? Рассыльный ходил по домам...

— Что-о? Нет! — Бурибай надулся, сразу смекнув, что визит председателя не сулит никакой опасности.— Нам это осталось неизвестным. Очень жаль! Я бы непременно пришел. И мы всегда рады помочь... посоветовать...

Мы разговаривали о делах колхоза. Задачи перед нами стоят в этом году серьезные. Но вот людей нехватка... Есть хорошие специалисты, однако они либо никак не найдут себе дело по душе, либо в отставку выходят до срока.

— Ох-хо-хо! — Бурибай, поняв намек, благодушно рассмеялся, заколыхал двойным подбородком. Людей, говоришь, нехватка? А знаешь, как было в войну: каждый мужчина — на вес золота! Одни женщины со всем управлялись — и на пахоте, и на окучке, и арбами правили... А обо мне и говорить нечего. Я был председателем — минуты

в правлении не сидел. Где там! Заседлаю своего иноходца — ишака... Да, да, не смейся, брат, приходилось в те годы бухарцу седлать ишака вместо коня... Сяду я на него — и галопом с одного поля на другое. А подойдет горячая пора, так и этого последнего ишака заберут у меня на пахоту, и топают председатель пешком. Мало того — самому приходилось браться за кетмень...

Люди рассказывают, вы славились как замечательный мастер кетменя...

Ну-у, это так, басня.— Бурибай в притворном смущении махнул рукой.— Да и то сказать — совсем другое было время. Что сейчас кетмень? Машина — вот это сила. И какие кадры теперь выросли! Молодые люди, образованные... А ты говоришь — нехватка... Стыдно слышать, братец!

Верно.— Председатель стал серьезнее.— Самое тяжелое сегодня возлагается на машины. Однако темпы роста нынче не те, что лет десять назад. Сколько земель еще не благоустроено! Их надо поднимать. И такие специалисты, как вы, колхозу сейчас просто необходимы!

Бурибай задумался. Он был удивлен и растроган: уж никак не ожидал, что новый председатель на третий день после своего прибытия в колхоз придет к нему с такими предложениями. Признаться, подобных речей он не слышал уже много лет. Даже соседи и родственники от него отвернулись — стыдятся пригласить на свадьбу, на той. Почему?! В последнее время Бурибай над этим уже не раздумывал — просто времени не оставалось, трезвого времени... Болото засасывало его все глубже.

А сейчас он будто проснулся после тяжелого, нездорового сна. Впервые за много дней широко разомкнул набрякшие веки, взглянул вокруг. Взглянул на себя — на свой массивный живот, выпирающий из халата, словно таз для теста. Уже одно это зрелище заставляло призадуматься о многом.

Минуты две он сидел молча, потом поднял глаза на Тургунова.

— Спасибо тебе, братец.— В горле у Бурибая запершило, голос переменялся.— Только я вряд ли смогу работать... Здоровье... Одышка...

— Вы показывались врачу?

— Э!..—Бурибай с отчаянием махнул рукой: что, мол, врачи...

— Давайте сделаем так: у меня в районе старый товарищ, отличный врач. Завтра я за вами пришлю машину...

— Нет, нет! — затряс головой Арсланов.— Я подумаю... Потом,

потом!..

Разговаривать дольше не было смысла. Тургунов поднялся, с трудом скрывая раздражение.

— По-моему, вы сейчас совершаете ошибку. Взгляните, какое время: сев на полях, каждый человек на счету. Не только люди — животные, самые мелкие букашки, все весной хлопочут, трудятся... А вы? Место мужчины там, где его уважают, верно говорят в народе!

— Пойдите, куда же вы? — Бурибай поднялся на ноги. Он явно не ожидал такого оборота.— Надо же чаю попить... Эй, невестка! — закричал, обратившись к дому.

— Спасибо, но, признаться, мне жаль потерянного времени. Я не люблю кривить душой и сказал вам прямо: колхоз заинтересован в вашей помощи, вы нужны колхозу. Но, как видно, вам-то колхоз несколько не нужен!

— Ой, да что же вы говорите! — Бурибай, казалось, в самом деле обиделся.— Как это не нужен? Ведь я здесь родился и вырос. Столько труда вложил... Здесь моя семья...

— Так в чем же дело?

— Не верят мне люди! — Бурибай горестно вздохнул и понурился.

— Кто же вам не верит?

— Да вот хоть этот пострел — бригадир Халикджан, мой племянник... О, это такой человек — врага своего, даже мертвого, сапогами затопчет! Сколько раз он меня срамил при людях: заржавелый, говорит, вы кетмень! Вас, говорит, на костре прокалить да напильником продрать! Пережиток вы, говорит, ходячий...

Тургунов слушал внимательно. Взволнованный Бурибай наконец молк, сел опять на одеяла.

— Я вас понимаю.— Председатель тоже сел.— Но вы не совсем правы... Ваш племянник хочет, чтоб вы вернули себе уважение односельчан. И если даже он вас нечаянно обидел — разве можно за это винить весь колхоз? Как говорится, рассердившись на блоху, нельзя сжигать одеяло.

— Ну, хорошо,— медленно произнес Бурибай.— Если ты веришь мне, я начну работать в колхозе. Условие только одно: не в бригаде Халикджана.

— Значит, завтра встретимся в правлении?

— Хоп, ладно! — Бурибай пожал протянутую руку председателя.

Хозяин пошел проводить гостя до ворот. В этой части усадьбы

раскинулся цветник, рассада была высажена в горшочках и заботливо выкопанных ямках. По краям — чубики винограда.

— Чья это работа, Бурибай-ака? — заинтересовался председатель.

Чья же еще? — Бурибай гордо вскинул голову.— Нас хоть и обзывают «заржавелыми», небось на боку не лежим. Еще в прошлом году... не помню, сколько тысяч кустиков рассады продал в районе... Да и раздал, подарил родственникам и друзьям...

«Ясно!»—подумал про себя Тургунов.

Наутро Бурибай, стараясь не замечать направленных на него изумленных взглядов, степенным шагом приблизился к правлению колхоза, постучался в кабинет председателя. Вышел он оттуда минут через пять, на полном лице играла горделивая улыбка: он получил задание расширить только что заложенный колхозный сад!

В этот же день, подобрав себе в звено умелых садоводов, Бурибай развернул работу. А назавтра с утра запряг ишака в низенькую арбу и отправился в соседний колхоз — за саженцами.

...Глубокой ночью, когда только еще прокричали вторые петухи, в ворота дома, где жил председатель Тургунов, сильно постучали. Наспех одевшись, Тургунов выбежал на улицу. Лунные блики падали сквозь листву белыми пятнами, словно пролитое кислое молоко. А на улице, ныхтя и бормоча ругательства, боролись два человека: один пытался убежать, второй удерживал его силой. Тургунов пригляделся: это были Бурибай и Халикджан!

— Вот он!.. Глядите, председатель!..— заговорил Халикджан, крепко держа за шиворот своего сразу присмирившего дядюшку.— Одного вора поймал... А другой удрал все-таки... Эй, ты! —крикнул он куда-то в темноту.— Иди лучше сам, своей волей! Все равно найдем.

Неподалеку виднелась арба.

— Поглядите-ка, что он привез вместо саженцев! — Халикджан наконец отдышался, заговорил ровнее. Бурибая он отпустил.— Разве я не говорил: повадится — не отвадишь...

— Думай, прежде чем говорить! — Бурибай поднял голову.— Если твой дядя и ошибался, то преступником не был никогда! Это все Маткабул, подлец, закрутил мне мозги!

Тургунов подошел к арбе, чиркнул спичкой: иа арбе под брезентом и саженцами оказалась груда жмыха, а под ней были тщательно уложены несколько бумажных мешков с удобрением.

— Откуда? — повернулся он к Бурибаю.

Но Халикджан не дал ответить. Опять разволновавшись, он сбивчиво рассказал: только что Бурибай еще с кем-то приехали из района и уже, видно, собирались припрятать привезенное в балахану — надстройку над домом,— да что-то вдруг заспорили, а Халикджан, он ведь живет по соседству, в это время вышел из дому, услышал, подошел незаметно, и вот...

— Э, брат,— перебил его Бурибай, уже немного пришедший в себя,— видать, ты из тех, что не сосчитают, а уже кричат: восемь! Слушай, председатель, что я сам скажу. Значит, приехал я к соседям в колхоз... Одни саженцы мне сразу дали, другие — не могут без председателя. Подожди, говорят, или, хочешь, завтра приезжай. Что делать? Пошел в чайхану, сижу чай пью. Откуда ни возьмись — Маткабул. Зовет к себе... Ну, я знаю, зачем,— не иду. Тогда, говорит, чтобы не ехать полупустым, захвати жмыха себе для скота... Ладно. Чаю напились, к его дому направились. Он что-то там погрузил, да еще и брезент накинул, а сверху соломки... Ну, тут уж я его пригласил к себе в гости. За жмых, говорю, тебе заплачу, а завтра вернемся. Приехали мы сюда, скинул я брезент, гляжу: мешки! Откуда? Для кого? А он: верблюда видел? Нет. Кобылу видел? Нет. Ну и молчок! Сейчас же, говорю, отвезем, где взято. Маткабул меня упрашивать: «Пусть пока у тебя полежит, а там найдется покупатель...» Тут я его потрянул немного, заспорили мы. Смотрю, Халикджан...

— Почему же он все-таки решил спрятать у вас? — спросил Тургунов.

— Клянусь жизнью детей моих,— Бурибай ударил себя в грудь,— не знал я про его затею! А он, видать, надеялся: старый друг, не выдаст...

— Как проверить, что вы говорите правду?

— Пускай сам теперь найдет своего дружка,— вмешался Халикджан,— и ответит в милицию... вместе с этим грузом.

Бурибай тотчас же согласился.

— А если не доверяете, то пошлите со мной кого угодно.

Председатель сказал, что это не нужно. Однако Бурибай заупрямился. Пришлось просить Халикджана сейчас же отправиться с Бурибаем обратно, в соседний колхоз.

Все трое уговорились молчать о случившемся — об этом усиленно просил Бурибай. Но в кишлаках издавна действует невидимая почта «узун кулак», то есть «длинное ухо», новости разлетаются, будто

пушинки с метелок камыша. И наутро в кишлаке зашептались:

— Вы слышали, наш Бури-Ялак на воровстве попался!

— Напарник-то удрал, а самого потащили в район...

— А Тураб и Халикджан еще с ночи уехали туда же: на поруки взять хотят.

Таким же способом, переходя из уст в уста, три мешка удобрений превратились в три тонны, ишачья низенькая арба — в могучий грузовик...

Слухи разлетались все шире и шире, как вдруг Бурибай вернулся вместе с Халикджаном. Он в точности выполнил свое обещание. Халикджан около правления принялся рассказывать собравшимся все как было. А Бурибай, ни на кого не глядя, отправился домой. Отыскал в сарае свой старый кетмень, долго счищал с него ржавчину, а потом взвалил на плечо и зашагал на окраину кишлака, где три десятка мужчин трудились на очистке арыка.

...Прошло дня четыре. Бурибая никто ни о чем не расспрашивал, не задевал. Все, однако, заметили: живот у него значительно уменьшился в объеме. И вот один шутник не выдержал.

— Хей, Бури-Ялак! — закричал он издали.— Давно ли вы покинули родильный дом?

Бурибай побагровел. Схватил огромный кусок сухой глины и что есть силы запустил в обидчика. К счастью, промахнулся. Но и работать больше не мог — взял свой кетмень и пошел к председателю.

— Прошу тебя: собери общее собрание и поставь вопрос обо мне. Я расскажу все, как было, чтобы никто не смел попрекать...

— Вы же просили не предавать огласке...

— Хорошо, вот только управимся с посевной.

...Миновала весна, потом лето. В разросшемся колхозном саду, благоустроенном руками Бурибая и его помощников, созрели вишни, отцвели и начали наливаться соком яблоки, персики, груши. Л разговоры о его прошлом постепенно смолкли, забылись. И никто уже не звал его «Ялак»— эту позорную кличку он как бы смыл своим трудовым потом. Но все-таки долго еще, встречая Тургунова, Бурибай напоминал, улыбаясь:

— Председатель, когда же поставишь обо мне вопрос на собрании?

Саида Зуннунова

ОДИНОЧЕСТВО

Икбалхон не помнила, как добралась до дома. На совещание уехала расстроенной и вернулась с болями в сердце. Устало поднялась по лестнице на второй этаж. Перевела дух и нажала кнопку. Сняла плащ, положила его на чемодан и прислонилась к стене. В это время открылась дверь соседней квартиры и из нее выглянула женщина средних лет.

— Ой, Икбал Азизовна, вы? Только приехали, да? Тулкин ключ оставил мне. Сейчас я...— Она оставила дверь открытой и, шаркая шлепанцами, скрылась в комнате, но через минуту вышла снова,— Тулкин говорил, что вы приедете именно сегодня,— передавая ключ, сказала соседка.

— Ему не трудно было без меня?

— Нет, нет, что вы! Я заглядывала, помогала ему готовить обеды. Вчера, например, только пришел с занятий и тут же принялся за уборку. Замечательный у вас сын, Икбал Азизовна. Эх, была бы у меня дочь, был бы он моим зятем, а?

Раньше от таких похвал у Икбал на лице появлялась улыбка, а сейчас она нахмурилась, сжала губы. Вновь вспомнилась недавняя обида. Она не стала, как прежде, старательно вытирать туфли, а сразу прошла в комнату. В квартире чистота, посуда убрана. Можно было подумать, что здесь хозяйничали проворные женские руки. На рабочем столе в маленькой вазе две нераскрывшиеся розы. Икбалхон осторожно поднесла их к лицу, но розы, не видевшие солнца, не пахли. От мысли, что и они, мать с сыном, как эти бутоны, рядом, но не вместе, больно жгало сердце.

Икбалхон глубоко вздохнула, поставила вазу на стол и прошла в другую комнату. И тут ни пылинки. На столе термос. В салфетку завернуты две маленькие булочки. Варенье. Рядом записка: «Мамочка, я знал, что вы сегодня приедете. Чай в термосе. Обед на кухне. А все остальное в холодильнике».

Икбалхон не поцеловала записку как прежде. Теперь она знала, сколько за этими нежными словами кроется горькой обиды. Еще перед отъездом в его сбивчивых словах она уловила горечь, которая, оказывается, давно уже не давала ему покоя. И только тут она поняла,

насколько был прав сын. Для нее этот разговор оказался толчком, который заставил обернуться назад и перевероршить прожитые годы.

Икбалхон налила чай из термоса и некоторое время сидела задумчиво, держа в ладони давно остывшую пиалу.

В Москву на совещание Икбалхон пришлось выехать неожиданно. Наскоро собрав вещи, она села с сыном за стол. «Сын часто остается один, подумала она,— не пора ли позаботиться

о невесте?» Икбалхон слышала, что сын встречается с девушкой с третьего курса. Но сам Тулкин об этом никогда не заговаривал. А если случайно речь заходила о женитьбе, то он молча вставал и уходил. Поэтому на этот раз Икбалхон не утерпела и проговорила:

— Есть хорошие девушки. Давай я тебя женю. Мне спокойней за тебя станет...

Лицо Тулкина передернулось.

— Разве у нас сможет кто-нибудь жить?

— Тулкин, что ты говоришь? Мать, что, не человек?

Тулкин встал, чтобы скрыть раздражение. Мать встревоженно наблюдала за ним. Недоверчивая улыбка кривила ее губы.

В этом доме все должно быть по-вашему. Я ваш сын, поэтому терплю...— услышала она резкие слова.

— Чего ты терпишь? Разве я тебя мучаю, дурачок? — спросила она примиряюще, хотя лицо ее горело и всю ее лихорадило от недоброго предчувствия.

Тулкин молча вышел на кухню. Икбалхон направилась за ним.

— Почему ты молчишь? Отвечай, я ведь тебя спрашиваю!

— Все равно не поймете.

— Что не пойму?

— Мапочка,— повернулся он к матери,— я не помню ни одного дня из своего детства, когда бы смог поиграть и повеселиться, как мне хотелось. Я не смел пригласить своих друзей в дом. За дверью всегда снимаю туфли, беру их в руки, потом уже переступаю порог. Даже на крошки хлеба, которые падали под стол из моих рук, вы смотрели косо. Ведь в конце концов всему есть предел...

— Ой, дурачок, ты же знаешь, что матери некогда заниматься уборкой поминутно. Я же для тебя стараюсь.

Но я могу убрать сам. Вон бываю я у друзей... Мы обедаем. курим, танцуем, конечно, в доме все перевернем вверх дном...

— Наверное, у их матерей больше нет дела.

Почему нет? И они работают. Для чего человеку дом? Для того, чтобы в нем устраивать выставку, что ли? Хотя вам все равно не понять!..

— Уж больно ты стал понимающим, как я погляжу,— возмутилась Икбалхон.

— Что же это за дом, если в нем не собирают игрушки детей и не стирают одежду мужа?..— уже не мог остановиться сын.

На последние слова, которые ранили ее больше всего, Икбалхон ничего не ответила, подхватила чемодан и вышла. Тулкин торопливо оделся и выскочил за матерью.

Икбалхон, хмурая, ждала на стоянке такси. Тулкин молча взял из ее рук чемодан. До самого аэропорта они не проронили ни слова. Только перед посадкой Икбалхон поцеловала сына и попросила:

— Будь, пожалуйста, осторожен.

И в дороге, и на совещании, и даже по ночам этот разговор с сыном не давал ей покоя. Невольно она возвращалась к прошлому, и сердце не переставало ныть от слов: «Что же это за дом, если в нем не собирают игрушки детей и не стирают одежду мужа?» Беда ее и горе. Долго она носила в сердце рану. И, видимо, приходит время, когда старые раны начинают вновь кровоточить.

Замуж Икбалхон вышла, учась в аспирантуре. Муж ее, Юлдашали, был гоже аспирантом. Не прошло и года, как родился Тулкин. Юлдашали защитил диссертацию. У Икбалхон работа затянулась, днем и ночью была занята с сыном. Наверное, с этого времени и все началось. Икбалхон не находила минуты, чтобы записать необходимые для работы мысли, а Юлдашали допоздна читал газеты, перелистывал книги. Ненадолго вздремнувшая ночью, Икбалхон утром спешила приготовить мужу завтрак. Юлдашали все понимал, но помочь не мог. Ночью, когда просыпался с плачем малыш, он вставал раньше Икбал, брал сына на руки и прохаживался с ним из угла в угол. Даже пытался убаюкивать. Но малыш, чувствуя неуклюжие движения отца, не унимался. Тогда Икбалхон со злостью вырывала ребенка, а Юлдашали растерянно вздыхал. Меняли пеленки, малыш засыпал. Успокаивались и родители: на лице Икбалхон появлялась улыбка, радовался и Юлдашали.

Когда Тулкину исполнился годик, его отдали в ясли. У Икбалхон стало больше свободного времени, но еще не скоро она принялась за свою работу. Только через год она защитила диссертацию.

Икбалхон устроилась преподавателем в институт. И Тулкин не мешал ей. Она брала его из яслей, кормила, и он спокойно играл в отведенном ему углу со своими игрушками. Икбалхон принималась за стряпню. Ночью укладывала сына спать и готовилась к лекциям.

Юлдашали заканчивал уже докторскую диссертацию. Икбалхон смотрела на это и с радостью, и с завистью. Скоро муж станет доктором. А ей трудно даже мечтать — все время уходит на ребенка, на хозяйские дела, на подготовку к лекциям. И стоило ей об этом подумать, как прежняя раздражительность вновь овладевала ею.

И вот однажды она не выдержала. Юлдашали опаздывал, ему некогда было даже присесть выпить чаю.

— Есть ли чистый платок? — спросил он уже с порога.

Икбалхон, одевавшая сына, взорвалась:

— В конце концов, всякому терпению приходит конец! Ведь и я такой же человек, как и вы...

— Что я сделал? — не понял Юлдашали.

— Неужели трудно самому взять платок?

— Забыл, а в туфлях заходить не хочу, — начал было оправдываться он, но Икбалхон перебила его с раздражением:

— Вы всегда все забываете.

— Что же я должен делать? — решительно не мог понять жену Юлдашали.

Такое упорное непонимание окончательно вывело Икбалхон из себя.

Вы обо мне-го когда-нибудь вспоминаете? И я человек, и я работаю. Мне тоже нужно заниматься. Вы об этом думаете?

— Не могу же я встать на ваше место! — сказал он и торопливо вышел из комнаты.

Икбалхон, ошеломленная, долго не двигалась с места.

Весь день она ходила как пришибленная, под впечатлением последней фразы мужа. Ей уже казалось, что кончилось их взаимное уважение. Работа валилась из рук. Она сама не заметила, как подкралась к ней мысль: почему она должна жить с этим человеком? Разве мало добрых слов слышала она в свой адрес, когда защищала кандидатскую диссертацию! Значит, не зря трудилась, авторитет так просто не заслужишь. Домашние заботы?.. Еще никто не был доволен ими. А муж, вместо того чтобы успокоить, сказать два-три добрых слова, бросил на ходу: «Не стану же я на ваше место».

Эти слова буквально преследовали ее. В тот вечер Икбалхон не стала готовить ужин, накормив сына, уложила его спать и села за рабочий стол. Она еще покажет мужу, на что способна!

Вечером Юлдашали не увидел в доме привычного оживления, его встретила мертвая тишина. Жена, склонившись над столом, что-то писала и даже не подняла головы при его появлении. Он уже жалел, что утром погорячился. Не раздеваясь, прошел к жене, положил руку на ее плечо; второй оперся на стол и некоторое время молча смотрел на то, что она пишет. Она и тут не взглянула на мужа, молча продолжала работать. Юлдашали разделся, умылся, прошел на кухню. Поставил на плиту чайник. Но, по-видимому, был очень голоден, достал мясо из холодильника, долго с любопытством разглядывал его, не зная, с какого конца приняться за дело.

Вставайте, вместе приготовим ужин. Вы будете давать консультацию...— неуверенно обратился он к жене.

Мне ни ужин, ни дом не нужны,— не отрываясь от занятий, сказала Икбалхон.

— Оставьте эти разговоры...— попросил Юлдашали.

— Найдите другую, которая согласна сидеть дома...

Юлдашали замолчал. Отодвинув неумело нарезанный лук и мясо, он оделся, закурил. Постоял немного в раздумье, потом открыл дверь и на пороге услышал:

— Можете не возвращаться!

Юлдашали, не отнимая руки от дверной ручки, приостановился. Но вот захлопнулась дверь. Его шаги вскоре затихли. Икбалхон поднялась, но в окно не посмотрела. «Неужели так трудно сказать: «Простите меня, я напрасно вас обидел»?..Как будто отвалится от этого язык. Оказывается, наругать гораздо легче, чем потом просить прощения. Нет смысла жить с таким человеком»,— все больше убеждала себя Икбалхон.

Теперь она уже ни в чем не сомневалась. Оставалось только решить, что делать с их трехкомнатной квартирой. Если ей уйти из этого дома, то во всем городе у нее не отыщется ни одной родной души, которая могла бы ее приютить — она выросла в детдоме. Юлдашали тоже идти некуда,— он приехал в Ташкент учиться из далекого кишлака. Но тем не менее, когда Юлдашали все же вернулся, поужинав в кафе, Икбалхон твердо объявила, что утром один из них должен найти другое пристанище. Юлдашали весь напрягся, но у него достало сил

сдержаться и рассудительно сказать:

— Вы с сыном не беспокойтесь, я переберусь в другое место. По все-таки подумайте о Тулкине.

— Я сумею воспитать ребенка.

— Однако... Икбалхон, не кажется ли вам поступок ваш легкомысленным?

— Мы не дети, и я, наверное, тоже немного умею размышлять.

— Значит, все уже решено?

— Да.

Икбалхон осталась непреклонной даже тогда, когда до нее дошли слухи, что муж ночует на кафедре. Друзья попытались помирить их, но она не согласилась. Икбалхон с головой окунулась в работу.

В результате она стала доктором. И сын вырос. Но чем больше проходило времени, тем сильнее какая-то тяжесть давила ей на сердце. Все свое время она отдавала научной работе. В квартире управлялась домашняя работница.

Долгое время Икбалхон была довольна такой жизнью, старалась унять тревожные мысли. Но постепенно поняла все. Юлдашали, конечно, долго ждал, а потом завел другую семью. Да, теперь она видела, что в свое время не вынесла домашних забот, от которых вряд ли бывает свободной хоть одна женщина. А желая уберечь сына от своей душевной раны, она отстранилась от него. Тулкин вырос замкнутым, молчаливым. «Весь в отца, или это от одиночества и оттого, что Тулкин часто виделся с отцом? Видимо, он ревновал отца к другим детям...» — думала теперь Икбалхон.

«Что это за дом, где не собирают игрушек ребенка и не стирают одежду мужа...» Будто что-то острое впилося в сердце, отчего Икбалхон охнула. И впервые в жизни горько заплакала.

Открылась дверь. Тулкин возился у порога, снимая туфли.

— Заходи, заходи же, сынок...

— Сейчас, мамочка! — Привыкший видеть мать за работой, Тулкин испугался, увидев ее слезы. — Что случилось?

Внимание сына растрогало Икбалхон, она прижала его к груди.

— Никто меня не обидел. Я не плачу, это так, пройдет. По тебе соскучилась. Внуков хочу. Буду воспитывать твоих детей. Ты не думай, что у твоей матери вместо сердца камень. У нас полон дом будет игрушек, я буду вкусно готовить, в садик водить внуков, потом в

музыкальную школу. Женись, сынок
миленький!

Тулкин не ожидал, что его слова так затронут мать, он растерялся, молча, не находя нужных слов, поправил свои волосы, которые то и дело падали на глаза.

— Хорошо, мамочка, хорошо. Только успокойтесь,— наконец сказал он.

А Икбалхон еще сильнее приникла к своему сыну, она искала в нем почти утраченное материнство.

Шухрат

НАГОНЯЙ

Угрюмая, нахохлившаяся, точно сова, тетушка Хури набросилась на мужа, едва он переступил порог:

— Из ума выжили на старости лет? Ни стыда, ни совести! Хотите, чтобы дочь век просидела в девках? К лицу ли человеку преклонного возраста устраивать скандалы на глазах всего кишлака? Ох, и что теперь скажут люди?..

Рустам-ата сразу догадался, о чем идет речь. Иной встречи он не ожидал. Терпеливо и спокойно выслушав жену, старик произнес негромко:

— Что скажут? Скажут — дед Рустам прав. Только и всего.

— Как бы не так, ждите! «Век прожил, а разума не нажил», — вот как отзовутся о вас! В глаза промолчат, за глаза будут смеяться.

— За углом злословят трусы, честный режет правду в лицо. Да и нет никаких сплетен, что ты расшумелась?

— Нет сплетен?! Кто не хочет, тот, конечно, ничего не услышит...

— Эх-хе! — вздохнул старик досадливо. — Человек, знающий себе цену, не обращает внимания на болтовню недоброжелателей. Учти это!.. Муж пришел с работы усталый, голодный. Нет чтобы побыстрей накрыть на стол — она напустилась. Кто же так делает?

Рустам-ата снял рабочую одежду, вытряхнул из нее пыль и повесил на гвоздь, вбитый в столб навеса.

— Ах, вы проголодались? — язвительно продолжала тетушка Хури. — Почему же в поле не поели? Кто подбивал на ссору, тот и угостил бы вас пловом. Я знаю их! Это наши враги. Те, кто рассчитывал на Мирсаидджана, с носом остались. Их рук дело, меня не проведешь. А вы, простофиля, слушаете разинув рот. Оскорбил такого смиренного парня! Ведь он и воды не замутит, овечки не обидит! Боже мой, как я буду людям в глаза смотреть? И почему я такая несчастная? Осрамили, опозорили на весь мир! Что, если свадьба расстроится? С каким лицом вы покажетесь на улицу?

Сухонькая физиономия старушки передергивалась от возмущения, костлявые руки тряслись.

Рустам-ата нахмурился, побряхывая, снял с ноги порыжевший от времени, стоптанный сапог.

— Свадьба расстроится?! — сказал он сердито.— Пусть расстраивается. Если этот парень способен из-за случившегося отказаться от невесты, пусть проваливает на все четыре стороны. Не нужно мне такого зятя. Я-то считал его серьезным, рассудительным джигитом.

— Что же он, не такой, по-вашему?

— Не такой, если обиделся,— резко сказал Рустам-ага.— Будь он настоящим хлопкоробом, честным тружеником, не обиделся бы на то, что я поучил его уму-разуму. Наоборот, спасибо сказал бы.

— Спа-си-ибо?! — Маленькая шустрая тетушка Хури наступала на супруга, как разъяренная клушка на старого, добродушного волкодава.— Вы настигаете арбу, как разбойник на старой бухарской дороге, загораживаете путь, начинаете размахивать руками, всячески поносить беднягу, а он должен за это спасибо сказать?! Хорош учитель!

— А ты слышала? — Рустам-ата не выдержал и рассмеялся.

— Да, слышала! — взвизгнула тетушка Хури.— А хоть бы и не слышала. Знаю уж, какой вы есть. Самый горластый старик в кишлаке. Ну и горло — троим предназначалось, одному досталось. Горе мое, горе! И почему вы так ненавидите людей? Зачем придираетесь к каждому прохожему? Или в колхозе, кроме вас, некому приструнить провинившихся? Обидеть человека, который не сегодня завтра женится на вашей дочери... Да я бы сгорела со стыда! А вы даже не покраснеете.

— Чего мне краснеть? Сказано — кто работает в кузнице, тот не боится искр. Что касается Мирсаида... Я не тащу его насильно в зятя. Не хочет — как хочет. Мне все равно.

— А каково нашей Камиле? Молодые любят друг друга, собираются навек соединить свою судьбу, а вы вашей грубостью хотите расстроить дружбу. Вы хотите погубить свою дочь! Вы не отец, е изверг! Вы...

— Тихо, жена! Успокойся. Не трать силы попусту. Если у тебя их так много, бери-ка фартук да шагай в поле. Соберешь пару мешков хлопка — все какая-то польза будет колхозу. Урожай нынче богатый, рабочих рук не хватает. Ну, двинулись, что ли?

Рустам-ата с притворной решимостью потянулся за фартуком.

— Ка-ак?!—вскипела тетушка Хури.— Теперь вы за меня принялись? Хватит, отработала свое. Я вон из речки воды набрать не могу, еле-еле полведра приношу.

— Ну, тогда не мешай молодежи спокойно трудиться и отдыхать.

Старик присел, неторопливо стащил второй сапог.

— Это кто молодежь-то,— опешила старушка.— Вы, что ли? почтенный Рустам развеселился.

— Да, а кто же!

— А в зеркало вы давно смотрелись?

— Зачем мне смотреться в зеркало? Мало ли кто седеет прежде времени. Возраст человека узнают не по морщинам, не по бороде, а по работе. Козел вон родится с бородой, а какой от него прок?

Рустам-ата хотел добавить кое-что порезче, но сдержался. Как бы старуха окончательно не вышла из себя и не слегла. Расстроится — три дня пролежит.

Старик отложил обувь в сторону, взял медный таз, чтобы вымыть руки.

— Давайте уж, сама полью,— проворчала тетушка Хури. Она почти остыла, но все еще продолжала ворчать:— Он ведь тихий парень, добрый, спокойный. А вы ему, бедняжке, такой нагоняй закатали.

— Ну, хватит, мать. Хватит! Утихомирься! Принеси-ка чего-нибудь перекусить. Ничего не делается твоему любимцу. Пусть закаляется, учится жить. Замесишь Глину покруче — и чашка из нее получится добрая. Не вздумай подсовывать ему под голову пуховую подушку — избалуешь, лежебокой станет, сядет жене на шею.

Дед Рустам знал, чем утихомирить жену.

«И впрямь не надо баловать женишка,— разленится, в лоботряса превратится»,— испуганно подумала тетушка Хури...

А случилось вот что.

Утром старик отправился к речке Чукурсай. Зачем, спросите вы,— ведь участок его бригады находился в другой стороне...

Видите ли, у Чукурсай трудилась бригада Норбуты-Карвона, с которым соревновался Рустам-ата. Говорят, вчера Норбута опять работал из рук вон плохо. Бригада недодала несколько центнеров хлопка. Вот почтенный Рустам и решил разобраться, почему отстают приятели.

Старик шагнул по краю поля, дорогой, проложенной колесами рабочих арб.

По левую сторону в узкой пойме Чукурсай, в зарослях ивняка, трещали сороки. Справа раскинулся коричневато-зеленый, в белых крапинках, массив созревшего хлопчатника.

Рустам-ата шел и считал, сколько человек из бригады Норбуты-Карвона вышло на уборку. Ага, сегодня все. А это кто? Э, да это же

старейший хлопкороб Сулган-Совук! Видать, не утерпел, хоть еле ноги передвигает, явился в отстающую бригаду. Ну, теперь дело пойдет.

Внезапно старик остановился и замер, словно охотник, заметивший куропатку...

Он сделал несколько осторожных шагов вперед и наклонился.

На дороге, в пыли, лежала целая пригоршня скомканного хлопка!

Старик бережно поднял его, заботливо стряхнул пыль, цепко приставшие соринки и не спеша двинулся дальше. Вот ротозей! Основного-то и не видят.

Пройдя немного, он опять поднял горсть хлопка... И тут заметил, как у спуска в лощину что-то мелькнуло и пропало. Старик посмотрел на следы колес, затем припал ухом к земле.

Рустам-ата услышал отдаленное тарахтенье.

Да, здесь только что проехала арба.

Сложив хлопок в полу халата, он быстро зашагал по дороге. Ему пришлось еще два раза остановиться и подобрать оброненное волокно. Рассерженный пуце прежнего, он ускорил шаг. В лощине медленно двигалась арба, нагруженная туго набитыми мешками.

«Что случилось? Куда он торопится? Уж не заболел ли кто-нибудь в семье, не за доктором ли бежит почтенный отец Рустам?» — так мог подумать встречный, завидев спешащего старика, но здесь, на полевой дороге, прохожих не попадалось.

Рустам-ата запыхался. На лбу его выступили капельки пота. Не добежав до повозки метров пятьдесят, старик не вытерпел и крикнул во весь голос:

— Эй, арба, стой!..

Но арба и без того стояла.

И тут...

Почтенный Рустам застыл на месте с раскрытым от изумления ртом.

На лошади, впряженной в повозку с двумя огромными, выше человеческого роста, колесами, сидел верхом... его будущий зять Мирсаид. Всего неделю назад Рустам-ата помолвил с ним свою дочь Камилю. Теперь всем известно, что они жених и невеста, что, как только закончится уборка, будет свадьба.

Подбоченившись в седле, Мирсаид разговаривал с какой-то девушкой, стоявшей у края дороги.

Вот так штука.

Со дня помолвки, как это водится, Мирсаид стеснялся пройти по улице, на которой жила Камиля с родителями, обходил их дом стороной.

Нечего сказать, встретились...

Старик растерялся. Как быть? Хлопок, подобранный на дороге, жег ему руки, точно камень, раскаленный лучами полуденного солнца.

Но с другой стороны... Стоит ли из-за нескольких горстей хлопка обижать жениха своей родной дочери? Не чужой все-таки человек — уже почти родня...

Сердце у почтенного Рустама заныло. Эх! Два больших пальца на руках, и оба свои. Какой бы из них ни укусил, почувствуешь одинаковую боль...

Рустам-ата взглянул на девушку, с которой беседовал Мирсаид. Светлолицая, темноглазая...

Уловив недобрый взгляд старика, девушка подарила Мирсаиду ласковую улыбку и, поправив фартук с хлопком, круто повернулась, переступила через межу и скрылась в густых кустах хлопчатника.

Мирсаид покосился на старика и опустил голову.

«Эге! — В груди почтенного Рустама колючим ежом заворочалась ревность.— Почему Мирсаид разговаривает с этой девушкой, да еще в таком укромном месте? Ах ты, такой-сякой! — думал старик возмущенно.— Хорошенький зятек мне достался. До работы маловато охоты, а с девушками любезничать, видно, первый мастер. Ну, погоди же у меня».

— Это с вашей арбы, сынок,— начал Рустам-ата довольно сдержанно, выкладывая из полы засоренный хлопок.— О чем вы мечтаете во время работы, а?.. Чужой труд уважать надо. Так настоящие дехкане не поступают!

Старик от слова к слову горячился все больше, голос его крепчал.

— Люди выращивали урожай в невыносимую жару, обливаясь потом на солнцепеке! — гремел Рустам-ата.— Почему же вы не цените свой труд и труд ваших друзей?.. Едет себе потихонечку и ничего не видит! Побредут за арбой коровы и верблюды, будут жевать оброненный хлопок — вы и того не заметите? Где ваша совесть? И вообще, почему вы вдруг очутились на арбе? Легкой работы захотелось? Разве нельзя было посадить в седло кого-нибудь послабее? С этим делом любой мальчишка справится. Такой здоровяк взгромоздился на бедную лошадь, катается по дорогам да с

девчонками...

Мирсаид опустил голову еще ниже.

Он не произнес в ответ ни звука — понуро молчал, будто набрал в рот горького кок-чаю. Парень работающий, скромный, Мирсаид был ошарашен. Он даже не заметил, когда и куда ушел рассерженный старик. Того давно и след простыл, а бедняга все сидел и сидел неподвижно, опершись рукоятью плети на оглоблю.

Мирсаид рассеянно, как спросонок, огляделся по сторонам, устало отер залитое потом лицо, бессознательно и вяло взмахнул плетью.

Проехав несколько шагов, он спохватился. Хлопок! Мирсаид вновь остановил лошадь, прыгнул на дорогу, зашел за арбу. Швы на некоторых мешках распоролось. Из широких отверстий висели клочья волокна. Проклятье! На ухабистой полевой дороге можно было вытрясти четверть груза.

Мирсаид с яростью затолкал кулаками хлопок в мешки, затянул дыры шпагатом. Влезая обратно в седло, он увидел невдалеке, под развесистым карагачем с темно-зеленой кроной, своего нареченного тестя, разговаривавшего с председателем колхоза.

Рустам-ата, размахивая руками, что-то горячо доказывал низенькому, толстому, невозмутимо спокойному Акраму Сафарову.

«Про меня рассказывает председателю,— похолодел Мирсаид.— Какой же я осел! Попался на удочку, послушался этого горбатого Аширмата. Сбил меня с толку, нахвалил — веселая, мол, работа. А я и уши развесил. Лучше, от зари до зари хлопок собирать, чем разок проехаться на этой проклятой арбе. Что теперь будет? Разговоров не оберешься. Чего доброго, Рустам-ата возьмет и скажет: «Не надо мне такого зятя». Нуда тогда деваться?»

Мирсаид ругал себя всю дорогу до хирмана. Здесь, на широкой, плотно утрамбованной площадке сушили сырец,— его подвозили с самых дальних концов поля на таких же арбах, какой управлял Мирсаид.

— Получай обратно! — Мирсаид, не глядя на горбатого Аширмата, зло сунул ему в руки плеть.— Чтоб ты провалился со своей арбой! Где мой фартук?

— В чем дело? — удивился Аширмат.— Живот растрясло?

— Совесть растрясло! — крикнул Мирсаид.— Подбил меня на детскую работу, перед людьми стыдно.

— Чего ты распетушился? — Узкие глаза Аширмата округлились,

как нераскрывшиеся коробочки хлопка. Он впервые видел сердитым своего обычно смиренного товарища.— Я его пожалел, думаю, замучился парень, пусть отдохнет денёк два, а он вместо благодарности взъелся на меня. Нечего обижаться на других, если даже с арбой управиться не можешь. Говорят, под плохим седоком и аргамак спотыкается, под хорошим наездником и кляча несется вскачь.

Говорливый Аширмат собрался было вдоволь потешиться над неудачливым возчиком и уже ухватился за первую из бесконечного количества известных ему поговорок, но Мирсаид не стал его слушать.

— Довольно! Прибереги красноречие для чайханы.— Он сорвал с Аширмата почти пустой фартук и двинулся в поле.

Замелькали крепкие пальцы, ловко выбирая из бурых раскрывшихся коробочек пушистое, теплое от солнца волокно. В ушах Мирсаида все еще звучали гневные выкрики старика Рустама.

«Хорош тесть!—огорченно думал Мирсаид.— Из-за пустяка разнес, как шкодливого мальчишку».

Он пытался вызвать в сердце злость, настроить себя против «зловредного старика», но ничего не выходило. Куда уж тут злиться. Рустам-ата прав. Не ради себя — ради общего колхозного дела наказал он Мирсаида. И поделом!

Только вечером, когда Мирсаид встретился возле клуба с Камилей, ему стало немного легче.

— Ну и нагоняй я получил сегодня от вашего отца! — сказал он с невеселой усмешкой.— Уговорил меня Аширмат на арбе поездить,— видать, самому надоело по ухабам трястись. Ну, проехал я по полю, нагрузил на арбу мешки, набитые сборщиками, отправился на хирман. Смотрю — у дороги Назира, подруга ваша, работает. Я задержался, говорю ей: «Сегодня в клубе хорошая картина. Приходите вместе с Камилей, одной ей неловко». Она вам передала?

— Да. Назира проводила меня сейчас до угла, а сама пошла за билетами.

— Только я сказал ей эти слова, как вдруг, откуда ни возьмись,— ваш отец! Налетел на меня, как коршун, и давай пушить! Уж он меня и так и эдак. Как начал распекать — в пору хоть сквозь землю провалиться! Не знаю, куда глаза девать от стыда. Язык отнялся, не могу ответить. Голову поднять нет сил, пальцем не пошевелю. Все у меня онемело, сижу ни жив ни мертв...

— Я все знаю...— Камила с беспокойством заглянула жениху в

глаза,— Вы... не рассердились на отца?

Мирсаид помолчал, затем смущенно развел руками:

— Чего уж тут сердиться? Сам виноват. Легкой работы захотелось...

— А я... я думала...— Девушка не смела высказать того, что было у нее на душе.

Еще днем она узнала о роковой встрече Мирсаида со старым Рустамом и страдала не меньше, чем жених.

«Все пропало!—думала Камиля.— Отец оскорбил Мирсаида, и теперь он отвернется от меня. И надо же было им встретиться! Ну что это за отец? Набросился на беднягу, как на чужого. Да и Мирсаид хорош, нашел себе занятие — на арбе кататься...»

Мирсаид бережно прикоснулся к руке невесты:

— И о чем вы думали?

Камиля потупилась и прошептала чуть слышно:

— Что вы... со мной больше...

Она не договорила и закрыла руками лицо.

У Мирсаида перехватило дыхание.

— Камиляхон! — зашептал он горячо,— Неужели я откажусь от вас из-за того, что ваш отец отругал меня? Если бы он был даже неправ, и то я примирился бы с этим ради вас. Ведь он разнес меня не как зятя, а как нерадивого колхозника. Нельзя путать одно с другим, хотя, конечно, нерадивый колхозник вряд ли может быть хорошим зятем, особенно для такого человека, как Рустам-ата. Короче говоря, я не в обиде на вашего отца. Только вот Рустам-ата...— Мирсаид озабоченно потер ладонью горячий лоб: в голосе юноши слышалось сомнение,— простит ли он меня?

— Простит.— Камиля улыбнулась.— Отец вспылчив, но сердце у него отходчивое.

— Чудесно!— Мирсаид вздохнул с таким облегчением, будто три версты протащил на себе ту самую злополучную арбу и только что сбросил ее с плеч.

— Но вы не спросили, прощу ли вас я,— сказала Камиля лукаво.

— За что? — испуганно встрепенулся Мирсаид.

— Все за то же — за арбу. Такой великан пахлаван, и вдруг...

— Да в жизни я не подойду больше к проклятой арбе! воскликнул Мирсаид. Оглянувшись, он прошептал, холодея от собственной храбрости:— Разве когда поеду за вами в день нашей свадьбы...

Юноша сделал робкую попытку привлечь невесту к себе, но она

живо отскочила:

— Ой, в кино опоздали!

...Тетушка Хури всю ночь ворочалась в постели. Вздыхала, охала, не могла уснуть. Утром встала необычно тихая, приветливая. Отозвала мужа в сторонку.

— Слушайте, отец. Вчера, когда вы задремали после ужина, я ходила в клуб...

Молодец, старуха! Культурно отдыхаешь. Ну, и какую картину ты видела?

— Очень красивую картину. Я видела Мирсаида и Камилю вместе.

— Так.

— Все в порядке.

— Хорошо.

— Выходит...

Тетушка Хури хотела сказать: «Выходит, ты знал, что делал, распекая Мирсаида. Я понапрасну напустилась на тебя. Прости неразумную старуху».

Но тут старик добродушно улыбнулся:

— Ладно, мать, знаю, что выходит.

Проницательность супруга вывела тетушку Хури из себя, она вспылила:

— Ничего вы не знаете! Не смейте бранить моего сыночка Мирсаида, слышите?

Рустам-ата важно погладил бороду и усмехнулся:

Ну, это ты брось, старуха. Заслужит — еще сто раз отругаю. Ясно?..

Адыл Якубов

ПРОЩАНИЕ

За последнюю неделю старому мастеру Кабулу стало совсем плохо. Он лежал на спине в лучшей комнате дома, у окна в сад, на деревянной кровати. Под головой несколько подушек. Коротко подстриженная белая борода смотрит в потолок, виски вдавлены, прямой нос заострился. Только руки с вздувшимися венами, большие, костлявые и исхудавшие, остались сильными и красивыми.

Боль была в желудке. Казалось, что туда забрался голодный еж и вот уже месяц, как он то царапает, то грызет, то жжет чем-то горячим.

Уже неделю старик не может есть, и только когда огонь внутри становится невыносимым, он пьет из глиняного кувшина несколько глотков холодного кислого молока.

Поняв, что дела его плохи, Кабул попросил вызвать младшего сына Надира, живущего в городе, и тот третьего дня приехал вместе с женой.

С тех пор как мастер заболел, дом был вечно полон людей.

А с прибытием Надира народу стало еще больше, и старшая невестка Гульджахон совсем сбилась с ног. Посетители сидели подолгу, в гостиную заходили с грустными лицами, и когда спрашивали старого мастера о здоровье, глаза у них становились печальными, а в голосе была тревога. Но старый мастер н? расспросы о здоровье отвечал: «Слава богу»,— и посетители веселили, завязывалась беседа, даже слышался смех.

Вот и сейчас под окном на деревянном настиле разгорелся громкий спор среди гостей, окруживших Азиза-домлу, седого, моложавого. Рядом с ним — Надир. На нем небесно-голубые шелковые бриджи, а сквозь белую, тоже шелковую майку виден большой, выпирающий наружу живот. Надир пополнил, и кажется, что именно из-за этого лицо у него стало красное и глаза щурятся из-под опухших век. В общем, Надир выглядит неправдоподобно важно, почти величественно. Он часто вытирает красивым платком капли пота с шеи и носа и предпочитает молчать, а на вопросы, прямо к нему обращенные, отвечает кивком **головой** и улыбкой.

В последний раз Надир приезжал три года назад, когда умерла мать, и прожил тогда у отца дней десять. С тех пор как-то не находилось времени приехать, и хотя отец звал его, Надир так и не сумел

вырваться. Вот только в прошлом году осенью прислал в кишлак свою старшую дочку Фирузу, чтобы она побывала у деда, пока он, НаDIR, закончит свой научный труд.

Мастер давно не видел сына, и теперь НаDIR кажется отцу сильно изменившимся.

Против Надира сидит, скрестив ноги, колхозный бухгалтер Икрам. Он тоже очень толстый — голова ушла в плечи так, что шеи совсем не видно, а большой круглый живот лежит у него на коленях, и только Самад, недавно выбранный председателем, все такой же высокий и поджарый, как прежде, с обожженным на солнце смуглым лицом. И разговор они ведут какой-то странный. Вот уже целый час обсуждают проблему молодежи.

Начал разговор, конечно, Азиз-домла. Поминутно поглаживая длинными, неживыми пальцами бледные губы, он жалуется на молодежь: неучтива, невоспитанна, не интересуется наукой. Говорит он горячо, будто спорит.

— Правильно! — перебивает Икрам, поднимая грузное тело.— Нынешняя молодежь позабыла не только уважение к старшим, но и все наши обычаи.

Самад нахмурился.

— Ты уж слишком! — В его голосе чувствуется неловкость. Но Икрам этого не замечает.

— А что, не правда? Мы разве такими были в школе?

Вот пусть домла сам скажет.

Домла поглаживает губы.

— Да, то было другое время,— и как-то странно улыбается.

«Все та же баня и тот же таз,— думает мастер.— Ругают молодежь».

— Правильно, домла,— это голос Икрама.— Мы были другими. И многие из нас вышли в люди.

— Например, в великие бухгалтеры,— смеется Самад.

— Я о себе не говорю. А вот, например, НаDIR. Стал ученым. Защищает диссертацию.

Все повернулись к НаDIRу. Он улыбается, но непонятно, доволен он или нет словами Икрама.

«Да, ученый! — думает мастер.— Великое слово, священное слово».

Азиз-домла смущенно улыбается: он любил Надира с детства, считал его своим учеником.

— Ты нас не слушай,— говорит он, кладя руку на колено Надира,—

расскажи лучше о себе. Диссертацию закончил?

Надир вытер платочком шею и лицо, приподнял брови и помолчал.

— Закончил,— сказал он наконец.— Уже автореферат разослал. Если бы старик не заболел...— он покосился на окно,— я бы на следующей неделе защитился. Теперь боюсь, что перенесут на осень. Но что же делать, старик плох.

Снова наступило молчание.

«Старик,— подумал мастер.— Старик».

Надир прежде называл его «папа», и новое слово казалось чужим, от него заныло сердце. А может быть, боль расшатала нервы.

Третьего дня, когда обе невестки разом вошли к больному, мастер расстроился и прослезился. Он дотянулся иссохшими руками до спинки кровати и попытался подняться. Но вошел Надир и не дал ему встать, а сам уселся на край кровати.

— Ну как вы, старик? — спросил он.

Мастер услышал это слово, и боль, которая было утихомирилась, всколыхнулась с новой силой. Он повернул голову к побледневшей невестке, поздоровался с ней и упал на подушки.

С того дня мастер слышал слово «старик» постоянно, но никак не мог к нему привыкнуть.

Из тишины снова возник голос Икрама.

— Ничего, мастер молодец. Выздоровеет, еще будет бегать, как конь.

Надир скрестил ноги и кашлянул.

— Конечно,— сказал он,— диссертацию можно было защитить и раньше, ведь вы сами знаете, мне от вас скрывать нечего. У меня семья...— Он обращался больше к Азизу-домла, а тот кивал головой, улыбался.— Раньше и не знал, что так тяжело с семьей... В доме все нужно: и нитки, и иголки, и ложки, и плошки,— засмеялся Надир.— Правда, старик помогал. Несправедливо было бы умолчать об этом. Но семья есть семья, и жить хочется все лучше и лучше. Однако...— Надир смахнул каплю пота с кончика носа и опять улыбнулся.— Да мы и живем лучше, мои заботы не пропали даром, сами увидите, у нас теперь ни в чем нет недостатка. Уют и порядок.

«Уют, порядок,— думает мастер.— Ложки-плошки».

Самад кашлянул:

— Как называется диссертация?

— Тема диссертации,— Надир вытер платочком лоб,— может

показаться несколько странной неспециалисту — «Нервная система лягушки». Дело в том, что между нервной системой человека и лягушки есть известное сходство. Вот домла знает.— Надир повернулся к Азизу-домла, и тот быстро закивал головой.

— Конечно, конечно,— сказал он, поглаживая губы.

«Лягушка,— думает мастер,— человек, нервная система». Он вдруг почувствовал, что у него болит голова от этих разговоров, и, собрав силы, повернулся на бок. Мягкий ветерок коснулся его лица и принес запах цветов. Мастер приподнял голову и посмотрел на яблоню во дворе. Тень была на обычном месте: скоро придет Абдулла-джан. Вот уже месяц, как старший сын заменяет отца на строительстве больницы. И каждый вечер после работы отчитывается перед мастером.

Старый мастер думал об этой стройке так, как если бы она была последней памятью о нем. Он вложил в это здание все свое искусство и поэтому каждый день с нетерпением поджидал Абдулладжана и так жадно слушал его обстоятельный рассказ. И даже боль в эти минуты утихала.

Больница строилась за счет района и колхоза. Не очень большая, всего восемь комнат. Но в прошлом году руководители района в самый разгар работ надумали строить вместо больницы стадион (тоже придумали!). Одних колхозных средств не хватало, и строительство больницы приостановилось. Если бы мастер не заговорил об этом на отчетно-перевыборном собрании, кто знает, может быть, и в этом году здание не закончили бы. Мастер мечтал сам его построить, а потом уже отправиться вслед за женой, но вышло иначе — он возвел только стены, крышу уже кроют другие, а сам мастер лежит на спине у окна в сад.

Мысли прервали Дети, прибежавшие с улицы. Среди них — два сына Абдулладжана и Фируза — дочка Надира. Мастер как-то по-особому нежно любит эту девочку. Ему нравятся ее глаза — блестящие и черные, как виноградины, такие глаза были у жены в молодости.

До приезда Надира Фируза бегала, как и мальчики Абдулладжана, в стареньком платьишке, а теперь приехала мать, и девочка щеголяет в коротеньком белом платьице, с белыми лентами в косах. Она похожа теперь на стрекозу, прыгающую с ветки на ветку.

«Пусть твой век будет долгим, девочка»,— подумал мастер. Он смотрел на детей и думал о том, что ведь и Надира он любил больше других сыновей, с самого детства баловал. А затем вдруг вспомнил, как

еще до войны он ставил двадцати четырехкомнатное здание школы, строили его всем колхозом, и его, мастера, сделали ответственным за это строительство. Помогать приходили и учителя. В полдень НаDIR приносил отцу узелок с едой. Учился он тогда не то во втором, не то в третьем классе и был очень похож на отца: высокий и худой. Мастер каждый раз радовался его приходу, да и другие любили его, а учителя похваливали. Особенно отличался Азиз-домла: «Учится во втором классе, а умнее иных пятиклассников», — повторял он, намекая на то, что не у всех такие удачные дети.

Сначала НаDIR смутился, прятался за спину отца, а мастер смеялся. Потом мальчик привык к этим похвалам и даже словно ждал их. А потом началась война. У всех было свое горе. После войны счастливая звезда засияла над головой НаDIRа. Фотографию талантливого мальчика напечатали в газете — он приветствовал иностранных гостей, говорил с трибуны, и все учителя предсказывали ему большое будущее.

Со временем и мастер стал глядеть на сына по-иному — освободил его от всех домашних дел, и НаDIR лучше всех окончил школу. А потом уехал в город. Мастер ничего не жалел для сына, да и Абдулладжан постоянно помогал ему.

НаDIR и в городе учился хорошо, и, должно быть, поэтому его оставили в институте.

Мастер был доволен сыном и не обижался, когда тот подолгу не приезжал и не писал: отец понимал, что сын идет к высокой цели, и когда говорил об этом кто-нибудь, особенно Азиз-домла, сердце отца наполнялось счастьем. Да и сейчас он не обижался на сына. Одно его беспокоило: сын сильно изменился, уж очень непохож на прежнего НаDIRа — высокого, худощавого и красивого юношу.

Внезапно Кабул почувствовал, что еж в желудке перевернулся и вонзился в сердце и сразу во рту и в горле пересохло...

У кровати стоит глиняный кувшин с холодным кислым молоком. Когда начинает вот так гореть внутри, он спасается двумя ложками кислого молока. Но сейчас приходится самому дотягиваться до кувшина — если дети услышат, то опять начнутся расспросы, порядком надоевшие ему.

Собрав все силы, мастер поворачивается на правый бок, стараясь не скрипеть, но Самад все же услышал и вскочил с места. За ним медлительно и грузно поднялся НаDIR.

— Что случилось, старик?

— Нет, нет, ничего, я только кислого молочка достать.

Он проглотил несколько ложек и, почувствовав облегчение, опустил на подушку.

— До свидания, мастер,— сказал Самад.— Выглядите вы хорошо, и вообще не торопитесь туда — сами знаете, как у вас еще много дел недоделано.

Увидев улыбку Самада, мастер тоже улыбнулся.

«Хороший парень, долгой ему жизни! Как стал председателем, так колхозникам полегчало. Занят с утра до ночи, а каждый день забегает проведать». Мастер и не заметил, как заснул с этими мыслями.

И вдруг сквозь дрему услышал голос Абдулладжана. Хотел было подняться, но Абдулладжан уже входил к нему.

Очень похожий на отца, только еще более худой и высокий, такой высокий, что, несмотря на широкие плечи, кажется тонким и даже хрупким. Коротко подстриженная густая черная борода и щеголевато подкрученные усы скрадывают продолговатость лица.

— Вы не спите, папа? — голос глухой, но мягкий.

Мастер покачал головой.

Абдулладжан придвинул стул к кровати, нагнулся и тихо спросил:

— Как дела, боль отпустила?

— Не надо о боли, сынок.

Длинными, потрескавшимися пальцами с поломанными ногтями Абдулладжан подкрутил усы, улыбнулся, как мать: губами и глазами. Отец любовался красивым статным Абдулладжаном. Как он молодо выглядит в свои сорок лет! Кабул вспомнил, что и ему в пятьдесят никто не давал больше тридцати пяти.

Абдулладжан начал отчитываться:

— Сегодня, считайте, покрыли крышу. Ни шифера, ни железа не нашли, пришлось толью. С завтрашнего дня штукатурим.

Все это были известные, обычные слова, но мастер слушал внимательно, переспрашивал, радовался, а больше смотрел на него, следя за выражением глаз и улыбкой, так напоминающей улыбку жены.

Уже двадцать пять лет отец и сын работают рядом, но до сегодняшнего дня не замечал мастер, какой хороший и красивый у него сын, как-то не присматривался к нему, не хвалил за работу, за заботу — никогда не хвалил его. От этих мыслей не то что болит сердце, а как-то досадно, хотя открытие радует.

В комнату вошла Гульджахон, старшая невестка, и сразу смутилась, почувствовав на себе внимательный, невеселый взгляд Кабула.

Весь этот месяц мастеру было особенно неловко перед нею. Он стеснялся своих обтянутых кожей костей, боялся испугать и огорчить ее своим видом. Гульджахон остановилась у двери: высокая, тонкая, с большими, как у мужа, руками, загрубевшими от работы. И только худощавое лицо, доброе и какое-то умиротворенное, удивляло нежностью черт.

— Сегодня много гостей. Простите, папа, я давно не заходила к вам. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, дочка, занимайся своим делом, трудно тебе.

— Ничего мне не трудно, были бы вы здоровы,— Она посмотрела на мужа, словно искала у него поддержки.

— Поешьте немного супу. Я добавлю туда кислого молока. Только немножко.

Ему совсем не хотелось есть, но не хотелось и обидеть невестку. Вот уже двадцать лет живет она в их доме. И за все это время не видел мастер, чтобы Гульджахон не хлопотала. Все эти двадцать лет она работает в поле и дома. Встает на рассвете, ложится за полночь.

А после смерти жены весь дом на ее руках, и о дочке Надира ей тоже приходится заботиться. Однако же никогда не слышал мастер, чтобы невестка жаловалась на судьбу или сердилась. Да, трудно ей. Нужно сказать Абдулладжану, чтобы повез ее куда-нибудь отдохнуть.

Абдулладжан принес суп.

— Папа, может, вызвать доктора из города? — не скрывая тревоги, спросил он.

Мастер покачал головой.

— Иди, отдохни, сегодня мне лучше, только ослаб очень.

Нет, он не обманывал, боли сейчас нет, была только слабость. Потом мастер заснул и увидел сон: будто он строит комнату для себя и для жены, чтобы на старости пожить тихо, строит и торопится. Тут же и жена в голубом платье и таком же голубом платке на голове, с подмазанными сурьмой глазами.

— Что это вы так торопитесь, отец? — говорила она.— Я думала, что вы еще позаботитесь о детях.

Он засмеялся в ответ:

— До каких же пор о них заботиться, нам ведь тоже хочется пожить...

И проснулся. Солнце еще не взошло, но в комнате уже светло, а с улицы слышался голос пастуха.

Стало трудно дышать. С минуту он прислушивался к мычанию и бляению стада. Но вот за окном послышались приглушенные голоса.

— Ты не понял меня!

«Надир»,— подумал мастер.

— И немудрено, ведь происходит что-то непонятное. Ты же сам видишь.

«А это Абдулла».

— Вижу, вижу, но сообрази сам: если я сейчас не защищусь, то это проклятье будет висеть надо мною еще семь месяцев.

— Ничего не случится, если отложишь, ты же видишь, в каком состоянии отец.

— Он может и год так пролежать.

— Слушай, ученый, замолчи, пожалуйста.

— Ладно.

Голос Надира изменился, задрожал, как у обиженного ребенка.

Мастер тихо закрыл глаза. Господи, не слышать бы этого голоса, повернуться на другой бок, уснуть...

Но какое там повернуться, пошевелиться и то сил нет, а сердитый голос звучал уже на высоких нотах.

— Неужели вы все не понимаете, что моя жизнь, мое будущее, все зависит от этого. Эта защита нужна не только мне, а всем нам. Я уже не говорю об авторитете, ты этого не поймешь, но ведь и денег этих проклятых будет в несколько раз больше. Это разве безразлично? Или, думаешь, тебе не будет от этого выгоды?

— Спасибо, нам и своего хватает.

— Вот, вот, опять язвись.

— Хватит! — Абдулладжан приглушенно закашлял.— Но запомни... Тебе же будет стыдно, люди осудят.

— Плевал я на твоих мещан.

Наступила странная тишина.

— Раз так,— сказал Абдулладжан,— делай как знаешь.

Голоса стихли, послышались осторожные шаги. Мастер открыл глаза. Было очень тихо, казалось, что вокруг ни души. «Неужели это Надир? Мой младшенький, любимый, моя гордость?»

Что-то сдавило ему горло. Две слезы скатились по щекам и затерялись в бороде.

«Что с тобой, старик?» — подумал мастер, но слезы все катились и катились. Впервые в жизни он плакал так и впервые понял, что слезы могут облегчить душевную боль!

Когда вошел Абдулладжан, мастер встретил его, как обычно, и попросил позвать Надира.

Абдулладжан удивленно посмотрел на отца, но послушно пошел за братом. На Надире — шелковая пижама, ноги — в домашних туфлях. Лицо, то ли оттого, что он не выспался, то ли оттого, что выпил лишнее вечером, было припухшее, глаза заплаыли.

— Садитесь, дети, я хочу поговорить с вами.— И помолчал немного, чтобы успокоиться.— Сегодня мне совсем хорошо,— сказал он,— спал спокойно, болей нет... Ты приехал в самый разгар твоей работы.— Мастер посмотрел на Надира. Длинный, с горбинкой нос сына вдруг заблестел.

— Да нет, дело не в этом... — начал НаDIR.

— Будь счастлив, сын,— перебил его мастер и закрыл глаза.

Среди молчания послышался надтреснутый голос Надира.

— Ну что вы! Работа подождет, вы в таком состоянии.

Мастер еще плотнее прикрыл глаза и вздохнул:

— Состояние... Ну, какое мое состояние... Я ведь могу так еще пролежать бог знает сколько.

«Что это со стариком,— подумал НаDIR,— смеется надо мной, что ли?»

Конечно, для них, для всего кишлака, он, НаDIR, большой ученый. Вот уже четыре года он не знает отдыха. Днем занят диссертацией, вечером — очередной работой: пишет статьи, преподает в вечерней школе. И делает он все это, чтобы «жить, как люди». Правда, старик помогает. Этого НаDIR не отрицает, несправедливо было бы забывать, но это такая малость для Надира и его семьи. Отцу, да и брату не понять, а теперь, когда дела наладились и он вот-вот должен защититься и начать жить по-человечески, вдруг стряслась эта беда...

Конечно, старик не нарочно заболел. Но... Ладно, пусть говорят что хотят. Только не нужно разрешать себе волноваться. Когда человек сердится, он теряет разум. Надо молча настоять на своем.

Мастер приподнялся на подушке:

— Ну все, сын. Я сказал все,— и перевел взгляд на Абдулладжана.— Попроси жену, чтобы дала мне халат и палку.

Несколько минут мастер лежал не шевелясь, с закрытыми глазами.

Он чувствовал, что Надир здесь, что он не знает, уйти ему или остаться, но не было сил пошевелиться, и он молча боролся с волнением.

Поднялся Абдулладжан и за ним Надир.

— Будь здоров, сынок,— сказал мастер.

Через несколько минут послышался шорох. «Наверно, Гульджахон»,— подумал мастер, но шаги были очень легкие. Мастер увидел руки, положившие халат на спинку стула: сжатые золотыми браслетами, круглые и пухлые руки. Мастер закрыл глаза.

Он решил встать. Хватил ли сил? Он должен встать, иначе Надир не решится уехать. У него ведь и правда спешное дело. Пусть едет. Что с того, что у гроба будет одним человеком меньше? Мастер попробовал пошевелить ногой. Чугунная тяжесть — будто отнялись ноги. И все же он встанет, непременно встанет. Напрягая все силы, упираясь локтями в края кровати, сжимая зубы, мастер сел. Передохнул, отбросил простыню и посмотрел на свои ноги. В глазах промелькнула улыбка: он и не знал, что у него такие длинные, неуклюжие и некрасивые ноги. Он начал медленно подниматься, но когда встал на ноги, почувствовал, что еж, уснувший еще вчера вечером, проснулся и заворочался вновь. Мастер замер, и еж успокоился.

Дети удивленно притихли, когда во дворе появился с палкой в руках старый мастер. Двор был тенистый, но мастеру он показался очень светлым. Листья на деревьях были ярко-зеленые, а розы — слишком красные.

Ребята подняли шум, бросили завтрак и подбежали к деду. Фируза обняла его ноги и стала тереться личиком о его колени. Из кухни вышла Гульджахон с двумя чашками. Она засуетилась и не знала, куда поставить чашки.

— Папа, дорогой, постелить вам во дворе? — подбежала она к мастеру.

Подошли и Надир с женой:

— Что случилось, старик, вам же запретили вставать.

— Когда ты едешь? — перебил его мастер.

Надир пожал плечами.

— Не знаю, вы в таком состоянии...

— Опять состояние! Говорю тебе, что я здоров. Собираюсь на строительство, хочу посмотреть, как они там управляютяся.

— Я уже сговорился с председателем насчет машины, но... скажите, вам действительно лучше? Мои дела ведь можно и отложить.

Надир заикался, краснел. Мастер отвел глаза. «Попросил машину, а сам мнешься»,— подумал он. А вслух сказал:

— Ну, я иду, не беспокойся, ты же видишь, я здоров.— Он вскинул голову, и чугунные ноги стали как будто подвижнее.

Уже высоко поднялось солнце, но было прохладно. Свесившиеся с дувалов переплетенные ветки черешни образовали густой шатер. Вишня уже сорвана и урюк тоже, но кое-где среди пыльных листьев виднелись подсохшие, выклеванные птицами ягоды и засушенный солнцем черный урюк.

Мастер пошел по улице, которая вела к площади, и стал считать дома, построенные его руками. До площади насчитал шестнадцать. Почти все они были крыты камышом — строились в тяжелое время, но все-таки были крепкие и могли простоять хоть сто лет. Сейчас люди с недоверием относятся к камышу, делают крыши из шифера и даже из железа.

Любит мастер свою работу. Еще лет пять тому назад бывали дни, когда он клал в день по пять тысяч кирпичей. Двое дюжих парней не успевали подавать ему. А многие нарочно приходили любоваться его работой.

Из чайханы, спрятавшейся под развесистыми ивами, был слышен смех. Мастера увидели уже издали и высыпали навстречу. Он всей тяжестью опирался на палку. (Господи, сколько раз сидел он здесь, сколько веселых бесед здесь прошло!) И сейчас ему захотелось присесть, поговорить с молодежью, но он боялся, что не сможет подняться. Он только поблагодарил, отвечая на многочисленные вопросы о здоровье, и добавил:

— Я на строительство.

Больница строилась шагах в ста от площади. Сегодня для него этот путь был длиннее и тягостнее, чем путь в Мекку. Все же, увидев высокие стены, мастер постарался ускорить шаги, казаться бодрим.

Проект больницы мастер делал сам. В том проекте, что прислали из города, палаты были расположены с теневой стороны. Живому человеку нужен свет, солнце, да еще болеют-то чаще других старые люди, и им полезнее лекарства теплый ласковый луч.

Правильно сделал, что исправил проект. Здание получилось светлым, ладным, красивым даже. Вдруг он нахмурился: здание готово, а мусор не вывезен. Нужно будет сказать Абдулладжану.

Мастер прошелся по комнатам, а когда вышел, во дворе уже, затаив

дыхание, ждали: что-то скажет Кабул?

— Спасибо! — Он почти прошептал это слово. Мастер не умел хвалить, хлопать по плечу, и это его короткое «спасибо» оценили.

Он же смотрел на рабочих и по их лицам понял, что дело его совсем плохо.

— Вызвать машину, папа? — спросил Абдулладжан.

Мастер отрицательно покачал головой.

— Тогда садитесь, отдохните.

— Нет, я пойду потихоньку. Не беспокойтесь, продолжайте работу, я дойду потихоньку,— повторил он.

Подходя к своему двору, он почувствовал, что едва держится на ногах. У ворот стояла «Волга», собрались соседи. Из дому вышел Надир с женой, за ними несла большой узел Гульджахон. Надир увидел отца... и растерялся.

— Ну что, старик, устали?

Его полное красное лицо было все в капельках пота, а в глубоко посаженных глазах таилось беспокойство.

«Нет, не стоит на него сердиться, у него ведь действительно неотложное дело»,— подумал мастер.

— Устал, так отдохну.

Он повернулся к невестке.

— До свидания, будь здорова, дочка.

Нужно было поднять ногу и поставить на ступеньку.

«Господи, не упасть бы! Еще шесть шагов, а там можно лечь. Без посторонней помощи пройти эти шесть шагов. Вот наконец...»

Гульджахон постелила свежие простыни и взбила подушки. Мастер снял халат, поставил палку к стене и с наслаждением, как когда-то в жаркий день бросался в воду, лег в постель. Он понял, что жизнь кончена, что едва ли дотянет до утра. Но эта мысль не вызвала ни страха, ни сожалений.

Было такое чувство, будто он здорово поработал сегодня и, удовлетворенный, заснет крепким сном.

За этими мыслями мастер не заметил, как наступил вечер и вернулся Абдулладжан.

Мастер посмотрел на него, и на душе опять стало хорошо... «Похож на меня, ну просто копия».

— Папа, как здоровье? — спросил Абдулладжан.

Мастер улыбнулся.

- Спасибо, сын. Приведи-ка детей, хочу на них посмотреть.

— Папа...— Но, поглядев в глаза отца, Абдулладжан молча вышел.

Через несколько минут он привел Фирузу и обоих мальчиков. Вошла и Гульджахон. Глаза у нее были мокрые.

С минуту мастер смотрел на внуков, потом сделал знак- глазами: «хватит».

Он отметил, что на дочке Надира красивое платье, а мальчишки босы и одеты как попало.

— Детей... — сказал мастер вернувшемуся в комнату Абдулладжану,— детей не балуй, ко всем одинаково, понял?

— Да, папа.

— И жену цени. Она у тебя...

Абдулладжан кивнул.

Пришел Азиз-домла, подсел к кровати и наклонился над мастером.

— Ну как дела?— А потом тихо: — Надирджан уехал.— Голос его задрожал.

— Уехал,— сказал мастер тоже тихо. И голос его тоже дрогнул, а в глазах появились слезы. Потом мастер снова заснул, а когда открыл глаза, на месте Азиза-домлы сидел Самад.

...Старого мастера похоронили рядом с женой, на том месте, которое он сам выбрал.

На похоронах был весь кишлак и люди из соседних кишлаков.

Не было только Надира.

Самиг Абдукаххар

ТЫ МНЕ ВЕРИШЬ, САЛИМБАЙ?

...Ровно месяц назад я ушел с работы по собственному желанию. Перестал протирать штаны на канцелярском стуле и шагнул в большую жизнь. Вот, шагаю пока...

А началось это с того, что... Вам приходилось когда-нибудь видеть пчелиный рой, когда он собирается в полном составе для обсуждения событий своей внутрироевой жизни? Видели? Очень хорошо! Тогда вам легче будет представить себе сотрудников нашего треста, собравшихся возле стенгазеты. И все это из-за моего маленького фельетончика под оригинальным названием: «Куда смотрит местком?» Заголовок сам придумал, честное слово!

Первый раз в жизни выступил в прессе и сразу такой успех! Злые языки завистников утверждали, что я тут, как говорится, сбоку припека: просто за последние пять лет в нашей стенгазете не появлялось ни одного критического материала. Но я думаю, дело в другом: уж очень точно был выбран сатирический прицел! Острие моей сатиры было направлено на одну из фундаментальных проблем: в нашем трестовском детском саду неправильно велись посадки плодовых деревьев: яблонь посадили меньше, чем груш, хотя всем известно, что груши хранятся плохо, а яблоки при умелом обращении могут лежать год. Я об этих промахах написал довольно ехидно: «Доколе мы будем мириться с подобным головотяпством?»—и так далее, в том же оригинальном духе. В общем, просто так пересказать фельетон невозможно—нужно его читать. У пригвожденных моей сатирой к позорному столбу (уверен!) до сих пор горят от стыда уши...

Если не считать выхода стенгазеты, то рабочий день треста протекал как обычно: в курилке работала толкучка, на которой можно было приобрести много приятных мелочей — от жевательной резинки до сборника «Зарубежный детектив»; во всех отделах кипятили чай; шахматисты организовали блицтурнир в общем каждый трудился в меру своих интересов.

И вдруг меня вызвали наверх, к самому...

...В просторном кабинете сидели управляющий (которого мы между собой называли «сто улыбок») и его заместитель.

Поздравляй», Салимбай, поздравляю от души,—произнес

управляющий.— Читал твой фельетон и смеялся так, словно меня щекотали со всех сторон! Как это у тебя сказано: «Яблоко от груши недалеко падает»... Гениально! Как я завидую твоему таланту!

На лице управляющего появилась самая задушевная из его улыбок (трестовский фольклор окрестил ее как модель № 1, девиз — «Мы одной крови — ты и я»).

— Молодым везде у нас дорога! — поддержал шефа заместитель, старающийся всегда говорить пословицами, поговорками, афоризмами или, на худой конец, цитатами из популярных песен.

— Яблонями и грушами будет заниматься специальная комиссия,— продолжал управляющий, меняя улыбку на интимно-доверительную (модель № 8, девиз—«Строго между нами»).— Мы быстро наведем здесь порядок, дорогой Салимбай! А теперь догадайся, зачем мы тебя вызвали?

— Семь раз подумай,— один раз скажи! — весело подмигнул мне зам.

Я подумал, может, из-за того, что я доложил главному инженеру о приписках по СМУ-4? Работают там на седьмом объекте по четыре часа, а записывают себе восемь. А может, вызвали меня из-за того, что я обнаружил любопытный сюжет: сметная документация на объекте 13-бис опаздывает минимум на год, а на собрании все время объявляют, что все «в ажуре»?! И еще я вспомнил пять довольно колючих фактов для будущих фельетонов, но, подумав, решил о них пока ничего не говорить. И вообще, на всякий случай, рта не раскрыл, а только руками развел — дескать, ума не приложу, зачем меня вызвали?

Тем временем на лице управляющего появилась иная улыбка, загадочно-многозначительная, с потаенной угрозой (модель № 24, девиз— «Гиена в сиропе»), и он сказал по-отечески:

— У тебя, Салимбай, грандиозный талант фельетониста. Ты мне веришь? И мы просто обязаны создать тебе условия для творчества, для дальнейшего роста, чтобы ты использовал свой фельетонный КПД на полную мощность, как говорится!

— Молодым везде у нас дорога!—многозначительно изрек заместитель.

И мы выведем тебя на эту дорогу! — подхватил управляющим.

— Спасибо!— растроганно сказал я.

Значит, договорились? — Управляющий обнял меня, и на лице его явилась улыбка, которой я еще Никогда не видел, и поэтому не смог ее

точно квалифицировать.— Значит, ты подаешь заявление по собственному желанию в связи с переходом на творческую работу?

— Я?! По собственному?! За что?! — меня даже зашатало от неожиданности, и заместитель вынужден был поддержать меня и усадить в кресло.

— Никто не знает, откуда берутся таланты и куда они исчезают,— сказал управляющий.— Тем более, что есть постановление о молодых дарованиях. Мы не имеем права заточать столь яркие таланты, как твой, в стенах какого-то треста! Да, нам жалко с тобой расставаться, но что делать? Любая газета оторвет тебя с руками и ногами, ты мне веришь, Салимбай? Знаешь, какой сейчас спрос на критику? Ты холостой, детей у тебя еще нет... Когда же начинать путь к сатирическим вершинам, как не сейчас? Да разве найдется в наши дни хоть один редактор, который не мечтает, чтобы кто-нибудь проперчил у него в газете, невзирая на лица?! Эх, и раздолье у тебя наступит! Выявляй... трясись... вытягивай за эти... за уши на солнце...

Оплата по труду. вкрадчиво подсказал заместитель.

— Да. реки гонораров! с завистью молвил управляющий.— Как я тебе завидую. Салимбай! Если б я имел талант фельетониста! Ни секунды бы тут не сидел! Уколот начальство — получай денежки, посмеялся над руководством — опять гонорар, ударил по недостаткам,— беги в касс)! Ты понимаешь, сынок, что ты перерос рамки стенгазеты?! Иди в жизнь! Дерзай!

Кто с фельетоном по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадает, очень музыкально пропел заместитель.

— Тем более,— продолжал управляющий со вздохом,— что на днях в нашем тресте ожидается серьезное сокращение штатов. 1ы холостой, бездетный! А куда нам девать семейных, многодетных, которые никакими талантами не блещут? Ну что, например, могу делать вне треста я? Ничего! Я директор и только! А ты — талант. И мы не можем талант уволить по сокращению штатов!

Но тогда зачем меня увольнять? — удивился я.

Управляющий улыбнулся мудро (модель № 49, девиз — «Если бы вы знали все то, что знаю я») и спросил:

— Отвечай, только честно, как сатирик, как правдолюбец, как знаток жизни и борец с темными пятнами: твоя должность плановика-референта нужна кому-нибудь?

— Нет, никому,— честно ответил я.— Если к тому же учесть, что и

весь наш отдел никому не нужен.

— Честность — фундамент таланта,— с уверенностью заявил заместитель. Всегда говори, что думаешь,— жить будет легко!

Так что же, Салимбай, сынок, управляющий интимно взял меня за рукав рубашки,— я должен буду записать в твою трудовую книжку: «Талант уволен по сокращению штатов»? Это же испортит всю твою творческую биографию! И нас не поймут! И тебе придется всем объяснять, что да как, ты мне веришь, Салимбай?

— Так что же делать? — спросил я в полной растерянности.

— Как что? — управляющий искренне удивился моей недогадливости. А еще талант, сатирик! Пиши, не отходя от этого стола, заявление по собственному... А мы будем всем рассказывать, как отсюда, из этого кабинета, началась большая дорога в жизнь нашего дорогого сатирика Салимбая... Вот тут поставь запятую... И возле комнаты, где ты работал, повесим мемориальную табличку... Теперь распишись... вот тут... что знаменитый Салимбай работал у нас... спасибо, все в порядке... Я не бюрократ, видишь. Я уже пишу резолюцию... с сегодняшнего числа, конечно... Поздравляю, родной, с началом профессиональной литературной деятельности...

... Это было ровно месяц тому назад. Я уже достаточно походил по редакциям газет и журналов. Мне везде говорили почти одно и то же: очень вероятно, что у вас и есть какие-то особенности к юмору, но они пока еще недостаточно проявились... Единодушно советовали не переходить сразу на творческую работу, а трудиться где-нибудь по основной специальности. Но где еще во время работы бывает столько свободных часов, как не в моем бывшем тресте? Кстати, там никакого сокращения штатов еще не было и не предвидится. Как же быть? Неужели управляющий был неискренен, когда возносил мой талант фельетониста? Неужели еще есть руководители, которые не любят критику даже в малых дозах? Не может быть! Просто то, что произошло со мною, печальное стечение обстоятельств! Ведь как задушевно управляющий произносил: «Ты мне веришь. Салимбай, сынок?» Конечно, верю! Пойду-ка я к нему, попрошу — может, возьмет назад на какую-нибудь работу? Разумеется, я ему дам честное слово, что никогда больше не буду писать фельетонов!

Учкун Назаров

ЯБЛОКИ

Кулдашбай стоял у ворот дома и только было собрался раскланяться с проходившим мимо соседом Шакиром, как во дворе послышался звон разбитого стекла и тотчас же — громкий детский вскрик и плач.

Кулдашбай узнал голос своего маленького сынишки, сердце его дрогнуло.

Вымученно улыбаясь, он поздоровался с соседом — нельзя же проявить себя невежливым, и бросился во двор. Не дай бог, порезался малыш, в испуге думал он.

Узенькая дорожка от ворот к дому тянулась среди двух стен кукурузы. В нос ударил жаркий запах коровника.

Прибавив шагу, Кулдашбай вбежал во дворик.

Крошечное это пространство с четырех сторон было стиснуто глинобитными лачугами, кривыми, покосившимися, разной высоты, с кусками шифера и ржавого железа на крыше, придавленными от ветра кусками кирпича и булыжниками. В углу этого сырого крохотного дворика, похожего на колодец, росла яблоня, закрывавшая от солнца большую часть пространства между кукурузой, коровником и домом.

На щербатых кирпичных ступеньках крыльца сидел сжавшийся в комочек Аскар — всхлипывал, маленькими грязными кулачками тер заплаканные глаза.

Присев возле сына на корточки, Кулдашбай осмотрел его, ощупал со всех сторон,— крови нигде не было видно, и тревога отпустила его.

Тетушка Саври, хозяйка дома, сметала в совок осколки стекла и даже не смотрела в сторону Кулдашбая, до того гневалась.

Кулдашбай отвел ручки сына от замурзанной мордашки, тот обхватил отца за шею, прижался к нему и разрыдался еще отчаяннее.

— Что случилось, малыш? Зачем плачешь? — Кулдашбай тихонько гладил ребенка по голове.— Или обидел тебя кто-нибудь?..

— И, я обидела! — раздался с веранды пронзительный голос тетушки Саври, ему вторил яростный звон осколков стекла, с силой сыпаемых с совка в мусорное ведро.— Это я дала ему оплеуху! Виновата, каюсь!

Кулдашбай смолчал, притих и ребенок.

— Дорого дитя, а хорошее воспитание еще дороже! — громко причитала Саври-хола.— Одно всего-то дерево в моем дворе, вот эта яблоня. Берегу пуще глаза, себя на «ты», ее на «вы» называю. А мальчишка ваш, руки ему занять нечем, что ли, все швыряет камнем и швыряет. Яблочка-то вкусенького, будь этот аппетит неладен, каждому хочется, да не про всякого моя яблонька, на черный день берегу, деткам своим даже червивого яблочка не даю...

Кулдашбай то отчаянно ненавидел, то столь же безоглядно жалел эту несчастную женщину, тетушку Саври, хозяйку двора и дома. Жизнь ее имела одну цель. Она и сама не знала ни минуты покоя, и домашним не давала сидеть без дела, понукала без конца. Чего только не выдумывала — и все с единственной целью: заработать побольше денег. Весной покупала пару ягнят, осенью продавала. Держала корову, продавала молоко. Как только очередная телка делалась стельной коровой, взрослую корову отгоняла на базар. Весной, пока яблоня еще не давала тени, сажала во дворе редиску и торговала ею — ранней, совсем молоденькой, с косточку урюка. Следом за редиской наступала очередь лука. Дети тетушки Саври, вернувшись из школы, спешили на Бешагачский базар, один тащил тележку, другой устанавливал в ведра чайнички с заваренным чаем.

До наступления темноты ребята успевали на этой тележке несколько раз подвозить с базара мятые дыни, арбузные корки, недоеденные и выброшенные яблоки, груши, персики, всяческую зелень. В ведрах — гнилые помидоры, виноград, сливы. Мол, для скота — корм, для домашних — хлеб насущный. Невестка, жена старшего сына, была под стать свекрови. Ничуть не брезгуя, без раздумий мыла и чистила собранные на базаре «дары природы» и тут же подавала их на семейный стол. И если где-то и можно было найти человека, не знавшего, допустим, вкуса какого-либо редкого овоща или фрукта с Бешагачского базара, то человек этот явно не имел отношения к семейству тетушки Саври. Конечно, «дары» эти трудно назвать отборными, но что поделаешь: хлеб есть хлеб, и даже крошки от него — тоже хлеб. Велика важность — ну чуть помята дыня, зато внутри-то — чистая. Известное дело — легче бьется да портится то, что поспелее...

И с утра до самых сумерек все семейство тетушки Саври было занято делом. Перед вечером невестка продает на бойком месте нарезанную соломкой морковь для плова. Ночью свекровь с невесткой шьют бумажные пакеты для рынка утром их берут нарасхват. Еще до

рассвета, пока дети спят, Саври-хола снимает сливки с подвешенных на плетенках чашек с молоком. Пока распродает — в подсоленной воде довариваются кукурузные початки. Наскоро проглотив кусочек лепешки и на ходу запив ее пиалой чая, тетушка Саври снова семенит на Бешагач. Сваренная молочная кукуруза — это же деликатес, не успеешь оглянуться, как большая, в пятнах обитой земли миска уже пуста. У молодого початка и огрызок мягкий, нежный мелко нарежешь, положишь в пойло — корова вмиг языком слижет, молоко будет сладкое. Поэтому тетушка Саври глаз не спускает с едоков кукурузы: иной раз смотришь — кто-то не доел, бросил початок — грех еду-то оставлять, приходится подбирать и очищать. И желудок наполнится, и угодное богу дело свершится.

По всему выходит — тетушка Саври очень практичная и экономная хозяйка. Деньги, пересчитав, прячет в известное только ей место. Тратить их не позволяет.

Чтобы не платить лишнего, водопровод она во двор не провела — дети ведрами таскают воду от соседей. И газ тоже не проведен — не дай бог, взорвется, так объясняет всем тетушка Саври. Единственный неизбежный расход — плата за свет.

Три комнатухи во дворике сданы квартирантам: в одной на четырех раскладушках теснятся четыре девушки из техникума, в другой — семья из трех душ, в третьей ютится Кулдашбай со своим шестилетним Аскарком. В их помещении нет окошка, когда закрываешь дверь, становится темно.

С наступлением сумерек Салим, старший сын Саври-хола, прилаживал к счетчику хитрое приспособление: больше всего на свете тетушка Саври ненавидела расходы, не приносящие хорошей прибыли. Даже в канун праздника она умела с достоинством выйти из положения: присланную от соседей касу с пловом передавала с другой стороны как собственный дар, и таким образом участвовала в ритуальном обмене угощениями.

Одно происшествие особенно поразило Кулдашбая.

Дело было весной. Над клетушкой, где держали уголь, поднималось тутовое дерево. Естественно, тетушка Саври увеличивала свои доходы, продавая поспевшие ягоды. И вот как-то в то время, когда ягоды только набухали, на улочку въехал тягач с прицепом. Тягач появлялся здесь раз в году, когда нужно было срезать ветки тутовника на корм шелкопряду. Поскольку на этот счет существовало специальное

постановление, никто из владельцев тутовых деревьев и не думал протестовать или выражать недовольство. Да и обычно хозяева больше, чем ягоды, ценят тень от тутовника. Но тетушке Саври нужна была не тень, ей нужны были рубли, а их приносили ягоды тутовника: многие покупали их для традиционного обряда как самую первую из весенних ягод — дарили близким с пожеланием здоровья на целый год. Поэтому, услышав тарахтенье тягача, тетушка Саври спустила с цепи овчарку. Пес набросился на уполномоченного, неосмотрительно шагнувшего во двор, прокусил ему ногу до кости. Раздался вопль, поднялся гвалт на всю улицу; пришел милиционер, забрал и пса, и тетушку Саври. Когда же она вернулась спустя два часа и увидела, что ветки на ее дереве все же обрезаны и она таким образом лишилась ягод, она, осыпая весь мир проклятиями, схватила топор и в ярости принялась кромсать шелковицу, словно та была виновата во всем... Потом, выбившись из сил, уселась прямо на землю и, спрятав лицо в подол грязного платья, зарыдала.

Аскар давно уже успокоился, забыл про разбитое стекло и оплеуху; вечерело, его клонило ко сну. Однако сам Кулдашбай не мог успокоиться — горечь обиды не покидала душу. Как могла у Саври подняться рука на малыша? Из-за яблока, из-за стекла? Ведь Аскару и трех лет не было, когда лишился матери неужто одного этого мало?

Кулдашбай уже испытывал неприязнь ко всему этому, забытому человечность и доброту, семейству. Но сегодняшняя обида переполнила чашу терпения. Быстро собрав в чемодан нехитрые пожитки, он вышел во двор, молча протянул Саври-хола деньги — плату за комнату и три рубля за разбитое стекло. Саври что-то бормотала, пытаясь оправдать свою жестокость и смягчить ситуацию, но Кулдашбай уже не слушал ее. Взяв Аскара за руку, он, не оглядываясь, вышел с ним из дома, где прожил больше двух лет.

Пока они добирались до трамвайного парка, где работал Кулдашбай, опустились сумерки, повеяло вечерней прохладой. Оставив чемодан в дежурке, Кулдашбай отправился с сыном в город. Они гуляли, смотрели на огни иллюминации, на фонтаны, лакомились мороженым. Когда возвращались в парк, Аскар уже спал у отца на закорках. Закончившие смену трамваи, пуская голубые искры, разыскивали места для ночлега и пронзительно звенели, Кулдашбай чувствовал, как мальчик вздрагивает от этого во сне.

В дальнем углу парка стояли старые, пришедшие в негодность

вагоны — без дуг, без колес, краска облупилась. Туда и направился Кулдашбай, хотя сторож позвал его в дежурку. С чемоданом и одеялом сторож последовал за ним: они постелили одеяло на сиденье в старом вагоне и уложили спящего Аскара.

— Что у тебя стряслось, Кулдашбай? — спрашивал сторож.— Почему остался без дома?

Кулдашбай только рукой махнул, рассказывать не хотелось. Сторож понял и ушел, сказав, что позже принесет чаю.

Кулдашбай вытащил из чемодана пиджак, накрыл им сына, сам присел рядом и, глядя сквозь пустое окно в темноту, стал думать о том, как быть дальше. Нужно искать пристанище, это ясно. Но где? Если он поселится в общежитии. Аскар останется без присмотра. И в детский садик его не возьмут — ему же больше шести. Все же, видно, ошибся он тогда, когда решил поселиться в Ташкенте. Да... А все оттого, что остался один, без жены.

Прежде он жил в кишлаке в Мирзачуле, приехал, как и многие другие, осваивать новые земли: осиротел после смерти родителей, не захотел оставаться в родных местах. Работал в колхозе. Гам же встретил свою Сахибу, женился, колхоз выделил им типовой домик. Через год Сахиба родила сына, вот этого спящего рядом Аскара, и их маленькая семья зажила счастливо и беззаботно. Когда Аскарчику шел третий год, Сахиба снова забеременела. Ребенок родился недоношенным, и у матери не смогли остановить кровотечение. И снова почернел мир в глазах Кулдашбая, как после смерти родителей, и снова он не смог оставаться на обжитом месте, готов был бежать куда глаза глядят. Вспомнил, что младшая сестра Сахибы замужем в Ташкенте родная все же кровь, может, возьмет малыша под свое крыло. Вместе с маленьким Аскарком отправился в Ташкент. Раньше гам не бывал и думать не мог, что это такой огромный город — как здесь найти знакомого человека! Он ведь знал только имя свояченицы да девичью фамилию. Наводил справки, обходил дома — но нет, видно, взяла сестра Сахибы фамилию мужа. А его фамилию Кулдашбай не помнил, а может, и не слышал никогда.

Устав от бесконечных поисков, от беготни по городу, потеряв надежду, он сидел с опущенной головой на каком-то поваленном столбе. Немолодая худощавая женщина в грязноватой одежде с ведром барды в руке шла мимо. Поставила ведро на землю, стала трясти онемевшей кистью.

Сынок, видать, ждете кого-то? — спросила участливо. Я туда шла, вы сидите, обратно иду, сидите...— Это и была тетушка Саври.

— Да вот, разыскивал этот двор. Только хозяева оказались не те, что нужно, хоть фамилии сходятся...— вежливо объяснил Кулдашбай, тронутый вниманием.

— А кого же ищите?

Тетушку своего сына. Ни сил не осталось уже двигаться, ни дверей, в которые бы ни стучался.

Слово за слово, и в ответ на жалостливое участие, с которым незнакомая хозяйка расспрашивала его, Кулдашбай рассказал о том, что выпало на его долю и на долю его малыша.

Л что ж теперь, возвращаться будете в свои края?

Кулдашбай пожал плечами:

Сам не знаю. Тяжело возвращаться.

Саври-хола объявила ему, что у нее сдается свободная комната, и измученный бездомный Кулдашбай, недолго думая, согласился — как вот и оказался жителем Ташкента.

Пока он искал по городу свояченицу, ему на глаза попадалось множество объявлений, зовущих устроиться на работу. На второй же день он пошел на курсы водителей трамвая. Так он решил еще до того, как повстречал тетушку Саври. Там и стипендия неплохая, и учиться недолго, и даже общежитие имелось.

Месяцы учебы пролетели быстро. И вот уже Кулдашбай работает вагоновожатым, и в кармане у него завелись деньги. Не такие уж большие, но верные.

Когда он открыл глаза, небо начинало светать. Пора было на смену.

Рядом на сиденье стоял заваренный чайник и пиала: сторож, видно, принес вечером и ушел, не стал будить.

Зато сейчас пришлось будить Аскара — как ни сладко он спал, как ни хныкал жалобно. Проснувшись, мальчуган еще немножко покапризничал, а потом увязался за отцом.

В трамвае Кулдашбай поставил рядом со своим местом водителя скамеечку для сына — и так они целую смену ездили по маршруту.

Весь день Кулдашбай думал — как быть дальше. И наконец придумал.

Вспомнил о Турабеке, дружке своем по армии. Турабек выучился на агронома, работал в газалкентском совхозе. В письме звал к себе работать и жить.

Сдав смену, Кулдашбай зашел к директору парка и, показав сынишку, попросил отпуск на неделю. Из парка отправился прямо на автостанцию, взял билет до Газалкента, посадил Аскара у окошка и покатил к другу.

* * *

Жена Турабека постелила друзьям па свежем воздухе, на помосте-сури в тени вишневого дерева. После ужина Кулдашбай и Турабек долго сидели тут, разговаривали, вечер был теплый, и оба не захотели спать в доме.

Правда, ночью прохладный ветер со стороны гор иногда заставлял поживаться. Из ущелья доносился шум горного ручья — сая. прилетали недовольные и жалобные вскрики волн.

Когда утром Кулдашбай проснулся, Аскар раскачивался на качелях, держа в руках кусок лепешки, щедро намазанный маслом, и вид у него был счастливый. Жена Турабека, повязав голову косынкой, подметала двор. Самого Турабека уже не было, постель его была пуста. На столе рядом с помостом, где спал Кулдашбай, под марлей ждал его завтрак.

Одевшись, Кулдашбай спустился с помоста.

Давно он не спал так сладко и безмятежно, давно не просыпался с таким легким сердцем, чувствуя обновление и силу. Прохладный утренний воздух бодрил, солнце не могло пробиться сквозь листву на щедро политый двор, на цветах подрагивали капельки воды, празднично взблескивали, если падал солнечный луч.

— Да, проспал я,— чувствуя себя неловко, признался Кулдашбай, вешая на проволоку полотенце.— Даже не слышал, как поднялся и ушел Турабек, спал как убитый.

— Вот и хорошо,— подбодрила его хозяйка.— Воздух в наших местах прекрасный, сам усыпляет, любую бессонницу лечит. А теперь, пожалуйста, завтрак готов! Аскарджан, и ты тоже иди к столу.— Розияхон убрала марлю, разлила по пиалам чай, разломил лепешку и пододвинула поближе к едокам вазочку с медом.— Друг ваш ушел на четвертый участок, вас пожалел будить. Вернется домой обедать. Вы отдохайте, в доме прохладно, я постелила вам на диване — можете еще подремать. Аскарджана я возьму с собой в садик, я там работаю воспитательницей.

Спасибо вам, янга,— сердечно поблагодарил Кулдашбай. В

отсутствие хозяина он чувствовал себя здесь неловко.

Вы, пожалуйста, не стесняйтесь,— снова приободрила его Розияхон. И за Аскарджана не волнуйтесь, он будет со мной. Продукты есть, готовьте что душе угодно, вернется ваш друг вместе и пообедаете. Или, если хотите, может, я сама сейчас приготовлю шурпу?

— Нет, что вы. не беспокойтесь! Неужто я сам не могу приготовить! С удовольствием...

Кулдашбай собрался в Ташкент, не прожив у друга и недели. как намеревался вначале.

Решать тебе самому, конечно, но не забывай, что я тебе сказал.— говорил, прощаясь, Турабек.— Аскару здесь будет хорошо, пусть пока ходит в садик. Вернешься, сразу устроим на работу, в убытке не останешься. И жилье выделим. Конечно, если захочешь жить в городе, ладно — когда соскучишься, приезжай за Аскарком. Но решишь обосноваться здесь — от души буду рад.

Одного боюсь...— в нерешительности говорил Кулдашбай.— Не подведу ли я тебя. Я же без специальности. Вдруг придется тебе краснеть из-за меня...

— Да разве есть такая работа, которую не осилит мужчина? Ты ведь джигит хоть куда, в руках сила есть! И в конце концов — ты же кишлачный парень, сельскую работу знаешь...

Машина, в которой ехал Кулдашбай. приближалась к городу.

И теперь, когда приходилось уезжать из кишлака, Кулдашбай почувствовал, что всегда тосковал по нему, по прекрасным райским местам вблизи гор каждый раз с новой силой. Приближающийся город был для него чужим, означал суету и спешку, наводящие уныние и тоску...

* * *

Вот уже больше трех лет, как Кулдашбай переехал в кишлак к Турабеку. Он простой рабочий в совхозе — смотрит за садом, опрыскивает и поливает деревья, собирает урожай. Ему выделили небольшой однокомнатный домик, долгое время стоявший без хозяина; когда Кулдашбай впервые увидел его, там были сорваны дверь и рамы, облупилась штукатурка, полопался шифер, но стены были добротные, крепкие. В свободное от работы время Кулдашбай с удовольствием занимался домом: убрал мусор, вставил рамы, навесил

дверь, штукатурил, белил, красил. Провел во двор воду, протянул электрические провода. Вокруг домика посадил фруктовые деревья, цветы, даже огород завел. Казалось, времени чуть прошло, а заброшенный домик игрушкой заиграл перед глазами людей.

Турабек как мог помогал другу.

Однажды пришел с особым разговором.

Сидели за чаем, Турабек любовался пышно распустившимися розами, тянущимися вверх саженцами, радовался за друга. Заговорил осторожно, подходя издалека:

— Знаешь, друг, есть такая поговорка, что и одной курице и зерно, и вода нужны. Ты мужчина крепкий, видный. Люди тебя уважают. Аскар твой уже в школу ходит. Зарабатываешь достаточно. Вот, вижу, велосипед сыну купил... Однако, скажу тебе,— если нет в доме женщины, ни в хозяйстве, ни в семейном бюджете настоящего порядка не жди. в доме уюта не будет, а в жизни — интереса, радости. Что же тебе одному заботиться и о себе, и о мальчике. Конечно, если ты уже приглядел кого-нибудь, скажи, сами твой свадебный той возглавим. Если же нет никого на примете, доверь нам. поищем...

Кулдашбай, чего греха таить, и сам, бывало, подумывал — не покончить ли с одиноким житьем. Однако ни с кем не советовался, именно потому, что у самого не созревало твердого решения, а значит, не мог бы серьезно отвечать советующим. Главное, что мешало и сдерживало очень уж ясно видел памятью свою Сахибу, как она глядит на него жалобно и с укоризной, будто зная о его помыслах. И тогда он не хотел даже думать о жизни с какой-нибудь другой женщиной. Да и потом, сомневался он, станет ли другая женщина, если введет он ее в свой дом, матерью для Аскара, не будет ли обижать и без того обделенного лаской ребенка — мальчик-то, пожалуй, забыл, а он, Кулдашбай, помнил «оплеуху» тетушки Саври. Так что, пугал он себя, не придется ли бедняжке Аскару плакать, забившись в уголок, терпя обиды мачехи...

— Оставим этот разговор, вздохнув, ответил он Турабеку.— Женщина, сам знаешь, хозяйка в доме, умеет окрутить мужчину. Аскар в своем же дворе чужим себя станет чувствовать. Нет уж, все, что мне осталось получить от жизни, отдам ребенку, пусть растет, не зная обиды. Да и память о Сахибе не отпускает...

Турабек не стал спорить, молча отправился домой. Жене своей Розияхон поручил заглядывать в дом друга и помогать в житейских

хлопотах, присматривать за Аскарком.

Сменяя друг друга, шли месяцы. По временам года отмечал неспешное течение времени Кулдашбай.

Тополя, посаженные им вокруг усадьбы, вытянулись уже выше дома, яблоневые деревья через три года дружно зацвели. Сколько радости приносили деревья Кулдашбаю! По несколько раз в день обходил он свой небольшой сад. нетерпеливо следил за тем, как появилась завязь, как созревают яблоки.

В тот вечер, когда Кулдашбай, оскорбленный, вышел со двора тетушки Саври, он затаил в уголке души мысль-надежду.

Теперь его давнее желание, похоже, близилось к осуществлению. Летом в его саду созрел белый налив, урожай с одного дерева заполнил половину машины. И вот, выбрав день, Кулдашбай, заранее договорившись с водителем, после работы посадил рядом с собой в кабину Аскара и отправился в Ташкент.

Груженная яблоками машина мчалась к городу, в открытое окошко кабины рвался теплый ветер, и сердце Кулдашбая заходило радостью от мыслей о наладившейся жизни. Он даже напевал что-то. Заходящее солнце словно весело подмигивало Кулдашбаю, то выглядывая из-за проносящихся мимо тополей, то прячась, словно играло с Аскарком в прятки, и оба были счастливы.

Лишь одно незначительное событие чуть не омрачило их настроение. После того как проехали Чирчик, машина стала, и водитель довольно долго копался в моторе. Начало уже темнеть, когда они увидели огни Ташкента.

На улицах, по которым они ехали, людей уже было немного. Специальные машины поливали мостовые, и далеко слышен был визг трамваев на поворотах.

Грузовик свернул на улицу, по которой Кулдашбай ежедневно, более двух лет, ходил с работы и на работу. Однако чем ближе к нужному ему кварталу, тем меньше узнавал Кулдашбай знакомые места. Он даже волноваться начал — вдруг ошибся? Заборы разрушены, осели, валяются куски кирпича. На месте, где должно быть двору тетушки Саври,— глубокая котловина, дна не видать. Рядом вытянулся к черному небу кран, где-то высоко горит лампочка. Да, было от чего оторопеть Кулдашбаю. Спустился из кабины на землю, подошел к сохранившемуся забору. Чей же это двор? Пожалуй, Шакирали? Нет, его дом стоял ниже по улице. Значит, это двор плотника Юсуфа.

Кулдашбай постучал кулаком в калитку,— в ответ лишь собака залаяла.

Постучал снова,— и через некоторое время послышался встревоженный и сонный старческий голос:

— Кто там? Что нужно?

Я собирался навестить тетушку Саври, да вот...

— Ну и невежа, ну и болван! — рассердился голос. — Как это тебя надоумило в ночное время в чужие ворота стучаться!

— Простите меня. отец. Вот я яблоки привез.

— Что-что привез?

— Яблоки, говорю, яблоки!

Тут и старушечий голос послышался во дворе:

— Кто это там? Что он говорит?

— Кто его знает, что. Яблоки, говорит. Может, пойти открыть?

— Что вы, что вы! — испугалась старуха.— Верно, бродяга какой. Отвяжите скорее собаку.

Кулдашбай повернул прочь.

Во дворе бесновалась спущенная с цепи собака, прыгала на забор.

И в соседних дворах раздался встревоженный лай, похоже, всполошилась вся округа. Все остальные звуки потонули сейчас в остервенелом брехе ночных сторожей.

— Открывай кузов! — сердито и с вызовом закричал водителю Кулдашбай.

Он им всем покажет, этим несчастным! Покажет, что такое достоинство, забытое ими, и уважающая себя человечность.

Шофер вышел из кабины, откинул задний борт. На землю с мягким торопливым стуком посыпались яблоки.

Поднявшись в кузов, Кулдашбай принялся сгребать яблоки, сбрасывать их на землю.

Шофер смотрел с недоумением, не понимая, похоже, испугался.

Наконец кузов опустел.

Кулдашбай тяжело спрыгнул на землю, поднял борт и коротко скомандовал водителю:

— Поехали!

Аскар спал на сиденье. Кулдашбай прижал его к себе, устроил поудобнее. Машина тронулась.

Кулдашбай даже не оглянулся на яму, возникшую на месте двора и дома тетушки Саври, на квартал, где яростно лаяли собаки.

Недавно политые улицы города были чисты, свежи и пустынно.
Небо над головой усыпали близкие звезды, обещая ясный
солнечный день.

Фархад Мусаджанов

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РАССКАЗЧИК

Я сидел в номере гостиницы и вдруг почувствовал себя одиноким и брошенным. Часы только что пробили восемь. Ложиться еще рано. Сходить бы куда, да куда пойдешь в чужом городе?! Остается одно— спуститься в ресторан. Правда, оркестр и солисты за пять дней успели порядком надоесть. Но не торчать же одному в номере... Все-таки среди людей не так одиноко.

Я медленно спустился с четвертого этажа. В фойе кто-то окликнул меня:

— О-о, кого я вижу! Здравствуйте, сосед!

Не совсем уверенный, что это восклицание относится ко мне, я обернулся.

— Дорогой мой, что вы здесь делаете?

Представьте себе, как я обрадовался! Передо мной стоял Исматилла. Вот уж повезло так повезло! Встретить знакомого, да еще соседа, в чужом городе!

— О-о, здравствуйте, Исматилла! Как вы здесь очутились?

— Да я уже третий день здесь, в командировке!

Мы с Исматилой живем не только в одном доме, у нас и гаражи рядом. Как чуть что не ладится с машиной, я бегу к нему. Он не только в технике разбирается, но и великолепно умеет рассказывать анекдоты. Стоит попасться ему на глаза, он сразу: «Послушайте анекдот, свеженький!»

Знать анекдоты — еще не все. Их надо уметь рассказывать. Порой он выдаст анекдот с «бородой», а ты покатываешься со смеху, точно впервые услышал его. Так артистично, весело передает он их.

— Куда вы собрались? — спросил Исматилла меня.

Я сказал.

— Э-э, да оставьте вы свой ресторан! Едемте со мной.

Я отказался.

— И не пытайтесь отговориться. Нас уже ждут.

Сами понимаете, идти к незнакомым людям, да еще не приглашенным...

— И не думайте об этом! Я же сказал вам: нас ждут. Барана зарезали. Да и машину прислали.

Он потянул меня за рукав. Около подъезда стояла машина. Мы сели, и шофер повез нас в пригородный колхоз.

Через полчаса мы остановились около скромного домика. У ворот нас с почтительностью встречал худощавый человек.

Мы прошли темным коридором и очутились в просторной гостевой комнате.

В комнате было пусто, только посреди стоял низенький столик, а вокруг него на полу расстелены курпачи.

Мы не успели обменяться обычными любезностями, как на пороге появилось четверо ребят. Они, выпучив глаза, совсем не стеснясь, разглядывали нас — ташкентских гостей.

Идите играть, — гнал их хозяин, но дети даже не шелохнулись.

Хозяин виновато посмотрел на нас и, встав с места, пригрозил: «Я вот вам...»

— Да оставьте их в покое, — сказал я, — ведь счастлив тот дом, который богат детьми.

— Идите, идите! — Хозяин гнал их, но дети будто не слышали его. Тогда он крикнул в дверь: — Эй, кто-нибудь, заберите их отсюда!

Тут же появилась девчушка лет пятнадцати-шестнадцати и увела ребятешек...

— Тешабай, у вас уже с десяток, наверное, этих удалцов?

Тешабай смутился и покраснел.

— Уже одиннадцать, — стыдливо опустив голову, произнес он.

— Э-э, да вы молодцом! Сколько же вам стукнуло?

— Да вот четвертый десяток разменял...

— О-о, про таких многодетных отцов есть анекдот. — Исматилла рассказал такой «соленый» анекдот, что Тешабай от стыда даже лицо руками прикрыл.

Не осмеливаясь взглянуть на Исматиллу, он покачивал головой и приговаривал:

— Ну и шутник же вы!

Исматилла тут же выдал второй анекдот. Тешабай не выдержал — расхохотался. Захлебываясь смехом, он выдавил:

— О-ох, уважаемый, так лопнуть недолго!

Тешабай был человеком простым, скромным, мягким, открытым и бесхитростным. Он все больше мне нравился. Он потчевал нас и подливал чай.

— Разве, кроме чая, и выпить нечего? — с многозначительной

улыбкой спросил Исматилла.

— Вот голова! Совсем забыл! — спохватился Тешабай.— Сейчас, сейчас...

Он вытащил из-под стола бутылку, открыл ее и наполнил и и алы.

— Что вы делаете, братец? — изумился Исматилла.— Это вам не шурпа. Надо бы по полпиалы налить.

Тешабай приложил руку к груди и умоляющим тоном попросил:

— Давайте первую выпьем по полной, а гам уж как захотите.

Он произнес это так просто, так искренне, что нам ничего не оставалось, как выполнить его просьбу.

— Ну. раз так...— произнес Исматилла. Выпив, он так разошелся, так сыпал анекдотами, что мы с хозяином уже держались за животы.

Тут появился крупный, высокого роста человек.

— Ты чего запоздал, Ходжамкул? — спросил хозяин, поднимаясь с места.— А мы тут со смеху чуть не лопнули! Ты много потерял!

— Ну, это не беда! У меня охо-хо какой запас! — заверил Исматилла.— Вы лучше представьте нам своего друга.

— А чего представлять? Он такой же тракторист, как и я. Мы вместе работаем,— просто сказал хозяин.

— Вот здорово! Один холостяк, как и вы, работал на тракторе...

Когда Исматилла закончил, то Ходжамкул ошарашенно уставился на него. Да и как тут было не ошалеть?! Вроде человек культурный. а такое выдает?! Но потом рассмеялся.

Исматилла неустанно сыпал свои байки. А Ходжамкул хохотал так громко, что, как говорится, стены дрожали. Вскоре нам подали горячее: шурпу, затем жаркое. Мясо было такое нежное, что само так и таяло во рту.

— Ох. как хорошо вы откормили барана, просто язык можно проглотить,— похвалил Исматилла.

Каждую весну я покупаю трех-четырёх ягнят. Все лето мы откармливаем их. а зимой не знаем забот, всегда есть свежее мясо, похвалился Тешабай. Вот и вам довелось отведать последнего барана.

Исматилла с улыбкой заметил:

— А какой шашлык из свежей баранины!

Тешабай тут же вскочил с места:

— Сейчас приготовим!

— Ну что вы! — вмешался я. — Куда еще шашлык? Даже крошка уже не идет в горло!

— И правда, не надо. Да и углей, наверно, нет, — заметил Исматилла.

— О-о, угли... Как это нет? — и с этими словами Тешабай вышел из комнаты.

— Зря вы, — заметил я. — Неужели вам хочется есть?

— Да вы что? Пока шашлык будет готов, мы успеем проголодаться. Да и торопиться нам некуда, в свою «любимую» гостиницу мы всегда успеем.

Мы съели шашлык, отведали зимних дынь, а Исматилла не переставая потчевал нас анекдотами. Нам было так весело и уютно, что уходить не хотелось. Но все же я предложил Исматилле попрощаться с хозяином.

Исматилла пропустил мимо ушей мое предложение и накиннулся на меня:

— А вы что молчите? Или у вас уста запечатаны?

Я растерялся. Анекдотов я не помнил, рассказывать не умел. Отговорился: «Да куда уж мне. когда среди нас есть такой артист!

И в самом деле, Исматилла был душой нашей компании. И вдруг, как бы между прочим, он спросил хозяина:

— Тешабай, у вас, случайно, нет каракулевой шкурки? Жена заказала. Ей нужен воротник на пальто.

— Шкурки? — переспросил Тешабай. Сейчас он готов был душу отдать Исматилле.— У меня нет, но завтра найдем. В животноводческом совхозе у меня друг работает. Завтра схожу к нему.

— Как-то неловко, побывать в Сурхандарье и не привезти каракуль! Жена меня просто домой не пустит,— шутил Исматилла.

— Завтра, завтра обязательно будет,— заверил Тешабай.

— Достанем, не волнуйтесь,— подключился в разговор Ходжамкул.

— Я принесу вам в гостиницу! — пообещал хозяин.

— Вот послушайте,— предложил Исматилла,— похождения мужчины, который, как мы, находился в командировке..

Боже правый! На каждый случай у Исматиллы есть анекдот!

Наконец мы поднялись. Тешабай с Ходжамкулом вышли провожать нас. У ворот стояла та же машина, которая привезла нас. Однако Исматилла не спешил. Он положил руку на плечо Тешабая и проникновенно проговорил:

— Тешабай, таких, как ты, мало! Теперь ты мой друг! Да что друг — брат! Мы побратались, а значит, более близкого, более родного

человека, чем ты, нет! Будешь в Ташкенте — звони. Если какое дело — помогу! В Ташкенте мне все под силу! Эх-х, скольких я облагодетельствовал!

— Спасибо, спасибо! Приезжайте в гости! Сегодня все было на скорую руку, — преданно заверял Тешабай.

— Ну что вы! Разве можно принять гостя лучше, чем вы?! — возразил я.

— Да, братец, в чем будет нужда — ты только звякни мне... А ту вещицу доставь завтра в аэропорт. — Исматилла посерьезнел. — Самолет — в девять часов вечера. В восемь буду в аэропорту.

— Хорошо, брат, не волнуйтесь, — заверил Тешабай.

Исматилла вновь рассмеялся.

— Ох уж эти женщины! Сколько хлопот с ними!.. Лучше приезжай за два часа до отлета, посидим в ресторане, потолкуем...

— Хорошо, брат!

Расставание было теплым, сердечным и долгим! По дороге в присутствии шофера я молчал, а в гостинице спросил Исматиллу:

— Какой ваш приятель добрый, милый человек! Вы вместе учились?

— Да что вы! Я его впервые сегодня увидел. Лет шесть тому назад я работал с одним человеком. Да недолго пробыл он у нас, месяца три-четыре. И вдруг перед отъездом встречаю на базаре. Разговорились. Я и говорю: еду, мол, в командировку. Узнав, что в Сурхандарью, он мне говорит: «Да у меня там младший браг живет. Сходи к нему, передай от меня привет». На всякий случай я записал его адрес. Здесь я кое-кого спросил: мол, знаете такого? И все. Сегодня сижу в номере, вдруг ко мне входит Тешабай. Я ему: мол, привет от брага, а он меня в гости. Вот и вам выпало счастье... — Исматилла многозначительно глянул на меня: мол, не забывай об оказанной услуге. — Ну что, неплохо вечер провели, а?!

Очень хорошо, — сказал я благодарно, — спасибо вам...

— Э-э, что там...

...Срок моей командировки кончился. Одним рейсом с Исматиллой мне предстояло лететь в Ташкент.

В аэропорт мы прибыли к восьми. Тешабай с Ходжамкулом уже ждали нас.

— А... вот и вы... заметил Исматилла.

— Да вот захотелось еще послушать ваших анекдотов, — рас-

хохотался Ходжамкул.

Исматилла вроде бы обрадовался им, но постепенно он как-то странно скучнел.

— Посидим в другой раз...— выдавливал он из себя слова. Не обращая внимания на друзей, он зевал, озирался по сторонам, точно тяготился их присутствием.

Стоило диктору объявить посадку, он поспешно стал прощаться.

— Всех вам благ! Счастливо оставаться!

Но Тешабай и Ходжамкул не спешили. Они желали нам счастливого полета, крепко и долго жали руку Исматилле, затем мне. Потом Тешабай вынул из-за пазухи какой-то сверток и протянул Исматилле:

— Вот подарок для вашей жены!

Лицо Иематиллы сразу просветлело. Казалось, он с трудом удержался, чтоб не воскликнуть: «Что же вы до сих пор молчали?!»

Я вновь повторяю: будешь в Ташкенте — не стесняйся. Чуть что — звони! Помогу! Нет такого дела, чтоб я не провернул! Ведь мы с тобой братья!

— Спасибо, спасибо! — просиял Тешабай. Потом кивнул Ходжамкулу.

Тот подошел к скамейке, взял узелок и передал Тешабаю. Тот протянул его Исматилле.

— Не считите за труд! Передайте вот это брату. Вы, конечно, бываете у него, но вот адрес... на всякий случай. Я тут собрал небольшой подарок племяшам немного гранатов.

— Ну что ты! Конечно, завезем. Разве это услуга?! Да я для тебя на все готов,— произнес он как-то неискренне, даже вроде суховато. Но тут же улыбнулся: — Так и быть, на прощание подарю вам свеженький анекдот.

— О-о, мы только этого и ждали! — И глаза Тешабая и Ходжамкула засверкали, а губы растянулись в улыбке.

Мы уже шли к самолету, а Тешабай и Ходжамкул все еще продолжали хохотать.

Повествование о мастере анекдотов можно было бы на этом закончить, если бы не один интересный штрих.

В десять часов мы были уже в Ташкенте. Взяли такси и поехали домой.

— Кстати, не завезти ли нам по дороге гранаты? — спросил я.

— Гранаты? Ах, да а,— вспомнил Исматилла,— надо завезти. Если

взять их домой, то дети тут же растащат.

— Где живет ваш знакомый?

— Сейчас посмотрим. — Исматилла вытащил из кармана бумажку с адресом.— На Чиланзаре. — Потом он посмотрел на часы.— Вы ведь знаете, что лифт у нас работает до одиннадцати. Пешком на девятый этаж не так-то легко. Вам хорошо, вы — на первом. Сделаем так: вы довезете меня до дома, а потом съездите на Чиланзар.

Я даже опешил от такого поворота дела.

— Но... Я этого человека никогда не видел.

— Адрес-то есть.- Он протянул мне бумажку.— Язык и до Мекки доведет. А вы, слава богу, в Ташкенте. Да и шофер рядом. Нет такого уголка, который не знали бы таксисты. Не так ли?

Мы доехали до дома. С тоской взглянул я на свои освещенные окна.

— Вовремя добрались, успею на лифт,— успокоился Исматилла, вылезая из машины, потом обернулся ко мне: — Не горюйте, вы быстро найдете его дом.

— Постараюсь. Ведь вы обещали Тешабаю оказать и большую услугу.

Исматилла, словно не слыша моих слов, повернулся к шоферу:

— Расскажу вам свеженький анекдот...

Шофер громко расхохотался.

— Будьте здоровы, — произнес Исматилла и растворился в темноте.

Нажав на газ, шофер все еще продолжал хохотать.

— Вот здорово! Вот молодчина! Развеселил!

Но мне было не смешно. Да, он — весельчак, мастер рассказывать анекдоты, но... сказать шоферу, что... Исматилла не молодчина, а пройдоха, у меня не повернулся язык.

Ульмас Умарбеков

РУЖЬЕ ТЕТИ МАРУСИ

Нежданно-негаданно Сулейман-ата угодил в тюрьму. Человек никогда в жизни даже мимо тюрьмы не проходил, а тут сам осужден на три года и отбывает срок вместе с ворами и мелкими карманщиками. Правда, его родные и знакомые не забывают о нем, навещают, приносят передачи — узелки с лепешками, миски с иловом. Сам председатель колхоза приезжал к нему два раза, а о старухе Сулейман-ата и говорить нечего. Она, словно курица, не успевшая попасть в курятник, так и ходила вокруг колонии, но тюрьма есть тюрьма. Кто бы из родственников к нему ни пришел, встречал он их со слезами на глазах. Те начинали его успокаивать, а он пуще заливался...

...Сулейман-ата всю свою жизнь трудился и выйдя на пенсию, не знал куда себя деть, так тосковал по работе, просто места себе не находил. В руках его еще была сила, да и глаза пока могли отличить курмак от риса. Иногда, правда, занает в пояснице, но эго не причиняло ему особых страданий. Как же ему при таком здравии сидеть дома? Правда, целыми днями он возился у себя на бахче, а вечером ходил в чайхану, отстроенную колхозом специально для стариков в таловой роще. Но Сулейман-ата не переставал чувствовать себя отвергнутым, никому не нужным старым человеком. В чайхане он слегка отвлекался, даже успокаивался, видя таких же стариков, как он, пенсионеров, но ненадолго. Теперь он и в обществе своих друзей раздражался, часто ворчал и был всегда всем недоволен.

Чайханой заведовал бывший фронтовик — безногий Гулям-ака. Ног у потерял под Сталинградом.

У всех нормальных заведующих обычно бывают и подчиненные, а у Гуляма-ака не было никаких помощников.

«Распивать спиртные напитки запрещается»,— прочитал как-то Сулейман-ата на вывеске, а внизу стояла подпись: «Заведующий чайханой Гулям Карабаев».

Сулейман-ака раньше не обращал внимания на эту вывеску. Но сейчас он подумал с раздражением: «Странные дела творятся на этом свете. И этог рохля заведующий! К тому же еще и безногий».

— Эй, хромой,— крикнул он чайханщику,— раньше ты на кипятке зарабатывал, теперь и за вываренный чай сдираешь?

Гулям-ака понял причину гнева своего друга и не упустил случая подразнить его:

— Старикам вредно пить крепкий чай. Все-таки и сердце твое пенсионного возраста. Не хватало, чтобы я потом отвечал за тебя перед твоей старухой.

— Вот, хромой, был бы чай у тебя такой крепкий, как твой язык.

Гулям-ака рассмеялся и, стуча деревянной ногой, принес своему другу чайник чая.

В чайхане обычно бывает безлюдно. Чаще всех здесь появляются Халпаранг-ата и Хакимбек-ака. Сулейман-ата им всегда был рад. «Не я один бездельник»,— думал он, глядя на стариков.

Халпаранг-ата большой мастер готовить плов. Такой у него получается плов — пальчики оближешь. А пока готовится ужин, старики садятся в кружок, и откуда только у них берутся слова... Вспоминают обо всех и обо всем. Потом тихо напевают старинную песню «Когда вхожу я в сад...»

Расходятся они, когда начинает темнеть, то и дело останавливаясь на каждом повороте и подолгу прощаясь.

А ночами Сулейман-ата мучается от бессонницы. Откуда взяться сну, если не устаешь? Он по нескольку раз за ночь встает и выходит во двор, подолгу прислушивается к лаю собак, доносящемуся издали, к стрекотам кузнечиков, потом отправляется в дом и снова ложится в постель. Так он проводит чуть ли не каждую ночь со дня выхода на пенсию.

Однажды старики, как обычно, сидели в чайхане и не подозревали, что именно сегодня произойдет нечто неожиданное. Пришел к ним в чайхану заведующий складом Мирвасык и обратился к старикам:

— Дорогие отцы мои, я пришел к вам с просьбой. Колхозный склад остался без сторожа. Тетя Маруся заболела, пришлось отвезти в больницу. Может, кто согласится временно посторожить...

— Конечно, я посторожу! — тут же вызвался Халпаранг-ата.

— Глупость говоришь,— возмутился Хакимбек-ака,— ты же еле отличаешь пиалу от чайника, как же ты будешь сторожить колхозный склад? Там нужен зоркий глаз. Я буду сторожить!

— Какой ты быстрый,— обиделся Халпаранг-ата,— не хочешь ли ты сказать, что я слепой? Кем же был приготовлен плов, что вы уплели за милую душу? Гулям, эй, хромой! Ты слышишь, что он говорит? Нашел слепого. Ты сам слепой!

— Я слепой?! — возмутился Хакимбек-ака.

— Да, да! Забыл, как на похоронах Сарсанбая в арык угодил?

— Довольно, хватит! — прервал их Сулейман-ата. Вы оба не годитесь. Я буду сторожить склад — и все тут!

Хакимбек-ака и Халпаранг-ата переглянулись.

Кто позже всех вышел на пенсию? Я! Значит, мне и ружье в руки, — заключил Сулейман-ата. И давая понять, что разговор окончен, встал и сказал Мирвасыку:

— Идем, сынок, веди меня!

Мирвасык виновато пожал плечами и вышел из чайханы вместе с Сулейманом-ата. Старики огорченно глядели им вслед.

Сулейман-ата в тот же вечер приступил к работе. Старуха принесла ему старую кошму, кумган — кипятить чай, всяких сладостей и, уходя, сказала огорченно:

— Вы позорите меня. Совсем из ума выжили. Разве это дело? Все старики как старики, вечерами сидят дома, а вы...

— Не ворчи, — оборвал ее Сулейман ата, — или одна боишься спать? — съязвил он.

— Ой, старый бес! Нужны вы мне! Вот-вот рассыпетесь, а туда же... Какие слова говорит...

— Ну, хватит, распустила язык, только дай волю! Иди-ка лучше домой да займись своим делом, — в сердцах ответил он жене.

Когда ушла Шаходат-хола, проведать своего друга пришли Халпаранг-ата и Хакимбек-ака. Они искренне позавидовали Сулейману-ата, который ходил по двору в длинном чапане, хоть и вечер был не морозный, и с ружьем за спиной.

— Ну и провел же ты нас, старый волк! — с обидой сказал Халпаранг-ата.

— Средь бела дня провел, — добавил Хакимбек-ака.

Сулейман-ата посочувствовал им в душе, но вида не подал:

— Говорят, кто смел, тот два съел, — поддразнил он их.

— Повезло тебе, здорово повезло, — сказал Хакимбек-ака. — Завтра придешь?

— Куда? — удивился Сулейман-ата.

Как куда? В чайхану, конечно! Мой внук из Андижана привез самый хороший сорт риса для плова.

— Даже не знаю, бек, — нерешительно заговорил Сулейман-ата, — если выберу время, приду. Нет — так не ждите. Не обижайтесь, работа

все-таки...

Вдруг из-за склада донесся какой-то шорох.

— Эй, кто там? — крикнул Сулейман-ата, вставая, и исчез в темноте.

— Да-а-а, настоящий сторож! — с завистью сказал Халпаранг- ата, глядя ему вслед.

— Что и говорить! Старается!

Оба старика помолчали, потом медленно встали и тихо удалились.

На следующий день Сулейман-ата в чайхану не пришел. Не пришел он и через день. Не мог он теперь тратить время на пустыки. Днем приходится возиться на бахче, вечером идти на работу: недосуг ему было расслаживаться в чайхане.

Работой своей Сулейман-ата доволен — за плечом ружье, в холодные ночи его греет длинный чапан, и, самое главное, его охватывает чувство гордости, когда подумает, какое ответственное дело ему доверили.

Так проходили дни...

Но вскоре радостям пришел конец. Он и не подозревал, что беда подстерегает его, и обрушится она вдруг, неожиданно. Еще утром у него было хорошее настроение. Ему сообщили, что тетя

Маруся вышла из больницы и уехала к сыну и якобы пробудет там до весны. Мурлыча себе под нос песенку, Сулейман-ата отправился на бахчу: прополот грядки, подвязал кусты помидоров.

В обеденное время прибежал его внук.

— Дедушка! Вас Халпаранг-ата зовет! Он ждет на ферме.

— Что там у него случилось? — удивился Сулейман-ата.— И что он делает на ферме? Бездельник!

— Не знаю. Сказали, чтобы вы скорее шли к нему.

Сулейман-ата отправился к другу. Войдя во двор, он увидел его, важно восседавшего на старом ящике, подобрав под себя ноги. Сулейман-ата внимательно посмотрел на его улыбающееся лицо и проворчал:

— Ты что? Случаем не рехнулся? — повертел он пальцем около виска.

— А ты разве не видишь? — развел руками Халпаранг-ата.— Сам председатель меня назначил.

Сулейман-ата рассмеялся:

— Конечно, на безрыбье и рак рыба,— сказал он, но в душе позавидовал своему другу. Все-таки это не ночная работа. А вслух

сказал: — Он тебе и скребок вручил?

Халпаранг-ата поморщился, но ссориться с другом не стал.

— Все, все он дал. И метлу, и лопату. Если тебе когда-нибудь нужно будет подвезти навоз для бахчи, тебе не придется упрашивать кого-то. Одну ли арбу, две ли — отвезу, самого отборного. Не думай, друг, это тебе не сторожка тети Маруси. Это настоящая мужская работа,— не удержался от колкости Халпаранг-ата.

— Ах, так?!

— Сам видишь, не слепой!

— Да, работа у тебя хорошая,— согласился Сулейман-ата,— но будь осторожен...

— Что ты этим хочешь сказать?

— Тут держат лошадей на откорм, они очень сильные. Завидят тебя кривого, подумают, что к ним дэв одноглазый пожаловал, и лягнут тебя по единственному глазу.

Халпаранг-ата ничего не ответил другу, притворился, будто не слышит его.

— Я позвал тебя для того, чтобы угостить пловом. Сейчас сноха принесет. Из лучшего сорта риса приготовлен. Мы теперь работающие люди, не можем рассиживаться в чайхане. Идем, идем...

Уже вечерело, когда Сулейман-ага уходил домой. Дома ужинать не стал. Вскинул за плечо ружье и отправился на работу. Когда Мирвасык запер склад и ушел домой, Сулейман-ата обошел двор, заглянул за склад, потом развел огонь под кумганом и стал кипятить чай. За чаем и не заметил, как задремал. Ночную тишину нарушал только треск горящего хвороста. Вдруг сторожу показалось, будто что-то упало — не то с крыши, не то с забора. Он открыл глаза и оглянулся. Никого. «Может, это кошки бегают?»,— подумал он и снова задремал. Но в следующий раз сторож проснулся от приглушенного кашля. Он тут же вскочил с места и стал прислушиваться. «Поторапливайся, что ты там возишься?» шептал кто-то за забором. Сулейман-ата кинулся туда. И что же он видит?! Двое здоровых мужчин, разобрав выступ из-под крыши склада, вытаскивали оттуда шины для автомашин.

Сулейман-ата только помнит, как крикнул: «Стой!» Один из воров подскочил к нему и так огрел его кулаком промеж глаз, что старик не удержался на ногах и рухнул на землю. Потом, придя в себя, не вставая, снял с плечи ружье и снова крикнул:

— Стой, стрелять буду!

Один из воров перемахнул через забор. Второй тоже хотел последовать за ним, старик направил на него ружье и... «Ба-ах!» — грянул выстрел. Вор схватился за живот и, согнувшись в три погибели, застыл под забором.

Откуда ни возьмись набежал народ. Поднялся крик. шум.

— Молодец, ата! — похвалил старика появившийся вдруг Мирвасык, — мы давно охотились за ними, да никак не могли поймать.

— Я, кажется, попал в него? — растерянно спросил Сулейман-ата, ощупывая вспухший глаз.

— Так ему и надо!

Через полчаса подъехала районная «Скорая помощь» и увезла раненого. Шаходат-хола кинулась к мужу, увидев ссадину, стала прикладывать к посиневшему глазу мужа влажный конец платка.

Наутро, как на какое-то торжество, повалил народ в дом к Сулейману-ата. Все его поздравляли, хвалили за храбрость.

Мне всегда казалось. — сказал Хакимбек-ака, — что ты из тех, у кого сердце замрет, если воробышек вспорхнет, а ты, оказывается, джигит!

— Да-а!.. — многозначительно протянул Халпаранг-ата, — вор ведь не лошадь, куда попало не лягнет, а выбирает место... Ты уж побереги глаз-то, — намекнул он на вчерашний разговор. — Ты же один среди нас был целехонький...

У Сулеймана-ата задержался больной глаз, но он ничего не ответил своему другу.

Пришел председатель. От имени всех колхозников он надел на Сулеймана ата новый чапан.

Вы помогли поймать не просто мелких воришек. Они принесли колхозу тысячи рублей убытка. Трижды обворовывали наш склад. Спасибо вам еще раз.

Несмотря на ноющую боль в глазу, Сулейман-ата до самого вечера чувствовал себя героем дня. Ни его старуха, ни его друзья не знали, куда его посадить, чем угостить.

А вечером внук Сулеймана-ата принес страшную весть; в больнице скончался от раны вор. Никто, тем более Сулейман-ата, этого не ожидал. Всю ночь метался в постели, глаз не сомкнул. Жена его стала успокаивать:

— Хватит вам переживать, ведь от этого умершему не легче. Он сам виноват, знал, на что шел.

Но Сулейман-ата не слушал ее...

Вскоре состоялся суд. Сулеймана-ата приговорили к пяти годам тюремного заключения, но, учитывая преклонный возраст, скостили два года. Думал ли Сулейман-ата, что так случится, когда радостно шел на свое роковое дежурство. Недаром говорят: беда всегда приходит неожиданно, вдруг.

— Ата, вы потерпите немного, я это дело так не оставлю,— успокаивал его председатель Хайдарали после зачитания приговора.— Раз доверили ружье, должно же оно когда-нибудь выстрелить!

Сулейман-ата был подавлен. Он ничего не слышал. Да и что он мог ответить, ведь человек дороже всякого там имущества. Остается только терпеть. Он вслушивался в выступления на суде и все понимал, но одно было ему непонятно. Председатель суда говорил: «Есть четыре вида сторожей, три из них имеют право стрелять, а четвертый может только пугать ружьем». Оказывается, Сулейман-ата принадлежал именно к четвертому виду сторожей. Именно это и не было понятно Сулейману-ата. Это не смогли растолковать ему и такие завсегдатаи тюрьмы, как Сашко и Туляган-франт. Уж кто-кто, а они-то уголовный кодекс знали наизусть, но и из их объяснений старик ничего не понял. Тогда они стали его просто утешать:

— Вы, отец, сами размазня,— сказал Туляган-франт.— Вот теперь сидите вместе с нами здесь. Ну, подумаешь, взял он несколько шин, вам-то что? Не из вашего же дома воруют. Да и вор ваш тоже хорош! Если бы остался жив, сам понял бы свою ошибку. Ему надо было тихонечко подойти к вам и осторожно забрать у вас ружье, а уж потом и делал бы свои дела. Перед тем как уходить, переброевал бы вам ружье через забор — и все тут. Он просто неуч, вот кто он!

— Почему мне знать? — тяжело вздохнул старик.

— Почему, ничем, а это уж точно! — поддержал своего дружка Сашко, со свистом сплюнув сквозь зубы.— Неуч ваш вор! Попал бы он в наши руки, через год мы бы из него человека сделали. И вы бы жили спокойно, да и он наслаждался бы жизнью. Он сам виноват. Вы не терзайте себя из-за этого глупца. Вот Посмотрите, отменят приговор, верьте нам. Только, конечно, придется потерпеть немного.

Сулейман-ата и терпел. Но то и дело на глаза наворачивались слезы. Так прошло три месяца. Можно сказать, чуть ли не все из кишлака перебивали у него. Халпаранг-ата и Хакимбек-ака сначала навещали его чаще всех. На третий месяц перестали ходить совсем. Сулейман-ата обижался, потом забеспокоился за них: «Не заболели ли?»

— Они-то здоровы? — как-то спросил он у своей старухи.

Шаходат-хола поняла, о ком он спрашивает.

— Как же, здоровы.— с обидой ответила она.— Работу, что ли, в городе нашли, каждый день ездят. Вам-то что?! Будете еще думать о них...

— Да я так просто спросил,— сказал Сулейман-ата с какой-то болью.

— Хайдарали привет передает. Он говорит, что подаст заявление куда-то в высокое учреждение, чтобы вас освободить. Мирвасык тоже ездил куда-то, хлопчет о вас...

— Э-э, не говори мне о нем. Слышать не хочу об этом шалопае,— оборвал ее Сулейман-ата,— все это из-за него вышло.

За эти три месяца в жизни Сулеймана-ата не произошло никаких изменений. Он встает раньше всех, кипятит чай, подметает двор колонии, когда все отправляются на работу. Как-то в обеденное время его вызвал к себе начальник колонии.

— Ата, пришла бумага сверху, вы теперь свободны,— сказал он.

Сулейман-ата растерянно смотрел на него и молчал.

— Мне можно идти?

— Пожалуйста.

Сулейман-ата побежал в барак. Он ничего не стал брать с собой, кроме чапана, подаренного председателем, так и прибежал к проходной. Там он ни с того ни с сего набросился на постового, который тихо посапывал, опершись на свое ружье.

— Эй, гляди в оба, грохнет еще твоя игрушка, шалопай!

Когда он вышел на улицу, под тенью тала стояли двое. Сулейман-ата сразу их узнал. Это были Халпаранг-ата и Хакимбек-ака. Он чуть не захлебнулся от волнения.

— Хаким, Халпаранг! — крикнул Сулейман-ата, и на глазах его навернулись слезы.

— Ты что? Подумал, что мы умерли, да? Ты что так кричишь? — улыбнулся Халпаранг-ата.

Они втроем обнялись.

— Почему перестали ходить ко мне? обиженно спросил Сулейман-ата, по-детски выпятив губы.

Хакимбек-ака хотел подробно рассказать о своих мытарствах по учреждениям, начальству, но Халпаранг-ата ткнул его локтем и заговорил сам:

— Да вот, старость, друг. Стоит ли на это обижаться? А с тебя причитается, запомни!

— Что такое? — спросил Сулейман-ата.

— Тетя Маруся совсем не приедет. Сын ее не отпускает.

Все трое рассмеялись. Потом, закинув на плечи чапаны, старики отправились в путь. Когда свернули на большак, Хакимбек-ака запел любимую песню: «Когда вхожу я в сад...». К нему присоединились его друзья.

ОСЕННЯЯ ПОГОДА

Тетушка Сабри медленно идет по скверу Революции. А куда ей торопиться? Что, у нее дома дети плачут или не все дела переделаны? Куда же спешить? Домашних дел у нее немного, а детей нет — не дал им бог долгой жизни.

Солнце поднялось только в рост двух тополей. Утренний ветерок еще резковат, но уже не холодит кожу. На листьях висят серебряные росинки-жемчужины. Хорошо, что есть на свете солнце. Без него не было бы этих росинок и птиц, облепивших деревья. Раньше птичий гомон раздавался из укромных уголков сада, а теперь они здесь. И люди так. Бегут от тени деревьев.

В этот час в сквере почти никого — все на работе. Иногда торопливо пробегают хозяйки на рынок или редкие прохожие идут с работы, как и тетушка Сабри. Но тетушка Сабри не устала, она никогда не устает. Может, это Сатыбалды специально нашел ей легкую работу: утром она подметает, моет, вытирает окна, везде наводит порядок — вот и вся работа. Тетушка Сабри даже не знает толком, как называется ее учреждение. В комнатах высокие столы. За ними не сидят, а стоят и что-то рисуют на больших белых листах. В первый день работы Сатыбалды проводил тетушку Сабри до сквера и еще спросил: Не заблудитесь?

В сквере летом хорошо,людно присесть негде. А сейчас пусто и скамейки свободны. Удобные скамейки. Чего только нет в этом сквере! Кажется, будто цветы и деревья свезли сюда со всего света.

Очень красив игрушечный деревянный домик с резными кружевами. Кажется, что здесь ждут невесту и расстелили у входа цветастый ковер. Тетушка Сабри любит проходить по скверу. Отсюда она свора-

чивает на широкую улицу и идет домой. Она любит ходить пешком.

Тетушка Сабри редко ездила на машине или трамвае. Покойный муж Усман-ака очень огорчался: «Ну зачем ты мучаешься,— упрасивал он,— у тебя что, счеты с городским транспортом?» Но это не помогало.

Усман-ака умер в пятьдесят лет. Он и не болел, поел вечером свою любимую шавлю, задремал и не встал.

Покойный был маленького роста, едва доставал головой до плеча тетушки Сабри, был он щупленький и очень молчаливый. Часто тетушка Сабри не знала, молчит ли он или просто дома его нет. И смерть его была тихой.

Каждый хаит тетушка Сабри ходила на его могилу, а теперь Сатыбалды устроил ее на работу, и ей сразу как-то стало легче. А на войне ведь пропало без вести много сыновей, не только ее сын. Но тетушка Сабри очень тоскует по единственному сыну. Она не уверена, правильно ли поступает, оплакивая его как покойного. Ведь вернулся же чей-то сын через двадцать лет. А Бердали ушел из дому семнадцать лет назад. Может, еще вернется.

Часто вечерами, сидя за скромным ужином, тетушка Сабри думает о сыне, и ей кажется, что он вот-вот войдет с двумя дынями под мышкой. Почему именно с дынями — тетушка Сабри не знает. Она хорошо помнит, что Бердали любил приносить ей гостинцы. Перед самым отъездом принес ведерко персиков. Он был красивым парнем и очень хорошо смеялся. С самого детства так смеялся. На левой щеке у него появлялась ямочка. Уезжал на войну и все улыбался ей на вокзале. Этот день она хорошо запомнила, и когда думает о сыне, о проводах, слезы против воли наполняют глаза. Да вот еще одиночество.

Хорошо, что Сатыбалды не забыл ее. И на работу устроил. Тогда и разглядела тетушка Сабри все эти деревья и цветы в сквере. С работы она ходит через сквер. И не только потому, что любит ходить пешком. Здесь она познакомилась с Сабирджаном, который сидит в сапожной будке на большой улице. Это здоровый, красивый парень, и тетушке Сабри хотелось спросить у него, зачем он сидит в сапожной будке, но она все не решалась. А может быть, ему нравится такая работа? Руки у Сабирджана ловкие, будто родился сапожником. Игла танцует в почерневших пальцах. И уж очень приветлив. Как только увидит тетушку Сабри, обязательно скажет:

— Здравствуйте, куда путь держите?

Гетушка Сабри замедляет шаг, отвечает Сабирджану, что идет

домой, и гордо добавляет:

— С работы.

Значит, вы устали, присаживайтесь, выпейте цейлонского чаю, только что заварил.

Тетушка Сабри присаживается на низенький стульчик и на самом деле чувствует усталость. Но Сабирджан угощает ее крепким, горьковатым чаем, и усталость как рукой снимает. Ей становится удивительно тепло, на лбу, на кончике носа появляются капельки пота. Тетушке Сабри не хочется уходить. Она иногда просиживает здесь дотемна, любуясь работой Сабирджана и слушая его рассказы. А говорить Сабирджан тоже мастер. Он все знает, все новости в мире: что делают короли, что говорят министры, какие новые фокусы придумывает Америка.

Сабирджан часто показывает тетушке Сабри какие-нибудь туфли или ботинки:

— Смотрите сюда — дыра на подошве с верблюжий глаз. И каблук стоптаны. Кто может быть хозяином таких ботинок?

Тетушка Сабри покачивает головой.

— Это работяга,— говорит Сабирджан.— Он вспоминает о своих ботинках, только когда камень через подошву лезет. Верх целый, а проверить подошву некогда.

Сабирджан набивает прочную подметку, подравнивает ее, начищает ботинки и берет в руки другую пару.

— А здесь что вы скажете? — Сабирджан лукаво щурит глаз.

Тетушка Сабри старательно считает заплаты на туфле.

— Это очень бедный человек,— заключает она.

Сабирджан улыбается:

Не отгадали. Смотрите! На них живого места нет, а какие они чистые, ни пылинки. Кто так носит? Очень жадный, скупой человек. Он уже их лет десять носит. Бедный давно бы выбросил такие да новые бы купил. И правильно бы сделал.

Тетушка Сабри согласно кивает. «Господи, какой же ты умница, тебе бы большой конторой править, а ты здесь сидишь!» Но это она только думает, а не говорит. Она вспоминает сына: «Сидел бы и мой вот так в сапожной будке, какое бы это было счастье». К горлу тетушки Сабри подкатывает ком. Она знает: сейчас польются слезы. Тетушка Сабри торопливо поднимается:

— Дай бог тебе долгой жизни, пусть у тебя никогда не болят руки,

сынок.

По дороге тетушка Сабри немного успокаивается, а дома принимается готовить ужин. Иногда и это не помогает — слезы все равно прорвутся, и тогда тетушка Сабри глотает горячий чай и ждет рассвета. С первым криком петуха ей становится легче. Она пойдет на работу, а потом заглянет в будку к Сабирджану.

Но вот уже третий день будка закрыта. Сабирджана нет. В первый день это не очень взволновало ее. Она даже подождала немного, а может быть, Сабирджан куда-то отлучился. Но он не пришел.

Тетушка Сабри поплелась домой, и ей казалось, что она потеряла что-то очень нужное. Есть не хотелось и не спалось.

Тетушка Сабри медленно идет по скверу Революции. А зачем ей торопиться? Что, у нее дома дети плачут или не все дела переделаны? Да и рано еще, солнце показывает только полдень. Сегодня тетушка Сабри получила зарплату. Зайти в универмаг? Надо бы купить ичиги — зима скоро.

Кажется, она размечталась. Тетушка Сабри ускорила шаг, магазин остался позади. Она вышла на широкую улицу и почти побежала. Прохожие с удивлением смотрели на старую седую женщину в черной бархатной жилетке с расстегнутыми пуговичками.

Показалась будка Сабирджана, и тетушка Сабри остановилась. Будка была открыта.

— Сабирджан! — закричала она.

Из окошечка показалась голова, но это был не Сабирджан.

— А где Сабирджан? — спросила она упавшим голосом.

— Он болен, дома лежит, а меня вместо него прислали.

Тетушка Сабри пошла домой. Налетел ветер, стало холодно. Но спешить тетушке Сабри некуда. Детей у нее нет, не дал им бог долгой жизни. Тетушка Сабри пошла домой и долго сидела на терраске. Потом накинула платок и вышла на улицу. Сапожная будка была закрыта. Тетушка Сабри постояла немного и зашла в соседний двор; мальчишки гоняли колесо, а мужчина в полосатом костюме и черной тубетейке внимательно следил за игрой.

— Вы не скажете мне, где живет Сабирджан-сапожник,— обратилась тетушка Сабри к мужчине.

— Не знаю, с сапожниками дел не имею.— Мужчина отвернулся.

— Я знаю, я был у него,— сказал маленький мальчишка,— я отвезу вас к нему на машине.

— На какой машине?

— А вот...— Мальчишка продел проволоку в колесо.— Поехали! — Колесо покатилося.

«Приехали» они скоро. Сабирджан жил недалеко.

Тетушка Сабри вошла во двор. Узенький дворик пуст. Она тихонько постучала в дверь и сразу же узнала голос Сабирджана:

— Войдите.

Сабирджан лежал на кровати.

— Тетя, пришли!

— Что с тобой, сынок?

— Нога, старая рана.

— Чего же у тебя с ногой?

— С ногой? У меня нет ноги.

Стало тихо. Сабирджан лежал с закрытыми глазами, но вдруг улыбнулся и посмотрел на тетушку Сабри. Лицо ее было в слезах.

— Не нужно плакать. Расскажите-ка мне лучше, что у вас на работе.

Было уже совсем темно, когда тетушка Сабри заторопилась домой. Как же не ей торопиться? Еще ничего не сделано. Надо сварить Сабирджану свеженького плову. Да еще забежать по пути к Сатыбалды, попросить, чтобы помог перенести одеяло с матрацем. А вечер какой чудесный! Уже нет холодного ветра. Странная погода осенью. Только бы не испортилась. Надо спешить...

Худайберды Тухтабаев

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Вы, возможно, слышали, что после землетрясения в Ташкенте, в махалле Саманбазар, возник рынок, на котором шла бойкая торговля всем, что осталось от развалившихся и снесенных домов — деревянными стропилами, балками, оконными рамами, дверями, шифером, словом, тем, что еще можно было как-то использовать. И вот понадобилась мне однажды оконная рама. Я, разумеется, отправился на этот, сразу же ставший очень известным, базар. Купил я раму, довольно еще крепкую, и стою, высматриваю, не подвернется ли подходящий транспорт. Вдруг вижу — небольшая запряженная ишачком арба. Не знаю, как в других городах, а в Ташкенте к тому времени ишаки, можно сказать, совсем исчезли. Говорят, только в зоопарке одна пара осталась. Откуда, думаю, он здесь, на базаре, взялся? Уж не из зоопарка ли?

— Ну, что уставился? Или не узнаешь? — крикнул арбакеш и, спрыгнув с арбы, направился ко мне.

Я конечно, узнал его: это был Фазыл, мой бывший одноклассник. Мы обнялись и долго расспрашивали друг друга о жите-бытье.

— Ты что здесь делаешь? — спросил наконец Фазыл.

— Да вот. раму купил. А ты?

— Я-то?.. Арбакешем стал... временно... Давай-ка сюда свою раму, в лучшем виде доставлю.— Увидев, что я мнусь в нерешительности, он хмыльнулся.— Может, тебе мой ишак не подходит? Ты не смотри, что он такой невзрачный, он знаешь какой сильный, никакому коню не уступит. Мы тут на днях скачки устроили, так он двух лошадей обскакал. Гляди, как у него уши торчат! И ноги крепкие... как у слона...— Фазыл засмеялся собственной шутке.— Ну как, едем?

— Едем.

Всю дорогу он расхваливал своего ишака, и по его словам выходило, что нет в Ташкенте, а может, и на всем свете, другого такого сильного, умного и доброго животного. Он говорил, а я все вспоминал годы, когда мы вместе учились. Не было, пожалуй, ремесла, которое он не стремился бы постичь, и не было кружка, в который бы не ходил. В седьмом классе записался он в литературный кружок. Походил немного и вдруг, ни с того ни с сего, на глазах у всех кружковцев изорвал в клочья тетрадь со стихами собственного сочинения, заявив:

— Все, больше я в этот кружок не хожу. Руководитель сам не умеет стихи сочинять, а меня без конца переделывать заставляет. У меня от этих переделок мозги расплавились, в сопли превратились,— и он гулко высморкался.

— Так это у тебя, наверное, от простуды! — сказали ребята.

— А вот и нет! От стихов! Если и дальше это дело продолжать, я не поэтом, а настоящим сопляком сделаюсь!

Покончив с литературным кружком, он записался в радиотехнический, стал учиться собирать радиоприемники и телевизоры. И, надо сказать, поначалу у него неплохо получалось. Наушники, которые он смастерил, даже на школьной выставке технического творчества демонстрировались и сделали его знаменитым на весь кишлак.

Сиюю однажды, готовлю уроки и вдруг слышу — в соседском дворе шум. Прибегаю, гляжу: Кадыр,— он в восьмом «В» учился,— схватил Фазыла за ворот рубашки и во весь голос кричит, чуть не плачет. В чем, спрашиваю, дело? Что тут случилось?

— Он телевизор угробил! Что я теперь отцу скажу? Пусть сейчас же починит, а то...

— Да это сам телевизор такой,— перебил его Фазыл.— Нельзя его починить. Сейчас все телевизоры с браком. Завод виноват.

Одним словом, выяснилось, что телевизор стал хуже показывать, Фазыл взялся его отремонтировать, да не смог, совсем из строя вывел.

— Пусть починит,— заметив, что я сочувствую ему, канючил Кадыр,— а то меня отец лупить будет!

— Ничего, не помрешь,— успокаивал его Фазыл.— Думаешь, меня не лупят? Я на днях дома приемник испортил, так отец мне такую трепку задал — закачаешься, а я, видишь, живой. Хочешь, я тебе совет дам: если он ремнем стегать станет, ты выворачивайся, старайся, чтоб по мягкому месту пришлось...

Кое-как удалось мне тогда примирить их. Позже, кажется, уже в девятом классе, я увидел у него в руках старенький, должно быть отцовский, танбур, с которого давно уже поотлетала вся инкрустация.

— Ну и дела! — удивился я.

— Ты что, не слышал? — самодовольно ухмыльнулся Фазыл. Я музыкантом заделался. Наш руководитель кружка говорит, что если прилежно заниматься, из каждого мальчишки может Бетховен или Шопен получиться. Ты знаешь, кто такие Бетховен и Шопен? Не знаешь? То-то же! Двоюродные братья. И еще наш руководитель сказал,

что из меня певец может выйти.

— Это еще почему?

— А потому, что у меня рот большой.

— Говорят, большие рты у дармоедов бывают, а чтоб у певцов — такого я не слышал.

— Ерунда! Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю?

И, не дождавшись моего ответа, он стал наигрывать мелодию «Тановар». Правду сказать, получалось у него неплохо. Во всяком случае слушал я с удовольствием.

Когда твой день рождения? — спросил вдруг Фазыл. — Смотри, не забудь мне сказать. Музыкальную часть я беру на себя. Сам и играть, и петь буду. Вот тогда узнаешь, на что годится большой рот...

Двенадцатого марта был мой день рождения, и я решил пригласить Фазыла, как, впрочем, и весь класс. Это было после уроков, и я сразу отправился в комнату для музыкальных занятий. Однако его там не оказалось. Знаете, где я его обнаружил? В кружке юных садоводов. Вооружившись секатором, он вместе с другими ребятами занимался обрезкой яблонь.

— Вот так, дружище, музыку я бросил, — не дождавшись моих расспросов, сказал Фазыл и, засмеявшись, добавил: — А из танбура я братишкам игрушек наделал. Ты сам подумай: разве из певцов хоть один Герой Социалистического Груда вышел?

— Не знаю.

— И вообще, что это за профессия? День-деньской петь да по струнам брэнчать. То ли дело садоводство! Работать в саду, растить фруктовые деревья! Ты Мичурина знаешь?

— Знаю.

— Я хочу стать Мичуриным. — Он мечтательно закатил глаза. — Лет через десять, как раз в этот день, двенадцатого марта, когда тебе исполнится двадцать шесть лет и ты с друзьями будешь сидеть за праздничным дастарханом, около твоего дома остановится машина и с нее станут сгружать ящики с фруктами от знаменитого садовода, Героя Социалистического Труда Фазыла Ачилова... Ребята, — обратился он к товарищам, — получится из меня Герой Труда или нет?

— Ты и сейчас герой! — прыснула одна из девчонок.

Не знаю уж, по какой причине Фазыл забросил садоводство, но за что его из кружка юных зоологов исключили — это я хорошо помню. Была весна, и кружковцы выкармливали тутовый шелкопряд. Пришел

как-то черед дежурить Фазылу. Вместо того, чтобы дать червям листья тутовника, он накормил их листьями тала, и все они, до единого, погибли. Фазыл стал объяснять ребятам, что он, мол, хотел научный эксперимент провести, но ему не поверили, решили, что он все это нарочно сделал. Короче, выгнали его из кружка.

— Очень хорошо получилось,— сказал мне назавтра в классе Фазыл,— я как раз хотел в секцию кураша перейти. Надоели мне эти противные черви да жуки... Бр-р-р! Тоже мне — кружок называется! — Он презрительно сплюнул.— Нашли дурака — ежей с блюдечка молочком поить... Ты про Ивана Поддубного слыхал?

— Ну, слыхал.

— Я буду как Поддубный.

Все это я вспомнил сейчас, сидя на арбе и придерживая обеими руками купленную раму. Сколько кружков было в школе, самых разных, и в каждом из них Фазыл успел побывать. Вот только кружка арбакешей у нас не было...

Фазыл всю дорогу говорил, не умолкая. То нахваливал своего ишака и, наклонившись с арбы, поглаживал его по тощему крупу, то вспоминал, одного за другим, наших школьных приятелей. Я молча слушал его. На сердце почему-то было муторно... Он ведь все-таки рос способным мальчишкой. Вот только терпения ему всегда не хватало. А уж если нет терпения, да еще цели, так будь человек хоть семи пядей во лбу, он, в конце концов, может вот так же на базаре оказаться — с дряхлым ишаком и старой скрипучей арбой.

— Никудышная это работа,— словно угадав мои мысли, сказал Фазыл, хорошо хоть временная. Я на шофера собираюсь учиться. Вот и упражняюсь, правила дорожного движения изучаю...

Тем временем дорога пошла под уклон. Вдруг что-то треснуло, арба резко наклонилась в сторону и остановилась. Мы чуть было не вывалились на землю. Одним колесом арба заехала в придорожный арычек, застряла, и бедный ишачок, сколько ни тужился, не мог вытащить ее. Мы с Фазылом попытались помочь ему, и тоже впустую, ничего у нас не получилось.

Ты же говорил, что он коню не уступит! — запыхавшись, сказал я.

Уступить-то не уступит, да вот видишь, ноги у него дрожат, - виновато отвел глаза Фазыл.

Я не смог удержаться, чтобы не съязвить:

— Так они же у него крепкие, как у слона!

На этот раз Фазыл не нашелся, что ответить, только часто заморгал. До дома оставалось недалеко, и я, взвалив раму на спину, кое-как дотащил ее.

Ты не сердись, прощаясь со мной, сказал Фазыл,— скоро я шофером стану, постараюсь тебе услужить. Ты уголь-то на зиму припас?

— Нет еще.

Не торопись покупать. Я тебе его сам на машине в лучшем виде доставлю...

Суннатулла Анарбаев

ПЕРВЫЙ РЕЙС

Своего младшенького Халилджана Акбар-ака очень любит. Но не подумайте, что он не любит своих старших. Нет. Он и их любит. До сих пор у него болит о них сердце. Правда, когда родился первенец, Акбар-ака хорошо помнит, как ему казалось, что ребенок пищит из люльки: «Кончилась твоя молодость, теперь ты пана». Потом родился средний. Сейчас он не помнит, как они росли. Тогда еще была жива мать Акбара и она возилась с ними. Бабушку они называли мамой, а дедушку папой. Они как го быстро вытянулись и были скорее похожи на его младших братьев, чем на сыновей. Однажды старший принес осоавиахимовский значок. А вскоре Акбар-ака узнал, что сын посещает аэроклуб. И второй увязался за братом. Старший закончил школу и поступил в военное училище. Средний гоже кончил школу и уже взял из военкомата направление в то же училище, но... началась война.

Акбар-ака получил несколько писем от командира части, в которой служили сыновья. Командир писал, что мальчиков наградили орденами. Ах, лучше бы они были живы! Зачем ему их награды!

Акбар-ака сидел на низеньком стульчике на терраске и думал. Его коротко подстриженная бородка стала совсем седой. Взгляд под тяжелыми сросшимися бровями устремлен на молодой виноградник. Поврежденный кетменем куст словно печально плачет, слезы капельками падают на землю. Плачет. Кто же не заплачет, потеряв сразу двух таких богатырей. И Акбар-ака потихоньку плакал, прячась от жены.

На заводе забывался за работой, а дома младшенький.

Как-то пошел отец с Халилджаном в баню, посадил его в таз и начал мыть, а малыш захныкал — мыло в глаза попало. «Эх ты, я ведь считал тебя взрослым парнем, а ты плакса». Тогда Халилджан взял мочалку и стал тереть отцу спину, слабенько, словно щекотал.

«Помощничек дорогой», — растроганно думал Акбар-ака. С того дня между отцом и сыном завязалась крепкая мужская дружба. Шли месяцы, годы, и маленькие слабые руки Халилджана набирали силу. Он изменился, повзрослел. Халилджан пошел по следам братьев, посещал авиаклуб, а потом закончил летную школу. Позавчера Халилджан ушел в первый самостоятельный полет. А перед этим они с отцом были в

бане. На сей раз Халилджан так натер спину отцу, что Акбар-ака уже больше не сомневался, что сын его взрослый и сильный. Акбар-ака потихоньку поглядывал на сына. Так он ведь как две капли воды похож на статую физкультурника на стадионе. Высокий (в дядьку), сильный, как лев, ноги стройные, как у бегуна, талия тонкая, а плечи... на каждом плече поместится два, ну, если не два, то один здоровый человек, тело мускулистое. Не зря он постоянно участвует в соревнованиях. Надо ему посоветовать заняться борьбой. Настоящий геркулес. Ведь правду говорят, что все девушки в семнадцать лет — красавицы. Акбар-ака вздохнул. В эти годы и среди мальчишек не бывает некрасивых. Вон какой парень! Красавец! А фигура... Сила просто выпирает. Счастливым бы был.

Мысли Акбара-ака прервал далекий гул. Медленно, словно сытая рыба, проплыл по небу самолет.

— Нет, это не он,— Акбар-ака проводил серебряную птицу взглядом.— Его — грузовой. Он вернется завтра на рассвете. Лишь бы все прошло хорошо. Интересно, какая погода?— Акбар-ака поднял голову и внимательно осмотрел небо. К вечеру небо стало чистым и темно-голубым. Ночь, как и солнце, пришла с востока.

Вон и вершину Чаткала окутала тьма. Забеспокоились воробьи.

Из кухни вышла тетушка Сабри с двумя пустыми ведрами.

— Чем мечтать, лучше бы воды принес.

— Пожалуйста, хозяйка вот скоро выйду на пенсию и полностью поступлю в ваше распоряжение.

Акбар-ака принес воду, поставил ведра на кухне. Он уже давно не ссорится с женой. Не подумайте, что он боится жены, в молодости они не раз ссорились, чего скрывать. Однажды даже молоденькая Сабри забрала мальчишек и ушла к отцу. А из-за чего?

Возвратились они как-то из парка, а Акбар-ака возьми да и скажи: «Сабри, купишь тебе туфли на каблуках? Повыше будешь выглядеть». Это сильно задело жену: «Ага, увидел, что я мала ростом, когда уже родила трех сыновей?»

Назавтра Акбар-ака вернулся с завода и не застал дома ни жены, ни ребят. Записка на столе гласила: «Можешь найти себе высокую». С трудом тогда привел ее домой. Теперь он и не замечает маленького роста жены (конечно, родила таких трех молодцов, при чем здесь рост). А двое так и не вернулись с войны. Вместе с женой были пережиты тяжелые дни. Акбар-ака очень заботится о своей старушке, старается не

огорчать ее.

Старики поужинали вдвоем, напились чаю, а потом Акбар-ака прилег с газетой, а Сабри стала убирать посуду. Оба сегодня неразговорчивые. Легли спать. Глаза у Сабри закрыты, но Акбар-ака знает, что она не спит и не заснет, как и Акбар-ака,— будет всю ночь думать о первом рейсе сына.

И чего только не передумаешь за ночь.

А если какой-нибудь винт откажет? В воздухе ведь не за что зацепиться. Опасно. Да, молодежь в небо рвется. Ладно, пусть рвется в небо, не стану останавливать, не сиднем же ум сидеть.

С этими мыслями он провел ночь. Утром посмотрел на стенные часы: Халилджан уже приземлился. Через сорок минут увидимся. Сердце Акбара-ака громко стучало.

Чтобы прогнать нехорошие мысли, он достал бритвенный прибор, налил в стакан воды из кипевшего самовара. Начал неторопливо бриться. Подстриг бородку. Умылся. Надушился одеколоном сына, а потом надел выходной костюм и направился к калитке. Старуха посмотрела на него с удивлением.

— Так я же сегодня во вторую смену,— сказал он.

Сабри промолчала: она знала, куда торопится старик.

Акбар-ака остановился на углу улицы. Прохожие здоровались с ним, и он рассеянно отвечал. Взгляд его был прикован к автобусной остановке: «От аэропорта до вокзала пятнадцать минут, от вокзала до дома пятнадцать минут»,— подсчитывал он. По улице двигались машины, трамваи. Но они не интересовали Акбара-ака. Ага, вот остановился автобус. Выходят пассажиры. Нет, Халилджана нет среди них. Следующий приедет минут через десять-пятнадцать. Акбар-ака ждет, считает минуты. Он повернулся и у ворот дома увидел выглядывающую Сабри. Тоже ждет. И тоже волнуется. Тетушка Сабри ушла во двор. Вот еще автобус. Выходят люди: женщины с сумками и без сумок, какой-то парень без пиджака с непокрытой головой, высокий мужчина в зеленом плаще и зеленой шляпе, с чемоданом в руках. Не он. Вот... Акбар-ака заволновался, на глазах навернулись слезы. Он улыбнулся дрожащими губами. Он сына и за версту узнает: черные брюки, ботинки, светлая непромокаемая куртка, на голове летная фуражка. Шагает широко, бодро.

— Красавец-то какой,— шепчет Акбар-ака.

Он быстро достает из кармана платок, вытирает глаза и тяжело

шагает навстречу сыну.

Джонрид Абдуллаханов

МЫ СТРОИМ ДОМ

Вот уж воистину: не повезет — так уж во всем.

Явился я домой в прескверном настроении, не успел, как говорится, лицо сполоснуть, как вдруг слышу из соседней комнаты голос тещи:

— Если мужчина не в состоянии содержать прилично семью, пусть повяжет на голову платок... По мне это не мужчина.

Меня как током ударило. Ах ты, думаю... И тут до меня доносится голос жены:

— Будет вам, матушка. Ну чего нам нужно еще? Обуты, одеты, питаемся, слава богу, не хуже других.

Теща в ответ так и взвилась:

— «Не хуже!», «Не хуже!». Слыхала я эти разговоры. Жалеешь муженька, прощаешь все. А ему того и надо. Стыд и срам! За два года ковра приличного в дом не купили. Вон подруга твоя, Мукаррам. Любо-дорого зайти к ней — и обстановка приличная, и вещи дорогие...

Тут уж я не выдержал, рванул дверь:

— Вот и гостите у своей Мукаррам. А меня со своими дурацкими коврами оставьте в покое!

Надо было видеть, как она взвилась:

— Ах, так? Значит, я в этом доме лишняя? Раз в неделю заходишь — и то попрекают...

И пошла, и пошла.

Я закрыл поплотнее дверь.

Из-за стены до меня доносится знакомая тещина проповедь. Насчет того, что я оказался никудышным мужем: целыми днями пропадаю на работе, а толку от этого немного. Жена вяло ей возражает.

Меня особенно бесит то, что Малохат так спокойно сносит замечания насчет собственного мужа. Может, в глубине души она думает так же?

Мысль эта окончательно выводит меня из равновесия. Вот жизнь, думаю я,— ни на работе не щадят твои нервы, ни дома. Надеешься в кругу семьи отдохнуть душой, отвлечься от служебных неприятностей, так нет же — еще попреки слушай, потому что перестал получать премиальные и не можешь поэтому купить лишнего ковра, провалился он совсем...

— У-уфф. ну, денек сегодня!

Утром я демонстративно ухожу на стройку без завтрака. Еду в автобусе и решаю вдруг брошу все к дьяволу, уволюсь! Кончил институт, стал мастером, руковожу людьми, а что толку? С утра до вечера бегаю по площадке, как зачумленный, ругаюсь с прорабами, начальником участка, треплю нервы — и никаких сдвигов. План не выполняется, не говоря об обязательствах. Мы уже забыли, как выглядят премии. Главное — нет строгой ритмичности в поставке стройматериалов. То с лесом перебой, то с кирпичом, то вместо пяти машин пришлют одну с раствором. Вот и кукуй. Как у Райкина: «Кирпич бар, раствор йук...». Надоело. Уволюсь и — баста.

Кабинет прораба — что твоя ярмарка. Шум, гам с утра. Мастера ругаются, требуют чего-то. Я тоже поначалу кинулся было в бой — толковать насчет графика поставок, но вовремя спохватился: мне-то чего? Я же увольняюсь.

Пошел к себе, взял лист бумаги, сел писать заявление. Хватит, думаю, нора решаться. Вон Сагдулла давно уже уговаривает перейти к нему в восьмой трест. Пойду, чего там, в восьмом хоть порядка больше.

«Начальнику строительного управления товарищу Закирову Абиду. Заявление...» — начал я.

Вообще это будет мое четвертое или пятое заявление. И до этого я решался несколько раз уйти, так же писал заявление об уходе, всегда что-то мешало: то, другое. Но теперь — все! Никаких отсрочек. Ухожу.

— Садык,— слышалось от порога.— Эй, Садык!

Кричал бетонщик из нашей бригады. Камил.

— Чего тебе? Потихе не можешь? Видишь, человек занят! — набросился я на него.

— Да мне-то чего,— обиделся он,— вас Абид-ака ищет.

— Подождет.

— Да мне-то чего,— пожал он плечами,— меня попросили, я передаю. Там собрание из-за вас не начинают.

— Собрание? — я не понял.— Какое еще собрание?

— Общее собрание, какое еще...

Вообще я ничего не терял. Ну и посижу на собрании, послушаю. Вопрос-то о переходе мною в конце концов решен, так? Допишу заявление там. На собрании, кстати, будет все начальство. Вот и передам Закирову из рук в руки — пусть все видят.

Я опоздал немного. Когда пришел в красный уголок, на трибуне уже

стоял оратор. Я прямо опешил, увидев, что это Салим. Кого-кого, а уж этого молодчика заставить выступить... Легче гору своротить. Послушаем, послушаем.

Я сел поближе к президиуму.

Салима нельзя было узнать. Он рубил направо и налево — говорил о безобразном отношении к технике, о том, что у нас стройплощадка похожа на городскую свалку мусора: всюду грязь, горы битого кирпича. «Откуда у нас быть высокой производительности труда?» — спрашивал он.

Ему все время аплодировали. Я тоже раз не выдержал, захолопал, когда он заявил, что, прежде чем жаловаться на нехватку стройматериалов, надо научиться бережно обращаться с тем, что у нас есть. Правильно сказал — не по-хозяйски мы поступаем.

И вдруг... Меня как обухом по голове — Салим называет мою фамилию. Я даже привстал.

Салим говорит, что такие, как я... Чего он болтает, а? Что, мол, я вижу недостаток в бригаде, говорю о них, а вот бороться с ними не решаюсь. Что я проявляю инертность.

«Это я-то инертный? — думаю, — Ну, Салим, погоди! Говорить — так говорить до конца!» Как только он кончил, я поднял руку и, не дожидаясь, пока меня пригласят, полез на трибуну.

Давно у нас не было таких собраний. Из меня пар потом несколько дней еще выходил. Всем досталось на орехи. И мне в том числе. Оказалось, я не такой уж положительный товарищ, как думал до этого. И у меня нашлись эти самые «отдельные недостатки».

Ладно. Приняли мы целую программу действий, чтоб войти наконец в нужный ритм. Меня назначили в инициативную группу.

Тут я вдруг вспомнил, что собираюсь увольняться, стал ловить начальника управления Закирова Абида, но меня в это время самого поймал прораб Яков Самойлович, стал советоваться, как быть с соблюдением часового графика — не скажешь же человеку в такую минуту: отстань, мол, я увольняюсь. Пришлось советоваться.

И закрутилась карусель...

Прибежал Салим:

— Слушай, сейчас придут шефы.

— Какие шефы?

— Да студенты, для которых мы этот дом возводим. Я у них был вчера, говорю: помогите привести территорию в божеский вид. Они

обещали сразу после занятий прийти. Жду с минуты на минуту.

А в это время за воротами как грохнет барабан, как рявкнет труба оркестра — уж на что у нас на площадке тарарам, а все равно было здорово слышно. И что вы думаете? В ворота колонной, как на праздничном параде, входят студенты, а во главе их духовой оркестр.

Ну и денек был, доложу я вам! Уж мы, работяги, на что проворный народ — и то запыхались с этими студентами. То им давай, другое — не хотят баклуши бить... У нас на стройке, чего греха таить, есть свои доморощенные лодыри: его пока не подхлестнешь как следует — с места не сдвинется. Так, верите, студенты им житья не давали, стыдно, говорят, деньги за такую работу получать — вы ж на ходу спите! И давай их со всех сторон обрабатывать — понасмешничать они мастера - лодыри наши не знали, куда глаза девать.

Что значит все-таки народ молодой! И нам как-то всем стало легко, весело на душе. Может, это, конечно, совпадение, а может, и нет, но все в тот день как-то ладилось, все шло, как говорят, без сучка и задоринки: и лес шел хороший, не бракованный, и бетон поступал вовремя и в нужном объеме, и начальство было в хорошем настроении, обещало в будущем квартале премию.

Вот ведь жизнь как складывается и не ждешь, а озарит неожиданной радостью, принесет настроение бодрое и все такое... Кончился день, а нам, верите, расхотелось не хочется. Хоть песни пой.

Ехал я домой в приподнятом настроении. Народ какой-то в автобусе хороший ехал, места друг другу уступали, девушкам улыбались, о футболе говорили.

Тут-то я вдруг вспомнил о теще, о том, как вспылил вечером, как отказался утром сесть за общий стол. Не по себе мне стало. А тут выхожу на остановке, глянул на наши окна — темно. Свет погашен.

Ушла, думаю, Малохат, обиделась на меня и ушла к матери.

Бегу что есть мочи к нашему подъезду. А уж соседка навстречу:

— Вы разве не встретили свою жену?

У меня сердце так и запрыгало.

— Где встретил?

— На остановке. Она пошла проводить маму.

— Ф-фу! — Мне сразу полегчало.

А тут смотрю, Малохат идет. Торопится. Увидела меня, рукой замахала. Я пошел ей навстречу.

— Проводила...— говорит она, запыхавшись.— Мама привет тебе

передала,— Она смотрит чуть виновато мне в глаза.— Не сердись, Садыкджан... Ладно? Она ведь очень старенькая. И любит нас всех.

А ворчит... Ведь все старики любят поворчать...

— Что ты в самом деле! — говорю я.— Да я уже забыл обо всем... Она смотрит на меня своими темными бархатными глазами, роняет вполголоса:

— Ты сегодня в хорошем настроении. Как на работе, Садыкджан?

— Ничего,— говорю я солидно.— Нормально на работе. Строим свой дом.

Захир Аглям

УДАР

В двенадцатом часу ночи кафе «Полет» заметно опустело. Музыканты сворачивали многочисленные шнуры, официантки считали выручку и с нетерпением посматривали на припозднившихся посетителей.

За столиком у самой эстрады сидели двое юнцов с одинаково торчащими кверху волосами и девушка в ярко-красных штанах и синей прозрачной блузке. Держались они с подчеркнутой независимостью, разговаривая и гогоча в полный голос.

Соседний столик занимали спортсмены. Одному на вид было не больше двадцати, другому перевалило уже за тридцать. В их крепко сбитых фигурах и несколько вальяжных позах угадывалась принадлежность к большому спорту. Судя по всему, им не мешало шумное соседство.

Последний, шестой посетитель, сидел в глубине зала, в полумраке отработавшего вечер кафе. Посуду у него унесли, и на столе сиротливо стоял пузатый графинчик с остатками коньяка и бутылка минеральной воды.

Он курил сигарету за сигаретой и пристально наблюдал за столиком спортсменов, лишь изредка отвлекаясь на снующих в узких проходах официанток. Высокий лоб, густые брови, косым росчерком уходящие к вискам, едва различимые морщины у рта придавали его одутловатому лицу оттенок благородства.

Запив минеральной очередную рюмочку коньяка, он взглянул на часы, потом на юнцов, без устали развлекающих свою смазливенькую спутницу. «Долго они будут тут рассиживаться?» — с неприязнью подумал он.

Вдруг послышался глуховатый голос старшего из спортсменов:

— Ты мое слово знаешь! Пока я тренер, левый фланг — за тобой. Сабир там играть не будет. Это я тебе гарантирую...

Одинокий посетитель, усмехнувшись, раздавил в пепельнице окурок. «Силен ты, брат, обещаниями».

— Выпьем же за это! — Тренер наполнил до краев рюмки и кивнул своему подопечному, — Давай!

— Может, мне хватит? — несмело спросил тот.

— Э-э. какой же ты джигит?

— Но ведь послезавтра игра.

— Ерунда. Скажи, Халилджан, часто я могу посидеть вот так со своим молодым товарищем? Ну, скажи, скажи! То-то же! И еще скажи, кто в пору моей юности мог тягаться со мной?.. Давай, поднимай, я в твои годы никогда не обижал друзей и, как видишь, ничего — живу, команду тренирую и не самую слабую в высшей лиге.

— Но вы — другое дело...

— Все! Ничего не хочу слышать! Пей! За твои успехи, малыш! Халил опустошил свою рюмку в мгновение ока, а тренер, процедив коньяк сквозь зубы, долго прижимал к губам кусочек лимона. Потом зажмурился, словно попал под свет юпитеров, и закрыл ладонью лицо.

В это время кто-то подсел к ним, с шумом отодвинув стул и поставив на стол графин или бутылку. «Наверно, болельщик,— решил тренер, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Нет от них спасения...

- Как поживаешь, Акбар? — фамильярно спросил чей-то не очень знакомый голос.

Тряхнув головой, он открыл глаза и увидел протянутую к нему руку, а следом лицо, заставившее его вздрогнуть.

— Привет, Кадыр, — бросил он с заметным беспокойством и пожал эту протянутую руку.

— А я вот сижу один, дай, думаю, поприветствую старого приятеля. — сказал Кадыр и дружелюбно посмотрел на юношу. — Прошу прощения, если помешал вашей беседе.

— Да нет, ничего,— буркнул Акбар.

Кадыр разлил из своего графинчика. Халил, почувствовав перемену в настроении тренера, не спускал с незнакомца настороженного взгляда.

Акбар взял себя в руки.

— Как дела, Кадырбек? Сколько лет, сколько зим... сказал он и непринужденно положил руку на плечо незваного гостя. Ну, рассказывай, как жизнь молодая?

— О чем рассказывать? Это у вас, мастеров.— жизнь, а у меня что? Прозябание.

— Ну ладно, ладно, не скромничай. Да, я, кстати, вас не представил.— Акбар повернулся к Халилу.— Ты наверняка слышал имя этого человека... Кадыр Кариев. Лег десять назад при одном лишь упоминании о нем трамваи останавливались.

В глазах у Халила появилось почтение, он улыбнулся.

— А это, продолжал тренер, — надежда нашего клуба Халил Равшанов.

— Очень рад, — Кадыр первым протянул молодому футболисту руку.

— Так где ж тебя столько лет носило? — участливо спросил Акбар.

— Работал в школе и сейчас там работаю. И еще на Гашкабеле тренирую. Я ведь и сам оттуда, так они проходу не давали...

Нервное напряжение первых приветственных фраз ослабло. Но стоило ему встретиться глазами с Акбаром, как вновь нарастала в душе былая ненависть. И он понимал, что Акбар догадывается об этом по выражению его лица.

И тому и другому стало ясно, что «разговора» не избежать.

— Да, не повезло тебе, бедолаге,— со вздохом заметил Акбар и, сообразив, что сморозил какую-то чушь, быстро добавил: Ты был прекрасным атакующим хавбеком. Кто не попадался на знаменитый кариевский финт?! Выпьем же за тебя, дружище!

Кадыр сидел с опущенной головой, и Акбар сделал над собой еще одно усилие:

— Давай не будем вспоминать прошлое. Я понимаю, лучшие годы позади...

— Нет,— хрипло возразил Кадыр.— Я не согласен. Почему бы нам не покопаться у себя в памяти, не предаться воспоминаниям? Что может быть прекрасней?— он повернулся к Халилу, и тот согласно закивал.

Всеми силами Кадыр пытался сохранить хладнокровие. Он боялся, что сорвется раньше, чем скажет нечто важное для себя да и для этого человека с первыми седыми волосками в висках. Он буквально выдавил из себя улыбку, от которой у Акбара прошел холодок по спине.

— Удаче было со мной не по пути,— сказал Кадыр и взялся за рюмку.— Подняли!

Они выпили.

— А ты чего сидишь? — кивнул Акбар на нетронутую рюмку Халила,— Ты меньше слушай — пей!

Халил отрицательно замотал головой.

— Ну, как знаешь,— хмуро сказал Акбар. Он уже понял, что это встреча с Кадыром не случайна, и внутренне готовился к продолжению разговора.

— Да, не повезло мне, бедняге,— продолжал Кадыр, нажимая на «беднягу». Он откусил шоколад, повертел в руке оставшийся кусочек и аккуратно положил его на серебристую фольгу.

По витринам кафе затарабанил дождь, быстро перешедший в ливень.

— Ты только не думай, что я пришел выяснить с тобой отношения. Честно говоря, я и сам себе сейчас противен. Я хотел лишь напомнить тебе о своем существовании, о том, что я есть и что ты немало значил в моей судьбе...

«Шел бы ты!» — с раздражением думал Акбар. Но что-то удерживало его сказать это вслух. Вероятно, желание и тут быть на высоте положения. Надо проявить великодушие и до конца выслушать этого зануду.

И он слушал, уставясь на дешевый вазон с цветами и кивая, как бы соглашаясь со всем, что говорил Кадыр. Раз-другой он посмотрел на Халила: «Что поделаешь, всякие бывают эти старые приятели».

— ... Ты теперь известный человек. К тебе и не подступиться. Заслуженный мастер спорта, молодой перспективный наставник. А что я? Учитель физкультуры, тренер заштатной заводской команды. Скажи, почему так, а не иначе?

Дерзкий недвусмысленный вопрос задел за живое отнюдь не того, кому он был задан.

Щеки Халила запылали.

— Почему вы молчите? — воскликнул он и, вскочив, двинулся на Кадыра.— Разрешите, я выпровожу его восвояси!

Но вместо тренерской команды последовал хлесткий удар в солнечное сплетение разгорячившегося парня. Когда туман перед глазами Халила рассеялся, он увидел насмешливое лицо Кадыра.

— Если бы я хоть чуть-чуть походил на вашего уважаемого тренера, то вам вряд ли бы удалось поучаствовать в завтрашней тренировке. А может быть, и вовсе отпала бы необходимость тренироваться?

Я прошу больше не вступать в разговор старших. Послушайте, что я скажу, как знать: вдруг пригодится?

В отличие от служителей кафе, не заметивших этого мини-инцидента, за соседним столиком чутко уловили приближение скандала и поспешили разлить шампанское по бокалам.

— Может, пойдешь? предложил Акбар, с сожалением посмотрев на своего воспитанника.— А мы тут посидим еще немного...

— Нет, уйдем вместе,— упрямо покачал головой Халил, держась за живот.

— Итак, я не похож на вашего тренера,— повторил Кадыр специально для Халила.— Я все же не забываю, что передо мной живой человек, чья судьба кому-то особенно дорога. Тут он вновь переключился на Акбара.— Скажи, положи руку на сердце, неужели я не заслуживал лучшей участи? Ведь даже в сборной я играл «за основу», а ты сидел в запасе и ждал своего часа. Так почему же я, именно я, покатился по наклонной?! Я много думал об этом. А еще пил безбожно и ненавидел весь белый свет. Это, конечно, плохо... Но ты-то знаешь, как оборвалась моя футбольная карьера.— Акбар угрюмо глядел на графинчик. Все эти откровения навевали на него ужасающую скуку.

— Ты виноват! Твоя подлая душонка!— запальчиво произнес Кадыр.

Но вновь задел был ученик, а не учитель. Халил с надеждой смотрел на тренера, ожидая, что теперь-то нахал будет одернут. Ничего подобного, однако, не произошло. Акбар лишь иронически сложил губы и достал из пачки новую сигарету. Можно было и впрямь поверить в его олимпийское спокойствие, не распотроши он в считанные секунды спичечный коробок.

Халила поражало поведение тренера. Его молчание фактически подтверждало справедливость горьких упреков и обвинений. Кадыр тоже, но-видимому, ждал иной реакции. В задумчивости он взял со стола кусочек шоколадки и, не надкусив даже, положил обратно.

— Я знавал таких парней, для которых попасть в сборную было пределом всех желаний,— прервал Кадыр затянувшуюся паузу.— Ты знаешь, о ком я говорю. А закрепиться в составе сборной смыслом всего дальнейшего существования. Мне же представлялось, что это лишь плацдарм для покорения вершин. Я мечтал о больших победах и хотел доказать, что у нас есть свои Пеле и Гарринчи.

Ты смеешься... Ты и тогда смеялся над моими планами. Да. футбол был для меня всем. Я не мыслил себе жизни без футбола. Но как видишь: живу. А заводская команда — это так, не в счет. Красивые мечты пошли прахом. И только забота о доме, о близких служит мне утешением. Ради их-то и вкальваю. Я потратил двенадцать лет, целых двенадцать лет, пока окончательно свыкся с таким существованием. Я теперь человек, которого сам же презираю... И все но твоей милости!

Терпение тренера лопнуло.

— Послушай, Кадыр. К чему берeditь старые раны? Все равно ничего уже не поправишь. горячо проговорил Акбар,— Да, я виноват перед тобой, но, может, хватит об этом! — Он повернулся к затаившему дыхание Халилу: — Шел бы ты домой, а?

— Чего ты его гонишь? Пусть сидит,— с усмешкой сказал Кадыр.— Я не стыжусь своих слез.

— Кадыр, дружище, я и вправду — подлец. Но помоги же мне исправить свою ошибку. Давай протянем друг другу руки... А хочешь, я завтра же оформлю тебя своим помощником, дам тебе дубль.

— К тебе помощником? Ты в своем уме?! Какая сейчас от меня польза!..

— Зря ты, дорогой, прибедряешься. О тебе до сих пор гуляют легенды. Верно, Халил? — суетливо спросил у своего ученика Акбар.

— Да, я много о вас слышал,— неохотно признался тот.

— Вот видишь!

— Э-э, то совсем другое дело,— вяло заметил Кадыр. Он вынул из пачки сигарету и прежде чем зажечь, долго мял ее над пепельницей. Я бы давно махнул на все это рукой, Но проклятый матч стоит перед глазами, будто он игрался только вчера,— сказал Кадыр, болезненно морщась. Я отчетливо помню, как обвел тебя на правом фланге и выскочил к вашей штрафной. Стадион загудел. Наперерез мне бросился Валентин, и ты все еще пытался достать меня сзади. Я мог обыграть Валентина или же сыграть в «стеночку» с Файзуллой — в обоих случаях я выходил с вратарем один на один. Шум на трибунах нарастал: тысячи людей ждали того счастливого мгновения, когда мяч после моего удара затрепещет в сетке. И я, вдохновленный этой поддержкой, смело пошел на обводку. Ложным замахом я увел Валентина вправо. Путь к воротам был открыт. Но тут... я подпрыгнул от страшенной боли и рухнул на землю. В глазах потемнело. Мне казалось, что я стремительно падаю в бездонную пропасть... И действительно, я летел в пропасть, на дне которой остался навсегда.

Дождь чуть поутих. Струйки воды расплзались по стеклам витрины. радужно переливаясь в неоновом свете.

К столику подошел швейцар.

— Давайте, братцы, закругляйтесь, — сказал он, сложив на животе пухлые руки.— Нам пора закрывать свою лавочку.

Никого не испугала напускная строгость добродушного толстого швейцара. Не мудрено, что слова его пропустили мимо ушей.

— Ну кто мог подумать, что так все обернется,— пожал плечами Акбар.

— Да, знай ты обо всем заранее, возможно, не решился бы на такое. Но в тот момент самолюбие твое было задето. Ты проиграл единоборство игроку более искусному, и уже ничто не в силах было остановить тебя. Помнится, ты неплохо обращался с мячом, но в сборную тебя приглашали без особой охоты...

— Но я же тогда был наказан.— устало проговорил Акбар.

— Да, тебя дисквалифицировали до конца сезона, и газеты всю трубили: дискуссию даже затеяли о моральном облике советского спортсмена. Но что мне было толку от этих разговоров? Нога заживала медленно: лишь полгода спустя я смог надеть на ногу бутсу, а через год выйти на поле.— Кадыр с трудом унимал дрожь в голосе. Нетвердой рукой он наполнил две рюмки и поставил одну перед Акбаром.

Газеты поздравляли меня с возвращением. Но...— Он разом опрокинул рюмку и, зажевав шоколадкой, продолжил: —... в третьей игре, выходя на прострел с фланга, я неловко прыгнул и вновь упал, как подкошенный. Как и годом раньше, меня унесли с поля на руках. Поврежденный мениск напомнил о себе таким вот образом. Врачи предупреждали, что у меня ничего не выйдет, пора, мол, подыскать другое занятие. Но я не верил им, точнее, не желал верить. Я жаждал играть и поэтому, пройдя еще один длительный курс лечения, вернулся на поле. К несчастью, врачи оказались правы: в первой игре все повторилось.

Акбар нетерпеливо откинулся на спинку стула. Больше всего раздражало присутствие при разговоре Халила. Как отнесется он ко всей этой истории?

Халил тем временем думал о беспощадности судьбы, превратившей прекрасного мастера в занудливого выпивоху. «Зачем ему эти бесполезные разговоры о том, что давно уже прошло?» — спрашивал себя Халил и не находил ответа.

У самого Кадыра чесались руки. Хотелось смазать по самодовольной физиономии сидящего напротив. Чтобы как-то заглушить это неодолимое желание, он заговорил быстро, безостановочно, словно в бреду:

— Я в ту пору не думал о тебе. Может, потому что по-прежнему не отрекался от своей мечты и отчаянно продолжал за нее бороться. Ведь мне было всего двадцать два. Я вспоминал Мересьева, достигшего своей цели без обеих ног. Я верил в исцеление и тренировался до седь-

мого пота. А все остальное, в том числе и твою подлость, считал делом обыденным; в спорте ведь всякое случается. Но чем дальше, тем яснее я понимал, что время большого футбола для меня, увы, прошло. И я сломался. Я вспомнил сочувствующие взгляды нашего тогдашнего тренера Самойлыча, и ребят, уговоривших меня поступить в физкультурный. Три долгих года они держали меня в команде. Я жил с ними душа в душу, и ни один не сказал, что для футбола я мертв. Кто знает, а вдруг они, как и я, верили в чудо, в то, что я смогу вернуться?

Я потерял интерес к жизни. Волком хотелось выть порой от горя. И тогда я начал искать виновника. Не думай, я не сразу остановился на тебе. Но однажды я увидел тебя по телевизору. Ты стоял в центре поля, держа руки на бедрах, и выговаривал кому-то из партнеров за неточный пас. С того самого дня меня буквально преследовал этот кадр, где ты выглядел таким, словно весь мир тебе чем-то обязан...

Сколько страданий выпало на долю моей матери, прежде чем я зажил по-людски. Потом я женился, у меня родился сын. Мне удалось взять себя в руки... Но иногда заболит, заночует душа и такими тисками сдавит сердце, что хочется плакать, как в тот день, когда я окончательно распрощался со своей мечтой. Безысходная тоска о прошлом бросает меня в омут воспоминаний. И не оно, а настоящее кажется мне чем-то эфемерным и несуществующим. Из всех сил борюсь я с этим сложным чувством: и утром, когда, позавтракав, бреду пешком на работу, и на самой работе, и когда возвращаюсь с сыном из детского сада. «Все, что сейчас,— суета сует,— подсказывает мне это чувство.— Ты должен помнить лишь о потерянном». И я молю у него пощады. Ради матери, ради семьи. С другой стороны, я боюсь, как бы оно не исчезло. Мне кажется, что, лишаясь воспоминаний о прошлом, я потеряю самого себя: забуду о том, кем был и откуда пришел и, наконец, куда держу путь-дорогу.

Кадыр умолк. На какое-то время он даже забылся, где находится и кому раскрывает раненую душу. Акбар заерзал на стуле, и Кадыр словно бы очнулся.

Я встретился с тобой только затем, чтобы напомнить о себе. О том, что есть на белом свете Кадыр Кариев, про существование которого ты давно позабыл. Ты только не думай, что я упрекаю тебя в том, что ты ни разу не поинтересовался моими делами. Сама мысль об этом для меня унизительна. Просто я хочу напомнить тебе, что человек, судьбу которого ты поломал одним-единственным ударом со спины, еще жив

и в любую минуту может предъявить тебе свой счет. Не зря же говорят: бык, чующий свою гибель, топора не боится...

На Акбара будто ушат холодной воды вылили. Лицо его сделалось серым.

— Так вот где собака зарыта,— пробормотал он.

Нет, нет, ты меня не понял.— поспешно возразил ему Кадыр.— Я вовсе не хочу затевать драку. Велико, конечно, искушение, но я подавляю его в себе каждую минуту.

— Учти, Кадыр, я ничего не боюсь! Но я не намерен торчать здесь до тех пор, пока нас не выпроводят отсюда с милицией.

Кадыр посмотрел на часы.

— Не спеши, еще есть немного времени. И мне осталось сказать тебе каких-то два-три слова. Да и милиция, думаю, не очень-то будет тебя выпроваживать. Знаешь, а ведь я вовсе не горел желанием говорить с тобой.

— Неужели? Хотя вокруг много советчиков,— с иронией сказал Акбар.

— Угадал.

Так кто ж тебя надоумил?

— Ты!

Вот тебе на! — расхохотался Акбар.— В своем ли ты уме, дружище?

— Да, ты! — повторил Кадыр, покрываясь краской.

— Когда? Во сне, что ли? — Акбар поманил пальцем Халила.— Вставай и пошли. Поговорим, когда он проспится.

А может быть, дослушаем? Он же обещал по-быстрому,— сказал Халил и тут же, чтобы скрыть свое любопытство, добавил: — К чему еще потом тратить на это время!

— Спасибо,— поблагодарил юношу Кадыр, — Но я бы так и так не позволил ему уйти, не дослушав. И он это прекрасно знает, да только прикидывается. Сиди, Акбар, спокойно.

Еще раз повторяю: ты сам вызвал меня на разговор. Видишь ли, ты не просто растоптал мою заветную мечту, ты посеял в моей душе семена своего подлого «я». Со временем они взошли и дали всходы.

Они до неузнаваемости изменили меня. Я перенял твой облик. Да, да... я понял это, когда увидел тебя на телеэкране. И заруби себе на носу, что перед тобой сейчас не Кадыр, а твой собственный слепок, только под чужой внешней оболочкой. Ведь и дерево: распили его пилой,— сохранит след пилы, сруби топором — топора... Во мне же

отпечатался ты. Ни днем, ни ночью мне не было покоя от твоих жизненных установок. «Человек, сломавший твою судьбу, ходит цел и невредим, а тебе хоть бы что?» — вопрошал ты во мне. Поначалу я не обращал внимания, но давление на меня усилилось, и я вынужден был уже считаться с тобой. И как иначе, если ты зудел, не переставая... В конце концов я пошел у тебя на поводу. А ты между тем оплевывал все подряд. Все мои представления о жизни ты брал и переворачивал верх ногами. Ты отождествлял доброту со скрытой корыстью, любовь с наслаждением и даже материнские чувства с расчетом на опору в старости. Я возненавидел всех — мать, жену, сына... И не знал, как вытравить из себя эту бациллу. Какими клещами вырвать твой образ. Пусть даже с плотью, но лишь бы вырвать. А ты по-прежнему напирал со своими доводами. «Пойми,— говорил ты.— Я для твоего же блага стараюсь. Уж так человек создан, что не может не завидовать тому, кто лучше, богаче, благороднее. Он немедленно ставит такому ножку»; «Ложь!»—кричал я. Порой этот крик прорывался наружу и окружающие удивленно оглядывались. «Так жить нет больше мочи!» — рвал я на себе волосы. А ты лишь улыбался и ехидно спрашивал: «А как есть? Не морочь голову, живи, как тебя учат!» — и сыпал примерами. Я не соглашался, и тогда по мне наносился решающий удар: «А сам ты разве не жертва эгоизма? Хотел победить в честной борьбе? Дудки! Вот и остался на обочине. А коль скоро ты не сумел извлечь отсюда урока, для тебя и обочина — роскошь. Посмотри на Акбара: как сыр в масле катается. Убрав с дороги тебя, он расчистил для себя жизненное пространство. Ведь в сборной он занял именно твое место. И кому теперь интересно, что был он всего-навсего запасным. И нет разницы в том, как была достигнута цель: добром или злом. Важен сам результат. И вообще все эти нравственные категории — пустой звук, приманка для простофиля. Под таким прикрытием ничего не стоит водить их за нос, а то и лишать жизненного пространства». — «Ну, хорошо, ты прав. Но только оставь меня в покое!» — взмолился я. «А ты, оказывается, неисправимый дурак. Сколько ни говори: тебе что в лоб, что по лбу. Я жду от тебя дела! Хватит досужих разговоров!» — «Ну что ж, приказывай. Только потом оставь меня, иначе мне не жить», — поставил я условие. «Вот это — другой разговор. Пришел твой черед оставить след в судьбе Акбара. Ты должен сделать его калеккой, чтобы искусственный глаз или же зубной протез стали для него вечным напоминанием. Чтобы, подходя к зеркалу, он вспоминал о своей

подлости. Чтобы каждая улыбка обращалась для него пыткой». — «Я согласен. Но объясни мне такую вещь: почему ты идешь против самого себя?» — «Почему же против себя? Если бы тебя вывел из игры не Акбар, а кто-то другой, я принял бы иной облик. Ты, наверно, знаешь, что бая убивает богатство, обжору — еда, кровопийцу — кровь. Таков закон природы. А ты хочешь избавиться от меня...

Учти, ничего из этого не выйдет. На худой конец ты должен... ну, хотя бы кричать на всех перекрестках о подлости Акбара. Но это вряд ли придется тебе по душе. Так что соглашайся на первый вариант...»

— Ну, ты закончил? — раздраженно спросил Акбар.

— Закончил.

— Черт, весь хмель из меня вышиб! Халил, сходи, закажи сто пятьдесят. Скажи, я просил.

Халил пошел к буфету.

— Послушай,— сказал Акбар,— а ты не боишься последствий?

— Нет,— ответил Кадыр, не задумываясь,— Хуже, чем есть, уже не станет. И потом, что я теряю, если все узнают, что ты получил сполна. Не забывай, Акбар, что это не моя собственная прихоть, а желание твоего «я» во мне.

Не успел Кадыр договорить, как Акбар толкнул на него стол и влепил пощечину.

— Пошел вон, пьянчужка! — истерически прокричал он.

Кадыр медленно поднялся.

— Пьяница! Тунейдец! Что ты хочешь от моей жизни?!

Послышался женский крик:

— Прекратите сейчас же! Соня, зови участкового!

Акбара всего трясло, он потерял над собой всякий контроль.

— Ты, ничтожество, должен приветствовать меня во-он оттуда, а я еще подумаю, отвечать тебе или нет.

— Так даже,— усмехнулся Кадыр.— Видит бог, Акбар, ты сам начал.

Размашистым ударом он сбил с ног Акбара, а другим уложил на пол подоспевшего Халила. Официантки всполошились и заголосили. Но вмешаться в драку не посмели. Взбешенный Акбар летел на Кадыра. Тот, однако, ловко увернулся и поставил ножку. Акбар с размаху врезался в стол, за которым только что сидел, и перевернулся вместе с ним.

Он быстро вскочил на ноги и, схватил с соседнего стола бутылку от шампанского, пошел на Кадыра.

— Убью гада! — скрипел он зубами.— Будешь за километр меня обходить!

Словно гранату метнул он бутылку. Кадыр вовремя пригнулся, и та, пролетев мимо, разбила витрину. Он поймал Акбара на встречном движении и головой ударил в живот. Падая, тот увлек за собой еще один стол. Тяжело застонав, он медленно поднялся. Кадыр подошел к нему и взял за ворот.

— Ты сам начал драку,— сказал он, встряхивая Акбара.— А я ее теперь закончу.— На лице его не было в этот момент и тени благородства. Дикая злоба наложила на него свою неприглядную печать.

Я выбью все твои зубы, тыставишь тогда золотые и, улыбаясь, станешь вспоминать меня, а вместе со мной и свою подлость. Каждый час, каждую минуту!

При этом Кадыр методично наносил удар за ударом. Неизвестно, чем кончилось бы это линчевание, не подоспей милиция. Молоденький крепенький лейтенантик вырвал из рук Кадыра его жертву, а самого силой усадил на стул.

— В чем дело? — громко спросил он.

Вместо Кадыра затараторили официантки.

— Так хорошо сидели,— заметила одна.

Нет, этот сначала сидел за другим столом,— вмешалась другая.

— Тихо! Не все сразу! — прикрикнул на них лейтенант.

Он потребовал у Кадыра документы и долго вертел в руках его заводской пропуск.

— Вы с ним знакомы? — показал представитель власти на Акбара, вокруг которого хлопотал Халил с официантками. Кадыр утвердительно кивнул.

— Неужели?! — воскликнул лейтенант, услышав имя популярного тренера.

— Да,— отрезал Кадыр.

— А вы тот самый Кариев?

— Тот самый...

— Что ж вы наделали! Какая муха вас укусила?

— Я не виноват,— хмуро посмотрел на лейтенанта Кадыр.— Он сам начал.

— Посидите,— сказал тот и занялся официантками.

Акбар постепенно приходил в себя. Осторожно трогая разбитое лицо, он подошел к лейтенанту в момент, когда тот протянул акт Кады-

ру на подпись.

— Ты ведь знаешь, кто я? — обратился он к лейтенанту.— Верно, приятель?

— Как не знать? Еще мальчишкой мечтал играть так, как вы.

— Тогда вот что, голубчик. Забудь об этом акте и считай меня своим другом.

— Так ведь... Акбар-ака, я очень вас уважаю, но мой долг, закон...

— Э-э, оставь эти разговоры. Я уже сыт ими по горло. Вон и этот извел своей болтовней. Слушай, ну, допустим, составишь ты акт, а завтра я приду к твоему начальству и объясню, что так, мол, и так, повздорили слегка. В первый раз со мной такое и в последний. Как, думаешь, откажут?

— Ну... не знаю. Но, мне кажется, это в ваших интересах.

— Чепуха! — сказал Акбар, потирая подбородок.— Сидели два товарища, выпили, повздорили — только и всего. Завтра опять помиримся, будто ничего не случилось. Верно? — кивнул он Кадыру.

Кадыр молча покачал головой. Он не ждал такого поворота событий.

Ну так как? Давайте мне акт и с этой минуты футболист Акбар ваш друг.

— А свидетели? — неуверенно привел лейтенант последний довод и посмотрел в сторону официанток.

— С ними мы договоримся,— сказал Акбар.— Софья-апа, можно вас?

Подошла, мягко ступая, рыжеволосая женщина лет пятидесяти.

— Софья-апа, наш приятель решил не сажать нас в тюрьму, а мы пообещали ему больше не драться.— Акбар нашел в себе силы придать разговору шутливый оттенок.— Вы не против?

— Нет, конечно, кто же хочет, чтобы вас сажали? — вымученно улыбнулась завзлом. Ее проворные пальчики быстро перебирали пуговицы на кофте.— Все хорошо, что хорошо кончается. Но разбито столько посуды и еще витрина...

Акбар полез во внутренний карман.

— Вот,— сказал он, протягивая деньги.— Здесь сто пятьдесят. Хватит?

— Акбар Вафоевич, вы не обижайтесь, но...

— Все, Софья-апа, все правильно. У вас нет больше претензий?

— Нет, нет! Мы уважаем наших постоянных клиентов,— ответила

она, пересчитывая деньги.

— Ну, ладно, мы пошли,— сказал Акбар и вопросительно посмотрел на лейтенанта.

— Эх, была не была! — заулыбался вдруг молоденький милиционер.— Схлопочу в крайнем случае выговор. Буду считать себя жертвой футбола.

Акбар дружески пожал ему руку и, опираясь на плечо Халила, медленно вышел из зала. В вестибюле он остановился у зеркала и потрогал вспухшую губу. Потом так же медленно нахлобучил шляпу и прошел в распахнутую швейцаром дверь.

Кадыр удивленно посмотрел ему вслед. Неловкими отяжелевшими руками он стал застегивать плащ. Виногато кивнув лейтенанту и швейцару, Кадыр вышел на улицу. Вслед послышался голос швейцара:

— Голову даю на отсечение, они не знают, из-за чего подрались. Напьются и начинают петушиться! — Он говорил с запальчивостью, искренне веруя в свою правоту.

Кадыр перешел через дорогу и оглянулся. Последняя буква в названии кафе не горела, и он прочитал: «Поле...»

Тахир Малик

УЛАК

Давно приготовлен ужин, а мужа все нет и нет. Жаждалась уж Айдын-буви, присела на приступочку, укутала плечи шерстяным платком. Весна не за горами — солнышко с каждым днем все щедрее и щедрее. Но на закате лучи его не греют, а только чуть-чуть ласкают. Да и ветерок, что с поля прилетает, все еще попахивает снегом...

Глухо шаркнула нижним краем по земле шаткая дверь. Старуха встрепенулась; глянув в сторону сарая, спросила:

— Это вы?

Косой Махсум не ответил. Прошел мимо, а она и не заметила. Вздремнула, что ли?..

В сарае фыркнула лошадь, переступая с ноги на ногу; послышались шлепки, которыми хозяин обласкивал любимицу, и голос самого: «Ну, ну, милая! Соскучилась, а?.. Соску-у-училась!..»

Опершись о колени руками, старуха тихонько поднялась, зашла под низенький навес, с краю пристроенный к дому и служивший летней кухней. Выдернула из кучи гузапаи два-три стебля, с треском переломила и бросила в очаг. Из-под золы еще рубиновыми зрачками глядел жар; над гузапаей сначала взвился белесый дымок, а потом и веселые языки пламени выпрыгнули снизу, принялись лизать черное выпуклое днище казана.

Снова шаркнула дверь. Старик хрипло кашлянул.

Пробуя из ложки варево, Айдын-буви почмокала губами и обернулась:

— Ходите невесть где, а шурпа из-за вас загустела.

— В чайхану заглянул. А там сидят Шоназир, Мамаюсуф, Абдулатиф. Ну, и заболтались...

Хоть бы по делу, а то соберетесь вместе трое-четверо стариков и давай чесать попусту языками, не хуже баб.

— Э-э, в чем, в чем, а уж в этом первенство всегда за вами,— засмеялся старик и пригладил усы, бороду.— Каждый по слову только и сказал. А одним словом языка не почешешь... Кстати, Хамидбек, племянник Гияса-гордеца, не приходил?

— Прежнего раиса племянник, что ли? Заглядывал, на той приглашал. Дядька дочь выдает...

— Не какой-нибудь тебе той, а улак организует! Завтра.

— Ну и ладно, мне-то что...

— Приготовь мой стеганный чапан и ватные брюки.

— Что-о?..— обернулась жена.— Вы же еще летом обещали, что в последний раз!..И ушанку...

Старуха так и застыла, словно изваяние, держа в одной руке ложку, а в другой деревянную крышку казана.

«Говорил, говорил...»—недовольно пробурчал Косой Махсум и поспешил в дом, пока жена не опомнилась.

«Ну, в своем ли он уме? Забыл, как летом с переломанной ногой маялся? А долго ли снова с лошади свалиться? Сам-то ладно, если нравится — пусть себе падает, пусть потом мается да кого-то там клянет, а мне-то за что муки мученические? Летом больше его исстрадалась. Мало ему этого?.. Нога ведь еще и теперь побаливает, но он виду не подает, терпит. А как забудется, так и прихрамывает... Улак ему нужен! Иль не замечает, что постарел? Ну, хоть бы теперь остепенился!.. Что было в молодости, то понять можно. Было и ушло. В молодости я сама любила носиться верхом быстрее ветра. А джигита и по давню красят лихость да удаль! Тем он, хитрец этакий, и прельстил меня, что был лучшим наездником. Вскочит, бывало, на вороного, подбоченится да как глянет... Глаза не глаза — угольки, так и светятся. Красавец! Не одна девушка вздыхала украдкой, на него гляючи... А теперь? Кличка «Косой» намертво прилипла. И хром вдобавок. И все из-за улака проклятого... Ладно еще, если бы с войны таким вернулся, а то ведь провоевал четыре года — и ни единой царапины. Как говорится, ни волоска не обронил с головы. А тут на тебе: в мирное время, на улаке, который задали в честь Пахта-байрама — праздника урожая, кончик чьей-то камчи угодил в глаза... Думала, хоть после этого оставит, может, свой чертов улак, будь он неладен, этот турнир мужчин! Какое там! После этого еще двадцать лет не пропускал ни одного улака в округе. Что поделать с ним, как вразумить?.. Что сказать, чтоб остепенился старей?..»

Айдын-буви наполнила две касы шурпой и понесла в дом. Муж сидел за хантахтой, застеленной дастарханом. Она поставила перед ним еду и села напротив. Он взял лепешку, разломил пополам, покрошил в горячую шурпу.

Косой Махсум ел молча, разговора об улаке больше не затевал. И старуха помалкивала. Этим своим молчанием она обычно и выражала

недовольство.

После ужина Косой Махсум снова отправился в сарай, стал обихаживать лошадь. Почистил ее скребком, пока шерсть не приобрела шелковистость, расчесал гриву, хвост, насыпал овса полную кормушку.

«Всерьез решил. Похоже, не отговорю...»—вздыхнула старуха.

Так, сидя за хантахтой, с которой решила не убирать пока хлеб-соль, и намеревалась дожждаться, когда муж вернется да сядет, чтоб поговорить с ним всерьез. Молчание ее, похоже, ему только на руку. И что он столько времени возится в сарае?..

Айдын-буви поднялась и включила телевизор. Девушка с несуразной прической что-то говорила об успехах животноводов и работников мясо-молочной промышленности. «Доить-то хоть сама умеешь?» — в сердцах подумала старуха и, щелкнув пластмассовой ручкой, выключила телевизор.

В этот момент и вошел старик.

— Зачем выключила? — недовольно спросил он.

— А ну их, все говорят, говорят...— пробурчала старуха, завешивая экран накидкой.

— А тебе только музыку и песни подавай?

— Включите, если в чайхане вам было мало болтовни.

Старуха села на курпачу, прислонясь к стене, завешанной сюзане, натянула широкий подол на ноги. С виду такая суровая — скажешь, решила в дом родителей вернуться, рассорившись с мужем.

«Портится с возрастом, подумал Косой Махсум, подсев к хантахте и сам наливая себе чай. В молодости совсем не такой была. Веселой была, хоть и своенравной. Иной раз и спорила, но без капельки злости, а лишь с этакой насмешливой улыбочкой... А нынче, гляди, как губы поджала. И брови над переносицей прямо в гармошку. Ах, если бы женщины не старели!.. Бывало, едва только узнает о предстоящем улаке, сама доставала мои вещи, готовила все необходимое к состязанию. Не ждала, пока напомним. И смотреть ходила, ни одного конноспортивного праздника не пропускала. И болела, как только женщины болеть умеют: внешне вроде бы спокойна, а взгляни ты ей в глаза — в них муки всего мира собраны. А я... Уж я-то тогда из кожи лез, старался, чтобы она перед другими молодухами позадаваться могла. Ведь и среди женщин та пользуется почетом, окружена вниманием товаров, чей муж лучший в округе наездник, самый ловкий, самый сильный. А я чаще других оказывался победителем. Чаще других меня несли на

руках к почетному месту, чтоб приз вручить. Как ей было не задаваться?.. Эх-а, минули-промелькнули золотые денечки. По правде сказать, я и сейчас в седле сижу не хуже, чем тогда. И лошадь хорошо чувствует силу руки. Но почему она, Айдын, так изменилась? Или думает, что я уже старый, и жалеет? Конечно, если судить по прожитым годам, то тут с ней не поспоришь, права. Однако в годах разве дело? Если по справедливости, то о человеке по силе и здоровью надо судить. А тут я, пожалуй, и сыновей своих помоложе окажусь. Это и сама старуха понимает...

Выпестовали с ней двоих сыновей. Сдувая пылинки, растили. А те, едва повзрослели, оба улепетнули в город. Сначала учились, потом работать начали, а там и семьями обзавелись... И что хорошего там нашли? Только и знают, что болеют. Ящик письменного стола выдвинешь — а там всегда полно лекарств. Наверное, половину зарплаты на всякие снадобья и тратят... Из-за них, из-за сыновей, и старуха на меня сердчает. Считает, я виноват: мол, отцовскую власть не проявил, согласился, чтобы они там остались. А ведь я не соглашался вовсе, отговаривал, и еще как. А она знай свое твердит: «Следовало строже повелеть: вернитесь в кишлак, и баста!» Одного никак не уразумеет — времена другие. По нынешним временам и с собственными детьми не поговоришь по всей строгости. Они и сами нынче мудрые, хоть без бород пока и в аксакалах не числятся... Да что нам их судить, пусть живут где нравятся, лишь бы ели честно заработанный хлеб...

А старуха не столько на меня сердчает, сколько досадует на свое одиночество, на отсутствие возможности в любую минуту детей своих лицезреть, внуков нежить, холить, баловать, разговаривать с ними. И то правда, весь день одна, не с кем и словом перемолвиться. Жаль ее. А что я могу поделаться?..

Вот и сейчас сердчает, разговаривать со мной не желает.

Нет, в молодости она была не такой. Не могу припомнить, чтобы в молодости она хоть раз была грустной или сердитой. Голосочек — как звоночек, а засмеется — ручеек журчит и льется. А глянь-ка на нее сейчас. И сидит-то как... В точности — рассерженная кошка, изготовившаяся цапнуть лапой. Недовольна, что хочу участвовать в улаке. А я же в последний раз. И все, баста! Но об этом никто пока не ведает. И не узнает до конца состязания. А то, чего доброго, станут мне милость оказывать — нарочно подсовывать козла. А мне снисхождения не надо, я и без него обойдусь, добуду победу в честной борьбе. Так-то.

Пока что нет чавандоза, который бы смог со мной тягаться в козлодрании. И еще лет пять, а то и все десять, не нашлось бы такого смельчака. Однако ладно, снять с себя доспехи вовремя тоже надо уметь — лучше это сделать, когда ты еще в почете и славе. Заполучу завтра приз, а там и объявлю: «Друзья! Впредь все победы — за кем-то из вас. Пусть отныне за призы борются молодые джигиты. А я, с вашего позволения, больше не участник улаков!..» Так я и скажу всем.

Однако было бы неплохо, если бы Хамидбек и завтра, как всегда, находился на улаке рядом со мной. Подсоблять мне не нужно, не нуждаюсь. И все же, видя рядом своего ученика, слыша его подзадоривающие выкрики, чувствуешь себя как-то увереннее. Способный парень Хамидбек, истинный джигит. Легкой победы не ищет. Не в дядьку. Это он, дядька его, Гияс-гордец, любит за чужой счет прокатиться. Старается то здесь урвать, то там — только и знает, что свое состояние умножает. И зачем некоторым людям лишнее, ума не приложу!.. А Хамидбек не таков, нет. Джигит. Среди молодых чавандозов — лучший... Заполучу завтра награду, подниму ее повыше над головой, чтоб все видели, и вручу этому парню. Затем громко объявлю: «Глядите! Все сюда глядите! Когда в будущем увидите на улаке этого парня, считайте — участвует Махсум!» Так и скажу. Пусть запомнят все моего ученика. Когда он будет удостаиваться на состязаниях похвал и призов — мне тоже честь...

Старуха сказала, что Хамидбек приходил — на свадьбу приглашал. Неужто про улак не обмолвился? Не то б старуха знала... Ведает ли, пострел, о завтрашнем состязании? Обычно перед каждым улаком заходил посоветоваться. Договаривались, как вести себя в схватке, как сообща действовать. Может, забежит утром, чуть свет? На всякий случай все-таки предупрежу его — пусть держится ко мне поближе.

А старуха, кажется, всерьез осерчала. Наохлилась, что тебе клуша. Чем бы ее задобрить? Скажи я: «Это в последний раз», — не поверит ведь. А мне, может, потому всегда и везло, что она благословляла, победы желала...»

Косой Махсум осушил до донышка пиалу, налил в нее чаю, протянул жене, прижимая к груди левую руку.

— Давеча раиса встретил... — негромко сказал он и подождал, что ответит жена, а главное — как ответит, каким тоном.

— О Расуле поговорили? Попросили найти нашему сыну подходящую работу? — вроде бы оживилась та.

— Нет...— потупился Косой Махсум, почувствовав, что сейчас, пожалуй, еще более раздосадует жену.— Момент был неподходящий... Он хочет во время празднования навруза улак организовать, по этому поводу со мной советовался...

— Небось вы сами и надоумили его...

— Зачем это мне... В следующем улаке я участвовать не собираюсь. Буду только распорядителем и судьей.

— Неужели?—ехидно усмехнулась жена.— Так я и поверила...

— Хочешь — верь, хочешь — нет, а это так. Судьей буду. Очень просил меня об этом раис. Заодно с наврузом хочет и праздник урожая отметить.

— Да ну? Пахта-байрам же всегда в конце осени отмечали.

— А весной ведь лучше. Трава зазеленеет, на деревьях почки набухнут. Сразу после праздника и начнем сев, с благословения аскакалов. Бросишь в землю семя с добрыми мыслями и чистым сердцем дружные всходы пойдут. А будет богатым урожаем, можно и еще один праздник задать. Если закрома полные, хоть каждый месяц празднуй. Наш новый раис деловым оказался, о колхозниках заботится, хочет, чтобы мы весело жили. Не чета Гиясу-гордецу.

Старуха наклонилась влево, глядя в открытую дверь через плечо мужа.

— Не Хамидбек ли?..

Косой Махсум обернулся.

В комнате было впору зажигать лампу, а на дворе, хотя сумерки и сгустились — посветлее. Косой Махсум сразу узнал своего ученика. Тот шел по улице — над глинобитным дувалом виднелись его голова да плечи и холка лошади, которую тот вел под уздцы.

Хамидбек привязал коня к дереву перед калиткой.

Прежде чем войти в дом, он несколько раз топнул о землю, стряхивая пыль с сапог, и переступил порог. Поздоровался за руку сначала с хозяином, потом с хозяйкой, сел, скрестив ноги, перед хантахтой и поочередно справился об их здоровье.

— Тебе известно, что на завтра объявили улак? — спросил Косой Махсум, подавая ему чай.

Хамидбек кивнул.

— На тое народу много?

Тот опять кивнул и отхлебнул чаю. Обычно так и сыпал словами, пошутить любил, а нынче помалкивает. Не в духе, что ли?

— А чавандозы прибыли?

— Ага... Кони у всех — загляденье... Гости из соседних районов и даже из Ленинабада приехали. Сидят на тое, пируют...

— Вот в этом наши беды и неудобства! Не то чаще могли бы проводить улаки!.. А тут и улак устраивай, и участников с их лошадьми содержи два-три дня. Не всякому это по карману.

— А вам чужих денег жалко? — вставила слово и Айдын-буви.— У кого деньги, тот пусть и устраивает! Его дядя столько лет раисом был — теперь может и блеснуть. А вы ступайте дерите козла — тщеславие его потешете...

— Кха-кха!..— кашлянул Косой Махсум, прикрыв рот рукой и строго взглянув на старуху.

А та глядит в сторону невинными глазами, как ни в чем не бывало, и словно бы намека не понимает.

«Ух ты!.. Ну и язычок становится с возрастом — прямо отточенный нож! Хотя бы думала, прежде чем слово молвить, знала, что и при ком говорить. А то бухает, что на ум придет...

А может, нарочно выдала такое, чтоб поддеть Хамидбека? Ладно бы, польза какая была. А что от Хамидбека зависит? Родного дядьку ему перевоспитывать? Гияса-гордеца уже не переделаешь. Кто во вкус вошел — все. Такой словно наркоманом становится, попробуй-ка отучи... Гияса-гордеца с раисов сместили, так он завмагом сделался. Шуку в болоте утопили, считай. Не помню случая, чтобы он что-нибудь продавал по верной цене. За пачку соли и то вместо восьми копеек пятнадцать берет. Еще и плачет, жалуется: этому дай, тому дай, себе не остается. А не дашь, стоящих товаров в магазин не заполучишь. Как послушаешь, то выходит — он лишь о покупателях и радеет, сам не имеет выгоды ни на копейку. Люди его жалеют — сдачи не требуют...

Но Хамидбек при чем тут, чтобы шпильки всякие сносить? Зачем ни за что ни про что обижать парня?..»

Хамидбек молча прихлебывал чай, держа пиалу двумя ладонями и уставясь в невидимую точку. Глаза грустные, задумчивые.

Косой Махсум размышлял о том, как бы повернуть разговор на другое, чтобы отвлечь парня, хоть как-то загладить бестактность своей старухи.

— Это самое, сынок... Как его?.. В Чили беспорядки утихли, не знаешь? — спросил он и сам себе удивился: что завертелось на кончике языка, то и брякнул,— не хуже своей старухи; но виду не подал, что

сплоховал, а только еще раз мысленно обругал жену, встрявшую с замечаниями.

— Не знаю,— Хамидбек пожал плечами и посмотрел на наставника, вопрос которого и его вверг, видать, в недоумение.— Вечером в программе «Новости», наверное, скажут.

— Жаль их президента. Говорят, хороший был человек. Не могли защитить его, позорники...

— Неожиданно напали...

— А рядом четырех-пяти стоящих джигитов не оказалось, что ли?

— Что для фашистов четверо-пятеро?

— Фашисты?.. Оббо, проклятые! Откуда они там взялись? Это, наверное, те, что в Германии уцелели и туда сбежали?

— Свои, чилийские. Новые, так называемые...

— Эх-ха, могут ли фашисты старые или новые быть! И те, и другие одним миром мазаны. Разом с ними покончить, и все!

— Политика...

— Какая политика? Может ли быть такая политика, которая фашиста защищает? Раз фашист — значит, враг человечества. И незачем цацкаться!

— У них есть свои покровители...

Да разве ваш наставник про то думает? — снова вступила в разговор старуха.— И политика, и религия его — это улак. Все остальное — копейка.

— Ну разболталась же ты сегодня! — вспылил старик.

И тут нашла что вставить! Так и хочет настроение обоим испортить, так и старается. Ну и вредная. Косой Махсум понимал: свяжи он снова прерванную нить разговора, опять не вытерпит его старуха, вмешается, ввернет что-нибудь эдакое, чтобы пронять, снова улаком попрекнуть...

Воцарилось неловкое молчание.

Хамидбек поставил пиалу на хантахту. Поняв, как видно, что пришел не в самую подходящую минуту, попросил разрешения подняться из-за дастархана. Косой Махсум кивнул. Но и сам поднялся. Пошел проводить парня, рассчитывая по пути обсудить то, о чем не хотел говорить при жене.

Они медленно шли по улице, бывалый чавандоз Косой Махсум и его ученик. Лошадь Хамидбека ступала за хозяином, тыкаясь мордой ему в спину, побрякивая сбруей. Уже и до околицы осталось недалече, а

старый чавандоз все никак не мог сказать: «Я завтра в последний раз участвую в улаке. Ты держись ко мне поближе: в случае чего поможешь...». Язык не поворачивался это сказать. И когда обменялись рукопожатиями, лишь хмуро бросил:

— Не опаздывай.

И неспешно пошел обратно, заложив руки за спину, погруженный в раздумья. Про Хамидбека думал. Сегодня он был каким-то не таким, как раньше. Лицо замкнутое, в глазах тревога... Волнуется перед улаком? Или что-нибудь сказать хотел, посоветоваться?.. Старуха помешала, будь она неладна...

Поговаривают, парень в последнее время зачастил на молочную ферму. Ту, что за железной дорогой. Там дочка Мохир-артистки работает. Сказывают, чертовски красива. На мать, видать, похожа. Насибой или Нафисой зовут... Отец ее, Ахмад-дэв, познакомился с Мохирой-артисткой, когда в этих местах еще первый канал строили. Ахмад передовым землекопом был, один за четверых работал, потому и прозвали его дэвом. Слава о нем гремела по всей округе... В то время часто приезжали из города артисты, выступали перед строителями: одни песни пели, другие плясали. А Мохирахон и пела, и плясала. Тогда Ахмад-дэв и положил на нее глаз. На следующий же день помчался в город, нашел театр, отыскал ее. И долго после этого что тебе маятник болтался между кишлаком и городом. Встречался там с ней, уговаривал. В конце концов уговорил — поженились. Вот каков это Ахмад. Дэв и есть.

А нынче, выходит, дочка Мохир-артистки и Ахмада-дэва Хамидбека покоя лишила...

... Прав был Косой Махсум, предположив, что ученик собирался с ним кое о чем посоветоваться. Нрав был.

Хамидбек наставнику сказал, что с тон идет. Неправду сказал. Он возвращался с фермы. Очень нравится Хамидбеку девушка Нафиса, которая там работает. Ох как нравится! День и ночь он о ней думает. Так и стоит она перед глазами... А вот нравится ли он ей? Как узнать? Сердце прямо кипятком обливается, когда подумает, что, может, он ей вовсе не нравится.

Много дней набирался смелости, а сегодня поехал на ферму, чтобы начистоту поговорить. В ворота заходить не стал, лишь заглянул, подозвал ее подружку. Послал за ней. Но едва Нафиса вышла, неведомо куда вся смелость подевалась. Опять и двух слов связать не мог. Шли

рядышком и, как всегда, молчали. Наконец он все же собрался с духом и спросил:

— Вы завтра свободны?

— А что? — улыбнулась девушка.

— На улак придете?

- Может, и приду. А вы что... тоже участвовать собираетесь?

— Ага.

— В первый раз?

— Почему в первый... Я много раз выступал.

— И призы, конечно, выигрывали?...

В голосе девушки Хамидбек уловил чуть заметную иронию.

— Нет, призов не выигрывал,— еле слышно пробубнил он и залился краской до корней волос.

— Жа-аль,— певуче произнесла девушка и засмеялась.— Если бы сейчас придерживались старых обычаев, то вы бы остались холостяком.

«Почему это?» — чуть не вырвалось у Хамидбека. Но уточнять не стал. Больно задела его слова девушки. Так больно, что померкли все краски вокруг, словно на солнце нашла туча,— и небо, и поле, и деревья стали тускло-серыми, а на глаза чуть не навернулись слезы.

А девушка, ничего не заметив, весело продолжала:

— Говорят, Махсум-амаки жену на улаке выиграл. Это правда?

— Я не знаю.

— Айдын-буви в ту пору, сказывают, была очень красива. Что ни день — все новые и новые сваты, все пороги обили. Она и поставила женихам условие: «Кто на улаке выиграт, за того и выйду! По-счастливилось Махсуму-амаки.

— Враки все это. Кто-то придумал.

— А может, она была заранее уверена, что он выиграт?

— Говорю, придумал кто-то.

— Ничего не придумал! — возразила девушка с обидой в голосе.— Расспросите их сами!.. Айдын-буви поступила мудро: и никого не обидела, и лучшего джигита выбрала. Махсума-амаки еще и сейчас все уважают...

— Он мой наставник. Меня он учил приемам на улаке... Завтра он тоже будет участвовать.

— Да-а? Тогда я с удовольствием пойду поглядеть! Это верно, что на улаке и до сих пор нет равных ему?

Хамидбек Не ответил.

В прошлые дни, расставаясь с девушкой, Хамидбек всякий раз уносил в сердце тепло: казалось, лежат там угли, как в тандыре, и тихонечко греют. А в этот раз словно льда насыпали полную грудь. «И чего ради про молодость Айдын-буви вспомнила? — ломал он голову и заново припоминал все, что она сказала, словечко в словечко; даже в седло садиться не стал, а шел пешком, чтобы дорогу сделать длиннее.— Может, намекнула, что тоже условие ставит мне? Напрямик отказать не решается, обидеть не хочет? Неспроста же дозналась сначала, что я ни разу не выиграл... Ну и хитрющая... А я вот возьму и назло ей выиграю! Что тогда скажет?.. Сейчас зайду по пути к Махсуму-амаки, скажу ему: так, мол, и так, я вас не единожды выручал, теперь вы держитесь ко мне поближе, подсобите — мне в этот раз непременно надо выиграть... Он же мой учитель, поймет, поможет».

Однако, едва вступив в дом Махсума-амаки, Хамидбек понял, не скажет ему заранее припасенных слов, не попросит об одолжении.

Чавандозы сгрудились на краю огромного майдана — обширного поля со скошенным еще но осени клевером. Кони под ними нетерпеливо толкались, вертелись; озлясь, поджимали уши и скалили друг на друга зубы; но окрики чавандозов и щелк камчей живо усмиряли их.

Большинство собравшихся знали Косого Махсума в лицо. Когда он прибыл, многие, оказывая ему знак уважения, подъезжали, здоровались с ним за руку. А некоторые с сомнением перебрасывались фразами «И старик?.. Неужели?.. Ну и ну!.. Никак не остепенится!.. А может, со стороны поглядеть приехал?..» Однако те, кто хорошо знал Косого Махсума, не усомнились, что он будет участвовать в состязании, тем более, что он надел одежду, в которой выступал всегда.

Косой Махсум отъехал в сторону и внимательно оглядел поле. Кое-где, на дне неглубоких впадин, но тенистую сторону бугров, еще серыми пятнами лежал нерастаявший снег. Слева майдан ограничен железной дорогой, справа — простор. Этого края и надо держаться...

Распорядитель улака зарезал козла и широким взмахом швырнул его под ноги лошадям. И тотчас майдан огласился криками чавандозов. Плотная лава всадников пришла в движение, закружилась, уподобясь водовороту. И вдруг кто-то вырвался из ее середины, с торжествующим пронзительным воплем понесся во весь опор по полю. И все разом увидели намертво зажатого у него под коленом козла. Все разом и устремились в погоню. Тогда-то Косой Махсум дважды огрел камчой

свою лошадь. Из общего гула копыт, криков вырвался и полетел вдогонку за удачником его басовитый властный голос: «Ку-у-уда-а?.. Отберрру-у-у!..» Он и вправду вскоре опередил всех. Закусив зубами плетку, он припал к шее лошади и вытянул вперед обе руки, готовясь в следующую минуту выхватить добычу у несущегося в метре от него всадника. Вдруг увидел мчащихся им наперерез невесть откуда взявшихся чавандозов. Нельзя терять ни секунды. Отпустив повод, он приподнялся в седле, и, рискуя потерять равновесие и сверзнуться под копыта собственной лошади, подался вперед, вцепился обоими руками в козла. Шерсть была длинная, густая. Нашупал ногу. Рванул. Но не тут-то было. Крепко держал, шельмец,— не отдал.

Опять рванул... Сзади кто-то хлестнул его лошадь. «Кто-то из сообщников этого честолобца!..» Лошадь прынула в сторону. Косой Махсум едва удержался в седле, но козла не выпустил. Чавандозы, нахлестывая коней и оглушительно подзадоривая друг друга, стали окружать со всех сторон. Из плотного кольца не вырваться. Косой Махсум расслабил руки, делая вид, что выдохся, что вынужден отпустить козла, но в следующий миг придержал чуть-чуть лошадь и неожиданно рванул что есть силы назад. Добыча выскользнула из-под колена соперника. Не мешкая направил лошадь вправо, где просторнее, а всадников поменьше. Зажал козла правой ногой, пристроив под коленом, и снова взял в руку камчу. «Догони-и-й!..» — азартно закричал он, нахлестывая лошадь то справа, то слева и этим не столько ее подогревая, сколько отпугивая тех, кто пытался приблизиться.

Нашлось-таки два-три смельчака. Дотянулись. Вцепились. И давай рвать каждый к себе. Вот где сила Косому Махсуму нужна, вот где пригодилась сноровка — выхватил козла, перекинул на другую сторону. И был таков.

Половина расстояния, пожалуй, покрыта. Победитель тот, кто домчится до отметки — высокой мачты с трепещущим на макушке красным флажком — и, обогнув ее, вернется к финишу, бросит козла на то место, где он был зарезан.

Косой Махсум оглянулся. Его преследовало не более тридцати всадников. Остальные приотстали. Хитрецы. Ну и хитрецы! Коням своим дают передохнуть, а заодно выбирают поудобнее позицию, чтобы перехватить его на обратном пути. Косой Махсум еще раз оглянулся. Что-то не видать Хамидбека, ох, не видать... Может, тоже решил подождать и выскочить навстречу? Подумал так и рассердился. Не

любил он тех, кто не борется за приз честно, а старается улучшить удобный момент. «Настоящий чавандоз должен бороться с первой минуты и до последней. Отлынивать от борьбы, а потом кидаться за добычей— удел бесчестных и трусов!»- внушал он всегда Хамидбеку.

Наконец Косой Махсум обогнул отметину, описав широкий полукруг, и устремился было обратно, но его тут же плотно обступили со всех сторон. Земля не совсем еще подсохла, кони оскальзывались, грязь летела ошметками из-под копыт, испятнала одежду и искаженные от азарта лица чавандозов. Косой Махсум пятками и камчой попукал лошадь, направляя ее то влево, то вправо. Она тщетно тыкалась мордой из стороны в сторону, расталкивала грудью, храпела; вытаращив обезумевшие глаза и скаля зубы, норовила вскинуться на дыбы или сделав невысказанный скачок, сигануть через окруживших всадников. В голове гудит от выкриков, гиканья, ржанья коней. Уже с десятков рук пытаются отобрать козла. Однако от туши уже оторваны передняя и задняя ноги, теперь соперникам ухватиться за нее непросто. Если он сейчас пробьется, за ним никто не угонится...

В этот момент что-то свистнуло возле уха и больно ужалило щеку подле самого глаза. Он машинально схватился за лицо. И, видно, ослабил на секунду колено — туша выскользнула...

Узнал спину уносящегося от него, настегивая лошадь, Хамидбека.

И сам огрел свою кобылу камчой, понесся вслед, успев подумать: «Ладно, хорошо, что Хамидбек. Сейчас отберу обратно...» Но через несколько секунд он потерял Хамидбека из виду. Перед ним замелькали спины других чавандозов в полосатых халатах, потные крупы лошадей и их развевающиеся на ветру хвосты. Ему в лицо летели ошметки грязи.

Вдруг чавандозы все разом издали громкий торжествующий вопль, осаживая коней. И стало тихо. Значит, козел брошен у финиша. Кто же? Кто победил?

Всадники медленно разъезжались в разные стороны на взмыленных конях. И Косой Махсум увидел, как распорядитель улака надевает на Хамидбека шелковый халат. Выходит, он. Донес-таки... И ни с того ни с сего горькая обида охватила бывшего чавандоза. Всегда думал — радоваться будет, когда его ученик отхватит свой первый приз; но нет, он такое испытывает сейчас чувство, будто грудь исполосовали ножом да солью присыпали. Нехорошо это. Нехорошо. Сам понимает, что нехорошо, да ничего поделать с собой не может.

Он тихонечко поддал в бока лошади каблуками и, потянув за повод, повернул ее в ту сторону, где открывалась, голубая, даль неоглядная. Все после улака поехали в кишлак, чтобы продолжить пир. Теперь-то на тое начнется настоящее гулянье. А он направил свою лошадь в степь и, отпустив поводья, предоставил ее самой себе. Только сейчас почувствовал, как ноет нога, которой придерживал козла. Как раз в том месте болит, где был перелом. И все еще горит лицо, задетое чьей-то камчой. Холодный встречный ветерок приятно гладит лицо, шею...

Он толком и сам не знает, где и по каким местам, взгоркам и оврагам, полдня носила его лошадь. О чем передумал за эти часы и пересказать бы никому не смог. Глядь, а лошадь у калитки стоит, копытом землю бьет — отворить требует. Собрался было спешиться, но из дому вышла жена, подошла к калитке.

— Поздравляю,— говорит, а сама улыбается.

«Нашла время для насмешек, старая!»

— С чем это? — озлился Косой Махсум.

— Как с чем? С победой. Давеча Хамидбек приезжал, оставил приз ваш.

— А ну-ка принеси!..

Старуха возвратилась в дом и через минуту вышла, держа в руках что-то завернутое в белый платок. Косой Махсум нагнулся и выхватил у нее узел. Поехал рысью вдоль улицы.

— Глядите, опять где-нибудь с приятелями не заболтайтесь! Ужин остынет! — крикнула вслед ему старуха.

Косой Махсум подъехал к дому Хамидбека. Черенком камчи постукал в калитку. Вышел отец парня. Ослабился, сверкая полным золотых зубов ртом, и пригласил зайти. Косой Махсум сухо поблагодарил. Даже спешиваться не стал. Сунул ему в руки узел.

— Что это? — удивился тот.

— Приз вашего сына. На улаке выиграл.

— Сам-то где?

— На тое, где же ему быть. Просил передать.

- Оббо, ну и молодчина! Выиграл, значит! Выходит, достойным учеником оказался, а! Спасибо, спасибо... Наверное, выйдет из него толк, а? Как считаете?

Косой Махсум хмуро кивнул и, потянув за поводок, круто развернул лошадь.

Вечером он ужинать не стал. Попросил жену постелить пораньше и

улегся. Однако, заметив, что старуха свернула его стеганый халат, ватные брюки и собирается упрятать в сундук, приподнял голову:

— Погоди, не убирай! — сказал он; кряхтя, отвернулся к стене и, натягивая на себя одеяло, добавил: — Раис для предстоящего улака другого судью нашел. А меня просит участвовать в козлодрании. За честь колхоза... В последний раз...

Анвар Ишанов

ГРАНАТЫ

Старуха заболела. Ей было так плохо, что старый Мирза не мог себе места найти. «Позвать внучку? Она поможет». Но старик сам сварил суп на плите. «Внучка есть внучка,— размышлял он,— разве она сможет присмотреть за старухой, как я». И гранаты для нее он выбрал сам. Словно никто так не мог бы выбрать.

Старик вернулся из города, когда луна только что появилась и сияла тоненькой золотой подвеской. Положил целый узел гранатов па низенький столик и подошел к старухе. Она увидела его, и в ее усталых глазах промелькнула улыбка. Ей хотелось встать, она пошевелилась, а подняться не смогла.

Старик положил руку ей на лоб: лоб как раскаленное железо.

Старуха посмотрела на него, словно просила помочь. Мирзе стало грустно: «Господи, неужели умрет?» Из глаз капнула слеза, и, чтобы не увидела старуха, он отвернулся. Она тихонько засмеялась. И этот ее смех, совсем беспомощный, вселил в старика надежду. Он выдавил сок из нескольких гранатов и подал ей чашку.

— Выпей, это дашнабадские гранаты...

Дашнабадские... Это слово будто пришло издалека, наваяло воспоминания.

Махира вспомнила день своей свадьбы. Бедняк Мирза не мог подарить молодой жене ни колец, ни сережек. Он принес узелок гранатов и смущенно сказал: «Ешь, это дашнабадские». Он очистил гранат и стал кормить ее зернышками, как птица своего птенца. И вдруг он увидел рубец на ее пальцах.

Махира сразу поняла, о чем подумал Мирза. Она тоже вспомнила все.

— Если бы не дашнабадские гранаты, наверное, у меня и не было бы теперь пальцев,— сказала она.

Мирза не ответил.

Это было время, когда в каршинских степях отряды Джаббарбека — вора и грабителя — нападали на кишлаки, увозили девушек, поджигали дома. Махира была тогда молодой и очень привлекательной.

Как-то она доставала во дворе из ямы морковь и услышала конский

топот. Махира повернула голову: какой-то незнакомец держит лошадь под уздцы и беспеременно разглядывает ее. На всей улице никого нет — старики на полуденной молитве, молодые мужчины на покосе.

Усталый незнакомец подошел к ней, приподнял ее голову нагайкой. Из-за его спины появились два здоровенных парня. Они вытащили

Махиру со двора и посадили на лошадь. Через мгновение четыре всадника, словно птицы, мчались сквозь степь. Махира была в полубессознательном состоянии и не сразу догадалась, что ее привезли в шатер Джаббарбека.

Она увидела бека и задрожала. Бек был пьян. Джигиты, пировавшие вместе с ним, многозначительно переглянулись и вышли из шатра. Посреди шатра горят ветки, уложенные в железный таз. Пламя освещает то пьяные глаза бека, то его вспотевший лоб.

Джаббарбек встал, опираясь на саблю. Махира от страха попятилась, зацепилась за кувшин и упала. Бек подошел к ней.

— Не бойся, не бойся, красавица.

Он сбросил с плеч чекмень и пригласил Махиру на почетное место.

Махира встала и пошла, но вдруг нагнулась, схватила железный таз с горящими углями и швырнула в лицо бека. Бек страшно закричал и бросился вон из шатра. Его легкий шелковый халат, борода были охвачены пламенем. Джигиты кинулись, кто чем, гасить бека. Никто ничего не понимал. Л пьяный испуганный бек ничего не мог объяснить.

Через мгновение загорелся шатер. Огонь осветил степь и вскоре погас, превратившись в золу. Бека подняли и понесли в другой шатер. На Махиру никто не обращал внимания. Она не знала, что делать, куда бежать. Внезапно кто-то потянул ее за руку. В темноте Махира не могла разобрать, кто это. Незнакомец быстро втащил ее на седло и исчез в темноте.

Они подъехали к берегу реки, когда близился рассвет. Всадник остановил лошадь.

— Ну-ка, прыгай, сестренка! Теперь сама добежишь,— сказал незнакомец.

Он ссадил ее с коня и, не попрощавшись, умчался. Она так и не узнала, кто этот парень. Когда они подъезжали к реке, он увидел ее обожженные пальцы и достал из хурджуна два граната:

Возьми, это дашнабадские. Кожуру приложишь к пальцам, и все пройдет.

Только эти слова он и оставил Махире в память о себе.

Прошло месяца два. и тут разнесся слух, что Джаббарбек схвачен. Все высыпали на улицу. Махира тоже стояла в толпе, не отрывая взгляда от степи.

Первыми пробежали дети:

— Ведут, ведут, басмачей ведут!

Красноармейцы вели человек тридцать басмачей со связанными руками.

А вот Джаббарбек в сдвинувшейся на ухо каракулевой папахе. Руки у него тоже связаны, и он не может поправить папаху. Когда проходили мимо Махиры, красноармеец остановил Джаббарбека:

— Узнаешь? Узнаешь девушку, которая бороду тебе подожгла?

Бек посмотрел на Махиру и отвернулся.

Махира удивилась. Откуда этот парень знает ее тайну? А парень улыбнулся ей и спросил:

— Ну, помогли дашнабадские гранаты?

И Махира узнала в нем того самого человека, который спас ее. Она хотела поблагодарить его, но он сел на лошадь и погнал пленных дальше.

Удивительно! Но ведь тот парень тоже был басмачом!

... В новом колхозе на берегу Гузара высадили гранатовые саженцы, привезенные из Дашнабада. А новый садовник Мирза послал к Махире сватов. Махира сватам отказала. Но Мирза не отступался: через некоторое время снова прислал сватов. Они многозначительно выложили на стол два дашнабадских граната. Махира ничего не поняла и вновь их выпроводила. Вечером явился сам Мирза. И Махира узнала в нем того самого парня.

Свадьбу справили, когда поспели первые гранаты. И выросшие в Гузаре дашнабадские гранаты украсили свадебный стол.

Прошли годы. Сколько раз с тех нор поспедали гранаты в гузарском саду!

У них было два сына и дочь. Мирза был на войне и вернулся невредимым. А сыновья не вернулись.

Дочь вышла замуж, и они вновь остались вдвоем.

А теперь Махира заболела, и старик не может себе найти места. Бежит то к врачу, то в аптеку. Но Махире не становится лучше.

И старому Мирзе делается страшно: «Что, если она умрет? Надо бы позвать дочку, внуков». Старик пугается этих мыслей. Он трясет головой, словно пытается прогнать их.

Старый садовник надавил гранатового сока в чашку и поднес к ее губам:

— Выпей, это сок дашнабадских гранатов. Сразу выздоровеешь.

Жена не стала пить. Она долго смотрела на красную густую влагу, потом перевела взгляд на мужа.

— Выпей сам, отец. И не бойся, я не умру. У меня еще много дел на этом свете.

К рассвету ей стало лучше, и она уснула.

А старик, который не сомкнул за ночь глаз, задремал. Быстрые воды Гузара с шумом ударились о берег; ветер, прилетевший из далеких степей, шевелил ветви гранатовых деревьев, и они словно рассказывали друг другу о молодости Махиры и Мирзы, об их жизни, полной согласия и любви.

Уктам Усманов

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО РАЙКОМА

За три дня до сдачи годового отчета председателя колхоза «Победа» Рахима Бекмирзаева вызвали в райком. Председатель, только что возвратившийся с дальнего пастбища, получив эту весть, задумался. «Собирать внеочередное заседание бюро райкома, когда до отчета остались считанные дни? Тут что-то не то... К тому же приглашен секретарь парторганизации, все двенадцать бригадиров и еще несколько человек из актива. Кажется, новый секретарь приступает к реформам...»

Бекмирзаев вновь пробежал глазами телефонограмму.

В жарко натопленной комнате было душно — из-за рано наступившей зимы уже с начала ноября затопили большую черную голландскую печь в кабинете председателя. Бекмирзаев стянул с шеи шарф, скинул полушубок с белым меховым воротником и бросил их на стул в углу комнаты. Вошла секретарша, поставила перед ним чайник и пиалу.

— Всех приглашенных мы уже оповестили. Заседание бюро в одиннадцать. Наши соберутся здесь к девяти,— доложила она. Поставила минуточку, ожидая, что Бекмирзаев отдаст какое-нибудь распоряжение. Но председатель молчал. Она вышла и тихонько притворила за собой дверь.

Бекмирзаев сейчас вместо чая с удовольствием бы выпил холодной воды, но, остерегаясь простуды — что-то побаливало горло,— он налил в пиалу до краев зеленого чая.

«Странно,— размышлял он.— Новый секретарь райкома Хайдар Халиков на прошлой неделе дважды побывал в нашем колхозе, объехал все бригады и ничего не сказал, хотя план мы не выполнили. И неожиданно — заседание бюро... Да еще с участием колхозных активистов. Такого я что-то не припоминаю. Видно, дело серьезное».

Бекмирзаев сел за стол и задумался. Вот уже сорок с лишним лет он в районных активистах. Сейчас ему шел шестьдесят первый. Был он когда-то из тех парней, про которых говорили, что они горы свернут. А за полгода до начала войны работал чабаном в колхозе; заблудившись с отарой в степи, застудил себе легкие. Врачам показываться было некогда, кое-как поправил здоровье, но болезнь уже перешла в хроническую. До сих пор нет-нет и дает о себе знать. Немного подде-

чился — вроде бы снова здоров и вид цветущий. О его болезни знал прежний секретарь райкома Касымов. Не каждый год, но раз в два года, это точно, устраивал он ему путевку в Крым.

Бекмирзаев взял пиалу и отпил еще глоток. Телефонграмма не выходила у него из головы. Восемнадцать лет он председательствует в этом колхозе. И каких только телефонграмм, распоряжений и указаний он не видел за эти годы! Можно сказать, закалился. Но сегодняшняя, почему-то он чувствовал, была необычной. До этого дня куда бы его ни направляла партия, шел и работал, как солдат, беспрекословно выполнявший приказ. Ни разу не сказал «нет». И когда на пути попадались молодые, неопытные руководители, он не кичился перед ними своим авторитетом, знаниями, а принимал их слова и указания как мнение абсолютного большинства. Не говорил как многие; «Эх, в наше время все было по-иному!» Напротив, презирал тех, кто любил это повторять, считал, что с тех пор много воды утекло и многое изменилось не только вокруг, но и в их сознании, и старыми мерками сегодняшнюю жизнь мерить невозможно. И вероятно, в кишлаке не нашлось бы человека, кто бы лучше его знал, что сегодняшний день — логическое продолжение долгой и упорной борьбы и трудных побед наших дедов и отцов.

Внезапно промелькнула мысль: «Я постарел, силы уже сдают... Не зря говорят: если б молодость знала, если б старость могла... Неужели вызывают из-за этого?» Отпивая по глотку чай из пиалы, он глядел в окно. На улице смеркалось, но от лежащего на земле густым белым покрывалом снега струился ясный свет, и от этого, казалось, светлело все вокруг. Зажглись фонари, и при свете ламп медленно кружившие снежинки навевали на Бекмирзаева грустные мысли.

Услышав доносившиеся из приемной голоса шофера и секретарши, подумал: «Пора домой. Если завтра утром ехать в район, пусть и Ахмаджан отдохнет». Он надел полушубок, завязал шарф и вышел из кабинета. Ахмаджан, прислонившись к печке, с шумом отхлебывая, пил горячий чай. Увидев «хозяина», вскочил и, ни слова не говоря, направился к выходу. Бросив секретарше: «Вы тоже можете идти!» — Бекмирзаев быстро спустился с крыльца и сел в ожидавший его припорошенный снегом «газик».

Дом председателя находился в старой части кишлака, за базарчиком, в отличие от домов колхозников, которые строили на новых участках. Дорога туда пролегла через колхозные сады. В машине было

холодно, и Бекмирзаев, вышедший из жарко натопленной комнаты, почувствовав озноб, поежился и плотнее закутался в тулуп. Глядя на белоснежные сады и поля, он погрузился в размышления. Ему казалось, что деревья, покрытые снегом, как белым пуховым платком, дрожа от холода, тянутся друг к другу ветвями.

Когда они доехали до дома, оттуда, слышав звук машины, высыпали люди. Оказалось, приехал из города сын с семьей. Бекмирзаев обрадовался. «Вот и с сыном поделюсь своими заботами»,— подумал он. Зафар, сын Бекмирзаева, без малого десять лет работал в Ташкенте. Сначала учился там в институте, потом женился, защитил кандидатскую диссертацию и остался работать в Научно-исследовательском институте химии, где разрабатывал тему по минеральным удобрениям.

Поздоровавшись с сыном и невесткой, Бекмирзаев подбросил на руках пятилетнего внука Бахрама, устремившегося к деду, и, чмокнув в щеку, опустил на землю. Взявшись за руки, они веселой гурьбой поспешили в дом. Забыв про свои заботы, Бекмирзаев заметно оживился в семейном кругу. После ужина посмотрели всей семьей телевизор. Потом ему вместе с сыном постелили в гостиной, женщины и дети легли в соседней комнате.

Оставшись наедине с сыном, Бекмирзаев спросил:

— Зафарджан, как дела, сынок?

Сын ответил, что все в порядке, и замолчал. Бекмирзаев чувствовал, что Зафар чего-то недоговаривает, но выспрашивать не стал. Ждал, когда он сам заговорит. Зафар после недолгого раздумья повернулся к отцу.

— В общем, неплохо, отец...— начал он как-то неуверенно, вроде бы раздумывая, говорить или нет.— Я приехал посоветоваться с вами об одном деле. Хочу перейти работать в другой институт...

Во-первых, куда? Л во-вторых, должны быть причины...

В пединститут,— ответил Зафар и снова замолчал. Но отец не торопил.— Все те же, как говорится, старый таз, старая баня,— продолжал он.— Вам-то хорошо, потрудитесь, на глаза покажетесь, и уже все только о вас и говорят. Все вас прославляют. И дела идут хорошо. А у нас все не так. Попробуй сдвинь с места стариков, облаченных званиями и степенями! И того лишат, что у тебя есть! Только на словах — молодым везде у нас дорога!..

Бекмирзаеву не понравился взятый Зафаром тон. Он понимал, что сын очень обижен и, естественно, гиперболизирует проблему, и потому

невольно встал на защиту «стариков».

— Говорить так о своих учителях грешно, сынок. Можно подумать, что ты с неба свалился со своими знаниями и званием? Ты мне сказал — я забыл. Другому не смей и рта об этом раскрывать, стыдно!

— Вы неверно меня поняли! — обиделся Зафар. — Может быть, я не так выразился. Никто не собирается зачеркивать их заслуг. Действительно, они внесли большой вклад в развитие науки. Но и молодым тоже надо уступать дорогу. Ведь науку двигают молодые! Все великие ученые, даже вот эти самые наши старики, совершили свои открытия и добились успехов в науке в молодые годы, до тридцати-сорока лет.

— И что ты этим хочешь сказать? Ты считаешь, что им, с их богатым опытом и знаниями, надо отходить в сторону, не так ли? — Задав сыну вопрос, Бекмирзаев сам старался найти убедительный ответ на него.

— Я уже сказал, что мы не умаляем их достоинств. Наоборот! Мы их превозносим! Но существуют законы жизни! На смену старому приходит новое, идет обновление! Как бы ты ни старался, но наступает день, когда ты вынужден уступить место человеку, который моложе, сильнее и энергичнее тебя. И вот почувствовать, когда наступил этот час, и вовремя с почетом уйти, чтобы не быть преградой, а может быть, даже обузой на пути сильного, — об этом идет сейчас речь.

Бекмирзаев почувствовал, как что-то нежное, хрупкое треснуло у него внутри, что связывало его с жизнью. Что молодость — сила, стал он понимать теперь, с годами!

— Э, сынок, человеческий потомок подобен семени. Старый ли, молодой — все равно... Куда бы ни упало семя, оно тянется вверх, только к свету. Ты это поймешь, когда достигнешь определенного возрастного рубежа...

Зафар даже не подумал, что сказанные им сгоряча слова заденут также и отца, и, чтобы как-то разрядить создавшуюся атмосферу, поинтересовался :

— Вы, кажется, завтра собирались в район, пана? Какое-нибудь совещание?

Бекмирзаев собирался откровенно поговорить, он собирался сказать: «Я уже не молод. Сколько лет еще проработаю, не знаю... Да и вы, дети, каждый встал на ноги, и потому я спокоен... И вот надумал я потихоньку уйти на заслуженный отдых, чтобы на старости лет

нянчить внуков. Думаю, вы не оставите нас со старухой одних». Но сказанные Зафаром слова насторожили его. Вероятно, сын ответит: «Да вы не сможете без работы, отец. Быстро заскучаете. Работайте, пока можете». Но это будет сказано им не искренне, так, для успокоения сердца. Поэтому Бекмирзаев сказал:

— Да, видимо, перед отчетом что-нибудь важное есть у них для нас...— И после недолгого молчания добавил:— А насчет того, что лучше вовремя уйти, чем быть обузой, ты прав.

Бекмирзаев как-то раньше не замечал, что жизнь не жалеет стариков. Может быть, он это почувствовал с возрастом. Даже слова, сказанные сыном безотносительно к нему, задели его за живое. Зафар уже спал, сладко посапывая во сне, а к Бекмирзаеву сон не шел. Не от переживаний, что снимут с должности. Слава богу, дети живут все в достатке. А его пенсии на него и старуху хватит. Да и приусадебный участок есть. Изберут молодого, энергичного председателя, и избавится он от лишних хлопот...

Приезжая в район на совещания, Бекмирзаев замечал, что среди других руководителей колхозов он самый старший по возрасту, чувствовал, что пора подавать в отставку, но недоделанные дела и неосуществленные планы каждый раз отсрочивали это его намерение. За должность свою он не держался, не добивался ее окольными путями. Просто жил и работал, и люди поверили в него, избрав на этот почетный и ответственный пост. Он ощущал, как нужен людям, и теперь... На пенсию? Подрубить его под корень, как старое трухлявое дерево, и отбросить в сторону? Но ведь он живой человек!..

Думая об этом, он невольно вспоминал свою молодость, друзей, с которыми работал бок о бок в трудные и радостные дни. До войны секретарем райкома был некто Туяков. Это он рекомендовал тогда еще молодого чабана Бекмирзаева на должность председателя колхоза. С ним он проработал четыре года. Потом Туяков ушел на фронт, а на его место прислали другого, пожилого человека. Туяков был решительным, требовательным, порой даже грубоватым. Он любил повторять: «Лучше сказать горькую правду, чем сладкую ложь».

Вспоминая с теплым чувством об этой поре, он вдруг подметил удивительную закономерность: со сменой руководителя района менялся и сам Бекмирзаев. Незаметно, постепенно, но приноравливался.

Чего скрывать: во времена Туякова Бекмирзаев тоже бывал порою груб с колхозниками, строго наказывал не выполнявших его указаний

людей. А потом, в войну, секретарем стал Буран Бойсунов. По профессии агроном, он многие годы проработал в колхозе. Был он человеком мягким, спокойным. Удивительно, но в трудное военное время он ни на кого не давил, не пытался сломить. Никогда не повышал голоса, разговаривал тихо и назидательно. В те годы в колхозе были лишь женщины да старики. Может, этим и объяснялось, что он не грубил и не повышал голоса. Хоть Бойсунов и не кричал ни на кого, планы все равно выполнялись. Скорее всего потому, что война приучила всех к железной дисциплине.

Э-эх-х! Подумать — сколько хороших и удивительных людей, настоящих коммунистов повидал он в жизни! Где, интересно, теперь этот Бойсунов? Жив ли? Так уж человеческая жизнь устроена — приходит он в этот мир, поживет, поработает и уходит. И остаются от него в конце концов только доброе имя и добрые дела.

А потом Бекмирзаев вспомнил Алимардана Исмаилова. В его времена дела в районе шли из рук вон плохо. Он внес такую сумятицу и беспорядок, что ничего нельзя было понять. Сколько неуместных дел натворили тогдашние руководители хозяйств, боявшиеся его окрика: «Если плана не выполнишь, вмиг с тобой разделаюсь!» Однажды осенью он заставил людей работать дни и ночи напролет, без отдыха, чтобы в темпе собрать урожай овощей, но труд оказался напрасным: консервный завод был не в состоянии переработать весь урожай сразу, и большая часть овощей сгнила. Бекмирзаев тогда чуть не полетел с должности. А между тем овощи можно было убрать за месяц, рационально используя и технику, и людей.

За многие годы своей трудовой деятельности Бекмирзаев почти ко всем руководителям привыкал и даже подражал им.

А с Рахимом Касымовым связывала крепкая мужская дружба. Это он перетащил Бекмирзаева из отдаленного колхоза в свой родной кишлак. Человек добрый и мягкий, Касымов за дело строго спрашивал. Пользовался авторитетом у колхозников. Много хорошего он сделал Бекмирзаеву. Да и в том, что Бекмирзаев сохранил свое здоровье и до сих пор работал, была немалая заслуга Касымова.

Вот так лежал растревоженный воспоминаниями Бекмирзаев и думал о прожитой жизни, словно подводил ей итог. Свет от фонаря, пробивавшийся через окно, ярко освещал комнату. Бекмирзаев взглянул на спящего рядом сына и тихонько вздохнул.

«Внеочередное заседание бюро... Если бы дело касалось не только

нас, не пригласили бы столько людей из колхоза. В прошлом году плана не выполнили. Да и в этом помешали погодные условия — внезапные заморозки сгноили на грядках половину овощей. Все, все, наверное, и называется невезением. Ладно, в этом году были неблагоприятные погодные условия. Ну, а в прошлом? Почему не выполнили в прошлом году? Не хватило воды. Да и как могло быть иначе, если вся надежда на маленькую горную речушку, которая в жару, в самый разгар лета, пересыхает? А нет воды — нет урожая! Нет урожая — откуда прибыль?»

Уже давно Бекмирзаева мучила одна мысль. Особенно в те минуты, когда у него портилось настроение, она, эта мысль, преследовала его, пока он не переключался на что-нибудь. Как будто нарочно, каждый вечер по телевизору показывают передовые хозяйства! Теперь почти в каждой области таких кишлаков немало, с которыми иные города не сравнятся. Вместо клубов — Дворцы культуры, многоэтажные жилые дома, новые чайханы, пекарни, больницы, детские сады и ясли, природный газ... Разве можно сравнивать кишлак Бекмирзаева с теми, что показывают по телевизору? Если разобраться, то его колхозники трудятся не меньше тех, что живут в хороших бытовых условиях. Но вот не везет с производительностью труда. Ну так кто в этом виноват?

Эта мысль гложет его который год и не дает покоя. Неужели она не приходит в голову никому из руководителей района? Сколько раз он обращался в районные планирующие организации. А те: «Кишлак ваш бесперспективен, вам все равно отсюда переезжать». Сказали — и точка. Вроде бы ясно. И выше идти он не решается. Расположенный в ущелье между горами, кишлак страдает от недостатка воды, нехватки пахотной земли, от неровностей рельефа. И пастбища тут скудные, приходится колхозные отары перегонять за несколько десятков километров, в Майдантал. Да, недостатки не скроешь. А кто в них виноват?..

Во всех недостатках Бекмирзаев винил прежде всего себя и но этой причине уже не раз собирался попроситься на пенсию: председатель должен быть помоложе и познергичнее, но, как обычно загруженный повседневными заботами, это свое намерение отодвигал на более поздний срок. Была еще в этом деле и обратная сторона. Ну, хорошо, допустим, он тихонько уйдет на пенсию, а разве народ не скажет ему: что же ты-де столько лет водил людей за нос? Пусть и небольшой кишлак, но раз ты поставлен ответственным за его судьбу, пожалуйста, думай о его будущем! Конечно, ты не сидишь сложа руки, но твоя

забота думать не только о сегодняшнем дне. Но о завтрашнем, о последующих! Ты должен закладывать фундамент будущего.

Да, непросто быть руководителем. Райком, видно, решил освободить его от председательства, а он завтра сам подаст заявление!

... Разговаривая о том о сем с секретарем парткома Фатхудином, Бекмирзаев обдумывал, что ответит, если его спросят на бюро, кого он рекомендует на свое место. Взять, к примеру, хотя бы Фатхуддина. Образованный, трудолюбивый парень, но работать с людьми еще не научился, мало опыта. Два года назад окончил сельхозинститут и приехал в колхоз. Хороший специалист, да и в секретари его выдвинул сам Бекмирзаев. И все же опыта работы с людьми ему не хватает...

Думая о секретаре парткома, Бекмирзаев поймал себя на мысли о том, что вроде как бы не доверяет молодым. А между тем вспомнил бы себя! Ему самому, двадцатитрехлетнему, Туяков целый колхоз доверил. А разве у него был хоть какой-то опыт? Просто он не ждал, когда научат. С малых лег в большом котле жизни варился. Бывало, что ошибался, а потом пришло время — всех удивлял...

Или вот этот, Булатбек, бригадир четвертой садоводческой бригады. Вся жизнь в поле, в саду! Вот его и предложить! Этот справится, хотя очень строг с людьми.

Ну вот, опять замечает недостатки!

Бекмирзаев нащупал во внутреннем кармане пиджака заявление и посмотрел в окно. Бескрайние поля лежали, укрытые белым пушистым ковром. И эта бескрайность зимнего пейзажа навевала какую-то безысходную тоску. Бекмирзаев тяжело вздохнул.

В райком добрались в половине десятого. Секретарша, увидев Бекмирзаева, улыбнулась, поздоровалась и пошла докладывать первому секретарю. Спустя минуту она пригласила Бекмирзаева в его кабинет.

Председатель колхоза грустно, словно прощаясь, оглядел своих попутчиков и направился к двери. Увидев входящего Бекмирзаева, секретарь вышел к нему навстречу, крепко пожал руку и, предложив гостю сесть в кресло, сам сел напротив.

— Как здоровье, Махмуд-ака?

Бекмирзаев сглотнул слюну:

— Спасибо!—ответил он, а про себя подумал: «Это у него вступление. Мягко стелет... Не хочет обидеть!»

А секретарь Халиков продолжал:

— Думаю, ваши товарищи немного подождут. Хочу сначала с вами посоветоваться...— Он задумался.— Наслышан о вас как об опытном аксакале. Мне рассказали, сколько сил и труда вы отдали этому краю. Сами понимаете, район ваш я знаю плохо, человек я новый. Успел только в двух колхозах побывать. В том числе и в вашем. Не зря в народе говорят: лучше раз увидеть, чем сто раз услышать!— Халиков улыбнулся.— Словом, дел у нас много. Видел я ваш колхоз. Положение удручающее. Вы простите меня, я могу сравнить. Ведь до этого я работал в Сырдарьинской области, а колхозы там очень богатые, и жизнь у колхозников иная...

— Там хлопок сеют,— прервал его Бекмирзаев, как бы оправдываясь.— А у нас скот, зерно, овощи...

— Так, так!— Халиков внимательно посмотрел на Бекмирзаева.— Продолжайте, продолжайте!

— А что тут скрывать, по сравнению с хлопком овощи требуют большего вложения, большего гряда, а отдачи у них меньше.

— В ваших словах есть истина,— согласился Халиков.— Я вас слушаю.

Бекмирзаев вновь нащупал заявление, лежавшее в кармане.

— От этого, вероятно, и зависят условия жизни колхозников...

— Так что же вы предлагаете?..

Бекмирзаев пожал плечами. Халиков, видно, не решаясь прерывать серьезный разговор, ответил сам:

— Это верно, что овощи требуют большего вложения. А разве за хлопком нужно меньше ухода? Просто овощеводство не так механизировано, как хлопководство. Отсюда и низкая производительность. Тут я могу с вами согласиться. Вот вы мне ответьте честно: как по-вашему, все ли внутренние ресурсы вы использовали? Помимо погодных условий есть, вероятно, и другие объективные причины, зависящие от нас. Нам нужно найти какой-то выход из создавшегося положения. К примеру, возьмем ваш колхоз... В чем главная трудность? Вы сами сказали — нехватка воды. А какие меры были приняты на этот счет? Разве нельзя из Чирчика поднять к вам воду, выделив средства из неделимого фонда на один мощный насос? Потом... в кишлаке у вас более пятисот семей, говорили вы, а почему-то в бригадах у вас работает по три-четыре человека?

Бекмирзаев молчал. Возразить Халикову ему было нечем.

— Два года подряд не можете выполнить план! Почему?! Сейчас

уже не остается хозяйств, которые бы обязательств не выполнили...

У Бекмирзаева вновь растревожилась старая рана, и он опять подумал: «Вся жизнь моя прошла в этом районе. Наверно, трудно будет пересчитать деревья, которые я посадил, дома, которые я построил, людей, которым я сделал много хорошего. Но что поделаться, постарел, а когда стареешь, никто уже всерьез не воспринимает тебя, на все смотрят так, будто все само собой произошло. И этот вот симпатичный молодой человек только вчера пришел на руководящий пост, а уже сегодня обрушивается на меня с упреками. Да что у меня, десять жизней, что ли?» Бекмирзаев полез в карман за заявлением. Халиков встал.

— Конечно, все не так просто, я понимаю,— сказал он.— Но менять все необходимо коренным образом. Все добрые, хорошие начинания даются нелегко. Нет надобности объяснять вам это. Словом, мы пригласили вас всех на сегодняшнее заседание бюро, чтобы вместе обсудить, посоветоваться и решить, как нам быть дальше. Хотим послушать товарищей. Вам известно, что через три дня состоится совещание по итогам года. А вы тем временем доведете мнение райкома до колхозников. Махмуд-ака! Мы тут посоветовались и решили на заседании бюро обсудить такие проблемы, актуальность которых диктовалась бы самой жизнью. И вот одной из таких проблем, по-моему, является всестороннее, глубокое изучение и помощь. Эти вопросы мы хотим обсудить по-партийному, принципиально, не боясь вскрывать недостатки.

Спустя полчаса в кабинете секретаря райкома началось заседание бюро.

Когда стемнело, две машины выехали из района и двинулись в сторону колхоза «Победа». В первой ехали Бекмирзаев, секретарь парткома Хуснутдинов и три бригадира. Они все еще были под впечатлением прошедшего обсуждения и продолжали спорить друг с другом. Бекмирзаев вначале тоже участвовал в споре, а потом, увлеченный мыслями, замолчал и задумался. «Весь вчерашний вечер и бессонную ночь я думал только о себе, о своем положении и должности... Хорошо, что я ни дома, ни в правлении никому ничего не сказал! И чего это я стал таким тщеславным?! Что мне, в наследство, что ли, эта должность досталась?! Мне ее доверил народ. Захочет народ — лишит меня этого высокого доверия! А я только о себе и думал. За три часа, пока шло заседание, никто ни разу не затронул мою личность. Речь шла только о

том, как поднять колхоз, чтобы люди зажили лучше. А я всю ночь только и думал о том, как спасти свой авторитет, точнее — свою шкуру. Да, теперь можно поверить в то, что я постарел. Л этот Халиков молодец! Думаю, что теперь дела наши пойдут на лад. Нет, на колхозном совещении по итогам года я поставлю ребром этот вопрос. Откровенно скажу народу. Скажу: райком обещал помочь, воду подведем, мы должны зажить в достатке и счастливо, и это целиком теперь зависит от нас!»

Бекмирзаев вдруг улыбнулся. Он почувствовал себя помолодевшим. Чтобы работать наравне с молодыми, надо быть сердцем и душой молодым. А иначе...

Он бросил взгляд за окно, в темноту, медленно спускающуюся с гор в долину. Вдали, в ущелье, засверкали огоньки, и от их света на душе у Бекмирзаева становилось все теплее, он еще больше чувствовал великую ответственность перед каждым из этих домов, в которых горит свет...

Шукур Халмирзаев

ПАСТУХ

Колхозная контора стояла под орешинной. Вдоль здания тянулось картофельное поле, а за ним речка. Берега ее густо поросли кустами ежевики и джиды. На противоположном берегу, у самого подножья бугрящихся желтоватых холмов, теснилось несколько войлочных юрт, лачуг и загонов для скота.

Контора была построена недавно, но стены ее внизу уже успели отсыреть и набухнуть. Над входом был прибит кусок кумача с надписью «Агитпункт— 2». Он висел еще с весны и изрядно полинял под дождем и жарким солнцем. Слева от входа— кабинет начальника. Перед ним стул, на нем ведро воды и алюминиевая кружка, надетая на дужку ведра. В центре кабинета — большой стол. На столе — карта отделения совхоза.

Обычно в конторе бывает пусто. Руководители отделения весь день на полях, в свободное время—дома, вечерами — в центре совхоза, на берегу реки Шербад, что в тридцати километрах отсюда.

В этот вечер в конторе было многолюдно. Начальник отделения, кассир, агроном, зоотехник, бригадиры.

На повестке дня — проступок старика Остонакула.

Старик стоит почти у самой двери, сгорбленный, с опущенной головой. Ему тяжело стоять, и он переступает с ноги на ногу. Из уважения к начальству палку он оставил в сенях.

— Ну что, отец, берете на себя вину?

Старик исподлобья смотрит на сидящего в центре стола коренастого, широкоплечего начальника.

—Что тут скажешь, виноват.

Щупленький зоотехник Турабай с плоским лицом — проведешь ладонью от лба до подбородка, ни одной выпуклости либо впадины не обнаружишь — вскочил с места:

— Что же это такое, он хочет отделаться признанием своей вины? А я требую, чтобы он заплатил сколько положено за пестрого вола.

Начальник отделения сунул руку за воротник грязного коломенкового кителя, сморщил мясистое лицо и почесал шею.

Вот досада,— сказал он, передернув плечами.— Выдохлись вы, что ли, отец? — Он уставился на старика,— А мы вам доверяли. Вы же еще

днем увидели, что он заболел, нужно было тут же и прирезать. И не было бы столько разговоров.

— Он ночью сдох, ночью! — сказал зоотехник.— Я сам разрезал печень, она была абсолютно холодной! Старик просто уснул!

Старый Остонакул молчал. Он смотрел надвигающиеся губы зоотехника и кивал, соглашаясь.

Начальник отделения кряхтя поднялся с места:

— Все. отец, разговор окончен. Заплатите за вола.— Он обвел взглядом присутствующих:— Будем считать, что вол сдох по недомотру. Договорились?

Старый Остонакул медленно поднял голову:

— Хорошо, сынок, я заплачу.

— Только не тяните! Вы не бедный и еще крепкий, родственники у вас тоже есть. Да и старуха небось припасла.

Вот так... Собрание окончено.

Старик отошел в сторонку и сложил на груди руки. Он хотел выйти последним, но бригадир подошел к нему и похлопал по плечу:

— Пошли, отец, пошли,— сказал он. — Теперь хорошенько приглядывайте за волами. Пусть нагуливают жир. А то как бы не лишиться вам места.

Старик снова кивнул и вышел из конторы.

Начальство направилось к двум грузовым машинам, что стояли за зданием конторы, оживленно беседуя,— быть может, и о нем, старом Остонакуле.

А старик неторопливо двинулся вдоль картофельного поля, к берегу реки. Луна уже сияла на небе, и ее лучи разбивались о камни под водой. На другом берегу, у юрт, поднимался дымок, а под ним виднелся пылающий красный огонь.

Вчера к вечеру старый Остонакул перегонял волов с Октумшукских холмов в аул, что на Кукбулакских холмах. Травы на пастбищах давно выгорели, но кое-что еще осталось. Белые и красные цветы красовались, колыхаясь на длинных стеблях, на рыхлой земле росли репейники, колючки, и вола поедали и их.

Когда все стадо уже спустилось с холмов, пестрый вол отстал и вдруг остановился. Он тряс головой, будто ему было тяжело держать рога, один из которых был давно сломан. Потом он подался назад, рванулся вперед и свалился набок.

Старик, делая неловкие движения, заторопился и чуть ли не под-

бежал к волу.

— Чу, чу! — закричал он.

Но вол положил голову на землю с той покорностью, с какой бараны вытягивают шеи, завидев нож в руках мясника, и устремил взгляд замученных глаз на пастуха.

Старик огорченно глядел на вола. Потом поднял ему ноги и начал оглядывать копыта — может, какой гвоздь влез? Нет.

Старик подошел к морде вола и хотел открыть ему челюсть, но раздумал: «Если бы он проглотил железку, была бы пена». Старый Остонакул растерялся. Он поднял палку и ударил вола по крестцу. Вол поднял голову, но снова со стоном опустил ее на землю.

О, господи! Что же с тобой? Может, устал? Встань! Встань!—[^] Старик обошел вола и крепко взял его за хвост. С силой крутанул, и вол со стоном поднял грудь и встал на передние ноги. Все еще держа хвост в руках, старик закричал:—Ну, скотинка!

Вол поднялся, кожа его дрожала. Он осторожно пошевелил хвостом. До самого Кукбулака вол не сорвал ни травинки. Его товарищи с хрустом поедали мелкий хворост, а старый вол едва брел, невеселый, с поникшей головой. Он часто останавливался, будто прислушивался к чему-то.

Родниковая вода образовала большую лужу поодаль. Волы вошли в лужу и стали пить. Потом долго облизывали губы и носы, озираясь вокруг. Пестрый вол на минуту сунул нос в илистую воду и отошел от лужи. Он хотел снова лечь, но старик, заметив это, закричал на него и не дал ему лечь.

— Старуха,— сказал Остонакул жене,— пестрый вол заболел.

Старая Ойсулув, закусив зубами кончик белого марлевого платка и прищурив и без того небольшие глаза, задумчиво уставилась на старика. Потом, пропустив его вперед, сама пошла к загону. Она открыла боковую дверку и вошла вовнутрь. Волы разбрелись по загону, терлись друг о друга, обнюхивали остатки еды вместе с пылью, шевеля ноздрями, а несколько волов уже улеглись у края загона.

Пестрый вол растянулся у самого входа. Он тяжело дышал. Старуха наклонилась к нему, упершись руками в колени, и стала внимательно разглядывать его. Потом быстро вышла, взяла совок, что стоял у котла и прошла в юрту. Она отсыпала горсть гармалы из кулька, заткнутого между бревнами, сунула под него тлеющие угли и подула. Затем выглянула из юрты. Старик расстилал молитвенный коврик для

вечерного намаза.

Сглазили этого вола, что ли, а, старик? Кто его видел? — спросила старуха Ойсулув.— В последнее время он так хорошо вошел в тело.

Не глядя на жену, Останакул ответил:

— Наверно, ты и сглазила.

Старуха понесла совок с дымящейся гармалой в загон. Она дважды обвела совок вокруг головы пестрого вола, подула, чтобы дым попал ему в морду. Потом положила совок и села ждать, когда прогорит гармала.

Когда старуха расстелила скатерть для ужина, старый Останакул вдруг резко поднялся и выдернул нож из ножен, висевших на пояском платке. Он вынул из ступы длинный брусок и начал точить нож.

Старуха внесла шавлю на глиняном блюде.

— Поешь сперва! Никуда он не денется. Если часы его сочтены, что ж нам делать?

Старик вздохнул:

— Зоотехника, что ли, привести?

В район пойдете? Тридцать верст не шутка. До тех нор... и помереть может.

— И то верно.— Старик опустился на подстилку.— И в конторе отделения телефона нет. Все хотят поставить, да каждый раз забывают.

Старуха Ойсулув разломила лепешку и начала наливать чай.

— А может, все-таки железку проглотил?

Не знаю. Но болезнь у него внутри.

— Ешьте.

Через некоторое время старый Останакул снова сидел на корточках около вола и старуха стояла тут же, прислонившись к задней стенке загона.

— Старик, это тот самый вол, который в прошлом году целую неделю не сходил с круга, молот зерно?

Пастух поглядел на жену ввалившимися глазами и, облизав пересохшие губы, устремил взгляд туда, где бугрились Октумшукские холмы.

До прошлого года совхоз сеял там пшеницу. Земля была богарная, и на эти холмы не мог проехать комбайн. Землю обрабатывали на волах и колосья молотили с помощью воловьих копыт. На одном из совхозных собраний решили больше пшеницу на Октумшукке не сеять — дорого. Сколько людей занимать, сколько волов. Одним деньги плати, других

корми. Урожай не оправдывает затраченного труда.

И с тех пор волы остались без работы. Решили их откормить и сдать на мясо. А старому Останакулу поручили это дело.

Старик особенно был привязан к пестрому волу. Почему? Это был самый старый вол, и трудился он долго, вместе с Останакулом.

— Старуха,— сказал Останакул,— может, кислым молоком его напоить?

— Ну вот еще,— улыбнулась старая Ойсулув,— люди узнают, засмеют.

Старик вымученно улыбнулся.

— Будете резать? — спросила старуха.— Уже темнеет.

Пастух кивнул. Старая Ойсулув ушла в юрту.

Засучив рукава, старик вытащил большую эмалированную чашку и тщательно вымыл ее. Расстелил кожаную подстилку и вынес из шалаша острый топор. Затем взял два ведра и пошел за водой к Кукбулаку.

Вернулась старуха. Останакул сидел на корточках около пестрого вола.

— Эй, что с вами стряслось? — сказала старая Ойсулув.— Или расстроился? Что ж делать, старик! Если вол сдохнет, нам придется платить убытки. Придется мне самой зарезать его... только после чтоб стыдно вам не было.

— Э! — старый Останакул поднялся.— Что ты мелешь! Ты же видишь, что он не может с места сдвинуться. А здесь резать нельзя. Другие волы почуют кровь и доставят нам хлопот.

Старуха Ойсулув улыбнулась:

— Все причины ищите?

Старик выдернул нож, подошел к волу и взял его за морду. Руки у него задрожали. Он ухватился за воловий рог и повернул ему голову. И тут он увидел шею вола: из-за редких темных шерстинок виднелась стертая кожа — след ярма. Останакул жалобно посмотрел на старуху, отпустил рог вола и, отряхнув одежду, отошел и присел на старую кошму.

Старуха ушла.

Пестрый вол так больше и не поднялся. Старик принял его последнее дыхание. И до последней минуты надеялся, что вол не умрет.

...Пастух постоял у реки и медленно спустился вниз. Наступая на камни, виднеющиеся из-под воды, он перешел на другой берег. Не

обращая внимания на привязавшихся к нему аульских собак, он прошел между загонами, юртами, дворами и вышел к холму. Перевалив холм, старик нашел тропинку. Она казалась белой при лунном свете. Старик шел к своей юрте. Он расскажет старухе о решении начальства. «Ну вот, я же говорила», — скажет старуха. Что он сможет ответить? Во всяком случае попытается как-то объяснить ей.

ЖИЗНЬ ВЕЧНА

Главный агроном колхоза Надыр Рузикулов возвращался домой с колхозного собрания, где его сильно критиковали. Не успел он войти во двор, как его нелюбимая теща набросилась на него со словами:

— Вот уже и экспедитор строит новый дом, а вы, а вы... Все земельные участки у вас в руках...

— Вот какой есть, такой есть, — резко ответил Надыр. — А если не нравлюсь, можете забирать свою дочь и уходить отсюда.

Жена Надыра словно только этого и ждала. Она схватила на руки дочку и вместе с матерью ушла из дома, почти убежала...

Надыр вышел на улицу, на него тут же набросилась чья-то собака. Он схватил камень, бросил в собаку, и та завизжала на всю улицу. Из-за дувала высунулся сосед. Надыр хотел попросить прощения, он не думал, что камень попадет в собаку, бросил так, мимо, чтобы испугать ее, но сосед рассердился не на шутку:

— Если у вас там много сил и чешутся руки, то позвали бы меня. Зачем же срывать зло на бессловесной твари.

Надыр вконец расстроился. Он вошел в пустой дом, увидел маленький тюфячок дочери и сел на него. От тюфячка пахло дочерью, и он тут же вскочил и выбежал на улицу. Холодный ветер рванулся ему навстречу и остановил его. Минуту он постоял под холодным ветром, вернулся в дом и почувствовал усталость, слабость, тоску. Ему показалось, что он сейчас упадет и умрет. И на самом деле он упал.

Поднялся сильный ветер и швырнул в него несколько сморщенных виноградных листочков. К рассвету начался дождь. Это был первый осенний дождь. Вокруг запахло зеленью и необычной свежестью деревьев. Потом дождь прекратился, и тучи рассеялись. Засияли крупные белые звезды. Наступила такая тишина, что было слышно, как с листьев скатываются капли, поднялся ветер, потом стало холодно. Но

этих удивительных, стремительных перемен погоды Надыр уже не видит, не чувствует. Он мертв. И некому расправить ему руки и ноги, свернулся клубочком, некому закрыть ему глаза, подвязать подбородок. Бедняга. Скверно. И умер, как собака. Так и скажут. И завещания не оставил. Умер совсем молодым. И дочь в последнюю минуту не увидел, и жене не сказал последнее "прости".

А рабочие совхоза... Среди них много таких, кто уважал его, по-доброму к нему относился. А старушка, мать Ча-Ча, которой он недавно достал доски подремонтировать старенький домишко? Директор-то ей отказал. А он достал — домишко-то совсем заваливался. Уж как она его благодарила, желала долгой жизни. Конечно же, она заплачет, узнав о его смерти.

Рассвело. Начальник отделения совхоза проходил по улице и заглянул через дувал во двор Надыра. Никого. Неужели проспал Надыр? Нет его на обычном месте у айвана.

— Товарищ Рузикулов! — крикнул он.

Никто не ответил. "Что это с ним, провалились они, что ли?" Он вошел во двор и увидел на айване главного агронома, который лежал свернувшись клубочком. "Пьяный, что ли? Он ведь никогда не бывал пьяным", — подумал начальник отделения совхоза. Он позвал Надыра еще раз и, поняв, что произошло, выбежал с криком на улицу.

Собрался народ. Многие плакали. Конечно, умер главный агроном совхоза, как тут не плакать. Покойный делал много доброго людям... А уж как плакала жена Ханифа!

— На кого ты меня покинул? Что я скажу дочке, когда она спросит об отце? Зачем я ушла к матери, лучше мне было умереть. Откуда же я знала, что случится такое? Зачем я не осталась рядом с тобой?..

Вот так. После смерти вдруг выясняется, что покойный был хорошим человеком. Жене еще долго придется плакать. А теща? О боже, если ты так горячо любила зятя, почему же ты так дергала его и не давала покоя при жизни? Или она притворяется? Все плачут, и она плачет. А может, это искренне, может, она и на самом деле горюет? Да, в общем-то, не совсем уж не права была старуха. Хотела, чтобы жили хорошо, как люди. А ведь Надыр и на самом деле был невнимателен к семье. Холходжа, милиционер, любил повторять: "Ты — настоящий пролетарий". Наверно, в этом есть доля правды.

Все прошло, все уплыло... Ничего теперя уже не исправишь.

И директор совхоза плачет? Да, плачет. А почему бы ему и не

плакать? Потерял такого прекрасного агронома — работающего, честного, добросовестного. Ведь Надыр был отличным работником. О чем думает сейчас директор? Наверно, эта внезапная смерть не просто удивила его... Может быть, он жалеет, что устроил Надыру такой разнос вчера на собрании? Думает: расстроился, не выдержал. Вот так и бывает. Критиковать тоже нужно умеючи. Крепкий, мол, молодой, выдержит — и давай его разделявать. А вот и не выдержал.

Итак, главного агронома завернули в саван, положили в табут и понесли. Понесли на кладбище Кызылкая. Все осталось позади. И жена, и дочь, и дом. Обида, тоска, сплетни. Работа. Совхоз. Рабочие... И кишлак остался.

Есть в народе хороший обычай. Проходящие или проезжающие мимо хоть на минуту подбегают к носилкам с покойником и подставляют свое плечо. Пройдут несколько шагов и уступают следующему. Прочтут краткую молитву и уходят. Вот какой-то шофер остановил машину, выпрыгнул из кабины и побежал к носилкам.

Кладбище. Почему-то здесь земля красноватого цвета. Надыр не был верующим. Но когда случалось проходить мимо кладбища, ему становилось страшно. Иногда он проходил здесь ночью, и уханье сыча преследовало его до самой кишлачной дороги: "Как здесь мертвые не боятся? Да ведь они же ничего не чувствуют? Мертвый есть мертвый. Будто камень..."

Покойника опустили в могилу. Родной отец первым бросил горсть земли. Какие странные люди. Почему они так спешат? Поскорее закопать главного агронома, избавиться от страшного зрелища. Горсть, еще горсть, еще...

Тишина. Мертвая тишина. И это торчащее старое тутовое дерево. Стоит себе, будто ничего и не случилось. Только птицы летают. Вот на влажную землю опустилась ворона.

Такова жизнь человеческая: родился, рос, учился, работал, ругался с людьми, мирился. Думал о том, как жить, мыкал горе, любил. И вот умер. Близкие несколько дней поплачут, поголосят, а потом? Будут вспоминать о нем... В совхоз придет новый человек — новый главный агроном. И отец и мать понемногу успокоятся. Молодую вдову станут сватать. На третий раз теща согласится выдать ее. А потом? Теща научит девочку называть нового мужа матери папой. Или?.. А Надыр ничего не почувствует, ничего не услышит. Он лежит в могиле. Как же это он умер? В тот день он вернулся с собрания, где его крепко

критиковали, поругался с тещей, жена схватила дочку и ушла из дома вместе с матерью, на улице он кинул камень в собаку, и хозяин собаки обругал его. Потом он вышел на улицу, и в грудь ему ударил холодный ветер. Этот осенний ветер бы такой приятный, такой ласковый, что Надыру захотелось плакать.

Потом... Надыр не выдержал всего этого — этой несправедливости и в гневе убил себя — умер. Кому от этого стало лучше? Кто его за это похвалил? Что было потом, что? Это усеянное звездами небо, эти белые звезды — все на месте. Деревья, дождь... Ветер.

Жизнь Надыра продолжается и без Надыра...

...Расслабленный Надыр, сидящий на краешке айвана, вздрогнул, поднял голову, глубоко вздохнул и поднялся. Он закурил сигарету, постоял минуту и вышел на улицу. Сосед смягчился, простил ему собаку: "Ведь говорили же духовные наставники — хоть Каабу сожги и крестись на икону, но не тронь божью тварь — даже муравья не обидь".

Надыр отправился к теще за женой и дочерью. По дороге он вспоминал, как и за что его критиковали на собрании вечером, прикидывал, как исправить ошибки, изменить кое-что в работе.

Когда он еще сидел на айване, ему на голову упало несколько капель дождя. Теперь дождь полил как из ведра. И вдруг пронзительно запахло терпким настоем деревьев и пожухлых листьев.

Уткур Хашимов

ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

— Мать уезжать собралась...

Хуршид поднял голову от стола, заваленного чертежами, и рассеянно посмотрел на жену. На пороге стояла Назира, вытирая пухлые руки о фартук, надетый поверх атласного платья.

— Куда это она на ночь глядя?..

— Я ей уже говорила,— Назира раздраженно новела плечами,— но разве ее переубедишь?

Хуршид взглянул на часы, которые красовались на книжном шкафу, занимавшем всю стену.

— Уже шесть. Полчаса осталось. Отвезти ее разве на машине? — он вопросительно взглянул на жену.

Назира снова пожала плечами: как угодно.

Уже давно Хуршид научился понимать смысл этих слов. Впрочем, это было не так уж трудно: эти два слова всегда означали: нет. Не раз с этого неопределенного и безличного «как угодно» начинались семейные ссоры.

— Как бы шеф не обиделся, ведь ты ему давно обещал,— так же равнодушно бросила Назира.

«Ясно, обидится»,— подумал Хуршид, нерешительно поднимаясь из-за стола. Он пересек комнату, увешанную яркими, как огонь, коврами, и вышел в коридор.

Тетушка Фазилат уже успела натянуть на ноги ичиги с калошами и, маленькая, сухонькая, сидела в кресле, прижимая к груди узелок с пожитками.

Материнский глаз безошибочно и сразу подмечает любую перемену в облике своего дитяти, но редко когда ребенок, даже став взрослым, улавливает на материнском лице пометы времени. Только сегодня Хуршид словно впервые по-настоящему увидел свою мать, и ему показалось, будто стала она еще меньше, как-то вся ссохлась. Она повязалась рябеньким шерстяным платочком, прикрывавшим подбородок, и еще резче поэтому проступила на лбу и под припухшими глазами сетка морщинок.

— Приезжаете раз в год,— обиженно начал Хуршид,— и тут же обратно. Разве это не ваш дом?

Старуха еще крепче прижала к себе узелок и поднялась с кресла.

— Ты же знаешь, сынок, что Мавлюда одна.

— Мавлюда не девочка. Оставайтесь,— Хуршид просительно поднял на мать глаза, но тут же подумал: «Все равно не останется».

— Будь счастлив, сынок, мне нужно ехать.

— Ну тогда я вас отвезу...— еще не договорив этих слов, он с раздражением почувствовал на себе пристальный взгляд жены.

— Не надо, сынок, у тебя и так дел много,— сказала мать и понимающе улыбнулась,— Не такой уж дальний край наш Чиназ. Не в первый раз еду. Путь знакомый.

На автостанции былолюдно. В дальнем углу застекленного зала ожидания сладко дремал какой-то старик, прислонившись к своему мешку.

Женщина средних лет кормила грудью малыша. У самой кассы весело щебетала стайка молоденьких девушек.

Время от времени диктор внятно объявлял об отправлении или прибытии очередного автобуса. До отправления чиназского оставалось еще порядочно времени.

Тетушка Фазилат вышла на улицу. Короток зимний день. Уже начинало смеркаться. Над входом в автостанцию зажглась лампочка.

На ветках акаций все еще поблескивал выпавший накануне снег. На проезжей части дороги он уже успел растаять, но все еще белел у обочины и по берегам арыков.

Мальчик лет пяти пытался разбить каблуком лед. Женщина, сидевшая у лестницы на опрокинутом ведре, закричала:

— Порвешь ботинки, чтоб ты сдох!

— Не надо ругать ребенка, милая,— сказала тетушка Фазилат, и голос ее дрогнул.

— Э, пусть они сгинут, всю жизнь на них положила. Да еще отец пьет без просыпа.

«Господь бог,— подумала тетушка Фазилат, направляясь к подошедшему автобусу,— не дает детей тому, кто хочет их иметь». Она думала о сыне, у которого не было ребят.

Знала тетушка Фазилат и о ссорах сына с женой. И еще по одной причине она редко наезжала в город. Тетушка Фазилат чувствовала себя в квартире сына словно бы в ювелирной лавке — страшно повернуться, а то по неловкости чего доброго еще заденешь или разобьешь что-нибудь.

Автобус выехал на бетонированную дорогу и увеличил скорость. Фазилат устроилась на переднем сиденье и смотрела в окно. Небо прояснилось, бледный, словно замерзший месяц мчался вслед за автобусом. На полях лежал снег, и редкие деревья, казалось, были в цвету. Долина дремала под белесым лунным светом, будто видела сказочные сны. Тишина.

Много раз Фазилат проезжала здесь... «У каждого своя судьба,— думала старушка,— что только ни делает она с человеком. Играет им как хочет. А человек всё переносит».

Когда муж ушел на войну, Хуршид был грудным младенцем. Что поделаешь, небо высоко, земля тверда, как говорят люди. Она работала в колхозе, но прокормиться с сыном не могла. Хорошо соседка научила: «Вези молоко в город, все-таки какие ни есть деньги».

Председатель был человек сердобольный. Разрешил попозже выходить на работу.

С рассветом Фазилат садилась в поезд с бидоном молока или катыка. Продавала его на шумной ташкентской улице. Потом снова бежала на поезд, а если не успевала, то возвращалась на попутной арбе; дома сразу же хватала кетмень и торопилась в ноле.

Хуршид рос спокойным ребенком. Не капризным. Лежал себе под одеяльцем и молчал. Со временем Фазилат приобрела постоянных покупателей. Она уже не бегала по улицам, а разносила молоко прямо по домам. По сей день не может забыть Фазилат, как однажды заболел ее мальчик. Видно, промерз. Всю ночь она просидела у его постели и лишь к рассвету задремала. Когда она прибежала на станцию, поезд уже ушел. Что делать? Не ездить? Страшно, а вдруг покупатели откажутся от ее услуг. Полдороги она ехала на арбе, остальную часть пути прошла пешком, почти разутая, по снегу. И лишь к обеду принесла молоко в город. Ноги сводило судорогой, в калоши набился снег.

С тех самых пор и мучает ее ревматизм, а тогда пришлось долго пролежать в постели. Соседи ругали ее: разве сын тебе памятник поставит, о себе подумать не мешает. Но недаром говорят люди, что за темными и печальными днями непременно наступят светлые. И они наступили. Кончилась война. Вернулся израненный муж. Хуршид пошел в школу. Потом родилась Мавлюда. Но недолгой была радость Фазилат: внезапно умер муж. Теперь ее единственной надеждой оставался сын.

Хуршид успешно окончил школу, поступил в институт. Она мечтала, что вот закончит сын учебу, вернется домой и она женит его на

самой красивой девушке кишлака, сыграет свадьбу не хуже, чем другие. Однако и на сей раз надежды ее не сбылись. Хуршид благополучно закончил институт, но в кишлак не вернулся. Захотел учиться дальше. В аспирантуре. А потом вдруг взял и женился. Свадьбу сыграли в городе, и Фазилат отвезла сыну немудреное добро, которое копила для него столько лет.

В кишлаке посмеивались: «Сынок Фазилат нашел себе жену с квартирой, значит, не женился, а вышел замуж».

Она отмалчивалась — глупости все это. Ее сын будет ученым, пусть-ка ваши сыновья добьются того же. И живет он не с родителями жены, а в отдельной квартире.

«Слава богу,— думала Фазилат бессонными ночами,— Хуршид обзавелся семьей, квартирой. И машину вот купил». Но почему-то сама стала реже ездить к сыну. Она же не одна. Есть у нее Мавлюда. Может, дочь даст то, что ждала она от сына. Не все ли равно — сын ли, дочь ли, были бы они здоровы и счастливы.

Пронзительно взвизгнули тормоза, автобус остановился. Фазилат вздрогнула. Она прижалась к стеклу, увидела знакомый деревянный дом и тут только поняла, что приехала.

Фазилат сошла с автобуса, и сразу ее охватило беспокойство: «Господи, все ли в порядке дома?» Она побежала прямо через поле по затвердевшей грязи, чуть присыпанной снежком. Сердце тревожно билось, словно предчувствовало беду. Наконец, она увидела огонек в окне низенького приземистого домика, и сразу отлегло от сердца. Она остановилась и вытерла вспотевший лоб краем рябенького платочка.

* * *

Хуршид сидел хмурый, он все не мог забыть, как мать прижимала к себе узелок, торопясь поскорее уйти, словно стеснялась, боялась причинить сыну неудобства. Он представил себе, как она сейчас забилась в уголок автобусной станции совсем одна, маленькая, сухонькая, в рябеньком шерстяном платке, повязанном так, что закрывает он почти всю нижнюю часть лица и морщинистые щеки. На душе было скверно.

Назира сидела перед большим зеркалом в углу комнаты с полным ртом спилек и укладывала волосы, косясь на отражение мужа. Оба молчали, и никто из двоих не решался нарушить эту давящую тишину.

— Ты готов? — наконец спросила Назира, обернувшись.— Мы же не можем прийти словно гости, шеф обидится.

— Что ты так торопишься? Я ему не мальчик на побегушках.

Хуршид нахмурился и поднялся с кресла. Назира раздраженно взглянула на мужа. Она ничего не сказала, но Хуршид знал, что думает она в эту минуту, сидя вот так, с приподнятой рукой, в которой была зажата последняя шпилька.

Кто спорит, Хуршид многим обязан Фаязу Махмудовичу. Шеф всегда был для него словно отец родной. Не всякий отец сделает для сына столько, сколько сделал Фаяз Махмудович для Хуршида. А сегодня Фаяз Махмудович защищает докторскую. Еще вчера он попросил Хуршида позаботиться о банкете, присмотреть, чтобы в ресторане, где был заказан ужин, все было в порядке; помочь встретить гостей и непременно приехать на машине — она может понадобиться.

Весь день Хуршид хлопотал о банкете. Теперь нужно пораньше приехать в ресторан, чтобы встретить гостей. Поэтому-то он и не смог отвезти мать домой.

Спускаясь по каменной лестнице, он снова подумал о матери: странная она все-таки, именно сегодня ей понадобилось вдруг уезжать.

Хуршид вошел в гараж и открыл дверцу машины. Мотор, по-видимому, остыл и не заводился. Он с силой нажал на стартер.

Ведь вот и эта машина приобретена благодаря Фаязу Махмудовичу. Как же Хуршиду не любить своего учителя? Разве смог бы он прожить на студенческую стипендию? После лекций приходилось бежать на товарную станцию и таскать грузы. Но об этом никто не знал, даже его товарищи по общежитию. Так продолжалось все пять лет. И только на последнем курсе тайна его была раскрыта.

Однажды на товарной станции ему сказали, что надо разгрузить контейнер с мебелью. Был уже поздний вечер. Хуршид подошел к владельцу мебели.

— Если угодно,— сказал он,— я погружу вашу мебель на машину.

Мужчина обернулся, и Хуршид, узнав его, обмер. Это был Фаяз Махмудович. А ведь только вчера он сдавал ему экзамен по ядерной физике и получил пятерку, заслуженную, как сказал шеф.

Фаяз Махмудович понял, как нелепо чувствует себя сейчас его ученик.

— Ведь ваша фамилия, если не ошибаюсь, Авазов? Ну что ж, грузите!

После работы Хуршид проговорил с Фаязом Махмудовичем чуть ли не до утра.

— Вы мне очень симпатичны,— сказал доцент, расставаясь с Хуршидом.— Знания у вас обширны, вы серьезно относитесь к занятиям, думаю, вам непременно нужно поступать в аспирантуру.

А через неделю Хуршид уже работал в лаборатории Фаяза Махмудовича. А как как он был студентом выпускного курса, То в деканате не возражали.

...Мотор по-прежнему не заводился, и Хуршид нервничал.

В дверях гаража появилась Назира, закутанная в меховую шубку. Она нетерпеливо переступала ногами, обутыми в маленькие сапожки.

В тот день, когда они познакомились, Назира была в такой же шубке и вроде бы в таких же самых сапожках. В ту новогоднюю ночь на студенческом вечере Хуршид читал монолог Гамлета. И, наверное, читал хорошо — ему долго аплодировали.

После бала уже в троллейбусе он увидел красивую белолицую девушку. И почему-то никак не мог оторвать от нее взгляда. Девушка улыбнулась. Но заговорить с ней он не решился: «Такая красавица, куда уж мне». Девушка первая обратилась к нему.

— Вы настоящий Гамлет,— произнесла она улыбаясь,— но где же ваша Офелия?

— У меня нет Офелии,— дрогнувшим голосом ответил Хуршид.

И на самом деле Хуршид сторонился девушек. «Главное — учиться, все остальное — потом». Откровенно говоря, и времени-то ухаживать за девушками не оставалось.

В тот вечер он узнал, что Назира учится на химическом факультете. Наверное, высокий, стройный и молчаливый парень приглянулся ей, а Хуршид — тот сразу влюбился без оглядки и уже не мог не встречаться с ней.

Весной Назира сказала, что в их дом зачастили сваты и родители мечтают выдать ее замуж. Хуршид встревожился. Он понимал, что сейчас ему не по средствам устроить настоящую свадьбу. Родители Назиры богаты и, конечно, хотят отпраздновать свадьбу единственной дочери как можно пышнее.

Хуршид поведал о своих сомнениях Фаязу Махмудовичу.

— Приведи ко мне девушку,— сказал тот,— я сам с ней поговорю.

А на сей раз счастье улыбнулось Хуршиду: отец Назиры, начальник торгового отдела района, оказался знакомым, чуть ли даже не

приятелем Фаяза Махмудовича.

Свадьбу сыграли по всем правилам. Отец Назиры не поспешил для своей любимой дочери. И жалкие подарки тетушки Фазилат, матери Хуршида, даже не понадобились.

Легко было заметить, что мать Назиры не слишком-то довольна бедным зятем, и прибывшие из кишлака гости были приняты не совсем радушно. Хуршиду вспомнилось, что мать уехала огорченная чуть ли не на другой день после свадьбы.

И вот сегодня... тоже как-то не совсем ладно получилось. Интересно, не опоздал ли автобус?

Спина Хуршида вспотела, и он с досадой начал крутить ручку. Наконец мотор заработал. Хуршид осторожно вывел машину из гаража. Назира уселась рядом с ним на переднее сиденье и глубоко вздохнула.

Господи, ну конечно, мы уже опоздали! В чем в сущности дело, неужто папа взял себе хорошую машину, а нам подсунул похуже?

«Опять все то же,— раздраженно подумал Хуршид, осторожно продвигаясь по людной улице.— Будь прокляты эти машины и их деньги».

Хуршид так и не смог подавить вскипавшее в душе раздражение. С того самого дня, как они поженились, только и разговоров было, что о вещах, да деньгах, да машинах. Особенно неуютно чувствовал он себя среди так называемых «аристократических» друзей и знакомых жены. И отец Назиры и все их друзья с увлечением говорили о высоких заработках, о «Москвичах» и «Волгах», о дорогих серьгах и прочих ювелирных изделиях, о том, что кто-то привез из Риги мебельный гарнитур за три тысячи и так далее и тому подобное.

Хуршид терялся среди этих людей и в их обществе чувствовал себя словно подопытная мышь под стеклянным колпаком. Ко всему прочему, у них с Назирой до сих пор не было детей. Но самое главное, Хуршид постоянно чувствовал себя должником этой семьи, семьи родителей Назиры: расходы на свадьбу, мебель, ковры, а вот теперь еще и эта машина.

До сих пор он тосковал о кишлаке, где прошли его детские годы, о своей семье. За их двором и садом протекает Анхор. Мальчишкой он не вылезал из воды, да и студентом, приезжая домой, любил окунуться в его холодные струи. Вылезши из воды, Хуршид, зажмурившись, долго лежал на песке, и перед глазами начинали плясать светящиеся лучики и солнечные кружочки. Постепенно они опускались все ниже и ниже и

таяли в песке, а к Хуршиду подползала дрема. Все отдал бы он сейчас, лишь бы еще раз увидеть эти светящиеся кружочки. Приезд матери живо напомнил Хуршиду ту уже такую далекую теперь игру солнечных лучей.

Внезапно машину встряхнуло, и Хуршид посмотрел вокруг. Он осторожно обогнул застывшую на мостовой лужу и взял прежнюю скорость.

Полгода назад Фаяз Махмудович полушутя сказал отцу Назиры: «А почему бы вам не купить зятю машину?» И вот теперь у него свой «Москвич». И хлопот прибавилось. Да и родители Назиры уже открыто говорят о том, что он слишком тянет с диссертацией.

И тут они правы. Три года Хуршид учился в аспирантуре. И вот уже два года работает, а конца диссертации не видно.

Хуршиду почему-то вспомнилось, что вместе с ним конкурсные экзамены в аспирантуру сдавала девушка из Хорезма. Они набрали одинаковое количество баллов, но прошел только он, Хуршид. Занимался он сложной проблемой, связанной с космонавтикой. Но в глубине души понимал, что с этой темой ему не справиться.

«Как же я запутался,— думал Хуршид. И руководителя подвел: ведь чувствовал, что не осилю, зачем же было лезть на чужое, в сущности, место? Может, та девушка из Хорезма смогла бы?»

Но что пользы от этих запоздалых мыслей? Мало ли в пауке случайных людей, точно так же превратившихся в мальчиков на побегушках при руководителях. Вот сегодня Фаяз Махмудович защищает докторскую, а он, Хуршид, будет разносить чай его гостям и потом еще развезет их по домам на этой самой машине.

Ход его мыслей прервал страшный грохот и истерический вопль Назиры. Он в ужасе рванул руль и повернулся к жене. Назира как-то странно согнулась, прижав обе ладони к лицу.

«Авария!»— молнией блеснуло в мозгу.

Хуршид резко вывернул руль направо, но руль не повиновался, и машина неестественно быстро начала сползать куда-то вбок. Хуршид в отчаянии оглянулся: огромный самосвал, подцепив буфером их маленький «Москвич», быстро катил его вперед. «Сейчас перевернемся, и самосвал пройдет по нашим телам»,— успел только подумать Хуршид.

Прошли минуты две. Самосвал внезапно остановился, и «Москвич», подрагивая, заглох.

«Живы!» Хуршид почувствовал, как холодный пот заливает ему глаза.

— Успокойся!— сказал он Назире, обнимая ее за плечи.

Назира дрожала и громко плакала. Хуршид попытался открыть дверцу, но ее заклинило.

— Открой со своей стороны,— сказал он.

Назира нажала на ручку, шатаясь, вышла из машины, побрела к дереву и уселась прямо на мокрый снег. Едва передвигая ноги, Хуршид обошел «Москвич».

Дверца самосвала распахнулась, из машины выпрыгнул испуганный молодой парень. Он подбежал к Хуршиду, громко стуча кирзовыми сапогами.

— Живы?— задыхаясь спросил он. Он с трудом переводил дух, и тоненькие усы над его губой вздрагивали.

Хуршид не ответил и начал осматривать свою машину. Дверцы «Москвича» прогнулись внутрь, боковое стекло было разбито вдребезги. Странно... Хуршид не испытывал сожаления. Он смотрел на машину и думал о том, что вся его жизнь покорежена точно так же, как вот эта машина.

А вокруг уже собирался народ. Хуршид искал глазами жену,

Назира стояла неподалеку, и какая-то старая женщина прикладывала к ее лбу снег.

На гомон и крик подоспел молодой инспектор и попросил зевак разойтись. Потом подошел к Хуршиду:

— Это ваша машина?

Хуршид кивнул.

— Вы счастливо отделались. Из такой аварии мало кто выходит живым. Чей самосвал?

— Мой,— дрожащим голосом отозвался парень.

— Как это произошло?

— Он ехал слишком медленно,— начал объяснять парень.— Я хотел обогнать, а навстречу вдруг выскочила «Волга».

— Он разбил нашу машину, пусть теперь заплатит,— услышал Хуршид голос жены.

Назира стояла рядом, слезы уже высохли на ее глазах.

— Конечно, заплатит,— сказал инспектор, рассматривая документы парня.— Подадите в суд, с него взыщут.

Вдруг откуда-то появилась старушка в черной бархатной без-

рукавке поверх длинного платья и кинулась к шоферу:

— Сыночек, сыночек!— кричала она. Потом, повернувшись к инспектору, рыдая схватила его за руку:— Простите нас, ради бога, простите нас. ведь он у меня один!

Хуршид не понимал, о чем говорят люди, откуда взялась это сухоньякая старушка в черной бархатной безрукавке, до боли напомнившая Хуршиду его родную мать.

Сердце его захолонуло: это старая женщина, кажется, мать парня-шофера. Хуршид приблизился к ней.

— Не нужно просить, мать, никто ничего плохого вашему сыну не сделает.

— Господи, дай бог счастья вашим деткам,— радостно вздохнула старуха и обняла Хуршида.

— Не хотелось ведь ехать,— сказал шофер.— Стоит только мужчине послушать бабу...— и он грубо выругался.— Жена привязалась — привези да привези маму. Мама к сестре уезжала. А моя соскучилась, понимаешь, по свекрови не может без нее жить.

Хуршид улыбнулся. Ему вдруг стал симпатичен и этот ругающий жену шофер и сама жена — соскучившаяся, беспокоившаяся о свекрови.

— Будете подавать в суд?— спросил инспектор, составляя протокол при свете фонаря.

Хуршид молча посмотрел на Назиру.

— Это еще зачем?— сказал он.— Мы здесь сами договоримся. Мало ли что в жизни бывает...

Инспектор пожал плечами. Старушка улыбнулась Хуршиду.

Тимур Пулатов

ПОСЛЕДНИЙ СОБЕСЕДНИК

Дни его клонились... Монгольские кони уже вынюхивали неостывшие следы, храпели и взбадривались от запаха виляющего, загнанного скакуна. Отпадали, теряясь в пустыне, отряды. Одни уходили ночью, не предупредив, другие, открыто бросив ему в лицо обвинение в коварстве, себялюбии. Те области, которым уже грозили монголы, на мольбу Джалалиддина объединиться обещали помощь, но, едва он отворачивался, тут же предавали его.

В его разноплеменном войске — карлуки и гурцы, курды и туркмены — все перессорилось, ибо воевали теперь не за то, чтобы освободить свои земли — от Турана до Ирака и от Джейхуна до Евфрата. Часто видел он, как после удачной стычки с преследующими их монголами ссорились его эмиры за меч с позолотой, и он в отчаянии кусал себе кончики усов, не в силах разнять их — прими он сторону туркмен, лагерь гурцев наутро оказался бы опустевшим, с уже потухшими кострами, начни стыдить и наказывать обе стороны, лишишься сразу двух отрядов...

Он не чувствовал в себе прежней воли, все вокруг расплзлось. Он терял трезвость и цель. Одиннадцать долгих лет сопротивлялся он монголам — дольше, чем любой правитель на их пути, — и отвагу его не мог не отметить и сам враг — Чингис-хан, но сейчас он уже ничего не мог сообразить, неуверенность мешала ему всмотреться в даль. Не терпящий возражений, любящий все делать, как задумал сам, теперь он с беспокойством всматривался в лица тех немногих эмиров, которые еще были верны ему, и делал так, как они подсказывали. И его использовали хитроумно, одни, чтобы лично обогатиться, другие, чтобы свести счеты с обидчиками...

Еще утром он решил ехать в Исфахан, где возле прохладных вод горных речек отдохнут его воины, измотанные жарой. А сам он, выйдя хотя бы на миг из бешеного ритма бегства и преследования, соберется с мыслями в одиночестве, оглянется вокруг, чтобы всмотреться пронизательно в тех, кто остался рядом, и постараться угадать, чего от них еще можно ждать и на что надеяться.

Исфахан привлекал его с детства. Он всегда верил, что в этом городе его ждет если не удача, то хотя бы успокоение. Монголы не

сразу найдут к нему дорогу из-за горной гряды на пути.

Так он ехал... Мимо горы Бисутун, через перевал, откуда вытекает речка Хульвар.

Но уже в полдень владетель Амида Масуд убедил его повернуть коней и идти на аль-Рум. Вкрадчив был Масуд, красноречив. Мол, не время султану отчаиваться, великое дело, начертанное ему судьбой, еще впереди. Надо укрепиться в какой-нибудь неприступной местности, чтобы снова собрать верных людей. И таким местом станет ослабевшая от наводнений и засухи малоазиатская область аль-Рум, которую можно занять без особого труда. И как только мусульманские эмиры увидят его на троне, сразу соберутся под его знамена. Первыми прискачут с заверением своей покорности кипчаки... Сам же Масуд уже сегодня готов прийти к Джалалиддину с четырьмя тысячами всадников и служить султану до победного дня.

Так говорил Масуд. И Джалалиддин знал, куда плут клонит. Знал, что Масуд меньше всего думает сейчас о монголах, озабочен лишь тем, как бы натравить султана на своего обидчика, который в прошлом году напал на крепость Масуда и увел одну из его жен.

В других обстоятельствах Джалалиддин вспылит бы и, не слезая с лошади, пнул бы ногой Масуда в живот, но сейчас не почувствовал во рту вкуса горечи и обиды, а просто и быстро согласился. Мелькнула лишь слабая мысль: «А может, так надо? Разумно?» — и глянул на Масуда с какой-то затаенной мольбой, с невысказанным вопросом: «Я вот проглотил твой обман... Ну а дальше? Будет ли это пределом игры, которую ты затеял? Не сделаешь ли следующий шаг к предательству?» Так он с каждым — жаждал опереться, искал помощи, но и не доверял полностью, метался между верой и неверием, пока окончательно не измотался душой. Но даже сейчас, в свои двадцать восемь лет, Джалалиддин не полностью избавился от той впечатлительности, ранимости, которая была равно обременительна как для правителя, так и для полководца.

Ночью они подъехали к Амиду, но в город въезжать не стали, расположились лагерем по эту сторону реки, недалеко от моста, чтобы быстро переправиться, если появятся вдруг монголы. Никто не верил, что монгольские кони, непривычные к горным тропам, достигнут их здесь, но Масуд на всякий случай распорядился, чтобы не закрывали на ночь городские ворота.

Султан пил с Масудом и, хмельной, вдруг сделался насмешливым и

стал кривляться, да так, словно все отодвинулось от него — смертельная опасность, дурные предчувствия, а сам он ни во что не ставит свое положение государя и плюет на все заговоры и интриги, на аль-Рум и на место под солнцем, и смеялся он странно, будто кривился от боли, все время подмигивал Урхану, единственному эмиру, который все еще хранил ему верность. И кривлялся он, и подзадоривал как бы с умыслом, желая скрыть что-то неприятное, даже позорное. И было это поведение не пьяного, а скорее шута или колдуна, проницательного и трезвого, понявшего вдруг смысл всего и содрогнувшегося от этого понимания...

Едва поднес он ко рту кубок с вином, чуть не поперхнулся, но сумел глотнуть, запить вином слезу, которая неожиданно подкатила к горлу. Чтобы справиться с неприятным ощущением, Джалалиддин толкнул в бок Ма- суда.

— Ну, а жена — ха-ха-ха?! которую увел этот... из аль-Рума... Мошеник отпетый... как его назвать? безбожник...

— Ей было шестнадцать,— с непонятым достоинством сообщил Масуд.— Бухарская звезда...

— Луна,—вдруг поправил его угрюмо султан.— Ай, луна, луна...

Близко к полуночи к нему в шатер втокнули женщину. Она лишь коротко глянула сторону султана, когда переступала порог, а потом стояла, насупившись, будто равнодушная ко всему, простая, грубая. Ее поймали недалеко отсюда, гнала она заблудившуюся овцу домой.

Джалалиддин морщился досадливо, глядя на ее босые грязные ноги, и хотя протянул уже в ее сторону кубок вина, но еще не знал, какой тон приличествует данному случаю — насмешливый или же ровный и строгий.

Теперь, как правило, каждую ночь отлавливали для него в окрестных селах женщин, и чем выше поднимался он в глухие горные места, тем чаще попадались вот такие грубые с виду, безропотные, которые, должно быть, уйдя потом от него, так и не догадывались, кто же их сделал пленницами ненадолго.

Сдержанный во всем, не потерявший самообладания даже в эти последние дни, Урхан ничем обычно не проявлял недовольства грубым поведением государя, но сегодня свидетелем всего стал хитроумный, ненадежный Масуд. И потому Ур-хан не выдержал:

— Вашей светлости не подобает проводить ночь с этой черной,— сухо сказал он и жестом велел гуляму увести женщину.

Джалалиддин нахмурился, обидевшись, и долго молчал, опустив голову. Но затем лицо его разом посветлело и он сказал просто, будто не сожалел:

— А я своих жен всех растерял. И детей... когда обоз отстал...

Затем впустили к нему в шатер ночного гостя, который называл себя бродягой, странником и очень торопился. У Хульварского перевала, где султан останавливался в полдень, чтобы свернуть потом с дороги на Исфакан, он увидел монголов — значит, не потеряли они след Джалалиддина, ни на минуту не прекращая преследования.

Но Джалалиддин не желал верить. Разморенному от духоты, сонному, ничего не хотелось ему в эту ночь более — ни встать, чтобы собираться, ни бежать,— только оградил бы его от всех этот пестрый колпак шатра, спрятал бы, чтобы мог он сквозь смех, сквозь муть хмеля прислушаться к тому, что пробирается сейчас к его душе. Что-то новое и смутное, но сулящее облегчение и освобождение...

— Поверь, султан, я туркмен. Туркмены никогда тебе не лгали...

— Лгали,— капризным тоном проговорил Джалалиддин и слабой рукой махнул в сторону туркмена, прощаясь. И не заметил, как почти сразу же следом за туркменом вышел владелец Амида Масуд.

А когда занавес шатра закрыл от его взгляда сутулую спину Урхана, Джалалиддин, как будто чего-то ища, осмотрел столик с недопитыми кубками, с подносом, где было еще немного миндаля и сахара, и горько усмехнулся, упрекая себя за пошлости и кривляния. И вдруг вспомнил женщину, которую привели к нему на ночь, даже не утро вспомнил, а остро почувствовал, словно дух ее еще витал в шатре, натываясь на ковровые занавеси и ища выход на волю.

Странно, он ведь даже не глянул на нее внимательно, пьяный взор его сразу же опустился к ее босым ногам, лица ее не разглядел, а откуда это? Как будто он видел ее и запомнил в деталях ее лицо, покрытое красноватым горным загаром, глаза, в которых смешаны покорность и удивление, толстая нижняя губа, выдающаяся так, что почти полностью закрывает верхнюю... Тысячи таких людей проходили перед его глазами, и он всюду скакал мимо, не всматриваясь, не вслушиваясь, а эта женщина вдруг запомнилась и выделилась, и здесь в горах. Зачем? Какой смысл? Ведь не из-за желания же, не из-за похоти. Он ничего к ней не почувствовал, кроме досады, а здесь этот образ, как видение...

В последнее время Джалалиддин все чаще думал об одном странном давнишнем разговоре, но думал как-то смутно, мучаясь, и

сомневаясь. Когда-то в юности он дерзко поспорил с самим Курбой, мудрецом, учителем, мнения которого даже о самом обыденном, банальном принимались всеми в Гургандже без тени сомнения, а тут — шутка ли — речь зашла об истине. Знаменитый аскет сказал тогда, что человек может узнать об этом только перед самым своим уходом, встретившись с последним своим собеседником. В разговоре с ним, может, ничего не значащем и случайном, и постигнет уходящий смысл жизни. Этот миг озарения Курба назвал коротким вздохом свободы, той свободы, к которой человек пробирался сквозь туман ошибок и разочарований всю свою жизнь. Надо лишь не проглядеть в суете и гордыне этот миг — он больше не повторится,— увидеть и разгадать среди тысяч и тысяч того одного, кто обо всем скажет. А каков он, последний собеседник, каковы его приметы, этого нельзя знать заранее, но горе тому, кто упустит свою возможность приобщения, тогда последний собеседник явится перед ним в другом облике, как бы перевоплотившись, но всегда одинаковый со всеми заблудшими — молчаливый и жуткий...

А ведь Джалалиддин... именно в эту ночь ему так захотелось поговорить с кем-нибудь о другом, о чем-нибудь обыденном, нет, ни с Масудом или Ур-ханом о монголах, власти, деньгах — обычные их разговоры. Он ведь потянулся, чтобы спросить у женщины: кто она? как живет?

Что мучает ее? каково ее жилище? урожайный ли этот год? сложили ли сено в стога? О чем он не спрашивал ни у одного живого существа.

Но не успел, теперь не поймешь, она ли это была, пришедшая для последней беседы. Не разберешь, кто виноват, что не разговорились, может, сомневался, медлил, а может, помешали, словом, сложилось так неудачно...

Монголы нагнали их на рассвете. Хотя все шатры в лагере были одинакового цвета, чтобы не выделялся султанский, монголы, выскочив из-за валунов, бросились прямо к шатру Джалалиддина, видно, заранее зная его место. Но неудачно. Запутавшись в каких-то веревках, несколько монголов разом упали. И тут подоспели телохранители Джалалиддина, смешались с монголами.

Пока гулко звенели их мечи, Ур-хан поднял на ноги весь лагерь. И бросился отгонять монголов от шатра Джалалиддина — султан же, не ведая ни о чем, крепко спал. Впервые шум боя не потревожил его.

Когда слуги ворвались внутрь, они увидели, что султан лежит не на

своем ложе, в мягкой постели, а на жестком ковре посередине шатра в какой-то странной, беззащитной позе, свернувшись так, что касался согнутыми коленями подбородка.

Еще сонного, ничего не снимающего, поволокли его к выходу в одной белой рубашке, посадили на коня и дали в руки поводья. Кто-то сзади хлестнул лошадь бичом, и она, не взяв разбега, прыгнула так, что едва не лопнули шелковые поводья, унизанные золотыми динарами.

От толчка этого совсем очнулся Джалалиддин. Увидел, как во весь опор несутся за ним монголы, высунув языки от предвкушения удачи, и как Ур-хан со своим отрядом пытается преградить им путь.

- Ур! Ур! А-а-а!..⁷

Лошадь несла Джалалиддина к крепости, главным ее воротам, которые, как обещал Масуд, будут в любое время распахнуты перед султаном и его людьми.

Ни одна стрела не полетела вдогонку Джалалиддину, видно, был приказ монголам брать его живым.

Еще издали заметил султан, как вышли из ворот Амида несколько человек. Он взбодрился, думая, что это встречают его. Но вышедшие постояли, понаблюдали за тем, как сражаются хорезмийцы с монголами, и ушли обратно. А когда крепко заперли за ними ворота, Джалалиддин вдруг сообразил, что там мелькнула фигура Масуда.

— Бейте хорезмийцев! — услышал он, едва поскакал в тени крепостного вала.— Они пришли грабить нас! — И над его головой с треском пролетел шар из горящей пакли, чуть не опалив волосы...

Ур! Ур! А-а-а... Слабеют звуки боя, крики и стоны в зажатых теснинах отдают эхом так, словно последние предсмертные голоса, перекликаясь, ищут друг друга.

Джалалиддин оглянулся и краем глаза увидел, как теснят монголы его воинов по всей лощине к отвесным скалам, бьют их наповал, бросая на камни под копыта своих серых коней. Увидел все это, натянул поводья, думая возвращаться к своим, но лошадь, привыкшая теперь все время уходить от погони и взяв уже хороший разбег, уносила его все дальше от места боя, все выше — от тесных тропинок к просторам — и опять потом окунаясь в туман узких расщелин.

В последние дни месяца шабан в горы опускалась напряженная тишина, заросли арчи и дикого ореха темнели, мох на скалах и камнях,

⁷ Бей! (Боевой клич тюрок.)

высохнув, сворачивался — на все находило угрюмое оцепенение.

Казалось, что сам этот вид вокруг чем-то сковывает бег лошади. Уйдя от опасности, она не расслаблялась, не шла ровнее и спокойнее, а все время неудачно ступала, спотыкаясь. Будто чувствовала она своим особым нюхом, как следят за ее бегом, перебегая от скалы к скале, чтобы не выпустить из вида одинокого всадника.

Но сам всадник ничего не замечал и не чувствовал. Он всмотрелся и узнал местность, вспомнил, как в отрочестве, лет четырнадцать назад,» проезжал уже в этих горах, немного севернее перевала.

Султан Мухаммед послал тогда отряд против халифа и велел командующему взять с собой и Джалалиддина для боевого крещения. Но отряд так и не дошел до Багдада. В горах выпало столько снега, что многие перемерзли, а успевших повернуть обратно курды обманом завели в тесную лощину и ограбили.

Сколько было у отца тайных и явных надежд, сколько коварства и хитроумия, и где теперь все это? Песком разрисовало, пыль покрыла... Развеялось все, едва показался у пограничного города Отрар Чингисхан. Отец, растерянный, запутавшись в интригах военачальников областей, отвергнутый простым людом за алчность, с первого дня войны все отступал, ни в ком не встречая сочувствия, все был в бегах и за год отдал то, что собирала династия два столетия. До последнего дня он еще на что-то надеялся, честолюбие мешало ему трезво взглянуть вокруг, и, дишь когда был загнан монголами к прокаженному на остров Ашур-Ада, отдал меч свой Джалалиддину.

Сын давно рвался отомстить. Но неоткуда ему, правителю без страны, разогнаться, чтобы, собрав силу, броситься на монголов. Не было ни одной области, где бы он мог остановиться, оглянуться — все успел занять враг. А столица Гургандж, попавшая в руки самозванцев, каждую неделю сменявших друг друга, не пожелала признать этого храброго, но вспыльчивого и безрассудного молодого человека, не искушенного в дипломатических хитросплетениях, и изгнала его, а сама открыла ворота монголам. Да!

И метался Джалалиддин, отступая в чужие земли, изгоняя их правителей, убивая и грабя жителей, желая из разноязычных областей собрать новое государство на пути монголов. Но не собралось, расплодилось, зло рождало зло, не смог силой меча убедить Мазандаран и Армению быть союзниками...

А сейчас лошадь уносила его все выше по каменистой тропе, и

Джалалиддин ехал так, в досаде, странной растерянности, потерявший счет времени, совсем не ощущая его течения вокруг — ни по стоянию солнца, ни по теням.

Он с рождения плохо ориентировался во времени, всюду не попевал и опаздывал, всюду был нехстати, и, может быть, это и развивало в нем обостренное ощущение пространства, местности. Легко чувствовал он себя в степи и в горах, быстро передвигался, изумляя преследовавших его монголов своим появлением в самых неожиданных местах.

Но время... Время не удерживало его нигде — ни в Исфахане, ни в Грузии, выталкивая отовсюду своим бестелесным воздухом, течением, не поддающимся разумению... Даже такое качество его натуры, как храбрость, оказалось ненужным для его времени, обременительным.

Сейчас, цепко взглядевшись в местность, он понял, что ведет эта дорога к Майафарикину, где султан найдет приют и защиту Малика Гази. Но ведь чувствовал он и то, что дорога эта последняя, тупик. Дальше пути нет, ни вверх, в заоблачные селения курдов, ни вниз, в степи верных ему туркмен.

Все катилось, жар его порыва выветрился, дни остыли, отбили...

Странно, ведь отец тоже был сравнительно молодым, но, умирая сорокалетним на руках Джалалиддина, он уходил безропотно, с какой-то старческой обреченностью, словно жизнь его пе обрывалась так неожиданно и нелепо...

Джалалиддин же долго не признавал своего поражения. И теперь еще в нем что-то исподволь возмущается, сопротивляется. Хотя все эти последние, годы жил он беспорядочно и недостойно, не зная ни в чем меры — ни в любовании собственной властью, ни в обладании богатством и женщинами,— он, оказывается, не пресытился еще. Чувствовал, что есть в этой жизни нечто такое, чего он не испытал, не испил, какая-то неведомая и таинственная ее сторона манила и привлекала. И, чтобы испытать ее, надо отказаться от прошлого, жить просто и бесхитростно, забыв о том, кем родился и на что замахивался. Чтобы никто не помнил, не знал...

Мысли эти взбудрили Джалалиддина, и он ударил лошадь носком в бок, но курд с копьем, уже давно преследующий его, в нетерпении подпрыгнул.

Бежал он наперерез — с валуна на валун,— размахивая в предвкушении легкой добычи веревкой. Знал он, что лошадь привезет

всадника к реке и станет. Опустив морду к бегущей воде, она выплюнет пену и будет долго пить...

Курд был дозорным у дороги и по правилам, увидев издали отряд, не важно, монгола или хорезмийцев, обязан был дать знак другому дозорному, а тот дальше, и так по цепи весть должна дойти в их селение. А Мустафа, староста деревни, решал, узнав, сколько их, пришельцев, нападать ли сразу же на выходе из узкой теснины или же, прячась, преследовать их до Дарвазского ущелья. Сами же курды в своем селении Айн-Дар, стоящем в стороне от дороги, всегда чувствовали себя в безопасности, ибо ходы к нему и выходы были так искусно запутаны, а мосты через пропасти так замаскированы, что никто, кроме своих, не мог к нему пробраться.

Редко в этих краях появлялся одинокий всадник, и курд с копьем соблазнился и оставил свой пост, уверенный в том, что никто из своих не узнает о его проступке.

С тех пор, как началась эта странная война (а странной горцы называли войну из-за мелких, будто ничего не значащих стычек, ибо никто не знал истинного ее размаха на просторах земли), дозоры были усилены — не проходило и дня, чтобы какой-нибудь отряд не оказывался в горах, преследуя или преследуемый, в пылу сражения заблудившийся, но в одиночку никто сюда не отступал.

Раз или два монголы посылали в горы маленький отряд из четырех всадников, чтобы те осмотрели местность и запомнили дороги для идущих следом войск, но всадники были так собранны, а лошади их чутки, как гончие псы, что, еще издали почуяв возню курдских дозорных, быстро скрывались.

Едва курд увидел всадника, сразу прикинул: что с него взять? Меча или другого оружия у него не было, а белая рубашка и шаровары не очень-то прельщали. Скакун, видно по осанке и бегу, благородной масти, но надо будет спрятать его в зарослях до темноты, а потом отвести в соседнее село и продать персам.

Курд думал обо всем этом, продолжая преследовать всадника и всматриваясь в него напряженно. Еще что-то привлекало его загадочное, что поблескивало все время на солнце, когда всадник дергал поводья. Что это? Слишком много блеска для одного перстня на руке. Любопытство еще больше подогревало курда, и он бежал к реке, позабыв теперь об осторожности.

А сам Джалалиддин уже давно слышал шум реки, торопил лошадь,

но перекатывающая камни широкая вода открылась в ущелье так неожиданно, что лошадь на скаку прыгнула почти па середину реки, прежде чем остановиться.

Джалалиддин спешился, ледяная вода обожгла его босые ноги. Он съехался и покачнулся, едва стал на твердое. Лошадь понюхала воду, пофыркала и стала пить маленькими глотками, часто отдыхая и глядя на хозяина.

Джалалиддин чувствовал, как напряжение от бешеной гонки спадает, движения его становятся легкими и свободными. Впервые за много дней ничего не остерегаясь, не щурясь, смотрел он вокруг: на красные заросли шиповника, струю водопада, бегущую со скалы.

Лошадь, осторожно ступая по камням, шла за Джалалиддином и, выйдя на берег, обнюхала своего хозяина.

А Джалалиддин сидел в странной, отрешенной позе, позабыв обо всем на свете — о том, кто он есть и что погнало его в эту дикую, безлюдную местность. Капли воды стекали по его щекам, сверкая на кончиках бороды, и курду, который смотрел на него немигающим взглядом из зарослей, лицо Джалалиддина показалось не то чтобы знакомым, виденным, но вызывающим какие-то далекие чувства, что-то смутное, неясное. Но о чем могло говорить ему это отрешенное лицо со следами былой суровой и беспорядочной жизни? Непонятно. Только одно решил про себя курд: с этим молодым, как и он сам, человеком, низкорослым, но крепким на вид, нелегко будет справиться, хотя и был он безоружным.

Курд разглядел наконец и то, что давно манило и привлекало его своим блеском, и в душе порадовался тому, что не зря столько времени гнался за всадником. Не мигая, он следил за каждым движением Джалалиддина, видел, как тот потянул лошадь к кустам, чтобы привязать и как лошадь поскользнулась, ступив на мокрый валун, и чуть не упала на передние ноги. Поводья лопнули, и нанизанные на них динары рассыпались на берегу. В другое время Джалалиддин не обратил бы на это внимания, тем более что золото это, как и бриллианты, алмазы и сапфиры, все, что украшало, блестело, было лишь мишурой, внешними знаками его власти, но сейчас почему-то он в спешке бросился собирать монеты и прятать их за пазуху.

А курд тем временем уже завязал петлю на конце аркана. Видно было, что преследуемый не торопится переходить реку, и потому курд готовился основательно, не спеша.

Джалалиддин все еще втайне надеялся, что хотя бы несколько его воинов с отчаянным Ур-ханом во главе смогут обмануть монголов и найти своего султана здесь, возле реки. Джалалиддину казалось унижительным появляться у ворот Майафарикина без сопровождающих, ибо, каким бы дружелюбным ни казался всегда Малик Гази, он может на сей раз встретить султана с еле скрываемым злорадством — так всякий раз вели себя маленькие правители, видя позор и унижение Джалалиддина.

Джалалиддин растянулся на теплых камнях, чувствуя приятное томление: уже давно не предоставлял он себя так свободно власти солнца и воздуха. Ничто не отвлекало его от шума реки, свиста птицы, и он, довольный, подумал: как все-таки хорошо быть одиноким, оторванным от всей этой суеты, какое это высшее благо...

Странно не то, что Джалалиддин позволил себе расслабиться, позабыть об опасностях, которые все время подстерегали его отовсюду. Обостренный нюх загнанного, все время преследуемого, чуткого на любой звук, любой запах, сейчас почему-то притупился, исказился так, что Джалалиддин не чувствовал возню курда за спиной.

Только мелькнуло раз тревожное, когда вспомнил Джалалиддин о женщине, которую привели к нему ночью, подумал, что в эти дни любой встречный человек может оказаться его последним в жизни собеседником... но напрягаться и переживать не стал, тут же забыл обо всем.

А курд уже целился в него, подняв над головой аркан. И, когда замахнулся, подавшись вперед, и петля, свистнув в воздухе, точно легла, обхватив кольцом шею Джалалиддина, курд услышал какой-то странный сдавленный звук, невыраженный крик, будто надломилось что-то, что уже давно дало трещину. Веревка в руке курда не натянулась с обычной силой, а лишь задрожала, затрепетала, словно в пойманном уже не было ни тепла, ни жара. Прыгнув, он потянул веревку, ловко, одним движением связал пойманного большой петлей по рукам и еще ногой надавил ему на грудь, не понимая, отчего это сильный, крепкий на вид человек поддался ему так безропотно, не бился, не кричал, а лишь хрипел, свистел, пытаясь глотать воздух.

Этот слабый свист, смутный возглас обреченного человека были так сладостны для слуха курда, так взбадривали его, что ему не терпелось уже сейчас одним ударом копья прикончить его — никогда еще не ловил он так легко, никогда еще человеческая жизнь не

казалась ему такой ничтожной, уже надтреснутой, такой соблазнительно податливой. От мысли этой пересохло у него во рту, да так, что казалось, язык распух.

Курд поднял было копьё, но вдруг увидел, как блестит, звенит золото — монеты, выпрыгивая из-под рубашки пойманного, катятся к воде.

Он бросился на землю и пополз; лошадь заржала, метнулась в сторону, пытаясь высвободиться от привязи.

А Джалалиддин, уже справившись с первым страхом, сидел, связанный, с презрительной усмешкой наблюдая за тем, как курд заталкивает монеты за пояс штанов.

Джалалиддин уже все понял. За что, за какие грехи? Почему не погиб он славно, в бою, или, на худший конец, загнанный, как отец, куда-нибудь на остров, на руках близких? По-разному он представлял свой конец, но только не у ног разбойника...

Курд, однако, хотя и любил золото, но не терял голову при его виде — он-то первым и услышал постороннее движение в зарослях и застыл, всматриваясь и сжимая в руке копьё.

Два всадника выпрыгнули к воде, криками «ап! ап!» сдерживая коней, и курд, узнав в одном из них своего жоака Мустафу, встал в напряженной позе в предчувствии дурного, моргая непрерывно глазами.

Эти двое тоже узнали своего, но Мустафа, едущий всю дорогу злой, не пожелал с ним разговаривать. От самых ворот Майфарикина, откуда они выехали утром, он тягостно молчал, думая лишь о том, как отомстить 1'ази, не уступившему его просьбе и, видно, открыто ищущему повод для ссоры. Вместо Мустафы заговорил его телохранитель, кунак.

— Это твой пленник, Агур? — спросил он, кивая в сторону Джалалиддина, и Джалалиддин вдруг приятно удивился тому, что понял его речь, — Похвально...

Курд в отчаянии топнул ногой и, сорвавшись с места, сделал два-три прыжка в сторону всадников, сжимая в кулаках золото.

— Я поделюсь с тобой, Мустафа. Твоя доля свята... Клянусь! Только скажи, чем Гази заплатит мне за убитого брата?!

Джалалиддин насторожился, услышав имя Гази, прислушался, не переставая удивляться тому, что говорят они по-персидски, и втайне надеясь теперь, что ему, может быть, удастся еще как-то объясниться с

ними...

Всадник нетерпеливым жестом пригласил Агура поближе и, когда тот сделал еще несколько шагов с вытянутыми руками, в которых блестели монеты, сказал:

— Но ты ведь оставил свой пост.— И сильным взмахом полоснул его по лицу плетью.

Курд повалился на землю, но быстро вскочил на ноги, и Мустафа с досадой посмотрел, как бежит он к зарослям.

Вожак глянул на своего попутчика, на Джалалиддина, словно упрекая их за то, что ему приходится быть свидетелем такого постыдного эпизода. Джалалиддин в ответ сделал бесстрастное, равнодушное лицо.

Агур прыгнул к зарослям, одним ловким движением на ходу отвязал лошадь Джалалиддина, вскочил и, помахивая копьем, поскакал; и все это сделал с такой дерзкой быстротой, что никто, кажется, не успел ничего сообразить, кроме Мустафы — польщенный резвостью своего подручного, он одобрительно посмотрел вслед коню, скрывшемуся за скалой.

Хотя в горах и не оставляли в живых ограбленную жертву, Мустафа решил сделать исключение и жестом повелел телохранителю забрать Джалалиддина с собой. Мустафа вспомнил о своем завтрашнем госте, бухарском купце Хаджи, которому он в числе прочих подарков отдаст в услужение и этого молодого пленного. И попросит Хаджи быть посредником в его споре с правителем Майафарикина.

С начала войны курды исправно отдавали часть награбленного, ибо разбойничьи их тропы пролегали и по землям Гази, но недавно они напали на майафарикинцев, приняв их по ошибке за хорезмийцев. В ответ май-афарикинцы убили десяток курдов, среди которых был и брат Агура, и грозились предать огню Айн-Дар, если Мустафа не выплатит им большой выкуп.

Попутчик Мустафы спешил и, отбросив конец аркана, освободил Джалалиддину руки. Спросил не из любопытства, а из желания унижить:

— Ты чей?

Джалалиддин с трудом встал на ноги, но петля, обхватившая его шею, мешала говорить, и курд ослабил веревку.

— Я хорезмиец,— сказал Джалалиддин, плохо выговаривая слова, он давно заметил в себе такую странность — на пределе сил и

изнеможения делался косноязычным, хотя одинаково легко говорил и по-персидски и по-тюркски.

Больше ни о чем его не спросили. Телохранитель вскочил на коня и потянул за собой на веревке Джалалиддина.

С противоположного высокого берега увидел Джалалиддин селение и вдруг подумал, что Мустафа может поверить ему. С достоинством держался в седле этот пожилой курд, многозначительно молчал, отринув от себя мелочь житейскую и суету — не пожелал даже, гордец, плеть свою марать о голову провинившегося караульного, — и Джалалиддин понял, что это не просто разбойник, но человек, кроме грабежа вынужденный вести еще и дипломатическую игру, маленький правитель, люди которого, как и всюду, рождаются, скрепленные между собой клятвой, договором, традициями до самой смерти.

Уверен Джалалиддин, что, если с глазу на глаз доверительно поговорить с Мустафой, открыть свою тайну, назваться, его поймут, помогут. Мустафу можно соблазнить золотом. Джалалиддин убедит отвести его в Майафарикин, а за это Мустафа получит от Гази хорошее вознаграждение.

Джалалиддин бежал за всадником по косоугору, и веревка на его шее то слабела, то снова натягивалась, когда лошадь неосторожно ступала на скользкий камень.

Так двигались они, приближаясь к селению, и не слышали, как крадется за ними Агур.

Получив удар плетью, Агур спрятался за скалой, дальше бежать не стал, зная, что погони за ним не будет — рано или поздно Агур сам явится к Мустафе с повинной.

Ударив лошадь копьём, он отогнал ее от себя и стал взбираться на скалу — не терпелось узнать о судьбе пленного. Тихо застонал он, когда увидел, что ведут они Джалалиддина за собой. След плети на лице вздулся, но мучало его другое — странный жар во рту, даже надавил на язык, не распух ли...

Агур уже собрался прыгнуть вниз и бежать за Мустафой, но в это время к реке выскочили трое всадников. Придержали лошадей, всматриваясь в следы на берегу и озабоченно поглядывая вокруг. Один из них был Ур-хан, и курд, давно не видевший всадника в одежде, так богато шитой золотом и камнями, застонал. Двое других, одетых поскромнее, но тоже нр» дорогим оружием, помчались через реку вслед за эмиром, явно стараясь найти чей-то след.

Агур хотя и понял, что прорвались они к реке по той самой тропе, на которой находится его пост, но не очень сожалел, что увезли с собой всадники столько золота. Заботило Агура другое. Приседая поминутно и прячась за валунами, он бежал к селу, страдая оттого, что пленный был свидетелем его позора.

Па всем пути Мустафа пять или шесть раз проходил мимо постов. Караульные сидели или лежали на скалах, положив рядом копья, но никто не удосужился встать и поприветствовать своего вожака. Но это нисколько не задело Мустафу, видно, такое обращение к старшему по чину было принято среди курдов.

Селение, к которому они приблизились, своим видом почти ничем не отличалось от множества других в горах, мимо которых приходилось проезжать Джалалиддину. Единственное, что еще как-то привлекало, сами жители, не сеющие, не пасущие скот, а живущие своим недобрым промыслом, но и это их занятие, казалось, никак не отпечаталось на их облике. Были заметны лишь сдержанность и равнодушие, с которым курды встречали своего вожака.

На главной улице, по которой всадник тянул Джалалиддина, шумел водопад, стекая в ручей. Женщины, стирающие белье и перебирающие шерсть у своих хижин, лишь глянули на эту тройку, и Джалалиддин, привыкший к иному обращению со старостами, правителями, засомневался: действительно ли Мустафа — их вожак. И только старик, сидящий у ручья, опустив ноги в воду, и жующий какие-то листья, заинтересовался возвращением Мустафы:

— Ну, как с тобой Гази? Прогнал?

— Не захотел и слушать, — пробормотал Мустафа, — потребовал столько золота... — И в сердцах махнул плетью по воздуху.

— Что ж, будем сражаться. — Старик помял листья между ладонями и снова бросил на язык.

Мустафа усмехнулся и молча проехал мимо него.

А Агур тем временем уже успел добежать до села. Припав к ручью, он пил, но жажда не утолялась, язык не остывал.

Хижина, возле которой Мустафа спешил, ни видом своим, ни богатством ворот не отличалась от остальных на улице. Телохранитель взял у него из рук поводья и поскакал дальше, ведя за собой и лошадь хозяина, а Мустафа крикнул:

— Мато!

Вышла толстая женщина, вся черная, и, ни слова не сказав мужу,

накрутила на руку конец протянутого ей аркана. И лишь глянула на Джалалиддина, недоумевая. Мустафа поспешил пояснить:

— Я его завтра подарю Хаджи. А Хаджи помирят меня с Гази...

— Ойе! — одобрительно воскликнула Мато и потянула за собой веревку во двор. Мустафа же, не заходя в дом, пошел дальше по каким-то своим делам.

Дворик, в который ввели Джалалиддина, со всех сторон был окружен стеной из сложенных вкривь и вкось камней. Дымился котел под орешинной, на ветви которой были подвешены подковы разной величины. Обрезки кожи валялись всюду под ногами.

— Садись! — потянула Мато пленника к орешине и привязала его, оробевшего вдруг, послушного, спиной к дереву. Уходя, она пояснила ему как-то доверительно: — Старик мой любит сапожничать в свободное время... Так, для себя.— И, покачиваясь лениво, все удалялась, пока не вошла в дом.

И хотя был привязан он, как овца, и хотя говорила с ним женщина, как с безъязыким, Джалалиддин с интересом всматривался, приглядывался... Защекотало в носу от дыма очага. Запах чужой, непонятно жизни взволновал его, и это волнение заставило задуматься.

Как быть теперь? И надо ли раскрывать свое имя? Что изменится в его судьбе в Майфарикине? Ведь все уже скатилось, жар порыва выветрился, дни остыли, отбили...

А Агур уже был недалеко от этого дома. Старик, по-прежнему жующий листья, лишь на мгновение остановил его:

— Агур, ты слышал? Гази прогнал нашего Мустафу. Некому теперь заступиться за убитых. Вай-вай! — И, обхватив голову руками, он сделал вид, что сильно мучается, сокрушается.

Агур лишь промычал в ответ, тыча пальцем в щеку, и побежал дальше.

«Ну а это? — думал Джалалиддин.— Новое?»

А что, если он и впрямь возьме* себе другое имя и будет жить просто, в рубище, босиком погоняя верблюдов Хаджи? Но каково оно, это новое? Как прожить его? Не успел он спросить об этом у женщины той ночью...

Прежняя жизнь кончилась, а другой он не знал, и это незнание страшило его.

Мато вышла из дома, покашливая. Села у порога, и, не глядя на

Джалалиддина, принялась чистить тыкву. Услышав топот за стеной, она подняла голову, прислушалась тревожно и, увидев, как вбежал во двор Агур, странно прижав к груди копьё, проворчала что-то себе под нос.

Агур глянул на Джалалиддина, затем высунул язык и опять потрогал его пальцем.

От жеста этого повеяло таким холодом, таким он был смертельно нелепым и страшным, что Джалалиддин поерзал, хотел сорваться, забыв о том, что привязан.

— Мато! — закричал Агур. — Почему этот хорезмиец еще жив?!

— Что ты! Что ты задумал? — Мато бросилась преграждать Агуру путь. — Он молодой, пусть служит Хаджи...

Но Агур уже успел прыгнуть к орешине.

— Мой брат, которого они убили, был лучше! — сказал он и с силой поднял копьё над головой Джалалиддина, желая еще раз услышать слабый свист, тот смутный возглас, который взволновал его своей загадкой...

Случилось это в конце лета 622 года⁸. А через несколько дней в горах начались обычные для этого времени осенние ливни. Река вздулась и принесла труп Джалалиддина в одно из городских озер Майафарикина. Для Гази смерть султана была долгожданным поводом, и он приказал перебить все мужское население Айн-Дар, а самое село сжечь дотла.

Отряд майафарикинцев вел на погром Ур-хан-эмир, который прорвался в город из-за того, что Агур оставил свой пост...

⁸ По мусульманскому летосчислению.

Насыр Фазылов

ПОДАРОК

Вот и подходит к концу мое пребывание в Алма-Ате. Только что я вернулся в гостиницу с прекрасного Медео, расположенного в самом сердце Заилийского Алатау, где чудно провел время в тесном кругу своих сверстников — молодых казахских писателей,— и теперь с наслаждением плюхнулся в мягкое кресло. «Итак, завтра домой. Билет на самолет — в кармане, с друзьями попрощался, осталось лишь уложить вещички в чемодан и, кажется, все...»

Когда я думал об этом, неожиданно зазвонил телефон. Я снял трубку:

— Алло!

— Ай, Насыр, это ты?— послышался в трубке хриловатый голос.

Я сразу узнал его.

— Я, Сабит-ага!

— Ай, Рыжик, ну где тебя носит?! Который раз уж звоню...

— В горы с ребятами ездил...

— Ладно, а теперь приходи ко мне.

Сказать по правде, я очень устал и идти мне никуда не хотелось. Но и аксакалу никак нельзя было отказать. И все же я было попытался:

— Устал я очень, Сабит-ага, собирался отдохнуть немножко,— начал я несмело.— Что-нибудь срочное?..

— Джигит ты или нет, и не стыдно тебе говорить об усталости?! — сказал он. Голос его при этом стал чуть выше.— Немедленно приходи! Твоя тетя Марьям наготовила еды, ждет тебя!

— Хорошо, хорошо, иду...— поспешно сказал я.

В голосе Сабита-ага мне послышался укор. Я осторожно положил трубку. «Гляди-ка, даже в словах, произнесенных с укоризной, сквозит доброта! Ничего не попишешь, надо идти,— сказал я себе.— Да неужто ж не успею собраться? Немного одежды да книги казахских друзей — подарок на память. Вернусь и суну все в чемодан. Минутное дело».

Когда я вышел на улицу, было уже часов семь. Пятачок перед гостиницей «Алма-Ата»—самое красивое, самое бойкое место в городе. Стоял прохладный вечер, и было особенно оживленно.

... И вот я уже на улице Мукана Толебаева, у дома, где жил Сабит-ага. Поднявшись на второй этаж, я нажал кнопку звонка на двух-

створчатой двери, обитой дерматином. Дверь мне открыла Марьям-апа, жена Сабита-ага. Она, видимо, вышла прямо из кухни: на ней был передник, щеки покраснелись от кухонного жара.

— А, Рыжик, дорогой, проходи...— Она отступила в сторонку, освобождая проход и, обернувшись, сказала:— Сабит, пришел твой Рыжик!

Я вошел в коридор и поздоровался:

— Салам алейкум!

— Ваалейкум...— Из кабинета вышел Сабит-ага. На нем была полосатая куртка, на голове черная бархатная тюбетейка. Вероятно, он работал.— Ну как, Рыжик, не скучал ты здесь? Да что это я, разве эти твои шайтаны дадут поскучать! Пройди-ка в гостиную, садись на диван. Да, и сперва хорошенько потопчи шкуру, что лежит там, я потом расскажу тебе про нее. А я сейчас...

С этими словами Сабит-ага снова скрылся в кабинете, а я прошел в гостиную, осторожно присел на диван и стал невольно разглядывать шкуру, которая лежала у меня под ногами. Это была шкура громадного медведя с длинной, в пядь, шерстью, и казалось, будто он живой, просто растопырил лапы, положил голову на ковер и спит. «Обыкновенная медвежья шкура. И отчего это Сабит-ага велел мне как следует потоптать ее? Видать, за этим что-то кроется»,— думал я про себя. В ожидании хозяина я стал рассматривать комнату: большой зал с огромным столом посередине, накрытым зеленым сукном, вокруг стола — стулья. Паркетный пол начищен до блеска. По стенам висели фотографии, картины, на серванте стояли вазы, статуэтки и другие сувениры, отчего комната напоминала музейный зал. Это были подарки на шестидесятилетие Сабита-ага. Я тихонько встал с дивана и принялся рассматривать фотографии, картины. Почти на всех был запечатлен хозяин дома. Особенно мне понравился его портрет, вышитый шелком. На нем Сабит-ага был как живой: в шерстяном казахском чекмене, на голове соболий тельпак, глаза чуть сощурены, улыбаются чуть лукаво. «Настоящее произведение искусства,— подумал я.— Не знаю, что за мастер сотворил его, но пусть глаз у него будет всегда столь же верным!»

Разглядывая эти фотографии и картины, другие подарки и от солидных организаций, и от простых читателей, я невольно почувствовал гордость, гордость за то, каким уважением, каким почетом, какой любовью пользуется этот писатель у своего народа!

В этот момент в комнату вошел Сабит-ага и, положив мне руку на плечо, сказал:

— Пойдем, ужин готов.

Мы прошли в столовую. За окном было уже совсем темно, а здесь ярко горела хрустальная люстра. Мы сели за стол, ломившийся от множества вкусных вещей. Из кухни пришла Марьям-апа и шутливо сказала:

Этот Рыжик с самого приезда даже не зашел ни разу. Видать, девушками был занят, к чему ему такая старуха, как я.

— Верно, дорогая,— лукаво засмеялся Сабит-ага.

Вероятно, я немного покраснел от этих слов.

— Да не красней, угощайся лучше,— сказала Марьям-апа,— а я сейчас принесу горячее.

Через несколько минут Марьям-апа принесла дымящийся ляган аппетитного бешбармака...

После ужина я попросил разрешения уйти, сославшись на то, что завтра мне лететь в Ташкент, а я еще не уложился.

— Когда у тебя самолет?— спросил Сабит-ага.

— В двенадцать дня.

— О-го,— произнес Сабит-ага вразяжку.— Да у тебя, оказывается, еще уйма времени. Оставайся, у нас переночуешь.

— А может, Рыжик пригласил сегодня к себе какую-нибудь девушку,— снова пошутила Марьям-апа.

Я просто не мог отказать Сабигу-ага и остался на ночь. Мы еще долго сидели и разговаривали о разном. Время от времени я невольно вспоминал те странные слова Сабита-ага—«сперва потопчи как следует шкуру...», но все никак не решался напомнить ему об этом. Был поздний вечер, когда Сабит-ага наконец поднялся с места.

— Послушай, Рыжик, есть у меня привычка прогуливаться перед сном. Если желаешь, пойдем со мной, а нет, так ложись на диван и спи,— сказал он, взяв стоявшую в углу палку с рукоятью в форме топорика.

— Конечно, я с вами...— с готовностью сказал я. Да как бы мне ни хотелось спать, разве ж я мог валяться на диване, когда пожилой человек предлагает прогуляться?— Пойдемте!

И вот в половине одиннадцатого мы неспешно идем по обсаженной деревьями аллее. Улица Мукана Толебаева очень красива, по ней, оказывается, транспорт не ходит, и здесь всегда тихо, спокойно.

Неоновые светильники разливают молочный свет, там и тут стоят резные скамьи со спинками. Уже довольно поздно, и людей почти не видно, только иногда пройдет мимо парочка или любители свежего воздуха сидят на скамейке, беседуют. Журчание воды в бетонированных арычках приятно ласкает слух.

Дойдя до конца улицы, мы повернули назад. От дома Сабита ага это километра два. По его словам, каждый день перед сном он совершает подобную прогулку. Отличная привычка! Вот бы взять ее на вооружение, да все что-то мешает...

Когда мы прошли уже полпути, мне вдруг опять вспомнилась шкура огромного медведя. «Может, спросить его о ней, сейчас как раз самое подходящее время», — подумал я.

— Сабит-ага, знаете, у меня никак не идет из головы та шкура.

Услышав про шкуру, Сабит-ага внезапно остановился, помолчал немного, видимо, собираясь с мыслями, огляделся. Затем, заметив скамейку под деревом, сказал:

— Пойдем присядем.

Когда мы сели на скамейку, он начал свой рассказ:

— Шкура эта...

* * *

...Удивительно хорошо бывает на джайлау «Учкудук» но вечерам. А днем, напротив, как говорят, птица пролетит, крылья опалит, тулпар проскачет, копыта обожжет. Может, оттого, что джайлау это расположено среди песков или по иной какой причине, а может, просто такова природа этих мест, только зной и прохлада меняются здесь местами, как день с ночью.

Утомленные изнуряющей дневной жарой овцы блаженствуют в загоне, сплетенном из ветвей и прутьев, лежат вповалку, положив головы друг на дружку. Глубокую тишину степи нарушают лишь редкий собачий лай за загонем да трескотня кузнечиков. Над черной полоской земли светлое небо. Отчего-то кажется, что звезды сегодня горят ярче обычного. Молодой чабан Донан лежит навзничь на низком самодельном сури у края загона и пристально вглядывается в мерцающие над ним звезды, погруженный в глубокое раздумье. На душе у него тяжело. Неподалеку от загона чернеют две юрты: одна — дяди его Бекмурада-ага, а вторая — его собственная. Вот уже недели

две, как он не заходит в свою юрту; страшно ему заходить туда. Вот и лежит он но ночам на этом сури. А почему? Об этом знает он один и эти две недели думать ни о чем другом не может. Думает, думает, тяжело вздыхает, плачет, скрывая слезы от дяди и жены его, в этом укромном месте...

Сегодня завфермой Буранбай-ага привез из района последние новости и свежие газеты. Среди новостей была и такая: администрация совхоза по просьбе местных чабанов решила выделить в их распоряжение один мотоцикл с коляской. «Вон оно как,— думал про себя Донан.— всегда одно и то же. Пока не стрясется какая беда, ничего у них не допросишься. Эх, кабы тогда был этот мотоцикл. А теперь пускай подавятся им! Да чего уж там говорить, дело прошлое». А газеты писали о том, что в связи со своим шестидесятилетием в район приезжает известный писатель Сабит Муканов. В областной галете была напечатана большая статья о нем одного местного писателя, с фотографией. Сообщалось, что приедет он завтра, и по этому случаю состоятся большие торжества. Буранбай-ага рассказал, что руководство района решило провести встречу с писателем прямо на главной площади райцентра, опасаясь, что все желающие встретиться с ним не уместятся в небольшом клубе. «И правильно решило,— думал Донан, все так же лежа на спине,— конечно же, не уместятся, раз приезжает такой большой писатель... Э-эх... моя Калдиргач, как ты, бедняжка, любила читать книги Сабита Муканова. Особенно роман «Бутакуз», из рук его не выпускала, герои его стали для тебя родными... И вот, родная, завтра твой любимый Сабит Муканов приезжает в гости в наш район... А где же ты?—У Донана ком подступил к горлу, и он долго лежал молча... Затем, видно, вспомнил о чем-то и слабо улыбнулся.— А помнишь, ты тогда ждала ребенка, и я никогда не забуду, что ты сказала мне. Была полночь, ты чувствовала, как внутри тебя толкается наше будущее дитя, и теснее льнула к моей груди. Я тоже был пьян от счастья. И хотя в юрте, кроме нас с тобой, никого не было, ты шептала мне на ухо, словно кто-то может услышать: «Донан-ага, если у нас родится дочь, назовем ее Бутакуз, а если сын — то Аскарром»⁹. И тогда я осторожно прижал тебя к своей груди, выражая этим свое согласие...»

Только что сиявшие над Донаном звезды сперва как бы вспыхнули и затем стали медленно гаснуть, а по лицу его все струились горячие

⁹ Герои романа казахского писателя Сабита Муканова «Ботакуз».

слезы. Не в силах превозмочь свою слабость, он повернулся ничком на медвежьей шкуре, которая была расстелена на сури, и долго лежал гак, крепко сжимая руками длинную шерсть, плечи его вздрагивали...

— Эй, Донан, спишь, что ли?!

Голос, произнесший это, заставил Донана рывком сесть на сурн. Дядя его, Бекмурад-ага, стоял над ним с зажженным фонарем. Он поднял фонарь повыше и пристально уставился на Донана.

— Йе, глупый, это еще что такое? А ну, вытри глаза! Нашел из-за чего плакать! Ладно, поедешь. Один день я и сам присмотрю за овцами. Но только вечером чтоб вернулся.

— Ладно,— сказал Донан, еле сдержав улыбку. Если б не был он в таком состоянии, то как бы рассмеялся сейчас от радости

— Пусть будет так,— повторил дядя и направился в конец загона поглядеть на овец.

Когда он ушел, Донан криво усмехнулся: «Да где уж ему понять мое горе! Гляди-ка, как разжалобился. Но раз уж разрешил, схожу я, Калдиргач, погляжу, и за тебя тоже...».

А дело было в том, что когда завфермой Буранбай-ага привез эту радостную весть о приезде в район Сабита Муканова, Донан попросил у дяди отпустить его в райцентр, но тог под разными предлогами отказал ему. А вот теперь, видно, увидел его в таком состоянии, разжалобился и разрешил.

Бекмурад-ага сдержал свое слово. Первое, что увидел Донан, когда встал утром, была уже оседланная гнедая кобыла с белой отметиной на лбу.

— Ага, лошадь мне не нужна, пешком пойду. Мне ведь не привыкать,— сказал он дяде.

В словах его сквозил неприкрытый намек. Бекмурад ага сразу же понял его и хмуро взглянул на племянника, но промолчал. Донан и сам понял, что вышло нехорошо, однако прощения просить побоялся, дабы не портить смягчившихся отношений, и тоже стоял молча. Бекмурад-ага пробурчал:

— Собрался протопать пешком тридцать пять верст! Болван!

Получив ночью разрешение Бекмурада-ага, Донан не сомкнул глаз до самого утра, все думал. А думал он о том, что же ему подарить писателю. В самом деле, разве ж можно идти к такому знаменитому человеку с пустыми руками? Ведь его так любила Калдиргач! Нет, нужно обязательно подарить что-нибудь. Но что? Что бы подарить

такое, чтобы душа Калдиргач возрадовалась? Что?.. Думая об этом до рассвета, он в конце концов решил, что подарит медвежьей шкуру. Он быстро встал с сури и свернул шкуру. Затем сложил ее вдвое и сунул в кенафный мешок. Подумав о том, как бы мешок не увидел Бекмурад-ага и не отругал его, Донан спрятал шкуру в укромном месте.

Поблагодарив Бекмурада-ага, Донан сел на кобылу, подъехал к тому месту, где был спрятан мешок, аккуратно запихнул его в хурджун и отправился в путь.

Да, в такую жару и верхом проехать тридцать пять верст дело вовсе не шуточное: лошадь вся взмокла, и всадник утомился. Таким вот образом Донан доехал до райцентра и увидел на центральной площади большую толпу народа. «Началось уже!» — мелькнуло у него в голове. Понукая лошадь, он подъехал к толпе, но, увидев, что, кроме него, тут нет ни одного человека верхом, засмутился. Он отъехал в сторонку и остановился у ворот какой-то усадьбы. Привязал кобылу к телеграфному столбу, торчавшему возле ворот, даже не подумав, можно ли. Затем вынул из хурджуна мешок со шкурой и направился к толпе...

В жизни Донан не видел столь торжественного собрания; он даже рот раскрыл от изумления. Ему доводилось и прежде бывать на этой площади — он приезжал сюда с совхозными школьниками на праздники. А в год окончания десятого класса он прошел Первого мая мимо этой большой деревянной трибуны рядом с Калдиргач. Ряды демонстрантов с флагами и транспарантами проходили мимо трибун, а руководители района, стоя на ней, приветственно махали им руками, время от времени кто-то громко выкрикивал с трибуны очередной лозунг, и последние слова утопали в громких криках «Ур-ра!». Нет, сегодня все было по-другому. Среди руководителей, знатных людей района на трибуне стоял любимый писатель Сабит Муканов. Донан смотрел лишь на него; он выглядел почти так же, как на одной фотографии в какой-то своей книге. Только на фотографии он был посерьезнее да и одет иначе — в черный костюм с галстуком, на левом лацкане пиджака — депутатский значок. А сейчас на нем был легкий белый шелковый халат, на голове красовалась бархатная тюрбетейка. С довольным выражением на лице смотрел он не на бойкого оратора на трибуне, а на людей, пришедших в такую жару из уважения к нему, молча ловящих каждое слово выступающего. Вот он сказал что-то забавное и тут же раздался взрыв хохота, а за ним грянули

аплодисменты. И Сабит-ага тоже смеялся удачной шутке, сотрясаясь всем своим дородным телом.

Какая-то непонятная сила толкала Донана вперед, и он стал пробираться сквозь толпу к трибуне. Неуклюжий мешок, который держал в руке, задевал людей, и иные хмуро поглядывали на него, словно говоря: «Из каких тугаев явился этот неотесанный казах?!» Когда он уже дошел до первого ряда, кто-то легонько дернул его за рукав и прошипел:

— Ну, что ты за человек, ступай назад!

Донан разозлился. Что он за человек? Да самый обыкновенный! Тоже мне нашелся! Вдруг он заметил, что Сабит-ага пристально разглядывает его, и в глазах его при этом сквозит теплота и сердечность. Чувства эти невольно передались и Донану. А Сабит-ага по-прежнему не сводил с него глаз. Быть может, этот молодой чабан напомнил ему его собственную молодость, те далекие времена, когда он сам был чабаном, сиротой. Похоже на то, иначе отчего же он улыбается, почему не отводит взгляд?

Подумав об этом, Донан украдкой оглядел себя. Вот те на! Гляди-ка, в чем явился! В том, в чем овец пас! Бестолочь, ведь новенький черный свадебный костюм, белоснежная сорочка с галстуком все еще висят в юрте, обернутые марлей. Бекмурад-ага-то ладно! А вот жена его, Улбика, она-то почему не напомнила?! Да, в таких делах Калдиргач была внимательной. Если он собирался пойти куда-нибудь, она всегда заставляла его надеть чистую одежду, даже если он очень упрявился. Ему стало обидно до слез. Щеки у него пылали то ли от жары, то ли от стыда. Он уже собрался было уйти, как тот, кто дернул его за рукав, резко бросил ему:

— Ну, чего ты торчишь здесь? Есть ли в тебе хоть капелька культуры ?!

Донан пристально взглянул в лицо этому неприятному типу, который с виду был ему ровесником. Эх, сказал бы он такое не здесь, а на его джайлау. он бы непременно смазал ему по физиономии.

— Нет, ты один здесь культурный!— только и сказал Донан и отвернулся.

А парень, услышав эти слова Донана, выпучил глаза от изумления. Донан отошел к группке людей, сидевших на корточках с краю, положил мешок на землю и сел на него. И опять ему показалось, будто Сабит-ага смотрит на него. Да нет, это ему только показалось. Ведь до трибуны было далеко, и разве ж можно было узнать, смотрит он на

него или нет. Он пристально взгляделся в писателя. И все-таки смотрит!

Донан очнулся от бурных рукоплесканий. Сабит-ага, с черной палкой в руке, медленно вышел вперед. Первый секретарь райкома накинул ему на плечи алый бархатный халат, расшитый золотом на плечах и полах, а затем надел на голову тюбетейку того же цвета.. Среди поднявшегося при этом гомона слов первого секретаря не было слышно; люди, не скрывая радости и волнения, криками выражали свои чувства, и торжественный митинг стал походить на базар. Кончив речь, первый секретарь хотел было обнять и расцеловать юбиляра, но не смог обхватить его. И опять раздался взрыв хохота. Он снова что-то сказал. И хотя природа наградила его зычным голосом, слов его все равно не было слышно. Однако всем и как было все ясно. Вот он жестом указал Сабиту-ага куда-то в сторону и вручил ему камчу. И снова со всех сторон раздалась возгласы, рукоплескания. Донан тоже взглянул туда, куда указывал первый секретарь, и увидел там двух парней (один из них был тот самый, который обвинил Донана в бескультурье), державших под уздцы скакуна. Ну, прямо вылитый тулпар! Того и гляди взмоет в небеса!

Сабит-ага медленно подошел к скакуну. Парни взяли его под руки и помогли взобраться на него. Сабит-ага поднял вверх камчу. Шум на площади вдруг стих. Ловкие фотографы щелкали его своими аппаратами со всех сторон. Были здесь и киношники. Один из них, сощурив глаз, бегал вокруг скакуна, стрекоча своим киноаппаратом.

Вот это подарок как подарок! Вот где любовь и уважение! Эх, не был бы я таким болваном, разве б осмелился привезти такому знаменитому писателю какую-то грязную шкуру в подарок?» Донану стало стыдно от этих мыслей, и, покраснев всем лицом, он стал осторожно протискиваться сквозь толпу, чтобы уйти, как вдруг в ушах его словно зазвучал голос Калдиргач: «Остановись, Донан, не стыдись, вручи свой подарок!» Он невольно остановился и оглянулся. Глядит, а того скакуна уже привязали в сторонке. Похоже, встреча закончилась, но народ не спешил расходиться, видимо, хотели поближе поглядеть на Сабита-ага и стояли в ожидании чего-то. В этот момент кто-то осторожно тронул его за локоть. Донан обернулся и опять увидел возле себя того сердитого парня.

— Ну, чего еще надо-то?— грубо спросил его Донан.

— Пойдем, тебя Сабит-ага спрашивает.

У Донана мурашки пробежали по телу.

— Зачем издеваешься?!

Да пошли же, он ждет,— улыбнулся парень.— Ну, что ты все-таки за человек!..

— Он же совсем не знает меня.

— Я тут при чем? Сказал, позови вон того парня с мешком.

Веря и не веря, Донан двинулся к трибуне.

— Может, оставишь свой мешок здесь?—спросил парень.

Донан только хмуро взглянул на него и молча продолжал идти.

Сабит-ага стоял в тесном кольце людей, в основном это была молодежь, и подойти к нему было невозможно. Руководители района в сторонке оживленно разговаривали с явно приезжими людьми. Это, должно быть, были писатели и поэты, приехавшие вместе с Сабитом-ага из столицы. Сабит-ага тем временем ставил автографы на книгах, которые принесли с собой люди. Подойдя к этому плотному кольцу, Донан остановился, а парень тихонько протиснулся к писателю и что-то шепнул ему. Сабит-ага посмотрел в сторону Донана и сделал знак, мол, погоди немного. Это, видимо, означало: «Вот кончу раздавать автографы и поговорим».

Через некоторое время Сабит-ага махнул Донану рукой:

— Сынок, поди сюда.

Не выпуская из рук мешок, стесняясь, Донан подошел к нему. А Сабит-ага глядел на него с улыбкой.

— Ассалам алейкум,— поздоровался Донан.

— Ваалейкум,— ответил Сабит-ага, пристально оглядев Донана с головы до пят. Я давно тебя заметил... Похоже, у тебя есть какое-то дело ко мне, а, сынок?

«Ой, да откуда же он узнал?— мелькнуло в голове у Донана.— Да ведь он же писатель. Видно, верно говорят, будто писатели сразу чувствуют, что творится у человека на душе!»

От смущения Донан не мог вымолвить ни слова, и тогда Сабит-ага пришел ему на помощь.

Откуда ты, сынок?— спросил он.

— Из «Учкудука».

А работаешь кем?

— Чабан я. Помогаю дяде пасти овец.

А далеко ли отсюда твой «Учкудук»?

— Верст тридцать пять будет.

— Скажи, ты ведь не просто так проделал такой путь?

— В-верно...— слегка заикнувшись, ответил Донан. Затем подумал, что настало время вручить подарок, и, положив мешок перед собой, стал его развязывать. Сабит-ага молча наблюдал за ним. Развязав мешок, Донан с силой выдернул из него шкуру и расстелил ее на полу. Шкура была хорошо выдублена, но еще не совсем просохла, и от нее исходил неприятный запах.— Сабит-ага, это... вам... подарок от меня...

Вдруг откуда ни возьмись рядом с Донаном оказались два человека, видимо, из местного начальства, и напустились на него:

— Эй, парень, ты что здесь творишь?

— И не стыдно тебе?!

Сабит-ага сурово взглянул на них и сказал:

— Прошу вас, оставьте нас, пожалуйста, одних на минутку.

Два чиновника, то и дело оглядываясь, словно желая проглотить глазами опозорившего их парня, отошли подальше. А Сабит-ага с минуту внимательно разглядывал шкуру, а затем позвал кого-то по имени. Это опять оказался все тот же парень.

— Светик мой, сложи-ка аккуратно эту шкуру,— сказал ему писатель.

Парень кивнул головой, бросил украдкой хмурый взгляд на Донана, затем брезгливо взял шкуру за край и потащил прочь.

Да, Сабит ага давно заметил этого молодого чабана, заметил на лице его отражение какого-то сильного душевного волнения, почувствовал, что он хочет что-то сказать ему, и поэтому подозвал его к себе, но он вовсе и не подозревал, что дело кончится таким необычным подарком, и твердо решил узнать, что же за этим кроется. Районное начальство собиралось дать банкет в честь юбиляра, и Сабита-ага уже поджидали, чтобы увезти. Он знал об этом, но тем не менее сделал знак ожидавшим, мол, потерпите немного, и положил руку на плечо Донану. Они отошли в сторонку, чтобы им не мешали, и сели на скамейку. Сабит-ага помолчал немного, размышляя, с чего бы начать разговор. А Донан просто онемел от волнения.

Ну, рассказывай, сынок,— наконец первым нарушил молчание Сабит-ага.— Отчего ты такой печальный?

Донан молчал.

— Давно уже пасешь овец?

— Два года.

— А школу окончил?

— Да, десятилетку. После окончания мы решили остаться в своем

совхозе.

— Молодцы! Ты женат?

Вопрос этот, словно соль, растревожил свежую рану в сердце Донана. Кровь прихлынула к его лицу, к горлу подступил комок. Понимая, что если заговорит, то может расплакаться, он молчал. Сабит-ага не понял, что происходило у парня в душе, подумал, что он просто робеет.

— А ты не захватил ее с собой?

— Кого?

— Как «кого»? Жену!

— Ее... ее больше нет...

Сабит-ага ничего не понимал. Голос его сделался жестче:

— Послушай, парень, что ты такое говоришь? Скажи яснее.

— Тут в двух словах не расскажешь, ага, непонятно будет... А-я не отниму у вас время?

— Рассказывай.

— Хорошо,— согласился Донан, глубоко вздохнув.— Мы с Калдиргач...

...Донан с Калдиргач после окончания школы остались в родном совхозе.

Донан рано лишился родителей и вырос в доме у дяди, Бекмурада-ага. А Бекмурад-ага всю жизнь был чабаном. Едва кончалась зима и землю пригревало весеннее солнышко, он грузил свои пожитки на арбу и кочевал с одного джайлау на другое, с одного адыра на другой. Это был очень упрямый, строптивый человек, ничего не признававший в жизни, кроме своего занятия. Жена его, Улбика, была женщиной слабовольной и ни в чем не смела перечить мужу. Хорошо зная характер мужа, она всегда соглашалась с ним, повторяя одно и то же: «Ваша правда!» Ежели б была на то воля Бекмурада-ага, то он бы и старшего сына своего Базарбая, и дочь Рукию, живших в совхозе у бабушки и учившихся в школе, перевез бы на джайлау и заставил бы пасти овец! К счастью, не было у него такой возможности. «Ну, выучатся, должность какую займут, что ли?»— то и дело ворчал он. Как будто люди только для должностей и учатся...

И вот прошло уже две недели, как очередное упрямство Бекмурада-ага обернулось непоправимой бедой.

Прошлым летом Бекмурад-ага женил своего племянника на Калдиргач. И хотя характер у него был тяжелый, обычаи он чтит свято

и устроил такой той, что все остались довольны: и родственники, и друзья, не говоря уже о женихе с невестой. Ведь они с седьмого класса полюбили друг друга, дали друг другу обет верности! А сколько бессонных ночей провели в ожидании этого счастливого дня!

Женившись, Донан стал пасти овец вместе с дядей, а Калдиргач вела хозяйство: чистила загон, доила овец. Словом, оказалась она работающей, расторопной...

И вот пару недель назад Улбика заметила, что у Калдиргач приближается время родов. «Нужно везти невестку в район, в больницу, иначе нельзя. Я ведь в жизни не была повитухой... А там знающие доктора, она благополучно разродится»,— думала Улбика. Она осторожно поделилась своей мыслью с Калдиргач и уговорила ее согласиться, велела ей не делать тяжелую работу. А вечером, после ужи!а, когда Донан с Калдиргач ушли в свою юрту, Улбика осторожно поделилась этой мыслью и с Бекмурадом-ага. Но муж все молчал, и она, глядя ему в рот, проговорила:

— Ну, скажите же хоть что-нибудь.

— Какая казахская женщина рожала у докторов?— проворчал муж.— Куда ж она пойдет в такое страдное время? Не сегодня завтра шерсть надо будет с овец стричь...

— Да ведь не на тысячу же дней она уедет? Мулла бола отвезет ее к доктору и вернется. чуть не плача возразила Улбика. Она всегда называла Донана «мулла бола» — «ученый мальчик». — Вернется и сделает всю работу, какая требуется..

Бекмурад-ага промолчал. И поняв это как знак согласия, Улбика добавила:

— Сделайте одолжение, пусть вам все идет впрок! Не откажите. Пускай отвезет ее на гнедой кобыле.

— Что-о!— услышав о кобыле, взорвался Бекмурад-ака.— Еще чего! Пускай пешком идут, не помрут, молодые еще...

Улбика хорошо знала упрямый нрав мужа — скажет, как отрежет! И ей волей-неволей пришлось проводить молодых в путь на следующий день, когда на землю уже опустилась вечерняя прохлада, дабы невестка не мучилась в зной...

Легко ли прошагать в кромешной тьме по извилистой тропинке, изобилующей спусками и подъемами, тридцать пять верст? А каково это беременной женщине?! Хорошо еще, что родились они в степи. Нездешнему человеку любой кустик в ночной темноте мог бы пока-

заться волком или чудовищем каким, и сердце его могло бы разорваться от страха. Но как бы там ни было, дорожные муки сделали и с ними свое дело. Когда они прошли примерно полпути, Калдиргач сильно устала. Кроме того ее вдруг охватила жажда. То ли от шилпилдока, приготовленного из копченого мяса, который они поели перед дорогой, то ли оттого, что Калдиргач в пути то и дело посасывала соленый курт, в горле у нее сильно пересохло. Они присели отдохнуть под громадный куст тамариска. Под кустом было прохладно, от листьев его исходил удивительно-приятный запах, вокруг стояла глубокая тишина, а в вышине мерцали яркие звезды.

— Вот бы сейчас пиалу воды...

Донан промолчал. Гляди-ка, то ли из головы вылетело, то ли от гнева на дядю позабыл он взять в дорогу воды.

Они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Чувство жажды все усиливалось. Вдруг где-то как будто залаяла собака. Донан прислушался. Ага, вот залаяла вторая. А вот они лают хором. Он поднялся с земли и стал оглядываться в ту сторону, откуда слабо доносился лай. Он увидел какой-то тусклый огонек, а собаки все продолжали беспокойно лаять, и чей-то глухой голос прикрикнул на них: «Ну!»

— Аул!— обрадовался Донан.— Но ведь здесь же никакого аула не было?!

— Значит, переехали. — тоже обрадовалась Калдиргач.— Ты так говоришь, будто не знаешь, что чабаны постоянно кочуют с места на место...

— В самом деле,— сказал Донан.— Послушай, Калдиргач, ты посиди здесь, а я сбегая за водой...

— Хорошо,— согласилась Калдиргач.

— Или вместе сходим?

— Нет. иди один. Устала я. отдохну пока.

— Ну, ладно.

Донан быстро пошел на огонек. Но когда он отошел немного, у него отчего-то екнуло сердце, и он, то и дело оглядываясь назад, пытался в темноте разглядеть тот куст тамариска. А впереди мерцал огонек и манил к себе, словно обещая воду, и лай собак становился все ближе. Спотыкаясь, Донан почти бежал, не разбирая дороги, колючие кустарники цеплялись за штанины, порой больно жала голени ног. Теперь совсем близко слышался уже беспокойный говор людей, а собаки, видимо, погнавшись за кем-то, убежали за аул. Донан уже

отчетливо различал два домика, стоявших впереди, кучку верблюдов, лежащих на земле чуть поодаль; отчего-то тревожно блеяли овцы, сбились в куру, а люди, собравшиеся перед юртой, что-то обсуждали.

Донан подошел к ним и поздоровался:

— Ассалам алейкум.

Разговор резко оборвался. Люди оторопели при виде Донана — откуда он здесь взялся, с неба упал, что ли? От группы отделился старик с подрагивающей бородкой и протянул Донану руку.

— Ваалейкум... сынок, проходи,— сказал он. не скрывая своего изумления.— Что ты ходишь в такую темень?

— Мне нужна вода...

И Донан обо всем рассказал им. А люди стояли и смотрели на него, словно говоря: «Да в своем ли ты уме, парень? Отправиться в путь на ночь глядя». В этот момент к старику с бородкой подошел здоровенный пегий пес, подняв хвост и жалобно повизгивая, потерся о полу халата, но, увидев Донана, оскалил зубы.

— Лежать, Олпар!— крикнул старик. Собака, поджав хвост, ушла за юрту. А старик, повернувшись к Донану, сказал:— Только что на скот чуть не напал медведь!

— Медведь?!

— Да. Он еще вчера здесь объявился. Со вчерашнего дня покоя не дает, проклятый! Видно, надо переезжать на другое джайлау, только так мы от него избавимся.

— Э, пусть только рассветет,— сказал кто-то,— я ему покажу!

— Так ты ему и покажешь?— возразил другой.

— Это почему же? У меня ружье есть. Позовем с соседнего джайлау Киргизбая-снайпера.

— Так и нужно сделать,— согласился старик.— Эй, дайте гостю воды. Посуда у тебя есть, сынок?

— Нет. Мне б хватило бутылки.

— Найдите бутылку и наполните ее водой,— крикнул кому-то старик. А ты, сынок... совсем не вовремя в путь-то отправился.

— Сам видишь, какая темень кругом. Лучше б ты привел жену сюда. А утром бы пошли. Согласен?

В это время маленькая девчушка принесла бутылку с водой и протянула ее Донану. Поблагодарив ее, Донан ответил старику:

— Мы подумаем.

— Сделайте, как я сказал, сынок. А то как бы чего не вышло.

После всех этих разговоров сердце у Донана тревожно билось от какого-то смутного предчувствия, но он старался не выдать себя перед незнакомыми людьми. Сжимая в руке бутылку, он бросился к тому тамариску, под которым оставил Калдиргач. Он так спешил, что не выпил даже глотка воды. Язык у него распух, он задыхался. Не в силах больше бежать, он перешел на шаг, а затем снова побежал. Наконец он увидел впереди большое темное пятно. Это был тот самый куст тамариска, к которому он так спешил. У него стало как будто легче на душе. Он чуть замедлил шаг, чтобы передохнуть немного, и вдруг споткнулся обо что-то. Еле удержавшись на ногах, он взглянул вниз ...и, не веря своим глазам, застыл как изваяние. У ног его лежало окровавленное тело Калдиргач. Одежда на ней была изорвана в клочья, бедняжка столько ползла по земле перед смертью. Донан кинулся к бездыханному телу жены.

— Калдиргач!!!

Дикий крик его пронзил зловещую тишину ночи. А Донан все кричал, как безумный, не соображая, что делает. А рядом тихо булькала, выливаясь из бутылки на солончак, вода, которую он принес.

—...Вот как было дело, Сабит-ага.

Трагедия эта, разыгравшаяся в бескрайней степи, сильно подействовала на Сабита-ага; лицо его было скорбным, в глазах блестели слезы; он сидел молча, вперившись взглядом в парня.

— А потом,— Донан, горько вздохнув, закончил рассказ.— Потом... мы с ребятами из того аула, где мне дали воду, отвезли Калдиргач в совхоз и там схоронили ее... А на следующий день, взяв ружье, я пошел по следу того кровожадного зверя. Со мной был и Киргизбай со своими людьми... Но я сам пристрелил его, а шкуру выдубил Киргизбай-ага.— Он сделал паузу и добавил:— И эту шкуру я дарю вам, Сабит-ага. Живите тысячу лет! И всю жизнь топчите эту проклятую шкуру, таково мое желание...

Донан не в силах был говорить больше, и, не сдержавшись, уронил голову на грудь. А Сабит-ага зажмурил свои узенькие глазки еще сильнее и гладил парня по плечу, желая успокоить его, но не знал, как унять его слезы...

* * *

Сабит-ага закончил свой рассказ. А я, под впечатлением этой

страшной трагедии, сидел молча, уставившись глазами в землю.

— С тех пор уже минуло десять лет,— сказал Сабит-ага, положив мне руку на плечо.— И всегда, когда ко мне приходят гости, я прошу их топтать эту шкуру и сам топчу ее каждый день.

— А вам известна дальнейшая судьба Донана?

— Отчего же неизвестна. Я привез его сюда, учиться устроил. Он закончил институт и сейчас работает в родном совхозе зоотехником.

— Только вот до сих пор не женат,— сказал он и тяжело поднялся со скамейки, опираясь на палку. Пошли, Рыжик, спать пора.

Время близилось к полночи, улица была совершенно пуста, было удивительно тихо. Я шел рядом с Сабитом-ага и с ужасом думал, как же я смогу уснуть возле шкуры этого дикого зверя, который сгубил молодую красивую женщину и ее неродившееся дитя («если у нас родится дочь, назовем ее Бутакуз, а если сын — Аскарром»), растоптал счастье и мечты такого чистого парня, как Донан...

Сагдулла Сияев

ВОСПОМИНАНИЯ

К вечеру жара спала, и воздух словно немного пожелтел от медленно тающих солнечных лучей.

Тетушка Равшан, прочитав коротенькую молитву, провела руками по лицу и поднялась из-за стола.

– Чего же вы торопитесь, мама? – сказала невестка. – Вы ведь и так редко бываете у нас. И сына не повидали.

– Пойду, дочка. Проведала. Все у вас, слава богу, в порядке. Будьте счастливы.

– Ильхамджан придет с работы, проводит вас, – не унималась невестка.

Старуха вздохнула и надела кавуши. Невестка засуетилась, сунула в пакет конфеты, печенье, проводила Равшан до калитки.

– Приходите почаще, – сказала она, целуя сморщенные щеки свекрови.

Тетушка Равшан подошла к трамвайной остановке. Народу – видимо-невидимо. На дверях стремительно пролетающих вагонов висят парни, покуривая сигареты. «Дай вам бог сильные ноги», – подумала тетушка Равшан и перешла на противоположную сторону улицы. Шла она медленно и долго. С пакетом в руках, в белоснежном кисейном платке, она тяжело шагала, словно усталый путник, и порою с надеждой поглядывала на все еще пролетающие мимо гремящие трамваи. Они по-прежнему были полны. Тетушка Равшан подошла к скверику и свернула в тенистую аллею. Посидеть бы. Глянув на медленно заходящее солнце, она опустилась на скамейку. Положила рядом с собою пакет, вздохнула и поглядела по сторонам. Зеленые деревья, цветы. Как много цветов вокруг. Небольшой фонтан – аккуратными струйками падает вода. Тетушка Равшан тяжело вздохнула. Пахнет цветами и водой. Вода тоже имеет свой запах.

На сердце почему-то было тревожно.

Тетушка Равшан неподвижно сидела на скамейке и разглядывала водяные струйки фонтана – казалось, они падают прямо с неба.

...Когда-то здесь, на этом самом месте был Пьянбазар. Почему он так назывался, она и по сей день не знает.

Чуть пониже располагался квартал ремесленников. С утра до ночи

здесь гремели молоты кузнецов. А на месте вон того красивого дома была земляная крепость. Там стояли солдаты.

В ту пору Равшан была маленькой. Отец ее, крестьянин, сеял, пахал, выращивал овощи и все отвозил вот на этот самый базар.

Однажды он взял с собою Равшан.

Она закуталась в материнскую паранджу, и ехали они на попутной двухколесной арбе. Ей было тогда лет двенадцать. Они с отцом продали овощи и фрукты и купили полосатую бязь на платье. Она хорошо помнит то свое платье.

На базаре сплошная толчея. Пыли по колено, у лавок гомонят ребятишки. Мужчины усатые, бородатые. Теперь таких не встретишь. А нищих, нищих дервишей... с черными чашками на шее для подаяния. Кричат, причитают:

*Создал всех людей аллах,
Человек – былинка, прах.
После смерти в царстве божьем
Все равны – и раб и шах...*

Вдруг вода в фонтане зажурчала громче, и этот звук прогнал воспоминания.

На аллее показалась группа девушек. Они о чем-то весело болтали, перебивая друг друга. Ну, чисто птицы.

Поравнявшись со скамейкой, где сидела тетушка Равшан, девушки остановились.

– Свободно? – спросила одна с продолговатыми глазами и очень нежным, как показалось тетушке Равшан, голосом.

– Свободно, свободно, – ответила Равшан, забирая кулек со скамейки на колени.

Девушки опустили на скамью, как воробьи на ветку, и тут же забыли о старухе. Они оживленно говорили о чем-то своем.

Вроде бы неловко слушать чужие разговоры, – подумала тетушка Равшан. Но больше нигде нет свободной скамьи, а хочется еще немножко посидеть. Она глядела перед собою, стараясь не слушать болтовню девушек.

И все равно невольно слышала и шепот и смех.

– Потихе.

– Да она не услышит.

– Как бы не так, к старости слух обостряется.

– Умница, дай за это я тебя поцелую.

– Отстань, измажешь помадой.

И снова смех.

Одна из девушек открыла портфель и вытащила открытки:

– Это Ленинград!

– Смотрите, девочки, какая красота.

– Ага, – закричала другая, – открытки из Ленинграда. Значит, и письмо есть. Давай сюда портфель.

Обладательница портфеля смутилась.

– Ну ладно. Я и так знаю, что пишет тебе твой Камал. Слушайте! «Пусть это письмо летит быстрее ветра в мой родной Узбекистан, к моей прекрасной Бустан».

– Смотрите, смотрите, да она просто стихами говорит.

– «Как ты живешь, моя прелесть, не скучаешь ли обо мне?»

– Конечно, скучает, как же, столько парней вокруг!

– Молчи, а то я потеряю нить. «Моя радость, белые ленинградские ночи кажутся мне черными без тебя. Я обезумел от любви и уже, кажется, начал заговариваться».

– Неправда, этого в письме нет.

Девушки снова засмеялись.

– Когда же он приедет, этот влюбленный?

– Ты о ком, о Камале?

Она начала что-то говорить, но тетушка Равшан больше ничего не расслышала.

Камал! Как странно.

У нее тоже был свой Камал. И одинокий чинар был, и река рядом, и луна.

Камал подходил к саду и заглядывал через забор. Увидев однажды Равшан, он робко подозвал ее, сунул в руки письмо и попросил: «Потом прочтешь».

Она помнит все, что было написано на этом листке.

Я на тебя взглянул – твой пленник я с тех пор:

Лишь об одной тебе я думаю...

К тебе стремится и душа и взор,

Лишь об одной тебе я думаю...

Он был учителем в их кишлаке. В ликбезе. Высокий, с очень ясным лицом. И озорной.

Тетушка Равшан улыбнулась.

...Однажды он перелез через забор и подошел к ее дому. А из дома кто-то в этот момент вышел. Камалу показалось, что это Равшан. Он тихонько подкрался сзади и обнял. Было темно. Но Камал сразу понял, что ошибся.

– Караул! – закричал мужской голос. Это был отец Равшан.

Камал перепрыгнул через забор и удрал.

Отец слег от испуга. Позвали домуллу, тот читал молитвы, изгонял злых духов. Ничего не помогло. Тогда Камал привел откуда-то русского доктора. Доктор выслушал старика и сказал: «Все пройдет, это небольшой шок». И прописал лекарство.

Через пять дней отец поднялся.

– Дай бог здоровья тому, кто привел доктора, – сказал отец. – Кто привел-то?

– Кто же, ясно, Камал, – ответила мать.

– Учитель?

– Учитель. Умный он парень.

– Просто от смерти меня спас. Я бы за него дочку отдал, если бы он согласился.

– Нужно еще у дочки спросить, может, он ей не нравится, – лукавила мать.

– Не противоречь! Такой парень. Кого ей еще нужно?

Равшан слышала тот разговор...

А девушки все гомонили.

– Мы вчера в анатомичке были.

– Ну и что?

– Тот человек вовсе не от тифа умер.

«Медички», – подумала Равшан.

А бедный Камал умер как раз от тифа. Они тогда собирали Илхамджана в первый класс.

Теперь сын уже инженер. Строит дома. Красивые, высокие. Но Равшан не может жить у него. Уж очень высоко – голова кружится. У нее маленький дворик. Что может быть лучше? Цветы. А как пахнут вечерами.

Может, молодым и хорошо на этажах, уголь не нужен, горячая вода в доме.

А Равшан нравится мести и поливать свой дворник. Она уже немолода. И привыкла, не может без цветов, без своего удобного веника.

Девушки говорили о модных платьях.

Равшан поглядела на солнце – вот-вот скроется. Она медленно поднялась, взяла пакет. На душе больше не было тревоги, словно она решила какой-то важный для себя вопрос.

Тетушка Равшан выпрямилась и легкой походкой зашагала по аллее. Она уже не была похожа на усталого путника, возвращающегося из дальних краев.

ЧУДНЫЕ СОСЕДИ

Живут по соседству два колхозных механизатора — Умматали и Гайбулла. Друзья — не разлей вода. По модному ныне лунному календарю (заметим, справедливости ради, что в наших краях считать таким образом годы — дело среди стариков обыкновенное) Умматали родился в год рыбы, а Гайбулла — в год зайца. Умматали сорок четыре стукнуло, когда поспела черешня, а Гайбулла справит свои сорок пять, как созреют дыни.

Друзья удачно, ничего не скажешь, дополняют друг друга. Подвижный коренастый Умматали под стать высокому и нескладному Гайбулле. Не успеет Гайбулла еще и рта раскрыть, а Умматали уже целую лекцию прочтет.

И любой вам, если спросите, расскажет, что свадьбы играли друзья в один и тот же год, и что детей у каждого по восемь — притом по четыре мальчика и по четыре девочки, и что жили они до поры до времени на окраине кишлака. Ну, а когда освоили колхозные пустоши, выделили им там по участку — знай себе стройся. Так и встали рядышком два дома. Что у одного друга во дворе, то и у другого, даже собаки как две капли воды похожи — казахские овчарки — Коплан да Сиртлон...

Который год и тот и другой ходят в передовиках, и если зайдет разговор о пятой бригаде — укажут первым делом на Гайбуллу, а о шестой — на Умматали. Работают друзья отменно и зарабатывают — грех жаловаться. Чего ж еще желать?

Много разных пересудов вокруг доброй дружбы Умматали и

Гайбуллы. Не перестают удивляться односельчане: столько лет живут они бок о бок, а ни разу даже не повздорили и при каждой встрече так друг другу рады, словно не виделись целую вечность. И всегда ведь найдется у них о чем поговорить.

Да что поговорить! Один без другого поест нормально не может. Если не за стол друга посадит, так через забор касу с шурпой передаст, а тот взамен — манты, да такие, что пальчики оближешь. Ну как не отведать?

И тянулись так день за днем и год за годом. И не было этой дружбе конца.

Но вот однажды завела жена Гайбуллы такой разговор:

— Пора нам, наверное, отец, машину брать. Совсем тяжело стало: из магазина иду — руки буквально отваливаются. Возраст уже, видно, не тот.

— А почему ребят не пошлешь?

— Э-э, о чем вы говорите? Вон вчера послала Гайрата за керосином, а он, негодник, хлопкового масла в баллон налил!.. Скажешь: «рафинад» — принесут сахарный песок. Ладно бы только это... Соберешься мать проведать, весь день на дорогу уходит. С машиной же — раз-два и там. А летом? Сколько яблок, урюка, сколько зелени пропадает? Смотреть больно. Будь машина, собрали бы мы огурчики, помидорчики — да на базар. Яблоки поспели — туда же. Разве плохо?

— Хорошо-то хорошо, но ведь можно и без базара прожить. Томатный сок сделаем, а фрукты посушим, зимой — в самый раз.

— Может, и огурцы сушить прикажете. Нет, уж лучше купить машину, отец. Поговорите с председателем, вам он не откажет. Да и Сухбатилла через годик-другой за руль сядет.

Гайбулла почесал затылок и сказал, задумчиво глядя на жену:

— Купить — не проблема, но как Умматали на это посмотрит? Что, если обидится?

— Ну при чем здесь Умматали! — всплеснула руками жена. — Обидится — пусть себе обижается! А завидно станет, пойдет и купит себе тоже. Слава богу, не нищий. Только вот что: не говорите ему ничего прежде времени.

Несколько дней ходил Гайбулла сам не свой, все обдумывал. И представлялось ему, как подъезжает он к дому на машине и высыпает на улицу ребятня и его, и соседская. И только друг его, Умматали, вместо обычного приветствия, поворачивается к нему спиной. Кошки

скребли на душе Гайбуллы от этих видений. А жена знай помалкивала, только глазом косила.

Не выдержал, наконец, Гайбулла — пошел в правление, к председателю. Так, мол, и так, сказал,— машина нужна.

И месяца не прошло, как во дворе Гайбуллы стоял, отливая свежей краской, новенький желтый «Москвич». Зашел Умматали — поздравить друга с покупкой. Потрогал ласково машину. «Хороша! Пусть служит она тебе верой и правдой»,— сказал он, похлопав Гайбуллу по плечу. «Так уж получилось, дружище...» — «Да-да, я понимаю. Выделили колхозу машину: не ты, так кто-нибудь другой взял бы «Верно»,— закивал Гайбулла. Тут жена Умматали вошла с бархатом. Положила подарок на капот и на мужа посмотрела. С выражением.

Теперь дело было за Умматали. Он не стал просить председателя: взял деньги да и махнул с шурином в Джезказган. Неделя — и вернулся оттуда на молочном «жигуленке». Настал черед Гайбуллы поздравлять, и на сердце у него полегчало — есть и у друга машина. Подарил он соседу шелковый чехол и, как умел, похвалил его «Жигули», а Умматали, давай в ответ его «Москвичу» оды петь. На том и расстались.

Денька через три наведалься к Гайбулле в гости свояк Эшпулат, специально на «москвичонок» взглянуть. Ходил он вокруг машины, цокал и не понять, нравилась она ему или нет.

А что, и Умматали машину взял?— спросил вдруг Эшпулат, сморщив и без того узкий лоб.

Купил, сказал Гайбулла.— «Жигули».

- Друг называется,— протянул Эшпулат с сомнением,— Разве так друзья поступают? Ну взял бы тоже «Москвич», ан нет — решил, видно, соседу нос утереть.

Запали в душу Гайбуллы слова Эшпулата. «А в самом деле, почему он не купил «Москвич»? Мне, мол, и осел сгодится, а ему коня под седло?»

Плуньте, не переживайте, один мой кореш мигом все обделаает,— успокоил Эшпулат.

Мигом не мигом, а спустя три с половиной месяца Гайбулла въехал во двор на новом, без единой царапинки «суперлюксе».

Не имел Умматали среди близкой родни такого Эшпулата, но и далекая, когда надо, приходила на выручку. Она-то и засуетилась, спасая престиж Умматали. Быстро нашелся покупатель на «Жигули», а взамен откуда-то издалека пригнали бордовую «Волгу». Ну просто

заглядение!

Когда Гайбулла зашел взглянуть на новую машину, Умматали, отводя глаза, посетовал:

Что поделаешь, у того «жигуленка» дефект на дефекте. Мотор, честно говоря, с первого дня барахлил. Родственники все о «Волге» толковали. Говорят: зверь-машина.

Правильно сделал, дружище. Ну что «Жигули»? Сел в кабину, а голова в потолок уперлась. Ведь и дом чем просторней, тем лучше.— И скрывалось за этой фразой: «Погоди, Умматали, мы тоже не лыком шиты...»

В тот же день Гайбулла исчез, и носило его где-то недели две. Когда наступила в колхозе пора уборки урожая, на диковинной стального цвета машине приехали двое в кепках-«аэродромах» и стали спрашивать, где тут Гайбулла проживает...

Поздним вечером к дому Гайбуллы началось настоящее паломничество местных автолюбителей. Автомобиль, узкий спереди и широкий сзади, был нашпигован фарами и подфарниками, которые вспыхивали, как только Гайбулла поворачивал ключ в замке зажигания.

Один из родственников Умматали, увидев машину соседа, авторитетно заметил: «Не вешай носа, любезный. Она самое большое год у него побегаёт. Запасных частей к ней днем с огнем не сыскать, увидишь, продаст он ее потом за бесценок».

Установил Умматали на своей «Волге» магнитофон с очень даже неплохим звучанием. Но и здесь Гайбулла перещеголял своего друга.

«Раз «жеребец» у меня японский, то и голос ему чужой не подойдет»,— решил он и купил в комиссионном магазине портативный японский магнитофон. Тогда, недолго думая, Умматали оснастил свою «Волгу» телевизором и маленьким холодильничком.

Сел Гайбулла как-то к Умматали в машину и сказал задумчиво: «Да, «Волга» есть «Волга». Ход мягкий, как будто река течет. Скучно — на тебе телевизор, захотел напиток — доставай из холодильника минералку. Здорово!» — «Как же в дороге без удобств?» — улыбался польщенный Умматали.

Взялся и Гайбулла за автоматизацию.

Только откроет он дверцу своего «жеребца» — Муножат Юльчиева поет про черные глаза, по цветному телевизору — футбол или какое-другое зрелище, душно — кондиционер лицо обдувает.

Умматали озадачили новинки Гайбуллы, но и раззадорили не на шутку. «Разве это автоматика?—твердил он упрямо.— Вот посмотрим, что у меня через неделю будет».

Он поехал в город и вернулся с приятелем-телеграфистом, мастером на все руки. Засели они с приятелем (благо, уборка кончилась и до пахоты времени чуток оставалось), нос из дома не показывали. Первым делом поставили реле на ворота: подойдешь к ним, и «сезам» говорить не нужно, и так распахнутся, а войдешь — сами же и сойдутся. И во дворе сплошь чудеса. Потянешь на себя дверь коровника — лампочка загорается, прикроешь — гаснет. И в комнатах везде кнопки, рычажки, рубильники: все съезжается, разъезжается, вспыхивает...

Автоматизация приняла такие масштабы, что не обошла и туалетную комнату. Последнее обстоятельство, правда, едва не обернулось трагедией. Приехал из горного кишлака родственник и понадобилось ему спозаранку в эту самую комнату. Открыл он дверь, а оттуда голос, как из преисподней: «Человек, в мире этом ты — временный гость». Родственник бухнулся в обморок, еле в чувство привели.

Поразмыслив, отключил Умматали магнитофон от столь опасного места.

Гайбулла с любопытством взирал на перемены в доме соседа, хвалил того за находчивость да смекалку, советовал даже что-то. А сам на ус мотал, что видел, и заранее руки потирал.

Минула осень, незаметно пролетела зима. К весне дома друзей напоминали микростанции. На каждой из крыш торчало по десятку антенн, вокруг разноцветная проводка, лампочкам и мигалкам вообще счету нет!

И все же обставил молчун Гайбулла своего соседа. Перед самым выходом в эфир программы «Время» телевизор его включался в сеть без посторонней помощи, если, конечно, был к этому времени невключенным. К шести утра заводился его импортный «жеребец» — мотор прогревал, а клетка в курятнике автоматически отворялась. Дожует корова последний клоч сена — на террасе красная лампа об этом сигнализирует, останется же дверь коровника открытой — включается желтая лампа и колокольчик звенит...

Задумался Умматали крепко-накрепко: ему ли терпеть поражение? Несколько дней ходил он да прикидывал, чего б еще такого внедрить. И пришла-таки спасительная идея: прибежал он среди бела дня домой, вывел со двора машину и рванул, ни с кем и словом не обмолвясь, в

областной центр. Там — прямо к начальнику аэропорта. Дождлся приема и, назвавшись, сразу взял быка за рога:

— Я бы хотел вертолет приобрести, если есть такая возможность. Можно и не новой конструкции.

— Что?— не понял начальник.— У вас груз, что ли, какой-то для перевозки?

— Какой еще такой груз? Мне,— ткнул Умматали пальцем себе в грудь,— нужен. Позарез. Может, найдется у вас списанный вертолетик, мне б его восстановили.

«Он не в своем уме»,— решил начальник аэропорта и осторожно, чтобы ненароком не задеть несчастного, сказал:

— Видите ли, почтенный, здесь у нас не магазин по продаже вертолетов. Поймите, ну какое я имею право взять и продать государственное имущество первому встречному?

— Я — первый встречный?! — с достоинством возразил Умматали,— Я в колхозе двадцать два года проработал. Ударник. Обязательства выполняю, награды имею. А сколько раз в газетах портрет мой печатали!.. И по «Ахбороту» однажды показали! Неужто не видели? И не даром же я прошу, заплачу наличными, но со скидкой, как за списанный.

«А может, он нормальный?— подумал начальник аэропорта.— Тогда зачем ему вертолет?»

— Послушайте, уважаемый, вертолет ведь — не машина, и даже списанный больших денег стоит.

— Пусть это вас не волнует. Деньги найдем!— отрезал Умматали.

На обратном пути машина летела, как на крыльях. В голове

Умматали рисовались картины одна радужней другой. Вот он садится за штурвал своей белоснежной «стрекозки» и взлетает над домом, а Гайбулла стоит внизу и, задрвав голову, следит за его вольным полетом.

Но как только он въехал в кишлак и увидел в той стороне, где стоял его дом, поднимающиеся в воздух черные клубы дыма, картину как ветром сдуло. «Пожар!— испуганно выдохнул он.— Неужто мой горит?»

Умматали вспомнил про бочку с бензином, зарытую под яблоней, и с перепугу развил такую скорость, что едва полкишлака не передалвил.

Оказалось, дым валит из соседнего дома, вернее из того, что от того осталось. Сиротливо торчали стены с обгорелыми рамами окон, тлели внизу толстые бревна крыши, домашний скарб. Грустное было

зрелище.

У ворот собралась внушительная толпа зевак. Они степенно обсуждали причины пожара, пока те, кто помоложе и посноровистей бегали по двору с ведрами и тянули к дому шланг. Умматали подошел к поникшему Гайбулле и тронул друга за плечо:

— Не горюй, сосед. Была бы голова цела, а дом новый выстроим — лучше прежнего.

— Правильно,— поддержал его седобородый старик, что стоял рядом.— И я об этом же говорю. Дай бог только здоровья. Радуйся, Гайбулладжан, что дети уцелели...

С детей пожар-то и начался. Завел пятилетний Файзулла мальчишек во двор и давай хвалиться отцовской «автоматикой»: то одну кнопку нажмет, то другую, любуйтесь, мол, разноцветными огоньками, Вдруг, бац!— и замыкание: от искры пошел гулять огонь по постройкам.

Направился Умматали к себе и все провода «с мясом» повыдернул.

Двор Гайбуллы вскоре расчистили, и поехали друзья за стройматериалами. На тракторных тележках подвезли они доски, шифер, балки для перекрытия, в общем, все, что нужно. Работа закипела. Теперь слово было за строителями. В темпе дошли те до крыши, хотели уже перекрытием заняться, но пришла жена Гайбуллы и полезла с советами:

— Отец, все равно ведь заново кроете, так поднимите стену кирпичика на четыре — пусть воздуха больше будет. Вспомните, какой наш дом низкий был.

Напряг Гайбулла память, но не вспомнил.

— И что это тебе взбрело в голову? «Низкий»! Что, голова о потолок задевала?! Столько лет жила и молчала, а теперь — на тебе. Ну, подниму я крышу, Умматали обидится.

— Ой-ой, вы посмотрите на этого человека,— запричитала жена.— Да вы только сравните его дом и свой. Наш дом перед тем, как жалкая сиротка. Любого спросите, если не верите.

Почесал Гайбулла затылок. «Эх, была — не была, подниму стены на два кирпича, чтобы с соседом сравняться...» — решил он.

К середине лета закончили отделку. То ли благодаря новому шиферу, то ли свежей побелке, но выглядел он как-то внушительней соседского.

Это не могло остаться незамеченным женой Умматали.

— Господи, первый раз вижу человека, который сам себе враг,— сказала она однажды и ехидно взглянула на дом соседа.— Целый месяц другу помогали, спины не разгибая ни днем, ни ночью, а так ничего и не заметили...

— А что я должен был заметить?— удивился Умматали.

— Гляньте на его крышу! Ну, видите? На целый метр выше прежней! Гору перед нами воздвигли с вашей помощью, чтобы к нам и света луч не проникал. Небось этого ваш друг добивался? А как иначе понимать? Что теперь будет с моим огородом? В такой темени и четырьмя пучками лука на нем не созреть. Не-е-ет! Надо и нам поднять стены!

— Бестолочь!— вскипел Умматали.— Прикажешь начать все сначала. Не помнишь, до чего это довело? Довольствуйся тем, что есть!

— Я бы довольствовалась, если бы ваш милый друг прежнюю высоту оставил!— сердито парировала жена.— Так куда гам! Вон какую махину отгрохал. Так и хочет показать, что выше вас и не только ростом. Ну, конечно, родня, деньги... Но не беда: я своих братьев попрошу подсобить. Чем мы хуже соседа?!

Сплюнул Умматали под ноги и пошел в сарай за топором...

Через несколько минут посыпались на землю отрываемые от балок целехонькие плиты шифера.

Нигмат Аминов

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

Заведующий Муладжан Барноев, человек уже в годах, солидный с виду, и голос имел солидный, начальственный. А говорил Муладжан-ака этим голосом как декламировал. Наверное, из всего человечества так говорят только чтецы-эстрадники. Да еще школьники — когда добросовестный учитель, по долгу службы, требует отбарабанить свежезаученный стих «с выражением». Вот и сейчас, сняв трубку звонившего телефона, заведующий продемонстрировал в хорошо смодулированных интонациях первого ученика:

— Муладжан Барноев слушает! Да... я... Ах, это вы, Халил Эркаевич!— голос товарища Барноева несколько утратил эстрадность, интонация стала ближе к общечеловеческой.— Простите, ака, привык уже как-то... Собрания, заседания... резолюции, решения... С докладами, сами знаете, выступаешь... С народом говоришь... Поневоле привык, Халил Эркаевич!

Некоторое время заведующий слушал молча, потом, сказав «слушаюсь», тихонько положил трубку. И даже погладил ее. Ко мне обратился уже опять в том же тоне, каким всегда говорил с народом:

— Нового работника к нам направляют...

— Кого, товарищ заведующий?

— Не спешите с догадками, дорогой мой! «Если потерпишь и дашь созреть зеленым фруктам, они превратятся в сладости...» А ну, скажите-ка окончание этой поговорки!

— Чего?

— «Если потерпишь и дашь созреть зеленым фруктам, они превратятся в сладости...»

и не помнил окончания этой мудрой поговорки. К тому же мне было неясно, как соотносятся мой вопрос о личности будущего сослуживца и фруктовый афоризм.

Муладжан-ака укоризненно покачал головой, как бы говоря: «Эх, молодежь!...» И торжествующе продекламировал:

— «Если по терпишь и дашь зеленым фруктам созреть, они превратятся в сладости. Если не потерпишь — просто бесполезно исчезнут с веток».

Я смолчал, приготовившись услышать что-нибудь еще из народной

мудрости, имеющее столь же косвенное отношение к предмету разговора, как и изречение о нерентабельности поедания незрелых плодов. Водилось такое за нашим заведующим! Бывало, спросит подчиненный у товарища Барноева, как бороться за план по огурцам при наличии нехватки бочкотары. А Муладжан-ака ему в ответ: «В жизни всегда есть место подвигу!..»

Или прямо спросит: «Скажите-ка лучше, сколько детей у Джона Кеннеди осталось? И как зовут старшего?»

Собеседник, конечно, не может ответить, теряется. И начисто забывает, ответа на какой вопрос он сам жаждал, входя в кабинет руководителя. Правда, иногда эрудиция нашего заведующего срабатывала по случаю того, что присутствующие на какое-то время переставали уделять товарищу Барноеву должное внимание, которого он заслуживал как руководитель. Подождет Муладжан-ака минутую, а потом скажет, как обычно — с выражением: «А кто, товарищи, помнит имя норвежского короля? И его порядковый номер?» Подчиненные, ясно, мнутя, отмалчиваются. Не помнят! Улыбнется Муладжан-ака, головой покачает: «Стыдно, товарищи! Интересоваться политикой нужно. Газеты читать. Повышать уровень...»

Но в этот раз, возможно, под впечатлением телефонного разговора с вышестоящим товарищем, энциклопедические знания заведующего не были употреблены для очередного повышения моего общего уровня. Товарищ Барноев перестал качать головой и произнес — с выражением, как обычно:

— Хороший человек Халил Эркаевич! Хороший руководитель. Заботливый. Вот, посылает к нам молодого специалиста... С университетским образованием.

Не успел я высказать свое согласие с мнением заведующего о хорошем руководителе Халиле Эркаевиче, как дверь приоткрылась. На пороге стоял худощавый парень с волнистыми волосами и большими умными глазами.

— Разрешите?..

— Входите,— разрешил Муладжан-ака.— Присаживайтесь на тот диван!

Парень сделал два шага и присел на краешек дивана. Картонную папку, принесенную в руках, неловко пристроил на коленях. И вообще, чувствовалось, что робеет.

— Что у вас? Слушаю...— с выражением произнес наш заведующий

щий.

— Я... по распределению... на работу...

— После университета, значит?... Какой факультет окончили?

— Филологический.

— Мда... Это хорошо — филология! Нам такие специалисты нужны. Кадры решают все! Знаете?

— Знаю...

— Значит, знаете... Тогда ответьте-ка мне, кто такой Макарнос?

Парень опешил. Должно быть, решил, что ослышался. Потом, все еще с удивлением глядя на будущего начальника, ответил:

— Архиепископ Макариос — президент республики Кипр.

— Так, так... хорошо. Политикой вы, видно, интересуетесь... А как обстоит дело со знанием языка, литературы?... Так... «Если будешь хорошим — проживешь в благополучии...» Скажите-ка окончание этой пословицы?

— Пословицу?

— Пословицу!

Парень, похоже, стал приходить в себя и тоже продекламировал, приятно улыбаясь:

— «Если будешь хорошим — проживешь в благополучии, будешь плохим — заплатишься головой...»

— Неплохо, неплохо! — похвалил Муладжан-ака. — Знания у вас соответствуют. Это нам подходит... Да, а как ваше имя?

— Муладжан.

— Как?

— Муладжан.

— Выходит, мой тезка, — Муладжан-заведующий как-то по-новому глядел на Муладжана-филолога... — Ладно... Муладжан так Муладжан... Ну, а фамилия?..

Парень, заметивший, что своим именем почему-то произвел невыгодное впечатление на будущего начальника, фамилию выговорил с некоторой опаской, чуть слышно:

— Барноев...

— К-как?! — Муладжан-ака подскочил на стуле, даже, как мне показалось, на мгновение завис в атмосфере. — Как вы сказали?!

— Да, Барноев! Муладжан Барноев, — в голосе дипломированного филолога прозвучала отчаянная решимость обреченного: один, мол, ответ!

— Вот так, значит... Значит, все-таки Барноев?—удивление на лице нашего заведующего сменилось непреклонной решимостью. Наверное, таким и должно быть лицо настоящего руководителя в миг выстраданного всей предшествующей руководящей деятельностью стратегического озарения — озарения, которому единственно суждено отобилизовать и сгруппировать усилия вверенного коллектива по части широкого разворачивания, глубокого внедрения, а также претворения в жизнь.

— Но вы хотя бы понимаете всю меру ответственности, налагаемой этим фактом? Сознаете, так сказать?

Парень явно не сознавал.

А Муладжан-ака продолжал декламировать, всем своим исполнительским мастерством подчеркивая трагизм создавшегося положения:

— Ведь Муладжан Барноев — это мы... я то есть! Заведующий, руководитель! Как же вы мыслите жить и работать под этим известным в кругах близких к нашему учреждению именем? Осилите ли? Потянете? Не ударите в грязь?

Барноев-филолог, подавленный роковым анкетным совпадением и искусством декламации, виновато поднял глаза на известного в определенных кругах однофамильца.

— Но у меня... у меня и в паспорте записано! Честное слово!

— Изменить!— чувствовалось, что Муладжан-руководитель старается быть снисходительным и справедливым.— «Верблюд хорош, если горбат. Слово хорошо, если прямое...» В общем, предлагаю вам сменить имя, фамилию. Например... Да вот: Мулабек Барноходжаев!

Когда выяснилось, что Барноев-два не в состоянии оценить перспективу, которую открывал перед ним совет известного однофамильца и тезки, Муладжан-ака сочувственно вздохнул. И, просветлев лицом, сказал:

— Значит, не хотите... Что ж... Тогда прошу ответить, как зовут того грека-империалиста, что женился на вдове Джона Кеннеди? А дочку того грека?..

Муладжан, который собирался поступить на работу, выглядел растерянным. Несомненно, он клял того грека, а заодно всех прочих империалистов. Вместе с их дочками.

— Не знаете. Что ж...— Муладжан-руководитель встал с места. Но, должно быть, он все еще старался оставаться справедливым. И

снисходительным.— Ладно! Еще один вопрос... Скажите, какова численность населения в королевстве Бутан?— Подождал и сам же ответил:— Вот ведь — не знаете! Миллион населения. Миллион. На такие элементарные вопросы не сумели ответить... Недоученность! Как же с таким багажом с докладами выступать? С народом говорить? А пилология ваша что утверждает?.. А утверждает она, что (Пословица краса слов...) Ну, дальше?..— не дождавшись ответа, досказал:

— «А борода — краса парня...» В общем, не подходите вы нам, молодой человек. Работа наша и знаний требует основательных, и чувства ответственности... Не подходите!

Муладжан, только что постулавший на работу, тоже встал.

— Значит, не подхожу...— Барноев-два уже не выглядел ни удивленным, ни растерянным. Даже улыбался.— Очевидно, вы правы, домулла... Но не разрешите ли перед уходом и мне задать вам вопрос?

— Отчего ж не разрешить? Пожалуйста! Спрашивайте, что не ясно,— пророкотал Барноев-руководитель.

— Скажите, пожалуйста, окончание пословицы «Со скромностью сможешь трудности одолеть...»

Муладжан-ака быстро взглянул в потолок, откашлялся и ответил:

— Такой пословицы не существует!

— Простите — существует,— вежливо, но настойчиво возразил парень.

— У меня, знаете, целая книга этих пословиц! И там...

— Разрешите, я найду ее в вашей книге?

Муладжан, принимавший на работу, вынул из шкафа книгу «Узбекские народные пословицы», протянул Муладжану, постулавшему на работу. Тот раскрыл книгу, полистал и ткнул пальцем:

— Вот, домулла: «Со скромностью сможешь трудности одолеть. Будешь хвастаться, придется краснеть». Ну, да ладно... Всего доброго, домулла!

И однофамилец нашего заведующего вышел, осторожно прикрыв дверь.

Муладжан-ака еще с минуту смотрел в книгу, потом захлопнул ее и с выражением сказал, обращаясь ко мне:

— Слышали: «Со скромностью!..» А сам-то каков скромник! Меня учить вздумал! А?.. Так, значит, и доложим Халилу Эркаевичу...— товарищ Барноев потянулся к телефону.— Энциклопедист недоученный!

РАССКАЗ ДЛЯ КОНКУРСА

В газете как-то был объявлен конкурс на лучший рассказ о становлении Советской власти в Средней Азии и борьбе с басмачеством. Учился я тогда на факультете языка и литературы пединститута, и мы как раз занимались разбором рассказов известных писателей на эту тему. Это объявление как бы подхлестнуло меня, и я решил испробовать свою писательскую одаренность. Признаться, я до этого никогда ничего не писал, если не считать писем домой, состоящих в основном из описания здоровья, погоды и просьбы выслать денег. Но, как говорится, чем черт не шутит: возможно, у меня талант, и до сих пор просто не представилось случая раскрыть его.

Выбор сюжета для меня не составлял труда. Мало ли в жизни случаев, которые можно описать. К примеру, вчера дедушка, у которого я квартировал, рассказал мне интересную историю. По теме она как раз подходит: полунищий дехканин Рузи-немой в годы гражданской войны проявил настоящий героизм. Несмотря на свою глухоту и немоту, он правильно осмысливал все, что вокруг творилось. И когда курбаши Кабил со своей бандой затаился в кишлаке Кашикчи, он добрался до красноармейцев, привел их в кишлак и указал им, где бандиты устроили штаб. Басмачи были вынуждены сдаться, а курбаши покончил с собой, вонзив в грудь кинжал. Командир красноармейцев перед собравшимися сельчанами горячо поблагодарил Рузи-немого за проявленную смелость.

Тема, как видите, богатая. При хорошей фантазии можно настроить целую повесть. Но для начала я решил ограничиться рассказом.

Я слышал, что писатели, чтобы выразительно нарисовать портрет героя и глубже раскрыть его характер, стараются окунуться в среду, в которой, по их предположению, живет и работает прототип. Они должны пережить то, что переживает их герой, проникнуться его радостями и горестями.

Выходит, мне предстояло на время стать глухонемым.

Сначала это меня развеселило, а потом натолкнуло на грустные размышления. Я пришел к выводу, что перевоплотиться в моего героя почти невозможно. Вы только представьте: прихожу я в институт и ни с того ни с сего начинаю объясняться жестами. Конечно, можно

сослаться на больное горло, но в этом случае меня просто отправят к врачу. Если же ничего не объяснять, могут подумать, что я того... И тогда, чего доброго, отвезут... хе-хе... лучше не думать, где я могу очутиться из-за своей затеи. Вот и поживи тут попробуй жизнью своего героя.

Почти неделю я размышлял, как быть. Начал с того, что дома, усевшись перед зеркалом, принимался беседовать с самим собой с помощью жестов и мимики. Затем пытался и с хозяйкой объясняться таким же способом. Сначала она смеялась надо мной, а потом не на шутку рассердилась.

В субботу мне наконец повезло. Я вышел прогуляться. День был прекрасный. Весеннее солнце не жалело тепла. На деревьях уже показались первые листочки, радостно щебетали птицы. Я люблю эти первые весенние дни. Они наполняют меня энергией, я начинаю строить планы на будущее, влюбляюсь во всех и во все и пребываю в необычайно приподнятом настроении. А сегодня все выглядело иначе. Настроение у меня было как у больного. Я чувствовал, что не справляюсь со своей задачей. Неужели я ни на что не годен? Я шел не спеша и размышлял. Спешить было некуда. Около чайханы встретил приятеля. Он обратил внимание на мой удрученный вид и пристал к расспросами, что у меня стряслось. Пришлось поделиться горем. Сначала его это позабавило, и он до слез смеялся. Потом, вероятно, ему стало жаль меня, и он посоветовал сходить в общество глухонемых. Я до сих пор и знать не знал и ведать не ведал, что в нашем городе есть такое общество. Обрадовался и тотчас направился на розыски.

Двухэтажный каменный дом оказался новым, недавно отстроенным. При входе висела таблица: «Городское общество глухонемых».

Вошел. От фойе вправо и влево тянулся полутемный коридор. В конце его виднелась лестница, ведущая на второй этаж. Тишина, никого не видно. В какую сторону идти? Я стоял в нерешительности. Слева открылась дверь, и вышел парень с книгой. Он быстро направился по коридору.

— Извините,— обратился, я догнав его.

Он не оглянулся.

— Извините, где мне найти клуб?— спросил я.

Он даже шагов не замедлил. Ни ответа, ни привета, как говорится.

— Вот человек!— рассердился я.— Шайтан тебя возьми! Ответить не может, словно немой!

И в ту же секунду меня пронзила догадка, что он и правда немой. Я снова догнал его, дернул за рукав. Он остановился, посмотрел на меня, улыбнулся: чего, мол, надо? А я и не знаю, как у него спросить, где у них тут красный уголок или что-нибудь в этом роде,— принялся руками размахивать, то телевизор, то танцующих, то поющих изображать. Смотрю, глаза у него округлились, пятиться он от меня начал, а потом как побежит, в три-четыре прыжка одолел лестницу и исчез на втором этаже.

Досада меня взяла. А потом смех разобрал. Едва представлю, как он деру от меня дал, так не могу сдержать хохота.

Прислушался — тишина. Что делать, не возвращаться же ни с чем домой. Стал я все двери по очереди приоткрывать и заглядывать. Сначала одну, потом другую, третью... Оказалось, что это кабинеты.

В них было полно народу — шли занятия. Я уже отчаялся найти эту заветную комнату. В санаториях и домах отдыха ее принято называть комнатой тихих игр. А как, интересно, ее здесь называют?

Наконец приоткрыл дверь и вижу — несколько человек играют в шахматы, некоторые читают. Вошел. В дальнем углу трое ползают по полу. Я удивился, не сразу поняв, что они оформляют стенную газету. Подошел взглянуть. Хорошо у них получилось. Пожалел я, что рисовать не умею, а то бы помог: глядишь, и «разговорились» бы. Вдруг кто-то мне на плечо положил руку. Это был высокий усатый мужчина средних лет. Ничего в нем особенного. Только глаза поразили. Цепкие, словно насквозь видят. Смотрит, как прошупывает, будто пытается изучить каждую мою клеточку. Не по себе мне стало. Вдруг догадался о моих намерениях? Он улыбнулся, прижал обе руки к груди — поздоровался со мной. Я тоже улыбнулся, и ответил на приветствие таким же образом. «Наконец-то меня приняли в общество,— обрадовался я.— Осталось научиться понимать окружающих».

Он жестом указал на стул, предлагая сыграть в шахматы.

«Что ж, прекрасно! Я люблю играть в шахматы!»

Мы сели. Я привычно, может быть, даже несколько торопливо, открыл доску и расставил фигуры. Затем взял белую и черную пешки, спрятал за спину, зажав в кулаках, и предложил партнеру выбрать.

Ему достались белые.

Он сделал первый ход. Игра началась. Вскоре я понял, что противник у меня не из сильных. Он любил инициативу и совершенно не признавал тактику выжидания.

Первую партию я выиграл без труда. Его огорчила неудача. Он поспешно расставил фигуры и жестом предложил сыграть еще одну партию. Начал. Я намеренно пожертвовал пешкой, обеими ладьями и в конце ферзем. Партнер сиял. Но через несколько ходов он понял, что это был один из моих тактических приемов. Я оставил на доске все фигуры противника, но совершенно беспомощными, удаленными от решающих пунктов. Итак, снова «шах-мат» — «король мертв».

Я торжествующе посмотрел на партнера. Лицо его было печально. Мне стало жаль его. Кажется, у него не хватало смелости предложить сыграть еще партию. Это сделал я. Он расставлял фигуры вяло, словно нехотя. Чтобы его воодушевить и поднять настроение, я решил эту партию проиграть. В решающий момент намеренно жертвую ему фигуру и открываю своего короля. Через несколько ходов цель была достигнута — он объявил мне «мат».

Мой партнер снова улыбался, жестами объясняя что-то. Я догадался, что он говорит мне о моих просчетах. Глядя на него, я вспомнил о герое моего будущего рассказа. Славный он был парень. Жаль, что басмачи убили его...

От этих мыслей мое лицо, вероятно, стало грустным. Мой партнер перестал улыбаться, похлопал меня по плечу, решив, что меня огорчил проигрыш. Сыграли еще партию. Я опять ему дал возможность выиграть. Мне было приятно смотреть на своего прототипа. Глаза его сияли, губы шевелились, растянутые в улыбке.

Вероятно. Рузи-немой тоже радостно улыбался, когда красноармейцы поняли его, а потом благодарили перед сельчанами.

Мой соперник был упоен победой. На меня посыпался каскад жестов. Чаще всего он показывал на свою голову: мол, вот какой я умный! Оказывается, если внимательно следить за жестами, начинаешь их понимать. На мое предложение сыграть еще партию, мой «герой», вздернув рукав пиджака, пальцем постучал по часам — дескать, пора домой — и протянул мне руку. Мне ничего не оставалось, как обменяться рукопожатием и кивком головы поблагодарить за компанию.

Я оглянулся по сторонам. Народу в комнате поубавилось. Играть было не с кем. «Ладно,— решил я,— на сегодня хватит».

На улицу мы вышли вместе. Время прошло незаметно. Солнце уже садилось. На улице похолодало. Воздух, после душного помещения, пьянил свежестью. Нам оказалось по пути. Мы шагали рядом. Я решил дойти до угла и свернуть в сторону, пока ему не вздумалось о чем-

нибудь спросить. При этом я заметил, что и он не испытывает особого удовольствия идти рядом со мной... Навстречу нам шел мужчина в пальто нараспашку. Вдруг он развел руками, и воскликнул:

— Эй, Мухтарджан, здравствуй! Целый день тебя ищу. Где ты пропадал?

— Да вот резался с этим глухонемым в шахматы,— ответил мой попутчик, пожимая ему руку.— Разбил его в пух и прах!

Я онемел.

Хайриддин Султанов

ПЛАСТИНКА

Посвящаю Низаму Камилову

Мой трехлетний сынишка сломал ногу.

Мы поохали, побранились, затем отвезли его к врачу и привезли обратно в гипсе.

Мальчик оказался запертым в доме: ни тебе садика, ни друзей, игрушек — навалом, только все они уже надоели. А спускаться во двор с восьмого этажа тоже не легко.

И сынишка мой сильно заскучал, по словам жены, по сто раз в день задавал один и тот же вопрос: «Когда придет мой папа?»

И вот, вечером, возвратившись с работы, я нажимаю кнопку звонка. И в тот же миг изнутри доносится другой звонок — это сынишка, волоча загипсованную ножку, подходит к порогу (кто знает, а может, он весь день там и сидел) и, задыхаясь, радостно начинает кричать: «Мой папа! Мой папа пришел! Мама, папа пришел, откройте!» И если мама хоть на минутку замешкается, он начинает кричать на нее: «Откройте, откройте, почему же вы не открываете?!»

Едва открывается дверь, он кидается мне на грудь. Мы входим в квартиру. Я еще не успеваю переодеться, а он уже настойчиво торопит: «Папа, почитайте мне мою книжку!»

Мы с женой переглядываемся и смеемся. Он взглядывает на нас вытаращенными глазенками и, сунув под мышку свою «книжку», начинает карабкаться на стул. Прикрикивая на него, я поднимаю его на вытянутых руках. Он кладет обе ручонки мне на плечи и повторяет настойчиво: «Прочитайте!»

— Оббо! Опять начинаешь?— со смехом говорит мама.— Не спеши, пускай папа твой сперва хоть чаю выпьет. Ой, читатель ты мой!

Сынишка, не обращая на нее ни малейшего внимания, сует мне в руку свою «книжку». Эта его «книжка»—альбом. Красочный альбом Чингиза Ахмарова «Восточные образы», изданный в Москве. В тот день, когда он сломал ногу, жена, оказывается, чтобы как-то утешить его, дала ему среди других книг и этот альбом, и с тех пор считает его своим. И вот уже почти две недели мы с ним вместе читаем эту «книжку». Интересное у нас получается чтение: в начале альбома

имеется кратенькое предисловие да подписи под рисунками в несколько слов, и всё. И я, глядя на эти рисунки, «читаю», то есть, сочиняю по-своему рассказ или сказку какую. Например, открыв страницу, на которой изображен караванбаши — начальник каравана — я начинаю примерно так: «Было — не было, жил-был в стародавние времена один мудрый старец. И был у него чудесный верблюд. И вот однажды, когда он ехал на своем верблюде, то вдруг заблудился...»

— А потом?— спрашивает сынишка.

— Потом... пошли, сынок, давай-ка выпьем чаю, вон мама нас зовет.

— Ну, а потом?— нетерпеливо повторяет он.

— Эй!— говорю я, не находя ответа.— Потом...— Как хорошо было бы, если бы в чертову башку пришла идея потолковее!— Потом мудрый старец стал искать свой дом, заставляя верблюда бежать. Вот, видишь, верблюд бежит.

— А почему он заблудился?— Широко раскрыв глазенки, сынишка смотрит на меня.

Почувствовав, что наступило время воспитательного вывода, я назидательно продолжаю:

— Потому что он не ел, оказывается. Вот, кто не ест, тот вот так сбивается с пути.

— А потом?

— Потом плачет, не в силах отыскать свой дом.

— Остыло ведь уже все, идите,— говорит жена.

— Пошли, сынок.

— А потом что делал мудрый старец?

— Потом он нашел свой дом, достиг цели. Ну-ка, вставай, сынок.

Сынишка поспешно переворачивает страницу.

— Прочитайте вот это.

— Ладно, только сначала давай-ка поедим. Ну, пойдем же.

Но и на кухне он кладет перед собой «книжку»:

— Читайте.

— Ну, это — Фархад. Богатырь, сильный парень. Вон у него и кирка есть. Он ею камни рубит, видишь? А эта девушка, верхом на коне — Ширин.

— А почему она на коне, папа?

— Храбрая, стало быть, сынок. Ешь, только не пролей. Вот Ширин здороваётся с Фархадом.

— А потом?

— Оббо! Эти твои «а потом» словно зараза, ты ведь совсем отца замучил! Ешь лучше,— бранит его мама.

— А потом, говорю!— кричит сынишка, рассердившись.

...И ночью покоя нет: лягу в постель, только задремлю, а он опять сует свою «книжку»: «Почитайте», «А потом?» И я сочиняю до тех пор, пока не перестает варить голова. А он прочно запоминает услышанные «рассказы» и, если я путаю хоть одно слово, он сердится, словно я совершил измену. «Не так! Так не пойдет!» — кричит он до сердцебиения. «А как было, пострел?»— спрашиваю я, еле сдерживая смех и в то же время выходя из себя. «Надо говорить: «В стародавние времена...»— говорит он сквозь слезы.

От моих небылиц он требует глубокого реализма.

Сперва эти его капризы я относил на счет его болезни, однако шли дни и, увидев, что он все сильнее привязывается к своей «книжке», я дивился. Ему совсем не скучно часами рассматривать картинки в альбоме, только при этом я должен сидеть рядом и непрерывно сочинять.

Порой я поздно прихожу с работы: то собрались на собрании все как на подбор многословные ораторы, то становится много встречающих в очередь без очереди, то вдруг тщетно ожидаешь лживого трамвая. Спеша, поднимаюсь на восьмой этаж и, едва вхожу в квартиру, встречаюсь с сердитым взглядом сынишки.

— Почему вы... почему вы,— черные его глазенки полны слез,— почему вы играете вечно со своими друзьями, а не приходите?

Развязывая шнурки туфель, я открываю рот от изумления. А сынишка стоит напротив меня, прислонившись к стене, и ждет ответа на свой вопрос.

— Ага, мама твоя здорово тебя подучила,— говорю я со смехом.

— Где там,— говорит жена, приоткрыв дверь кухни,— он в этом вовсе не нуждается. Я и сама обалдела от этих его слов.

Я беру сынишку на руки. Он сердито вырывается, отворачивает лицо и с обидой повторяет свой оставшийся без ответа вопрос:

— Почему вы... почему вы со своими друзьями?..

— А почему ты... почему ты зикаешься?— говорю я, допекая его.

Он не умеет выговорить слово «заикаюсь» и произносит вместо этого «зикаюсь».

— Сами ни зикайтесь!— говорит он с еще большей обидой и начинает реветь.

Мы с трудом успокаиваем его, пообещав почитать «книжку».

И сегодня, как назло, я пришел поздно. Протянул руку к кнопке звонка, а сердце екнуло: «Сейчас будет плакать. Раздался звонок. Странно, за дверью голоса сынишки не послышалось. Я снова нажал на кнопку. И опять тишина. Я в третий раз нажал на кнопку, долго не отрывал руки и, потеряв всякое терпение, хотел было вставить свой ключ в замочную скважину, как дверь отворилась и на пороге показалась жена с руками, вымазанными тестом.

— Дверь на кухню была закрыта, и я не слышала,— сказала она.

Коридор, который каждый день был усыпан игрушками сына, на этот раз был аккуратно прибран.

— А где Бехзад?— оторопело спросил я.

— Дома.

— Спит, что ли?

— Нет.— Жена виновато пожала плечами и направилась в большую комнату.— Сидел играл. Сколько раз говорила, не трогай, куда там... Таким непослушным становится этот ваш...

А «этот мой» сидел посреди большой, светлой комнаты и такое там сотворил, что когда я вошел, то от изумления чуть чувств не лишился. В левом углу комнаты стояло трюмо, и на его полке мы хранили пластинки. Сынишка мой вытащил все пластинки из конвертов и выложил из них посреди комнаты длинную дорожку в форме буквы «П»: большие диски — с одной стороны, маленькие — с другой. Сам же он сидел на стуле, который четырьмя своими ножками опирался на пластинки, а в руке у него была еще одна пластинка, которую он крутил, словно руль. Он был так увлечен своим занятием, что не заметил ни моего прихода, ни пристального взгляда. А на полу валялись песни радости и печали, музыка веков. Я тихонько опустился на колени, песни хафиза Муллы Туйчи, симфонии Бетховена, романсы Рахманинова, Батыр Закиров. Лата Мангешкар, Берта Давыдова... А трехлетний мальчишка, с ножкой, стиснутой гипсом, лепеча, «вел машину» по этим волшебным мелодиям Востока и Запада, и всякий раз, когда он продвигался вперед, волоча стул... пластинки с хрустом ломались.

— Бехзад!

Он обернулся и взглянул на меня. «Папа!»—только сказал он и продолжал свою работу.

— Что ты наделал, сынок, ну что ты наделал?— сдавленным

голосом произнес я.

Жена, свечой застывшая за моей спиной, поспешно заговорила:

— Я хотела у него отобрать, а он в крик, по полу катается, кричит: не подходи. Я испугалась, как бы нога опять...

— Папа, это поезд,— сказал Бехзад, указав на пластинки.— Сейчас он поедет, а?

— Да, — растерянно ответил я.— Он уже ушел... давно.— Затем я посмотрел на жену:— Ведь он их все ломает, а?

— А вы обманите его как-нибудь и отберите,— сказала жена.— Вам он уступит.

— Бехзад, — сказал я задумчиво. — Хочешь, я отнесу тебя на улицу?

— Нет,— сказал он быстро.— Я ведь веду поезд, вот, вот...

— А вы...

— Пойдем, тогда я почитаю тебе «твою» книжку. Ну, про мудрого старца, а?

Он хотел было повернуться ко мне, и под его ногой хрустнула еще одна пластинка.

— Встань! Это ведь пластинки, сумасшедший!

Он уставился на меня с безграничным изумлением.

— Это ведь поезд,— сказал он.— Вот смотрите, как он идет: «гуп-пиш, гуп-пиш»!

— Ладно, пусть успокоится,— сказала жена, достав закатившуюся под диван пластинку и протягивая ее мне.— Не то до самого утра будет плакать.

— Да ведь он все пластинки переломает,— сказал я, покачивая головой и внимательно рассматривая пластинку: это был отрывок из «Тихого Дона» Шолохова, в исполнении самого автора. По крайней мере хоть бы эта осталась целой! В этот момент взгляд сынишки внезапно упал на меня, и губы его задрожали...

— На, на, возьми, только не реви,— поспешно сказал я.

— А ты бы сказал папе, мол, когда ты был таким, как я, сколько ты пластинок сломал,— сказала жена, немножко воспрянув духом.

— Когда я был таким, как ты, я не только пластинки, но даже пиалушки не сломал.

И это была сущая правда. Ибо во времена моего детства у нас в доме вообще не было пластинок, которые можно было бы разбить. Я смутно помню: в нише стоял старенький радиоприемник «Волхов», похожий на маленький сундучок. Сначала он работал отлично, а потом, видимо,

испортился и очутился на чердаке, среди всякого хлама. Порой, часами просиживая на крыше, я заглядывал в дырочки на его задней стенке, всю пытаясь разглядеть там крошечных человечков. Ибо я думал, что внутри его находятся маленькие человечки, которые поют песни, разговаривают. Только потом я узнал...

Когда я был студентом выпускного курса, то тоже заимел магнитофон. Купил я его на деньги, заработанные в стройотряде. И мне почудилось, что с того самого дня я должен буду стать счастливым, но, к сожалению, этого не случилось. Напротив, прошло совсем немного времени, и я понял, что оказался гораздо несчастнее, чем в те времена, когда у меня не было магнитофона. Единственным моим благим делом было то, что я решил записать голос своей девяностошестилетней бабушки. Однажды незаметно для нее я включил магнитофон на запись и потихоньку вызвал ее на разговор: я расспросил ее о нашей родне, соседях, о ее правнуках и правнучках, о каждом в отдельности. О необычайной остроте бабушкиной памяти можно бы судить хотя бы по тому, что она знала, как свои пять пальцев, год, день рождения, — также в летоисчислении по животному циклу, — всех своих тридцати восьми правнуков и правнучек и обстоятельства, при которых они появились на свет («Да, тридцать третий год, в конце чилля, второго февраля у зятя Малика появился «двадцатый», я месила тесто после полудня, а гут вдруг пришла Рахбар-хола за сунючи»). Записав, я дал послушать ей собственный голос. Очень она тогда изумилась.

Спустя немного времени после этого бабушка моя умерла. И вот как-то вечером, когда закончился траур и в доме остались только самые близкие родственники, я включил магнитофон. Тут поднялся шум-гам, плач, рыдания — словно бабушка умерла вторично... Постепенно мама моя привыкла и время от времени решалась послушать ту кассету. Сидела и молча слушала, а из глаз градом катились слезы. Странно ведь, если вдуматься: человек мертв, тело его давно обратилось в прах, а голос звучит так, словно он стоит перед вами... Нет, все равно уму непостижимо!

Не знаю, может, на любителя, но как бы там ни было, в те времена среди молодежи огромной популярностью пользовался ансамбль «Бони-М», и однажды, поздним летним вечером я лежал в постели и тихонько слушал радио, как вдруг стали передавать концерт этого ансамбля. Я поспешно схватил с полки кассету, вставил в магнитофон и записал. Пока я записывал, то выделял разные па прямо на кровати

под эти непонятные мелодии и слова, затем проверил запись, успокоился и уснул.

Проснувшись утром, я глазам своим не поверил: вчера в темноте впопыхах я, оказывается, записал «Бони-М» на ту кассету, на которой был записан голос моей покойной бабушки! Ясные, чистые, простые слова бедной бабушки начисто стер шум чужеземных напевов, как взбесившаяся волна смыывает песок на безлюдном берегу. Не знаю, сколько времени я мучился: куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я везде ощущал на себе ласковый бабушкин взгляд и над моим ухом как будто обиженно звучал теперь уж невозвратный родной ее голос. Я огорчился, терзался, горевал, но увы... А самое худшее, когда мама узнала об этом, то не сказала ни слова. Молча, опустив голову, пошла на кухню. Я тихонько взглянул в окно: мама спускалась по ступенькам, вытирая краешком подола ресницы. Быть может, она бранила меня, ладно, пусть бы лучше бранила, быть может, боль моя утихла бы немного? Теперь уж не услышать нам голоса моей бедной бабушки — почтенной моей бабушки, умершей на девяносто шестом году жизни...

— Да ведь он уснул,— сказала жена.

Сынишка мой, сладкий, упрямый трехлетний сынишка со сломанной ножкой, тихонько посапывая, спал посреди «осколков музыкальной культуры». Губы его были крепко поджаты, как будто он и во сне с кем-то ссорился.

Я отнес «хромого завоевателя», уложил его в кроватку, а затем, опустившись на колени, отделил целые пластинки от осколков. Ребенок и впрямь — царь и бог. Вот настоял на своем, сделал все по-своему. Дети — наша боль, наша любовь, наша душа. И, может быть, поэтому я сегодня не смог резко поговорить с сыном? Быть может, придет время и эти горькие упреки, которые я не смог бросить сегодня сыну, я выскажу своему внуку?

Сынишка мой еще слишком мал, ему исполнилось недавно только три годика. Когда-нибудь он подрастет, наберется ума-разума. Вспомнит ли он тогда свои детские шалости? Не пожалеет ли он о разбитых вещах, которые растравили мне душу?

Если не пожалеет, тогда об этом горько пожалею я...

Эркин Агзамов

ПЛЕМЯННИКИ

Скажем, в городе, в большом и шумном городе, где никто ни с кем не знаком, а если и знаком, то никогда не остановится, чтобы спокойно, не торопясь, расспросить о твоём житье-бытье и в лучшем случае, кивнув, пробегает мимо, ты неожиданно встречаешь односельчанина...

— Э-э, это вы, Хакимбай? (К примеру.) Старшенький сын мастера? (Собеседник утвердительно кивает, почесывая шею. Вот теперь-то самое время не торопясь предаться воспоминаниям!)

Гляди-ка! Когда я уезжал из кишлака, вы были еще совсем маленьким парнишкой. Выросли, вытянулись, скажите на милость! Все мы взрослеем, дружок. (Вздых.) Жизнь не стоит на месте. А в кишлаке я давненько не был. Все заботы-хлопоты, братец, времени и вовсе нет. Ох-хо-хо, Хакимбай, молодцом вырос! (Не находя больше слов, ты поправляешь на нем воротник рубашки.) Э-эй, молодец, молодец! А старик еще бодрый? (Слава богу, нашлась тема.)— Все там же трудится? В мастерской? Двери, рамы?.. Э-эх, был бы жив да здоров...

Когда я приезжал в кишлак в последний раз, мы с ним в чайхане засиделись. Замечательный человек ваш отец, так меня насмешил, что я чуть кишки не порвал. (Слушающий, очевидно, и сам знает, какой замечательный у него отец, и слегка улыбается.) Да-а-а. А как кишлак? (С искренним интересом.) Небось благоустроился, переменялся? Говорили, новый кинотеатр собирались строить? А Наби-щеголь? Все там же, работает? Забавный парень! (Кто там еще?) А шофер Асад? Здоров? Мы вместе учились. (Помнится, расквасил мне однажды нос в кровь.) Вот, не видимся, забываем друг друга! (А так ли это? Сам небось боишься ехать, чтобы тебе снова нос не расквасили. Ему, что ли, нужна ехать к тебе?) Что поделаешь, добываем свой кусок хлеба насущного. Такова наша участь, вот, живем, трудимся. (Ищем звезду, не замеченную Улугбеком в преданном забвению шумном царстве.)

Ну, рассказывайте, каким это ветром к нам занесло? Поразвлекься? (Не повышать же квалификацию.) Ах, дружок. Ну тогда прошу к себе. (Интересно, осталось в холодильнике, чем горло промочить?) Побеседуем по душам... Что? (Говорит: в следующий раз. Нет, нет, чего доброго, вернется в кишлак, ославит.)

Нет, нет, ничего и слышать не хочу. Приехали из кишлака в город и

не зайдете ко мне? Стыдно, братец, пошли...

Если вдруг в городе, в большом городе, где никто ни с кем не знаком, а если и знаком, то зачастую не остановится, чтобы спокойно, не торопясь, расспросить о твоём житье-бытьё, а в лучшем случае, кивнув, пробегут мимо, ты неожиданно встретил бы односельчанина. Как бы ты поступил?..

...Аспирант Давран Буранов возвращался вечером из института домой. Автобус, как водится, был набит битком — ни влезть, ни вылезть — а уж если влезешь или вылезешь, то наверняка лишишься нескольких пуговиц. Пот щедро заливал лица пассажиров.

Буранов вошел в автобус на кольце и поэтому сидел довольно удобно, занятый своими мыслями и не замечая шума и толкотни. Думал он о том, как сегодня его научный руководитель Азим Саатович прочитал ему грозное нравоучение: «Торопитесь, Давранджан. Обсуждение на носу. Подумайте хорошенько о дополнительной главе. Только об этом и думайте. На следующей неделе все должно быть готово. Я прочту. Чуть расслабитесь — вылетите из очереди. Гайбуллаева вы сами знаете: он суров и строг к своим ученикам, не такой сердобольный, как я. Гак вот, откажитесь на время от всяких дружеских встреч, от всяких ненужных забот. Помните, именно сейчас вам дорога каждая минута...»

Сейчас он приедет домой, примет холодный душ, откажется от еды и сразу сядет за черновик главы, которую они приблизительно обговорили с руководителем. Нет у него ни минуты, даже, чтобы приласкать дочку. Не станет он и обсуждать с женой, какой подарок купить на свадьбу ее брату — разговор об этом ведется уже несколько дней. Дополнительная глава — и баста! Все остальные вопросы побоку. Кстати, сегодня по телевизору третья серия «Братьев Карамазовых». «Самая сильная», — сказал Исмаил. Удивительно, как этого Исмаила хватает на все, как он успевает быть в курсе всех событий. И кино смотрит, и футбол не пропустит, и первый сдает на обсуждение свою научную работу, и еще находит время услужить своему руководителю. «Братья Карамазовы»... Вот досада-то. Но дополнительная глава! За ночь он должен написать ее вчерне. Без всяких разговоров! Черновой набросок.

Когда автобус остановился у аптеки, Буранов поглядел в окно и... вдруг увидел девочку, сиротливо топтавшуюся у самого края тротуара. В руках у нее был старенький чемоданчик. Да и по виду она резко

отличалась от проходящих мимо. В глазах замешательство, растерянность, испуг. Глядит на людей тоскливым взором. По лицу видно, что она не знает куда ей деться. И как же она похожа, как похожа на его племянницу.

Сейчас Буранов выскочит из автобуса и подойдет к ней. Тихонько и незаметно дотронется до ее плеча, девочка вздрогнет и испуганно обернется: «А?» Потом минуту постоит в недоумении и с криком: «Дядя, дядечка»,— кинется ему на шею. «Я знала, я так и знала, что мы встретимся,— скажет она.— Я так и думала, что встречу вас на улице,— так оно и получилось. У меня ведь нет вашего адреса». И дядя с племянницей пойдут домой. Городская тетя — его жена, встретит их возгласом: «Девочка... приехала!» И хотя встретит она гостью приветливо, на самом деле непременно подумает: «Ив этом году отпуск пропал! Господи, то одно, то другое, вечные заботы, чтоб им пусто было»,— и эти мысли тоже отчетливо отразятся на ее лице.

За ужином пойдут долгие разговоры, расспросы. А племянница рот не закрывает: «Мама велела передать вам и тете низкие поклоны, дядечка, велела поцеловать малышку. И папа тоже. Печалются, что давно не приезжаете. Мы все соскучились. А особенно о Фирузе. Иди сюда, сестричка, я тебя поцелую... Мама сказала, поезжай прямо к дяде, не ищи никакого общежития, там народа всякого много и готовиться к экзаменам будет тяжело. Дядя тебе поможет, он ведь обещал, когда приезжал к нам, обещал помочь устроить тебя в институт. Куда мне, повашему, поступать, дядечка, на доктора или на артистку?» И так засидятся они допоздна в разговорах о кишлаке, вспоминая родственников до седьмого колена. Назавтра дядя поведет племянницу устраивать в институт на доктора или артистку. А там яблоку упасть негде — все сдают документы. «Справки о здоровье нет?.. Столько-то фотографий три на четыре... В аттестате отсутствует подпись учителя по труду...»— и еще какие-то претензии. «А мама сказала, что вы, дядя, все сделаете». Шум, гам, крик, целый караван личных автомашин, толпы солидных дядей, приведших своих любимых племянников и племянниц. Озабоченные, загадочные фигуры преподавателей, снующих взад-вперед, старающихся никого не слышать и не видеть. Наконец, после недельного ада — все в порядке, документы сданы. Теперь нужно садиться с ней рядышком и готовиться к вступительным экзаменам. А потом с ужасом в сердце заглядывать в окно, где идет экзамен, и смотреть, как племянница ходит этаким павой перед экзамена-

ционным столом, (если на артистку) или мучиться, слушая, как она путает химические свойства этой, пропади она пропадом, глюкозы и фруктозы (если на доктора). Наконец выходит племянница, белая, как стена. «Провалилась, дядечка, провалилась! С какими глазами я теперь вернусь в кишлак?»— «Ладно, не плачь,— стараешься утешить ее и чувствуешь, будто сам провалился на экзамене.— В следующем году приедешь. Я тоже первый раз провалился, а на следующий год поступил, не плачь».

Назавтра племянница, обливаясь слезами, отправляется в кишлак и, рыдая, входит в дом. «Вот говорили, что дядечка поможет, а он и пальцем не шевельнул. А я не смогла хорошо подготовиться. Тетка злобная, ни минуты покоя не дает: помой посуду, девочка, погладь дяде брюки, девочка. Погуляй с Фирузой, девочка... А дочка ихняя такая противная, избалованная, так за мою юбку и цепляется».

Отец племянницы, только что пропустивший рюмку, возлежит на деревянной кровати под лозой винограда. Покручивая усы, он злобно глядит на жену: «А что я говорил? Так и получилось. В наше время дяди, тети, племянники — все это ерунда. «Ах, племянничек!»—ты же всегда так стрекочешь. А приедет, не знаешь, куда посадить. В прошлом году пригласила в гости, и пришлось зарезать четырехлетнего барана. Теперь поняла, как твой племянничек тебя ценит? Племянничек, мол, устроит доченьку учиться на доктора! Гляди, как расхвасталась, дура! Устроил! Куриные твои мозги!»

Минуту он молчит, а затем продолжает: «Ладно, хорошо, что вернулась. Ип мне, это куда как хорошо. Самад-арбакеш сватал за своего сына, Что из армии вернулся, отдам с закрытыми глазами».

«Папочка, я хочу доктором быть...»

«Попробовала и хватит, доченька! Теперь и врачей и танцуй там, куда отдадим. Кончено!»

«Мамочка-а!»

«Что поделаешь, доченька, судьба! Я ведь поверила твоему дяде, еле выпросила разрешения у отца. Что поделаешь, детка?»— бедняжка тетя вытирает слезы широким, словно мешок, рукавом.

Отец снова подает голос: «Только попробуй вспомнить о нем, о своем племяннике, посмотришь, что будет! Опозорил мою дочку. И меня опозорил. Такого племянника...»

Буранов... не сошел у аптеки. А автобус, как назло, долго стоял на остановке. Что-то скребло сердце Буранова. Он резко отвернулся от

окна. «Нет, не она. Просто похожа. Разве мало людей, похожих друг на друга? Особенно сейчас, летом... Сколько их понаехало поступать... Не она это! Не она!...»

Над ним, выпучив глаза, стоит толстуха, вся в поту от жары. Ей явно не терпится сесть. Буранов с трудом отрывается от окна — не надо глядеть!

Наконец, автобус с трудом двинулся. Через некоторое время Буранов поднял глаза и снова увидел около себя толстуху. «Что за бесстыжий парень, с каких пор жду, что уступит место, а он и не шевелится. Сначала уставился в пол, теперь не отрывает глаз от окна — девиц разглядывает,— вот уж хам невоспитанный»,— читается на ее лице. Буранов действительно не отрывал глаз от окна. Но он не разглядывал никаких девиц,— в висках, как молоточки, стучали слова: «Не она! Не она! Нет, не она!...» На каждой остановке он приподнимался, чтобы сойти, но какая-то сила вновь вдавливала его в кресло. Дополнительная глава! Укоризненный взгляд Азима Саатовича, его грозное предупреждение: «Только об этом лишь думайте! Обсуждение на носу... Решающие минуты... Способные и ловкие ученики Гайбуллаева... Исмаил... «Братья Карамазовы», третья серия... Племянница, приехавшая поступать учиться, а вместе с ней — заботы, суматоха. Нет, дополнительная глава, и баста! Сегодня ночью нужно набросать черновой вариант. Набросать — и никаких гвоздей. Нет, не она, просто показалось. Похожа и все. Но ведь ужасно похожа. Что? Нет-нет, не она это вовсе! Не она!»

Буранов пришел домой, не приласкал дочку, выбежавшую к нему с криком «пана», выпил пиалу чая и заперся в своей комнате.

Он просидел за столом больше двух часов, но так ничего и не написал. На листе бумаги чернело лишь название дополнительной главы.

А кикой у тети в кишлаке чудесный дом, с садом, с огородом! У искусственного водоема — хауза, под китайской грушей — роскошная, просто царская суфа — уляжешься на ней, протянешь руку и рви себе грунт — не хочу. А как чудесно там вечером, ночью. Из-за виноградных плетей выглядывает луна. Теткин муж крутит усы и рассказывает, рассказывает... А уж тетка вьется вокруг тебя, как ночной мотылек. «Давранджан, плохо едите, не нравится? Что сготовить, миленький? Ах, невестушка, ешьте, родная. Фирузаджан, вбъми вот это красное яблочко...»

Каждый год, приезжая в кишлак, он прежде всего идет к тете. Ему

нравится и этот райский сад, и эта ночь на царской суфе, угощения, и заботливая, такая родная тетка, и вспыльчивый, разговорчивый дядька. В прошлом году, когда он был у них, тетя сказала: «Родненький, Гульчехра хочет быть артисткой». Давран вопросительно поглядел на дядьку и улыбнулся. Тот крутил усы и молчал. Городская невестка, жена Даврана, любезно зачастила: «Пусть поступает. И никаких общежитий, у нас места хватит»,— и, откусив кусочек красного яблока, с аппетитом захрумкала им...

«Вот и хорошо,— сказала тетя.— Сами устройте, сделайте из нее человека, милые мои, поручаю ее вам».— «Постараемся. Хочешь, курносая, артисткой быть?» Сидевшая почти у самой двери Гульчехра, обнимая Фирузу, разливала чай. Она покраснела и пробормотала: «Говорят, и доктором хорошо».

Ну вот, теперь она приехала в город учиться на доктора или на артистку.

Да, кстати, почему это она стояла одна на остановке? А где же ее подружки, где спутники? Не приехала же она одна из кишлака? Стоит сиротливо и смотрит тоскливо вокруг. В руках — старенький чемоданчик. И так не похожа она на тех, что проходят мимо. А в глазах растерянность, нерешительность, испуг.

Одна в большом, многолюдном городе, на остановке, растерянно смотрит на проходящих мимо, отыскивая родного дядю в толпе незнакомых людей. (Она думает, что здесь, как у них в кишлаке... «Эй, братец, где дом Эшмата?»— «А вон пройдете тополевою рощу и прямо под старым тутовым деревом калитка».) Дурочка. Она ведь впервые попала в большой город. Куда идти, у кого спросить? Она ведь не знает, что родной ее дядя только что бесстыдно проехал на автобусе мимо, хотя и увидел ее в окно, она не знает и того, что кто-нибудь из вот этих беззаботно проходящих мимо людей может причинить ей зло. Она не знает...

Буранова даже бросило в жар. Он спорил сам с собой, оправдывался... «Подлец, настоящий подлец».— «А может быть, это не она?»— «Неужели же ты не узнал родную племянницу? Что, у тебя чирей на глазу?»—«Времени в обрез. Ведь бывают же особые обстоятельства».— «Брось. Бывают дни, когда ты от безделья только в шахматы играешь, как это, по-твоему, расценивать? Что такое для тебя дополнительная глава? Две ночи — и все. А наставления руководителя — это так, желание припугнуть, он знает, что без грозных наставлений ты так и

будешь тянуть до бесконечности. Племянницу, родную кровь, бросил одну на автобусной остановке. Закрыв глаза и проехал мимо, мерзавец, трус. Каким же нужно быть для этого подлецом. Забыл, что обещал тетке, когда она не знала, куда тебя посадить, чем накормить, как ублажить? По крайней мере, вспомнил бы хоть о ней, бесчестный. Ах, боже мой, ну потратил бы один вечер, не конец же света настал бы». — «А завтра, завтра? У кого ее ль время и силы водить ее по институтам?» — «Так ведь Барно дома сидит, она в отпуске.

С утра до ночи зевает и не отходит от телевизора. Ну, помогла бы хоть документы сдать. Не чужому помогла бы, а племяннице мужа. Она ведь тоже обещала, аппетитно заедая свои обещания красными яблочками». — «Я боялся, что она не выдержит экзаменов, не поступит». — «Тоже нашел причину. Господи, ну не поступила бы, так что, всякое бывает. Ничего страшного. А может, и поступила бы. школу-то хорошо кончила. И не нуждается в твоей помощи. А может, испугался, что сдаст и будет жить у вас, как обещала твоя жена. А это лишние заботы.» — «Нет-нет, такое мне и в голову не приходило. Я думал только о работе. об обсуждении. Если мне не поторопиться, то...» — «Что? Лишишься высоких званий, веселых вечеринок, загородных прогулок? Нот в этом-то и все дело. Ты думал о том, что твой приятель Шермат пригласил тебя прокатиться за город в воскресенье. Верно? Ты думал, как бы поскорее закончить работу и успеть к воскресенью на «объем ванне» очередной защиты. Верно? Да-а, хорош гусь. Ну опоздал бы на сей раз обсудиться, пропустил бы свою очередь, обсудился бы в следующий раз». — «Нет, не то, не то, я совершил подлость, себялюбец, вот я кто, не хотелось нарушать спокойствие». — «Ах глупец, ах, трус, мерзкий негодяй». — «Хватит. Хватит!»

Буранов вскочил со стула, накинул на плечи пиджак и пулей вылетел из дома. Он не ответил на встревоженный вопрос жены, сидевшей с дочкой на коленях у телевизора и наслаждавшейся третьей серией «Братьев Карамазовых».

На улице он остановил такси и отправился на остановку у аптеки. Всю дорогу он смотрел то в правое, то в левое стекло... Была уже ночь, людей на улице было мало. И на остановке в свете ночного фонаря маячили какие-то полупьяные парни. «Где-то здесь недалеко должно быть общежитие мединститута. Значит, она сошла с поезда, доехала на троллейбусе до аптеки, постояла здесь, подождала дядю, а потом, расспросив людей, пошла в общежитие». Он вспомнил о том, что не

сообщил тете адреса своей новой квартиры, и теперь очень жалел об этом.

В вестибюле общежития худощавый старик вахтер в выцветшей тюбетейке и длинном чапане дремал на старом пожелтевшем диване. На стуле стояла электрическая плитка и на ней, булькая, кипел чайник. Приветливо поздоровавшись с вахтером, Буранов объяснил, что ищет племянницу.

Знаем мы таких дядьев,— неожиданно грубо заворчал дед.

Да вы поймите...

И понимать не желаю. Нас сюда зачем поставили? Для того, чтобы мы в ночь-полночь открывали двери и пускали таких дядьев, как вы?— Он неожиданно легко поднялся с места.— Взрослый человек, а стыда нет.

— Да что вы такое говорите? Вы только подумайте, что вы говорите?

— Знаем, что говорим. Отправляйтесь отсюда. Давай, давай.— Старик подтолкнул Буранова к двери.— Такие фокусы со мной не пройдут. Дураков нету, пускать таких, а потом отвечай за вас. Даже самого господа бога не пуцу, понятно? Служба у меня такая.

Буранов направился к двери и столкнулся с высоким гсоу мятым парнем, который, проходя мимо, шепнул:

— Да суньте вы ему мелочишку...

Давран, считавший такие приемы позорными для себя, махнул рукой, с треском хлопнул дверью и вышел на улицу.

На остановке не было ни души, и лишь поодаль на чемодане сидела съезжившаяся фигурка, опершись локтями на колени. Буранов подошел поближе. Парнишка, сидевший на чемодане, испуганно поздоровался и встал, его блестящие глаза глядели на дорогу.

— Чего ты здесь сидишь?

Парень вздрогнул, но тут же овладел собой и спокойно ответил:

— Да так...— Он посмотрел исподлобья на Буранова и осмелел:

— Мы с поезда, сторож не пускает, говорит, мест нет, приходи, мол, завтра.

— И куда ты собираешься идти?— спросил Буранов глухо.

— К брату пойдем.

— А где твой товарищ?

— Какой товарищ?

— Да ты все говоришь «мы» да «мы».

— Это я о себе.

Буранов рассмеялся. Парень, глядя на него, тоже заулыбался.

— А ты знаешь, где брат твой живет?

— Знаю. На Чиланзаре.

— Где именно на Чиланзаре? Чиланзар ведь большой.

— Найдем...— грустно улыбнулся парнишка.— На Чиланзаре. Около его дома большой парк...

— Ты был у него раньше?

— Раньше мы не были, это брат, когда приезжал, рассказывал Любого бы рассмешила столь точная информация. Но Буранов не рассмеялся, он потер подбородок и снова спросил:

— А у тебя адрес есть?

— Был...— Парень вдруг огорченно вздохнул.— Был, клали мы его дома в карман, а с поезда сошли — нет...

— Хм, как же ты поедешь туда?— Буранов задумался: «С виду смысленный, а на самом деле растяпа».

— А вот автобусов сколько,— сказал парень, показывая на приближающиеся к остановке автобусы.

— И ты думаешь, что все они едут на Чиланзар?

— А куда же?

— О господи, откуда ты свалился такой? Где твой брат работает? В институте культуры,— сказал парень и с гордостью добавил:

— Преподаватель.

— А чего же ты не в институт культуры поступаешь? Брат там работает...— Буранову вдруг стало неловко от своего вопроса.

— А мы хирургией интересуемся.

— Ага, прекрасно...— Буранов тронул парня за плечо.— Тогда так, товарищ будущий хирург, поедем к нам, переночуешь. А завтра найдем твоего брата. Идет?

Парень не отозвался, он снова отвел глаза в сторону, не поднимаясь со своего чемодана. Глядя на него, Буранов вспомнил, как сам впервые приехал в город. Перед дорогой мать прочла ему целое наставление: Будь осторожен, в городе в минуту очистят, и сам не заметишь». Тогда он ехал в студенческий городок к своему односельчанину на такси и не отрывал глаз от шофера: «Завезет куда-нибудь». Деньги у него были зашиты под подкладку пиджака, а в чемодане две-три смены белья и книги. Буранов улыбнулся: «И этот тоже выслушал дома наставления, уговаривать его бесполезно».

После недолгого раздумья он решил — нужно постараться испробовать все, чтобы парня хоть на эту ночь пристроить в общежитии. Парень согласился. Вахтер, увидев их, расшумелся, но Буранов воспользовался-таки советом патлатого и впервые в жизни тайком, как вор, сунул старику деньги: «Устройте его на ночь, завтра его брат заберет». Старик деньги взял, но снова разворчался: «Где я ему найду место?» И опять помог патлатый, который разговаривал в сторонке с невысокой худенькой девушкой. «Да пустите его,— сказал он,— в нашей комнате есть место».

Буранов вышел на улицу вконец расстроенный и все думал о своей племяннице, как же он и на сей раз не расспросил, там ли она? Возвращаться не хотелось, не хотелось видеть злющего старика-вахтера. «Наверно, она не здесь. Наверно, поехала в театральный».

Он остановил такси и подъехал к театральному институту.

Здесь дежурил не старик, а приветливая пожилая женщина.

— А здесь все абитуриенты, дорогой,— сказала она с улыбкой, не выпуская из рук вязания.— Не буду же стучать во все двери ночью.

— Ее зовут Гульчехра,— сказал Буранов с надеждой.

— А здесь половина девушек Гульчехры,— засмеялась женщина.— Приходите утром, дорогой, вы найдете ее в институте.

Буранов снова вышел на улицу и остановился. Он поднял голову — во всех окнах горел свет.

Мигают; мерцают лампочки, выхватывая лица, руки. Мигают, мерцают... Разные одежды... Черные, синие, желтые — это парни; белые, красные, золотистые, голубые, зеленые — это девушки. Мигают, мерцают. Там, среди этих бликов и цветов, и Гульчехра. Но какая из них его племянница? Кто знает. Все они Гульчехры.

В эту ночь Давран Буранов вернулся домой поздно. Он устал. Нажав пальцем на дверной звонок, он вспомнил о дополнительной главе. Перед глазами мелькнуло сердитое лицо Азима Саатовича: «На время вам придется отказаться от всего. Именно в эти дни для вас дорога каждая минута...» И тут же он услышал грустный голос того паренька на остановке: «На Чиланзаре. А около дома большой парк...»

Латиф Махмудов

МИЛЛИОН ШТУК УРЮКА

Мне никогда в жизни не было так тоскливо, как в начале этого лета.

Друг мой Мирвали бросил меня, удрал с отцом в Бостандык. К какому-то отцовскому другу, у которого в горах дом, и сад, и пчелы, и... Мирвали, правда, пригласил и меня, но не мог же я сразу сказать – спасибо, друг, конечно, я поеду. И пока я думал, как согласиться не сразу, он торопливо сунул мне руку.

– До свидания, друг, – сказал он, – я тебе письмо напишу из Бостандыка.

И укатил без меня.

Я слонялся по двору. Ходил и ходил по кругу, как одноглазая лошадь вокруг колодца. Ходил, ходил, голова закружилась, а я ходил.

– Делом бы занялся!..

– Каким?

Бабушка всегда придумает дело.

– Урюк бы собрал! Варенье сварим.

Вот еще! Зачем из и так сладкого урюка варить варенье?!

Я взял мяч и пошел пинать его на улицу. Допинался до соседней махалли.

Судьба у меня такая злосчастная – попал мячом в чье-то окно. Еще и стекло не кончило звенеть, когда я со всех ног рванул от того дома. Прощай, мяч!

Вот жизнь! Хоть садись посреди двора и вой от тоски.

И тут заскрипела калитка и раздался знакомый голос:

– Эй, Батыр!

Мирвали! Ну, погоди!

– Вам кого? – спросил я.

– Тебе что, голову напекло? Уже не узнаешь друга?

– Какого друга? Вы кто?

– Э-э, Батыр, не сходи с ума! – закричал он, заглядывая мне в лицо. – Мирвали я, Мирвали! Из Бостандыка приехал.

– Знал одного Мирвали, – сказал я, – он обещал мне письмо прислать. Из Бостандыка. Вы его там случайно не видели?

– Издеваешься?! Я, как дурак, тороплюсь к нему, хочу его обнять...

– Ладно, – сказал я примирительно. – Значит, отдохнул?

Мирвали подпрыгнул и уставился на меня.

– Я?! Отдохнул?! Да я не знал, как оттуда вырваться! Я тебе тысячу раз позавидовал, что ты остался дома.

– Мне?

– Тебе!

– Это уже интересно, – сказал я. – Рассказывай.

Мирвали вздохнул.

– Интересно было только вначале. Едем мы на машине – кругом бахчи, сады, отары и горы. Думаю – здорово было бы здесь пастухом поработать. Нам с тобой. Я бы на коне искал хорошие пастбища, а ты бы пас овец. У нас бы овцы потолстели, раздулись, как бочки...

– Ты бы на коне, а я бы пас овец? Спасибо, друг! Паси сам!

– Но ты же не умеешь на коне!

– А ты?

И мы заспорили, как всегда. А потом вдруг подумали, что оба никогда не ездили не только на горячем скакуне, а даже на смирном ослике, и замолчали. Ведь живые кони не продаются в магазинах, словно велосипеды, не попросишь отца купить.

– Рассказывай дальше, – сказал я.

Приехали они. Друг отца работает в саду. Дети его работают в саду. Соседи и дети соседей тоже работают в саду. Все собирают урюк. Вечером хвастают друг перед другом: один собрал тридцать ведер урюка, другой сорок, а третий – все пятьдесят.

А Мирвали бродит вокруг сада. Один, как отбившийся от отары барашек. На гору залезет, посидит. С горы слезет, посидит. Делать нечего. Даже поговорить не с кем. Все работают, а он сидит, мучается.

– Да-а, – сказал я, пожалев его.

Потом и отец его пошел работать в сад, урюк собирать. Мирвали никто не попрекает, что он один не работает. Но и никто не разговаривает с ним. Как будто его тут нет вообще, и вовсе не приезжал он сюда.

– Ну жизнь! – сказал я, и мне захотелось погладить друга по плечу.

– А однажды вечером, – продолжал он, – отец говорит мне: «И в кого ты уродился такой. У нас в семье никогда не было лентяев. Наверное, тебя Батыр с толку сбивает».

Обида вошла в мое сердце.

– А ты?

– А что я! Сказал: наверное.

– Какой же ты балбес, Мирвали! – горько упрекнул я. – Значит, на меня все и свалил! Сам первый лодырь, бездельник.

– Кто, я?! Никогда не был лодырем до знакомства с тобой. Это все ты!

– Сейчас я всем докажу!.. А ну пошли!

– Куда?

– К тетушке Жаннат.

– Что я там не видел, – буркнул он, однако двинулся за мной.

Тетушка Жаннат жила одиноко в небольшом чистеньком доме с уютным двором. Во дворе журнал арычек, росли кустики райхана, а над всем двором раскинули ветви две огромные урючины. Плодов на них было так много, что урючины походили на две желтые тучи, столкнувшиеся над двором.

Тетушка обрадовалась, увидев нас, пригласила сесть под урючину и стала угощать чаем. Принесла полную миску розовых полупрозрачных плодов.

– Кушайте, сыночки! А я пойду, маставу поставлю.

– Ах, урюк! – сказал я, прожевывая один плод и глядя на Мирвали. – Чистый нават.

Мирвали заерзал и с тревогой посмотрел на меня.

– Пока еще не нават, – сказал он. – Через неделю будет нават. Придем сюда через неделю...

Кажется, он догадался о моих мыслях.

– Через неделю воробьи все склюют, – сказал я.

– Им тоже хочется есть...

– Надо сегодня убрать весь урожай! – решительно сказал я.

– Хорошо, сегодня. Еще немного посидим...

Мы пили чай и говорили, и я все время удивлялся, чего это Мирвали подворачивает штанины. Держит пиалу в одной руке, а другой все подворачивает и подворачивает.

Он поставил пиалу и сказал:

– Я готов. Только договор: я трясу урюк, а ты подбираешь с земли.

Я было кивнул головой, а потом спохватился и быстренько засучил штаны.

– Трясти буду я, а подбирать – ты!

– Первое слово дороже второго! Я сказал первым.

– Ну и что! А я первым залезу.

И я полез, но он схватил меня за штанину и не пускает. Я хотел его

лягнуть, но руки сорвались, и я шмякнулся.

– Упал один созревший фрукт, – нахально пропел Мирвали и быстро полез на дерево.

Далеко он не успел влезть, так как я схватил его за ногу, и он с воплем, обдирая руки о древнюю, всю в трещинах, кору сполз вниз.

Мы чуть не подрались. Уже, сопя, начали толкаться левыми плечами, уже я горестно размышлял – где раздобыть несколько пятаков, лечить синяки. И вдруг Мирвали отступил.

– Два же дерева! – ахнул он.

– Ну и что?

– И нас двое. Каждому по урючине.

Тьфу, как все просто решилось. Почему это не пришло в мою голову?

В знак примирения мы снова сели под урючину и продолжили чаепитие. Хорошо! Вода течет по арычку, райхан благоухает, и иногда, как тяжелая градина, срывается с ветки спелый плод.

И мы сидим, как два уважающих друг друга человека, ведем за чаем неторопливую беседу.

– Богатый урожай!..

– Да уж не бедный.

– На каждой веточке не меньше, чем по сто штук.

– Может, больше. По пятьсот.

– А таких веточек на каждом дереве по тысяче.

– Да-а, полмиллиона штук на одной урючине.

– На двух – миллион.

И замолчали.

Наверное, мы подумали одновременно одно и то же: а кто будет собирать этот миллион? Мы? Мил-ли-он штук!

Я почувствовал, как у меня сразу заныли все кости, спина стала будто ржавая. Я потихоньку спустил засученные штанины и обулся.

И Мирвали потух. Сидит и бормочет: «Миллион, миллион...»

– Через неделю он еще слаще будет, – сказал я. – Вот тогда...

– Правильно! – подхватил Мирвали. – Лучше через неделю.

– Тогда чего же мы сидим здесь?

И мы пошли.

За калиткой мы еще раз оглянулись. Две тяжелые желтые тучи плыли над двором тетушки Жаннат.

Мы уже знали, что не по нашей воле прольется из этих туч сладкий

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ.

Нурали Кабул

ЖЕЛТЫЕ ДЕВУШКИ

Я их увидел благодаря моей бабушке...

Каждый вечер с наступлением прохлады бабушка поднималась на холмик, расположенный по левую сторону нашего дома, стелила на траве курпачу, удобно усаживалась и принималась прясть нитки, покручивая свое веретено.

Мои сверстники с криком носились неподалеку, придумывая разные игры, азартно резвились. А я сидел с бабушкой на холмике. Она рассказывала мне сказки и старинные легенды. Она знала их великое множество. Иногда, прервав рассказ, она просила меня сбегать домой и принести еще шерсти или свежезаваренного чая. Я прибежал обратно запыхавшись, падал возле нее на траву и напоминал, на каком месте она остановилась...

Однажды ребята все-таки звали меня к себе. И я отправился вместе с ними в овраг, шарить в птичьих гнездах, усыпавших ветви деревьев и кустов. Особенно нам нравилось извлекать из гнезд ярко окрашенных птенцов сизоворонок. Обычно эти птицы обживают норы в крутых обрывах. Чтобы добраться до них, приходилось обвязываться арканом, конец которого крепко держали трое-четверо мальчишек, и спускаться вниз по отвесному склону. Иногда, засунув руку в нору по самое плечо, не удавалось дотянуться до притихших от страха птенцов. Приходилось искать новое гнездо.

В тот раз я всех поразил своей храбростью. Ровно восемь раз спустился на самое дно оврага, где так и шныряли в зарослях дикие кошки. Запихнув за пазуху двух птенцов, я помчался к бабушке. Сейчас я покажу ей сизоворонят, которые уже оперились и неплохо умеют летать; расскажу, с каким трудом их добыл... и что видел в овраге огромную дикую кошку. Я, конечно, и не упомяну, как испугался, и она похвалит меня.

— Где же ты бродишь, сынок? Почему ты такой бледный?— спросила бабушка, когда я прибежал к ней.

— Знаете, больше всех!.. Больше всех!.. Восемь раз спустился на дно оврага!..— заорал я с радостью, еле переведя дыхание.— Ребята держали веревку, а я спускался!..

— Что-что? На дно оврага? Обвязавшись веревкой? А если бы она

оборвалась?.. Вот придет отец, расскажу ему, пусть прочит тебя как следует...

Сразу исчезла моя радость. Если она расскажет отцу, не поздоровится. Отец у меня крутой, за шалости по голове не гладит.

И, как назло, птенцы у меня за пазухой завозились, принялись щипать и царапать мне живот. Ну их, отпустить бы на все четыре стороны! Но у них еще не окрепли крылья. Их тут же зацапают дикие кошки.

Не зная, что делать, я стоял, виновато понурился и придерживая руками птиц.

— Ладно, овраг оврагом,— смягчилась бабушка.— А зачем на Култепу лазили? Мне давеча сказали, что тебя с дружками видели там.

— Так просто... играли...— буркнул я.

— Больше не ходи туда. То место проклято. Туда веками сбрасывали пепел, вот и образовался холм. А там, где пепел, обитают желтые девушки.

Я недоверчиво посмотрел на бабушку, желая определить, говорит ли она правду или опять начала какую-то сказку.

Лицо у бабушки серьезное. Она знай сучила нитку да помалкивала. А мне уже не терпелось узнать, что это за желтые девушки живут на Култепе. Я опустил с ней рядышком. Она взглянула на меня разок-другой и, довольная, что слова ее возымели на меня действие, сказала:

Дети не должны бегать где попало. Смотри, Данияр, еще раз пойдешь к Култепе, непременно скажу отцу.

Я обрадовался и облегченно вздохнул. Значит, в этот раз она отцу не расскажет. Правда, я не помню, чтобы он слишком строго когда-нибудь наказал меня, и все же я его боюсь. Я слышал много раз, как он говорил, что надо держать свое чадо в узде. Дескать, иначе парень вырастет дерзким, непослушным. Что, если на самом деле возьмет и наденет на меня уздечку? Ведь отец, куда денешься... так и будешь ходить с уздечкой. Хорошо, что бабушка у меня такая добрая и ничего ему про меня не скажет. От переполнившей меня нежности к ней я погладил ее сморщенную руку.

— Эна, а какие из себя эти желтые девушки?— спросил я.

- Да как тебе сказать... Сама-то я их не видела. То ли платья у них желтые, то ли сами. Но поскольку место, где они живут, проклято,— значит, и сами они прокляты. Лучше про них не думать, а то, не дай бог, приснятся во сне...

Мне стало не по себе, что я сегодня бегал на Култепу. Вспомнились осколки стекла, рассыпанные по ее поверхности, и подумалось, что это не стекла вовсе, а глаза желтых девушек. А теплый ветерок, который проносился, подхватывая пыль, перемешанную с золой,— не простой ветерок, а дыхание желтых девушек.

Когда солнце опустилось за горы и стало почти темно, бабушка завернула шерсть в платок, я взял в одну руку чайник и пиалу, в другую — курпачу, и мы спустились с холмика.

Сизоворонят я посадил в плетенную из прутьев клетку и поставил перед ними в пиалушке воду, насыпал пшеницы. Решил, дня через три-четыре, когда у них окрепнут крылья, выпустить их на волю.

С тех пор, когда мы играли с мальчишками за околицей, я боялся даже смотреть в сторону Култепы...

Как-то после ужина, когда меня уже стало клонить ко сну, к нам пришел Пардабай, сын приятеля моего отца Абдусалама-ака.

— Папа приглашает вас в гости,— сказал он моему отцу и, весело подмигнув, бросил мне:— Приходи и ты, Данияр, поиграем...

Я взглянул на отца. Без его разрешения разве пойдешь в гости?

— Если приготовил уроки, то почему бы не сходить нам вместе — улыбнулся отец.

Сначала я обрадовался. Но потом, вспомнив, что тропинка к дому Абдусалама-ака проходит мимо страшной Култепы, я заколебался. Однако чего же мне бояться, если отец будет рядом!

Когда мы вышли на улицу, я почувствовал себя как-то странно. Мне казалось, будто деревенеют руки и ноги. И весь я покрылся потом, словно водой окатили — сначала горячей, потом холодной. Вдруг я сделался каким-то невесомым, какая-то невидимая сила начала поднимать меня на воздух, и я крепко ухватился за полу отцовского халата.

Сначала мы шли мимо домов, вдоль невысоких дувалов, потом направились по узкой извилистой тропинке и свернули к Култепе. Я боялся смотреть на холм, резко выделявшийся черным полукругом на фоне темно-синего, усыпанного звездами неба.

— Что ты спотыкаешься?— спросил отец.

Я буркнул что-то невнятное в ответ.

Когда мы приблизились к холму, с него опять повеяло теплым ветерком. Я еще крепче вцепился в отца и закрыл глаза. Мне показалось, что порывы ветерка сделались горячими и что-то яркое полыхнуло навстречу. Я тотчас разомкнул веки.

— Смотрите, костер! Наверное, мальчишки разожгли,— сказал я отцу.

— Где костер?— удивился отец, взглянув на Култепу, потом на меня. Было невероятно, что он не заметил такого яркого костра.

— Да вон же,— показал я.

Вокруг костра сидели девушки. Совершенно голые. И только длинные волосы закрывали их тела, желтые-прежелтые, как золото. И волосы тоже были желтые-прежелтые, словно солома. Девушек было много. Одна расчесывалась, другая любовалась в зеркальце, третья что-то рассказывала и смеялась. Они почему-то не обращали на нас никакого внимания.

Я испугался и того пуще, начал что-то говорить отцу, но не слышал собственных слов; и отец, с беспокойством поглядывая на меня, тоже что-то говорил, но и я его не слышал, а только видел, как шевелятся его губы.

Отец вдруг поднял меня на руки. А костер вспыхнул еще ярче. Девушки вскочили и стали плясать, изгибаясь, как языки пламени. И вдруг одна за другой стали медленно подниматься в воздух, а там, в вышине, желтые девушки превращались в искры. Одни гасли, а другие становились звездами...

Когда утром я очнулся, у моего изголовья сидела бабушка и плакала. «Почему она плачет?»— подумал я, открыв глаза. А она, заметив, что я на нее смотрю, вдруг обхватила меня и начала целовать, гладить лицо, голову, плечи, будто не веря, что это я. Почему-то комната была полна людей: меня обступили родственники, соседи, чему-то радовались. Мне стало совсем уж не по себе. Я вскочил и выбежал во двор.

Плетенная из прутьев клетка висела на ветке тала. Птенцы, наверное, проголодались. Я взобрался на дерево и, выгребая из кармана крошки, начал кормить их.

А все родственники и соседи тоже повалили из дому. Они стояли внизу и смотрели на меня, будто на обезьяну. Что они так уставились? Мне стало обидно. Однако я сделал вид, будто ничего не замечаю, и решил не слезать с дерева, пока они не разойдутся. Я удобно расположился на толстой ветке.

— Даниярджан! Спускайтесь, пожалуйста! Чай будем пить,— сказал отец, почему-то обращаясь ко мне на «вы».

— А что они все уставились на меня?— спросил я, кивнув на

собравшихся у нас во дворе.

Отец им сделал знак — они тут же разошлись.

И тогда я спустился на землю. Отец обнял меня.

— Как ты испугал нас! Как испугал!

— Сколько раз я вас предупреждала, чтобы вы не рассказывали Данияру о своих желтых девушках,— сказала бабушке мама.

Бабушка улыбалась, утирая мокрое от слез лицо платком.

— Бабушка! А мы с папой вчера видели желтых девушек!— радостно крикнул я.

— Сынок, ты их видел во сне,— сказала мама.— Забудь про них.

— Как во сне? Ничего не во сне! Если не верите, у папы спросите. Пана, правда же мы с тобой видели желтых девушек?

— Ладно, ладно, не думай про них,— сказал отец.

— Ну мы же их видели! Они такие красивые... Потом они улетели и стали звездами...

...Родители утверждали, что мне все померещилось во сне. А я долгое время не хотел в это верить. И только став взрослым, пришел к выводу, что наяву, конечно же, не мог этого увидеть. И до сих пор думаю с огорчением, что желтых девушек нашей Култепы никто не видел. И даже я. А так хотелось бы...

О, ЛЮДИ, ЛЮДИ!

Он еще не так стар, но все почему-то зовут его Исмаил-бобо. Я как-то спросил у отца: «Он же моложе вас, почему вы его называете бобо?»

— На селе все очень уважают Исмаила, мы чтим его, как предков своих чтят.

Исмаил-бобо был пастухом, почти всю свою жизнь провел в горах. Только два-три дня в месяц бывал дома.

Я всегда с нетерпением ждал его возвращения. Он очень любил нас — детей. И он умел так интересно рассказывать о случаях, происшедших с ним в горах. Там ему встречались и волки и медведи, и он прекрасно знал об их повадках, о том, как они ведут себя при встрече с человеком. А еще он приносил с гор дикой алычи и угощал нас всех.

Дома он тоже всегда был в работе: то мазал крышу, то косил траву, то заготавливал дрова на зиму. Все это он делал с умением и с большой охотой. Я любил следить за его ловкими движениями. Это, наверно,

потому, что я вообще любил этого человека. А когда он уходил в горы, я старался чем-то помочь по хозяйству его жене — Турсуной-холе, играл с их детьми, рассказывал им всякие небылицы, мастерил им деревянные пистолеты, и они неотступно ходили за мной. Мы, дети, всегда с нетерпением ждали возвращения Исмаила-бобо. Его приезд был для нас большим праздником.

Однажды ночью соседи Исмаила-бобо проснулись от отчаянного, душераздирающего крика. «О, лучше бы мне умереть! — рыдала Турсуной-хола.— За что на нас обрушилось такое горе! О, несчастная я-а-а!»

Слух о том, что Исмаил-бобо сорвался со скалы и погиб — быстро разнесся по нашему кишлаку. Я с ревом кинулся к его дому. Во дворе голосили женщины, мужчины толпились у ворот, печально покачивали головами и тихо поговаривали:

- Золотой был человек, бедняга...
- В жизни никогда никого не обидел...
- А как он любил детей. Трудно теперь им будет без него...
- Такова жизнь, ох, как часто она бывает безжалостна...
- Да, недаром говорят, что у хороших людей жизнь бывает короткой...

Вот вдали показалась арба, на которой везли Исмаила-бобо. Женщины, завидев ее, заголосили еще громче.

Но тут случилось что-то непонятное; вдруг люди перестали плакать. Среди собравшихся прошел шепоток: «Исмаил-бобо жив, только сильно поранил голову и сломал ногу, но он жив...».

Люди облегченно вздохнули. Я снова заплакал, только теперь от радости. Прибыл доктор и разогнал собравшихся, приказав внести Исмаила-бобо в дом.

Люди стали медленно расходиться и на дороге обменивались мнением о случившемся.

- Я так и знал, что с этим человеком ничего не случится. Он очень удачливый.
- Да-а-а! Он ведь только на вид простак. А так — себе на уме.
- Поговаривают, что у него одних овец штук пятьдесят!
- У кого же им быть, как не у него, сорок лет за отарой ходит...
- О, такие даже из-под мельничного жернова целыми выходят.
- Ха, о жерновах говоришь. Вон с какой высоты ухнул и то жив остался!

Я слушал это и думал; «О, люди, люди!»

Аман Мухтаров

ДОЧЕРИ АХМАДА-АКА

Такое у нас случается нередко. Поэтому кто-то может сказать: слышал я уже про это. Не стоит, право, обращать на таких внимание.

Короче, был когда-то Ахмад-ака молодым парнем. И, конечно, тогда он был не Ахмадом-ака, а просто Ахмадом; вернее, Ахмадом-палваном.

И если кто-нибудь устраивал той, первым всегда приглашали Ахмада-палвана. Ибо для того, чтобы доставить, к примеру, тяжеленный чугунный казан, пусть даже из ближайшей чайханы, нужен был сильный человек. Да разве дело только в казане... Сами знаете, той — событие хлопотное. Да и что греха таить, и в наше благополучное время встречается немало таких, у которых нет ни сил, ни сноровки даже дров наколоть. Стало быть, кто нужен всем в таких случаях? Ахмад-палван! К тому же он никогда не отказывал, благодарностей за услуги не требовал, словом, он был человек открытой души, честным, отзывчивым. Вот один лишь пример: как-то на одном тое щупленький жених никак не мог снять с арбы свою толстуху-невесту. Поглядел-поглядел Ахмад-палван на мучения жениха, не выдержал, подошел к арбе, поднял невесту, словно пушинку, на вытянутые руки и внес в дом под веселый смех присутствующих. И ни один человек не посмел бы заподозрить в этом его поступке что-либо дурное...

Одним словом, был Ахмад-палван, что называется, славным малым. Делать добро было у него в крови. Он был из тех, кто никогда не пройдет мимо булыжника, валяющегося на дороге, или машины, завязшей в грязи; непременно поднимет булыжник и отнесет его на обочину, чтобы не мешал людям, подтолкнет богатырским плечом машину и, пожалуйста, езжайте дальше.

Но самое главное, была у Ахмада-палвана одна страсть: редко какое состязание по борьбе кураш, устраиваемое по праздникам, проходило без его участия. Боролся он азартно, самозабвенно. И никому не удавалось положить его на лопатки. Но держался он при этом скромно, победами своими не бахвалился.

Только ради бога не поймите из всего этого, будто он слонялся все время по улицам, как какой-нибудь бездельник. Ахмад-палван еще подростком пошел работать на хлопкоочистительный завод. Он и сейчас там трудится...

Однако мы несколько отвлеклись...

Итак, в те времена, когда Ахмад-ака был молодым, он обратил внимание, что мимо его дома два раза в день, утром и вечером, стала ходить одна смуглая изящная девушка. Что он в ней нашел, одному ему известно, только стал он на нее посматривать тайком. Девушка оказалась скромной, застенчивой, не увидишь даже, чтобы остановилась на улице поболтать и посмеяться с подружкой. Ахмад-палван узнал, что девушку звали Зухрой и что она работает на ткацкой фабрике...

И вот однажды вечером он неожиданно появился у нее на пути.

— Извините, я хотел бы сказать вам пару слов,— пробасил он.— Если начать издалека, я давно вас заметил. А если, как говорится, взять быка за рога, выходите за меня замуж...

— За в-вас...— густо покраснев, еле слышно прошептала Зухра. Потом дрожащим голосом добавила:— Так я... я ведь некрасивая...

— Раз вы мне приглянулись, стало быть, красивая!— веско произнес Ахмад-палван.— Да и потом, красоту ведь на хлеб не намажешь! Красота нужна на тое, а ум — каждый день. А ума-то вам не занимать, я вижу... по вашим глазам вижу...

А глаза у Зухры были и впрямь прекрасные: огромные и ясные.

— Ну, что делать будем?— спросил Ахмад-палван.

— Родители...— пролепетала одно лишь слово Зухра и бросилась бежать.

На следующий день Ахмад-палван послал сватов. Получив согласие, он, не откладывая дела в долгий ящик, как некоторые, тут же сыграл свадьбу.

И зажили они счастливо. И что бы им стоило быть счастливыми всю жизнь, но...

Язык не поворачивается сказать, что в жизни семьи случилось «несчастье», однако давайте обо всем по-порядку.

За пять лет после свадьбы Зухра родила Ахмаду-палвану трех дочерей.

С самого начала так жаждавший сына Ахмад-палван почувствовал, что терпеть такое он больше не в силах. Еще сразу после свадьбы перешедший с женой на «ты», он рассудил так:

— Послушай, жена, в каждом деле должна быть мера... Кончай рожать дочерей. На один дом и трех достаточно с лихвой. И если так и дальше будешь продолжать — мы с тобой рассоримся...

Но, несмотря на такое серьезное «предостережение» Ахмада-палвана, в последующие пять лет Зухра родила ему еще трех дочерей.

Можно себе представить, что испытывал при этом Ахмад-палван. Каждый раз, когда приближались роды, он становился перед женой на колени и молил ее:

— Жenuшка, родная, если на этот раз будет сын, я для тебя ничего на свете не пожалею! Ну, постарайся, пожалуйста!..

А Зухра, бу го чувствуя себя в чем-то виноватой перед мужем, только тихо вздыхала.

— Хорошо... я... я постараюсь...— смиренно шептала она. Но затем снова рожала дочь.

Во всей округе не осталось врачей, которым бы Ахмад-палван не показывал жену. Но те, видимо, не совсем понимая его состояние, только улыбались и говорили ему, дескать, жена ваша совершенно здорова, и все будет хорошо. А долгожданного сына все не было и не было.

После рождения шестой дочери, чаша терпения Ахмада-палвана переполнилась.

Были у него друзья-приятели, и уж кто-кто, а они-то отлично понимали, как необходим был ему хотя бы один славный сынок для продолжения его рода, чтобы в будущем он пошел по стопам своего отца, продолжил его дела. Но чем они могли помочь ему? Когда они собирались вместе, разговор частенько упирался в эту бальную для Ахмада-палвана тему...

— Да не изводись ты так,— как-то раз сказал шутливо его закадычный друг и сосед Фазыл.— Честно говоря, что может быть на свете лучше дочери? Помощница в доме. Как говорится, украшение жизни... Я, конечно, желаю тебе жить вечно, но, к примеру, если однажды случится тебе помереть, то дочери твои в грязь лицом не ударят; так заголосят «папочка родный», что вся Бухара услышит и содрогнется...

А другой приятель. Халил, сказал ему без обиняков:

— Слышал я, что в старые времена муж нередко выгонял из дома жену, когда та рожала ему одних дочерей... Разумеется, ныне не те времена, значит, надо пошевелить мозгами, поискать какой-нибудь выход...

Сказать по правде, он и сам об этом подумывал. После того, как чаша терпения его переполнилась, он даже решил развестись с женой и поискать счастья на стороне. Но всякий раз гнал от себя он эту пре-

дательскую мысль. Хотя он сильно переживал каждое рождение девочки, беспредельно огорчался, дочурок своих все-таки очень любил. Придет бывало с работы усталый, а они с веселым гомоном облепят его со всех сторон, станут карабкаться ему на плечи, словно мураши, и всю его усталось как рукой снимает. Дочурки были у него одна симпатичнее другой, каждая ему казалась нежным цветком. И при одной лишь мысли, что их можно было бы растоптать, бросить, у него щемило сердце, на глаза наворачивались слезы.

Да и жену свою Ахмад-палван продолжал любить, несмотря на то, что она порой так огорчала его, и прекрасно знал, что и жена его любит.

Все бы хорошо, только Ахмаду-палвану ну просто позарез нужен был хотя бы один сын! И эта глубокая тоска по сыну отравляла ему жизнь.

Но ему оставалось лишь молить жену и продолжать надеяться. Иного выхода у него не было.

А Зухра, тем временем, продолжала рожать девочек.

Когда через четыре года родилась восьмая, последняя, всем своим существом понимая, что жена в этом нисколечко не виновата, Ахмад-палван все же сказал ей в сердцах:

— Эх, жена, видать, ты только для того и создана, чтобы плодить дочерей... Ты жизнь мне сгубила!

И потом целый день, потемневший от горечи, пролежал он ничком на постели.

А Зухра, так и не сумев сделать в жизни то, чего как жаждал от нее любимый человек, как-то сникла...

Согласитесь, крушение надежд может сломить любого. И Ахмад-палван день ото дня стал все больше впадать в глубокое уныние...

Он все еще продолжал оказывать услуги на тоях и других торжествах, все еще боролся по праздникам. Но в нем уже не было прежнего азарта, прежней увлеченности. Им овладело безразличие: теперь пусть хоть вся дорога будет перегорожена булыжниками, пусть не только машина, но и сам шофер увязнет по уши в грязи, он равнодушно пройдет мимо. Он стал терпеть поражения и в борьбе, но лишь криво улыбался и молча отходил в сторонку... Вот тогда-то он и стал... Ахмадом-ака!

Но это еще не все. Когда в доме — один женский пол, как же тут уберечься от их влияния? И часто в разговоре Ахмад-ака, ловя себя на том, что с языка его то и дело срываются выражения, вроде «ой, да что

вы говорите» или «ой, да бог вас сохрани», очень конфузился.

Жизнь-то шла своим чередом...

Дочери Ахмада-ака подросли. Вот уже старшую и замуж выдали...

Только все мало радовало Ахмада-ака. Он стал даже работать сверхурочно, чтобы как-то забыться в работе...

И вот однажды вечером — Ахмад-ака работал во вторую смену — в цех вбежал, запыхавшись, Фазыл.

Гони суюнчи, подарок давай,— заорал он, стараясь перекричать шум, царивший в цеху.

— Чего? Какой еще суюнчи?— вытаращив от изумления глаза, спросил Ахмад-ака.

— Дочь твоя старшая, Малахат...

— Чего, чего?...— приставил к уху ладонь Ахмад-ака, чтобы лучше слышать.

— Жена твоя только что звонила из роддома, говорю... Малахат родила. Двойню... Пацаны!..

Ахмад-ака сперва застыл на миг, словно изваяние, а затем быстро сдернул с руки часы и сунул Фазылу:

— Твои... но это не в счет...

И он стремглав выбежал из цеха...

Во дворе дома он чуть не сшиб Зухру с ног, поднял ее своими могучими руками, прижал к груди и, задыхаясь от бега и радости, прерывисто пробасил:

Ай да жена!.. Ай да молодец!.. Недаром я полюбил тебя... Подумать только, сколько у нас еще будет славных джигитов от наших-то восьмерых дочерей!... А я, болван, так мучил тебя... все время...

Из больших прекрасных глаз Зухры покатались слезы. Перед ней был прежний Ахмад... Ахмад-палван!..

Камчибек Кенджа

БЕЛЫЕ ТОПОЛЯ

Мамасали вышел из колхозной конторы вконец расстроенный. Приспичило, видите ли, срочно срезать все нефруктовые деревья и даже ряды тополей, что стоят вдоль Длинной улицы, и на их место посадить фруктовые. Он хотел было возразить, но председатель не дал ему рта открыть.

— Что вы о деревьях загоревали? Да еще о неплодоносящих? Торчат какие-то колья скрюченные, с растопыренными ветками, все в паутине, будто лачуги. Неужели вам непонятно, что на их месте должны расти яблони или персиковые деревья?.. И путникам удовольствие, и детям... Да и нам самим... Это же настоящее благо, настоящее преобразование всем на пользу. Я ведь не говорю, что нужно все до одного тополя срубить. Ну те, что вдоль дороги да на краю хлопковых полей...

Вы, конечно, правы, товарищ председатель, фруктовое дерево — чего уж лучше. Но, благодарение богу, в нашем кишлаке чего-чего, а фруктов хватает. В каждом дворе — любые сорта. А в колхозе не один, а целых три громадных сада. Не может наш колхоз съесть все это, опадают фрукты и гниют зря. А ведь от неплодовых деревьев тоже польза немалая. Для фермы там или еще... Я уже не говорю, что тополя вдоль дороги — это тень в жаркие месяцы, да и красота какая...

Председатель равномерно пристукивал толстым красным карандашом по зеленому сукну стола. Он улыбнулся. Мамасали знал уже нрав нового председателя — улыбка эта явно не к добру, все сказано, и возражать бесполезно.

— Послушайте, Сабилов, — председатель нахмурил брови и уставился на Мамасали. Говорил он, отчеканивая каждое слово, — Я тоже не с горы свалился в ваш колхоз. Хватает ума понять, что красиво и что некрасиво. Сообразительностью бог тоже не обидел. Да и не я это выдумал. Председатель повысил голос — Есть установка! А приказы не обсуждаются!

Он в последний раз пристукнул карандашом по столу, давая понять, что разговор окончен, животом задвинул ящик стола и поднялся. Невзрачная фигура председателя вдруг расплылась в глазах Мамасали и сделалась бесформенной, теплые искорки в глазах погасли, в них сверкнуло холодное равнодушие.

В эту ночь Мамасали долго не мог заснуть. «Легко ли вырастить саженец, дожидаться, пока войдет в силу? Сколько тысяч ив да тополей в кишлаке! Вот уж ноистине — не было печали!.. Только вчера явился в колхоз, а сегодня уже все перекраивает. Господи, каждый председатель придумывает что-то новое. Один велит поменять местами окна и двери, вход и выход, другой — мебель в кабинете, третий... Но нынешний, видать, всех переплюнул. Установка! Установка небось не для одного нашего колхоза, если она вообще есть. Почему мы первые должны заниматься этим? Пусть сначала другие попробуют. Установки ведь не высасываются каждый раз из пальца...»

Под утро Мамасали привиделся сон. В одиночестве он пилит громадный тополь. А тополь клонится, вот-вот упадет на него. Мамасали пытается убежать, но тополь тянется следом за ним. Добегает Мамасали до арыка и останавливается. А догнавший его тополь вдруг оборачивается благообразным старцем. Старец печально улыбается и покачивает головой.

За завтраком Мамасали рассказал отцу о беседе с председателем. Но о своем сне рассказывать он не стал.

Отец прожевал кусок лепешки, перекатывая его во рту, отхлебнул большой глоток остывшего чая и внушительно сказал:

— Не морочь себе голову, сынок. В старину говорили: повеление шаха — священо. А председатель — колхозный шах. Не мучайся ты, ничего ты не изменишь. Сейчас люди несамостоятельные, куда их ведут, туда и пойдут. Не накликай на себя дурной славы. Таков мир — один сеет, другой вытаптывает. Ему бы, конечно, посоветоваться со стариками, но, видать, не нужны ему старики. Наверно, все вопросы будет решать сам лично.

— Говорит, что есть указание. — Мамасали взглянул на отца.

— Долгой тебе жизни, сын мой. Значит, не только нам одним. А председателя тогда и обвинять нечего.

Мамасали работал колхозным счетоводом вот уже шесть лет. Всякий бугорок, всякая лужайка в колхозе ему знакомы, как свои пять пальцев. Знают его здесь все от мала до велика. По два раза на год он вымеряет дворы колхозников (словно они вдруг возьмут и сами увеличатся в размерах). К кому бы, по какому делу он ни зашел, каждый думает про себя, что он снова явился мерить. Он назубок знает, не просто сколько у кого земли, а сколько плодовых и неплодовых деревьев. Для отчета нужно определить доход каждого члена хо-

зайства.

Мамасали вовсе не улыбалось заработать дурную славу. В каждом дворе, стоящем близ улицы или хлопкового поля, гоже есть свои тополя. Попробуй-ка войти туда с топором, кто из хозяев встретит тебя с поклоном. Плохим-то окажется не тот, кто приказал, а тот, кто исполняет приказ.

Но дело обернулось даже хуже, чем предполагал Мамасали. Он убедился, что председатель и впрямь тонкий знаток своего дела. Дал ему в подмогут шестерых здоровенных парней, а таким только кивни, так те вырвут с корнем что ни попадя. И Мамасали понял, что дело — дрянь.

Приказано было рубить тополя в первую очередь во дворах. Мамасали решил начал со двора кроткого и покладистого Джуры-мясника. Но Джура-мясник незваных гостей встретил уже на пороге, видно было, что сам готов стоять насмерть.

— Ишь, нашелся. Сажать помогал, что ли? Сам вот уже десять лет не позволяешь срубить даже старую прогнившую тутовину!— взорвался Джура.— На ветках — ни листочка.

— Деньги заплатим, вдвойне заплатим...

Но посулы не имели успеха.

— Приказ председателя!

На эту угрозу мясник и глазом не повел.

Выхода не было.

Придется начинать с тополей на дороге, с тополей, принадлежащих колхозу.

Когда шестеро парней ударили разом по шести стройным тополям, похожим на шесть готовых к полету ракет, Мамасали вздрогнул и отвернулся. При каждом ударе топора он вздрагивал и закрывал глаза. Тополь — старец из его сна — маячил перед глазами. Наконец Мамасали не выдержал:

— Рубите,— бросил он и ушел.

Мало-помалу Мамасали успокоился. Но когда очередь дошла до Длинной улицы, сердце его вновь болезненно сжалось. Улица потому называлась Длинной, что была длиной почти с версту, и ее соединяла с соседним кишлаком дорога, по которой ходил автобус. И такой прямой была улица, обсаженная с обеих сторон словно выстроенными в ряд тополями, что склонявшиеся их верхушки почти касались друг друга.

Тополя... Огромные, крепкие, все вымахали почти рост в рост,

стволы гладкие, белые, листья нежно плещутся на ветру. Спокойные, мирные тополя.

На этой улице от самой зари и до полудня, от обеда и до захода солнца на плечи прохожего не упадет ни одно пятнышко света. В самый жаркий час дня на самую середину улицы проскользнет луч, тогда следует идти по обочине. Дружный шелест ветвей и листьев навевает удивительное чувство, будит самые приятные мечты. И кажется, что в этом шелесте слышится и радость и печаль. Они, словно белобородые старцы, с поклоном встречают путника: «Здравствуй! Добро пожаловать!» Либо провожают из кишлака: «Счастливого вам пути!» И вы не заметите, как пройдете целую версту.

А в лунные ночи эта улица-аллея сказочно меняется. Даже когда подует студёный морозный ветер, ветви тополей раскачиваются, словно пшеничные колосья, и шелестят совсем по-иному. Лучик, бегущий за вами след в след, с листа на лист, ополоснув лицо росой, становится совсем прозрачным и сверкает, будто жемчужина в колечке. На вас сыплются звезды сквозь эту листву.

Удары топоров возвратили Мамасали на землю. Засучив рукава, добрые молодцы дружно валили деревья. По улице шли люди. И Мамасали казалось: они смотрели не на тех, кто рубил тополя, а на него, смотрели с презрением, и их «бог помощь» звучало как «покарай тебя бог».

И оттого, что никто не сказал решительно: «Зря рубите деревья», Мамасали совсем упал духом. Верно, кое-кто из стариков покачивал головами: до чего, мол, жаль, досада берет,— но и они не произносили ни слова. Кто знает, быть может, старики навидались на своем веку такого, что научились лишь покачивать головой и молчать.

Поэтому Мамасали решил: «К черту»,— и махнул рукой. Но когда величественные тополя, срубленные под корень, падали на землю, словно поверженные богатыри, гулко бухая о дорогу и поднимая вихрь пыли до самых небес, у него начинала трещать голова.

«Бог мой! На заседании правления было около сорока человек, и хоть бы одна душа спросила: «Как же так? Зачем?»

А ведь после собрания, когда шли домой, все дружно бранились и возмущались.

Труссы! Какая польза ругаться в потемках?

Поднялось не сорок рук. нет, поднялось сорок топоров.

А этот недоносок Рузи... «Только затеняют хлопковые поля». Чья бы

корова мычала... Полон двор гранатов и винограда, ступить некуда. Какое тебе дело до тополей? Не ты ведь тащишь, кряхтя, мешки по Длинной улице. Для тебя колхозная машина всегда наготове — весь твой товар вмиг на базар свезут. Подлец! Не знаешь ты, какова цена тени в жаркий день.

Тополя вязали по два и цепляли к тракторам. А сердце у Мамасали горело огнем.

Тополя волочили по камням, обдирая белую кожуру, и ободранные места сразу чернели. На глазах увядали и блекли уже лишённые соков листья, вываленные в ныли ветви плюхались на землю. Уже не шелестели они, а трещали, как хворост, который валят в кучу. И этот треск звучал, словно вопль.

Срубили и увезли тополя.

На их месте осталась голая пустыня да пеньки, годящиеся разве что на дрова.

Теперь уже осенью, после сбора урожая, когда землю будут вспахивать под зябь, их выкорчуют. До тех нор успеет подсохнуть и сочащийся из пеньков густой и белый, как молоко, сок.

* * *

Ранней весной вдоль Длинной улицы появились саженцы яблонь, урюка и персиков. Люди в колхозе, а особенно Мамасали, чуточку утешились.

Саженцы с каждым днем набирали силу, уже появились почки, а там зазеленели листья, улица вновь стала красивой, и Мамасали уже мечтал о том, как на следующий год или через года два деревья заплодоносят и ребята, но дороге в школу, шумной ватагой обленят деревья и, торопясь, будут набивать свои портфели яблоками. При этой мысли Мамасали довольно улыбался и как-то даже решил про себя, что, быть может, все правильно, все как надо.

... На бывших саженцах появились плоды.

В этом году в колхозе сменился председатель... И Мамасали снова вызвали в контору.

Крутолобый, краснощекий, с красивыми чертами чуть побитого оспой лица, седовласый, с густыми бровями, тоже слегка тронутыми сединой, в хорошо пригнанном кителе, новый председатель обратился к Мамасали, едва тот успел переступить порог конторы:

- Значит, так, дружище, придется срубить эти яблони и урючины, что на Длинной улице. Что скажете? Из-за двух-трех персиков ребята вытаптывают вокруг хлопчатник. Поставили сторожа — не помогает. Да и уже было несколько случаев отравления. Вчера еще двоих ребят в больницу свезли. Если так будет продолжаться...

Председатель шагнул по комнате из угла в угол, потом остановился у окна и поглядел на дорогу. Он ждал ответа. Новый председатель, конечно, уже был наслышан об истории с тополями. Ясно, все ему уже рассказали.

И хотя Мамасали был сейчас доволен откровенным разговором, тем, что спрашивают его совета, он держался с опаской — кто знает, что за человек этот новый председатель? Пуда соли он с ним не съел. Да и ничего дельного в голову Мамасали не приходило.

— Может, обрезать лишние ветки да поливать деревья водой,— промямлил он, чувствуя, что молчание затянулось.

Председатель расхохотался, запрокинув голову, и его выпуклый живот затрясся, почти касаясь стекла.

Мамасали и сам понял, что сморозил глупость, и сконфузился.

Ах, наивный вы человек,— сказал председатель, улыбаясь.— Поливать водой! Да по дороге каждые полчаса проезжают машины. Сами знаете, какая там пылища. Тогда придется к каждому дереву человека приставить. Тысяча стволов — тысяча человек. А в колхозе и пятисот не наберется...

— Может, заасфальтировать дорогу?—сказал Мамасали, осмелев.

А вот это уже деловой разговор,— серьезно подтвердил председатель.

Мамасали приободрился.

Я уже думал об этом,— дорогу нужно асфальтировать,— продолжал председатель,— но здесь есть еще один вопрос. И немаловажный. Деревья затеняют хлопчатник. Вчера представитель из района так и сказал: «Развели здесь целый лес». И верно. С двух сторон около них пять квадратных метров хлопчатника попадает под тень. Сколько это будет гектаров? А с одного гектара, да было бы вам известно, мы собираемся брать по сорок центнеров хлопка. Сколько тонн пропадает таким образом? Подсчитайте-ка! А ведь осенью из-за килограмма хлопка мы по дворам ходим, на школьников умоляюще смотрим — помогите, мол. Все это вам лучше, чем мне, известно.

Председатель вздохнул. Мамасали растерялся.

— В общем, разговор будет такой,— сказал председатель.— Соберем стариков. По-моему, они не откажут.

И старики не отказали...

Вновь пришла весна, потом осень... Длинная улица вновь изменила свой облик.

Дорогу заасфальтировали. Вдоль нее посадили чинары. И тутовник. Но и эти деревья не могли заменить шумящих стройных тополей. Ни одному дереву не отпущено той долгой жизни, ни одно из них не придает кишлаку и Длинной улице такого редкого очарования и прелести.

А люди?.. Люди забыли о белых тополях...

Мурад Мухаммад Дост

ЦЕНА ОДНОГО ЖЕРЕБЕНКА

По всему Галатепе поползли слухи, будто старика Хуччи укусила собака и будто бы она была бешеная. Что собака укусила, галатепинцы убедились скоро, ибо старик Хуччи ходил с перевязанной рукой, а вот была она бешеная или нет, оставалось только гадать.

Никто из долгожителей селения не мог припомнить на своем веку ни одного взбесившегося человека. Правда, один из самых уважаемых галатенинцев, участник гражданской войны Касымов на ежегодных собраниях колхоза частенько говорил о бешеных людях, но тут все было ясно, поскольку речь шла об эмирах, баях, басмачах и прочих, как он сам выражался, чуждых элементах, к тому же Касымов, дабы галатепинцы не поняли его превратно, всегда добавлял: это я, мол, товарищи, говорю не в прямом, а переносном смысле.

Был за всю историю только один серьезный случай, когда галатепинцы могли заговорить о бешеном человеке, но не заговорили. Случилось это давно, лет эдак двадцать тому назад, когда от Абдувахиды Праведного сбежала и вторая жена. Из-за ее коварства Абдувахид Праведный так загрустил, что вовсе перестал выходить со двора. Забрался в темный амбар и целыми сутками лежал, прижавшись грудью к сырой земле. Не ел, не пил, даже говорить ни с кем не хотел. И тогда люди стали подумывать, не тихое ли помешательство у Абдувахиды, не заболел ли он, так сказать, тихим бешенством. Один его родственник — имя не называют, — увидав, как Абдувахиду Праведному плохо, сжалился и, желая облегчить страдания больного, окропил его через сито колодезной водой. Говорят, холодная вода сразу помогла. Абдувахид Праведный встал довольно резво и, кажется, слегка задел при этом своего сердобольного родственника, так что и того пришлось окроплять водой, правда, теперь уже не через сито.

Мы вспомнили об этом с единственной целью — еще раз напомнить, что в Галатепе, несмотря на все разговоры, еще ни разу не доводилось видеть бешеного человека. Бешеных собак видели. Бешеных ослов тоже видели. Видели бешеного бычка Манзара-палвана, которого он успел-таки освежевать, но в последний момент побоялся везти на базар, пришлось всю тушу закопать в яму. Видели также пьяных верблюдов в разгар весны. Верблюды эти принадлежали арабу Узаку,

который появился в наших краях в сорок первом году и возил колхозный хлеб в Каттакурган. Когда его караван из тридцати верблюдов выходил с галатепинского тока и двигался по кишлаку, все высыпали на улицу посмотреть. Впереди каравана семенил маленький ослик со звонким колокольчиком на шее, за ним головной верблюд без колокольчика, но с сонной женой Узака, смутлой арабкой, на спине, а следом еще двадцать девять навьюченных громадин да по несколько верблюжат по бокам. Фыркая и плюя, вздымая пыль до самого неба, шел этот караван в сторону далекого Каттакургана. В середине каравана ехал сам Узак на приземистом пегом коне, важный и сосредоточенный, как истый бедуин. Шли по кишлаку очень медленно, торжественно, а там, миновав последние дома, ученый ослик уже сам прибавлял прыти, и весь караван, нанизанный на ниточку стеной тропинки, убыстрял ход. Звенели колокольчики, грузно покачивались горбы верблюдов, смуглая арабка дремала, а сам Узак чуть отставал от каравана и, обращаясь к чему-то неведомому впереди, затягивал персидскую песню:

Эй, сорбон, охиста рои, к оромичонам меравад.

*Он дил ки бо худ доштам, бо дил си тонам меравад...**

Узак, когда пел, становился грустным-грустным. Казалось, этот араб, хоть он и поет на фарси, скучает по аравийской пустыне с пальмовыми оазисами. А так, несмотря на всю свою аравийскую грусть, Узак ни слова не знал по-арабски, говорил на смеси узбекского и таджикского, а на чистом фарси, как на языке более древнем и возвышенном, предпочитал только петь.

Галатепинцы так и не узнали, откуда пришел Узак и куда исчез после войны. Некоторые даже думали, что верблюды у него краденые. Но заявлять никуда не заявляли. Тогда в Галатепе не было ни одной машины, а польза от каравана была слишком велика. К тому же мулла Данияр, один из тех мудрейших людей, которых Галатепе подарил миру во множестве, сам поручился за араба. Он рассудил, что одному вору не под силу было бы угнать сразу тридцать верблюдов, что еще ни один вор, будь он даже щедрее самого Хатама ат-Таи, не занимался столь благородным и богоугодным делом — бесплатно возить столько хлеба в трудное время войны. Мулле Данияру верили все честные люди

* Эй, караванщик, не гони как быстро, моя любимая уходит. Захватив мое сердце с собой, она уходит... (Стихи Саади)

не только в самом Галатепе, но и во всех одиннадцати кишлаках вокруг. Ему верил даже Касымов, бессменный секретарь сельсовета, честнейший человек, который сам признавался, что за всю свою жизнь соврал всего три раза, да и то в мрачные эмирские времена.

Но мы немножко отвлеклись. Вернемся к главному — к верблюдам Узака. Так вот, эти верблюды, смирные с виду, весной становились просто страшными. Огромные, злые, они сновали по улицам кишлака, плюя на всех и вся белой пеной. Жил Узак в наших краях шесть лет, и шесть раз в разгар весны ему приходилось переселяться в глубину Джамской степи и там пережидать, пока у верблюдов не кончится сезон любви. Не то плохо, что верблюд влюбленный, а то, что он совсем пьянеет от своей любви. Влюбленный верблюд, хоть он и не бешеный, ничем не уступает бешеному, и лучше не попадаться ему на глаза.

Когда старика Хуччи укусила собака, галатепинцы собрались в чайхане Кривого Барата и долго говорили о верблюдах. Вспомнили покойного Саттара, который так и умер без одного, левого, уха, откушенного пьяным дромадером Узака. От верблюдов незаметно переключились на бешеных ослов, потом на бешеных собак. Вспомнили два-три случая, совсем маловажных, и на этом разговор оборвался. До старика Хуччи так и не дошли. Теперь все уже думали о нем, но говорить не решались. Только Назар Махдум, сын муллы Сунната, осмелился говорить. Но сказанное им прозвучало так дико, что галатепинцы, ставшие свидетелями этого безрадостного прорицания, хотели бы поскорей его забыть. «Нечего больше гадать!—сказал Назар Махдум. Придется сыну Хуччи запасть цепью!..»

Когда эти слова передали старику Хуччи, гот беззлобно рассмеялся и обозвал Назара Махдума плешивым ослом. Но с того дня люди почему-то зачастили к нему, принялись расспрашивать о его здоровье, отчего старик насторожился, забеспокоился. До этого он как-то не особенно и тревожился. Ну, собака как собака, ну, укусила, на то и собака, чтобы кусаться... Он и к доктору не пошел, думал, день-другой, и заживет. А тут на тебе, зауважали вдруг, даже из Чонкаймыша один явился проведать. О своих галатепинцах и говорить нечего, прут целыми толпами, будто ты не сегодня, так завтра отдашь концы. Не понравилось старику Хуччи такое любопытство. Тебя спрашивают, а язык не поворачивается отвечать, будто ты провинился в чем, будто тебя и в самом деле укусила бешеная собака, а ты, подлец, скрываешь это от честных людей. Так совсем немудрено и взбеситься!..

Старику Хуччи пришлось позвать на помощь своего друга Ибадуллу Махсума.

— Мне с вами легче. Махсум,— сказал он.— Когда вы рядом, меня труднее вывести из себя...

У Ибадуллы Махсума были кое-какие дела дома в огороде, но он не устоял перед просьбой, махнул рукой на огород и после небольшой перебранки с женой перебрался к старику Хуччи.

И вот уже четыре дня Ибадулла Махсум жил у своего друга. Они были, конечно, разные люди, но привычки имели совершенно одинаковые: оба вставали в пять утра, оба пять раз в день молились и оба любили поговорить. Особенно понравилась такая совместная стариковская жизнь Хуччи в присутствии Ибадуллы Махсума никто не решался спрашивать его про бешеную собаку. И вообще, едва прошел слух о переселении Ибадуллы Махсума, число сочувствующих старику Хуччи резко сократилось. А кто и приходил, тот вел себя осторожно, говорил только о постороннем и скоро уходил. Иные даже не говорили, а молча слушали рассказы Ибадуллы Махсума и уходили. А потом и вовсе перестали приходить. В четверг вечером, когда старики целый день просидели в тщетном ожидании гостей, Ибадулла Махсум стал ради приличия просить разрешения уйти к себе на ночлег. Но старик Хуччи, в свою очередь, горячо просил его остаться хотя бы еще на три дня. Ибадулла Махсум охотно согласился. Дело в том, что его все эти дни терзала одна мысль: кто же мог распустить слух о бешеной собаке? Раз есть слух, рассуждал Ибадулла Махсум, то должен быть и человек, кто первым его пустил... Он внимательно вглядывался в каждого гостя старика Хуччи, но пока ничего подозрительного не замечал. Были праздность, сочувствие, любопытство, и ничего больше. Но Ибадулла Махсум точно знал: то г непременно придет. Придет, чтобы хоть разок посмотреть на свою жертву...

И т о т пришел в субботу после полудня. Старики сидели на просторном топчане в глубине сада. Ибадулла Махсум читал вслух книгу из жизни пророков, а старик Хуччи внимательно слушал его, боясь даже пошевелиться. Книга была очень интересная, особенно рассказ, где проклятые крысы вконец продырявили Нуху ковчег и один только змей вызвался помочь несчастному пророку и закрыл своим туловищем огромную дыру, откуда била вода, и долго так лежал, распластавшись в лепешку, чтобы потом потребовать у бога в награду право питаться самым вкусным на свете мясом...

Старик Хуччи не первый раз слушал этот рассказ, знал, что ласточка, делая вид, будто хочет поцеловать язык шершню, целиком откусит его и сама вместо злобно жужжащего шершня ответит богу, что змею надобно питаться исключительно лягушачьим мясом, он все это давно знал и сейчас снова переживал за добрую ласточку, которой еще предстояло оставить пучок перьев из серединки хвоста в пасти змея, почуявшего подвох... Старик мысленно видел небольшое ласточкино гнездо под потолком своего дома. Ему сейчас хорошо было вот так вот сидеть тихо, умиротворенно и слушать голос своего друга, голос, который, казалось, шел откуда-то издалека... Он даже не заметил, что кто-то вошел во двор. Но Ибадулла Махсум был более чутким. Как только калитка открылась и послышался приглушенный кашель, он оторвал глаза от книги и увидел того.

— Пришел,— тихо сказал он старику Хуччи.— Я знал, что он придет.

Старик Хуччи тоже посмотрел и увидел Турабая, базарного старосту, но пока не мог поверить, что Турабай, их базарный староста, был тем.

— Вы только не уходите, Махсум...— взмолился он.

Между тем гость мелкими шажками приблизился к топчану, где сидели старики, мотнул в знак приветствия белой бородой, потом сполоснул руки из медного кувшина и вытер их шелковым поясом. Кажется, его ничуть не задела неприветливость хозяев, так и не вставших ему навстречу. Наконец Турабай снял галоши и в одних ичигах поднялся на топчан. Ибадулла Махсум пересел поближе к своему другу. Турабай сел на его старое место, шепотом прочел аят из Корана и провел руками по лицу:

— Аминь! Аллах велик!..

Сидевшие молча последовали его примеру. После молитвы Турабай бросил свой шелковый пояс через левое плечо, придвинул к себе подушку и возлег на тюфяке. И начал тереть бородку. Эта бородка, как мы уже заметили, была совершенно белая, и оттого, что она была такая белая, смуглое лицо Турабая казалось почти черным. Нос его был довольно острый, но ничем не примечательный — такой нос мог бы иметь любой другой галатепинец. А вот глаза его действительно заслуживали внимания. Они были маленькие, очень острые да еще чуточку с прищуром. Когда эти глаза смотрели на тебя в упор, становилось не по себе...

О взгляде Турабая, как о всяком незаурядном факте, в Галатепе были свои суждения. Скажем, небезызвестный нам мулла Данияр считал Турабая самым великим грешником со времен последнего пророка. Мулла Данияр в силу своей лаконичности не стал особенно распространяться и разъяснять, почему да как, но даже те самые простые слова, случайно оброненные муллой, были выразительны. По его мнению выходило, что человек, если он грешный, боится безгрешного, как самого бога, старается ему мстить за его добродетели и равно за предстоящие райские почести и смотрит на безгрешного таким коварным взглядом, какой найдется у одного только Турабая... Грешный человек всегда пытается вселить страх в безгрешного, хочет его заморозить, как, скажем, змей замораживает лягушку.

И вот теперь, полулежа на высоком топчане, Турабай для начала одарил старика Хуччи одним из своих испытанных взглядов. Но цели своей не достиг — старик Хуччи в это время смотрел в другую сторону.

Немного посидели молча. Потом старик Хуччи сам начал разговор.

— С добрыми вестями пришли, Турабай?— спросил он.— Давненько мы вас не видели.

— Вот, пришел...— сказал Турабай.

— Зачем же вы пришли?— спросил его Ибадулла Махсум.

После такого вопроса старик Хуччи вспомнил, кто здесь хозяин дома, и, делая вид, будто опирается на правую руку, слегка коснулся полы халата Ибадуллы Махсума. Турабай это заметил, но виду не подал.

— Вот, пришел...— снова сказал он.

— Добро пожаловать, Турабай,— сказал Хуччи, желая немного смягчить обстановку.— В последний раз на базаре я вас не видел, подумал, что вы заболели.

— Я никогда не болею,— ответил Турабай.

— Тогда почему же вас не было на базаре?— спросил старик Хуччи.

— Дела...— ответ Турабая был краток.

— Дела, говорите?— вмешался Ибадулла Махсум,— Вечно-то вам не сидится, Турабай! А вот мы с почтенным Хуччи сидим и говорим о разном. Уже неделю сидим и говорим о разном.

— Хорошо говорить о разном,— отозвался Турабай, тут он внимательно посмотрел на старика Хуччи.— Иду из мечети,— сообщил он как бы невзначай.— Там разговаривали...

Ибадулла Махсум понял, Турабай вот-вот упомянет о бешеной

собаке, и решил его опередить...

— В мечети не разговаривают, Турабай. В мечети молятся.

- Это мы по дороге разговаривали,— сказал Турабай.— В мечети молились, а говорили по дороге.

- Это другое дело. Раз вы разговаривали, значит, были не одни? Кто же с вами был?

— Все очень достойные люди.

— Кто же это?— поинтересовался Ибадулла Махсум.

— Мулла Кудрат,— сказал Турабай.— Еще Назар Махдум был.

— Мулла Кудрат — сущий невежда!—отрубил Ибадулла Махсум.— Сбежал из медресе в первый же год, даже до «Хафтияка»* не дошел! А ваш Назар Махдум слишком много врет, и еще он ел свинину!..

— Нет, Махсум, не может быть, чтобы он ел свинину!— возразил старик Хуччи, не поняв, куда клонит его друг.

— Назар Махдум ел свинину!..— упрямо повторил Ибадулла Махсум.

Турабай вдруг заметил, что его перехитрили.

— Там был еще мулла Данияр, уж мулла-то Данияр мудрый человек!— с вызовом сказал он.

— Да, мулла Данияр — мудрый человек,— охотно согласился Ибадулла Махсум.— Но он наверняка молчал. Мулла Данияр никогда не слушает глупцов. Или он вас слушал?

— Я ему ничего не говорил.

— Может, он сам что-нибудь вам сказал?

— Нет, он тоже ничего не сказал,— вынужден был признаться Турабай.

— Вот видите!— Ибадулла Махсум остался доволен ответом Турабая.— Мулла Данияр никогда не врет. Другим дай только языком почесать. Вот недавно одна цыганская собака пыталась укусить почтенного Хуччи. Даю голову на отсечение, об этом тоже говорили по дороге! Ведь говорили?

— Говорили,— признался Турабай.— Всякое говорили, Махсум, но я не очень-то им поверил...

— Вот это хорошо!— похвалил Ибадулла Махсум.— Вы поистине мудро поступили, Турабай! Не слушали, что говорят те глупцы!

* Буквально: «одно из семи»; название седьмой — последней — части Корана, которая печаталась отдельной книгой.

Похвала Ибадуллы Махсума ничуть не тронула Турабая. Он понял, его одурачили, как малого ребенка, и рассердился. И сам Ибадулла Махсум был доволен искусно проведенным боем, он даже подмигнул старику Хуччи: смелее, мол, опасность уже миновала. И старик Хуччи заметно приободрился и вынул из-за пазухи перевязанную чалмой руку. Что-то нехорошее блеснуло в зрачках Турабая и тут же погасло. Старик Хуччи понял: он немного поторопился вынимать руку. Но теперь уже поздно было опять ее прятать...

И решил тогда старик Хуччи говорить исключительно мудрые слова и этим показать, что он вовсе не бешеный. В пылу такого порыва он даже не заметил, как оперся левой рукой о тюфяк и вдруг ощутил боль, такую сильную, что на лбу у него выступили капельки холодного пота. Турабай улыбнулся, довольный, чуть ли не счастливый, и бодро так спросил:

— Рана-то хоть неглубокая?

Старик Хуччи засуетился.

— Так уж получилось, Турабай,— заискивающе сказал он.— С виду собака вроде неплохая была. Наверно, я сам виноват...

— Разве вы сами просили ее укусить?

Нет, не просил,— ответил старик Хуччи,— Я ничего не просил, но она укусила...

— Конечно, разве бешеная разбирает!..

Старик Хуччи даже не нашелся, что возразить.

- Она не была бешеной,— вмешался Ибадулла Махсум.— Хорошая такая собака, от цыган, кажется, отстала...

- Если хорошая, почему же тогда кусалась?— и Турабай засмеялся.

Вы зря не смейтесь,— сказал Ибадулла Махсум.— Пускай каждый тащит свою арбу, вы не мешайте. И не надо быть злым, я вот совсем не люблю злиться. Если поговорить по-человечески, то и со змеем можно найти общий язык.

— Ну?..— Турабай насторожился.— Вы так любите змей?

— Это я просто к слову, а если увижу змея, тут же размозжу голову!..

И не жалко, Махсум?.. Ведь и змей — божья тварь, им же рожденная.

— Но аллах давно проклял змей,— Ибадулла Махсум и не думал уступать.— Шайтан вошел в него через рот и вышел из хвоста.

— Где?— Турабаю потребовались доказательства.

— У райских ворот,— тут же ответил Ибадулла Махсум.— Тогда

змея сторожил райские ворота.

— Все равно змей — божья тварь!

— Нельзя же так, Турабай! — не выдержал старик Хуччи. — Как это вы можете защищать змея?!

Старик Хуччи был наивный человек, до того наивный, что ни разу в жизни не говорил аллегориями и не понимал, когда другие говорили ими. На этот раз он что-то уловил в споре двух людей, но не смог это затаить в себе и тут же выпалил. Теперь же выходило, что он заодно с другом уподобляет Турабая змею. А как-никак старик Хуччи был хозяином дома и не имел права обижать гостя. Задумался старик Хуччи и решил, что надо бы немного поощрить Турабая, но так, чтобы это было не во вред Ибадулле Махсуму.

Ваш отец, Турабай, был очень добрый человек, — начал он. — Я его хорошо помню, очень был добрый... Когда-то мы с ним за одним табуном ходили.

И ваш отец был добрый человек, — ответил Турабай, хотя он никогда не видел отца старика Хуччи, — Говорят, он очень любил собак...

- Удел каждого предопределен самим аллахом, — сказал Ибадулла Махсум. — Каждому свое, никто больше своего не возьмет. Кто собак любит, кто лошадей...

— Вот я живу сам по себе, — сказал старик Хуччи. — Все мое богатство — конь да кусок бязи для савана.

— Конь у вас быстрый, мне за вас страшновато, — сказал Турабай.

— Хороший конь не осрамит своего хозяина, — ответил старик Хуччи. — Что седло моего коня, что ханские носилки — одно и то же.

— Турабай не разбирается в лошадях, почтенный, — сказал Ибадулла Махсум. — Вы его лучше про быков спросите. У него в хлеву целых три быка, и он их доит.

— Все равно вам надо быть осторожным, — Турабай слова Ибадуллы Махсума пропустил мимо ушей. — Худо, если конь сбросит вас с седла. В старости кости плохо срастаются...

— Ничего, Турабай, до могилы уж как-нибудь доплетусь! Да и никто туда пешком не ходил!..

Старик Хуччи поднялся и, стоя тут же на топчане, крикнул в сторону дома:

— Эй, вы!..

Не прошло и минуты, как две его внучки принесли горячие

лепешки и чай. Ибадулла Махсум взял у них чайники, помог расстелить дастархан, потом девочки удалились так же бесшумно, как и пришли. Старик Хуччи поставил две пиалы перед собой, а третью пиалу и чайник подвинул к Турабаю. Турабай поднял чайник, налил себе и, отпив два глотка, обратился к хозяину;

— А где же ваша жена?

— Моя старуха немного спятила, Турабай,— сказал старик Хуччи как бы себе в утешение.— Вот недавно опять обиделась и уехала к сестре.

Он хотел было еще немного пожаловаться на жену, но Ибадулла Махсум вовремя остановил его:

— Она что, опять обиделась на внуков?

Старику Хуччи ничего не оставалось, как кивнуть.

— А я подумал, что она поскандалила с Хуччи,— сказал Турабай.

— Что вы, Турабай!.. Нам с ней уже поздно скандалить, это все внуки...

Старик Хуччи даже вспотел от собственной лжи. Он взял лежавшее на краю тюфяка полотенце и начал обмахиваться.

— Душный какой сегодня день,— как бы вскользь заметил Ибадулла Махсум.

— Да, Махсум, очень душный,— быстро согласился старик Хуччи.

— А я совсем даже не замечаю,— сказал Турабай.— Мне даже прохладно.

— Вы еще молодой,— ответил Ибадулла Махсум.— Вы этого не можете замечать.

Наступила пауза. Турабай повертел в руке пустую пиалу, разглядывая узоры, затем поставил ее на дастархан и уставился на старика Хуччи. А тот поднял чайник, разлить чай, но у него предательски задрожала рука, и он почти весь чайник пролил на дастархан.

— Она не была бешеной,— промолвил он упавшим голосом.

— А вы побольше чаю пейте, полегчает!..

— Пью, Турабай, пью, вы же видите, пью...

И старик Хуччи стал пить нарочито шумно, дабы показать Турабаю, что он ничуть не страдает водобоязнью. Осушив пиалу тремя большими глотками, он сказал:

— Вообще я не привык к чаю. За табуном долго ходил, а там родниковая вода. Родниковая, она хорошо утоляет жажду.

— Вы уж про табун помалкивайте, Хуччи. Украли из табуна же-

ребенка.

— Нет, я его купил,— возразил старик Хуччи.

— Где? Случайно не в Пайшанбе ли?..— усмехнулся Турабай.— Нет, Хуччи, вы его из табуна выкрали!..

Турабай отчасти был прав. Жеребенок Хуччи был вынужден скрыть от счетоводов поздней осенью, когда проверяли табун; не устоял он перед соблазном, уж очень полюбился ему этот жеребенок, резвый, с тонкими ногами, с красивейшей, как ручка хивинского кувшина, шеей. Второго такого Хуччи больше не видел ни в Пайшанбе, ни даже в самом Каттакургане. Жеребенок непременно стал бы первым скакуном, если бы не подрезали ему сухожилия. Скрыть жеребенка старик скрыл, но не решился идти и заплатить за него в кассу колхоза. Там могли подумать, что он украл жеребенка, а теперь вот испугался и пришел каяться... Шли дни, недели, а старик Хуччи никак не решался заплатить, все мучился... И тогда он то ли в искупление своей вины, то ли себе в наказание поехал в Каттакурган, купил и пригнал оттуда жеребую кобылу. Весной, когда опять проверили табун, обнаружили эту. без колхозного тавра лошадь. Велев счетоводам оприходовать ее, председатель колхоза Хайбаров хитро так улыбнулся, кажется, он понял старика Хуччи.

Теперь, когда напомнили про того жеребенка, который мог бы стать хорошим скакуном, но не стал. Ибадулла Махсум поднял руки и сказал:

— Пускай даже шербет станет ядом тому, кто подрезал жеребенку сухожилия! Аминь!..

Ибадулла Махсум, а вслед за ним старик Хуччи провели руками по лицу. Турабай к ним не присоединился. Он сразу сник. Вспомнил ту далекую пору, когда, как назло, рано наступила весна, зацвел клевер, вспомнил лунную ночь, жеребенка, который топтал этот цветущий клевер. Турабай потом даже пожалел того несчастного жеребенка, но дело было уже сделано. Жеребенок безжалостно топтал его клевер, а клевер этот только зацвел и позарез был нужен Турабаю — кормить быков... И ночь была светлая, лунная, и лезвие серпа так ярко и заманчиво поблескивало на меже, и все остальное располагало к тому, чтобы жеребенку непременно подрезать сухожилия на левой передней ноге...

— Спасибо вам, Махсум,— сказал старик Хуччи.— Вырастили- таки жеребенка. Ногу, правда, не вылечили, но... Пускай сам Аллах вас благославит за это!..

— Не надо, почтенный!— скромно ответил Ибадулла Махсум.— Я человек не очень занятой, потому и выпросил у вас жеребенка. Жалко его стало, сами знаете, я ни разу даже его не оседлал. Вот и Турабай может подтвердить.

Турабай смутился.

— Что ж, такое бывает...- согласился он, потом, совсем неожиданно заявил:— Вот я обвинил Хуччи в воровстве, а ведь сам тоже не ангел. Украл тонну хлеба, когда на току работал. У каждого есть свои грехи...

— Не знаю, Турабай, не знаю, никогда в жизни не воровал,— ответил старик Хуччи.

— Моя вина — растрата, а ваша... Про вашу мы уже говорили...

— Может, вы и мою вину назовете?— спросил Ибадулла Махсум.

Турабай замаялся. К счастью, калитка сада вдруг открылась и вошел Иргаш, сын старика Хуччи, с книгами под мышкой. Он еще издали поздоровался кивком головы, потом, чуть приглядевшись, рассмотрел Турабая, которого никак не ожидал здесь увидеть. Слегка ошарашенный, Иргаш направился к топчану. Но подойти не успел. В открытую калитку вбежала тощая рыжая корова и бесцеремонно повернула прямо к цветнику, готовая вмиг разорить все, что с таким старанием вырастила жена Иргаша. Услышав шум, Иргаш обернулся и крепче зажав книги под мышкой, поднял с земли палку. Корова тем временем принялась за куцую межу базилика с самого края. Иргаш подкрался сзади и стукнул корову по крестцу. Ибадулла Махсум отвернулся, не желая видеть, как бьют животное. А Турабай привстал на колени и закричал:

— Сильнее, Иргашбек, сильнее!.. Перебейте чертовой корове ноги!.. Ага, по рогам ее, по рогам!.. Пускай больше не лазит в чужой сад!.. По бокам бейте, Иргашбек, но бокам, не так будет заметно!..

То ли Иргашу надоели крики Турабая, то ли стало жалко корову, но он отбросил палку обошел корову со стороны дувала и погнал к калитке. Корова напоследок вырвала с корнем пышный кустик «недотроги» у калитки и выбежала со двора...

Турабай сел.

Хорошая корова,— сказал он.

Ему не ответили.

— Вообще, это даже не корова, скорее телка,— сказал Турабай.— Ее ко мне Касымов приводил. Она в этом году осталась яловой.

— Ив будущем году останется,— сказал Ибадулла Махсум,—

Походка у нее неважная.

— У Турабая есть три быка,— сказал старик Хуччи.— Касымов еще раз мог бы повести к нему.

Он приводил,— сказал Турабай.— Но деньги не захотел платить.

— Вы за каждое покрытие сколько берете?— спросил Ибадулла Махсум.

— Три рубля,— ответил Турабай.— Три рубля за каждое покрытие. Быков кормить надо, Махсум.

— Это вы хорошо делаете, что держите быков,— сказал старик Хуччи.

— Кому что нравится,— вполне миролюбиво ответил Турабай.— Вот вы, Хуччи, коня держите, а я быков.

— Почтенный Хуччи сам кормит своего коня,— возразил Ибадулла Махсум,— а вы своих быков не кормите, они сами себя кормят да и вам кое-что оставляют.

— Кому что нравится,— повторил Турабай.— Вот Хуччи коня держит, а я быков.

— Зато на быках нельзя ездить,— сказал Ибадулла Махсум.

Сейчас ему очень хотелось чем-нибудь досадить Турабаю.

Турабай не смог ему возразить. Но тут совсем некстати влез старик Хуччи:

— А говорят, индусы ездят на быках.

— У индусов, как у верблюдов,— все наоборот,— сказал Ибадулла Махсум.— Пускай кто и ездит на быках, но скакать на них никогда не сможет!

Теперь ему уже совсем нельзя было возразить.

...Отец и сын прошли в глубь сада, под высохшую яблоню.

— Ну, отец,— спросил Иргаш,— с матерью скоро помиритесь?..

Он был учителем, и, когда о чем-нибудь спрашивал, левая бровь его чуть приподнималась и снова опускалась, описывая при этом маленькую дугу. Старик Хуччи молчал, учительский тон ему явно не нравился. Какое-то время он молча разглядывал носки своих ичигов, затем, увидев рядом топор, поднял его и вложил в развилку высохшей яблони.

— Не смей со мной так разговаривать,— хмуро сказал старик Хуччи.— Ты еще молод... И когда ты наконец вырубешь эту проклятую яблоню!..— вдруг закричал он и, схватив топор с развилки, сильно ударил им по сухому стволу. Топор был тупой, но старик Хуччи врубил

его с такой силой, что уже не мог вызволить обратно.— Может, мне и топор для тебя наточить?

— Я сам наточу,— ответил Иргаш.

Отец и сын немного помолчали, оба взвинченные. Наконец Иргаш решил отступить:

— Вы что-то хотели сказать, отец?..

Старик Хуччи недобро посмотрел на сына — тот сейчас очень мешал ему думать.

— Лишь бы не забывал здороваться со мной, большего мне не надо.

— Я устал от всего этого, отец!..

— Устал, значит?.. Что, может, саман месил?

— Нет, аистов пас!..— не сдержался Иргаш.— Зачем вы надо мной издеваетесь?

— Разве я издеваюсь?— удивился старик Хуччи.

— А что же вы тогда делаете?— левая бровь Иргаша опять поползла вверх.

— Да не играй ты своими бровями!..— взорвался старик Хуччи.— Разве ты женщина? Мать тебя, кажется, родила мужчиной!..

Иргаш сильно обиделся на отца. Он даже решил было повернуться и уйти, но старик... «Старик ведь обидится,— подумал он.— И на том свете потом не простит...».

— Оставьте меня в покое, отец...— взмолился он.— Я уже не ребенок.

Ты хуже ребенка!— сказал старик Хуччи.— С тем хоть можно говорить, с тобой нет!

— Ну и не говорите!— не выдержал Иргаш.

— Я... я ведь могу проклясть!..— пригрозил старик Хуччи.

— Делайте что хотите!..

Старик Хуччи погладил бороду, поглядел на разгневанное лицо Иргаша. «Сердитый!..— подумал он, довольный сыном.— Весь в меня...»

— Ты меня не учи,— сказал он.— В любую минуту могу выгнать из моего дома.

Иргаш как-то не заметил, что отец уже смягчился и теперь говорит лишь для острастки.

— Пусть будет так. Вы уже со своими лошадьми, беркутами да собаками нас всех опозорили, отец! Все над нами смеются!.. Хоть бы этого своего коня продали, на что вам теперь конь, отец?

— Не называй меня отцом!..— крикнул старик Хуччи, но тут же

понижил голос, вспомнив, что Турабай недалеко, может услышать.— Аллах сам разберется, сын, кто прав, кто виноват... Шел бы лучше домой!— опять закричал он.— Иди домой, зарежь барашка, и пускай жена всю тушу кладет в казан!..

Иргаш растерялся. Давно он не видел отца в таком переменчивом настроении.

— Или мне самому пойти резать?— спросил старик Хуччи и посмотрел на свою перевязанную руку.— Мог бы, коль не рука... Может, схожу за мясником Бако?

— Нет, отец, дома есть мясо.

— Этого будет мало.

— Кому это такие почести? Уж не Турабаю ли?— удивился Иргаш.

— А кому же еще? Махсум мне друг, он одним моим хлебом доволен будет.

— Хорошо,— сказал Иргаш.

— Что «хорошо»?

— Хорошо,— повторил Иргаш.

Прежней обиды как ни бывало. Он улыбнулся, думая о щепетильности отца, о его гостеприимстве, и даже пошутил:

— А за барашка-то мать платила...

— А я за нее калым платил,— сказал старик Хуччи.— Иди за ножом.

Иргаш покорно пошел за ножом.

Через три часа подали старикам на большом блюде жаркое из барашка, посыпав сверху слегка обжаренными кружочками лука. Начал еду Турабай, как и полагалось гостю. Ибадулла Махсум и сам старик Хуччи подождали, пока тот проглотит первый кусок, затем тоже засучили рукава и приступили к еде.

— Лук хорошо зажарили,— сказал Турабай, отправляя в рот второй кусок мяса.— Я очень люблю лук, Махсум.

— Я лук не люблю, но ем,— ответил Ибадулла Махсум.

— Я утром ел шурпу,— сказал Турабай,— но мясо этого барашка такое вкусное, что не могу отказаться. Хорошо, когда дома есть мясо барашка. Лежишь себе да ешь!.. Утром — барашек, днем — барашек, вечером — опять барашек!..

— Не вечно же есть одного барашка,— возразил старик Хуччи.— Надоест. Я вот и плов люблю.

— Все равно для плова нужен барашек,— сказал Турабай.

— И говядина сойдет,— опять возразил старик Хуччи.— Я вот,

когда маленьким был, совсем не ел вареное мясо, сейчас все ем, и вареное, и жареное, все... Только мясо козы не люблю, от него плохо пахнет.

— Это от мяса козла плохо пахнет,— уточнил Ибадулла Махсум.— А так козье мясо тоже хорошее, почтенный.

— Лучше его не есть, Махсум.

— Ну, кому как,— сказал Ибадулла Махсум.— Вот Манзар-палван не любит плов. Люди едят, а он, как сирота, сидит в стороне и смотрит, как другие едят. Потом, когда блюдо опустеет, он соскревет пальцами со дна остывший жир и мажет свои ичиги.

— Все-таки мажет!..— сказал Турабай, оторвавшись от еды.— Хоть какая-то польза есть!.. А так совсем неинтересно сидеть впустую — другие едят, а ты сидишь и смотришь, как они едят. Я не люблю смотреть, как другие едят, мне самому хочется есть.

— Ешьте, кто вам мешает!— старик Хуччи не понял недовольство Турабая.— Манзару-палвану легче, ему не хочется есть плов.

— А вы, Турабай, скажите жене, пускай кладет в еду побольше тмина и толченой мяты,— посоветовал Ибадулла Махсум. И сердцу и мозгам польза.

— Сердце у меня крепкое, Махсум!

— А мозги?..

Этого вопроса Турабай словно не услышал — он ел.

— Мята хороша, когда она только выпустила два лепестка,— сказал старик Хуччи.— Потом она начинает стареть. У меня был кот, который очень любил мяту. Дурной был кот, приучился лизать капли моей старухи. Они очень вонючие, эти капли, она принимает их, как только задумает ссориться. В другое время пузырьки валяются где попало, вот он и приучился... Потом, когда жена стала их прятать, кот повадился бегать к арыку, а там мята растет. Он возьмется лапками за стебелек, пригнет к себе и осторожно откусит лепесточек. Сколько раз срывался в воду из-за этой мяты, но так и не отучился. Представьте, Махсум, каково ему было, когда он подходил к арыку! Ведь кошки до смерти боятся воды!..

— Как и бешеные люди.— заметил Турабай.

Ответом ему было неловкое молчание обоих друзей. Старик Хуччи вытер руки и передал полотенце Ибадулле Махсуму. Гот тоже вытер руки и отстранился от еды. Недолгий мир опять был нарушен...

Теперь ел один только Турабай. Он взял блюдо за нетронутый край, спокойно притянул его к себе и с большим аппетитом продолжал есть.

Ел он, сильно чавкая. Раньше, когда все ели, это было не так заметно.

— Не чавкайте, Турабай!— вдруг сказал Ибадулла Махсум.

Турабай не ожидал такого, он замер с большим куском мяса во рту. Хотел было выплюнуть, но нельзя — перед ним дастархан раскрыт, проглотить тоже нелегко. Бедный Турабай так и сидел в полном растерянности. Наконец он все же проглотил кусок, так и не разжевав его. Проглотил, запил двумя глотками остывшего чая, поставил пиалу на край дастархана и устался на Ибадулла Махсума злым взглядом. Но тот спокойно выдержал испытание, даже улыбнулся.

— А что, если я вам скажу, Махсум...— начал Турабай.

— Скажите, Турабай, скажите...

— Может, ему лучше сказать после еды?— спросил старик Хуччи, который все-таки был очень обременен своей ролью хозяина.— Согласитесь, Махсум, пускай он скажет после еды...

— Нет, почтенный, пускай лучше скажет сейчас.

— Будь я малость помоложе, Махсум, я бы вас избил,— зло сказал Турабай, и ему стало сразу легче оттого, что он так сказал.

— А мне помог бы почтенный Хуччи,— пошутил Ибадулла Махсум, желая немного остудить свой гнев.

— Меня Усман Звездочет с сыновьями бил,— вспомнил вдруг старик Хуччи.— Он, косоглазый, не мог меня как следует разглядеть, так ему сыновья помогали. Целых три волкодава! Вы, Махсум, учились тогда в бухарском медресе.

— Сколько он ни учился, а муллой стать не смог,— сказал Турабай.

— Смог бы, да не стал,— сказал Ибадулла Махсум.

— Все равно я бы вас с радостью избил, Махсум...

— Вы, Турабай, лучше посмотрели бы на себя!— ответил Ибадулла Махсум.— У вас столько же силы, сколько у жертвенного козленка, будете бляеть, пока вам не приставят нож к горлу! Вы и одного хорошего щелчка не выдержите. Эх, немножко бы сбросить лет, я бы...

— Ну?

— Я бы вас так ударил, что искали бы вас за Коровьей вершиной!..

— Не слишком ли далеко?— ухмыльнулся Турабай.— Я вас никогда не любил, Махсум. Вы мне всегда завидовали.

— Да кто вы такой, чтобы вам еще завидовали?!— старик Хуччи, покраснев, придвинулся к Турабаю ближе.— Махсум никогда не дойдет до такого унижения! Было бы кому завидовать!..

— Оставьте вы его, почтенный,— сказал Ибадулла Махсум.— Ему

всегда не терпится кому-нибудь подрезать жилки.

Турабай иногда сам удивлялся, как он быстро пасует при одном лишь упоминании о том жеребенке. Ведь, если серьезно подумать, нет человека на свете, кто не имел бы грехов. И так, слава богу, у Турабая их немало. Но о тех все уже знают, те грехи ему уже вроде и простили. Одна только история с проклятым жеребенком столько лет не дает покоя. Лучше однажды пройти через позор, чем вечно ждать, когда же раскроется твой грех. Позор ты будешь переживать один день, два, три... пусть месяц, пусть даже год, потом все забудется. А этот? Ибадулла Махсум, кажется, догадывается и не перестает твердить о треклятых жилках да сухожилиях жеребенка. У того небось и кости давно сгнили! И какая, спрашивается, цена одному жеребенку, да еще хромому? Уж лучше признаться, и сразу станет легче. Лучше уж один раз опозориться, чем терпеть без конца двусмысленные намеки Ибадуллы Махсума!..

И Турабай решил опозориться.

— Плохо ли это, Махсум, когда подрезают жилки?..— спросил он.

— Не знаю, мясником не был,— ответил Ибадулла Махсум.

— А что, если все-таки взять да подрезать сухожилия какому-нибудь коню?— Турабай медленно, но неотвратимо подкрадывался к цели.— Ну, скажем, подрезать серпом сухожилия у коня нашего Хуччи.

Конь был уже назван, Хуччи назван, назван серп, теперь Турабаю оставалось только добраться до сухожилий того жеребенка. Но тут старик Хуччи испортил все дело: услышав про своего коня, он так и взвился.

— А вы полегче с моим конем, Турабай!— сказал он.— Полегче!

«Дурак! Он даже узнать не хочет!»—обиде Турабая не было конца.

— Рука-то ваша больше не годится для скачек!— крикнул он.

Старик Хуччи хотел было спрятать пораненную руку под полу халата, но Ибадулла Махсум произнес:

— Вы что же, боитесь, почтенный?..

— Я что-то не возьму в толк, как она может быть не бешеной,— Турабай опять принялся за старое.— Разве цыгане дураки, чтобы оставлять здоровую собаку? Здоровых они всегда берут с собой. Ведь вы знаете, они у нас частенько крадут хороших собак. А эту собаку вдруг взяли да и оставили. Выходит, она точно была бешеная?..

Доводы его прозвучали так убедительно, что старик Хуччи не на шутку струсил.

— Я ничего такого за собой не замечал, Турабай..

— Не все сразу, дорогой!..— улыбнулся Турабай наивности старика Хуччи.— Вроде бы у вас и аппетит пропал. Я видел, вы совсем мало ели. И еще меньше пили...

— Я воды не боюсь,— сказал старик Хуччи.— Сами видели, чай пью...

— Это я так, к примеру... Вот вы, Хуччи, могли бы, скажем, кого-нибудь укусить?

— Э, Турабай, зачем мне кусаться?— удивился старик Хуччи.— Я что, разве собака, чтобы кусаться?!

— Нет, нет упаси меня аллах!—горячо возразил Турабай.— У меня и мысли не было сравнивать вас с собакой!

— А что же тогда?— обиделся старик Хуччи.— Я же вам не ровесник. На три-четыре халата больше вас сносил, Турабай. С чего это вы со мной так шутите?

— Я с вами не шутил.

— Значит, вы это всерьез сказали?

Турабай залился мелким смешком. Ибадулла Махсум вдруг поднял голову.

— Кажется, вы не рады, что почтенный Хуччи не заболел бешенством?

Порази меня аллах на этом же топчане!— воскликнул Турабай и простер обе руки к небу.— Я об этом даже не думал, порази меня Аллах!

— Нет, вы все-таки скажите, если бы он заболел, вы бы обрадовались?— опять спросил Ибадулла Махсум.

— Обижаете вы меня, Махсум,— сказал Турабай не очень уверенно.— Обидно мне...

— А вы в то место, где вам особенно обидно, посыпьте немного перчика,— посоветовал Ибадулла Махсум.

Великий гнев охватил Турабая при этой колкости! Вены на висках вздулись, белая бородка так и затряслась, темное лицо стало бурым... Сколько он ни сдерживал себя, не смог побороть гнев и вылил разом всю свою желчь, что накопилась за долгие годы:

— И вы уже бешеный, Махсум!

Выпалил и собственными же ушами услышал, с каким отчаянным звоном лопнула струна, которая все время была натянута между ним и Ибадуллой Махсумом.

Старик Хуччи резко вскинул глаза на друга: что же тот скажет

теперь?..

— Пойдемте-ка, Турабай, разомнем ноги,— предложил Ибадулла Махсум. Лицо его было совершенно спокойно,— Надо же когда-нибудь размять ноги!..

Турабай понял его по-своему.

— Вы уже пожилой человек. Махсум.— сказал он. Мне зазорно вас избивать.

— Другое дело есть, Турабай.

Турабай недоверчиво покосился на него.

— Нельзя ли. Махсум, завтра его обговорить?— спросил он.

Ответом Ибадуллы Махсума было оскорбительное молчание.

Турабаю пришлось встать и сойти с топчана.

— Вы свои галоши наденьте, Турабай,— сказал Ибадулла Махсум.— Мои еще новые, в них еще на свадьбы можно ходить.

Турабай совсем растерялся. Он с трудом вытащил ичиги из новых, блестящих галош Ибадуллы Махсума и надел свою поношенную пару. Потом он поплелся следом за Ибадуллой Махсумом к старой яблоне. Под яблоней они остановились. Ибадулла Махсум старательно подобрал полы халата, заткнул их за пояс и сделал шаг к Турабаю. Турабай отступил назад.

— Не шутите со мной, Махсум, это может плохо кончиться, я за себя не ручаюсь,— сказал Турабай и в подтверждение несколько раз топнул ногою об землю.

— И вы со мной поосторожней... Бешеная собака ведь и меня тогда укусила,— предупредил Ибадулла Махсум.

— Пощадите себя, Махсум, неужели вам жизни своей не жалко?— сказал Турабай, отступая еще на один шаг.

— Хотите, Турабай, я вам сейчас перекушу глотку?—спросил Ибадулла Махсум. И, будто в доказательство своих слов, широко раскрыл рот и клацнул зубами.— Ну, хотите, я вам хотя бы горло прокушу?..

Турабай струсил. Отступил еще на два шага и воровато оглянулся на калитку. Но калитка была далеко. Вдруг он увидел топор в стволе высохшего дерева и в два прыжка оказался рядом с ним. Попытался высвободить топор из ствола, но не хватило сил. Он ухватился за него и отчаянно повис на топорнице, но снова тщетно. Тогда он обреченно посмотрел на Ибадуллу Махсума. Но тот уже не казался таким страшным, каким был минуту назад. Турабай осторожно обошел его и

направился к калитке. Ибадулла Махсум молча последовал за ним. Турабай, стараясь не оглядываться, участил шаги. Оттого ли, что был он толстеньким, а халат на нем узок, или шел он быстрее обычного, но зад Турабая забавно ерзал под халатом. И в голову Ибадуллы Махсума неожиданно пришла коварная мысль, отчего он кигро улыбнулся, взглянул на свою правую ногу, потом на ерзающий зад Турабая, но все-таки сжалился, не поднял ногу... Хотя он и не дал Турабаю пинка под зад, но обрадовался диковинности посетившей его мысли и даже забыл, что они с Турабаем совсем недавно чуть ли не по-настоящему повздорили. Будто между мыслью дать пинка и недавней злостью не существовало никакой связи... Сказал, что перекусит горло, но сам не собирался этого делать, а вот не говорил, будто даст под зад, но его так и подмывает эго сделать. Ибадулле Махсуму стало весело, он попытался придать своему лицу серьезное выражение, ну, хоть нахмуриться малость, что ли, на тот случай, если Турабай вдруг обернется, но нет, не удалось, и он заулыбался во весь рот.

Когда подошли к калитке, Ибадулла Махсум остановился. Турабай же убавил шаг только за калиткой, оглянулся и, не увидев преследователя, решил отдышаться. Постоял минуту-другую, но уже больше не смотрел в сторону Ибадуллы Махсума. Потом он шлепнул три раза полу своего халата — мол, все, ухожу я из этого дома, впредь ни пылинки вашей на мне не будет — и ушел.

Ночью того же дня старик Хуччи решил уйти из Галатепе. Эта мысль пришла к нему не сразу. Сначала был страх, темный и тяжелый, как сама ночь, сон не шел, старик все ворочался в ночной духоте, голова разболелась невыносимо...

«Конечно, оно бы лучше остаться до конца дней возле своих... А вдруг они не посчитаются ни с каким родством возьмут да привяжут цепью к дереву — так тебе и надо, бешену!»

И старик решил: лучше исчезнуть. Лучше побыть одному, схорониться где-нибудь подальше от глаз и ждать. Пронесет — хорошо, а нет... Тогда придется там остаться. Раз уж не удалось по-человечески умереть у себя дома...

Утром он уже был в пути. Пошел оврагами, чтобы не видели, как и куда он подался. Вскоре старик добрался до подножия горы, но не стал подниматься, поберег силы, выбрал тропинку через можжевелевый лес на склоне. Но за склоном и эта тропинка полезла круто вверх, к перевалу на Чонкаймыш. Старик свернул чуть пониже и через три часа

оказался в каменистой степи, кое-где покрытой жухлой травой. Галатепе остался далеко позади, за белесым от можжевельника выступом горы. Старик Хуччи устал, он весь вспотел, тело ныло, давая знать о бессонной ночи... Зря он не поехал на коне, пожалел, не захотел и его сгубить. Да и зачем ему теперь конь? Было бы куда торопиться...

Вдруг послышался звон колокольчиков. Сперва старик подумал, может, это позвякивает козел, ведущий за собой стадо, но, сколько ни вглядывался, не увидел поблизости отару. Да и звон, то тихо, то громче, шел не из горных пастбищ, а совсем с другой стороны — из глубины каменистой степи. Немного погода наверху большого пологого холма показался всадник, вслед за ним выросли три верблюда. Старик Хуччи не верил своим глазам: как же так, ведь давно в этих краях нет ни одного верблюда, был один, колхозный, и того, считай, лет десять назад зарезали, а мясо бесплатно раздали тем сознательным колхозникам, что в рамазан ноет не держали. А тут на тебе, сразу три верблюда!..

Тем временем маленький караван приближался. Старик Хуччи узнал караванщика — это был давно пропавший Узак со своими верблюдами. И тот, кажется, узнал старика Хуччи, остановил лошадь, верблюды за ним тоже стали, затихли и колокольчики на их шеях.

— Мир вам, Хуччи!— сказал араб.

— Мир вам, Узак,— сказал старик Хуччи.— Я рад вас видеть, думал, больше не встречу...

— Еду в Каттакурган,— печально произнес араб.— Потянуло опять. Старый я стал...

Старый Хуччи сам видел, что Узак уже не тот, борода белая, неухоженная, лино в рытвинах, засыпь туда горсть проса, ни одно зернышко не упадет.

— Болел я, Хуччи,— сказал Узак.— Оспа проклятая...

— А я вот решил уйти из Галатепе,— сказал старик Хуччи. Собака меня укусила. Говорят, бешеная. Хотел ее приручить, гончая была, я-то думал, она хоть и цыганская, а привыкнет ко мне... У меня ружье есть, Узак. Теперь вот хотел гончую. Сами знаете, жизнь моя прошла за табуном, все некогда было. Хотелось просто сесть на коня, взять с собой гончую, ружье и поехать на охоту, всегда хотелось... Только беркута у меня нет. Однажды даже купил птенца в Чонкай мыше, десять рублей отдал, думал, клюв затвердеет, охотиться можно будет, а он оказался просто коршуном...

— Да-а, это плохо, когда беркут оказывается коршуном,— согла-

сился араб.— Это совсем плохо, Хуччи, коршун не годится для охоты.

— Знаю, знаю,— сказал старик Хуччи.— Да он и коршуном-то настоящим не успел стать. Я уехал в Пайшанбе, а дома его кормили соленым мясом... Может, они это ненарочно, Узак, но коршун умер. Жалко было птицу, хоть она вовсе и не беркут. И коня моего они не любят, Узак, все требуют, чтобы я его продал, боятся, как бы не сбродил меня с седла в какой-нибудь овраг...

— Как они плохо думают о конях!— удивился Узак.— Нет, вы его не продавайте, Хуччи.

— А кому я его продам, когда он ко мне так привык!.. Вот недавно он заболел — долго стоял в стойле,— и я скормил ему пуд моркови, чтобы кровь очистилась... Нет, Узак, другие его не поймут, загубят... А дома на меня обижаются. Жена недавно уехала к сестре. Нет, это она ненарочно, давно хотела поехать, повидаться с сестрой. Но мы до того были в ссоре, и вот теперь все думают, что она сбежала. Не надо было ей уезжать сейчас. Ведь и без того люди смеются надо мной... Не везет мне...

— Моя жена всегда сидит дома,— сказал Узак.— У нее нет никого, сирота была, как и я... Вам, Хуччи, следовало бы тоже жениться на сироте.

— Я об этом думал,— сказал Хуччи.— Но она ведь неплохая... С другой мне было бы хуже, помните, я ведь целыми неделями ходил за табуном, редко приезжал в Галатепе, а она ничего, сидела, ждала...

— Теперь мы старые,— сказал Узак.— Нам теперь должно быть спокойнее.

— Не получается, Узак...

— Да, не получается. Вам, Хуччи, не надо было связываться с чужой собакой.

Нет, она неплохая была... Дай, думаю, возьму и приручу. Мах сум сказал, что она укусит, но я не послушался, теперь, выходит, она была бешеной... Я не стал ждать, Узак...

— Ждать не надо,— согласился араб.— Я вот столько лет ждал, пока соберусь в Каттакурган, теперь старый стал... Помню, у вас был саврасый конь, сильный, вы на нем на скачках всегда первым приходили. Помните, под Коровьей вершиной... Там и сейчас скачут?

- Теперь редко скачут, Узак,— грустно ответил старик Хуччи.— И того саврасого уже нет. Теперь у меня другой конь, пегий, как у вас тогда был... Вот решил я уйти, Узак. А то меня возьмут и привяжут к

дереву. Я ведь сам их сажал, эти деревья, своими руками, а теперь... Нет, Узак, не могу я так. Лучше умереть где-нибудь в степи.

— А вы идите в Кызыл-Таш, — посоветовал Узак. — Там и вода есть. И камни кругом красные, и песок красный.

— Мне вода ни к чему, — сказал старик Хуччи.

— Все равно в Кызыл-Таше лучше, я там всегда жил в белом шатре. Камни красные, песок красный, а шатер весь белый. Я бы опять поставил там свой шатер, но годы уже не те. Хоть в Каттакурган съезжу, и го хорошо. Не могу я дома сидеть, Хуччи. А три дня назад совсем немоготу стало, взял трех верблюдов и поехал!.. Думаю, послезавтра вечером буду в Каттакургане. Пораньше нельзя, верблюды уже старые.

— Зачем вам три верблюда, Узак? — спросил старик Хуччи. — Груза-то у вас никакого!

А как же без верблюдов? — удивился араб. — Без них и дорога не га, я ведь всегда с караваном ходил в Каттакурган.

— В Каттакургане хорошо.

Ив Кызыл-Таше хорошо, — сказал араб. — Лучше, если вы пойдете туда. Помню, вы там лошадей пасли.

— Давно это было, Узак. Ох, как давно!..

И сейчас еще не поздно. Идите в Кызыл-Таш. Нет, Хуччи, пешком долго туда идти, берите мою лошадь. И хурджун берите, я на верблюде доберусь.

Старик Хуччи согласился. Узак вручил ему поводья от своей лошади, приказал головному верблюду припасть на колени и взобрался на него. Потом верблюд встал, и путники разошлись каждый в свою сторону. Отъехав немного, Узак окликнул старика Хуччи:

— Эй, Хуччи, я чуть не забыл, ее зовут Санобар!..

— Кого? — не понял старик Хуччи.

Вашу кобылу!.. — крикнул Узак уже с другой стороны холма.

В Кызыл-Таш старик Хуччи приехал ночью. Кобылу привязал к кустам тамариска, снял седло и отнес его к стене старого полуразрушенного рабата — крепости. Сова, прокричавшая неподалеку над развалинами, учуяла человека и умолкла. В лунном свете старый рабат казался еще более громадным и зловещим.

Совсем не по себе стало старику Хуччи. Он подошел к кобыле, обнял ее за шею, прижался лицом к ее спутанной гриве. Кобыле это понравилось, она опустила шею еще ниже, затем, звеня уздечкой, заржала. Старик Хуччи снял с нее удила, пустил пастись в одном

недоуздке, а сам вернулся к стене рабата. Там он расстелил на голой земле халат и прилег отдохнуть.

Опять закричала сова. Сердце старика сжалось от грусти и тревоги, и он окликнул кобылу:

— Бех-бех, Санобар, бех-бех!..

Лошадь услышала, подошла к старику и стала шумно обнюхивать его лицо. Из ноздрей ее шел едкий запах степного горчака.

— Все мы умрем, Санобар,— печально сказал старик Хуччи лошади.— И я, и Турабай, все... Выходит, зря мы обижали друг друга. Ведь никто не останется подпирать собой небо, ведь никто?.. Все помрут, и сам бог однажды помрет... Когда нет человека, зачем же ему быть? Как он обойдется без людей?

— А мы?— спросила кобыла.— Мы-то останемся?..

— А-а!..— махнул рукой старик Хуччи.— О чем ты говоришь? Разве лошадь человек, чтобы...

Старик смолк. Понял, обидел он лошадь, и умолк.

— Слушай, Санобар,— сказал он немного спустя.— Мы ведь с тобой не пойдем друг друга. Я знаю одно: лошадь ли ты, человек ли, все мы в этом мире только в гостях. Нет у нас вечного дома. Каждый тут — гость. Надо ли нам тогда ссориться?

Кобыла обиделась. Резким движением головы она отбросила недоуздок и поскакала в степь. Старик Хуччи был напуган собственными словами, не сразу даже заметил, что остался в полном одиночестве.

«Плохо я сказал,— подумал он.— Бога обидел... Не будь бога... Ведь так нельзя, чтоб жить без бога, нельзя, чтоб его не было!..»

Ему показалось, что мир уже осиротел без бога.

Дней через двадцать старик Хуччи, живой и невредимый, вернулся в Галатепе. Вечером того же дня в чайхане Барата Кривого он рассказал галатепинцам о своей встрече с Узакком и о кобыле Санобар. Но те упорно не хотели ему верить, не верил даже сам чайханщик, который всегда и во всем соглашался со своими посетителями.

— Узак не такой дурак, чтобы на каждом шагу раздавать но лошади,— сказал Барат Кривой.— Почему он сам не заехал в кишлак, как-никак однажды уже отведал нашего хлеба?

— Он ехал в Каттакурган,— объяснил старик Хуччи.— Я шел пешком, и он дал мне кобылу и целый хурджун еды.

— А где же хурджун с едой?— осведомился чайханщик.

— Еду я съел, хурджун забыл в старом рабате.

— Ладно, а где же тогда лошадь?

— Она ушла в первый же вечер. Обиделась на меня и ушла.

Слова старика Хуччи вызвали лишь улыбку.

— Странно как-то получается, Хуччи,— сказал чайханщик,— все на вас обижаются и уходят. Жена ушла, теперь вот и кобыла ушла...

— Жена уже вернулась,— сообщил старик Хуччи.— Она погостила у сестры и вернулась.

— А вы сами не обиделись на нее. когда она сбежала?— не унимался чайханщик.

— Она никуда не сбежала, не такая она плохая, чтобы сбежать...

— А цыганская собака, она-то сбежала?

— Да. Она сбежала, но я на нее не обижаюсь.

— Вы бы лучше еще чаю нам принесли, Барат,— сказал мулла Данияр чайханщику, а когда Барат Кривой ушел к своим самоварам, обратился к старику Хуччи:— Я рад вас видеть, Хуччи. Тут зря болтают, я верю, что Узак дал вам лошадь. Это очень хороший человек, и я рад, что он жив. Мне однажды приснилось, будто он умер...

— Нет, он живой.— сказал старик Хуччи.— Только немного постарел. Он очень хотел вновь увидеть Каттакурган.

— А мы думали, что вы совсем исчезли,— сказал Назар Махдум.— Я даже собирался съездить к сыну, Санобеку, чтобы он объявил на вас розыск.

— Я никуда не исчезал,— возразил старик Хуччи.— Поехал на лошади в Кзыл-Таш. Очень умная была кобыла. Она даже говорить умела.

Все, кроме муллы Данияра и Ибадуллы Махсума, засмеялись.

— Я ей сказал, что бог тоже умрет,— продолжал бедный старик Хуччи.— Она обиделась на меня и ушла,— праведная оказалась.

Ответом был опять смех, дружный и веселый.

— Может, это была ваша жена? Ведь и она на вас обиделась и ушла?— сквозь смех спросил чайханщик, стоя у самовара.

Старик Хуччи растерялся. Тут мулла Кудрат произнес громко:

— Раз она заговорила, значит, в нее вселился шайтан! Вы гяур. Хуччи, истинно вам говорю, вы гуяр! Только гяуры могут накликать на себя столь великую беду! Горе, горе вам, Хуччи!..

Старик Хуччи умолк под огненно сверкающим взглядом муллы Кудрата. К счастью, Ибадулла Махсум — в который уже раз!— заступился за него.

— Запомните, Кудрат, шайтан ни в кого, кроме человека, вселиться не может,— сказал он.— Вы, Кудрат, неглупый человек, но плохой мулла. Разве вы не знаете, что лошади, как и вообще подобные твари, никогда не бывают корыстными? Зачем вам клеветать на бедную кобылицу? Аллах может все, и я нисколько не удивлюсь, если он превратил ту кобылицу в женщину!.. Вот даже ни на столько не удивлюсь!— и он показал кончик мизинца.

— Слышите, он опять взялся за старое, твердит о переселении душ!— закричал мулла Кудрат, призывая в свидетели муллу Данияра.— Вы слышали, почтенный, он говорит то же самое, что говорят индусские муллы! Мало было нам одного гяура, их уже стало двое, и Махсум туда же!.. Скажите, мулла, как он этого не понимает, ведь кобылица не может стать женщиной!..

— Ну, это как понимать...— неопределенно ответил мулла Данияр.

— Вы поймите, Данияр, кобылица никогда не станет женщиной!

— А почему же тогда жена шорника Мурада ржет, как кобылица?..— спросил мулла Данияр.

Все, кто хоть немного знал жену шорника Мурада, подтвердили его слова. И сколько ни думал мулла Кудрат, он не нашел достойного ответа.

С того дня мулла Кудрат стал очень мнительным — услышит женский смех и сразу настораживается. Говорят, даже в смехе своей собственной жены стал подозревать какой-то подвох, и стоит ей засмеяться, мулла тут же одергивает ее: «Чего ты ржешь, кобылица?» Она теперь уже не смеется, кому приятно прослыть кобылицей?.. Разумеется, никому. И вот жена муллы Кудрата научилась улыбаться беззвучно, одними уголками губ, печально и довольно-таки скучно.

Но, как говорится, каждому свое. Дело муллы — подозревать, его жены — не слыть кобылицей, а наше... Да бог его знает, какое наше дело! Мы тут вроде бы и ни при чем. Порассказали, и хватит.

Алишер Ибодинов

СОЛНЦЕ ТОЖЕ ОГОНЬ

Коли сверху не нажмет тенгри, твердь внизу
не разверзнется. Так кто же в силах, о тюркский
народ, посягнуть на священную землю твою?*

Надпись на могильном камне Кул Тегина. VII век

— Проснись: Алп Тегин! Да проснись же, Алп Тегин!

Алп Тегин открыл глаза, выхватил из-под подушки саблю.

— Враги? Арабы?- резко спросил он.

Нет, это со стороны Кувы. Должно быть... везут послание из Урды,— забормотал раб, заробевший оттого, что пришлось ему беспокоить бека.

Алп Тегин повязал налобную шелковую повязку, заправил под ремень заплетенные в косу волосы и вышел наружу.

Осень грустна. Багряные листья урючин устлали землю крепости. Все вокруг словно забрызгано темными сгустками крови.

Вдалеке были видны всадники, приближающиеся к крепости.

«Если из ставки... кто бы это мог быть?»— подумал Алп Тегин и тут же представил дорогое лицо, и сердце сладко защемило: Чибылга! В прищуренных глазах сурового богатыря затеплилась печаль. «Нет,— разочарованно вздохнул джигит. Что ей делать в Киткане?» Он в нетерпении стал прохаживаться у ворот крепости, перебирая в памяти обстоятельства, приведшие его в Киткан...

Весной семьсот тридцать девятого года правитель Ферганы Арслан Тархон выступил с войском против правителя Таласа — Тугосияна и, наголову разгромив его, разрушил его резиденцию — Суяб. Но схватка двух тюркских племен не пошла на пользу ни одному из них, хуже того, междоусобная война лишь ослабила тюркское государство, которого еще недавно побаивались арабы, стоявшие лагерем у самых границ Усрушаны**.

Арабы, завоевавшие полмира. встретив достойный отпор тюркских племен, остановились у ворот Ферганы и давно бряцали оружием в

* Бог у огнепоклонников.

** Древнее государство в Средней Азии.

ожидании подходящего случая. Через несколько месяцев после битвы при Таласе наместник халифа в Хорасане Наср ибн Сайяр вступил с огромным войском в Согдиану, и предъявил ультиматум правителям Усрушаны, Шаша*, Ферганы, требуя принять ислам и перейти под власть арабов. Тогда Арслан Тархан, разбивший свой стан на тучных прибрежных лугах Йенги-Угыза**, вызвал в свою ставку на военный совет подвластных ему беков. Был на совете и образованный, знающий арабский язык Алп Тегин, младший браг Арслана Тархана, выросший при дворе согдийских правителей.

Во время совета главнокомандующий тюркским войском Сабук Тегинбек окинул взглядом самоуверенных беков, всем своим видом словно бы говоривших: «Видали мы этих арабов! Встречались!», и, повернувшись к сидящему Па покрытом тигровой шкурой троне Арслану Тархану, низко поклонился.

— Мой повелитель! Братья,— сказал он.— Мы узнали, что и правитель Усрушаны, и правитель Шаша Бахадыр подчинились ультиматуму халифа. Мы остались одни. Сколько отважных наших богатырей сгубил собака Тугосиян. Нам, с уставшими джигитами, заморенными конями и опустевшими колчанами трудно будет выстоять против арабов.— Он оглянулся на Алп Тегипа, сглотнул слюну и закончил словами: — «Если камень нельзя сгрызть, его надо целовать»,— говорили наши деды. Подумайте!

Старик Сабук Тегинбек, захвативший в битве при Таласе богатую добычу, мечтал теперь о покое, о мирной юрте.

Алп Тегин хорошо знал нрав своего дяди по матери. К тому же он был не только его дядей, но и отцом Чибылги, любимой Алп Тегина. Ради уважения Алп Тегин не стал дерзить старику. Терпеливо выслушал и беков. Старые, хитрые, умножившие и без того свои огромные стада после битвы при Таласе, они говорили туманно, неопределенно, упирая на большую силу арабов, и особенно на то, что тюркские воины еще не отдохнули после недавнего сражения.

Снова поднялся со своего места Сабук Тегинбек и почти с умилением заговорил о том, что население Бухары и Мараканды, принявшее исламскую веру, освобождено от налогов, а имущество богатых земледельцев-дехкан оставлено им в целостности и сохранности.

* Город-государство, нынешний Ташкент.

** Древнее название реки Сырдарья.

«Хитрая лиса,— думал про себя Алп Тегин.— Тебя мучает лишь забота о награбленном золоте, только и всего. Не зря арабы говорят: «Блеск золота заставляет еретика принять веру, а немного— говорить». Да и брат мой похоже, печется лишь о троне. А тот, кто печется о троне, никогда не думает о судьбе, о благополучии народа. Ему нужен покорный народ, которым можно помыкать, который можно стегать плеткой. И такому все равно, какой веры его народ огнепоклонники или мусульмане. Неужто на этом совете знатные предадут веру тюрков, предадут язык тюрков?

— Сабук егинбек! сверкнув глазами, воскликнул он. Не зря, видно, купцы-мусульмане, направляющиеся в Тибет, так часто останавливаются у вас.

Арслан Тархан беспокойно шевельнулся, взгляды беков впились в Алп Тегина. Но Алп Тегин не стал продолжать, как ожидали беки, этот рискованный разговор. Из сказанного им и так было ясно, что действия Сабук Тегина папахивают изменой. Он заговорил о другом.

— Взгляните на тех вон ласточек: они носятся, не зная устали... Удивительно, какая радость этим неразумным птицам от стольких забот: лепить с таким трудом гнезда, выводить и кормить птенцов, ставить их на крыло...

— Чтобы род ласточек не перевелся, не исчез!— ответил Алп Эртонг, рассерженный речами старых беков и потому сидевший мрачнее тучи.

— Многие лета тебе,— благодарно кивнул ему Алп Тегин.— А разве наши родители не растили нас, подобно этим ласточкам, с добрыми надеждами,— ведь не понапрасну, наверно, выпорхнули мы из гнезд, иначе зачем же их старания? Разве ж они не надеялись, что мы продолжим их род своими потомками, разве они не знали, что их имена будут жить до тех пор, пока на этом свете здравствует народ, именуемый тюрками. И если теперь один в погоне за призрачной славой, другой в страхе за свое золото примут арабскую веру, и мы забудем свой язык, не будет ли это осквернением памяти, чести наших дедов и прадедов, и не убьем ли мы их еще раз, на этот раз своими руками, так, что они больше не воскреснут, навечно, а, беки? Есть ли на этом свете злодейство более гнусное? Если есть, назовите его, беки!

— Братъя! Идем на врага! На араба!— Алп Эртонг вскочил на ноги, выхватил саблю и погрозил ею в сторону заката.

— На врага! На врага!— закричали и другие беки.

Пока все кричали в возбуждении, Арслан Тархан и Сабук Тегинбек обменялись многозначительными взглядами.

Назавтра Арслан Тархан под предлогом укрепления западных границ отправил Алп Тегина в крепость Киткан...

Пока Алп Тегин вспоминал все это, группа всадников настолько приблизилась к крепости, что он уже смог разглядеть их: двое были на конях и двое на верблюдах. Алп Тегину показалось, что он узнал одного из них: всадник, громоздившийся в седле, подобно перевернутому хуму — огромному кувшину, был, кажется, Бугробек. Вот второй всадник стрелой вылетел из пыльного облака, и от радости кровь прихлынула к лицу Алп Тегина: Чибылга! Он вскочил на аргамака и, взметнув за собой облако пыли, помчался навстречу всадникам. Еще немного, и оба облака слились.

Итак, какие вести в Урде?

Пока мешкообразный, грузный Бугробек, отдыхающий после нелегкого перехода на берегу хрустально-чистого Киткансая, сложил губы для ответа, прошло время, за которое можно было прожевать и проглотить добрый кусок. Чибылга пошла со служанками в ичкари, а отбивший о седло копчик Бугробек, боясь присесть, прогуливался за крепостью.

Этот человек, сопровождавший Чибылгу из Урды в Киткан, приемный сын Сабук Тегинбека, был у отца за управляющего. Невозмутимый и медлительный от природы. Бугробек распоряжался бесчисленными рабами и служанками своего отчима. Чаще всего он сживал перед белым шатром, облепленный мухами, и, отбиваясь от них, поленился бы встать, даже если рядом с ним падали бы конские «яблоки» или верблюжий навоз. «Что бы он делал, этот чурбан, если бы не было мух?»—говорил иногда в сердцах Сабук Тегинбек.

— Так что же в Урде?— переспросил Алп Тегин.

— В Урде спокойно,— хриплым голосом ответил Бугробек.

— Что ответили Насру?

Бугробек засопел, почесал шею:

— Язык проглотил?— рассердился Алп Тегин.

Снова послышалось сопение, кряхтение, хрипение, пока изо рта Бугробека посыпались слова, подобно тому, как сыплются крошки намокшего хлеба.

— Волею божьей... Сочли нужным... ответить ему белым письмом*.

— Что ты сказал?!— взревел Алп Тегин.— Ты... Кабан! Будешь говорить внятно или нет?!

Он схватил Бугробека за грудки и потряс.

Бугробек свалился на бок, как куль, который забыли прислонить к стене. Алп Тегин бешено глядел на лоснящуюся рожу приемного сына бека.

— Говори!— приказал он.

— После совета с беками... к Насру был отправлен посол... Сегодня или завтра... Наср придет в Фергану своего наместника.

— Изменники! А беки? Неужто Алп Эртонг, Алп Туран не противились?

— Алп Эртонгу и Алп Турану отрубили головы.

— О боги! За что такая доля?

Помутившемуся от гнева Алп Тегину Бугробек представлялся олицетворением предательства, коварства и подлости Сабука Тегинбека и Арслана Тархана. Он выхватил из ножен зло свистнувшую саблю, намереваясь укоротить на голову тело этого негодяя. Выкатив в ужасе глаза, Бугробек ткнулся головой в ноги Алп Тегина. Холодно блеснув, клинок взметнулся и в следующий миг опустился бы на волосатую шею Бугробека, но, на счастье приемного сына бека, раздался крик:

— Алп Тегин! Стой!— Из ичкари выбежала Чибылга.— Опомнись, Алп Тегин...

— Принеси жертву Умае** за то, что подоспела Чибылга,— прорычал Алп Тегин, вкладывая саблю в ножны.

Бугробек, не осмеливаясь подняться, пополз прочь.

— Алп Тегин...

Почувствовав в голосе Чибылги смятение и увидев в ее раскосых глазах испуг, Алп Тегин насторожился.

— Алп Тегин, ты, наверно, знаешь, Наср привел несметное войско... Он грозился истребить тюрков, всех до одного...

— Чибылга, и ты туда же?

— Наср обещает не брать с нас ни поземельной подати, ни налога с имущества, лишь бы приняли мусульманство. Алп Тегин, ведь ислам

* Ответить белым письмом — подчиниться требованию, принять ультиматум.

** Богиня у огнепоклонников.

объединит тюрков.

— Во имя святых, замолчи! Замолчи, Чибылга!

Алп Тегин резко повернулся, спустился к берегу Китканся и, зачерпнув ладонью воды, плеснул себе в лицо. «Эх!—с горечью думал он.— Где вы теперь, славные богатыри тюркского народа, которые от Чогона* до Рума**, от Алтая до Бейнина, как соринку, сметали любую преграду на своем пути, где же вы?»

С востока беззвучно крались сумерки. Они и навалились беззвучно, незаметно овладев Китканской крепостью, в бойницах высоких массивных стен которой еще виднелись шлемы караульных. Но не успел мрак полностью накрыть крепость, как там и тут взметнулись в небо красные языки костров. Против ночи снова поднялся извечный мятеж, ибо свет рождается лишь в лоне мрака!..

- Отец считает мусульманскую веру истинной, Алп Тегин, ведь сейчас половина света — мусульмане?

— Да, полсвета уже забыли свою религию!

- Если мы научимся арабскому языку и начнем говорить на этом прекрасном языке, мы сможем понимать половину человечества. Это же язык Багдада и Димашка. Это язык самых лучших поэтов мира.

Ты забыла, Чибылга, что самое лучшее в мире стихотворение — это колыбельная песня матерей, которую пели они над нашими люльками.

Свет свечей в стенной нише тускло освещал лежавших на сури Алп Тегина и Чибылгу, холодно мерцал на обнаженной сабле, положенной между женихом и невестой, и растворялся в темных углах просторной комнаты. Неожиданно Чибылга протянула руку над обнаженной саблей и длинными, как свечи, трепещущими пальцами прикоснулась к руке джигита.

Сладостная дрожь пробежала по телу Алп Тегина, напрягшемуся как струна.

— Алп Тегин, ты хоть когда-нибудь вспоминаешь наши ночи в яблонево саду?

— Разве можно забыть то счастливое время...

Ах, пьянящие мгновенья! Они были словно выдержанное вино, которое, чем больше пьешь, тем еще больше хочется нить. После того, как нежная, будто мелодия чанкабыза, выкупанная при рождении в

* Древнее название Кореи.

** Древнее название Византии.

молоке кобылиц Чибылга была обручена с Алп Тегинем, у парня и девушки, которые и раньше тайком обменивались страстными взглядами, начались «игрища жениха и невесты»*.

Алп Тегин каждый вечер, едва сгущались сумерки, пробирался в громадный яблоневый сад дяди и поджидал Чибылгу в укромном уголке сада. И все домочадцы Сабук Тегина, как, впрочем, и он сам, делали вид, что не знают об этих встречах обрученных. И никто не любопытствовал, почему это сияющая сваха, которой Алп Тегин подарил роскошный тибетский платок, заслужив тем ее безграничное расположение, но вечерам зачастила в сад вместе с Чибылгой.

Когда луна поднималась в зенит и терпение Алп Тегина готово было иссякнуть, слышался тихий смех, звучащий в унисон журчанию крохотного, с ладонь, родничка, и, скользя между деревьями, появлялась Чибылга. Под слышавшийся дальний шум разлившейся в ту пору Йенчи-Угыза, жених и невеста говорили, говорили до самого утра... И о чем только не было говорено тогда! Зачастую, забыв обо всем на свете, в том числе и о своей любви, они принимались спорить о горькой участи тюркских племен, рассеянных, разобщенных, разбредшихся в разные стороны, вздохнуть о былой их славе и величии.

«Раньше тюркский народ был одной веры, а теперь кто стал огнепоклонником, кто поклоняется Мани**, а кто — Будде, вот в чем корень всех бед!»—утверждала Чибылга. «А что ты предлагаешь сделать?»—спрашивал ее Алп Тегин. «Чтобы возвратить былую славу и величие тюрков, нужно снова объединить все племена под знаменем одной веры!» — «Не повторяешь ли ты слова отца, Чибылга?»—«Ну и что, разве он не прав?» — «Но как мы будем поминать бога на арабском, поклоняться ему, Чибылга? Ведь наши предки не построили пирамид, подобно фараонам, они оставили нам только свой язык. Если мы забудем этот язык, то они, словно их и не было никогда, бесследно исчезнут из памяти истории, как вода, пролитая на песок, разве не так? Нет, что бы ты ни говорила, поклонение Огню — самый верный путь поклонения богу. Ведь и Солнце, мать всей природы — тоже огонь. О, если б я мог на миг превратиться в солнце!»—«В солнце?! Ха-ха-ха!» Сад, казалось, вздрагивал от звонкого смеха Чибылги. Светлые

* Встреча жениха и невесты до свадьбы, хотя это и запрещалось обычаем.

** Мани — проповедник, основатель манихейства, представляющего собой синтез зороастризма и христианства.

лепестки осыпающегося яблоневого цвета, медленно кружась, ложились на ровно блестящие в лунном сиянии волосы девушки. «Если б я превратился в солнце, то не стал бы светить всем одинаково! Врагов я испепелил бы, а своему народу посылал бы живительные лучи! Настоящее солнце должно быть таким!»

Иногда Чибылга играла на чанкабызе, и луна как будто таяла под удивительно-трогательные звуки, которые извлекала музыкантша из незатейливого, казалось бы, инструмента, а в лунном серебре плавали лепестки яблоневого цвета...

— Алп Тегин... Ты уснул?

Алп Тегин открыл и снова закрыл глаза, словно ребенок, который хочет досмотреть сладкий сон.

— Алп Тегин, слушай, мне надо тебе сказать...

Алп Тегин встряхнул головой, взглянул на Чибылгу.

— Если бы я приняла другую веру,... что бы ты сделал?

И не щажу вероотступников.

Чибылга подняла за лезвие лежащую между ними саблю и подала рукоятью вперед Алп Тегину.

— Тогда заруби меня!

— Чибылга!— раненым львом взревел Алп Тегин, вскакивая с ложа.

— Вот уже три года, как мой отец произнес священные слова*, мы все, даже Бугробек, приняли ислам и стали мусульманами...

— Чибылга!— в бешеном крике, вырвавшемся из горла Алп Тегина, Чибылга услышала страдание смертельно раненного человека.

Али Тегин выхватил из ножен кинжал и полоснул острым клинком по своему лицу**.

Отблески свечи дрожали в крупных, как жемчуг, слезах Чибылга.

— Братья!..

Воины, увидев порезанное лицо Алп Тегина, недоумевающе переглянулись: уж не Арслан Тархан ли отошел в мир иной?

— Люди! Единоверцы! Я отрекаюсь от своего брата! Вы знаете, он был огнепоклонником, его подданные — турки — также поклонялись

* Священные слова — «Нет бога, кроме аллаха» считалось, что человек, произнесший эти слова, становится мусульманином.

** Древние турки, когда умирал кто-то из близких, располосовывали клинком себе лицо.

огню... Но теперь он променял свой язык, свою веру на трон. Ведь вера, язык это живая душа народа, это звучащая, бьющаяся в груди каждого из нас живая родина, не так ли, люди! И этот полноводный Йенчи-Угыз, и эти луга, обильные травой, и эти яблоневоы сады — все-все! — дорогая нам родина. Но есть еще и другая родина, которую мы носим в сердце, где бы мы ни были. Эта родина неотделима от нас до самой смерти. И эта родина — наша вера и язык. Так может ли человек, променявший Родину, которую завещали нам прадеды, хранили, как зеницу ока, как драгоценный перл, наши отцы, — человек, предавший ее ради каких-то жалких каменье, быть старшим братом младшему? Может ли он быть отцом сыну? Правителем тюрок? Скажите, люди!

— Никогда! Никогда! — гневным гулом отозвались воины.

— Воистину так! Сегодня или завтра в Фергану прибудет наместник Насра. Найдется ли ему место в Фергане? Говорите, тюрки!

— Найдется! Хоть там и темно — в земле! — вскричали воины.

— Хорошо! С сегодняшнего дня столицей тюркской земли объявляю Киткан! Правителем тюрок провозглашаю себя — я, Алп Тегинбек! О том сообщить всем тюркским племенам. Повелеваю: оборонять эту крепость. Никакой пощады и продавшим, и купившим нашу Родину!

... Вот уже двадцать дней, как наместник Насра в Фергане, Абдурахман ибн Низам, подавляя бессильную ярость, вместе с Сабук Тегинбеком и вызванными из Мараканды войсками ислама — арабами-газиями безуспешно осаждают Киткан и никак не может овладеть этой небольшой крепостью.

Киткан, если не считать крепости Риштан, из-за которой спорили Усрушана и Фергана, был единственным замком западных ворот Ферганской долины. Этот замок запирали дорогу к крупному городу-крепости Мургинон и столичному граду — Куве. Однако вынужденная остановка у стен Киткана приводила ибн Низама в ярость не только потому, что крепость занимала важное стратегическое положение: у него были и личные счеы с Алп Тегинбеком, который нагонял страх на новообращенных ферганских мусульман. Месяц назад ибн Низам, направляющийся с сотней газиев — своей личной охраной — в ставку Арслана Тархана, был окружен воинами Алп Тегина и взят в плен. «Передай Насру, что мы отвергаем все его предложения, а если арабы сунутся в Фергану, то здесь найдутся острые клинки, которые снесут их паршивые головы!» — сказал Алп Тегин ибн Низаму и велел своим

воинам гнать его прочь. Часть нукеров ибн Низама была порублена в короткой схватке, а попавшие вместе с ним в плен проданы в рабство.

Оскорбленный наместник скоро возвратился с ответом Насра ибн Сайяра. Наср слал вместе с ним письмо Арслану Тархану с требованием наказать Алп Тегина, который мешал победоносному шествию ислама в Фергане. Сам ибн Низам во главе пятитысячного арабского войска стал теснить Али Тегина с запада. Воины Алп Тегина сражались не на живот, а на смерть. Сотни и сотни вражеских трупов стали пищей шакалов и стервятников на берегах Йенчи-Угыза. Но когда в тылу непокорившихся тюркских племен появились волки Сабук Тегинбека, у Алп Тегина не осталось иного выхода, как укрыться в крепости Киткан.

Ибн Низам, страстно желая скорее заполучить живого, но опутанного веревками Алп Тегина, вел штурм за штурмом, но укрывшиеся за толстыми стенами крепости тюркские воины, число которых, по сведениям некоторых лазутчиков, было около тысячи, а по словам других — не превышало ста, неизменно отбивали атаки войска арабов. Осажденные поджигали сосуды, наполненные добытым из источника в горах «горючим маслом» — нефтью, и швыряли их на головы подступавших к стенам арабов. Эти пылающие сосуды заставляли врага держаться на почтительном расстоянии от стен.

После того, как Сабук Тегинбек, посоветовавшись с ибн Низамом, велел перекрыть русло Китканская, вода в крепостных колодцах стала быстро иссякать. К нехватке еды, давно ощущавшейся, прибавилась нехватка воды, породив отчаяние среди укрывшихся в крепости женщин, стариков, детей из окрестных кишлаков. Нефти оставалось совсем мало, всего несколько хумов. Когда из Усрушаны подвезли катапульты, а из ставки на помощь арабам пришло посланное Арсланом Тарханом ополчение, стало ясно, что дни крепости сочтены.

Киткан защищали не более ста тюркских воинов, которые уже начали слабеть от голода, жажды, от непроходящей усталости нескончаемого сражения.

... Погруженный в тяжелые думы, Алп Тегин подошел к темнице у самой стены крепости. Стражник открыл противно заскрипевшую низенькую дверь, и в нос ударил затхлый запах подземелья. Вскочившая на ноги Чыбылга, увидев входящего, отвернулась с вызывающим видом. В углу лежал обросший щетиной, со свалывшимися волосами, похожий на сучковатый пень Бугробек и, подрагивая вздувшимися щеками, что-то жевал.

Какое-то мгновение и богатырь и женщина молчали, словно языки у обоих отнялись, одеревенели.

Но вот Алп Тегин заговорил:

— Чибылга! — сказал он. — Опомнись! Не отворачивайся от нашего языка!

— Я раба Аллаха, последовательница Мухаммеда, умру, но другую веру не признаю.

— Чибылга, может быть, твой отец и принял мусульманскую веру в надежде спасти свои богатства...

— Неправда! Отец мечтает дать тюркам, одни из которых поклоняются огню, другие Будде, а третьи исповедуют манихейство, единую веру и единый язык!

Алп Тегин покачал головой. Чибылга скользнула по нему взглядом и, заметив перевязанную руку, воскликнула в тревоге:

— Что с твоей рукой?

Лизнула арабская сабля.

— Алп Тегин! — Чибылга вдруг опустилась на колени, обняла его ноги и зарыдала в голос. Они убьют тебя! Ведь весь народ знает, как боится тебя твой брат! Если арабы убьют тебя, брат твой только обрадуется. Неужели ты, разумный человек, не понимаешь этого? Если ты примешь мусульманскую веру, то арабы поддержат тебя. И тогда...

— Я сяду на трон брата? — слова Алп Тегина падали тяжело, словно камни. Нет, я не взойду на трон, втоптав в грязь веру и надежду предков!

Алп Тегин, стражник открыл мне, что крепость сумеет продержаться не более дня. еще не поздно, произнеси калиму — символ веры, и я сама перед лицом аллаха засвидетельствую твое обращение в мусульманскую веру. Я научу тебя сейчас заветным словам калимы...

Я не желаю предстать перед своим богом опозоренным отступником, предавшим свою веру, свой язык!

Ах, любимый, у меня сердце чуть не разорвалось от горя, когда я увидела твою пораненную руку. Знай же, когда ты ушел сражаться, не крысы этого сырого подземелья, а тоска но тебе грызла меня! Неужели ты не думаешь о будущем, о нашей любви?

Вот поэтому и терзается мое сердце, Чибылга! Ты сказала правду, я уйду завтра ко всевышнему, но неужели в том божьем краю моя любимая придет ко мне в образе мусульманки? Сердце мое

разрывается на части, когда я думаю об этом, Чибылга! Ведь это вечная разлука, мы не сможем быть вместе и на том свете!— Голос Алп Тегина прервался от волнения, он, осторожно нагнувшись, стал гладить волосы Чибылги,— Чибылга, милая, вернись.

— Алп Тегин. покайся и произнеси калиму... Произнеси символ веры...

Алп Тегин оторвал от себя руки Чибылги, судорожно обхватившие его колени, и вышел.

Вскоре после полудня арабские катапульти в нескольких местах пробили стену крепости. Но ворваться внутрь враг не смог: воины Алп Тегина метали сосуды с подожженной нефтью и не подпускали арабов близко к проломам. И все-таки стало ясно, что крепость не продержится и до конца дня. Уверенные в победе, мусульмане стали готовиться к вечерней молитве.

— Чибылга, мне осталось жить полдня...

— Значит, у тебя еще есть время покаяться...

Алп Тегин позвал жреца огня.

— Для тебя не секрет, жрец, насколько сильна моя любовь к Чибылге, и я не хочу, чтобы она явилась к всевышнему оскверненная духом чужой веры.

Жрец знал, что от него требуется. Пронзительно глядя в глаза Алп Тегина, он сказал:

— Огонь — самое очищающее, самое облагораживающее, лечащее больные души, священное средство. Все грехи человека, вошедшего в огонь,— сгорают, а очищенная душа устремляется в обитель всевышнего.

Алп Тегин содрогнулся.

— Как страшны твои слова, жрец. Ты...

— Да, только огонь, святой огонь отделит от грешного тела чистую душу и вознесет ее к тенгри. Только огонь, огонь, огонь!..

— Чибылга!— вырвался из горла Алп Тегина нечеловеческий вопль, вместивший в себя ужас, боль, страдание,— вопль, который, кажется, может стереть в пыль мощные стены крепости.

— Нет и нет!— мотала головой, махала руками Чибылга.

Алп Тегин ушел со слезами на глазах.

* * *

Напротив храма огнепоклонников, что стоит в самой середине крепости, готовили костер. Сквозь огромную кучу сухого валежника торчал вбитый в землю столб.

Солнце медленно опускалось за горы.

Чибылга твердо шагала к высящейся куче, а следом из темницы выкатывают, как чурбак, Бугробека. Бугробек, истошно визжа, все пытается обхватить ноги стражника, и два рослых воина волоком тащат его к месту очищения.

Бугробек дико озирается и, увидев Алп Тегина, пополз к нему. Мой бек, я больше не мусульманин, я отрекаюсь от чужой мне веры, отрекаюсь! Отрекаюсь!— хрипит он, целуя сапоги Алп Тегина.

Гоните его отсюда! брезгливо говорит Али Тегин. Чибылгу подняли на кострище и привязали к столбу.

— О заблудшая женщина!— воскликнул жрец.— Прошу тебя в последний раз: отрекись от чуждой веры, изгони из сердца злой дух бога предательства Анхра-Майню...

Тишина вдруг объяла крепость.

Умолкли даже беспокойно ржавшие и рвущиеся с привязи кони.

Лучи заходящего солнца осветили Чибылгу, окрасив ее в какой-то неземной пурпурный цвет. Она замерла и стала похожа на выточенную из кроваво-красного камня величественную статую Умайи, в глазницы которой вложили рубиновые самоцветы.

— Алп Тегин,— вдруг заговорила статуя,— произнеси божье слово, будь предводителем тюрок...

— О-о, всевышний!— со стоном воскликнул Алп Тегин.— Ну почему я должен принять веру людей, пришедших из пустынь, где ползают всякие змеи и ящерицы? Почему я должен забыть язык матери, отца и воздавать хвалу богу на их языке? Кто же гонится за двумя зайцами, кто же рождается сразу от двух матерей? Ведь родной язык, мать, Родина — это сердце, разве бывает у обыкновенного человека два сердца?! Ответь, Чибылга! Чей дух я должен возрадовать — тюрка или араба? Или я должен пролить свою кровь ради того, чтобы тюркские дети завтра не знали ни наших, ни своих имен, и прославляли имя Мухаммеда или Кутейбы?! Ты этого желаешь, Чибылга?

Прошло несколько мгновений, пока послышался голос Чибылги:

— «Нет бога кроме Аллаха...».

— Поджигай!— приказал прислужнику жреца Алп Тегин,— сожги в ней дух Анхра-Майню, о мать-огонь!

Политый нефтью валежник загорелся сразу, и тугое пламя, гудя, взметнулось ввысь...

— Братья!— обратился Алп Тегин к своим верным воинам.— Арабы вот-вот ворвутся в крепость. Нас сто, их — десять тысяч. Эти дикие бедуины пришли отнять не только наши богатства, не только наши мимолетные жизни, они посягают на святыни в наших сердцах, они посягают на нашу Родину, на наш язык! Мы пойдем ныне в последний бой за свою Родину! Пусть мы погибнем, но докажем народу, что Родина превыше всего. Мы — дети солнца и умрем, став солнцем.

По велению Али Тегина принесли хумы с нефтью. Вскочив на коня, он велел крепко привязать себя ремнями к седлу. Выхватил из ножен саблю и приказал:

— Облейте меня нефтью!

Воины затихли, поняв, что замыслил Алп Тегин.

Затем один, второй, третий... пятый... десятый... сотый сели на коней, привязали себя к седлам, выхватили сабли, построились в ряд. Сто всадников, облитых с головы до ног нефтью.

Когда арабы, совершив вечернюю молитву, пошли на последний приступ, ворота крепости распахнулись настежь и оттуда с устрашающим криком вылетел... огненный всадник. Горел и конь, и сам седок, горела... даже сабля в его руке. Конь, подстегиваемый огнем, с невероятной быстротой приближался к неприятельским рядам. А из ворог крепости вылетел второй, третий... десятый... сотый огненный всадник... Охваченное ужасом войско дрогнуло и, словно стадо баранов, на которое напал лев, бросилось врассыпную.

Томящаяся в запруде вода Китканская исподволь набирала могучую силу, и в этот миг, словно гнилую тряпку, прорвала временную плотину и с ревом ринулась в свое русло. Сотни газиев, спасавшихся от огненных всадников под обрывистыми берегами пересохшей реки, потонули в ее бешеном потоке.

А огненные кони ударились о палатки арабов, те мгновенно вспыхивали, и вскоре весь лагерь неприятеля запылал. Обезумевшие верблюды рвали привязи и, роняя пену с губ, в ужасе мчались в разные стороны, сея панику и топча парализованных страхом арабов.

Сабук Тегинбек и пришлые воеводы позорно бежали впереди десятитысячного войска. А по пятам за ними мчались превратившиеся во имя Родины в живые солнца огненные, огненные, огненные богатыри...

Мамадали Махмудов

ЛЮБОВЬ

*И солнце, и воздух, и вода, и травы,— словом
все, что есть на земле.— все создала любовь.*

Из разговора моего деда

И взобрался на перевал, вершина которого, казалось, плыла в море ослепительно белых, с синими тенями, облаков, и глянул вниз: передо мной открывалась прекрасная картина.

У самого входа в ущелье притулился домик лесничего, отсюда он виднелся крохотным и хрупким, как спичечный коробок, а собака возле домика казалась муравьем.

Лесничий. Артыкбай-ака, приходился нам родственником, и я решил спуститься вниз, чтобы повидаться с ними, передать приветы от наших...

Домик оказался закрытым, и вокруг — ни души. Наверное, Артыкбай-ака, как обычно осенью, уехал на хашар — собирать хлопок, а семья на это время ушла жить в кишлак. Страшно оставаться в ущелье одним, без хозяина.

Да, но в таком случае что здесь делает собака? Я обошел домик и остановился. Возле серого камня стояла черная овчарка и, скаля острые зубы, воинственно рычала.

Я повесил свое охотничье ружье на ветку старой дуплистой орешины и молча долгим успокаивающим взглядом посмотрел на собаку. Она еще поворчала немного и утихла. Тогда я подошел к ней и, присев возле, ласково погладил морду, потрепал по шее. Собака завильяла хвостом и прильнула к моим ногам.

Вдруг я услышал тоненькое поскуливанье. И только тут мой взгляд упал на собачью будку, сколоченную из светлых свежеструганых досок. Там лежали четверо щенят смешные, тупомордые, с черными блестящими пуговками глаз. Все они были тщательно вылизаны матерью.

Так вот почему хозяин оставил собаку: боялся, что щенки замучаются в дороге. Я осмотрелся. В нескольких шагах от будки, под грушей, лежали в миске хлеб, мясо, кости. «Значит, хозяин навещается сюда время от времени»,—подумал я с облегчением.

Но берегу сая, несущего в долину свои ледяные бурливые воды, я дошел до самого сердца ущелья. На своем пути повстречался и с лисой, и с дикими кабанами. Не стрелял... В наших краях запрещено было стрелять диких животных. Признаться, я захватил ружье только для виду, под предлогом охоты хотелось побродить по местам детства, надышаться воздухом родных вершин, взбудоражить память...

До вечера я бродил по горам. Залезал в пещеры, поднимался на скалы. И когда солнце одним боком уже завалилось за острый зуб скалистой горы, решил возвращаться. Тело ныло от усталости, но облегченная душа, казалось, парила там, где налившиеся багряным соком облака обнимают вершины гор.

С небольшого холма я опять увидел домик Артыкбая-ака. Собака поодаль пила воду из прозрачного сая. Я засмотрелся на нее и присел на камень — передохнуть немного.

Напившись, собака подняла морду, насторожилась и, вытянув шею, принялась. И вдруг, жалобно взыв, бросилась к домику. Я взглянул в сторону будки и обмер: крупный матерый волк грыз одного из щенков. Я вскочил, схватил ружье и прицелился. Но в этот миг пулей прилетевшая собака бросилась на волка, вцепилась в горло и повалила на землю. Волк вырвался, вскочил на ноги и отшвырнул собаку в сторону. Но та с удвоенной яростью ринулась на серого разбойника. Завязалась кровавая борьба. Я видел лишь рычащий клубок из двух тел и не мог понять — где волк, где собака. Стрелять было невозможно — я мог промахнуться и убить собаку.

Они грызли друг друга с остервенением. Оба были окровавлены, измучены, обессилены. Но снова и снова сшибались в смертельной схватке.

Вдруг я осознал, что все это время стою в оцепенении, не в силах сдвинуться с места. Вскрикнул и бросился на помощь собаке. Добежав, я прикладом ружья с силой ударил волка по голове.

Он дернулся и замер.

Шатаясь, подволакивая перебитую ногу, собака с трудом дотащилась до мертвого щенка. Волк отгрыз ему голову. Долго облизывала мать обезглавленное тело своего щенка и долго щемящепротяжно выла.

Трое щенят, поскуливая от голода, выбрались из будки; неуклюже перебирая лапами, доковыляли до матери и жадно прильнули к соскам. Она лежала на боку, тяжело дышала и ждала, когда дети наедятся.

Наконец сытые щенки отвалились от матери.

И только тогда собака, приподняв окровавленную голову, с надеждой и мольбой посмотрела на меня, несколько раз прерывисто вздохнула и... вытянулась.

... Я похоронил их вместе — мать и щенка. Потом взял в котомку оставшихся щенят и пошел в кишлак...

ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ

Непроходимый горный перевал затерялся в гуще облаков, он покоился под плотным покровом вековых снегов. Здесь часто клубятся ураганы, которые сопровождаются снежными обвалами. Синеватые, сверкающие глыбы срываются вниз и оттуда из глубин ущелий доносятся гулкие стоны.

А перевал горд. Ему нет дела до ущелий, он ведь общается с небесами. Солнце и Луна его близкие соседи... Он горд тем, что недостижим, недоступен. С одной стороны он покрыт непроходимыми лесами, с другой — его охраняют причудливо острые скалы.

Но однажды у подножия горы появился человек. Высоко подняв голову, он долго любовался сверкающей вершиной, и эта недоступная красота повлекла его за собой.

Шел он долго, с трудом поднимался в гору, погружаясь по колено в снег, падал, вставал и снова шел. Чем выше он поднимался, тем больше устремлялся ввысь. А когда он достиг вершины, его маленькая фигура растворилась в плотном тумане. Но на снегу остались его следы...

На следующее утро по этому рискованному пути поднялся другой человек... Но шел уже увереннее и смелее, потому что шел он по следам человека, прошедшего этот путь первым.

Потом... по этой тропинке, конец которой касался неба, бесконечно следовали люди и тропа эта уже не казалась им опасной.

БОЯРЫШНИК

Высокие снежные горы... это вечно холодные уголки земли. Над ними всегда висят лохматые, свинцово-холодные, белые, синие, багровые облака...

Бури, грозы, снегопады и ливни здесь частые гости. Именно в таких диких, опасных местах растет боярышник. У него крепкий мускулистый ствол, ярко-зеленые листья, крупные и сладкие ягоды...

Однажды человек выбрал саженец боярышника, привез домой и посадил посреди двора, удобрял, поливал, подравнивал ему ветки...

Прижился боярышник, но ствол его был тонким, гладким, листья потеряли изумрудный блеск, плоды его были мелкие и безвкусные...

Видно, оттого, что боярышнику не хватало жгучих стрел молний, взрывов грозы, холодного ливня, с которыми он привык сражаться за жизнь.

ТУТОВНИК

Извилиста, как змеиный след, горная тропа... На краю ее, на отвесной скале растет одинокий корявый тутовник.

Летом над ним нещадно палит солнце, в ненастье — молнии ломают свои стрелы над его головой, ветры бьются об его упругий ствол, стремясь вырвать его с корнями...

Но дерево выстояло... Шелководы каждый год обрубают его зеленые ветки... Каждый год... Но тутовник не жалуется на свою судьбу, он разрастается и покрывается изумрудными листьями. И так каждый год...

Возможно, он так живучи терпелив ради девушек в атласных платьях...

Акилджан Хусанов

КАШГАРСКАЯ КРАСАВИЦА

Первыми, как всегда, проснулись дворники. Вышли с лопатами и стали чистить тротуары от снега, который шел почти всю ночь. Не успели уйти дворники, появились извозчики-арбакеши. Сразу сделалось шумно, суетно, зашагали прохожие... Улица зажила своей жизнью.

В коротком модном пальтишке и высоких сапогах появился в конце улицы человек. Гибкий и стройный, в лихо надвинутой на лоб каракулевой шапчонке, он был похож на юного джигита. Однако на самом деле это был не джигит и даже не юноша, а молодая женщина — танцовщица Гавхар.

С большой улицы она повернула в переулок. Здесь было пустынно, лишь кое-где виднелись свежие следы. Гавхар подошла к одной из калиток. Снег перед домом был тщательно убран. Калитка открылась бесшумно. Во дворе все было также тщательно убрано, дорожка утоптана и даже присыпана красной кирпичной пылью. Гавхар вошла во двор и постучала в дверь.

— Хаджи-апа! — позвала она.

— А-а, Гавхархон, проходи, родная! — послышалось в ответ. Гавхар прошла на террасу, где кипел блестящий самовар. Тут из двери слева стремительно вышла Махфират-хаджи и, обняв Гавхар, поцеловала ее.

— Ну вот, пришла наконец-то! — воскликнула она.— Заходи в комнату, я уже жду тебя.

— Сейчас. Сниму только сапоги,— сказала Гавхар.

Нет, нет, здесь на террасе дует, заходи в дом, сестричка. Они вошли в комнату.

— Я даже испугалась, увидев тебя. Джигит, ну, прямо настоящий джигит. Что это, подумала я, за молодчик ворвался к одинокой женщине? — смеясь, говорила Махфират, помогая гостье раздеваться.

— А чем мы, женщины, хуже джигитов? также улыбаясь, отвечала Гавхар.

— погоди секундочку, я схожу за самоваром,— сказала Махфират-хаджи и вышла на террасу.

Гавхар подошла к зеркалу, стала прихорашиваться.

— Ты и подстрижена коротко, под юношу,— заметила Махфират-

хаджи, возвратясь с самоваром.

Она заварила чай в небольшом, красиво расписанном чайнике. Затем достала поднос со сладостями.

— Садись, перекусим.

- А может быть, не будем время терять, пойдем сразу?

— Успеем, ничего.

Что пишет Акбар-ака? — спросила Гавхар.

- Акбар-ака вчера прислал весточку. Пишет, что в будущем месяце приедет в отпуск.

Акбар-ака — муж Махфират-хаджи вот уже несколько лет служил в советском посольстве в одной из восточных стран.

— Бери сладкое,— сказала Махфират-хаджи, наливая чай в пиалушку и протягивая ее Гавхар.— Рассказывай, как твой мальчик, с кем ты его оставила?

Марат в порядке. Я оставила его с Шахадатхон. Она его и покормит. Мы с ней неплохо устроились: то она моего малыша покормит, то я ее. Так что наши деги — дважды молочные братья.

— Весело живете! — смеясь, одобрила Махфират-хаджи.— Да ешь ты лучше. Нам необходимо заправиться как следует, так как то, что ждет нас впереди,— неведомо. Муж женщины, к которой мы идем,— жуткий тип.

Гавхар внимательно смотрела на Махфират-хаджи. Она думала, что и пятнадцати лет не прошло с Октябрьской революции и вот какой стала простая узбекская женщина. И еще она думала о том, какой урок поразительного равнодушия к жизни преподносит Махфират-хаджи всем, кто с ней общается. Она старше самой Гавхар всего-навсего на тринадцать лет, но не только годами измеряется жизненный путь человека. Разве мало таких, кто, прожив и шестьдесят, и семьдесят лет, бредут по жизни, словно слепые котята.

Четыре года прошло с того времени, когда впервые Гавхар познакомилась с Махфират-хаджи. Это было в двадцать восьмом году. За это время чего только не было. Но чем дальше, тем больше ценила она Махфират за ум, за простоту, за искренность. Непритязательна была она до удивления. Прекрасная дутарчи, она не раз отклоняла предложение работать в театре только потому, что эта работа отвлекла бы ее от кружка художественной самодеятельности, которым она руководила на маслозаводе. Тем не менее. любовь ее к театру и вообще к искусству была такой, что она все свое время тратила на то, чтобы

помогать в этом деле всем, чем только могла. Вот и сегодня Махфират-хаджи вызвала к себе Гавхар по очень непростому делу.

— О чем ты задумалась, Гавхархон? — спросила Махфират-хаджи.

— Да так, задумалась, вспомнила кое о чем...

— Ну, а все же?..

— Вспомнила, как мы встретились, вообще о вас думала...— смутилась Гавхар.

— Обо мне — что думать? Теперь наша задача в безухом Мумине.

— Кто это? Тот, к кому мы сейчас пойдем? Это его вы назвали жутким типом?

— Да. Только пугаться его раньше времени не стоит. Давай лучше сделаем вот что...

Она подошла к шкафу и достала оттуда две паранджи.

— Зачем нам эти тряпки? — воскликнула Гавхар.

— Не волнуйся, миленькая. Это не навсегда,— Махфират-хаджи звонко рассмеялась. Маленькая хитрость. Теперь смотри дальше.

С этими словами она взяла с тахты дутар. Дутар был новенький, полированный. Не прошло и минуты, как он был разделен на две половинки. Затем она закутала каждую половинку так, что получился аккуратный тючок, который сверху она завернула в детские одеяла. Один из муляжей она протянула Гавхар.

— Держи. Это будет твой ребенок.— И, видя, что та отшатнулась и даже побледнела, рассмеялась. Ну, чего ты трусишь? Бери, не бойся. Я ж тебе говорила: все это маленькие хитрости.

Гавхар с недоверием посмотрела на «ребенка».

Ну что ж, надо так надо. Я вас слушаюсь во всем, готова делать все, что вы прикажете.— Вскочив на ноги, она шутливо вытянулась.

— Вот и умница! — сказала Махфират-хаджи.

Вскоре обе уже в паранджах и с «детьми» на руках были за воротами дома.

— Хоть путь нам предстоит неблизкий, но идти придется пешком,— сказала Махфират-хаджи, закрывая калитку на ключ.

Было все еще рано, восточная часть неба еще розовела, однако понять, где сейчас солнце, было трудно — все небо было покрыто сплошной пеленой.

Женщины миновали переулок и вышли на большую улицу. Множество прохожих попадалось им навстречу. Почти все женщины были в паранджах.

Гавхар думала о деле, которое их ожидало. От Махфират-хаджи ей было известно, что Мумин держит у себя в доме танцовщицу. Об искусстве этой танцовщицы Махфират узнала от своего мужа, который видел ее в той стране, где работал. Но дальше случилось так, что она попала сюда и теперь живет взаперти. Вот Махфират-хаджи и задалась целью: помочь этой женщине получить свободу. А Гавхар должна была ей в этом помочь.

- Хаджи-апа,— спросила она,— а вам так и не удалось ее по-видать?

Нет. Зато мой муж готов говорить о ней бесконечно,— отвечала Махфират-хаджи. Она пошла немного медленнее.— Понимаешь, этот проклятый Мумин, муж танцовщицы Алтынхон, теперь служит здесь, в консульстве, а раньше работал вместе с мужем. Там он и присмотрел Алтынхон. Она танцевала в театре, и, разумеется, безухому Мумину не видать бы ее, как своего отсутствующего уха, если бы не случай. Отец Алтынхон на старости лет пристрастился к азартным играм. И вот однажды проигрался до того, что не смог оплатить долг. Дали ему срок одну неделю. В противном случае пригрозили страшными карами. Старик стал бегать по друзьям, по знакомым, но, как на грех, почти везде отказ. Тут-то и подвернулся Мумин. Выложил необходимые деньги, но взамен потребовал от того дочь Алтынхон. Отец сначала возмутился, но об этом каким-то образом узнала сама Алтынхон — она очень боялась за отца и ради него согласилась на такую страшную жертву. Вот Мумин и привез ее сюда и держит, как в клетке.

— Какой кошмар! — воскликнула Гавхар.— Быть может, у бедняжки был любимый.

— Этого я не знаю,— сказала Махфират-хаджи. Она тихо засмеялась. Видно, горячность Гавхар была ей по душе.— Это не исключено. А в общем все очень грустно.

— Да. Как в страшной сказке,— сказала Гавхар. И больше всю дорогу вопросов не задавала.

Примерно через полчаса они пришли.

— Что ж, будем стучаться,— сказала Махфират-хаджи, остановившись у высоких ворот.

Они находились на узкой улочке. Сюда выходили одни только толстенные дувалы, похожие на тюремные стены. За дувалами лаяли собаки. Самый отчаянный лай раздавался с того двора, к которому они пришли.

— Ну и местечко,— невольно воскликнула Гавхар.

— Струсилась маленько? — спросила Махфират-хаджи.

— Есть немного, хаджи-апа. Но, скажите, как мне себя вести? Я совсем не подготовилась.

— Как будто я знаю, как оно будет! Поступай по обстоятельствам. И на меня чаще поглядывай, чтобы нам действовать заодно.

— Буду стараться,— сказала Гавхар.

— Учти только,— зашептала Махфират-хаджи,— Мумин безухий по отношению к женщине ведет себя как тиран. А уж ревнует ее!.. Тут он самому аллаху не верит. И то уже чудо, что позволил нам прийти. Я говорю ему: «Разрешите мне развеять скуку вашей жены»,— а он смотрит на меня недобро так, подозрительно. А особенно когда я сказала, что не одна приду, а с подругой. Но и отказать он мне побоялся. Думает — я мужу нажалуюсь, и у него от этого неприятности будут. Ну, а сейчас — возьми себя в руки, держись бодрей!

Она дотянулась до железного кольца, висящего на воротах, и несколько раз ударила им по дереву. Но лишь только она проделала это, как прямо у них над головой раздался страшный лай. Они вскинули головы и увидели громадного пса, который рвался с цепи, стоя на самом краю крыши. Гавхар от неожиданности кинулась к Махфират-хаджи. А за воротами надрывалась еще одна собака. От всего этого становилось действительно жутковато.

— Муминджан! Хо, Муминджан!— звала Махфират-хаджи.

Собаки стали лаять еще сильнее. Наконец со двора донесся мужской голос. Он успокаивал собак. Затем щелкнул замок, отворилась одна из створок ворот, появился хозяин дома. Он был в тедяго-синем шерстяном чекмене, в тубетейке. Он, конечно, не мог узнать Махфират-хаджи, так как та была в парандже. Глаза его забегали с одной на другую. Лицо его поражало своей заурядностью, ни одной выдающейся черты, ничего такого, что могло бы сохраниться в памяти. Небольшой чернявый человечек неопределенного возраста. Вот только правое ухо было наполовину оторванным. По одежде его можно было принять за слушателя медресе, но была в нем и надменность, высокомерие какое-то, что выдавало в этом человеке махрового мещанина.

— Кто вы? — спросил он.

— Ах, Мумиджан, я вижу, вы уже своих не узнаете! — воскликнула Махфират-хаджи, приподнимая край паранджи.— Вот явились мы с подругой. Мечтаем вашу Алтынхон повеселить.

— А, это вы?— Мумин улыбнулся неискренне.— Что ж, проходите, почтенные...

Он стал отгонять собак, чтобы женщины могли пройти по двор. Двор был весь завален снегом — видимо, его только недавно побросали с крыли.

Со скрипом отворилась дверь, оттуда выглянуло женское лицо. Оно было так прекрасно, что женщины позабыли и фальшивого Мумина, и этих «злых, кружащихся под двору собак. Они вошли в комнату. Несколько минут длилось замешательство. Они стояли друг против друга.

На пороге появился Мумин. Вокруг его головы, прикрывая рваное ухо, вился атласный платок.

— Значит, вы гут повеселитесь, хаджи-апа, а я в город схожу, по делу. Вернусь через два-три часа. Устраивает?

А когда Махфират-хаджи согласно кивнула, он, как бы между прочим, добавил:

— А наружную дверь я пока запру на замок.

— Стоит ли? — спросила Махфират-хаджи, не показывая вида, что слова Мумина задела ее.

— Как же не стоит? Обязательно стоит,— ответил тот и вышел. Гавхар стало не по себе. Она решила, что они с Махфират-хаджи попали в ловушку, но стоило ей снова взглянуть на Алтынхон, как огорчение ее прошло — теплая волна подкатила к сердцу. Теперь, когда она увидела женщину, ей особенно хотелось как-то помочь ей.

Мумин, собаки, этот дом. похожий на тюрьму,— все вызывало в ней возмущение. Тут только она заметила, что до сих пор стоит в парандже и в руках ее этот фальшивый «ребенок».

— А ты, я вижу, очарована,— услышала она обращенные к ней слова Махфират хаджи.

— Еще бы! Прямо голова кругом пошла.

Махфират-хаджи засмеялась, да и хозяйка чуть заметно улыбнулась. Гости сели за хантахту. Хозяйка запарила чай, расстелила дастархан. Каких только сладостей туг не было! Гости пили чай, но радость что-то не приходила. Все дело в Алтынхон. Она как робко, так приниженно смотрела па гостей, словно боялась, как бы некто-нибудь не обидел. Так смотрит пойманная лань, когда веселые охотники, чтобы порадоваться добыче, подносят к ее носу горячий фонарь. Но до чего же хороша она была! Точно выписанные линии черных бровей,

алые губы и глаза — большие и лучистые, они бмли словно переполнены удивительным внутренним светом. Алтынхон была поистине очаровательна. Да и одета была на удивление: тюбетейка, вся вышитая золотыми нитями, платье и жилетик из красивейшего китайского полотна, сапожки сафьяновые, мягонькие...

Невольно, глядя на Алтынхон, вспомнила Гавхар свою закадычную подружку Нурхон. Бедная Нурхон, погибшая за искусство! Гоже была удивительно красивая. И тоже жила в плену за такими дувалами, а потом вырвалась, вылетела на свободу... А как играла!.. И убили. Долго охотились и вот убили, враги проклятые! Такую актрису убили! Звезду узбекского театра. Вот уже три с половиной года, как нет ее в живых. Вспоминаешь — сердце сжимается, хочется что-то сделать, чтобы не было такого никогда. чтобы не смел никто травить, тиранить, убивать...

— Господи,— говорила в это время Махфират-хаджи,— просто ума не приложу, и как же вы, бедняжка, сидите по целым дням в этих четырех стенах. Страшное дело. Вот решили мы с подружкой Гавхар хоть навестить вас. Вы о ней не слышали? Гавхар — ведущая танцовщица нашего городского театра. Вы, наверно, слышали о Тамаре-ханум? Это сестра ее. Как, и о Тамаре-ханум вы не слышали? Это жалко, очень жалко...

Бедная Алтынхон сидела, словно в рот воды набрав. Нет, не слыхала она ни о Тамаре-ханум, ни о Гавхар.

— Еще говорили мне,— продолжала Махфират-хаджи,— что в Кашгаре были вы актрисой, танцовщицей... Дай, думаю, познакомлю вас с Гавхар. Уж вам, я полагаю, есть чему друг у друга поучиться. Не так ли?

Из-под длинных ресниц сверкнул острый взгляд, но и тут Алтынхон не откликнулась.

«Вот бедняжечка,— совсем перестала верить людям»,— подумала Махфират-хаджи.

А Гавхар подумала: «Ну, чего она боится?» Она все же была моложе Махфират, и уже привыкла быть свободной женщиной, и только умом понимала, что есть женщины, которые живут не как она.

— Примите меня за старшую сестру, а Гавхархон за подругу,— говорила Махфират-хаджи.— Говорите с нами без всякой опаски, мы-то вас не выдадим. А сейчас давайте потанцуем! А ну, Гавхар, подай мне, душечка, дутар. Боюсь, Алтынхон не поверила мне — пускай сама посмотрит, какая ты танцовщица.

Гавхар подала Махфират-хаджи части дутара, та соединила их. Настраивая инструмент, Махфират-хаджи краем глаза наблюдала, как при виде дутара оживилось лицо хозяйки. Алтынхон стала освобождать комнату от вещей: вместе с Гавхар они отнесли хантахту в угол.

— Так что тебе сыграть?— обратилась к Гавхар Махфират-хаджи.

— «Дилхиروج», хаджи-апа.

И сразу комната наполнилась звуками музыки. Гавхар тихо пошла. Гибкость ее тела была поразительна. Куда только девался ее недавний испуг. Алтынхон, как зачарованная девчонка, следила за каждым движением Гавхар, бесшумно отбивая такт ладонями. Зато и Гавхар постаралась. Не жалея себя, она танцевала с полной отдачей сил, с радостью наблюдая, какое впечатление производит ее танец на Алтынхон.

Танец и решил дело. Скованность как рукой сняло. Хозяйка сделалась улыбчивой, общительной... Однако стоило Махфират-хаджи затеять речь о том, при каких обстоятельствах Алтынхон попала сюда, и снова как будто калитка захлопнулась глаза потухли, личико стало безучастным. Махфират-хаджи решила, что сейчас самое время переходить к делу. Она обратилась к Алтынхон.

— Ну, а теперь станцуйте, пожалуйста, вы!

— Нет, я не могу танцевать, я все забыла,— голос ее был умоляющий.

Но отделаться от Махфират-хаджи было не так просто.

— Зачем вы так говорите? Мы же знаем — вы чудесная танцовщица. Неужели за такой срок вы все позабыли?

— Но если муж узнает, что я танцевала, я погибла. Вы его не знаете,— прошептала она.

— Не волнуйтесь. Ничего он не увидит и не узнает. Неужели мы с Гавхархон похожи на предательниц?

— Ради всего святого,— подхватила Гавхар, - не бойтесь, сестричка. Не надо так бояться мужа — не то сейчас время. Хаджи-ана к тому же верно сказала: мы свои люди.

— Мы, женщины, должны стоять друг за друга,— заметила Махфират-хаджи.— Станцуйте-ка нам, дорогая Алтынхон, свой любимый танец.

— Но вдруг он придет...— все еще не сдавалась Алтынхон.

— О мое горе! — улыбнулась Махфират-хаджи. Ну, допустим, придет. Но ведь не перепрыгнет же он через забор. Пока он будет

открывать ворота, мы десять раз успеем все убрать.

Алтынхон помолчала. Она, видимо, обдумывала слова Махфират-хаджи. Затем молча вышла. Когда за ней закрылась дверь, Махфират-хаджи воскликнула:

— Вот жизнь! Врагу не пожелаешь! Но ведь есть же у нее что-то свое, сокровенное. Да и не зря слава у нее выдающейся танцовщицы! И сидит за этими четырьмя дувалами под охраной бешеных псов и бешеного мужа.

— И подумать только, жить так целый год!— поддержала Гавхар.

— Может быть, безухий Мумин любит ее, но кому нужна такая любовь, когда тебя ревнуют к собственной тени. Такая ревность, бывает, заканчивается и трагедией. Но послушай, Гавхар, не кажется ли тебе, что пьеса, которую вы ставите в своем театре, словно списана с жизни Алтынхон?

— Не знаю,— Гавхар замялась.— Пьесу-то сочиняли о другой девушке.

— Ну и что?! Разве такая судьба не типична?—с жаром возразила Махфират-хаджи, но в это время вошла Алтынхон, и она вовремя замолчала.

Алтынхон держала гладко отполированный красный кирпич. Она положила его на середину ковра, а сама пошла в угол комнаты, достала коробку и извлекла из нее десять красивых наперстков, которые стала надевать на пальцы. Гости в недоумении наблюдали за этими приготовлениями. Затем Алтынхон сняла сапожки и отнесла их в угол.

— Я знаю один танец,— сказала она тихо,— но только давно уже не исполняла его. Не знаю, получится ли?

Но уже видно было, что она полностью настроена на танец. Вся ее фигура была словно ожидание. И глаза ее глядели уже не вокруг, а как бы направлены были в самую себя. Она взяла еще с полки две расписные фарфоровые тарелочки, и вдруг... гости даже не заметили, пропустили то мгновение, когда она оказалась на принесенном ею кирпиче. В каждой руке Алтынхон было по тарелочке, которые начали тихо пощелкивать — это она стучала по ним наперстками, и так же, как только что она оказалась на кирпиче, тело ее незаметно, очень-очень плавно стало двигаться. Постукивания все учащались. И в такт этим постукиваниям Алтынхон то приседала, то гнулась в разные стороны, голова ее то касалась колен, то вдруг Алтынхон вытягивалась так, что становилась очень высокой и тонкой. И все это она исполняла с такой

уверенностью, как будто стояла не на одном шатком кирпичике, а на большой поляне. Гости были совершенно очарованы.

Танец закончился так же неожиданно, как начался. Алтынхон подошла к гостям и одну за другой поцеловала их в «щеки.

— Спасибо вам, спасибо вам, дорогие,— говорила она при этом,— за то, что вы почтили вниманием мой танец.

— Нет, это вам большое спасибо! — возражала Махфират-хаджи.

— До чего вы замечательно танцуете! — восхищалась Гавхар.— Какой интересный танец.

— Да, честно говоря, я такой танец видела впервые,— заметила Махфират-хаджи.— Вы нас покорили. Теперь послушайте — есть у нас к вам одно дельце. В театре, где играет Гавхархон, ставится одна замечательная пьеса. И одна из героинь - уйгурская девушка. Вы словно созданы для того, чтобы сыграть эту роль. Нам нужен уйгурский танец, но такой, чтобы в нем могли слиться и любовь девушки, и разлука с любимым, и несправедливость ее, и борьба за счастье... Согласны ли вы сыграть эту роль?

Алтынхон ничего не ответила, но по тому, как внимательно, как трепетно слушала она Махфират-хаджи, словно боясь пропустить хоть слово, было ясно, что усилия ее гостей не пропадают зря. Лишь изредка она с опаской поглядывала на дверь.

А Махфират-хаджи продолжала:

— То, что мы видели, чудесно. Уверена, что Гавхар может кое чему у вас поучиться, как и вы у нее. А теперь покажите нам еще что-нибудь, и, если можно, пускай будет побольше движений.

— Вы не знаете случайно танец «Красавица»? — спросила Алтынхон.— Его еще иногда называют «Кашгарская красавица». Вот послушайте, какой мотив!

Алтынхон запела. Голосок у нее был небольшой, но выразительный. Махфират-хаджи вначале просто слушала, а затем стала подыгрывать ей на дутаре. С ее превосходным слухом подобрать мелодию было нетрудно. Прошло немного времени, и она играла ее свободно.

Тогда Алтынхон встала, некоторое время постояла со свойственной ей перед танцем отрешенностью, а лицо ее уже менялось, как было во время первого танца, и затем она пошла по ковру маленькими шажками...

В самой мелодии было что-то схожее с мелодией узбекской, но

манера танца была нова для Гавхар — неведомый ей пластический рисунок присутствовал в этом старинном уйгурском танце: иные извивы рук, иные наклоны... А главное, что поразило Гавхар, — выражение глаз Алтынхон. Оно также постоянно менялось, как бы находясь в точном соответствии с движениями тела и души.

Махфират-хаджи старалась всюю.

— Дорогая моя! — подбадривала она Алтынхон. — Ох, не могу, до чего хорошо!

Еще Гавхар обратила внимание на кивки Алтынхон. Она привыкла к элементам узбекского танца, которые принято иногда называть «ястребиной шейей». Они состоят из редких кивков головой при неподвижном туловище. Здесь же кивки были иными.

«Как бы нам сделать, чтобы эту актрису увидели на сцене нашего театра», — глядя на ее танец, думала Гавхар.

Алтынхон танцевала самозабвенно. Она точно снова была на подмостках театра перед многими зрителями, она словно вырвалась из этого затхлого дома в большой мир, ей осталось танцевать чуть-чуть... но неожиданно дверь отворилась и на пороге возник Мумин.

— Вай! — воскликнула Алтынхон в ужасе. И было от чего.

Лицо у Мумина было свирепым, глаза горели яростью, трудно было теперь узнать в нем того благодушного, малоприметного человека, каким он казался вначале.

— Кто ты? — с пеной у рта кричал он, двигаясь по направлению к Гавхар. Видно, он и впрямь посчитал ее джигитом.

Махфират-хаджи вскочила и бросилась между ними.

— Вон отсюда, сводня проклятая! Я и его, и тебя убью! Я вас всех зарежу! — И тут они заметили, что в руке у него изогнутый нож.

— Чего ты кричишь, Муминджан? — спокойно спросила Махфират-хаджи. Ни тени страха не было в ее поведении. Ее, казалось, лишь слегка раздражал гнев Мумина. — Нашел к кому ревновать! Это моя младшая сестра. Ты что, женщину от мужчины отличить не умеешь? А это ты видишь, болван? — Она указала на грудь Гавхар. — Да она прямо отсюда ребенка своего отправится кормить. Совсем ты одурел, что ли?

— Ладно, хватит ругаться, — промолвил Мумин. Он уже понял свою ошибку, но сдавать позиции совсем не собирался. — Хорошо.

Только убирайтесь отсюда, и поживее. Хватит колдовать в моем доме.

Какбынетак! — воскликнула Махфират-хаджи. Мы уйдем, а ты над

ней издеваться будешь?

— Это уже мое дело,— возразил Мумин.

— Нет, не бывать этому. Ишь ты! Такое сокровище держать в клетке — не выйдет! Мы хотели облегчить ее участь, а ты еще грозишься. Тебя нужно в тюрьму за такие вещи посадить. Да и этого мало. Попробуй только сделать ей плохое. Мы сейчас с Гавхархон уйдем, но...

И тут Алтынхон, которая в это время сидела на ковре и тихо плакала, кинулась к Махфират-хаджи.

— Апа, милая, не оставляйте меня. Спасите! Он меня убьет!

Ну, нет, уж ты останешься! проговорил Мумин, снова выставляя нож, который перед тем он спрятал.

Испуганная его видом, Алтынхон еще теснее прижалась к Махфират-хаджи, и теперь все трое образовали как бы одно целое. А Махфират-хаджи поняла, что уж раз дело дошло до драки, то нужно бить наповал. Алтынхон она решила увести с собой во что бы то ни стало. Очень спокойно, словно она делает что-то повседневное и даже слегка ей наскучившее, она сунула руку в карман и вынула небольшой вороненый пистолет. Не только Мумин, но и Гавхар отшатнулась от пистолета.

— Ну, безухий! — заявила Махфират-хаджи решительным тоном.— Не будь идиотом. Спрячь нож, если не хочешь, чтобы пролилась твоя кровь. Веди нас всех троих со двора. И только смотри, если вздумаешь спустить собак! А там видно будет: захочет Алтынхон вернуться к тебе — вернется, но и то при условии, если ты оставишь в женотделе заявление, где черным по белому будет сказано, что ты ее никогда не только пальцем не тронешь, но и предоставишь полную свободу. Понял?

И тут Мумин окончательно сник. Спрятав нож, он пошел впереди трех женщин. Проводив их за ворота, он долго еще стоял, глядя им вслед хмурым потерянным взглядом...

Большую половину пути женщины шли молча. Алтынхон шла в середине. Она то заворожено смотрела вдаль на длинную улицу, на белый снег, то переводила взгляд на Махфират-хаджи или Гавхар, точно ища в их лицах поддержку.

День, с утра пасмурный, теперь, когда облака рассеялись, стал ярким, праздничным, хотя по-прежнему было холодно.

Наконец Гавхар не выдержала молчания — ее давно уже подмывало об этом поговорить.

— Хаджи-апа!

— Да...

— Вот не думала, что вы носите с собой пистолет!

Махфират-хаджи немного помолчала. Затем ответила задумчиво:

— Неужели не знала?.. Это оружие моего мужа.

И было заметно, что она на эту тему распространяться не желает.

На самом же деле пистолет был не настоящий, он был игрушечный и принадлежал сыну Махфират-хаджи, маленькому Рауфжану. И надо же — игрушка, а большое дело сделала! Но о том, что это за пистолет, Махфират-хаджи решила не говорить подругам. Она побоялась, что, открыв им правду, она тем самым и само сегодняшнее дело как бы принизит, сделает его несерьезным, игрушечным...

* * *

Прошло время. В городском театре была поставлена пьеса о судьбе кашгарской девушки. Отлично исполненный уйгурский танец вызвал овацию публики. Но мало кто знал, что исполнительница этого танца красавица-уйгурка Алтынхон сама, подобно героине пьесы, только недавно освободилась из неволи, да и то благодаря тем, кому оказалась безразличной чужая судьба.

Гаффар Хатамов

НУРМУРАД ЦЫПЛЕНОК

Сердце его... бьется, словно воробей в кулаке мальчишки, на душе тревожно, и кажется ему, будто того и гляди наступит светопреставление. Сна — ни в одном глазу.

Но он ясно видел, ясно: вода в хаузе пожелтела, точно сыворотка, ряд талов отбрасывал тень на супу. В хауз вливалась вода. Вода текла как будто по желобу — да ведь это арык, который выкопал сам Нурмурад, веет арыкам арык! На одном его берегу расположена их усадьба, а на другом усадьба семейства Айзады.

Нурмурад выходил из оврага. Что он там делал, он и сам не знает. Вышел и видит: кто-то в черном сатиновом чапане идет берегом арыка. С виду Черный Ахмад! Нурмурад насторожился: ему показалось, будто на берегу хауза тоже кто-то таится. О боже, подозрение его оказалось верным. Увидев Нурмурада, этот кто-то встrepенулся, подался назад, а затем, скаля зубы, пошел прямо на него. На нем тоже был черный сатиновый чапан, а голова повязана шелковым кушаком. Он казался знакомым, и поэтому Нурмурад не испугался. А время ведь было тревожное: в стране смута, грабежи, грабители устраивают резню, насилуют девушек.

Человек подошел к ним и протянул руку. Здороваясь, Нурмурад увидел, что он нездешний. Рысьи глаза его глядели по-змеиному холодно, в уголках тонких губ сквозила угроза: дескать, вот я тебе сейчас задам!

У Нурмурада кошки заскребли на душе. Встревожившись, он взглянул на Черного Ахмада. А Черный Ахмад вдруг раздвоился, точно разрубленная надвое ящерица, и обе его половинки разом сорвались с места: одна кинулась к их воротам, другая — к воротам Айзады. О боже, никак из-под кушака, которым повязана его голова, торчат спутанные космы?!

«Эй, кто ты? Стой!» Нет, Нурмурад не приказал, не крикнул, а так, прошептал только. Чудилось ему, что и в саду, и в кукурузном поле тоже затаились какие-то подозрительные люди. Сейчас кто-нибудь как бабахнет!

Будь проклята человеческая трусость! А тот негодяй, с которым он здоровался, стиснул ему руку, точно капканом. Нурмурад затрепыхался,

словно оказался в объятии удава. И тот, убежавший, вот-вот что-нибудь сотворит...

«Эгей! Сто-ой! Верни-ись!»

Но Черный Ахмад не остановился, не вернулся. Промелькнул тенью и скрылся внутри. Затаился, сунул руку за пазуху: а что, ежели вытащит сейчас наган да и пальнет в него с треском?!

Вырываясь, Нурмурад зарыдал, но звука не было слышно. Сердце его билось, словно воробей в кулаке мальчишки, рвалось из груди. Так рвалось, что...

... он вскочил с постели. В комнате царил полумрак: тускло мигало пламя коптилки на треножнике.

Он стал поспешно собирать постель. Ему захотелось пройти в мехманхану, лечь рядом с отцом. Но, потянувшись за подушкой, он вспомнил — в соседней комнате тоже пусто, будто в могильной яме! Рука, сжимавшая одеяло, разжалась, и оно упало на пол. Ему казалось, что он не бредил, будто видел наяву то, что приснилось ему во сне. Насмерть перепугавшись, он задрожал всем телом, силы покинули его. колени подогнулись, и он плюхнулся на пол. Плечи его судорожно затряслись, но телу забегали мурашки. О господи, никак из хлева доносился топот копыт? Нурмурад растянулся на полу и завернулся в одеяло. Как глухо стучат оземь копыта! Должно быть, кто-то... давно уж приметил его барана...

Кто бы это мог быть — Черный Ахмад? Тогда при чем тут топот копыт? Если бы это был Черный Ахмад, тогда бы еще полбеды, как-никак он ведь тоже человек и поступит по-человечески. Э, нет, как бы беды не вышло. Этот самый Черный Ахмад — сущий дьявол! Как бы там ни было, лишь бы остаться целым и невредимым!

... Если говорить честно. Нурмурад прожил вполне благополучную жизнь. Двадцать лет ему стукнуло, а он еще ни разу не сталкивался со смертью. Бывало, только скажет ему отец: «Сынок, достань-ка мне из шкатулки точильный брусок. Нурмурад убежал без оглядки и больше не появлялся. Зная норы сына, родитель его, зарезав барана, даже закапывал окровавленные внутренности, которые обычно бросают тут же. на съедение собакам и кошкам, а голову и копыта отдавал соседям. дабы чего доброго не попались ему на глаза.

Случилось это в позапрошлом году, в ту пору, когда ласточки только-только начали вить гнезда. Земля-кормилица расцвела, словно невеста в первый вечер тоя, а дедушка-солнце кружился вокруг нее, точно

мотылек. Э, да что говорить, чудесные стояли денечки. И вот в один из таких дней отец ощупью разбудил сына. «Нурмурад,— сказал он,— мы поехали на пятничный базар, а ты подготовь соху и борону, не сегодня завтра переедем в летнюю усадьбу».

И вот отец Черного Ахмада на лошади, родитель его на ишаке два старых приятеля отправились на пятничный базар в Карману. Проводив их, Нурмурад устроился на солнышке и до самого полудня прилаживал чугунный наконечник на сохе. И только он хотел было заточить его, как внезапно то ли небеса рухнули наземь, то ли светопреставление наступило, словом, в стороне мечети Касимшайх что-то оглушительно грохнуло, а затем послышалась непрерывная трескотня. Позабыв о деле, Нурмурад смотрел туда, откуда теперь доносился вой собак - в сторону Даребада. А Даребад был отсюда неблизко — целых шесть верст с гаком. И вот в шести верстах от него будто бы гремел гром какой-то, не смолкали стоны и плач — душу раздирали. Сколько помнил себя Нурмурад, впервые довелось ему слышать такие залпы, такие вопли, видеть такой черный смерч.

К вечеру смолк и вой собак. Поначалу казалось, будто река вышла из берегов, застонали, зарыдали люди, чьи дома заливало водой, но поток не прислушался к стонам и воплям — поглотил ропщущих. Вода залила все кругом, и воцарилась мертвая тишина.

А когда стемнело, пришел Ашур-суфий, разыскивая Черного Ахмада. За ним по пятам поползли слухи, будто Карману захватили саллоты*!

Нурмурад еще целиком не распростился с детством, и ему захотелось хоть разок, хоть издали взглянуть на этих саллотов. И если бы три-четыре сверстника его сказали, мол, айда, он бы в стороне не остался. Однако охотников идти на ночь глядя не оказалось, а идти одному тоже какой интерес. Вот вернется отец и расскажет обо всем, что видел и слышал, подумал он и до самого рассвета не ложился спать, все поглядывал на дорогу. А рано утром пришла весть: саллоты не пощадили никого — порубили саблями всех, кто оказывал сопротивление. В Кармане побоище! И среди гужбагцев тоже были жертвы. Будто бы велели, чтобы пришли родственники и забрали убитых.

В сердце Нурмурада гоже закралась тревога. За отца-то он не опасался, за него-то он был спокоен. Испугался так, ни с того ни с сего: со

* Солдат устаревшее, разговорное.

вчерашнего дня тревога эта смутная терзала душу... А отец что.— смиренный старик, поехал на базар вместе со всеми. И чего ему делить-то с саллотами? Видать, решил заночевать у какого-нибудь приятеля, приедет! Но только... душа окаянная никак не успокаивается, не идет из сердца тревога. В конце концов он тоже отправился в путь, пошел следом за людьми. Едва он перешел мост через реку, как вляпался каушей во что-то липкое, у него по телу мурашки забегали, он весь передернулся, не смел взглянуть себе под ноги, но все равно взглянул. Взглянул, и нога у него зацепилась за ногу, и он упал, до локтей запачкав руки в крови. Он задыхался, попытался вскочить, но не смог. Кровь в лужице свернулась, зловоние ее раздирало ему ноздри. Нурмурад смертельно напугался, еле-еле поднялся на ноги и, словно перепуганный бычок, стал шароухаться во все стороны. Ему хотелось сказать, крикнуть: «Кровь!», но голоса не было. Никто не обращал на него внимания, никто даже не взглянул в его сторону. О боже, неужто все они глухи и слепы?! Нурмурад вконец обессилел, сознание его помутилось; он взглянул на свои руки, и рот у него перекошило на левую сторону. В гот момент люди, которые шли впереди, разделились на два потока, словно река на развилке, и взору его открылась ровная площадь. Он видел саиль, до что там саиль, вот где народу так народу, земля просто усыпана людьми, словно опавшими спелыми тутовыми ягодами. Живые устало, скорбно бродят среди павших, наклоняются, заглядывают в лица, ищут своих. Живых, точно звезд на небе, а мертвых — словно песчинок в пустыне... Нурмурад остолбенел. Уму непостижимо! А может, все эго—сон? Ему захотелось повернуть назад, бежать отсюда без оглядки; эх, оказаться бы сейчас где-нибудь за тридевять земель, и чтобы все это превратилось в миф, а затем и вовсе забылось. Он растерянно обернулся и увидел: на мосту ни души, дорога безлюдна — позади никого, лишь голая степь, нет. не степь, а какое-то мифическое чудовище, которое как будто бы говорит: проглочу! Его охватил ужас, он резко повернулся и смешался с толпой. Ошеломленный и обессиленный брел он среди мертвецов. Сколько он так брел, он и сам не знал. Очнувшись внезапно, увидел, что людей вокруг стало меньше — вон они потянулись караванами в обратный путь: кто на арбах, кто пешком, со страшным грузом в табутах. У Нурмурада вновь помутилось в голове; он долго стоял, уставившись глазами в одну точку, и вдруг разрыдался, ибо глядел он на знакомый голубой в белую крапинку яхтак. Яхтак весь был покрыт следами конских копыт!

Это лежал на берегу арыка отец его с растрепанной чалмой! Он медленно приблизился к нему, потянулся к голубой чалме и увидел лысую голову, а на лбу — крохотную дырочку.

Нурмурад позабыл обо всем на свете. Обошел отца кругом, глядит, несчастный лежит навзничь. Э-э-э! Никак у него на бороде кровь? У Нурмурада похолодело внутри, но он все равно не верил, не желал верить. Это отец нарочно растянулся на земле, желая в шутку попугать сына. Он подождал немного, но отец даже не пошевелился, как будто бы крепко спал. Надо же, шел-шел, чтобы лечь именно здесь...

Нурмурад кашлянул и сказал:

— Ата!

Отец не издал ни звука.

— Ата-оу!

У него сердце оборвалось. Нагнувшись, он пристально уставился в лицо отцу: в нем не было ни кровинки, однако... спит, похоже. Слюна ведь течет!

— Ата-а!

... Схоронив покойного на кладбище, растерянный. Нурмурад вернулся домой. И хотя он собственными глазами видел, как отца зарывали в землю, все это казалось ему кошмарным сном. Как будто бы отец уехал куда-то и вот-вот вернется. Чуть стукнет, он смотрел на дверь... А минуло тем временем уже семь дней, а от того, кого он так ждал, не было никаких вестей. Глядит Нурмурад — в прихожей стоят отцовские макси-кауши. висит его чапан. а самого нет. «Стало быть, такова судьба», — смирился он.

В день поминок прискакал всадник но имени Гази. На голове — какая-то чудная длинноухая шапка. Нурмурад таких сроду не видывал.

Гази-саллот спешился, собрал народ на берегу хауза. Вот люди: ежели есть на что поглазеть, все до единого тут как тут.

Саллот этот оказался большим франтом. Заложив левую руку за спину, он долго оглядывал народ, жестом правой руки повелевая обождать. Затем кашлянул, прочищая горло, и вскочил на подгнивший пень.

— Товарищи дехкане! — Гази-саллот сжал правую руку в кулак, взмахнул ею в воздухе и, покачнувшись, чуть было не рухнул навзничь. В тот же миг к нему подскочил Аслан-дылда, схватился рукой за край пня, а затем уселся на него и с пренебрежением поглядел на собравшихся. Гази-саллот снял с головы буденовку, повертел ее в руке, потом

рассек ею воздух над головой и громко произнес: — Настало новое время, братья! Теперь безземельным дадут землю, а тем, у кого нет воды,— воду! Страной будут управлять рабочие и дехкане. Такова воля Советской власти!

В этот момент, раздвинув толпу, на середину вышел Черный Ахмад.

— Послушай, эй! Ежели желаешь, правь хоть страной, хоть людьми, только кто пролил кровь несчастных невинных?!

Гази-саллот взглянул себе под ноги — на Аслана-дылду.

— Тебе земля нужна, товарищ?

— Нужна, ака, нужна!

— Какой я тебе ака, говори, товарищ уполномоченный.

Многодетные мы, товарищ...

Эй, я тебе спрашиваю!— Черный Ахмад одним прыжком подскочил к саллоту.

— Кто они — эти твои несчастные невинные? Ежели из даребадцев.

— Где мой отец? Найди мне моего отца!

Черный Ахмад кричал, но лучше бы ему не кричать: из горла его вырывался лишь хрип. У Нурмурада защипало в носу, на глаза навернулись слезы. Он отошел в сторонку. И хорошо сделал, не то мог бы оказаться под ногами Аслана-дылды.

Черный Ахмад поставил ногу на пень и схватил солдата за бок.

— Г-где?!

Гази-саллот оказался человеком сдержанным: не вспыхнул, как спичка. Он только скорбно понурил голову, словно говоря, прошу снять шапки. А потом, обращаясь к народу, отчетливо произнес:

— Товарищи дехкане, братья! Велика тяжесть горя. Только знайте: враги Советской власти пролили много невинной крови в Даребаде. Это наши враги устроили там резню, а вину хотят свалить на красноармейцев. Это их грязные происки! Они хотят натравить на нас народ! Вот и этот, с виду, ихний малый!

— Э, нечестивец, выходит так, будто ты — невинная горлинка, а я...

Черный Ахмад наотмашь ударил Гази-саллота и сбил его с ног.

Аслан-дылда вскочил с пня, и шатко стоявший пень перевернулся и придавил ногу Гази-саллота. Тот поспешно схватился за наган, но подняться на ноги не смог. Черный Ахмад так пнул его сапогом в лицо, что у бедняги нос и рот перекосились. От следующего удара в пах он весь съезжился, скорчился и больше уже никогда не смог подняться...

И вот это тот самый Черный Ахмад! Сам-то он сбежал в горы, затаился там, а из-за него досталось Гужбагу! Нагрязнули саллоты. Потом, задумав отомстить врагу, Черный Ахмад собрал вокруг себя джигитов и стал наводить страх на все вокруг. В конце концов дошло до того, что таким, как Нурмурад, совсем не стало покоя. Выйти вечером на улицу — страшнее смерти. В стране беспокойно, так беспокойно, что ежели придет кто-нибудь и станет угонять из хлева твой скот, ты только лежишь, дрожа от страха, и думаешь, лишь бы поскорее убрались прочь!

...Топот копыт слышался уже возле супы. Похоже, и впрямь нашелся «хозяин» твоему барану, должно быть, гонит его перед собой. Нурмурад затаил дыхание. «Да не конайтесь вы там! Ведь взяли чего надо было, так чего ж не уходите?» В этот момент задребезжало оконное стекло: видать, кто-то ударил по створке рукояткой камчи. У Нурмурада чуть сердце не выскочило из груди; он съежился, натянул на голову одеяло и стал прислушиваться. Где-то вдали залаяла собака. И тут же под окном кто-то беспокойно заходил; Нурмурад слышал, но и никнуть не смел. Он не желал никого видеть, не желал знать, что происходит на супе, даже голоса человеческого слышать не желал. Эх, если б только его оставили в покое, освободили из этих тисков страха, и лежал бы он себе так, растянувшись!

Снова затрещала створка окна; по силе удара было ясно — те, во дворе, обеспокоены, спешат. Ежели так пойдет, они ни перед чем не остановятся, пнут окно ногой, выбьют и ворвутся внутрь. А уж створки эти, раз пнешь, они и рассыплутся. Ну вот, так оно и случилось!..

То ли стекло разбилось и осколок упал на одеяло, то ли что другое.

Паника в груди Нурмурада превратилась в вопль, но он застрял у него в горле, словно ком грязной ваты.

— Эй, Нурмурад!

Нурмурад услышал сдавленный, полный угрозы голос, но опять даже не пикнул, сил не было пикнуть.

— Эй, Нурмурад!

Ему ничего иного не оставалось, как покориться судьбе. Он высунул голову из-под одеяла и посмотрел в сторону злобствующего с такой тоской, с какой стреноженная скотина смотрит на мясника, но разглядеть ничего не смог — лишь какая-то черная тень.

— Выйди сюда!

«Черный Ахмад!»

Нурмурад медленно поднялся на ноги, ощущая во всем теле огромную тяжесть; холодный пот прошиб его, рубаха и штаны плотно облепили тело. Стал ощупью искать тубетейку, но не смог найти и вышел с непокрытой головой. В желтоватом свете луны он ясно увидел — Черный Ахмад стоял перед домом, откинув полы чапана, заткнув левую руку за кушак. В правой руке он сжимал камчу с золотой рукояткой. Тонкие губы его были нервно поджаты, лицо — нахмуренное, в краешках глаз будто светлячки светились. Поглядеть ни него: есть в нем что-то дьявольское. На лице его мелькнуло то же злое выражение, как и тогда, когда он подскочил к Гази-саллоту. Нурмурад опустил глаза, скользнув взглядом по сапогам Черного Ахмада из тонкой кожи. «С одного удара с ног не собьет», — подумал он. Значит, на роду у него было написано повстречаться лицом к лицу с Черным Ахмадом, значит, когда-то это должно было случиться — раньше, позже, какая разница. Как бы там ни было, ведь не стал бы он разбивать окно только для того, чтобы сказать: «Мы твой скот грабанили, Нурмурадбай!»

— А-а?!—Черный Ахмад ткнул его рукояткой камчи в тощий бок.— Чего это ты корчишься, будто у тебя колики?

Никак пошутил Черный Ахмад, а?! Ведь это вовсе не в его натуре! Снисхождение проявил!

Нурмурад воспрянул духом.

— Небось душа ушла в пятки, а? Подумал, что мы — саллоты... Всполошили наш край, нечестивцы! Ну да ладно, минуют черные дни, они еще забегают, как если бы у них в портянках черви завелись! И сбудется все, о чем ты мечтаешь, Нурмурад!

У Нурмурада комок подступил к горлу. Ему захотелось выговориться, отвести душу. Слезы душили его. И он ничего не сказал, понимая, что в двух словах не выразить того, что накопилось у него в душе. Он опустил голову, покорно сложил руки на животе и, словно выражая соболезнование, произнес:

Э, ака, стало быть, судьба. Видать, на роду так написано...

Судьба, говоришь! Да при чем тут судьба?! Вчера случилась большая резня! В Каттакургане вырезали всех, вплоть до младенцев в бешиках! Нечестивцы надвигаются, словно косцы, не оставляя за собой ничего! Нынче — очередь за Гужбагом! Не сегодня завтра они заставят вас заливаться кровавыми слезами!..

Когда Черный Ахмад сказал, что настала очередь Гужбага, Нурмурад аж вздрогнул. Ведь говорил тогда Ашур-суфий, будто в Дареба-

де побоище, будто саллоты порубили саблями всех, кто носил чалму, принимая за басмачей, стало быть, скоро и... Нурмурад смертельно перепугался.

— До чего мы дожили, ака?! — пробормотал он. Язык у него еле ворочался. И ему захотелось зареветь от охватившего его ужаса.

— Когда такие удалцы, как ты, самоустраняются! Если сидят по домам, точно наседки на яйцах! Эти дни — еще только цветочки, Нурмурад, а ягодки будут впереди! Еще...

В голосе Черного Ахмада сквозило спокойствие. И от этого у Нурмурада немного полегчало на душе; родитель его покойник был человеком весьма смиренным, любил говаривать через каждые два слова, дескать, мы за свою жизнь и вши не раздавили. И хотя язык у него не поворачивался сказать такое, но ему вдруг так захотелось поскромничать:

— Мы ведь и вши то но тронем, ака!

— Джигит узнается тогда, когда на долю народа его выпадает испытание. Да в тебе такая сила, Нурмурад, что ты гору своротить можешь, а брякнул такое. Черный Ахмад положил ему руку на плечо.

Нурмурад покачнулся, будто Алпамыш, и взглянул на горы. Величавые горы чернели вдаль: нет, не горы, не скалы, а сама цепь наступающих врагов! Несметное войско движется, движется, и нет ему конца. Да неужто перед ним тот самый насильник Черный Ахмад показался ему комаром. Ему казалось, будто Черный Ахмад кланяется ему в ноги, и неспроста: видать, плохи у них дела-то без Нурмурада! Й еще ему показалось, будто и народ надеется на него, все, от мала до велика, глядят на него с мольбой. Нет, невозможно так больше, не подобает ему стоять в стороне! Мысленно он оседлал быстроногого тулпара — мифического скакуна, взял в руку сорокааршинный меч и направил скакуна на врага. И помчавшись, словно молния, заревел, точно див, и от одного его рева враг разлетелся в стороны, будто просо на ветру! Но враги вырастали снова, точно грибы, и продолжали наступать, однако от одного лишь богатырского рыка Нурмурада опять разлетелись в стороны, будто резаная солома.

— Чего ты там лепечешь. Нурмурад? Ступай, повяжи кушак и выходи!

Нурмурад аж подпрыгнул, глянул, словно наркоман, у которого прошел кайф, и видит: и от врага, и от тулпара не осталось и следа. А перед ним стоит Черный Ахмад. «Ежели желаешь присоединиться к

нам, то ступай, собирайся »,— понукает он его. Э-э, да разве ж Нурмурада убудет от этого? Идти так пойдет! Да если просят: пойдём да пойдём, разве ж можно отказаться! Да ещё когда говорит это Черный Ахмад! Такой насильник, как Черный Ахмад, бьет ему челом, говорит: «Айда!» Когда враг топчет родную землю, а такой удалец, как Нурмурадбай, сидит дома, точно наседка на яйцах! Стыдно ведь!

Нурмурад поднял голову: а голова-то у него была, точно недозревшая дынька. Брови, окаянные,— рыжие, и ресницы тоже — рыжие, на личике, величиной с ладонь, один только нос и торчит. Зато какой нос! Точь-в-точь, как у бодливого барана. А между ресницами — не глаза, а бусинки помигивают... Эх-а, стало быть, пришел и его день! И ему захотелось немного набить себе цену. Он наморщил переносицу, сделал вид, будто обдумывает, идти ему или не идти. Хоть бы Черный Ахмад не давил на него — поупрашивал бы немного, дескать, не откажи, Нурмурадбай.

— Ну?

— Это...— Нурмурад колебался. Черт бы побрал немощную душу!

И вдруг, как говорится: чесоточный корыта захотел. Раз уж идти с

Черным Ахмадом, так он пойдет. Только дураков нет, чтобы тащиться за ним среди ночи, словно пес! Нурмурад тоже человек. Говорят ведь: шила в мешке не утаишь!.. Завтра, в полдень, он сам пойдет. Пусть все жители Гужбага видят, что делает он это по собственной воле!

— Эгей, цыпленок! Если идешь, то так и скажи! Не задерживай меня. А если нет, пеняй тогда на себя!..

Ну, он же решил в душе, что пойдет, чего же этот насильник угрожает-то! Он крепко обиделся. Так обиделся, что до самого Берансая ставки Черного Ахмада не проронил ни слова. Вот какая бывает яда! Больше всего задело его за живое то, что Черный Ахмад обозвал о щ ; пленном. Подумаешь, ну, износил он на три-четыре рубахи больше него, но чего ж из-за этого-то так нос задирать? Ведь он такой же гчжбэгский парень, чак и Нурмурад! Видать, он и впрямь возомнил себя курбаши и изгиляется! Цыпленок, говорит! Да ведь сам же явился, пособи, мол, а еще неволит, да вдобавок и гневается! Куда б он делся, этот Берансай: завтра бы он сам пришел! «И когда бы ехал по улице верхом на ишаке, пускай бы меня увидели люди, а среди них Айзада!» — подумал он. Вот было б -здорово! Выходит Айзада из ворот с ведром, воды набрать, глядь, а на улице едет какой-то всадник на ишаке! На

нем бекасамовый халат, перехваченный в талии патронташем, а за патронташем — наган, сбоку болтается сабля! Ой-бой, кто же это?! Вглядывается — Нурмурад! «Справный-то какой, окаянный, что же это я раньше не обращала на него внимания?!» — думает она. А Нурмурад, притворившись, будто не замечает этого, едет себе дальше с важным видом. Старики, уступая ему дорогу, изумляются, восклицая: «О пир мой!» А он, не меняя позы, только кивает в ответ головой — это означает «ассалам алейкум»!

«Ваалейкум ассалам! Никак Нурмурадбай! Ай-яй-яй, не сглазить бы! Куда путь-то держишь, удалец?!»

«Э-эх, аксакал, и не говорите! Сплю я этой ночью, как вдруг кто-то как стукнет в окно. Просыпаюсь, выхожу, глядь, а это наш Черный Ахмад! Бедняга в ножки мне кланяется, дескать, крылья мне подрезали, Нурмурадбек, — ежели не пособишь, то плохи мои дела, говорит! Задумался я: ведь настоящая цена человеку именно в такое время и узнается! Да к тому же мы ведь с ним одного роду-племени! Пристало ли нам отсиживаться по домам, словно наседкам на яйцах, когда на голову обрушилась беда, ведь стыдно же. Ну, думаю, потреплю-ка я им перышки!»

«Баракалла! Ты — истинный защитник народа! Ты выбрал путь доблестных, богатырь! Да добьешься ты своей цели!»

Ежели б дали ему волю, он бы так и сделал. Вот бы Ядгар-коротышка разинул рог от удивления! А гак уж очень ему не хотелось идти, да только Черный Ахмад не позволил ему выбирать. Может, сомневался, мол, обманет еще, не придет. Нурмурад бы точно пришел. Ведь до таких лет уже дожил, а никому еще ни разу не напакостил! И такому человеку не доверяет Черный Ахмад. Ладно, не доверяет и не надо, только зачем же еще цыпленком-то обзывать! Да еще с таким злобным недовольством! Злоба — штука дурная, душу ожесточает. Горько обиделся Нурмурад.

Пока добирались до Берансая, он не встретил на пути ни одного врага, не увидел ни одного поля битвы... По дороге он думал, что, должно быть, немало джигитов предаются сейчас наслаждениям в Берансае, и чувствовал себя словно обделенный на тое. А когда пришли на место, то он увидел, что это укромный сай. У курбаши Ахмада гонору-то, оказывается, много, да войска мало: всего-навсего четыре человека, как оказалось! Причем один из них — безбородый юнец. Разве ж можно всерьез принимать его в расчет? Нурмурада охватило разочарование.

Затем он подумал, что, возможно, основная сила сражается с врагами по другую сторону горной гряды. Не поленившись, он взобрался на вершину горы и внимательно огляделся кругом — ни души, хоть бы какая бродячая собака показалась!

Никого, кроме шального ветра. Зря он пришел сюда. Спускаясь с горы, он подумал было, а не вернуться ли ему обратно в Гужбаг. Но тут же эту мысль перебила другая: надо немного потерпеть, не то, чего доброго, пойдет про него молва, дескать, не держит он своего слова. Родитель его покойник говаривал: «Терпение — золото». Он спустился в сай и растянулся на кошме, на солнышке, возле других джигитов. И вскоре жара разморила его...

Когда же он внезапно открыл глаза, день был уже в самом разгаре. Возле него никого не было. Джигиты пили чай у родника, под сенью одинокого тала. Нурмурад умылся ледяной водой, вытерся подолом рубахи и поднялся на супу. Черный Ахмад подал знак полулежавшему на боку слева от него Азиму-однорукому, чтобы тот немного подвинулся. Азим-однорукий был родом из Чулдирака, а чулдиракцы — народ горячий, и он, конечно, вспылал:

— О боже! Другого места не нашлось, что ли, бек?

Черный Ахмад исподлобья недобро взглянул на него. Азим однорукий с неохотой отодвинулся, и Нурмурад присел на пятки, опершись руками о колени, там, где указал Черный Ахмад.

— Что-нибудь стряслось. Нурмурад? С тех пор, как пришел, все хмуришься! Или соблюдаешь траур?

Нурмурад опешил от такого вопроса Черного Ахмада. До этого он не сводил глаз с Азима-однорукого: левый рукав у того был заткнут за кушак и все шевелился от локтя и выше. Да еще эти выпученные злющие глаза. Отводя взгляд от Азима-однорукого, он заметил, как презрительно скривились его толстые губы.

Траур-то он по своим штанам блюдет! Смотрите, вон из прорехи срам его выглядывает. У-у, Нурмурад, смотри, как бы он у тебя не отмерз зимой! Ва-ха-ха-ха! — захохотал Азим однорукий, подпрыгивая культей. Нет, он не смеялся, а скрежетал, точно ручная мельница.

Нурмурад покраснел, как свекла. Чуть наклонил голову, смотрит, а штаны его и впрямь расползлись по шву. Стало быть, не соврал однорукий. Опозорился ты, Нурмурад, опозорился! Смех однорукого внезапно смолк. Нурмурад взглянул на Черного Ахмада — тот сидел молча. Не стал стыдить его. Как говорится: бедность не порок. И он

почувствовал, как в душе его растет чувство благодарности к Черному Ахмаду. «Гляди-ка, даже не засмеялся, а! Да, возле него, Нурмурад, ты ни в чем не будешь знать нужды!»

— Чего ржешь, однурукий?! Ступай лучше и принеси из шалаша наши шальвары. Пусть их наденет Нурмурад!

Слово Черного Ахмада закон. Азим однурукий, опершись на правую руку, поднялся с места и, нахохлившись, пошел к шалашу. У Нурмурада комок подступил к горлу. Беря шаровары, которые принес однурукий, он сказал:

— Ака, если станете раздавать нам свою одежду, сами-то голым не останетесь, а? Оставьте себе, а нам и эти сойдут! А такие носите сами. Вы ведь всегда на людях!

Надевай! приказал Черный Ахмад. Обо мне можешь не беспокоиться!

У Нурмурада слезы навернулись на глаза. Такое великодушие ка кому-то бедняку! Черный Ахмад все равно похож на гужбагца: не стал смеяться над Нурмурадом, напротив, приласкал его. «Не смей его трогать!» — словно приказал он всем. Как говорят, султан не позволит позорить свою кость! На низке правой штанины шаровар оказалось пятно, похожее на дегтевое. Ой, а может, это кровь налипла?! Ах, напасть... ежели постирать, сойдет ли?!

Надев шаровары, он не узнал себя. Да еще не какие-нибудь там. а точь-в-точь, как у Гази-саллота шаровары-то! Но откуда же все таки это пятно на низке? Может, избили какого беднягу да сняли с него шаровары, а?

— Чего хмуришься, Нурмурад?

— Отличные шаровары, замечательные...

— Может, боишься остаться должником? Носи до износа. Экая невидаль, шаровары! Вот настанут светлые денечки, так я тебя золотом с ног до головы осыплю! Ты — караулбеги Гужбага! И если я не брошу в твои объятия зазнобу твою, не быть мне курбаши! Будешь править краем во времена Ахмадбека!

А ведь караулбеги—должность не шуточная! Смогут ли такие вон, как Азим-однурукий, тоже стать караулбеги? С этой мыслью он огляделся вокруг, на джигитов, которые с важным видом лежали, развалившись на боку, у ног Черного Ахмада. Нурмурад заметил, что Азим-однурукий уже не так чванится, как прежде, поглядывает на Нурмурада благосклонно, словно на ровню. Ведь Черный Ахмад — это Черный

Ахмад. Только поглядите, как он лежит! Бек — он и есть бек! Он приказывает, а другие, лежа на боку, управляют страной!

В Гужбаге жил когда-то Килич-караулбеги,— ох и видный был человек! Нурмурад видел, как тот возлежал на боку, точно див, и, вспомнив сейчас об этом, сунул себе под бок две подушки. Нурмурад никогда в жизни не баловался наркотиками, однако он порой грезил наяву, и сейчас, полулежа на боку, он возомнил себя Киличем-караулбеги. Он вытянул ногу так, что пятка его коснулась края супы, и с нее скатился наземь комок сухой глины, да не с супы, а словно бы с поверхности земной, и не комок глины, а целая гора. Он прочистил горло, как это бывало делал Килич-караулбеги, и ему почудилось, будто небо и земля содрогнулись при этом, повеяли шелковистые ветерки и, подняв его, вознесли на небеса. И небеса сделались ему одеялом, а облака — подушками. И так возлежал он и правил краем то ли сотню лет, то ли тысячу, словом, долго-долго. И в душе его оставалось лишь одно неудовлетворенное желание, огромное, точно гора. И вот однажды, когда он принялся бранить Черного Ахмада, дескать, Ахмадбек, такой-сякой, видать, позабыл ты про свое обещание, как вдруг видит — кто-то летит к нему на белом коне, с виду — Черный Ахмад. И еще не подскакав к Нурмураду, напустился на него: «Да ты никак спятил. Нурмурад?»

Нурмурад-караулбеги опустил голову, мигом поняв, о чем ведет речь Черный Ахмад, но, сделав вид, будто ему невдомек, пробормотал: «В чем наша-то вина, бек-ака, ежели мы прилегли, правя твоим краем?»

«Да не то это вовсе,— упрекнул его Черный Ахмад,— У нас тысяча дел, пристало ли тебе скрываться? Азим-караулбеги сеет смуту. А тот безбородый караулбеги неспособен управлять краем. Ты единственный был моей опорой и ты...»

«Бек-ака...»

«Или ты нарочно так говоришь? Может, это за тот мой должок?»

«Вы сказали—должок? Какой должок, бек-ака?!»

«Не виляй, караулбеги! Ну-ка, говори, кто она — зазноба твоя? Ежели я не приволеку ее за косы и не брошу в твои объятия...»

Нурмурад-караулбеги, напустив на себя вид глубоко задумавшегося человека, продолжал сидеть, опустив голову. Он не посмел сказать, что та, о которой он тайно мечтает,— дочь Килича-караулбеги. Ведь

Айзада — гурия! Так разве ж Нурмурад назовет имя гурии? Э, нет!

К тому же между ними стоит сам Черный Ахмад. Если он увидит дочь Килича-караулбеги, не потеряет ли голову, подобно Нурмурадбаю? Потеряет, не потеряет, все одно, ведь он тоже равнодушен к ней. Нурмурад же не простачок, заметил.

С тех пор прошло уже три года...

Идя за быками, которые тащили соху, они с отцом направлялись в поле. А Черный Ахмад сидел на обочине их улицы на большом камне. Видать, он был зол на что-то, тонкие губы его были нервно поджаты, рысьи глаза сощурены. Увидев их, он отвернулся. И тут словно черт дернул отца за язык, он сострил со смехом:

— Ага, Ах-ма-ад! Все ходишь, да! Будь я на твоём месте, давно бы объявил о свадебном тое барабанным боем!

У Нурмурада чуть было сердце не остановилось: да в своём ли уме отец? Этот ведь Черный Ахмад, он шуток не любит. Но Черный Ахмад на этот раз даже не огрызнулся в ответ. Лишь ощерился. Увидев это, Нурмурад тоже улыбнулся. Черный Ахмад принял отца за ровню! Но и отец здорово его поддел: «Будь я на твоём месте, давно бы объявил о свадебном тое барабанным боем». Интересно, откуда отец-то прознал про это? Размышляя об этом, Нурмурад взглянул на Черного Ахмада и увидел, что тот исподтишка поглядывает в сторону хауза. Нурмурад тоже невольно повернулся в ту сторону. Глядь, а там идет, мелко перебирая ножками, чуть склонив свой стройный стан, Айзада в ситцевом платье в цветочек.

От неожиданности у Нурмурада нога за ногу зацепилась. Он, оказывается, отпустил веревку, а быки продолжали идти вперед, веревка туго натянулась и чуть не оторвала ему правую руку.

— Глаза у тебя есть, эй?! — прикрикнул на него отец, но он не услышал. Какой недобрый взгляд у Черного Ахмада!

— Э-эй! Да смотри же ты под ноги! Чего рот разинул? Или чтостряслось с тобой. Нурмурад, сынок?!

Еще какстряслось...

По мнению Нурмурада, в Гужбаге есть парни-соколы, но богатыря, достойного Айзады, нет. И он считал, что увидеть девушку хотя бы издали — уже чудо. Но если Черный Ахмад налетит, точно ворон, вцепится в нее своими когтями,— конец, подхватит и унесет его желанную.

В конце концов Айзада превратилась в его боль, и хотя боль эта разрывала ему грудь, Нурмурад никому даже не пикнул об этом. И вот,

когда он возлежал на боку, подобно Киличу-караулбеги, управляя краем, и когда примчался Черный Ахмад и сказал, дескать, эй, караулбеги, дабы долг не остался висеть на моей шее, скажи, кто твоя зазноба, и я приволоку ее за косы и брошу в твои объятия, трудно было вытянуть из Нурмурада хоть слово...

Он согнул правую ногу, снял с головы шапку, напялил ее на колено и вздохнул:

— Э-э, трудное это, оказывается, дело, бек-ака!

И в этот момент кто-то — то ли во сне, то ли наяву — прокричал ему прямо над правым ухом:

Кончай! Чего ж тут трудного-то, Нурмурад? Ежели постоишь ночь в карауле, ничего с тобой не случится!

Нурмурад вздрогнул, очнулся от грез и поднял голову, глядит а это сказал Азим однорукий. Однорукий сидит на земляной супе, а супа стоит возле родника, а родник бьет в Берансае. Перед ними расстелен дастархан, от мяса молодого барашка поднимается нар. Причмокнув, он выпятил грудь. Только было потянулся к лягану, как Азим-однорукий брезгливо поморщился.

Ведь недавно только из яйца вылупился, так слушайся! Чего же тут трудного-то?

У Нурмурада затрещало в голове.

И впрямь, чего тут трудного.— сказал он, но так и не смог сам уразуметь, к чему относятся эти слова.

— Когда заступишь-то, сегодня или завтра?

Завтра,— ответил Нурмурад и, увидев, что ответ его удовлетворил однорукого, почувствовал облегчение. До завтра еще нужно дожечь. Так зачем же сегодня-то морочить голову? Когда от нежного жареного барашка поднимается аппетитный нар!

Безбородый юнец протянул ему пиалу с чаем, а Черный Ахмад настаивал. чтобы он обглодал жирную кость! И Нурмурад не стал морочить себе голову. Ел до того, пока не вымазал все лицо в жире, затем выпил холодного, как лед, кумыса и, лежа, поглаживая живот, скоротал денек.

Будь проклят заход, будь проклят восход! Ибо не сбывается утром то, что задумал вечером. Место для спанья здесь было самое неподходящее. К утру, видать, выпала роса. Съежившись, он открыл глаза. Глядит, с одной стороны от него лежит хромой, с другой — однорукий. Место их ночлега сай, вместо тюфяка — овчинка, а вместо одеяла

потник! Чуть поодаль убогий шалаш и ничего больше, кроме гор и камней. И посреди этих гор лежат три наркомана, возомнивших себя караулбеги! З. чтоб тебе пусто было. Нурмурад! Если кому-то это надо значит, надо, а тебе-то чего нужно? Думал он, думал. но так ни до чего и не додумался. Хотел было сбежать обратно в Гужбаг, да побоялся резни, о которой говорил Черный Ахмад. Уйти беда, не уйти — еще хуже! В конце концов он сказал себе: потерпи немного! Потерпи, Нурмурад, поглядим, чем все это кончится.

Наступило утро. И снова с гало жарить солнце. И снова разгорелся день, а Черный Ахмад все еще не высовывал головы из своего шалаша. Где-то к полудню он,призвал к себе Нурмурада.

Шалаш стоял к востоку от родника. Когда Нурмурад вошел, Черный Ахмад лежал на постели, растянувшись, а безбородый юнец, сидя на корточках, массировал ему икры. Настроение у Черного Ахмада было скверное. Он жестом указал на место возле двери. Потом несколько раз затянулся из кальяна и, протянув его безбородому юнцу, так же жестом отослал его прочь. После этого он сел на постели, скрестив ноги. Затем, тяжело вздохнув, почесал плечо и заговорил:

Нурмурадбай! Вот ты получил сан гужбагского караулбеги. Но если валяться без конца и лишь почесывать живот, дела не сделаешь. Спроси у кого хочешь: в стране — мор! А изгнать врага у нас сил не хватает. Э-э, сколько кречетов своих потерял я, брат. Ашура-курбаши знаешь, он тоже предал нас! Но он еще получит свое: если я не отрублю его башку, словно незрелую дыню, не насажу ее на пику и всю жизнь не буду носить ее за собой, пусть тогда будет проклято молоко моей матери! Всех утоплю в крови! Сожгу все кругом! Почему запаздывает этот Эргаш-тысяцкий, а? Вот прибудет... тогда-то ты увидишь настоящее дело. Джигиты у него — сущие львы!.. Чего ты смотришь с тоской, Нурмурад! Или у тебя перед глазами все еще даребадское побоище, а? Болван! Придурак! Ведь отца твоего зарезали, точно барана! Или ты забыл про это? Тебе ведь еще предстоит встретиться с ним на том свете. Что ты тогда ответишь ему?

— Но ведь Гази-саллот говорил совсем другое, бек-ака?

Глаза Черного Ахмада сверкнули огнем, он исподлобья гневно посмотрел на юношу. Нурмурад увидел, как задергалось у него левое веко, Черный Ахмад аж подался вперед всем телом. Затем, напустив на себя высокомерный вид, проговорил издевательским тоном:

— Э, гужбагский простачок! Разве ж сказал бы тебе Гази-саллот,

мол, это я перерезал горло твоему отцу?! Уф-ф! Кабы была у меня сотня нукеров, я бы заставил этих нечестивцев умыться кровавыми слезами! Эх, Нурмурад! Не трави хоть ты мое растерзанное сердце! Нужно во что бы то ни стало сохранить жизнь, Нурмурад, даже если для этого придется грабить! Еще наступят светлые денечки! А до того... Если не сделаем припасов, не сдобровать нам. Впереди зима! Зимой будем оттачивать клинки, собираться с силами! А как только потеплеет, дадим бой!

Нурмурад нахмурился. Ведь Черный Ахмад произнес нешуточные слова. Поэтому-то он и нахмурился, сделав вид, что тоже разгневан не на шутку. Молча кивнул головой, словно говоря, все верно, бек. Ему самому нравилось сидеть так, кивая головой, словно выдавший виды мудрец. Вдруг он заметил, что по овчинке ползет блоха. «Э, окаянная, из какой могилы она выползла!» Он хотел было раздавить ее, но, вспомнив слова отца, передумал: тоже ведь тварь божия. И тут он почувствовал нестерпимый зуд меж лопаток; ему так захотелось почесаться, но рука, черт бы ее побрал, не доставала до того места. Он растерянно огляделся по сторонам и увидел, что возле его руки лежит камча. Он схватил ее и сунул рукоятку за ворот рубахи.

— Овод тебя ужалил, что ли, бык?

Нурмурад даже подпрыгнул на месте. Позабыв о чесотке, сложил почтительно руки на животе.

— Мужчина ты или нет? Намерен ли ты предъявить иск за кровь отца своего, грязнуля?

Нурмурад с опаской утвердительно кивнул головой. Облизал губы.

Оттого, что он долго сидел на корточках, ноги у него затекли. Да еще вдобавок то ли блоха, то ли муравей, словом, тварь какая-то ползла у него по плечу. Вот ежели бы рукояткой той камчи...

— Они и моего отца убили. А в чем была вина его, бедняги, а? Нурмурад хотел взглянуть на него с таким видом, дескать, верно вы все говорите, но не осмелился, к тому же камча упиралась ему в голову. И он еще ниже опустил ее. Насупившись, словно думая глубокую думу, он все никак не мог уразуметь, кому же он должен предъявить иск.

- Кто нарушил наш покой — они! Кто разрушил Гужбаг — они! Кто сжигает наши дома — они! Даже младенцев в бешиках не щадят, Нурмурад! Ты... ты чего дрожишь-то?!

— Я вовсе не дрожу, бек-ака, совсем не дрожу! — пробормотал Нурмурад. Он очень удивился — ведь он и впрямь совсем не дрожал.

Убедившись в этом, он запустил руку под рубаху, выдернул камчу и выпятил грудь. Вздохнул посвободнее, а затем вытер рукавом пот со лба. Заметил при этом, что Черный Ахмад смотрит ему прямо в рот. Если не сказать теперь чего-нибудь толкового — позор!

— Давеча случился у нас шум-гам. Я ти-ихонько выхожу и вижу: горит дом Аслана-дылды! Еще хорошо, что так вышло, бек-ака, и впрямь хорошо: а то, если бы подожгли зимой, окаянные, что тогда бы было, а? Ну, я и предложил Аслану-амаке переехать к нам. Как никак односельчане, верно ведь?

— Я про что. и он про что?! — Черный Ахмад, разозлившись, махнул рукой. Потом, понизив голос, стал расспрашивать его при помощи наводящих вопросов:— А кто поджег неизвестно? Саллотовых рук дело, это уж точно!

Сперва Нурмурад опешил от окрика Черного Ахмада, но когда тот стал расспрашивать его, понизив голос, понял, что слова его с какой-то стороны оказались стоящими. Никто не видел, как подожгли дом Асла па-дылды, тем не менее Нурмурад немного подался вперед и сказал:

— Ага! Ведь не мы же с вами подожгли-то, бек-ака!

Этот Аслан-дылда тоже по самую шею погряз в грехах.

Вспомнив полу сгоревшую лачугу, плачущих детей, Нурмурад не захотел больше говорить об этом. Затем, колеблясь, спросил:

— Бек-ака, может, мне сходить в кишлак, а?

Черный Ахмад хмуро взглянул на него.

— У тебя там нес заблудился, что ли?

— Ведь вы сами сказали, нельзя нам без припасов на зиму, положение у нас стесненное! А в Зимсае,— он указал жестом за горы,— есть у нас летняя усадьба! Пшеница ведь поспеет и осыпется, а? Сожну, зерна хватит на целую зиму, бек-ака.

— Да саллоты похоронят тебя вместе с твоим серпом, болван!

Нурмурад еще пуще упал духом, и прежняя дрожь снова охватила его тело.

— Что же нам теперь делать, бек-ака?

— Значит, так. Нурмурад,— Черный Ахмад, качнувшись, тяжело вздохнул.— Ты же знаешь, я никого не жаловал. Но ты мне понравился, и я взял тебя под свое крыло, Нурмурад. Да и отец твой покойник был очень близок с моим родителем...

У Нурмурада повлажнели глаза, он шмыгнул носом.

— Я отдал честь мертвым, Нурмурад. А теперь перейдем к самому

главному: если не сделаем припасов на зиму, намучаемся. Ты чист перед людьми... Ну, и если сделаешь, как я скажу, тогда и Гужбаг, и эта... дочь Килича-караулбеги, словом, все будет твоим. Пусть и твой брус получит закалку! — Последние слова Черный Ахмад произнес почти невнятно, как-то хрипло. Нурмурад ушам своим не поверил. «И это сказал бек?!» Ему захотелось вновь услышать эти слова, удостовериться, что это правда, но он постеснялся, стыдливо посмотрел на низки шаровар: из настоящей материи, прямо как у жениха. Может, побережь их? Э-э, дай бог здоровья Черному Ахмаду! С ним ты ни в чем не будешь знать нужды, Нурмурад! Он снова почувствовал признательность Мерному Ахмаду. Вот бы и ему отплатить добром Черному Ахмаду, да так, чтобы он не смог покрыть его даже тысячью добрых дел взамен.

— Ты знаешь Эшбуту-маслобойщика?

— Знаю,— поспешно отозвался Нурмурад. Будь проклята эта его поспешность. Верно ведь говорят: когда спешишь, не сразу найдешь то, что ищешь; ответ показался ему неопределенным. и он сказал с достоинством: — Как же не знать, мы ведь односельчане, бек-ака!

— Кажись, у него есть пара волов, а?

— Есть, есть!

— А если он маслобойщик, то зачем ему эта пара волов?

— И то верно! — сказал Нурмурад, но тут же вспомнил, что без волов-то землю не вспашешь. Только он хотел было сказать об этом, но Черный Ахмад не дал ему такой возможности.

— Тогда собирайся! Спустишься в кишлак! Разнюхай, что к чему: где скотина, где он сам. Но чтоб при этом тебя даже собака не учуяла, уразумел? Если его волы достанутся тебе, это будет воздаянием за доброе дело; да и не даром же ты возьмешь их. Станешь караулбеги, считаешься ведь? Все равно быков этих уведут саллоты! Так уж пусть лучше они не достанутся врагу. Что ты на это скажешь?

Нурмурад только закивал головой, мол, верно, верно. Он понял, что пара волов маслобойщика вроде как причитается ему, только на кой черт они ему сдались? Когда он может насытиться и нарой кусков кукурузной лепешки. Когда нет у него голодающих детей. Ну и бек!.. Э, нет!.. И тут, будто шайтан какой, нет, не шайтан, а лучше сказать, вся мерзость на земле, словом, какая-то гнусная тварь впилась ему в шею. В тот же момент под левой лопаткой у него что-то зашевелилось то ли блоха, то ли муравей, а затем так ужалило, что лицо его исказила

гримаса, и он поспешно шлепнул себя по плечу. У Черного Ахмада и так была брезгливая мина на лице, а увидев такое, он завизжал:

— Эй, Нурмурад. одурел ты, что ли?

— Ужалил, ака, ужалил! — Нурмурад поспешно сунул руку под рубаху, схватил какой-то комок и подумал, что в тело ему впился клещ.— Каракурт, ака, каракурт! — Он вытащил мерзкую тварь, глядь, а это всего-навсего обыкновенный муравей. Ему стало стыдно.— Желтые муравьи жалят похуже шмелей...— виновато сказал он.

Нурмураду показалось, будто Черный Ахмад внезапно обмяк, от прежнего возбуждения его не осталось и следа. Он вздохнул, а затем произнес безразличным тоном:

— Короче, такие вот дела. Мне ничего не надо. Ну, а ты собери то се. на черный день сгодится. И еще: из того, что добудем мы. ты тоже получишь свою долю. Ну. а сегодняшняя добыча, так и быть,— твоя. Только если вздумаешь продать меня, знай, не жить тебе. А теперь ступай...

* * *

— Эшбута-бува-а! Где ваши волы? Вы их крепко привязали, а?

— Неужто ты позарился на волов Эшбуты-бувы, сынок?

— Не я. Черный Ахмад зарится, бува. А мы его ищейки. Как бы не пришлось вам плакать сегодня ночью. Словом, берегите свой скот, чтоб не считать нас ворами! Односельчане ведь! Это я чтоб не напакостить вам, бува!

— Никак Нурмурад, окаянный? Чего ты здесь вынюхиваешь?

— Да вот попали мы в мюриды к Черному Ахмаду, бува!

— Скажи, к Ахмаду-вору! Э, чтоб тебе пусто было! Хорошо еще, что отец твой не дожил до этого! Ты заставишь его встать из могилы!

— Дело молодое, бува. Время сейчас такое: мужчина должен выбрать, с кем ему быть. Хотел было к саллотам прибиться, отец-покойник... Ведь Черный Ахмад — наш человек, и отцы наши были близки. Сказал: «Вставай под мое крыло». Так и пристал... Короче, выбрали мы дорогу бека. О нас не беспокойтесь, бува, мы уж как-нибудь проживем. Сами-то будьте осторожны. Потом не говорите, мол. другом при кидывался, а делал вражье дело.

— Ай-яй-яй! Со смертью играешь, глупец. Вырвет он твой язык!

— Будет вам! Вы, оказывается, вовсе и не знаете Черного Ахмада!

— Гляди в оба, сынок, гляди в оба!

* * *

Нурмурад стреножил ишака и отпустил его, но потник не снял. Вьючное животное следует держать наготове! Давеча ему совсем не хотелось ехать в Берансай. до сих нор на душе тревожно — там что-то пронюхали. Скорее всего, Черный Ахмад понял его обман: ведь взглянул на него, точно филин! То, что почувствовал, еще полбеды, а вся беда в том, что «охота» не шла. Трудно Нурмураду, трудно, не может он смотреть Черному Ахмаду в глаза. Загон-то для скота пуст. Каждый раз. подъезжая к кишлаку, говорит он себе: «Стыдись, Нурмурад! Ты бесишь Черного Ахмада. Берегись: навлечешь на себя его гнев!» А ведь это не так! Хорошо, что он подвернулся, а не то оказался бы Нурмурад без штанов. Вон как поизносились его шаровары. Только бы бек не разгневался, а то разгневается и скажет, снимай, мол, шаровары, а потом... Односельчан своих, видно, жалеешь, скажет. Ты это брось! Порадуй наконец и бека... Но никак не может он порадовать Черного Ахмада. Только подойдет к чьим-нибудь воротам, встретится взглядом с человеком, и как будто шайтан дергает его за язык, он и дает ему волю: «Мы — лазутчики Черного Ахмада. Как бы не пришлось вам плакать сегодня ночью... Э-э, да вы его не бойтесь. Мы пришли, чтобы сказать вам это, ака!» Хоть и напускает он на себя бравый вид, но на самом-то деле при виде перевернутого казана сердце у него в пятки уходит.

Хлев их был пуст и, в конце концов, они ограбили Рахимбая: незаметно от его пастуха они с трудом увели четырех баранов. С тех пор Черный Ахмад ходит мрачнее тучи. И Азим-однорукий тоже не тот, что прежде: сегодня, около полудня, он так и вертелся вокруг Нурмурада. Принюхивается, точно пес, почуявший след! Нурмурад разрыхлил землю под молодым деревцем, росшим на берегу арыка, и сел, а тот сесть отказался. «Под нами рыхлишь? Да еще водичкой полива ешь?» — сказал он. А взгляд у него еще более странный, чем слова: словно подмигивает недобро. Затем, поигрывая камчой, взмахнул ею и молниеносным ударом срезал деревце под самую крону. Потом, зло ощерившись, крикнул: «Ну, пошел!» Увидев, что Нурмурад не понял его, пояснил: «К Сафару-безбородому гони!» Больше он ничего не ска зал. И тогда Нурмурада охватила настоящая тревога, и он решил: «Чтобы мне

не видать этого места больше вовек!»

Объезжая дом безбородого стороной, он даже отвернулся в проти воположную сторону, словно заговаривал себе зубы: «Дом безбородого стоит у черта на куличках! Трудно тебе будет до него добраться, не утомляй же ишака, Нурмурад!» Эх, Нурмурад, Нурмурад, ну сущий ты простак! Не то разве б подумал: «Поеду-ка я домой да завалюсь спать. А ежели Черный Ахмад снова сунется, ругну его как следует!..» Ну, право, чудак, а если б не был чудачком, разве бы, доехав до своих ворот, повернул обратно? Разве поехал бы к Сафару-безбородому, разве пожалел бы его. А когда поговорил с безбородым, встревожился еще пуще. Да а. Нурмурад, зря ты так поступил,— думал он. Зря ты приблизился к приносящему несчастья. Ведь он проклят с самого рождения, всевышний даже бороды для него пожалел. Если он бросит в землю семя, оно не прорастет. Взглянет на чей-нибудь сад, сад засохнет. И вот... ты пожалел такого дурного человека, Нурмурад!» Ему казалось, что кто-то все время следит за ним, подслушивает. Испугавшись, он взглянул на дорогу: какой-то всадник проскакал мимо. Одет он был в драный чапан, на голове — запыленный тельпак. Ему пока залось знакомым, как всадник держался в седле. Да неужто это савра сая кобыла... Азима-однорукого?!

Вернувшись в Берансай, он присел на корточки и стал стреноживать ишака, внимательно оглядываясь кругом: среди лошадей он не увидел саврасой. И самого Азима-однорукого нигде не видать! Его охватило беспокойство. Стало быть, и тогда однорукый вынюхивал, поэтому-то ему и не захотелось заходить домой. Вот тебе и на, остался бы тогда в Гужбаге, не знал бы этой напасти, да Сафар-безбородый отговорил: «Э-э, сынок, судьба, значит, такая... Нынче у людей все вроде бы будет общее. И имущество, и женщины! А попробуй-ка воспротивиться, тут же голова твоя окажется на плахе! Народ несогласен, от наших стонов дрожит земля! И еще: не показывался бы ты больше в Гужбаге, сынок. Снимут голову, как басмачу. На базаре повбивали колья... Прежде, во времена эмира, многие окончили жизнь свою на них, а ныне отрезанных голов и не счесть». Вот что рассказал Сафар-безбородый. Услышав такое, Нурмурад, вскочил на ишака и до самого Берансая погонял его, тыча в шею халачупом — палочкой с острым наконечником. Пока ехал, обливаясь потом, все думал, о себе ли ему беспокоиться или же спасать Айзаду. А тут, как назло, не видать нигде проклятого однорукого! Изловчившись, он наконец стреножил ишака. С

трудом поднялся на ноги, при этом у него потемнело в глазах, все вокруг застлала пелена. Только потом уже он увидел, что Черный Ахмад сидит на супе, обхватив колени, и пристально смотрит на него. Какой тяжелый взгляд! Ноги Нурмурада превратились в колоды, в каждой колоде по сто батманов, попробуй-ка подними, да только откуда силы взять. С трудом волоча их, он приблизился к супе, представ перед Черным Ахмадом. Хоть бы Черный Ахмад сказал: «Эй, Нурмурад, из моих рук ведь кормишься, что же ты плюешь мне в лицо, Нурмурад?» Он бы тогда признал свою вину: «Ака! Извелся я — меж двух огней оказался, ака! Проклятье лежит на мне: хоть я и под вашим крылом и кормлюсь из ваших рук, а как только появлюсь в кишлаке — жалко мне односельчан, жалко... Избавьте меня от этой муки, ака!»

Но нет, Черный Ахмад молчал, даже не удосужился сказать: а, мол, прибыл...

— Приведи из хлева кучкара!

И тут будто кто-то схватил Нурмурада за шею и зашвырнул на облако, а облако опрокинулось, рухнуло вместе с ним наземь и придавило его.

Подчиняясь приказу Черного Ахмада, он медленно, словно тащил на себе непосильный груз, поплелся к хлеву. Когда выводил барана, услышал, что Черный Ахмад вроде видел дурной сон и решил принести жертву всевышнему. Про это сказал безбородый юнец. Нурмурад с тоской посмотрел на барана: нос точь-в-точь как у него самого, да ведь это же его собственный баран. Прежде, когда он кормил его, то всегда поглаживал по носу. Барану это нравилось, он норовил при этом приласкаться, резвился, а у Нурмурада язык не поворачивался прикрикнуть на него, дескать, стой, стой смирно! Он тихонько отдал веревку Черному Ахмаду. Отдал и, повернувшись, со всех ног кинулся прочь.

— Эй, ты куда?

Нурмурад остановился.

— Ну-ка, поди сюда!

Он повернулся и взглянул на Черного Ахмада так, как смотрят на судебного исполнителя, приговаривающего к расстрелу. И увидев, как Черный Ахмад манит его кончиком указательного пальца, взмолился:

— Ака! Не мучайте меня, ака! Не могу видеть кровь, ака!

Черный Ахмад сидел, втянув голову в плечи, буравя его взглядом.

Вот точно так же он смотрел тогда на Гази-саллота. У Нурмурада

сердце упало:

— Ведь этот кучкар был мне словно родной, ака!

— Поди сюда!

И как будто с небес прыгнули сорок дивов и эти сорок дивов надели на Нурмурада оковы, накинули на шею аркан и потащили к супе.

— Вали! Связывай ему ноги!

Разве не проще было бы сказать: вали гору?

— На!

Нож с рукояткой из слоновой кости... торчит прямо перед его носом. А Черный Ахмад злобно понукает — держи. Да как же его взять-то? И словно сорок дивов подняли его локоть... нож оказался тяжелым, точно гора. Нурмурад мотнул головой, и из глаз его градом посыпались слезы.

— Не смогу я, ака! Сжальтесь! Я... его... его...

— Ну-ка, кончай! — Черный Ахмад был вне себя от ярости.

Обливаясь слезами, Нурмурад нащупал горло барана, затем, прикусив нижнюю губу и закрыв глаза, что есть силы полоснул по нему ножом. Что-то зашипело, потекло, и Нурмурад понял, что это кровь хлынула, обжигая ему руки. Ему казалось, что он перерезал горло не только своему барану, а всем баранам на свете разом, и зарезанные так хрипели, что от их хрипа содрогнулось все вокруг.

— Ублюдок! — Черный Ахмад пнул его ногой прямо в плечо.

Нурмурад рухнул навзничь и остался лежать. Ему совсем не хотелось подниматься: вот так бы лежал и лежал до тех пор, пока тебя не занесет землей!

— А, приехал? Что нового, Азим?

— Ваши подозрения оказались верными, бек! Вот этот, презренный, не сдержал своего слова. Сафар-безбородый велел передать вам, дескать, пригрели вы змею за пазухой. Безбородый дознался и про Эшбуту-маслобойщика. Это он продал нас маслобойщику, проклятый!..

Черный Ахмад оборвал его:

— А Эргаш-таксабо... это правда?!

— И не спрашивай, бек! Боже ты мой! Верно говорил Сафар-безбородый: оказывается, на базаре, возле ворот... за голову твоего таксабо назначили выкуп, бек!

Потом задрожала земля: кто-то подошел и пнул Нурмурада в зад. Потом не жалели пинков: били по бокам, по лицу, по глазам — куда попало. И сколько ни пинали, гнев, видно, не утихал. Под конец тяжелая нога наступила на грудь Нурмурада и стала давить ее пяткой.

— Давить надо! Вот так надо давить! Ни одного из них не выпустить живым, всех их надо давить, как вшей!

* * *

— Хочешь жить? Говори!

Все тело Нурмурада обратилось в сплошную боль, и если бы у него остались силы, он бы сказал. Но сил у него не осталось даже на то, чтобы приподнять голову.

— Послушай! — Черный Ахмад рукояткой камчи приподнял его подбородок.— Помнишь ли ты, как отец твой сказал когда-то: «Эй, Ахмадбек! Будь я на твоём месте, то давно бы уже объявил о свадебном тое барабанным боем?!»

Нурмурад насторожился. Но Черный Ахмад убрал рукоятку камчи, и тут же его голова плюхнулась на грудь. Сердце его глухо застучало.

— Вот и настало время объявить о тое! Знай, цыпленок, жизнь твоя в моих руках! Хоть голову о камень расшиби, хоть в лепешку разбейся — мне дела нет! Но если хочешь жить, то сегодня же ночью приведешь сюда Айзаду! А нет, так я тебя живьем сожру! Ступай и скажи, скажи старухе Кизман, что я, мол, сват Ахмадбека! Отправьте дочь вашу со мной, а не то он вам глаза вырвет! Дом сожжет дотла, скажи! Спалю! Да что там спалю! Весь Гужбаг сотру с лица земли! Если не мне, то и никому другому. Приведешь — хорошо... И катись после этого на все четыре стороны. А не приведешь, тогда не только от Гужбага, но и от кладбища камня на камне не оставлю. Кости отца твоего сожгу, Нурмурад, ты это знай. А теперь, пошел прочь, сукин сын!..

* * *

Разве можно сравнить убогий шалаш с Гужбагом! Где-то лают собаки. На насестах трепыхаются куры, бьют крыльями. Вода в арыке поблескивает, как слеза, подсолнух печально глядит на отражение луны, задумавшись о чем-то. Сады на окраине чернеют, точно гелиотропы растрепанные.

Ноги утопали в дорожной пыли, пыль поднималась из-под ног и окрашивалась лунным светом. Две тени спустились в овраг, на западной окраине кишлака. Дно оврага высохло, потрескалось. Весной но

степи устремляются потоки селя, и тогда овраг наполняется до краев и сель из него вливается в арык, текущий по окраине кишлака. Те двое, пройдя время, за которое можно выпить чайник чая, вышли к дамбе. Отсюда противоположный берег канала виден как на ладони; вон блестит озеро Арманкуль, точно огромное зеркало, берега его заросли осокой. Чуть подалее — цыганский табор, цыгане с криками сгоняют отару овец.

Нурмурад взглянул на изогнутые, словно луки, брови. Никогда прежде он не стоял так близко к девушке. Раз бог не дал, у него ее и не было! В спешке Айзада накинула на себя старые материны вещи и так вышла из дому. Но и этот наряд красит ее стройную фигуру!

— Она ведь — кормилица, будет мне матерью, а я стану ей дочерью, только тяжко, ох как тяжко и вам, и матушке моей! До тех пор, пока этого вора живьем в могилу не зароят!

И хотя Айзада говорила горькие слова, из уст ее как будто мед струился; она и о нем беспокоилась. Нурмурад позабыл про боль в теле. У него стало светло на душе.

А Айзада все причитала со слезами:

— Присмотрите за моей матушкой, Нурмурад-ака! Некому ведь даже глоток воды дать ей... Одну-одинешеньку оставляю... бедняжку... — Она схватила Нурмурада за руку, прижалась лицом к его груди.

И от слез ее, ручьем лившихся из глаз, рукав у него стал мокрым. И он растаял, точно масло под жарким солнцем.

— Сестричка моя,— сказал он. И когда он сказал это, сердце его озарилось светом. Он вообразил себя старшим братом ее, таким братом, который любит ее безгранично: скажи она — и он гору в порошок сотрет, прикажи она — и он достанет луну с неба. Ему вспомнилось, как в потемках, не разбирая дороги, он пробирался, чтобы отыскать старую цыганку-кормилицу, упросить ее. Старуха цыганка согласилась взять Айзаду с собой. И еще она сказала: «Будь спокоен, Нурмурад. этой же ночью мы перекочем на новое место. А Ахмад-вор даже следа Айзады не сыщет! Вспомнив об этом. Нурмурад обрадовался.

И снова повторил: — Сестричка моя. Дай бог тебе здоровья! Может, когда-нибудь и свидимся! За матушку свою не тревожься, я буду рядом! Так что будь спокойна! Лишь бы с тобой все было хорошо! А теперь ступай! Старушка уже ждет тебя с нетерпением, не задерживай ее, сестричка!

— Будь ты проклят, Ахмад-вор... мама...

— Э-э, сестричка! А ты еще совсем несмышленная, оказывается! Нурмурад-ака ребенок, что ли? Ничего не бойся! Черный Ахмад сам боится нас! Так боится, что хватается за каждого, дескать, стань моей опорой. Ты что же думаешь? Давеча, едва он произнес твое имя... я тут же хотел вырвать язык у негодяя, но сдержал свой гнев. Ладно уж, не сотворю такого зла, как-никак мы же односельчане. Ведь человек, черствея душой, постепенно может превратиться в такого, как он. Верно?.. Да ты не обращай внимания: он всего лишь пес на цепи. Он сам себя изведет — сдохнет, как собака, так что не тревожься и ступай! Будем живы-здоровы, свидимся еще!

Караван цыган, на лошадях, на ишаках, двинулся в путь. У Айзады, видать, слезы подступили к горлу, плечи ее затряслись от беззвучных рыданий. Затем она подняла голову и выпустила его руку из своей. И то и дело оборачиваясь, мелкими шажками пошла прочь. Когда она переходила через мост, в воду с шумом посыпалась глина. Айзада перешла на другой берег, обернулась в последний раз, посмотрела на него долгим взглядом и смешалась с цыганами. А караван, раскачиваясь, словно качели, постепенно превратился в черную точку и растворился во тьме.

Нурмурад опять спустился в овраг и двинулся в сторону Гужбага.

Он не чувствовал под собой земли — словно одуревший наркоман, он чувствовал себя на седьмом небе, и ему совсем не хотелось спускаться на брентную землю. Доброе дело сделал ты, Нурмурад! Ты хорошо поступил! Не каждый на такое способен!

Он летел над землей, и мысли его обгоняли его: сестричку нашу зовут Айзадой! Сколько было таких, которые обивали порог ее дома в надежде взглянуть на нее хоть одним глазком! А она вот взяла за руку нас! Старушка-цыганка тоже небось не унимается: «Айзада, доченька, кто ж он тебе будет-то? Бедняга явился ко мне, в ноги кланяется, мол, дорогая бабушка, такие вот дела, Ежели не возьмете под свое крыло сестричку нашу, погибнет она. не откажите, пусть она станет вам дочерью! А мы в долгу не останемся!.. Так пристал, где уж тут отказать. Дознаться хотела... Невеста она тебе. что ли, спрашиваю. Э-э, нет, говорит он, соседи мы просто. Ах, пострел, я ведь все но глазам твоим вижу, говорю, а он не признается. Как бы там ни было, храбрецом оказался! Такого головореза, как Ахмад-вор, не побоялся, гляди- ка. что сделал! Долгой ему жизни!..» Старушка Кизман тоже пожелала ему добра: «Оценить доброе можно, оказывается, лишь в тяжелые дни!

Каким хорошим парнем стал Нурмурадбай! Это про таких говорят: из непокорного рождается господин! Отец был смиренным, скромным человеком, а этот — настоящий мужчина! Мир праху родителям, нарастившим такого сына!...»

«Старушка Кизман, пусть будет у тебя такой же отважный и умный зять», пожелал он ей, перебирая в памяти происшедшее. Но затем посчитал эту уступку для себя неприемлемой. «Не будь корыстным», подумал он. Покачиваясь, словно пена на реке грез, Нурмурад и не заметил, как добрался до начала оврага. И внезапно увидел, что подошел к самым ступенькам, остается лишь подняться по ним и все — там уже Гужбаг. И тут ему, не ведающему, что такое курение, захотелось вдруг выкурить чилим. И не так, как это хочется заядлому курильщику, а просто... Эй; принеси-ка сюда чилим, сказал бы он, и безбородый юнец тотчас исполнил бы его приказание. Нурмурад прилег бы на бок. Азим-однорукий протянул бы ему пиалу чая, а юнец отгонял бы сп него мух!..

Причмокнув. Нурмурад улыбнулся. Улыбаясь, ступил ногой на ступеньку и тут же отдернул ее с содроганием. Его охватил ужас, он шарахнулся в сторону, словно наступил на змею, глядь, а змеи никакой и нет. Только почудилось ему, будто кто-то стоит у него за спиной и вот-вот вонзит в него нож. В диком волнении он стал озираться по сторонам. И увидел: там на холме Гужбаг застыл, словно утес, всадник и, точно ястреб перепелятник, выследивший добычу, поджидает удобный момент для нападения. В левой руке он держал поводья, в правой пятилинейку, дуло ее было направлено в небо, приклад упирался в луку седла. О боже! Каким ветром принесло эту напасть? У Нурмурада задрожали колени. От охватившего его жара заломило кости, в горле пересохло, в глазах потемнело: ему почудилось, будто овраг окутал густой, едкий туман, и злобный голос загредел, точно раскаты грома: «Давить их надо! Вот так давить! Ни одного не оставить в живых, передавить всех до единого, как вшей!.. Давить!.. Давить!..»

На какой-то миг он лишился чувств!

Но вот он снова почувствовал жар. и снова перед глазами его возник торчавший, точно утес, всадник. Этим всадником был Черный Ахмад, который недавно давил его, будто вошь. Однако в сердце его не было ненависти... И если бы сейчас кто-нибудь связал Черного Ахмада по рукам и ногам, бросил бы его под ноги, сунул бы ему топор в руку и сказал: руби. Нурмурад никогда бы не решился. Нет, не струсил бы, а сказал бы: «Бросьте, ака. ведь и он человек, хоть и погрязший в грехах.

Мы не желаем зла никому ». Такой уж у него нрав. И поэтому Нурмурад подумал: все, что творил Черный Ахмад, он творил в гневе, и если сейчас он осторожно разъяснит все беку, то никакой беды не случится. В самом деле. ведь и он тоже человек! А если человек. то как же не простить его вину? Разве Нурмурад назло это сделал? Если объяснить, глядишь, все будет хорошо! «Смилуйся, бек-ака,— скажет он. Жалко мне стало, бек-ака. Хорошая была девушка, вот я и отправил ее к хорошим людям! Будет жива-здоровая, в один прекрасный день вернется! Найдет себе ровню! А мы с вами, бек, ногтя ее не стоим! Разве ж мы годимся ей в мужья, бек ака! Так что бросьте, не горячитесь! Ведь хорошо делать добро! Что может сравниться с благодеянием!...»

Нурмурад опять глянул на холм... «Нехорошо стоит, окаянный!

Вот те на, неужто собирается выстрелить? Я бы не стрелял! В конце концов, мы с тобой оба остались с носом! Не только ты, но и я тоже...

Неужто он вскинул винтовку? И впрямь... Целится, что ли? В меня! Но почему?...»

Нурмураду показалось, будто грудь его превратилась в наковальню. и в эту грудь-наковальню он получил удар, да такой, в тысячу раз сильнее, чем молотом! Он покачнулся, и в последний миг почудилось ему. будто сердце его раскаленный уголь расколосось на мелкие осколки, как шарик ртути, и осколки эти, точно иглы, пронзили все его тело...

Эркин Усманов

ПОДАРОК ОТ СЫНА

«Сын Абдураима-пъёна Алиджан прислал посылку из армии». Такую весть принес Каюм-почта и она в одно мгновение облетела весь кишлак Яккаоя. Все только и говорили: «Сын Абдураима-пъёна Алиджан прислал из армии посылку».

Туляган-коротыш: «О Аллах, неужели тот самый придурок Алиджан, а?»

Старуха Мاستон: «Э-э, не может быть! Как у него ума-то хватило? »

Кутбиддин ака: «Сколько же от него натерпелся бедняга Абдураим-ака? Вот и над ним судьба сжалилась, видать, его сын в армии ума набрался».

Абдураим-пъён: «Странно, еще и месяца нет, как я проводил его в армию, и вдруг посылка...»

* * *

Яккаоя такой маленький кишлак, что его даже точкой не отметили на областной карте. Может быть, поэтому утром в чайхане Фазыла-глухого услышите все то, о чем вы вечером говорили жене за ужином. И непременно с добавлениями. Вот такой здесь народ. Яккаоинцы никогда не лгут. Они правдой бьют наотмашь по лицу — хоть обижайся, хоть нет. Мало того, еще придумывают такие хлесткие прозвища друг другу, что человек до конца своей жизни от него не избавится. Нет, просто судачить они не любят... эго рассуждения о семье, детях, обычаях, о том, что хорошо, что плохо.

«У Тулягана-коротыша сын хороший. Он в Ташкенте учится чинить сельскохозяйственные машины. Вот вернется, столько пользы будет от него. Дай бог ему долгой жизни!»...

«Старуха Мастон больше всех любит младшую невестку. Потому что она встает рано, вместе со старухой, подметает двор, готовит завтрак, ухаживает за скотиной, к тому же недавно на праздник Восьмого марта подарила свекрови лакированные ичиги...»

Словом, в тот день жители Яккаоя пришли к выводу, что армия все-таки хорошая штука. Парни, нежа служат, многое повидают, многому научатся. Вот и сын Абдураима-пъёна Алиджан тоже ума-

разума набрался...

* * *

Да, я забыл сказать, почему Абдураиму-ака дали прозвище «пъён» то есть «пьянчужка». Вообще-то его никто не видел пьяным, только говорят, будто, когда он вернулся с фронта, сидя с друзьями в чайхане за пловом, он захмелел от одной пиалы вина. Стал что-то бормотать невнятное, его качало из стороны в сторону, и в результате он свалился в арык и извалялся в глине. Несколько парней погрузили его на носилки и притащили домой. В тот день и заработал он это проклятое прозвище «пъён». С тех пор он в рот не брал спиртного, а вот слово «пъён» напрочь прилипло к его имени.

Сейчас Абдураим ака пожилой человек, вырастил двух дочерей и двух сыновей. Дочери давно замужем, живут в соседних кишлаках. Иногда они приезжают к отцу с детьми, набившись в машину до отказа.

Не было такого сада в кишлаке, да что сада — деревья, чтобы их не облазали эти «жучки», так называет Абдураим-ака своих внуков.

А два его сына, Рамазан и Алиджан, живут с ним. Рамазан работает продавцом в сельском магазине, любит одеваться по-городскому, это порой молчаливый, порой многословный двадцатипятилетний мужчина.

Алиджан же... Э, об Алиджано вообще не спрашивайте! У него густые рыжеватые брови, с виду увалень, высокий. Да его в кишлаке все знают. Нет тропинки, по которой бы он не ступал, и нет дела, которым бы он не занимался.

Не закончив и семи классов, он ушел в горы к своему дяде-чабану в помощники. Через неделю старший брат Рамазан приволок его назад и запихнул в школу.

Кое-как закончив восьмой класс, Алиджан уехал учиться в Ташкент. решил стать зоотехником. Ровно через месяц снова появился в кишлаке со своим обшарпанным чемоданом: «А, везде только по-знакомству... Поддержка нужна!» По его словам, какая-то круглая, как мяч, женщина с вытаращенными глазами сказала ему в техникуме: «Э-э, паренек, ты не значишься в списках поступающих!»— вот он и вернулся.

Тогда Алиджан решил стать милиционером, чтобы мстить таким вот круглым, как мяч, женщинам с вытаращенными глазами. Только вдруг случилось что то, и он раздумал стать милиционером, решил

стать учителем. Узнав об этом, в кишлаке смеялись и стар, и млад.

А дело заключалось вот в чем. В те дни в яккакоинскую школу приехала из города практикантка по имени Сурайё. Не девушка, а просто куколка. И надо же такому случиться, что наш Алиджан влюбился в нее. Два месяца ходил за ней но пятам, а когда Сурайё уехала, закончив практику, Алиджан последовал за ней. Прошло три дня, и он снова появился в кишлаке и ходил, как в воду опущенный. Другьям своим говорил: «Ох, как завлекла меня эта неверная девчонка, а делала вид, что не замечает моей любви».

Однажды, сидя в чайхане, он изливал душу всем, кто хотел его слушать и кто не хотел. Жаловался на свое невезенье, с горя выпил вина. Тут появился его старший брат Рамазан, выволок его из чайханы и поколотил. И дня не прошло после этого, как в Яккакоя опять заговорили: «Младший сын Абдураима-пъёна уезжает на БАМ». Но Алиджан никуда не поехал, два-три месяца помогал чайханщику Фазылу-глухому, потом отцу на ферме, пахал на тракторе... Если бы не повестка из военкомата, кто знает, чем бы еще пришлось ему заниматься?

Так Алиджан, который вышел ростом, а умом нет, отбыл в армию. И надо же, не прошло и месяца, а уже прислал отцу посылку...

Что бы там ни говорили, а что посылка пришла — это правда...

* * *

Абдураим-пъён рано утром надел черный костюм, который носил только по праздникам и, звеня медалями, сел в «Москвич» соседа Кутбиддина-ака и поехал на почту. Через некоторое время он вернулся с фанерным ящиком под мышкой. К тому времени огромный двор Абдураима-пъёна был полон народа, начиная с подслеповатой столетней бабушки Алиджана и кончая многочисленными «жучками» — его племянниками.

Наконец вскрыли ящик. Все окружили Рамазана, возившегося с ним. Рамазан почему-то осторожно отложил крышку ящика, перебрал сложенные в нем вещи и выругался:

— Тьфу! Дурак!

— Что, что прислал Алиджан? — спросила столетняя бабушка.

Рамазан запустил руку в ящик, вытащил за шнурок старый ботинок и усмехнулся.

— Вот вам подарок от вашего любимого сыночка!

Кто-то рядом прыснул, но потом наступила тяжелая тишина.

Ее нарушила столетняя бабушка, все это время вопросительно глядевшая на всех.

— Ах, ты мой родной сыночек, и что же это он прислал, а? — спросила она, шамкая беззубым ртом. Слова она перекатывала языком, как жвачку.

— Ботинки! Ботинки! — зашумели вокруг «жучки».

— О, спасибо его отцу! — На иссохшем, как курага, лице старушки появилась улыбка, — Ботинки прислал?!

— Ой, это же ботинки Рамазана-ака! — вскрикнула сестра Алиджана Ойимхан.

Рамазан стал одну за другой вытаскивать из ящика старые вещи — потертые брюки, облезлую меховую шапку, длинный старый чапан, и всю эту грудку старья бросил на низкий столик.

— Вай, сыночек, вай, родимый, — побледнела мать Алиджана, увидев все это, и потеряла сознание.

Тут такое началось! Голосил весь двор. Кто-то стал обмахивать мать Алиджана, брызгать в лицо водой. Она открыла глаза и спросила слабым голосом:

— Он-то жив?

— Жив, жив, мамочка! И шайтан его не возьмет! — сердито бросил Рамазан, что-то еще вытаскивая из ящика.

— Вай, кажется, письмо...

— Давай, читай скорее, — с нетерпением сказал Абдураим-пъён, шевеля лохматыми бровями.

Рамазан сначала пробежал письмо глазами.

— Читайте же вслух! — торопила его жена Санобар.

Рамазан откашлянулся и начал:

— «Ассалам алейкум, папа и мама! Пишет вам ваш сын — солдат Алиджан из далекой Белоруссии, где он выполняет долг джигита.

В первых строках своего письма хочу спросить, как ваше здоровье, ведь оно нужно человеку, как воздух, как вода. Как идет работа, не устаете ли? Здоровы ли вы все — брат Рамазан, тетя Санобар, сестра Хадича, соседи Кутбиддин-ака, Мирхамид-ака?»

На этом самом месте сестра Хадича не выдержала:

— Слава богу, здоровы, братик мой, и зять твой здоров, и племянники...

— Потерпите, сестра!— сердито взглянул на нее Рамазан. Потом, еще раз откашлянувшись, продолжил:—«Если спросите, как я живу, у меня все нормально. Благополучно добрался до армии. Здесь вокруг леса, река, воздух такой свежий, как у нас в Яккаоя. И все-таки это не Яккаоя. Мне кажется, в мире нет такого места, как наш Яккаоя, такого родного и красивого. Я очень по вас соскучился...»

— Мы тоже, родной! Мы тоже...— всхлипнула Хадичахон.

— Оббо! — нахмурился Рамазан.

Хадичахон тут же умолкла.

— «Наш командир,— продолжал читать Рамазан,— сказал мне: «Ты хороший малый, будешь учиться на шофера, а потом будешь возить меня на машине». А когда нам дали форму, командир сказал нам: «А одежду свою вы можете отправить домой». Вот я высылаю. А другие ребята свои вещи выбросили или сожгли, а я решил выслать вам. Папа, ведь эти ботинки носили вы, а чапан — Рамазан-ака, а шапку мне сестра принесла, наверно, ее мужа. Разбирая эти вещи, я вспомнил Яккаоя, нашу речку Бозсу, снежные вершины, наши поля. Поэтому старые ботинки и даже шнурки на них показались мне такими дорогими, что жаль было их выбрасывать. Папочка, вы рассказывали нам, как воевали в лесах Белоруссии, а теперь вот я нахожусь в этих лесах. Я вам высылаю два листочка из этого леса. Больше и нечего выслать.

До свидания, скучающий по вас ваш сын солдат Абдураимов .

Рамазан заглянул в ящик и извлек оттуда пожелтевшие и пожухлые два огромные листа и бережно положил на стол.

Все молча глядели на посылку, груды хлама, на жалкие листочки из далекого леса, на письмо, что держал в руках Рамазан, и каждый думал о своем.

Рамазан оглядел всех собравшихся и усмехнулся:

«Посылка, посылка ! Всем уши прожужжали. Вон посылка, любуйтесь! проворчал он, отряхиваясь от пыли. Потом достал из кармана сигарету и закурил.

Абдураим тихо подошел к столу, взял один лист, повертел его в руке, понюхал и сказал задумчиво:

Да... знакомый запах. Это из Белоруссии... Потом повернулся к Рамазану: — А ты, сынок, так не говори! Разве это не посылка?! Чапан что ты носил, мои ботинки... Он не мог это выбросить. ты понимаешь, у него рука не поднялась. Значит, твой брат скучает по родным местам,

но родному дому... Это и называется любовью к родной земле... Похоже, ты за своим прилавком совсем забыл о таких вещах.

— Да, раз Алиджан додумался до этого, молодец! — поддержал своего соседа Кутбиддин-ака.

Рамазан был смущен. Дети и взрослые с шумом поднялись на сури, уселись поудобней и долго обсуждали случившееся. Они вспоминали Алиджана, то смеялись, то плакали, и говорили, говорили до самой ночи.

* * *

На следующий день прошел слух по кишлаку: «Сын Абдураима-пьяна Алиджан прислал подарок и написал, что он объездил много городов и сел, но лучше Яккаоя ничего не видел. Яккаоя в мире один,— написал он. Вот каким должен быть настоящий джигит»...

Уктам Хакималиев

ФИНИШ

На покатых склонах холмов, с трех сторон обступивших взбухшее после осеннего дождя и чавкающее под копытами лошадей поле, собрались празднично одетые люди, одни стояли отдельными группами, оживленно переговариваясь, другие удобно расположились на влажной траве, постелив под себя чапаны. Где-то с середины ноле незаметно шло под уклон, и противоположный край его окаймлял горный сай, в эту пору, правда, не такой многоводный и шумный, каким он бывает весной, в период таяния снегов. У самого высокого холма, где восседали на войлочных коврах аксакалы, согреваясь зеленым чаем, постепенно скапливались всадники, отовсюду стекаясь по вихляющим между холмами тропинкам. Подоткнув полы чапанов, чтобы не трепались, за туго затянутые бельбаги, они ждали сигнала; возбужденные всадники горячили коней, спорили, едва не ссорясь, чей конь сильнее и выносливее, высказывали свои предположения, кто в предстоящем соревновании — улаке — заполучит приз.

Вот появился в пестром полосатом чапане и Алим-Безухий, которого можно безошибочно узнать издали по горбату орлиному носу. С покрасневшим от встречного ветра лицом он ехал впереди своей группы, слегка понукая черного с белой звездочкой на лбу коня. Подняв руку с вдетой на нее камчой, он приветствовал собравшихся на холме болельщиков. Голоса всадников, заметивших его, сделались тише, потонули в сопенье коней, их фыркание, позвякивание уздечек. И не один из них, успевший высказаться относительно победителя, наверное, изменил про себя мнение. Уже многие годы Алим-Безухий считался лучшим в округе чавандозом. Вряд ли кто лучше его знал лошадей и понимал их. Еще ребенком он любил со старшими мальчишками пасти их, гонять на водопой. Когда подрос, помогал отцу, колхозному конюху, ухаживать за лошадьми в конюшне, впрягал их в арбы и распрягал. Еще тогда за хорошего коня он готов был отдать все без остатка, едва ли не жизнью пожертвовать. Он рано начал участвовать в улаках. Во время одного из соревнований чей-то свирепый конь откусил ему ухо, а он, разгоряченный, даже не заметил этого. «Подумаешь, конь укусил, с кем не бывает. Больно, конечно, но терпимо. Случается, люди шею сворачивают...» Гак думал молодой

чавандоз Алим, сетуя, что боль не утихает и кровь почему-то не перестает сочиться, отвлекает от борьбы. После соревнования глянул на себя в зеркальце,— а уха-то и нет... С тех пор за ним и закрепилась кличка «Безухий». Сегодня устраивает улак колхозный главный бухгалтер — в честь рождения сына. После пяти дочек у него родился сын. Это ли не радость, и это ли не повод для проведения улака. Да ради такого события можно играть той целых сорок дней непрерывно.

Дул порывистый влажный ветер. Небо сегодня тоже облачилось в халат, сшитый из темных косматых лоскутов туч. По полю, где недавно убрали пшеницу, деловито расхаживали черные грачи, низко летали, лениво взмахивая крыльями, и каркали взъерошенные вороны, выказывая недовольство появлением всадников, снимались с места стайки воробьев, с тревожным чириканьем уносились к саю, прятались в зарослях джиды.

— Глядите-ка, и Алим-Безухий пожаловал!..

— Ну, разве без него может обойтись хоть один улак!

— Ох и коняга у него — загляденье. Говорят, он отвалил за него десять тысяч!

— Почему бы и не отвалить, если какие-то там «Жигуленки» столько стоят!

— На что ему с одной рукой «Жигули»?

Потому и отвалил.

— Да-а, похоже, сегодня улак выдастся на славу.

Таковыми или приблизительно такими фразами негромко обменивались всадники, недовольно поглядывая на приближающегося знаменитого чавандоза.

Внешне Алим-Безухий был спокоен, хотя в сердце и была какая-то тревога. Подняв руку, он поприветствовал соперников и, понукая коня, протиснулся поближе к возвышению, где в окружении нескольких пожилых мужчин, которые должны были определить победителя, стоял бухгалтер Ашур организатор улака. Скорее бы уже они бросили козла! Главное — изловчиться и схватить его Алим-безухий даже ощутил в ладони податливую шерсть только что зарезанного и еще теплого животного. Главное — схватить! А тогда домчать его до финиша Алим-у ничего не стоит — равного его коню по силе, быстроте, ловкости ни у кого нет. Главное, схватить козла первым... Эх, жаль, нет правой руки! Будь у него обе руки, как у всех, точно бы никому не видать приза. На одном из таких улаков он потерял руку: упал, сломал,

попала в кровь какая-то гадость — руку и отняли...

День сегодня пасмурный, но все равно почему-то душно. И на сердце тяжесть какая-то. Погода, серость эта, что ли, действует? Нет, перед самым его выходом из дома жена настроение испортила. Не хотела, чтобы он сегодня участвовал в улаке. Никогда не возражала, а сегодня поди ж ты... Пытался объяснить ей, что он, всего раз или два в году оседлывая коня для улака, словно обретает крылья: не может он пропустить состязание, не может. А она и понимать не захотела, осталась в слезах... Да и болельщики, что сказали бы, не появись он сегодня на поле? Огорчились бы. Сказали бы: «Эх, сегодняшний улак — не так...»

Бухгалтер Ашур, дородный мужчина лет пятидесяти, подошел к краю возвышения и зычно крикнул, стараясь перекрыть голоса чавандозов:

— Видите во-он то тутовое дерево? Возле него и должен быть сброшен козел. Групповщина, помощь друг другу запрещается. Выигрывает тот, кто честно донесет козла до финиша. Хочу, чтобы в честь моего единственного сына, появившегося на свет после пяти девочек, вы боролись честно.

— Пусть жизнь его будет долгой-предолгой!

— Приз — мой мотоцикл с коляской, который я получил в виде премии!..

«Эх, Ашурвай, не из-за призов мужчины выходят на состязание,— пронеслось в голове Алима-Безухого.— А потому, что не могут не выйти. И побеждают потому что им не хочется огорчать своих болельщиков. Ведь сколько я в жизни получал при зов, все раздавал людям. Продам и твой мотоцикл, если выиграю, и устрою огромный той! А тот, кто выходит на майдан из-за приза,— тот не чавандоз, а масхарабоз».

Дородный Ашур поднял над головой лохматого козла и с силой бросил вниз. Черная тушка промелькнула над головами чавандозов, многие из которых вскинули руки, пытаясь поймать ее на лету, и упала почти в середине толпящихся всадников. Защелка ли, засвистели плети, заржали, захрипели кони. В том месте, где упал козел, все закрутилось, завертелось, как в водовороте. Чавандозы, закусив плети, свесились с седел, руки их тянулись за тушей, шаря между копытами лошадей. Потные бока животных сталкивались, кони посильнее, вскинув морды кверху, храпя и скалясь, оттесняли слабых.

Звякали стремяна, рассыпая искры. Чавандозы боролись, не щадя себя.

А над их головами, над спинами, слившись в сплошной вопль, висели пронзительные крики болельщиков. И среди них Алим-Безухий различал выкрикиваемое кем-то свое имя. Стиснув, словно железным обручем, ногами бока коня, он свесился вниз, отыскивая взглядом между мелькающих лошадиных ног втоптанную в грязь тушу; из-под копыт летела грязь, и он, отплеываясь, утирал лицо о горячий бок коня. Его тело было стиснуто, и ему порой казалось, что он задыхается. И нос бил острый запах пота. Алима поташнивало.

Вероятнее всего так было и раньше, но он этого попросту не замечал. Раньше он был молод, силен, да и руки... Эх, горе тому, кто с одной рукой вступает в борьбу на улаке! Была бы у него хотя бы не левая, а правая рука, многим пришлось бы туго. Из глаз посыпались искры — в лоб ударили чьи-то стремяна. Алим почувствовал, как что-то теплое, щекоча, пробежало наискосок к виску. Кровь. И в этот момент он увидел то, что искал; он схватил, погрузив крепкие пальцы в длинную осклизлую шерсть, но одновременно с ним в тушу вцепилась еще чья-то ловкая рука. И, не поднимая головы, Безухий сразу определил, что рука принадлежит молодому джигиту. Только молодые руки могут действовать так ловко, быстро и так крепко держать.

«Откуда еще этот молокосос взялся?» — подумал в сердцах Алим-Безухий, бросив неприязненный взгляд на чумазое лицо незнакомого парня, на котором ослепительно сверкали лишь зубы да белки глаз, и изо всей силы рванул к себе козла.

— Безухий, оставь! — крикнул парень хриплым от напряжения голосом. — Когда же избавимся от тебя? Надоед-то как!..

— Негодный, у тебя изо рта вместо слов выскакивают лягушки! — выдавил из себя Безухий, не поднимая головы и прикидывая, как бы выпрямиться так, чтобы кто-нибудь еще не успел ухватиться за тушу. — Это поле борьбы! Оно любит мужественных! А вас, молокососов, развелось сколько! Споро за все беретесь, да быстро остываете. А мы, седоголовые, уж ежели взялись, то доводим дело до конца. Попробуй-ка отобрать! Сможешь, только отрубив руку!

Парень изо всех сил потянул к себе тушу и раз, и другой.

— Смотри-ка, силач какой нашелся! — зло осклабился Алим-Безухий. — Жаль, что нет правой руки, а то показал бы тебе..

Кони их вертелись, то сталкиваясь боками, то расходясь в стороны,

не давая никому другому подступиться. Парень и так, и эдак тянул добычу к себе, но Безухий отпускал и тоже в свою очередь дергал вправо, влево, и тоже лишь понапрасну тратил силы.

«Эх, Алимбай, нет у тебя прежней силы,— промелькнула в голове мысль.— Откуда только взялся этот зубоскал? Но все равно не сладить тебе и с одной моей левой...»

Чавандозы окриками и плетками понукая и без того разгоряченных коней, подступали все ближе, теснили их со всех сторон. Алим-Безухий и молодой парень очутились в самой середине схватки.

Поначалу молодой и старый боролись на равных. Но все-таки молодость есть молодость. Парень, улучив момент, резко дернул и вырвал тушу из рук Алима-Безухого, перекинул через седло и зажал коленом. Алим, гневно сверкнув пазами, глянул на соперника, широкоплечего, с толстой бычьей шеей и крупным крючковатым носом.

— Эй ты, силач! — сквозь зубы процедил он, и лицо его исказила гримаса.— Известно тебе, что из-за улака я лишился уха и руки?! Дураков нет, чтобы так просто уступить тебе! У тебя сила, а у меня опыт. Еще посмотрим, чья возьмет!

Парень, как ни понукал коня, не смог сразу вырваться из плотного кольца обступивших их чавандозов. Алим дотянулся до козла, сделав вид, что тянет в одну сторону, неожиданно дернул в другую,— туша выскользнула из-под стремени парня. Алим проделал это так ловко, что парень удивился, в глазах его промелькнуло восхищение старым наездником. Но тут же он, как ястреб, снова накинудся на тушу. Молодой чавандоз! Нельзя не признать его силу.

Не выпуская козла, Алим-Безухий потянул за узду, поворачивая коня в сторону. Со всех сторон слышались крики:

— Давай. Безухи-и-ий!

— Еще немного!...

«Бедняги, до сих пор не перестают надеяться на меня!»—подумал Алим, пятками и плеткой подзадоривая вороного.

Кони молодого и старого чавандоза наконец вырвались на простор и помчались рядом, развевая гривы, распутив по ветру хвосты.

Алим-Безухий намертво зажал коленом добычу. Как парень ни старался, не мог ее вырвать. А позади лавиной неслись другие всадники, уже настигали. Неужели они зря столько боролись, а когда их силы иссякли, победа достанется кому-то другому? «Хей, неуклюжий,

что-то долго я вожусь с тобой! Постарел я, эх, постарел. Но опыт мой не старится, нет. Старый чавандоз похож на старую лису: чем слабее у нее глаза, ноги, нюх, тем хитрее она становится. Ну, теперь держись...»

Парень отпихивал его локтем. Он был довольно силен, этот молодой чавандоз, напоминал Безухому его самого в молодые годы. Он кажется, на седьмом небе только от того, что ему выпала честь бороться за улак с самим Алимом-Безухим, самым знаменитым чавандозом.

Будто две мощные волны, набежав с двух сторон, столкнулись, вздыбились в единоборстве, и трудно сказать, которая опрокинет другую.

— Али-и-им!— неслось с холмов,— Давай, Алим! Ну, что же ты!..

— Дави-и-и!..

«Вам легко орать: «Давай! Дави!..» Только и знаете горло драть, горлопаны! А бороться — мне. И не с крикуном, вроде вас, а с настоящим чавандозом, здоровяком. Другого бы я давно одолел, а этот, проклятуший, не знает ни усталости, ни снисхождения к старшему...» Безухий чувствовал, что силы его на исходе. Что поделаешь, состарился старый чавандоз. К тому же рука одна, левая. То, что нет одного уха, это ничего, не ушами хватают козла. А вот без правой руки... К тому же случай свел с этим верзилой-молчуном. Хоть бы слово сказал...

— Али-и-им! Тя-а-ани-и-и!

«Стараюсь же, как вол, стараюсь. Э, и почему я не послушался жены... Что-то чувствовала, старая. Неужели я сегодня опозорюсь?..»

— Эй, Безухий, с юнцом справиться не можешь!

— Вместе с ухом сил, что ли, лишился-а-а?

— Безухи и-ий! Молись Аллаху, а то пропадешь!

«И аллаху тоже нелегко: сколько людей мысленно обращается к нему, всех он слышит и не знает, кого пожалеть, кому помочь, совсем растерялся поди, бедняга...»

Парень давно знал Алима-Безухого, с детства слышал его имя.

Мечтал потягаться с ним, когда вырастет. За этим пожаловал из соседнего кишлака. Наездником он считался отменным, а вот в улаке участвовал впервые. Кони устали. Молодой и старый боролись, мучая себя и коней.

— Али-и-им! Ну тебя к дьяволу!..

«Если сию же минуту не справлюсь с этим нахалом, болельщики разочаруются во мне, расстроятся, плюнут на улак и разойдутся. Какой

прок тогда бороться без болельщиков !!!»

Туша козла то растягивалась, то сжималась, странно, что еще не разорвалась на части.

— Эй вы, молодцы, оставьте... поделитесь лучше призом!— донесся издалека голос Ашурвая, устроителя улака.

— Будь ты проклят со своим призом,— пробурчал Безухий, не спуская глаз с соперника.— Никогда не выходил я на майдчн ради приза. Пусть получит награду этот верзила. Может, у него невеста есть, перед которой надо побахвалиться,— и подумал: «А мне — лишь бы козла доставить к отметке, вон до той старой кряжистой шелковицы, к подножью которой за свою жизнь сбросил не один десяток туш!»

— Ака. шелковица! Мы проскочили отметку! — выкрикнул парень.

— Слушай, щенок, чего ты смеешься?— процедил сквозь зубы безухий.— Не кичись заранее, что пришел к отметке вместе со мной, что я до сих пор тебя самого не зажал под своим коленом вместе с козлом. Состарься сначала, как я, лишись правой руки, хотел бы я тогда посмотреть на тебя... Стыдись, что не можешь одолеть однорукого. Еще раз оскалишься, огрею тебя по лбу черенком вот этой плети!

— Ну что вы все время ругаетесь, ака? Ведь это майдан, где и положено бороться за победу.

— Ну, так и борись! А что ты присосался, как клещ, и не отпускаешь?

— Да я мог бы с первой минуты ввергнуть вас в позор, только из-за того, что у вас седая голова...

«Ты прав, братишка, постарел я. А не то показал бы я тебе сейчас...»

Оба всадника, не выпуская из рук тушу, описали широкий полукруг вокруг шелковицы и помчались в обратную сторону. Преследующие их чавандозы пустили коней им наперерез. Но Алим-Безухий и его соперник так стремительно пронесли перед самым их носом, что ни один из них не успел заступить им дорогу.

Когда они промчались мимо холма, где стояли хозяин тоя и его помощники, Ашур, размахивая руками, крикнул:

— К призу добавляю ковер-о-ор!

Болельщики нервничали. Они переглядывались, разводили руками, качали головой, вздыхали. Ведь Безухий до сих пор не знал поражений. Собирающиеся на улак люди им главным образом всегда и восхищались, его сноровкой, ловкостью. А сегодня носится, как шальной, по майдану, у какого-то мальчишки козла отнять не может,

эх, досада...

— Да продлится твоя жизнь, Алим! — крикнул сгорбленный белобородый старик, махая посохом.— И с одной рукой не уступаешь победу.

Голос у старика был слабый и сиплый, но Алим его услышал. «Только этот человек оценил меня. В самом деле, если учесть, что у меня одна рука, то преимущество все равно на моей стороне. Всю жизнь я исправно молился аллаху, и он никогда не оставлял меня в беде. Правда, он лишил меня уха, руки, но в этом я больше сам виноват, мое упрямство...»

Над холмами снова взмыли до самого неба крики. Все увидели, как Алим-Безухий вырвал у соперника козла, перекинул в другую сторону и прижал ногой к боку коня. Он мчался, наклонясь вперед, прижимаясь щекой к потной шее коня, подстегивая его стоптанными каблуками, и сразу вырвался вперед. «Ох, вороной, не подведи! Дай бог силу твоим ногам...» Вороной скакал, широко оскалив рот, фырканием и клацанием зубов отпугивая приближающихся сбоку коней.

И вдруг Алим услышал сквозь топот множества копыт над самым своим ухом чье-то тяжелое дыхание, промелькнули чьи-то руки, вцепились в тушу. Безухий гневно обернулся. Опять тот самый парень.

«Да изуродует бог твое лицо, чтобы ни одной девушке не понравился!»— в сердцах выругался Безухий, пытаясь локтем оттолкнуть соперника.

Но парень был настырный, тянул тушу к себе, не давая старому наезднику передышки.

Безухий резко повернул коня в сторону, рассчитывая, что соперник пролетит мимо и его руки оторвутся от туши. Так и случилось. Лицо парня скривилось от досады. «Алимбай!»—сказал себе старый чавандоз.— Теперь отгони коня! Ну, вороной, стать мне жертвою твоих ног!..»

Болельщики кричали, свистели, били палками о дно пустых ведер.

Кривая старая шелковица стремительно приближалась. Но тут опять чьи-то сильные руки ухватились за тушу.

— Опять ты? Негодяй, проклятый!— неожиданно для самого себя взревел Алим-Безухий.— Когда же ты отстанешь наконец?

Парень невозмутимо молчал, вцепившись в козла, осаживая коня, и вороной, как ни силился вырваться вперед, все убавлял и убавлял прыть.

Старому чавандозу пришла в голову мысль спешиться, стащить молодого упрямца с седла, как следует отдубасить и после этого уйти с майдана с гордо поднятой головой. Но этого он, конечно, не сделал, не хотел разочаровывать своих болельщиков, слышать йогом их упреки. Он и сам бесчестных терпеть не мог. А кому они любы прохвосты? Никто их не жалует. А парень этот, хоть и изрядный нахал, однако приз хочет заполнить в честной борьбе.

Алим попытался перебросить тушу через седло на другую сторону. Однако парень держал крепко, и у Алима ничего не вышло.

Безухий глянул на молодого нахала, словно кипятком обдал, а тот еще и добродушно улыбается. Эх, когда-то Алим-Безухий и сам таким был: отбирал из рук соперника добычу, а сам при этом улыбался, уверенный в своем превосходстве. И опять он глянул на парня, теперь уже с завистью. «Если в мире есть сила то это он! Если есть злость то это он! Если есть воля— то это он! Если есть мужество — то это он! Ах, как же он напоминает мне мою молодость...

Хорошо ли вы себя чувствуете, ака? — участливо справился парень, скользя глазами по его лицу.

Будь проклят твой отец! Чтоб ты умолк навеки! — огрызнулся Безухий.

Он и сам чувствовал, что ему как-то не по себе, то в жар его бросает, то в холод, и дрожь какая-то внутри. А теперь понял, что, наверное, лицо у него бледнее обычного, все в испарине, пот заливают глаза.

Парень рассмеялся.

Не успел Безухий глазом моргнуть, козел исчез из-под его стремени.

Перед глазами Безухого поплыли разноцветные круги, закружилась голова. Он понял, что время его кончилось, что сегодня не овладеть ему призом, и не только сегодня, но и вообще никогда, на глаза навернулись слезы.

— Али-и-им!...

— Алим, что же ты?...

Э-эх. была не была! крикнул Безухий и огрел вороного справа, слева плеткой.

Как птица ринулся вперед его конь, вмиг настиг соперника, и не успел тот перебросить козла на другую сторону, Безухий вцепился в него мертвой хваткой. И снова они вместе достигли шелковицы, и снова, описав широкий полукруг, помчались назад.

«Умру, но не уступлю!»— подумал Безухий.

— Еще кове-е-ер!...— услышался голос Ашура, когда молодой и старый, бок о бок пронеслись мимо возвышения.

— Алим-ака а! Удачи ва-а-ам!

«Я должен показать этому самоуверенному бычку, кто та ков Алим-Безухий и на что он способен! Пусть-ка утретя юнец...» Он снова закусил зубами плеть.

— Поганец, уברי локоть!

Послушайте, ака. вспылит парень.— Почитая возраст ваш. отмалчиваюсь. Ругаетесь, оскорбляете... Ведь улак схватка мужественных. Из-за чего обижаесть?

— Прости,— виновато буркнул Безухий.— Постарел, ворчуном стал... Но тебя не боюсь!

«Алимбай! — обратился он мысленно к себе.— Ведь ты и сам в молодости каких только молодцов не побеждал. Бывало, плакали от огорчения. То же нынче происходит с тобой. Терпи, ежели не можешь враз одолеть, брат мой...»

— Жаль, что нет правой руки,— вздохнул Безухий, не заметив, что произнес это вслух.

— Тогда сидели бы себе в чайхане и попивали чай, ака,— заметил парень.

— Ах, так? — взревел Безухий.— Вот сейчас ты увидишь, на что способен однорукый чавандоз!

Он так рванул тушу, что парень едва удержался в седле и разжал пальцы. Безухий в мгновение ока перебросил козла на другую сторону, прижал стремением.

— Молодец, Безухи и-ий! Так ему-у!..— вновь заревели зрители.

Вороной выскочил вперед, прижал уши, неся вперед, как сама радость. О, до чего счастлив Безухий. Все-таки отнял! Понукая и без того летящего коня, он стремительно приближался к цели. «Алимбай, умри, но донеси козла до финиша! — непрерывно твердил себе Безухий.— Умри, но донеси...»

— Али-и-им!...

Улак — это борьба. Это сила. Да, сила. Если немощен, незачем и вступать в борьбу.

Улак — это сама жизнь! Ведь и в жизни есть сильные и слабые, победители и побежденные, благородные и низкие, мужественные и трусы, старшие и младшие. И все они соперничают между собой. Один

берет верх, другой уступает, сдается. Один выносится вперед, другой оказывается позади. Улак — игра честная. Здесь каждый, как на ладони. Если ты честен, ловок, силен — тебя оценят. Слукавишь — накажут. Железный закон жизни.

Он пригнулся к шее вороного, ветер свистел в ушах, по лицу хлестали пряди развевающейся черной гривы. И мир казался ему таким же прекрасным, как в молодости, душа ликовала.

Он не оглядывался, но позади себя слышал топот коней и истошные вопли преследователей.

— Алим-ака-а-а! — раздался пронзительный голос парня.

«Что он орет, как резаный?» — подумал г раздражением Безухий.

— Алим, дерево! — успел крикнуть кто-то еще.

Безухий вскинулся в седле. Прямо перед собой он увидел простершую к небу мощные ветви старую шелковицу, к которой всю жизнь стремился прийти раньше всех.

Громко заржал вороной, и над холмами взмыл пронзительный крик.

Дерево вздохнуло. С макушки сорвалось несколько желтых листьев, плавно кружась, полетели вниз, легли на мокрую землю, отливая золотом.

Чавандозы осадили коней, спешились.

— Братцы,— всхлипнул молодой чавандоз, утирая рукавом чапана чумазое лицо.— Что же это, а?..— он опустил на колени и наклонился над распростертым на земле телом соперника.

Рука Безухого застыла, пальцы, судорожно зажавшие козла, скрючились.

Аббас Саидов

СТАРИК И ЕГО СМИРНАЯ СОБАКА

Знаю, догадываюсь, Акташ, тебя много лет мучает и не дает покоя одна печальная мысль. И хотя ты ее не можешь выразить словами, твои глаза выдают тебя...

Насаживая на крючок наживку, старик беседовал с лежащим рядом крутолобым поджарым псом. У него была густая грива и длинные уши. Умные глаза внимательно следили за руками старика. Пес очень любил своего хозяина. Да и у старика, кроме пса, не было никого.

Впрочем, так сказать нельзя. Были у него дочь и пятилетний внук Атабек, только видел их он очень редко. Зять же, этот вредный человек, отпускал жену и сына к нему раз в год, да и то не всегда. Старик дурно влиял на Атабека, как считал зять, и переубедить его было невозможно. Это Суванкул-то, довольно поживший на белом свете, встречавший на своем жизненном пути много разных людей и со всеми вроде бы находивший общий язык, мог дурно влиять на кровиночку свою, любимого внука?

Что и говорить, не повезло Суванкулу с родственничком! Саттар всегда был человеком высокомерным, потому и нет ничего удивительного в том, что с первых же дней, как стал он Суванкуловским зятем, относится к старику с пренебрежением.

«Ну, да ладно! Что это я опять терзаю душу свою! Пусть все будет так. Лишь бы дочь была с ним счастлива»,— вздохнул Суванкул.

Он поплевал на крючок и забросил удочку на середину потока. Удилище, изготовленное из толстой ивовой ветки, воткнул в землю. Затем продолжил разговор.

— Так вот, Акташ. Когда твою мать Капланку забрали в собачий ящик, я не смог ей помочь, Те жестокие люди, что собирали на улицах собак, никак не поддавались на мои уговоры. Они, видишь ли, приказ такой получили — отловить всех собак в наших местах. Потому слишком часто наезжали они ччида в наши края со своим собачьим ящиком. Забрали они Капланку... А я до сих пор помню ее, Акташ. Когда ее заперли в клетку, вид у нее был ужасный — она кидалась на прутья, бессильно рычала, скалила зубы. Такой яростной я ее видел впервые. Только ведь прутья то железные — как их сломаешь? Капланка обреченно смотрела на меня из клетки и словно просила: «Тебе, старик,

оставляю Акташа. Береги его». А ты, тогда еще несмышленишь, будто бы понимал, что не увидишь больше мать — так жалобно скулил. Помнишь это, Акташ?

В этот момент поплавок дрогнул. Акташ сразу почувствовал это. Резко вскочил на лапы и залаял. Суванкул успокоил: Обманывает нас рыбка, Акташ. Смотри, поплавок опять стал на свое место. Наверное, хвостом зацепила... Да, рыба тоже не дура, трудно ее провести.

Старик жесткой ладонью погладил пса по загривку. Псу это, видимо, понравилось, и он начал ластиться, лизнул хозяину сапог.

Поплавок опять качнулся и снова занял прежнее положение. Акташ не отрывал от него взгляда. Старик молчал, изредка поглядывая то на собаку, то на поплавок.

Кхе... кхе... сожрала, обманщица, наживку-то!— Старик сокрушенно качал головой, вытаскивая леску из воды.— Ну, точно, сожрала, говорил я тебе...

Он закашлялся. Кашлял долго, с надрывом, прикрыв рот заскоруждой ладонью.

— Акташ. пошли! Не придется, видно, сегодня нам с тобой ушицы поесть. Но завтра мы обязательно отведаем. Ты слышишь, Акташ? Обязательно отведаем завтра уши...

Кичкирик — речка хоть и мелковатая, но рыба в ней водится. К тому же она под боком, до нее рукой подать. И потому каждый день Суванкул, вместе с Акташем, собирается сюда на заре и целыми днями пропадает на речке. Ему это занятие нравится больше, чем сидение со стариками в чайхане, где судачат о том о сем. а вдумаясь — ни о чем. Суванкул еще любит перепелиную охоту. Каждую весну он и Акташ отправляются далеко в степь, бродят по зеленой, только что пробившейся траве. «Хорошо быть в одиночестве. Впрочем,— горько усмехается старик,— я и так одинок. И все-таки — здесь легче дышится, простору больше».

У Суванкула отличное охотничье ружье. Стрелок он, хоть и в преклонном возрасте, отменный, бьет без промаха, наповал. А как резвится Акташ на этом приволье! И не устает ведь, шельма. Ни на шаг не отстает от старика. Что ни говори, собака у Суванкула красивая, храбрая, сильная, похожая повадками на мать свою — Капланку. Та тоже была красивой, храброй и сильной.

— Вот такие, дружок мой, дела на свете,— говорит старик, сматывая удочку. Вылив воду из ведерка в прибрежные камыши, продол-

жает:— Думаешь, мне легко? Что толку с того, что стал я дедушкой? Внука не вижу, приласкать не могу. Разве это жизнь, Акташ? Тоска — куда деть себя, не знаю. И виноват во всем этом длиннотяпый Саттар.

И чего он так задается, не понимаю. Ты знаешь нашего соседа, ну, того, что живет в двухэтажном доме? Удивительный человек, большой ученый. А какой скромный... Всегда за руку поздоровается, о жите-бытье осведомится, как встретит. Он, оказывается, о нашем Ханчарбаге книгу написал. На днях он мне ее прочитал, а я рассказал ему все, что знал о прошлом нашего городка. Ты бы видел, Акташ, как он обрадовался. «Спасибо,— говорит,— за дополнительные сведения. Обязательно включу их в книгу». Видать, что умница... Не дай бог, такой ум достался бы Саттару! Не могу представить себе, что тогда было бы. Кошмар! Он бы еще выше задрал свой нос. Помнишь, Акташ, прошлый праздник? Подумал я: если гора не идет к Магомету... Поехал, значит, за тридевять земель; дай, думаю, навещу внука с дочерью. Заранее радовался встрече с ними. И на тебе! Зятек-то милый, как увидел меня, сразу ушел к своему дружку-соседу. Вот так встретил! Это же надо — иметь такое каменное сердце. Проглотил я обиду и вернулся домой. Что я мог изменить? Не ругаться же мне с ним! И опять утешал я себя: лишь бы дочь была счастлива.

... Они возвращались домой. Суванкул ступал тяжело, чуть прихрамывая.

Глубокие морщины четко обозначились на его смуглом, словно из камня высеченном лице. На лбу выступили мелкие бисеринки пота. Фигура его была согбенной, из груди вырывалось тяжелое дыхание,— чувствовалось по всему, что он устал, хоть и недолго был путь от Кичкирика до дома. Акташ медленно плелся за хозяином. Остановливался хозяин останавливался и тревожно смотрел на хозяина пес.

Стареем мы с тобой, Акташ. Нога что-то заныла, ты уж прости,- извиняющимся тоном сказал старик и, отставив в сторону ведро и удочку, присел на корточки. Ты, видно, Акташ, здорово проголодался? Ну, ничего, придем домой, что-нибудь придумаем.

... Вот наконец и дом. Что-то долго сегодня добирались они. И двор на мгновение показался совсем чужим, опустевшим. Старику хотелось бежать, бежать подальше от постылого жилища, куда-нибудь в степь. Но куда убежишь, если родился и вырос он в этом кишлаке? К тому же здесь, на кладбище, что на окраине Ханчарбага, похоронена жена,— вот

уже шесть лет минуло с той норы, как покинула она этот мир и оставила его одного. Разве может он покинуть ее могилу?

«Устал, нездоровится, потому и лезут всякие мысли в голову, — успокоил себя Суванкул.

Присев на ступеньки, ведущие на широкий айван, старик стал стягивать сапоги. Акташ гонялся за нахальными воробьями, клевавшими едва ли не под его носом старую засохшую лепешку.

С улицы донесся шум тормозов подъехавшей машины. Акташ, залившись лаем, бежал к калитке.

Дай-то бог, чтоб дедушка твой был дома, сказала молодая женщина, открывая калитку.

— Ой, доченька! Атабек! Какими судьбами? Не ждал я вас... Ну совсем не ждал! И муж твой приехал? засуетился старик, растерянно оглядываясь и не зная, куда положить портянку, которую держал в руках.— Вот обрадовали старика, милые вы мои... Добро пожаловать, заходите... Вот радость-то! Старик поднял на руки внука, поцеловал его, опустил на землю, поцеловал дочь. С лица его не сходила счастливая улыбка.

Как здоровье, папа? обнимая отца, спросила Назира.

Сама видишь, доченька... Соскучился я по вас, особенно по славному моему ягненочку. Он вновь поднял на руки Атабека.

Малыш доверчиво прижался к деду, обхватил ручонками его жилистую шею и, склонив головку на плечо, принялся задавать вопросы:

— Дед! А во-он та собака — ваша? А как се зовут?

— Это Акташ, внучек. Познакомить тебя с ним?

Тут вмешалась Назира:

— Будь она неладна. Она все еще жива! Я-то думала...

— Не говори так, доченька. Это мое единственное утешение в этом постылом дворе. Не говори так. прошу тебя.

— Дедушка! Акташ кусается?

— Нет, Атабек, нет, миленький, не кусается. Акташ — умная собака.

— А мне папа говорил, что все собаки кусаются.

Папа твой пошутил. Акташ хорошая собака. Иди ко мне, Акташ!

— Не нужно, папа. Он же ребенку всю одежду испачкает. Посмотрите, какой он грязный.

— Не говори так, доченька. Он все понимает, обидится. Акташ и как несчастная собака.

— Странно, вы о нем, пана, говорите, как о человеке...

Не прошло и получаса, Акташ с Атабеком стали такими друзьями водой не разольешь. Малыш гладил пса, а тот, опустившись на передние лапы, дружелюбно вилял хвостом.

— Да, кстати,— обратился старик к дочери — как муж твой? Он отпустил вас ко мне — что случилось? На него это не похоже. Или добрее стал? Ну, слава аллаху, вы — здесь! Я так соскучился по Атабеку, если бы ты знала... Если б только знала, доченька! Жаль, бедная мама твоя не дождалась внука. Она так мечтала о внуке, да не судьба... Пусть земля будет тебе пухом, добрая моя Отинхон. А ты, доченька, не в мать удалась. Не такая ты. - Старик укоризненно посмотрел на дочь.— Мама была такой заботливой, такой внимательной...

Вы же знаете, отец, как мне нелегко. Семья, заботы... Ну что я могу...

— Вот в том-то и дело... Потому и сказал: не в мать ты. Для мамы не существовало таких слов — трудно, не могу. Она все могла. Да я понимаю, доченька, что дело тут не только в тебе...

— А на зятя своего не обижайтесь, у него тоже немало забот. Работа у него ответственная, сами понимаете.

— Только у него-то и много забот, скажите на милость.

— Да успокойтесь, папа. Я же не ссориться приехала. Меня как раз ваш зять и отправил к вам.— Назира заметила, что отец несколько смягчился, поостыл, и нежным голосом проговорила:—Его в Москву вызывают на совещание. Он решил и меня с собой взять, погулять хотим недельку-другую. Атабека думали у свекрови оставить, но она приболела. Зять ваш предложил: пусть с дедом побудет.

— Ладно-ладно,— произнес старик примирительно.— Конечно, поезжайте, разве можно отказаться от поездки в столицу? За Атабеком я присмотрю, не волнуйтесь. Покажу я ему окрестные места. Ребенок, конечно же, в городе ничего такого не видел! Ведь нет же там Кичкирика, нет нолей, как у нас. А воздух какой! Приволье, словом.

— Только вы, пана, будьте с ним поосторожнее. Он у нас слабенький, не простудите его. Попадет мне тогда от мужа.

Не беспокойся. Все будет хорошо,— успокоил Суванкул свою дочь и долгим взглядом окинул Акташа, который играл с внуком.

Старик был счастлив.

— Ты посмотри, доченька, как они сдружились!

— Ну, я поехала, — равнодушно сказала Назира и взглянула на часы.— Надо вещи собрать. Благословите меня, папа. — Мужу я сказала, что мигом вернусь. Оставлю сына — и сразу назад...

— Хорошей вам поездки, доченька!— Старик провел ладонями по лицу.

Проводив дочь, старик вернулся домой. Атабек с собакой гонял мяч. Мальчик разругался, он весело смеялся.

— Дедушка, дедушка! Посмотрите на Акташа! Он играет со мной.

— Вот и хорошо. Значит, ты ему понравился.— Старик приблизился к нему.— Акташ детей любит. Только ты его не обижай.

— Не обижайся на меня, Акташ. Ладно?— обратился мальчик к собаке.

Старик улыбнулся.

— Ты еще многое в жизни узнаешь, Атабек. В мире очень много странного, и ко всему привыкает человек,— вздохнул Суванкул и махнул рукой,— Но давай отложим этот разговор. Завтра поедем с тобой на рыбалку. На Кичкирик. Если повезет — наловим рыбы и сварим уху. Сегодня нам с Акташем не повезло, ни одной рыбешки не попало. Теперь я спокоен: раз ты приехал, нам должно повезти, мы завтра много рыбок поймем.

— Кичкирик? А разве у речек тоже бывают имена, дедушка?

— Конечно, бывают,— обрадовался старик любознательности малыша. Подняв внука на руки, стал подробно объяснять ему:— Кичкирик — очень древняя речка. Она своей водой орошает поля. А когда тают снега, речка эта собирает всю лишнюю воду и защищает поля от наводнения. Очень нужная, полезная эта речка. Хоть и буйный у нес характер, людям она приносит добро... А прозвали ее Кичкирик, потому что быстрая она. стремительная. Ты понял теперь, Атабек?

— Акташ пойдет завтра с нами, дедушка?

— Конечно, пойдет. Обязательно пойдет. Он очень любит ходить на рыбалку. А наступит весна, мы все вместе пойдем на перепелок охотиться.

... Наступил вечер. Резко похолодало. Со стороны Кичкирика, обрамленного высокими тополями, налетели резкие, холодные ветры.

Старик лежал рядом с внуком и от радостного волнения долго не мог заснуть. Уставившись в стену, разрисованную лунными бликами.

Атабек неожиданно спросил:

— Дедушка, а вы умеете сказки рассказывать?

— В том-то и дело, сынок, что не знаю я сказок.

— Ни одной?

— Ни одной. Но если хочешь, я расскажу тебе про Капланку.

— Расскажите, дедушка.

— Ну что ж, слушай... Капланка очень любила твою бабушку. Буквально ходила по ее следам. А я в то время был сторожем в больнице. Завтра я тебе покажу эту больницу. Она хорошо видна с берега Кичкирика. Каждый вечер бабушка приносила мне в сторожку ужин.

И вот однажды...

Суванкул взглянул на внука: он спал. Поцеловав его, старик нацыпочках вышел на айван. Собака во дворе почему-то беспокоилась, жалобно поскуливала.

- Спи, Акташ. Надо хорошенько отдохнуть, завтра у нас много дел,— уговаривал старик, укладываясь спать. Перед его взором вновь всплыла давнишняя картина, которую он собирался поведать внуку: однажды, когда его Отинхон чуточку прихворнула, Капланка появилась у него в сторожке, бережно неся в зубах узелок с едой. Старик глубоко и горестно вздохнул.

На вершине горы Актаг, возвышавшейся над Ханчарбагом, собирались иссиня-черные облака. Все волновалось, казалось, в предчувствии какой-то неведомой беды. Речка Кичкирик несла тревожные воды. Из степи доносился вой беспризорных собак. Приумолкли сверчки и кузнечики. Акташ не спал, он тоже волновался. Словно чувствуя надвигающуюся катастрофу, он то на веранду взбирался, то к калитке бежал и вновь возвращался. Вот заглянул он в комнату и увидел лицо спящего хозяина, освещенное призрачным лунным светом. Беспокойно спал старик, время от времени просыпался, укрывал свернувшегося калачиком и мерно посапывавшего внука, и снова погружался в сон.

Акташ спустился во двор. Издалека слышались жалобное блеяние овец и лай встревоженных собак. Акташ присоединился к этому хору. Рядом в соседнем дворе раздался истошный ослиный рев. Акташ, залившись громким лаем, помчался на веранду.

Старик накинул на себя чапан и вышел во двор.

— Что с гобой случилось, Акташ? Ты чего лаешь?

Весь вид пса выражал тревогу. И смутное чувство вины перед хозяином: в самом деле, не дает уснуть старику.

Но Суванкул ничего не мог понять, не заметил он тревожного состояния своего верного друга.

— Хватит, Акташ. Перестань выть, прикрикнул он.— Иди сейчас же на место.

Не погладив, как обычно, собаку, старик вернулся в дом. Акташ обиженно поплелся к конуре.

... Стало светать. Суванкул снова проснулся от истощного воя. Казалось, сам воздух напоен опасностью. От предчувствия беды гулко стучало сердце. Картина, которую он увидел, как только открыл глаза, потрясла его: схватив мальчика зубами за рубашонку, Акташ тащил его из комнаты к двери. Атабек пронзительно кричал, старику показалось, будто все проваливается в бездонную пропасть. Он вскочил на ноги и истошно закричал:

— Акташ! Не трогай ребенка!.. Не трогай! Ты слышишь меня?..

Но тот с ребенком бросился к выходу, следом выскочил из комнаты старик. На мгновение остановившись, он вернулся, сорвал со стены ружье, дрожащими руками загнал патрон и снова выбежал. «Неужели взбесился пес? Нет, этого не может быть,— пронеслось в голове.— Впрочем, наверное, так и есть взбесился.

— Акташ! Отпусти ребенка. Застрелю, отпусти ребенка!

Акташ между тем волок мальчика все дальше от дома.

Суванкул бежал за ним, словно в беспамятстве, догнал и выстрелил в упор.

Акташ медленно осел.

И в мертвой, разом наступившей тишине раздался страшный гул, потом грохот, земля вздыбилась, ходуном заходила. Домик старика на глазах рассыпался. Отовсюду неслись вопли обезумевших от страха людей, крики о помощи.

— Землетрясение! Боже мой! Аллах милосердный!.. — Суванкул, как в бреду, твердил слова молитвы. А опомнившись, крикнул:— Акташ! Акташ! Мой милый, верный друг! Что же я наделал!—Старик опустил перед ним на колени.

...В тот день на берегу шумно катившего свои быстрые воды Кичкирика вырос маленький холмик. Над ним скорбно стояли в миг постаревший согбенный старик и малыш...

Это был самый тяжкий — после смерти жены — день в его жизни.

Вспомнилось старику, как подходил тогда к нему Акташ, тыкался носом в колени — но чем он мог помочь бедному безутешному хозяину своему? Вспомнилось— и еще горше стало на душе...

Нортухта Клычев

ОПОРА

Поведай о себе, кто ты?

Рауф Парфи

— Аяджан, позвольте привести завтра вашу невестку!— Фарман глядел на мать со страхом и надеждой. Прийти ей, аяджан?

Матушка Пошша медленно обвела взглядом четверых своих взрослых детей. Трое застыли возле нее, настороженно-враждебно уставились на брага. Да и у самой вертятся на языке злые, колючие слова... О аллах, что теперь будет?! На глаза невольно навернулись слезы. Семья, мир ее, прежде огромный, как небо, стал теперь тесным. Неужто распадется, разлетится все, словно тополевы пух под порывом шального ветра?! Как вынести это?!

О аллах милосердный, за что ты караешь ее? Разве мало того, что хвори да злые недуги исподволь точат неможное ее тело? Видно, мало, коль обрушил ты еще столько бед и невзгод на несчастную ее голову... Ах, забыть бы все, махнуть безразлично рукой! Закрывать бы глаза, улететь в отчий край... Уехать... А свекровь? Как она, бедная, останется тут одна, без нее? Нет-нет. и думать нечего! Но как же ей быть? Как отыскать то, что сделает их всех снова крепкой и дружной семьей?

Не зря Фарман именно сейчас пришел, именно сейчас опять начал упрашивать. Все они нынче здесь в родном доме вся семья собрались возле матери. Сам Фарман, старший брат его Бахрам и сестры Барно и Диловар — одна самая старшая, другая самая младшая в семье. Вот они, все тут, окружили ее, Пошшу-ая. ждут, что ответит она в этот раз.

Как упрашивал он, умолял в скорбный день похорон! И потом, когда поминали отца — на седьмой день, на двадцатый... Не тронули слезы и мольбы ни ее, ни Барно, ни Бахрама. «Ни за что!»— так сказали они, так сказала она.

Завтра сороковины — главный день поминальный. Что ж ответить ему?

Матушка Пошша смахнула слезинку с ресниц. Словно не в силах сносить больше упорного, требовательного, молящего взгляда сына, опустила голову. Тяжкий вздох прозвучал в тишине.

Диво дивное — умер старик ее, Гаджи Давлят, и как будто рухнуло

все. Опустело, осиротело родное гнездо. Видно, он-то и придавал ему крепость и жизнь - или не догадывалась она о том раньше? Нет, догадывалась, знала, но не чувствовала этого с такой силою, как сейчас, когда нет уж его. С каждым днем, отделяющим час, когда покинул ее старик этот мир, ушел той дорогой, которой не возвращаются,— с каждым днем все тесней для нее просторный дом. все больше похож на немую могилу. Оттого, знать, и тяжело так, оттого и не может она найти себе места, мечется, как верблюжонок, потерявший свою мать-верблюдицу, не знает, куда деться от бесконечной боли, от сжигающего сердце огня.

Снова вспомнилось ей, как боролся со смертью неугомонный Таджики Давлят восемь месяцев кряду боролся!— но не выдержал, сдался костлявой.

Вот уж сорок дней завтра, как плачет она — и все не может выплакать свое горе, смириться с утратой. Лучше бы последовать ей за умершим — но трудно, ох, трудно живому пойти той дорогой.

...Что же ответить все-таки сыну, сыночку, кровинушке? Вот он стоит перед нею и ждет материнского приговора. Страх и надежда смешиваются во взгляде. Что ей делать? Она будто меж двух огней. Сказать, что отцовское слово свято и не смеет она нарушить его? Отринуть невестку... а с нею и сына? Как знать?.. Кто поручится ей, что уже завтра, после сороковин, или после годового плова не разлетятся, не разбегутся ее дети в разные стороны, не позабудут святые узы родства? В наше время так легко распадаются они! Кто поручится? Фарман, не выдержав напряжения, пошевелился, заерзал на курпаче.

— Так можно, мама, я с нею приду?— сглотнув слюну, спросил хрипло.

Матушка Пошша осторожно взяла пиалу с давно уж остывшим, подернувшимся пленкой чаем, поднесла к пересохшим губам, подержала. Но так и не выпила, медленно поставила обратно.

— Фарманджан, сынок, милый!— произнесла она с тяжким вздохом.— Ну неужто не мог ты, не спрашивая нас, не обращая внимания на наши слова, сам привести жену в день, когда выносили табут? С плачем, слезами, с горестным криком «Отец!» переступила бы она порог нашего дома — и разве кто осмелился бы прогнать ее?

— Я! Я бы осмелился,— выпалил вдруг Бахрам, нахмутив густые брови.— Не впустил бы ее! И никогда не впущу!

— И я!— Барно вскинула голову, сверкнули ее глаза:— Пусть

попробует, погляжу, как она войдет!

— Младшая, Диловар, — молча налила пиалу чая, протянула Фарману. Он благодарно посмотрел ей в глаза и, словно не услышал слов старших, обратился к матери, сказал, волнуясь:

— Мама, вы тогда уже выгнали со двора одну мусульманку. Неужели с невесткой своей поступили бы так же?

— Молчи, дивона! — сразу вспыхнул Бахрам, — Совсем спятил, наверно?

— Он давно свихнулся, — буркнула хмуро Барно. — Из-за него отец и скончался раньше времени, все переживал за своего баловня!

Мама правильно тогда поступила, Фарман-ака, — тихо сказала Диловар, — И я гоже выгнала бы. И вы, я знаю, так же бы сделали. Кровь прихлынула к лицу Фармана.

Да, все равно... Правду сказала сестренка. Поделом досталось тогда соседке. Прогнала ее матушка как собаку, с позором, хоть и упрашивала та, умоляла простить. Ох и зрелище было! Ну и дела в этом мире — одни зрелища! Зре-ли-ща!..

В тот вечер, когда вся их семья горько рыдала, оплакивая покойника, в соседнем дворе взревели вдруг карнаи, залились в веселой свадебной песне сурнаи, зазвенели, зарокотали бубны — да так, что в семи махаллях было слышно... Они все даже плакать перестали, застыли на месте, потрясенные.

Что ж это, аллах всемогущий?! Где это слыхано? И это — соседи?! Вот она, истинная цена человеческим отношениям! Коротка, видно, намять на доброе у людей, велика и черна их неблагодарность!

И разве не матушка Пошша, еще в давние, голодные и холодные годы, выручала своих соседей, делилась последним?

Да и потом — ведь соседи вечно были в нужде — не она ли носила их сыну совсем еще хорошую одежду Бахрама и Фармана? Тому самому сыну, что сейчас веселится, облаченный в дорогой жениховский чапан?

О аллах, как ты смотришь на это?!

Где священный обычай, где хваленое уважение к чужому горю? Сосед, почтенный старик, опора семьи, лежит бездыханный пред грозным ликом вечности — а у них пир горой! Свадьба!

Как только матушка Пошша пережила тогда все это?! Обезумев от обиды и горя, она изо всех сил била себя в грудь, взывала к небесам, просила себе смерти.

Свадьба гремела, заглушая ее вопли.

К соседям отправился старший, убеленный уже сединой Бахрам — просить, чтоб не будоражили криком и музыкой всю округу.

Вернулся Бахрам как побитый. Соседка заявила, что женит сына раз в жизни, не как некоторые, и что бы ни случилось, она не может, не хочет порушить веселье — у ее сына и невестки должна быть самая лучшая свадьба.

До самого утра развеселая свадебная «Охай боли», исполняемая во всю мочь наемными певцами и музыкантами, сливалась с горьким плачем и стенаниями матушки Пошши.

Когда поутру во дворе Таджи Давлята собрался народ отдать усопшему последнюю дань, появилась и соседка. Громко плача, подбежала к застывшей от возмущения матушке Пошше, проворно склонилась, прижала к глазам подол ее платья, принялась соболезовать:

Ой-ой, матушка, лишились мы своего отца-покровителя! Лучше б сами умерли вместо него... Не обижайтесь на нас, матушка...

Пусть умрет твоя матушка!— яростно сверкнула глазами опомнившаяся Пошша-ая и рванула из рук ее свой подол.— Да простит мне создатель — не будет тебе милосердия, пока живу я на этом свете! Вон со двора, бесстыжая!

Ой, матушка, простите нас. глупых.— взвыла перепуганная соседка.— Мы не хотели... не думали... слишком поздно узнали... невозможно было отменить. Простите, простите нас, матушка!

— Аллах простит! Уйди, не мозоль тут глаза!— Пошша-ая резко повернулась, приказала Бахраму:— Проводи эту... бесстыжую за ворота. И мужа ее сюда не пускай. Найдутся и без него люди, не оставят носилки с телом твоего отца на земле!

...Фарман сидел багровый, не смея поднять глаза.

Матушка Пошша тихонько всхлипывала, вновь переживая тот день.

«Ах, сынок, сынок,— шептала она про себя, горько покачивая головой,— Разве ж можно то сравнивать? Жена твоя — сама по себе, но ты-то не чужой ведь нам. Фарманджан! Не оторвать от сердца дитя свое... Привел бы ты ее тогда — и я, и брат твой, и сестра волей-неволей смирились бы с судьбой. Может, и обиду свою уже забыли бы. А теперь — поздно, сынок! И соседку тут ты не вовремя вспомнил. Не вовремя».

Матушка Пошша вдруг перестала раскачиваться, выпрямилась, грозно глянула на сына.

— Послушай-ка. Фарманджан!— с силой проговорила она.— Если ты когда-нибудь ответишь на приветствие тех подлых, бездушных

людей или сам поздороваешься, не будет тебе отпущения грехов ни на том, ни на этом свете! И еще знай, что даже в такой горестный день хватило у этой проклятой твары подлости упрекнуть, что ты дважды женился! Спроси у брага, если мне не веришь...

— Простите, мама, не подумав напомнил о ней... сорвалось с языка... покаянно бормотал Фарман.

— «Сорвалось»! — передразнила взбешенная Барно. — Ты что, маленький? Слышал ведь, как они издевались над нами до самого утра!

Фарман исподлобья взглянул на сестру. Да помнит он. все помнит! Сам эту соседку видеть с тех пор не может. А заговорил о ней... Надеялся. мать скажет: «Они нам чужие совсем, а твоя жена все-таки родная, сынок! Приводи». Не сказала... Хоть отец и простил их, его и вторую его жену. А мать вот как и не смогла, не захотела преодолеть враждебности к его Надире. Может, из-за того, что у нее был ребенок?

Чужой ребенок?

Господи, да сколько же можно?! Ведь сказал же отец перед смертью: «Прощаю!» Правда... сказать-то сказал, а вот понять — он. любимый отец! — так и не захотел. А ведь была же у Фармана причина, и веская причина, чтоб не жить больше с постылой женой, предательницей семьи. И отец его, мудрый, справедливый отец, знал об этом.

Перед глазами словно живой встал отец как тогда, два с половиною года назад, во время их мучительной ссоры.

«Что есть у меня, кроме уважения людей, которое заслужил я всей своей честной жизнью? внушительно говорил отец. Я не раз повторял уж тебе — отступись! Не позорь отца! Ты подумай, сорок пять лет почти, как я начал трудиться, и ни разу за эти годы мое имя не было предметом пересудов. Каково будет мне услышать теперь, на склоне дней, что сын Таджи Давлята бросил законную жену, связался с какой-то соломенной вдовушкой? Прошу тебя, сынок, выбрось из головы эту вертихвостку! Так я говорю, мать?»

«Ох, приворожила его эта чертовка, вскружила голову! — запричитала Пошша-ая. — Никакие молитвы не помогают! Я уж ему, отец, и так и этак внушала, сил моих больше нет. Чтоб у нее глаза ослепли! Ну, скажи же, сыночек, скажи отцу, что забудешь ее!»

«Отец, вы же мудрый человек, почему не хотите понять меня? Не могу я больше жить с этой предательницей! Ведь она всех нас обманывала, тайно таскала записки Дили Равшану, и ей — от него! Это же самое что ни на есть подлое сводничество!»

«Оставь в покое сестру и Равшана, забудь! Мы простили их, простили и невестку — прости и ты».

«Чего же ты хочешь? Чтобы дочурка твоя, наша внучка, мыкалась по чужим людям, а ты в это время будешь ту, вне закона рожденную, лелеять?! Не бывать тому! Не надейся, мы не выгоним твою жену на улицу. Она вместе с дочкой останется здесь!»

«Ну, что ж... Тогда знайте — ноги моей больше не будет в этом доме!»

«Неблагодарный! Опомнись, покайся сейчас же!»

«Я не мальчик, отец. Мое слово твердо».

«Так убирайся! Вон из моего дома!.. Нет, стой! Подожди... Запомни — уйдешь сейчас, ворота закроются за тобою навеки! Жив я буду или мертв — больше ты сюда не войдешь. Все. Жена твоя останется с нами. Выбери!».

Два с половиной года не решался Фарман приблизиться к родному очагу. Жена вскоре, забрав с собой дочку, ушла от свекра со свекровью, навсегда покинула дом. Где они, Фарман не знал.

Потом пришла эта горькая весть отец в больнице, в тяжелом состоянии. Фарман сник. К дому он по-прежнему подойти боялся. Старшие сестра с братом, отвернувшись от него по примеру родителей, не пустили бы... Только Диловар иногда потихоньку встречалась с ним, рассказывала об отце.

Узнав от нее, что отцу стало хуже, он решил пойти в больницу.

В коридоре наткнулся на родных. Испугался, хотел незаметно просмыгнуть в палату. Его заметили, не пустили, сердитым шепотом велели убираться. Лица у всех были скорбные, напряженные. Мать плакала. Потом Барно все-таки сжалилась, накинув халат, прошла в палату и вскоре вышла. Отводя глаза, сказала:

— Завтра зайдешь.

Фарман, еле сдерживая слезы, медленно пошел к выходу.

Наутро, захватив тщательно укутанную баночку с приготовленным Надирой куриным бульоном, он снова отправился в больницу.

У дверей палаты стоял Бахрам с красными от бессонницы глазами.

Сказал, что отцу совсем плохо, предстоит операция. Банку с бульоном забрал, обещал передать. Но к отцу его так и не пустил, сказал — волноваться нельзя.

После операции отец вроде бы начал поправляться. Теперь Фармана, наконец, пускали к нему, но ни одного слова от отца он так и не

добился. Обрадованные улучшением его здоровья, родные уже не находились безотлучно возле больного. Все были уверены, что отец скоро выйдет из больницы. Один Фарман теперь дневал и ночевал у его постели, словно предчувствовал беду.

Однажды, после полудня, руки отца вдруг зашевелились, пальцы заскребли одеяло. Все тело забила дрожь. Перепуганный Фарман подался к нему. Беспомощный, жалкий взгляд отца впервые остановился налицо сына. Губы, казалось, силились что-то сказать. Каким-то судорожным жестом он поманил к себе Фармана, показал головой — подними. Фарман осторожно обхватил исхудавшие плечи, начал приподнимать. Вдруг отец невнятно прохрипел какие-то слова — то ли «теперь уже поздно», то ли «теперь уже прощаю», — Фарман не мог бы с уверенностью сказать что. Потом все кончилось, кончилось на его глазах.

Фарман долго не мог поверить в случившееся — все произошло так быстро. Бережно опустил он ставшее вдруг тяжелым тело отца, со страхом вгляделся, пытаясь отыскать признаки жизни. Отец не шевелился. Грудь Фармана пронзила боль. Ему вдруг захотелось, чтобы небо рухнуло прямо ему на голову, раздавило, уничтожило... Судорожно всхлипнув, он наконец опомнился.

Дверь тихонько открылась, вошел зять, Равшан. Фарман зарыдал, кинулся ему на грудь.

— Равшан, Равшан,— бормотал он сквозь слезы,— отец что-то сказал перед смертью... я не понял... Как узнать?.. Поздно, теперь уже поздно... Ах, Равшан!

— Он сказал? Это же замечательно! Он простил тебя, простил, не сомневайся! Конечно: «Теперь уже прощаю»! Слава богу...

Ах, если бы он сам был как же уверен в этом! Или... все-таки простил отец своего непутевого сына?

Отец... так и ушел ты, до самого смертного часа не желая понять родного сына, плоть и кровь свою. А он сам-то, Фарман? Он разве простил? Так ли уж велика была вина жены? Он ведь тоже ничего не желал понимать. Почему? Почему так трудно людям понять друг друга? Вот и отец, такой мудрый, добрый, родной — только в самый последний свой миг нашел в себе силы простить... Господи, почему он не сделал этого раньше? Как теперь рассказать о его прощении, чтобы поверили, подобно Равшану, и тоже простили?

...Если б еще не эта свадьба в вечер перед похоронами! Это было

последней каплей. Как Фарман ни просил, как ни унижался перед родными все напрасно. И мать, и Барно, и Бахрам только приходили во все большую ярость.

— Вздумаешь привести, так и знай, ноги ей переломаю!— отрубил Бахрам.

— Ты теперь и мать допечь хочешь?— закричала Барно и начала царапать себе лицо.— Нет! Нет! Не бывать этой ведьме на нашем дворе!

Но Фарман не унимался. Снова и снова приходил, упрашивал родных, терпел унижения, но так и не добился успеха. На каждые поминки — на седьмой, на двадцатый день — приносил огромные блюда с казы, самсой и богурсаками, приготовленными Надирой, политыми ее слезами,— а ее привести не мог.

Теперь — все! Если и завтра, на сороковины, не получит Надира позволения прийти в дом его родителей,— он уйдет навсегда. Никогда больше не отворит он двери родного дома. Еще раз, последний, попробует он переломить упрямство родных, раскроет перед ними душу и хватит. Не согласятся — все. конец!

Сам испугавшись злости, с которой он это подумал, Фарман почти простонал:

— Мама, ну что ж вы молчите?! Ведь вы знаете, отец перед смертью простил мне вину!

Пошша-ая не откликнулась. Она сидела, печально покачивая головой, устремив взор на сложенные на коленях руки. Вместо нее ответила Барно:

— Вот что, братец,— тихо и зло сказала сестра,— нечего наседать на нас! Не делай сам себя лишним в этом дворе.

Фарман замер. Это что же хочет сказать сестра - что они его выгонят, что ли? А ведь она, пожалуй, осмелится. И ничего не поделаешь — самая старшая в семье, после матери, конечно. И к тому же всегда отца слушалась. Л мать молчит.

— Прошу вас, подождите, апа, с трудом выдавил он сразу севшим голосом. Повернулся опять к матери, вздохнул поглубже, превозмогая волнение, проговорил резче, чем следовало: Последний раз спрашиваю — прийти или нет вашей невестке?

Наступила гнетущая тишина.

Пошша-ая все не поднимала головы. Мысли ее неслись стремительно... Что ответить? Как поступить? Нарушить священную волю покойного? То ли простил муж Фармана, то ли нет — этого же никто не

слышал. А ей он сказал ясно: «Не пускать на порог эту стриженую!» Это все слышали. И еще одно сказал это слышали только она и Барно... Ох, нет, лучше забыть про это, не дай бог Фарману сказать! Он и без того весь извелся. Жалко его... Но если возьмет она на себя грех, нарушит завещание мужа не взбунтуются ли остальные ее дети? О аллах, что же делать, чтобы родные души снова зажили в мире и согласии?!

— Ты перестанешь, наконец, изводить мать?!—заговорил, ощерясь. Бахрам.— Запомни, если и удастся тебе ее сломить, все равно — мы не пустим в дом твою жену!

Фарман, вздрогнув, резко взмахнул рукой, словно отменяя брата.

— Да не вмешивайтесь вы! крикнул с досадой.

— Что-о-о?! От гнева глаза Бахрама чуть не вылезли из орбит.— Это ты со мной так?! Не будет по-твоему! Не будет!

— Бахрам-ака. ну зачем вы гак. примирительно заговорила Диловар.— Разве жена брага нам враг? Ну, пусть она, бедняжка, придет.

— Наш отец умер из-за нее! - резко перебил Бахрам.— А ты сиди, помалкивай, тоже не ангел!

Диловар вспыхнула, спрятала лицо в ладонях. Она знала, в ранней смерти отца была доля и ее вины. Горько было сознавать это, ведь отцу едва за шестьдесят перевалило разве это возраст для мужчины!

И вот теперь Бахрам всколыхнул, взбудоражил таившуюся в глубине души муку.

— Вы, ака, лучше бы своей жене скомандовали!— Фарман тоже закусил удила.— А то она бродит у вас где-то, как бесхозная...

— Ах, ты...— заскрипел зубами Бахрам. Да я тебя сейчас..— Он вскочил.

Перестаньте, перестаньте!— замахала руками очнувшаяся Пошша-ая. Сядь, Бахрам! А ты... Как тебе не стыдно говорить такое брату?

— А что он говорит...— буркнул Фарман.— Слышали же...

— Хватит!— Пошша-ая в тоске прикрыла рукой глаза. Братья ведь, родные братья!

Она отняла руку, печально посмотрела на Бахрама. Старший сын сидел поникший, весь сгорбленный. Стало жалко его до слез. С мгновенной болью подумалось: а нет ли в уходе невестки доли и ее вины? Она должна была удерживать ее, поговорить, заставить остаться промолчала. Не захотела заискивать перед одуревшей от жадности женщиной. О аллах, аллах, разве много ей нужно — сама одной ногой уже в могиле. Хотела прожить остаток дней, неустанно поминая доро-

гого Таджи Давлята,— так нет! Конный пешему не товарищ, не может чужой человек испытать твоей боли. В тяжелую минуту ушла из дому невестка, обиделась, о-о-ох! Теперь еще говорят, отомстить замышляет.

...Это случилось на второй или третий день после похорон — матушка Пошша точно не помнила. Проводив очередных гостей, вся будто опустошенная, Пошша-ая бесцельно ходила по дому. Забрела за чем-то в бывший кабинет Таджи Давлята — и тут же забыла за чем, застыла на середине комнаты, тоскливо озираясь.

В кресле расположился Равшан, читал что-то. Увидев ее, оторвался от книги, спросил ласково:

— Что вы, мама?

Пошша-ая, будто опомнившись, встрепенулась, медленно подошла к письменному столу, выдвинула средний ящик — просто так. Сверкнули золотые часы с цепочкой. Вспомнилось: покойный старик приберегал их ко дню рождения Равшана, собирался подарить. Она вздохнула — какой уж теперь день рожденья... Вот если б жив был ее старик, праздник бы устроил! Зятю сорок лет исполняется... как раз на третий день после сороковин... Не до праздника теперь... А как он хотел! Да и она тоже. Полюбили они в конце концов своего зятя, хоть и не сразу смирились с тем, что разведенный.

— Равшан, сынок...— матушка Пошша подошла к вновь углубившемуся в книгу зятю, осторожно неся на ладони часы.— Возьми, это тебе он хотел...— Голос ее прервался.

Равшан приподнялся, взглянул.

— О-о, какие чудесные!—протянул с восхищением.— Спасибо, мама, но... такой дорогой подарок... не вызовет ли зависти, пересудов?

— Да что ты, какие могут быть пересуды! Он же для тебя приготовил, бери, сынок, не раздумывай: память!

— Ну, раз так... Спасибо вам!

— Не мне— ему!— Матушка Пошша всхлипнула, вытерла кончиком платка глаза.— Был бы жив, сам вручил бы тебе эти часы в день рождения. Теперь вот... Носи, пусть они принесут тебе счастье, сынок.

В этот момент и появилась в комнате старшая невестка. Увидела блестящие в руках Равшана часы, подбежала:

— Что это, матушка?

— А-а, так, пустяки, невестушка. Старые часы отцовские. Велел Равшану отдать.

— Да а а...

В этом протяжном «да-а а» было и восхищение, и зависть, и обида. Матушка Пошша тогда не придавала значения тону невестки. Как выяснилось зря. Она поняла это тем же вечером.

Пошша ая легла спать раньше обычного — очень уж утомилась за день. Едва сомкнула глаза, как проснулась от шума. Раздался хлесткий звук пощечины, чей-то пронзительный вскрик. Матушка Пошша приподнялась на постели, прислушалась — и остолбенела, не веря ушам.

— Бейте, убивайте!— визжала невестка.— Надоело! Не могу больше!

— Уймись, бессовестная!— глухо рявкнул голос Бахрама.

— Почему это я должна молчать? И не подумаю! В этом доме я как служанка, волосами подметаю, руки — вместо кочерги. А что я имею, кроме работы да гроих детей? Молчите? Нет, вы скажите, ответьте! Вам, я гляжу, и горя мало! Не успели тело отца земле предать, как ваша мать его имущество стала раздавать! Любимой дочке да зятюку ненаглядному!

— Отдала значит, так надо!

— Уйду-у!— Вопль невестки разнесся по всему дому.

— Ну и убирайся! заревел Бахрам.

— Ах, так? Хорошо!— Невестка сразу прекратила выть, но говорила по-прежнему громко. Но знайте: я напишу куда следует. Пусть выяснят, откуда взялись те несметные богатства, что остались после вашего отца. Так и знайте!

«Ах, бесстыдница! матушка Пошша застонала беззвучно.—Ах, змея! Да как она может такое...»

Вне себя от обиды и горя, она с головой завернулась в одеяло, чтобы спрятаться, не слышать больше голоса подлой невестки.

Когда через некоторое время, едва не задохнувшись, матушка Пошша высунула голову из-под одеяла, все было тихо. Свет повсюду погас, не просачивался уже под двери. В полном мраке лежала несчастная Пошша-ая, так и не заснула в ту ночь, промучилась до рассвета.

Утром за чаем Бахрам как бы между прочим хмуро сообщил, что жена ушла погостить к родителям.

Матушка Пошша сделала вид, будто не знает ни о чем. закивала в ответ: Вот и правильно, хорошо вы придумали, пусть отдохнет. А то с ног сбилась, бедная. Столько людей приходит помянуть отца нашего.

Пусть, пусть отдохнет, у отца матери потешится.

...Вот уже две недели, как от невестки ни слуху ни духу. Когда вернется никто не знает.

А что, если и завтра она не появится это ж позору не оберешься!

Сороковины, такой день, все соберутся, а старшей невестки нету. Что родственники и соседи подумают! Нет, надо послать за ней, обязательно послать.

Она снова посмотрела на насупленного старшего сына. Нелегко ему, бедному. А тут еще Фарман — она перевела взгляд на младшего. произнесла сурово:

— Твоя невестка не бродит где попало, как ты думаешь. Она у своих родителей, завтра придет.

— Дай-то бог! — с сомнением протянул Фарман и вдруг добавил быстро:— И Надира тоже придет, хорошо?

— Ох, Фарманджан, сынок, что же ты меня мучаешь? Даже если и простил тебя отец, нам он этого не сказал. А насчет жены твоей завещал твердо. Зачем теперь спорить об этом?

— Мама,— Диловар тихонько дотронулась до ее руки,— пусть приводит Фарман ака Надиру, разрешите, мама. Она придет, посидит незаметно и уйдет, а? А вы отвернетесь, если хотите, будто и не видите.

— Что болтаешь, Дили! прикрикнула Барно. Думай, что говоришь! Видно, тоже с ума сошла...

Фарман словно сквозь сон слышал резкий голос сестры. Глаза его были неотрывно устремлены на мать.

— Аяджан...— начал он и запнулся было, но потом договорил все-таки дрожащим голосом: Отец ведь не говорил и о том, что протает поступок Дили, однако...

Диловар опять вспыхнула, горько взглянула на брата. Но, поняв, в каком он отчаянном положении, тут же простила всем сердцем утопающий хватается за соломинку. Пусть же говорит, ладно,— подумала она. жалея брата,— лишь бы помогло...»

— Слыхала, заступница? - язвительно ввернула Барно.— Так-то тебя братец любит!

А матушка Пошша вновь вспомнила то, что, казалось, давно уже кануло в прошлое, позабыто. Но разве такое забудешь?

Как они со стариком уговаривали тогда младшую дочь, умоляли... «Выбери хоть нищего, мы его султаном примем. Только отрекись от своего безалаберного художника. Не отдадим мы тебя за человека,

который развелся со своей женой». Но Диловар, младшая, самая дорогая сердцу, любимица отца, стояла на своем. Не отец. Фарман отколотил тогда сестру, крича, что хочет она свести отца в могилу,— а сам... Ох, упрямые у нее дети, гордые ни за что от своего не отступятся! Уж на что Диловар была ласковой всегда и послушной — а вот уперлась же тогда ..

Старик ее тогда где то в отдаленном районе работал, навещал семью изредка, раза два в месяц. В один из приездов прослышал о шашнях дочери — чуть с ума не сошел! Рычал в бешенстве: «Неужели родная дочь сделает то, что никому еще не удавалось, согнуться заставит мок» голову?! Позор! Позор на мои седины!»

Ему пришлось уехать — работа не могла ждать. Уезжая, приказал жене запереть Диловар в комнате, никуда не пускать, даже на учебу дочь десятый класс кончала. Матушка Пошша так и поступила. Несколько дней ходила к дочери, часами возле нее просиживала, увещевала, пугала, плакала. Диловар молчала. Наконец, истощив все силы, Пошша-ая позвала Фармана, особенно злившегося на сестру. Привела его в комнату к Диловар, сказала печально, но твердо: «Побей ее, только бы забыла она имя своего проклятого ухажера».

Через десять дней примчался из своей глубинки отец. Первым делом, не заходя в дом, спросил о Диловар. Матушка Пошша вывела дочь во двор. Посмотрел отец на свою измученную, исхудавшую, всю в кровоподтеках любимицу вздохнул, покачал головой:

- Ох, дочка, дочка... Тяжко тебе? Ну не противься, оставь ты своего олуха!

Упрямо молчавшая до сих пор Диловар тут не выдержала, зарыдала, рухнула перед отцом на колени:

— Отец, родной, лучше убейте меня!— кричала она, обнимая его ноги.

Неужели ты хочешь отцовского позора, доченька?— с горьким укором спросил он.

Диловар молчала, всхлипывая.

— Что это у тебя?— спросил отец, только сейчас заметив в руке у дочери какую-то бумажку.

— П-письмо... письмо, отец! От него. Прочитайте,— она протянула листок.

— Вот как? Откуда же оно попало к тебе? Интересно... Давай-ка сюда, давай... посмотрим! Хорошо... хорошо... А что у тебя в той руке?

Диловар молча, покорно раскрыла ладонь. На ладони лежал маленький матовый флакон.

— Та-а-к... значит? Ну что ж... Действуй, дочка, действуй...— И, отвернувшись, нетвердыми шагами Гаджи Давлят направился к дому.

Когда, чуть погода, матушка Пошша вошла к нему с чайником и пиалой, старик сидел, обхватив руками голову и раскачиваясь из стороны в сторону.

— А-а, это ты...— глухо сказал он. Смахнул со стола в выдвижной ящик письмо, помедлил:— Ты вот что. мать... Сходи сейчас же к дочке, скажи: я... согласен.

— Да как же...

— Хватит болтать, иди!-- закричал он. багровея, и уже когда Пошша-ая выходила, добавил жестко: Но потом, скажи, пусть не ходят в мой дом, как... как назойливые мухи!

...Правду говорят, что человек от горя тает, как свеча. Вот и ее старик. Мог бы жить да жить, но не вынесла душа горестей, позора, унижений. Не выдержало, разорвалось источенное сердце. Дорого ему та история стоила, хоть и смирился потом, принял зятя, полюбил даже, как и она, Пошша-ая.

Да-а, что ни говори, а простил ведь отец дочку и зятя! Может, и тут... Но почему, почему он, ее Фарман, так жесток к сестре? Она вот не помнит зла, единственная из всех просит за него, поддерживает. Или от обид и страданий стал он таким озлобленным?

— Зря ты вспомнил вину сестры, сынок,— задумчиво начала матушка Пошша.— Ее ведь отец простил. Будь иначе, разве стал бы устраивать для нее свадьбу? А ты...— Пошша-ая вновь надолго замолчала, уйдя в свои думы.

Фарман ждал, все еще надеясь. Когда молчание затянулось, он понял, что не дожидается от матери заветного слова. Он вскочил, заговорил, задыхаясь:

— Ладно... ладно! Будь по-вашему, Надира не придет в этот двор. Никогда! Но у меня есть откормленный баран, я хотел его зарезать, когда отец выпишется из больницы... Голос Фармана прервался. Медленно обведя взглядом настороженно внимавших ему родных, он продолжал: Завтра, после поминок здесь, у вас. начнутся поминки у меня, на квартире, которук» я снимаю. В полдень. Придете?

Матушка Пошша резко откинулась назад, растерянно глядя на сына. Лицо ее сморщилось, словно она собиралась заплакать.

— Нет! Не придем! I пенно хмуря брови, ответил за всех Бахрам. Слезы закипели на ресницах Фармана. Как на последнюю надежду, посмотрел он на Диловар:

— И ты... не придешь?

— Я приду, ласково произнесла Диловар и, чуть помедлив, добавила: - То есть, мы придем. Равшан и я.

— Вот твоя разлюбезная сестричка пусть с мужем и идет! яростно прошипела Барно. А нас не дождешься... И знай: отец перед смертью запретил тебя даже к носилкам погребальным подпускать! Не хотела я тебе этого говорить, жалела, но теперь...

— Барно! — умоляюще вскрикнула Пошша-ая.— Замолчи сейчас же! Не слушай, сынок, отец простил тебя потом, я знаю...

— Пусть братец знает меру! — не успокаивалась Барно. Нечего ему тревожить дух отца! Надо же. придумал — устраивать поминки по родному отцу на какой то наемной квартире... Смешно прямо!

— Так не придете? Не придете, значит?

— Нет, сынок. Пошша ая вздохнула, покачала головой. Не смогу я.

Внезапно зарыдав, Фарчап опрометью выскочил из дома.

Громко хлопнули ворота.

На несколько мгновений все застыли, со страхом глядя вслед ему. Матушка Пошша засуетилась, вскочила, подбежала к Бахраму:

— Бахрам, сыночек, пойди за ним. пойди! Как бы беды какой не наворил.

— Еще чего! — вскинулась сразу Барно. Ничего с ним не будет.

Сестра... Мамочка! горько взмолилась Диловар. Пусть пойдет...

— Молчи, глупая! — резко бросила Барно.

Пошша ая, прикусив губу, печально посмотрела на нее, потом перевела взгляд на сына. Бахрам потоптался минуту, махнул рукой и пошел к воротам.

Матушка Пошша облегченно вздохнула, вытерла глаза уголком платка.

— Мама, не надо так переживать,— сказала Барно. Скажите лучше, что мы подарим завтра отин ойи? Я принесла четыре метра бархата. Может, его?

— Не знаю, дочка... не знаю. — Пошша ая все не могла отрешиться от дум, как примирить ее непокорных детей. Можно и бархат... Я пойду, пожалуй, вдруг засобиралась она. Надо бабушку проведать...

Она принялась суетливо убирать с хантахты пиалы и чайник.

Приготовила гостинец поднос с черным сладким виноградом, положила сверху две свежие лепешки.

— Я недавно кормила ее, мама,— сказала Диловар.— Там, у бабушки, Равшан сейчас сидит.

Матушка Пошша, ничего не ответив на это, торопливо вышла из дома.

Во дворе, в тени виноградных лоз, сидели с десяток стариков. Неспешно беседуя, они резали лук и морковь для завтрашнего поминального плова. В дальнем конце повар с помощниками устраивали огромные казаны.

«Придет завтра много людей,— печально подумала Пошша-ая, будут поминать старика, говорить о нем добрые слова... Потом двор опустеет... Ох, только бы не совсем!»

Вновь кольнуло беспокойство: как быть со старшей невесткой? Неужели не придет в такой день?

«Вот и Фарман ушел,— мелькнула мысль.— Может, навсегда?»

— Мать, я велел нарезать еще черного кучкара,— перебил ее мысли голос старшего зятя, мужа Барно.— Народу уйма приедет, из Туркестана, даже из Каракалпакии. Надо рису побольше заложить. Лучше пусть останется,— верно?

— Правильно сделали...— Матушка Пошша подошла поближе к зятю, понизила голос:— Тешаджан, пожалуйста, поезжайте чуть попозже за Назирой на вашей машине. Только Бахраму не говорите.

— Как прикажете,— откликнулся Теша. Л если она не захочет?

— Вы уж постарайтесь, уговорите ее... Скажите, пусть хозяйничает...

После разговора с зятем на душе стало поспокойнее. Ах, если бы еще с Фарманом решить, да так, чтобы и старших не обидеть... Вдруг матушка Пошша даже остановилась — спасительная мысль пришла к ней.

Вот что она сделает: завтра рано поутру разбудит детей и Барно, и Бахрама, и Диловар. Скажет: приснился ей сон. («Если б уснуть еще!»— подумала матушка Пошша при этом.) Явился, мол, к ней ночью отец и сказал: «Почему не пускаете в мой дом Надиру? Простил ведь я и ее, и Фармана! Вставай,— будто сказал он ей,— вставай и приведи сама на мой поминальный пир младшую невестку! Не медли!»

И потом все вместе они направятся к Фарману. И вернуться домой уже с ним и с Надирой. Да простит ей аллах эту маленькую хитрость!

Как же быть, коль без этого никак не удастся соединить вместе сердца этих упрямых детей? Не сделает она так, не схитрит разве удастся ей дожить свои дни в покое, готовясь к свиданию с мужем в непрестанных думах о нем? Был он, старик ее, главной опорой их дома. Вырвали опору — едва не рухнуло все. Да почти уже и рухнуло. Отчий кров не может стоять без опоры. Что ж — настал теперь ее черед. Станет теперь она этой опорой, взвалит на себя бремя забот, сохранит семью.

Пусть для этого придется пойти на обман, нарушить святость заветов. Пусть! Она согласна взять на себя смертный грех! Лишь бы дети ее помирились...

Матушка Пошша сама не заметила, как дошла до домика свекрови. Открыла дверь — и невольно замерла на пороге.

Ее свекровь, маленькая, усохшая от времени старушка, сидела у хантахты. Концы большого платка, наброшенного на плечи, крест-накрест спускались ей на грудь. В руке, коричневой, истончившейся, перевитой узловатыми вздувшимися венами, она держала чуть надкусанное темно-красное яблоко. Перед ней в деревянной рамке стоял портрет сына, горела свеча в старом подсвечнике.

Возле окна — Равшан, растрепанный, вдохновенный, стоит перед подрамником. Остро вглядываясь время от времени в неподвижно застывшую старушку, он наносит кистью мазок за мазком.

— Ну, хватит!— увидев вошедшую Пошшу-ая, старушка с неожиданным проворством вскочила, положила на стол яблоко, засемила к двери.

— Невестушка дорогая, а что же вы одна, без моего милого Гаджи?— весело улыбаясь, лепетала старушка. Где он спрятался?

Матушка Пошша едва не выронила поднос с виноградом. Кое-как донесла его до хантахты, поставила и, с трудом подавив рыдания, прижала к груди свекровь.

Равшан задумчиво смотрел на них, положив кисть.

Маматкул Хазраткулов

ГРОЗА

Шел проливной дождь, и на улицах райцентра было совсем пустынно. Проезжавшие время от времени машины веером разбрызгивали в стороны дождевые потоки, текущие по мостовой.

Искандар вышел с заседания бюро как неживой. Никогда прежде он не испытывал подобного состояния: его знобило, во всем теле чувствовалась такая тяжесть, будто на него взвалили носилки с землей, будто не осталось сил передвигать ноги в хромовых сапогах.

Он кое-как спустился по мраморным ступенькам и пока дошел до машины, стоявшей у обочины, промок до нитки. Но он не заметил этого, в голове вертелись разные мысли: Отчего так получилось? За что секретарь устроил мне такой разнос? Да еще на бюро, при всем честном народе? Почему?

Он машинально открыл дверцу и плюхнулся на заднее сидение «Волги». Впервые видевший раиса в таком состоянии. Борибай оторопел.

— Куда теперь?

— В могилу!

Борибай обернулся и взглянул на раиса

— Чего глаза таращишь? Поезжай!

— К Назакатхон?

— Заткнись! — прикрикнул раис. Догадливый какой! Домой поезжай...

Лучи от фар пронзали темноту, словно кинжалы. Раис молчал, только время от времени тяжело вздыхал. Он никак не мог отогнать от себя навязчивые, точно мухи, мысли, все доканывался по-своему до причин столь резкой критики на его счет, но так и не мог найти сколько-нибудь толкового обоснования.

«Нет, неспроста устроил разнос секретарь. Под этим что-то кроется. Определенно это чьи то козни, кто-то, видать, наговорил ему вся кого вранья. Ну, запоздали с севом хлопчатника, но разве это моя вина? И ведь не нарочно отложил сев! Мне тоже хотелось посеять вовремя. А гут небеса как будто прохудились, дождь лупит не пере ставая, что же мы могли поделать то?! В таких вопросах Кадыр Сабирович был молодцом. Понимал. Да, он был другим человеком.

А что эти понимают? Разве они сами занимаются земледелием? Да будь ты хоть академиком, но если не знаешь земледелия, трудно тогда. Ну, посеяли на несколько дней позже, но ведь от этого небо не упадет на землю! Все равно посеем, куда же мы денемся. Раньше, позже, какая разница. Лишь бы удачно. Недаром говорят: цыплят но осени считают. Видали мы много таких, которым лишь бы отрапортовать поскорее. А потом пересевают по несколько раз. Сколько на это требуется лишних семян, иным своих не хватало, так они у соседей в долг брали. Не говоря уже о дополнительном труде, лишних хлопотах... А когда приходит пора цыплят-то считать, сникнут, словно дынные плети, у которых черви корни погрызли, и пикнуть не смеют...» Раис закурил сигарету. Немного успокоился.

— Послушай, Борибай,— он навалился грудью на спинку переднего сидения, мы уже много лет работаем вместе. У меня нет от тебя никаких тайн. Вот скажи, если бы я вдруг ни за что ни про что осрамил тебя перед всеми, что б ты тогда сделал?

Борибай теперь понял состояние раиса. «Да, значит, всыпали на бюро. Стало быть, нашлись и посильнее тебя. А ты ведь всем твердил, будто не родился еще такой человек, который бы смог одолеть тебя. По пустякам обижал людей. Значит, все-таки нашелся и такой, кто обломал тебе рога?! Если бы был вот у этой машины язык, пусть бы она рассказала, сколько раз ты бранил меня. Деликатность именуют трусостью...» Но Борибай и на этот раз не смог переступить границу деликатности. Он не высказал того, что накопилось у него в душе. «Ему и так досталось, а лежачего не бьют, как водится, не мужское это дело».

— Не знаю, раис-бува. только и ответил он.

Раис снова вскипел:

— Эй, что ты за человек? На все у тебя один ответ: «Не знаю». А что ты вообще-то знаешь?! Сказал бы хоть что-нибудь, в конце-то концов.

Борибая не разозлили эти слова раиса, напротив, захотелось рассмеяться. Но он не засмеялся. «Видать, здорово ему досталось». Он задумался. Взор его был прикован к освещаемой желтоватым светом фар ухабистой дороге. Дождь лил как из ведра, колеса машины то и дело попадали в рытвины.

— Сказать правду, а, ране бува?—после долгой паузы произнес Борибай.

— Ну? Говори...

— Если бы кто обругал меня ни за что ни про что, вогнал бы в

краску, я больше никогда не взглянул бы в лицо этому человеку.

Раис выбросил окуроч сигареты в окно и откинулся на спинку сидения. «Вот ловкач. Похоже, он смекнул, в чем дело».

— Однако в делах житейских нелегко мыслить по твоему. Бывают такие моменты, что хоть ты и знаешь что ни в чем не повинен, а не можешь и слова сказать человеку, который критикует тебя, не можешь доказать свою правоту. Нервничаешь, злишься в душе, а взглянуть ему в глаза, возразить не можешь. Понимаешь, ука?

— А почему так, раис-бува? — задал ему наводящий вопрос Борибай.

— Кто знает. Может, люди за себя боятся...

— Ну уж нет! Люди не за себя боятся, а за свои чины да кресла. Правда, не все такие. Вот, к примеру, я. Кого мне бояться или что можно отнять у меня? Ну, заберут у меня эту машину, дадут другую, а не дадут, остается еще кетмень. А уж кетмень отнять у меня никто не сможет.

Раис выслушал слова шофера серьезно:

— Только с кетменем сегодня далеко не уедешь.

Борибай рассмеялся:

— Эх, раис-бува, а куда нам ехать? Что бы мы ни делали, как бы ни жили, все одно, кетменем все и кончится... Без него никак не обойтись.

Раис почувствовал раздражение. Он давно знал Борибая, однако даже не подозревал о таком его красноречии. В сущности, он ведь никогда, ни разу за все эти годы и не поговорил с шофером искренно, что называется, по душам. Искандар сейчас впервые ощутил это и пожалел, что вообще затеял разговор.

— Ну, ты силен. проговорил он с едкой издевкой.— Такие вещи знал, оказывается, а от меня скрывал.

Борибай понял издевку раиса.

— Как говорят: правдивое слово и родному не понравится, шофер оглянулся на раиса.

— Что-то язык у тебя длинным становится, а, Борибай?! Не знал я...

Слова эти разозлили Борибая. Он еще крепче сжал руль суховатыми, мускулистыми руками, ерзнул на сидении.

— Вам легко: если слова мои вам по душе, то будь они хоть враньем, вы похвалите, а не понравятся, бранитесь, ругаете... А такие, как я...

— Хватит! Сыт я по горло такими, как ты, неблагодарный! Я доверил тебе руль такой отличной машины. Не достоин ты ее!

— Да что вы меня пугаете! Довольно уже. Когда бы у вас

настроение не испортилось, гнев свой на мне срываете. Что я вам игрушка, что ли? Наверное, решили: подумаешь, арбакеш какой-то, хочю — браню, а что он может поделатъ! — он распался все больше. Хотел сдержатся, но какое-то внутреннее негодование, камнем давившее сердце, рвалось наружу. — Нет, это не так! Раз пришло время, то скажу: хватит вам надо мной измыватся. Довольно! Не могу больше терпеть. У меня нет ни богатств, запрятанных в мешке, ни детей, которые остались бы сиротами. А посему я никого и ничего не боюсь.

Раис уставился в затылок Борибая так, словно хотел проглотить его. «Что, этот замухрышка хочет напугать меня, или все это просто словеса? Может, до него дошли райкомовские слухи?! Ну и ну! Вот этот пацан, который еще сопли как следует не научился вытирать, перечит мне! Да за кого он меня принимает? Мне даже в райкоме не перечили! Ну, высказался секретарь. Не беда, он человек новый, меня хорошенько не знает. Постепенно узнает. Если еще раз будет так важничать, я-то уж знаю, как ему ответить. Приручу, словно бедану, он и сам не заметит. Со скольких атаманов, пытавшихся схватиться со мной, я посбивал спесь».

— Ты эти свои высокопарные разговоры брось, мальчик. Ты, слушаем, не слыхал о том, как воробей, вознамерившийся стать ровней аисту, был разорван на куски?!

Борибай не смог сдержатся:

— А я к вам в ровни и не набиваюсь. Вы ведь раис, а я про стой шофер. Я это знаю. Только я вам не слуга. Вы это тоже знайте!

— Заткнись! — крикнул Искандар. Кто позволил тебе прорекатся со мной?! Язык твой...

Борибай не дослушал слова раиса до конца. Он резко тормознул, выключил мотор, выдернул ключ и швырнул его раису:

— Возьмите свой подарок! - Его черные круглые глаза расширились, бледные щеки побледнели еще больше. Что... я для в вас по смехи-ще?.. Командовать... будете другими... А меня... увольте.

Борибай выскочил из машины и с силой захлопнул дверцу. Не обращая внимания на проливной дождь и непрерывные раскаты грома, он быстро Пошел прочь. В свете невыключенных фар раис отчетливо видел, как он пару раз чуть не упал, попадая ногой в колдобины, а затем исчез в темноте...

Раис растерялся. Ему и во сне не снилось, что Борибай может выкинуть такое. Ведь сколько раз прежде случались такие перебранки. Самое большее Борибай злился, обижался, но пожимал плечами и про-

должал работать. «Почему же он сегодня так сделал? Откуда появилась в нем эта смелость? Или кто подучил?.. Стало быть, все таил в душе, удобный момент поджидал. Да, сопляк, самое подходящее время выбрал».

Чтобы успокоиться, раис снова закурил сигарету. А дождь лил все сильнее. Он внимательно посмотрел по сторонам Темень! Вдруг ярко сверкнула молния. Раис невольно взглянул в сторону Соколиного утеса, возвышающегося над Дурным оврагом. И ему почудилось, будто громадный утес рухнул от мощного раската грома. «Проклятье! Вез-вез, чтобы здесь бросить?!» Раис заскрежетал зубами от злости. Если бы сейчас его шофер оказался перед ним он бы волком растер зал его. «О боже, ну кто тебя заставлял лезть на рожон? Не лучше ли было бы поддержать меня, дурак? И тогда все бы у тебя было в порядке. А с такой позицией всего можешь лишиться Да после такого фокуса, который ты выкинул, каждый дал бы тебе коленом под зад и велел бы сматывать удочки... И совести твоей, и чести грош цена... Ты ведь еще младенец с нераскрывшимися глазами! Как будто по небу ходишь. Ну, погоди, я сам спущу тебя на землю. Вот тогда-то раскроются твои слепые глаза...»

Дождь все усиливался, мутные потоки заливали дорогу, доверху наполнили арыки. Раис то и дело поглядывал в сторону Соколиного утеса. Из Дурного оврага слышалось какое-то завывание. Раиса стало знобить, по телу забегали мурашки. От страха ли, от холода ли он и сам не знал. Его взбесило то, что в этот темный дождливый вечер он оказался бессильным против какого-то сопляка. Страшно захотелось кинуться вслед за Борибаем, догнать его, избить как следует. «Пока не проучу его... Стой, Искандар! Что ты несешь? Кого это ты побьешь? Ты собираешься драться с пацаном, который тебе в сыновья годится? Нет. Этот наглец ни перед чем не остановится. Он ведь и сдачи может дать... Как же ты тогда выглядеть будешь? Прослышит кто, и поползут сплетни. Ему-то все равно. Даже напротив, еще хвастать станет. Дескать, он раиса побил».

Вот о чем думал раис. У него не хватало сил сдвинуться с места, открыть дверцу машины, а точнее, он не мог на это решиться. Он сидел, съевшись, с наброшенным на плечи плащом и уныло глядел на дорогу, освещенную все более тускнеющим светом фар. Над Соколиным утесом снова грохнул мощный раскат грома. Ему показалось, будто от неба откололся кусок и рухнул наземь.

Гром, молния, проливной дождь ширили тревогу в душе раиса, и он еще больше съежился...

Фары совсем погасли. Дождь глухо барабанил по крыше машины, в двух шагах не видно было ни зги...

Надыр Норматов

ПОЖАР

Трое пробирались в зарослях арчи.

— Да где же она, эта пещера, Ахмед?— спросил рослый парень своего спутника. Спутник шел впереди.— Или мы заблудились?

— Нет. Идем верно.

— А до пещеры далеко?

— Нет. Немного осталось. Вот та скала, видишь? Пещера там.

— А кроме тебя, ее никто не знает?— вмешался в разговор третий человек, утирая вспотевшее лицо рукавом халата.

— Никто. Знал только дед Сафар, мы с ним здесь овец пасли. А как больше никто из нашего кишлака не знает эту пещеру. Но дед Сафар в прошлом году умер.

— И правильно сделал!— небрежно бросил рослый Чары, перекинув винтовку на другое плечо.

— Ну, зачем ты так говоришь... Разве он стал бы на нас доносить?— сердито обернулся к нему Ахмед.

— В наши дни каждый думает только о себе...— буркнул Чары.

После этих слов все трое пошли молча. Несмотря на то, что они старались идти как можно осторожнее, мерный скрип гравия все-таки выдавал их. Обойдя валун, они увидели пещеру, вход в которую почти зарос плющом.

— Вот она!— сказал Ахмед, переводя дыхание. Он обернулся на мгновение к своим спутникам и решительно начал пробираться внутрь. Спутники последовали за ним.

Внутри пещеры мерцал неясный свет — это светились какие-то камни. Ахмед сел, прислонившись головой к стене пещеры — голова болела нестерпимо. Двое его спутников сразу свалились на землю. Через некоторое время и он растянулся на мягком песке, но в спину ему уперлось что-то твердое. Он поднял этот предмет и рассмотрел кость джейрана. Сразу захотелось есть. Но он, зная безвыходность своего положения, снова лег. И хотя на душе Ахмеда было тревожно, усталость сморила его, и он уснул.

Он проснулся от холода. Спутники его еще спали, один храпел. Ахмед встал и начал собирать в дальних уголках пещеры сухие корни. Достал из-за пояса кремень, с силой ударил несколько раз. Но у него

ничего не получилось. Руки уже онемели от напряжения, но искры гасли, и огонь не разгорался. Наконец, последним усилием ему удалось высечь такую искру, что огонь затеплился... Но быстро стал угасать. Ахмед наклонился над ним, раздувая что было силы, но все-таки корешки прогорели и костра не получалось. Ползком он стал пробираться к выходу, чтобы принести немного хвороста.

Чары проснулся, быстро схватил винтовку и клацнул затвором:

— Э, кто это?

— Это я, Ахмед. Я иду за хворостом.

Чары невнятно пробормотал что-то и снова лег, натянув на голову свой халат.

Выйдя из пещеры, Ахмед всем телом ощутил влажный холодок осени и вздрогнул. Он глубоко вздохнул, вобрав в широкую грудь чистый горный воздух, и вышел из-за валуна, закрывавшего пещеру.

Тьма кромешная окутала мир, откуда-то доносился волчий вой. Он направился в сторону арчовой рощи и вдруг замер... Что это? Проблески костра!

Ахмед спрятался за камень и, не огрываясь, стал вглядываться в ту сторону. Он сразу понял, что это красные, которые их преследовали.

Потом осторожно вышел и направился к арчовой роще в низине, к тому месту, где, он помнил, должен быть родник. И оттуда с опаской стал следить за красными.

Почему-то огонь разгорался все ярче, увеличивался и расплзался. Пожар?.. Загорелся уже весь кустарник... Наверно, кто-то из красных неосторожно разжег костер. Зарево подымалось все выше. Между арчовой рощей и горевшим кустарником еще была поляна, заросшая сухой травой... Арчовая роща стоит тут сотни лет. Если сгорит роща — засохнут все родники в кишлаках этого горного ущелья! Потому что роща собирает влагу тающих снегов и питает эти родники... Это Ахмед хорошо знал. Он родился тут.

Поднявшись во весь рост, он кинулся к пещере, торопливо раздёрнул плющ, просунул голову в темное отверстие и, задыхаясь, стал звать своих спутников:

— Чары! Селим!..

Внутри никто не шелохнулся.

— Ча-ры-и! Се лим!— закричал Ахмед. Каменные своды гулко отозвались...

— Что? Что случилось?— сдавленным голосом спросил Чары,

подползая к выходу.

— Пожар! Скорее, Чары, пожар!

Больше он ничего не мог выговорить, только показывал рукой в сторону низины.

Чары вылез, оставил винтовку у входа в пещеру и, обойдя валун, посмотрел вниз.

Да это же красные!— испуганно произнес он и бросился назад.

Ахмед кинулся за ним.

— Чары, но это ведь пожар, понимаешь?— голос его срывался.— Ты понимаешь, его же надо тушить!

— Ты что, свихнулся? Там же красные!— скрипнул зубами Чары.

Наконец Ахмед понял, что ни Чары, ни Селим тушить пожар не станут. Он дрожал, словно его била лихорадка, и вдруг решительно схватил винтовку, которую Чары прислонил у выхода из пещеры.

— Ты что, и в самом деле хочешь туда идти?— удивился Селим.

— Пусть катится!— усмехнулся Чары. Он еще не верил тому, что Ахмед действительно пойдет туда. Пусть! Им будет на чем зажарить его!

Ахмед молчал. Они не уговаривали его.

Наконец, вскинув винтовку на плечо, Ахмед повернулся и побежал вниз. Сучья рвали его халат, царапали руки. Он споткнулся, упал, уронил винтовку, но быстро поднял ее и мгновение постоял, озираясь в каком-то оцепенении. Провел рукой по лицу и кинулся туда, где разгоралось зарево.

Добежав до поляны, он увидел, что красные мечутся в разные стороны. Ахмед остановился, притаился за арчей. «Но они же застрелят меня!»— опомнился он и пополз назад. Оглянувшись, увидел, что пожар ползет следом. И уже захватывает кусты на краю поляны. Ахмед поднялся, секунду постоял в замешательстве и вдруг, не задумываясь больше ни о чем, поднял вверх руки и кинулся к огню.

— Э-эй!— крикнул он. Свой голос он не узнал. Крик был сдавленный и какой-то чужой.

Красные увидели человека, который бежал к ним с поднятыми вверх руками.

— Пожар надо тушить отсюда, сверху!— снова закричал Ахмед.

Трое направились к нему.

— Ты чего?— спросил его косоглазый парень, осторожно приблизившись к нему.

— Сверху... Я говорю, что пожар надо тушить сверху! Да скорее же!— махнул рукой Ахмед в сторону поляны и, уже не дожидаясь ответа, бросился туда.

Начался мелкий дождик. Кустарник горел с треском, разбрызгивая искры, дым ел глаза.

Чтобы пожар не перекинулся на арчовую рощу, в середине поляны нужно было выскрести, выкопать черную полосу. Ахмед понял это еще у пещеры. Добежав, он начал прикладом винтовки соскребать сухую траву на середине поляны. Несколько красноармейцев догнали его. Но видя, с какой страстью этот басмач пытается уничтожить сухую траву и оголить землю, сами принялись ему помогать. Двое встали с винтовками на изготовку.

Небо светлело, озарялось, возвещая приближение утра. Над ущельем медленно клубился дым. Занятые спешным делом, люди не разговаривали. Ветра не было, накрапывал дождь, и от этого огонь расплзался медленно. Они оголили уже целую полосу, когда Ахмед взглянул в сторону арчовой рощи. Попытался незаметно отойти к ней, будто и там надо уничтожить траву... Но один из тех, кто караулил с винтовкой, сразу крикнул:

— Эй, ты куда?

«Ну, вот и все,— устало подумал Ахмед.— Вот и все...»

— Давай, пошли!— приказал тот, кто караулил его.

Ахмед взял свою винтовку за ремень.

— А винтовку дай сюда,— сказал старый красноармеец с усами.

Насупившись, Ахмед не послушался и закинул винтовку за плечо. Кто то протянул к ней руку, но Ахмед, резко повернувшись, глянул на него исподлобья. Весь его вид говорил им: «Я же пришел сюда сам, зачем же вы так?» Но винтовку все-таки решительно отобрали. Они повели его вниз. В начале ущелья у ручья были привязаны кони. А возле них стояли еще несколько человек.

— Товарищ командир!— обратился косоглазый красноармеец к человеку со шрамом на лице.— Вот этот...

- Можешь не докладывать. Я видел все сам,— перебил его человек со шрамом.— Верните ему винтовку.

Ахмед взял свою винтовку. Не отрываясь, смотрел на человека со шрамом. «Сейчас будут пытаться,— подумал он.— Но... хотя зачем же тогда они отдали мне винтовку? Нет, наверно, сначала спросят, где все остальные... Но я не скажу ни слова, я не выдам, где они прячутся ».

И все-таки человек со шрамом действительно стал расспрашивать о его спутниках.

— Я был один!— отрубил Ахмед.

— Ну врешь ведь! влез косоглазый парень.— Каххар-ака, их было трое!

— Не хочешь отвечать? Ну ладно. А сам-то ты откуда?

— Я?— удивился Ахмед. И вдруг показал на растянувшиеся по ту сторону ущелья горы.— Я из кишлака Зарабаг.

— Из Зарабага? А это большой кишлак?

— Да нет, небольшой.

— Небольшой, говоришь? А что ты там делаешь?

— Пасу стадо.

— А когда же ты с ними-то... ну, когда ты к ним присоединился?

— Две недели назад.

Каххар ака внимательно посмотрел на Ахмеда и покачал головой. И вдруг повернулся и отошел в сторону, к группе красноармейцев, которые стояли у арчи. О чем-то поговорив, опять вернулся к Ахмеду.

— А куда ты собираешься теперь?

— Я?— опять удивился Ахмед.— Куда я собираюсь?

— Ну да. Если мы отпустим тебя, куда ты пойдешь?

— В свой кишлак, конечно. Куда же мне? У меня там мать, сестра...— нахмурил брови Ахмед.

— Ну хорошо. Тогда оставь нам твою винтовку. Теперь ведь тебе она не понадобится,— сказал Каххар-ака и протянул руку.

Ахмед отдал винтовку.

— А теперь можешь идти.

Ахмед ему не поверил. Он наклонился, не спеша поправил свою обувь .. Выпрямился и медленно пошел вперед. «Сейчас застрелит в спину»,— подумал он и вытер глаза рукавом халата. Колени дрожали, ноги плохо слушались его. Но он все шел и не оборачивался назад. Хотелось присесть, хотя бы на этот голый камень, и минуту отдохнуть, но он все шел и шел...

Красные остались далеко позади, а за ручейком начиналась уже арчовая роща. Ручеек был такой мелкий, что по нему можно было идти, как по горной тропинке. Он подошел к ручью, наклонился и начал умываться. И когда лица его коснулась прохладная вода, Ахмед вдруг поверил, наконец, что его не убьют. Он глубоко вздохнул и обернулся в сторону, откуда пришел, где сейчас стояли красные.

В эту секунду грянул выстрел. Ахмеду показалось, что под лопатку ему всадили нож. Со всего размаха. Он оглянулся в сторону арчовой рощи. И хотя голова у Ахмеда уже закружилась, его зоркие глаза успели уловить рослую фигуру Чары. Чары перезаряжал винтовку...

Алим Атаханов

НЕСКОНЧАЕМЫЕ УЛИЦЫ

Похоже, ты ищешь кончик нити в клубке и, не находя, раздражаешься, злишься на весь белый свет; все люди вокруг кажутся тебе неискренними, их слова и улыбки — лживыми. Тебе постоянно хочется одиночества, и ты стремишься к уединению. Прежде ты не замечал за собой такого. И только, начиная с нынешнего лета... хотя не исключено, что и раньше, просто ты не обращал на это внимания. Впрочем, что теперь за резон уточнять сроки!

Подозрения!

Муки твои и страдания не от того, что у тебя нет доказательств и не от того, что вера твоя основательно подорвана, они скорей от осознания того, что сейчас у тебя не достанет сил с корнем вырвать сомнения. И все же иногда страсть как хочется размотать клубок, чтобы выйти к началу.

Ты понимаешь: для того, чтобы нарушить сладостно-безмятежную жизнь человека, изуродовать ее до неузнаваемости, достаточно посеять в душе семена недоверия и подозрительности; и пусть тогда его сердце обливается кровью, синим пламенем горит, обращаясь в пепел, душа — никто ничего не заметит.

Сомнения не сразу накладывают на человека свои когтистые лапы.

Они поначалу ставят печать на глазах, лишая их задорного, живительного блеска, гася уверенность во взгляде, и человек начинает верить сплетням и наговорам; потом сомнения опутывают его душу и в ключья рвут веру, в ней живущую. Человек начинает подозревать каждого, ища особый смысл в словах и поступках знакомых и незнакомых людей, беспомощно барахтается, все более запутываясь в сомнениях, и, наконец, принимается вить гнездо из их вязкой паутины, обрекая себя на гибель.

Ему не ведомо, когда червь сомнения закопошится в сердце; однажды он обнаружит, почувствует его, но будет поздно, ибо ядом давно уже отравлены и кровь, и плоть.

Едва этот червь приходит в движение, человек перестает доверять даже своим родным и близким, отныне в любой неприятности он готов обвинить кого угодно, но только не себя...

Что было главным в твоей жизни?

Еще три-четыре месяца назад тебя немало бы подивил такой вопрос. Стоит ли ломать над этим голову? Заниматься подобной чепуховиной?

Как человек у реки не думает о жажде и не благодарит всякий раз судьбу за целые и невредимые руки-ноги, за ровное и спокойное биение сердца, так и ты принимал как должное свою семью, в которой ты был по-настоящему счастлив. Но если бы тебя спросили, что все же главное в твоей жизни, ты бы без колебаний ответил: любовь!

А между тем...

Любовь была для тебя босоногой, гибкой, как лоза, девчонкой, бегущей, позабыв обо всем на свете, по бережку над крутым обрывом; потом она воплотилась в детях, страстных желаниях и даже в мелких неурядицах, и не было уже в ней ничего от потрясенной девушки, плачущей навзрыд в ночь, когда хлестал за окнами ливень, теряющей сознание от внезапно нахлынувшего счастья,— нет! И от пылающей стыдливым румянцем невесты, нетерпеливо ожидающей тебя за свадебным пологом — видением твоих отроческих грез,— тоже; любовь— твоя жизнь, твой повседневный быт.

Тебе не хочется верить, потому что ты любишь ее, и она всегда казалась такой благодарной за то, что связала с тобой свою судьбу, и не только подозрения, но даже сама их возможность выглядят нелепо, если не кощунственно.

Ты вспоминаешь, как возвращался домой поздними вечерами, и она словно бы с укором глядела на тебя с порога; тогда в избытке нахлынувших чувств ты легко отрывал ее от пола и прижимал к груди.

Во имя тех мгновений тебе не хочется верить, у тебя нет сил поверить!

И оттого все так обрыдло, и сердцу неуютно в груди. Но разве скажешь ей об этом? Разве спросишь?..

Манзура, когда ты открыла дверцу машины и села рядом, красивая, благоухающая, мое сердце тревожно заколотилось. Но я не выдал своего волнения.

— Опаздываешь,— заметил я как бы невзначай.

— Да так получилось, задержали,— ответила ты, украдкой оглянувшись.

— Всегда тебя кто-то задерживает.

В твоих изумленных глазах, Манзура, застыл немой вопрос, но я молчал, и ты, тронув кончиком пальца родинку над губой, грустно

улыбнулась:

— Вас никогда не поймешь...

Я вел машину на малой скорости, по ветровому стеклу стучали косые капли дождя. Ты, наверно, помнишь, Манзура, как моросил дождь и встречные огни переливались вместе с каплями, помнишь?

Дорогой ты попросила остановить машину голосовавшему человеку.

Помнишь, Манзура, как ты вздрогнула от резкого властного голоса нашего случайного попутчика? Тогда же я пожалел, что послушал тебя, чувствуя, как ты вся напряглась, чтобы не оглянуться на этого коренастого мужчину, носатого и широколобого, с твердым пронизывающим взглядом.

Я повернул ключ в замке зажигания и неожиданно услышал твое решительное: «Домой!»

«Интересно, будь он на моем месте, находишься ты, Манзура, у него в машине, такими же были бы твоя улыбка и брови, капризно нахмуренные, совсем как у ребенка?»

Нет, Манзура, меня нетрудно понять, ты-то понимала, мы очень хорошо понимали друг друга. Помнишь, Манзура, как у тебя закружилась голова, когда ты полила двор, как дышала и не могла надышаться запахом свежей земли. А я, Манзура, не хотел уступить тебя ни земле, ни небу.

— Ну, поехали?

Мне показалось, что ты сердиться.

Я почувствовал перемену в твоём настроении, но не мелькнувшая усталость в твоём взгляде подсказала мне это, а та задумчивость, с которой ты смотрела на тронутые желтизной деревья вдоль дороги. В последнее время ты почему-то часто впадаешь в меланхолию, а я, как ни стараюсь, не могу понять, почему?

— Тормозни-ка, шеф.

Манзура, помнишь, как ты смутилась, когда, пытаясь всучить мне деньги, он нечаянно задел твое плечо? И хотя я отказался от денег, все равно почувствовал себя в его глазах презренным «леваком», сущим ничтожеством.

А ты помнишь, Манзура, каким тоном он проговорил: «Спасибо,

браток»?

Когда наш случайный попутчик вышел, мы оба задумались о нем и дожде, который не утихал. Так мне по крайней мере казалось. «Почему ты печальна, Манзура?»— спросили тебя мои глаза. «Я и сама не пойму, что со мной происходит,— ответила ты задумчивым взглядом.— Ты заметил: пришла осень. Жизнь проходит. И это, наверно, нельзя измерить сменой времен года, это становится понятней, когда человек открывает для себя что-то новое, о чем прежде не догадывался, чего прежде не ощущал».

— Заедем за Ильхамом?— спросил я, прерывая неловкое молчание.

— Как хочешь,— ответила ты, и мне показалось, Манзура, что твои глаза радостно заблестели, как у человека, который вдруг увидел того, кого он долго и с нетерпением ждал.

Я быстро заглянул в зеркальце заднего вида, но не заметил ничего заслуживающего внимания. Лишь стайка ребятишек весело шагала по тротуару, а за ними следом, виляя хвостиком, бежала мохнатая собачонка.

Я повернул на площадь Чорсу. Отсюда брали начало милые сердцу улочки, которые всегда вызывали во мне щемящее чувство канувшего в Лету детства.

Кто, если не мы, провел здесь свои лучшие годы, вволю гоняя резиновый мячик и катаясь по траве, пока не возвращались с работы наши родители и не загоняли нас по домам, кто лежал, задрав голову, и наблюдал за гаснущими, как светлячки, звездами, кто давал клятвы верности у ласково журчащего арыка, который раньше бежал по этим улицам?!

Кто смеялся над наивной решимостью честолубивых героев фильмов и слащавых книжиц, выходивших из дому с котомкой за плечом, в которой были скудные запасы курта, кураги и орехов - а в душе непомерные притязания: завоевать город.

Кто, если не мы, собирался намять им бока, появись они на наших улицах?

Я взглянул на Манзуру.

Она думала о чем-то своем. Что значил ее задумчивый профиль, рассеянные ответы, улыбки одними уголками губ? Подобно человеку, стоящему вблизи особняка и не подозревающему о кипящих за его

прочными стенами страстях, я, живя с Манзурой, не знал, что у нее на душе и какие мысли посещают ее милую головку. Неведение это не давало покоя. Мне страстно хотелось проникнуть в ее внутренний мир, заглянуть хотя бы на минуту в ее душу. То была какая то на пасть.

Порой мне казалось, что я герой какого то рассказа, а Манзура героиня другого рассказа той же книги. Наши души, взгляды, желания, помыслы были как близки, что не было ничего несправедливей злой авторской воли, которая сделала нас героями разных повествований.

Логично ли сводить в целое два рассказа на разные темы? Объединять судьбы обоих героев? А может, эти рассказы станут органической частью, главами какого нибудь произведения? Мы же напоминали героев рассказов, напечатанных под общей обложкой, героев, живущих в разных мирах и измерениях, чьим дорогам не суждено пересечься.

Чем больше поверяла она мне свои! душу, чем обстоятельней рассказывала о своих мыслях и чувствах, тем дальше отдалялись мы друг от друга.

Я предпочитал не говорить ей об этом, как как она все равно не разделила бы моих тревог и сомнений, не захотела бы этого делать, и я был бы бессилён что-либо доказать.

Казалось, какая то неведомая сила разъединила нас, так и не позволив понять друг друга. Теперь то я знаю, что сила эта сомнение.

Как то ночью мне показалось, что Манзура ласково шепчет во сне чье-то имя. Не колеблясь, я потряс ее за плечо. Манзура испуганно открыла глаза и некоторое время лежала, не понимая, что случилось.

— В чем дело? удивленно спросила она. Почему ты не спишь? Мне показалось, будет нечестно, если я отвечу, что мне не спится.

— Ты, кажется, говорила во сне, сказал я, пристально глядя ей в глаза.

— Говорила? Мне снилось, что мы выходим из роддома, но вместо ребенка у меня в руках букет цветов. Я хочу спросить у тебя, где ребенок, а ты идешь вперед, даже не оборачиваясь. А я все зову, зову...

Тут ее заспанные глаза заволокло туманом, ресницы медленно опустились, скрыв от меня черные зрачки, в которых мне виделся отблеск ее внутреннего мира, с каждым днем все более отчуждающегося и удаляющегося от меня.

Я почувствовал себя неловко, будто заглянул в замочную скважину.

Конечно, я ошибался, думая, что сомнения сродни капканам, рас-

ставленным по пути следования. Нет, они оказались настоящей трясинной, и чем больше из нее стараешься выбраться, тем глубже она засасывает...

Ты верил ей, искренне верил. Но как знать, видно, тот, кто не любит,— верит, а любящий и рад бы, но не может. Не зря, значит, кто-то трясется над какой-нибудь старой вещицей, кто-то не может наглядеться на свое чадо, а кто-то боится хоть на миг оставить на чье-то попечение свою возлюбленную. Раньше ты верил Манзуре и, следовательно, не любил ее... столь сильно; тебе достаточно было того, что она где-то рядом. Может, всему виной твоя излишняя доверчивость?

Неужели Манзура охладела из-за того, что ты не даровал ей такой любви, которую она вынашивала в своих девичьих грезах?

Если это так, то некого винить. Нет-нет, виновник найдется, нет дыма без огня.

Во всем виноват тот... Этого бы не случилось, не орошай он ее сердца, подобно летнему дождю, утолившему жажду засыхающего сада,— благодатному и живительному. Если вообразить твои сомнения в виде Кашея Бессмертного, то гибель их — в румяном яблоке, что в руках у того человека!

Тебе отчетливо видится Манзура, которая идет под руку с этим человеком.

Они улыбаются, и можно только завидовать миру и согласию этой пары. Он плечист, решителен его взгляд и тверда походка, уверенность в себе ощутима и в том, как нежно и влюбленно смотрит он время от времени на Манзуру. Но ты сознаешь, что никогда не встретишь их вот так, как себе это воображаешь. Правда, внутренне ты готов повстречать Манзуру с этим предполагаемым типом, ты даже решил, что пройдеши мимо, словно то — не они, а очень похожая на них пара.

В принципе, ты не веришь в весь этот бред, но не веришь и тому, что это — лишь игра больного воображения. И все же тебе иногда хочется увидеть ту почти осязаемую картинку, сердце замирает в тревожном предчувствии, и ты упиваешься своей болью.

Человеческая душа не выдерживает тяжкого гнета нескончаемых подозрений. Она ищет пути избавления от них и в конечном итоге обязательно находит. У тебя появились тяга к деньгам, друзья-собутельники, ты стал привередлив к одежде, научился подбирать ключики к женским сердцам; словом, ты предался тому, что считал прежде недостойным, глупым и мелким, ты нашел себе утешение и

заполнил брешь, появившуюся в твоей жизни.

* * *

Пока Манзура разговаривала по телефону, я изо всех сил пытался не прислушиваться к ее разговору. Улыбаясь своему невидимому собеседнику, она машинально трогала ладонью тщательно уложенный локон, потом лицо ее принимало сосредоточенно-озабоченное выражение, брови красиво сходились на переносице, и она что-то переспрашивала, задавала наводящие вопросы; время от времени она глядела в мою сторону, но меня не замечала, словно я — платяной шкаф, а не человек.

Ее манера говорить, держать себя казалась слишком манерной, и мне даже приходило в голову, что она не столько общается по телефону, сколько разыгрывает какую-то непонятную мне роль. Наконец мне наскучило наблюдать за ней, я встал, подошел к окну и выглянул в приоткрытую форточку.

Город с грустью смотрел на деревья, осыпающие на землю свою пожелтевшую листву.

— Алло, алло,— говорила Манзура.— Алло... Да, вы слышите?..

Нет, нет... Ладно, пожалуйста. Конечно... я сейчас у него узнаю. Не кладите трубку...

— Можно вас,— позвала ты.

— Да, я слушаю.

— В субботу они, оказывается, заняты. Нам предлагают пойти в пятницу.

Говоря это, ты ничуть не волновалась (это было видно по твоим глазам), но почему-то покраснела.

— Скажи, что мы не сможем,— ответил я.

— Но почему?

— Машина — не моя личная собственность, к тому же мне надо покопаться в двигателе. Но ты этого не говори, скажи, что не сможем,— и все.

Ты стала объяснять что-то в трубку и покраснела еще больше. А я любовался из окна городским пейзажем.

Но вот ты окончила свои переговоры и ушла в соседнюю комнату.

Не прошло и минуты, как раздался новый звонок. Когда звонок повторился, в моей душе зародилось неясное сомнение, отчего кровь

прилила к лицу и тревожно забилося сердце.

Я осторожно снял трубку.

В трубке была гробовая тишина. Неожиданно я понял, что, сколько бы ни ждал, в ней сохранится молчание. На другом конце провода тоже ждали, не торопясь положить трубку на рычажки. На обоих концах действующей телефонной связи этого чуда, изобретенного могучей силой человеческого интеллекта, молчали два человека: один из них считал себя несчастным, ибо терял то, что имел, а другой, несмотря на обретенное, не был еще до конца счастливым.

Мне почудилось какое то шуршание, хотя на том конце и не думали подавать голоса.

В это время из комнаты вышла Манзура. Должно быть, мой вид удивил ее.

Прислонив сумку к столику с аккуратно сложенной стопкой газет и журналов, она подошла ко мне.

Тут я увидел в зеркале свое красное лицо и взбухшие на висках вены.

— Алло, алло, прохрипел я в трубку.

В ответ слышались короткие гудки.

— Ты куда то собралась? — невольно вырвалось у меня.

Твоя работа через день, а то и каждый день, была для тебя настоящей отдушиной. Тебе нравилось оставаться среди людей до самых сумерек, а то и до полуночи; человек жив человеком: с кем-то пошутить, кто то подначит тебя, а кого-то ты, еще кто-то поделится с тобой своими печальми и ты, участливо кивая, не станешь вспоминать о собственных. Если не считать тех злосчастных минут отдыха, когда, желая побыть в одиночестве, ты забираешься в одну из столовых в малолюдной части города и, перекусив на скорую руку, благодумствуешь за чайником чая. а в голову так и лезут ненавистные мысли.

К счастью, твое маршрутное такси курсирует между вузгородком и Урдой, петляя по узким улочкам Старого города. Ты едешь, минуя высокие и приземистые дома старой постройки и так раз по пятнадцать на день.

Дома эти удивительные, начиная с их окон и кончая обитателями, в общем, тебе не до скуки, наоборот, ты волнуешься, словно человек, первым открывший загадочный городок в организме огромного города; и в голове у тебя рождаются причудливые рассказы, непохожие один на другой.

Как это здорово колесить по извилистым, напоминающим кровеносные артерии улочкам, которые сбегаются к гузару, сердцу каждой махалли, переброситься по дороге парой слов со вспыльчивыми на вид, но приятными и добродушными на деле людьми, когда, припарковав свою «маршрутку» на свободном пяточке у арыка, ты заходишь в чайхану.

Безобидные шутки незнакомых людей, их доброжелательные взгляды рассеивают сомнения, пиявками присосавшиеся к твоему сердцу.

Вечером, ваяясь с ног от усталости, ты едва добредал до ванной, а потом лежал в своей комнате, пока стыл на столе ужин, и думал, почему все так происходит?

Даже названия этих улочек были какие то диковинные, ты, хотя и городской, не только не знал их, но даже и не слышал до того, как сел за руль машины, а услышав и увидев, все равно долгое время не мог сохранить их в памяти; поэтому они казались тебе странными, как названия древних мелодий. Когда какой-нибудь старик-пассажир просил высадить его на Овназире или предупреждал, что ему нужно сойти рядом с Хаджмалом, ты получал подлинное наслаждение. Это каким-то образом увязывалось с тогдашним твоим состоянием, с настроением тех дней.

Гульбад, Хонако, Овназир, Кесакурган, Чакычман, Хаджмал...

Тебе слышалась музыка в этих названиях.

Ты вспоминал, как когда-то звал Манзуру ласковыми именами, и печально улыбался.

Едва ты выезжал из вузгородка и с Овназира сворачивал налево, как тут же навстречу, словно радуясь тебе, выбегали улочки, и ты смело нырял со своей «маршруткой» в объятия тенистых садов, предвкушение ласки которых лило бальзам на твои сердечные раны. Ощущал ли ты это? Сознавал ли?

Тебя удивляла столь заметная разница в характерах, в манере общения людей, живущих не только в соседних махаллях, но и рядом, на одной улице.

Тебя разбирало любопытство, почему люди с Овназира не в пример мягким, деликатным хонакинцам вспыльчивы, грубоваты, а расторопность лангарцев, не лезущих за словом в карман, чужда инертным, флегматичным чакычманцам, компанейские же хаджмальцы любят быть щедрыми за чужой счет.

Подчас тебе казалось, что в твоей судьбе и в судьбе этих старых улиц много общего. Ты не понимал, в чем выражается эта общность, но чувствовал ее. Вообще-то тебе приходила мысль о том, что эти улицы нигде не пересекаются и напоминают ваши с Манзурой отношения.

И не случайно неведомо где начинающиеся и бог весть где оканчивающиеся улицы являли собой мир, в котором ты чувствовал себя свободно, легко, как в недалеком прошлом. В твоём новом мире, где много улиц и извилистых улочек, немудрено и заблудиться, но все-таки где-то в конце есть прямая и светлая дорога. Ее предопределенностью и сложилась география этих улиц.

Тебе, однако, казалось, что ни одна из этих воображаемых пока лишь дорог не вела к Манзуре.

Она со своими, не разгаданными тобой мыслями, не оставляла никаких надежд на взаимность.

И все же ты продолжаешь верить, что сможешь войти в таинственный и смутный мир Манзуры благодаря этому новому миру, открытому тобой. И если сердца не смогли встретиться, найти друг друга будучи под одной крышей, то, может быть, они найдут дорогу друг к другу, находясь в разных мирах?!

Вот уже целый год, как ты сознательно отдаляешься от мира, в котором живет Манзура, вот уже целый год тебя мучает жадное желание узнать, что у нее на душе, но, несмотря на это, ты продолжаешь жить в мире, состоящем из случайных попутчиков, незнакомцев, больших и малых домов, узких улиц и до сих пор не находишь не только пути, ведущего в мир Манзуры, но даже нечто отдаленно напоминающего его. Напротив, похоже, ты все больше отдаляешься от нее. Для тебя все еще неясно, что единственная причина того — в нем, завладевшим сердцем Манзуры.

Но ты, к сожалению, не в силах сказать Манзуре о своих подозрениях.

Ты должен решать свои проблемы в одиночку, без свидетелей. На то есть и другая причина: ты сам еще не разобрался, что к чему, а раз так — все твои подозрения ломаного гроша не стоят. «Не уверен — не обгоняй!»—гласит золотое правило дорожного движения, так и ты — сиди и помалкивай!

Студенты — народ слегка развязный и весьма своенравный. Удивление студента напоминает больше разочарование, а радость — ребячий восторг. Но встречаются среди них и люди замкнутые. Они заби-

ваются обычно в угол «маршрутки» и всю дорогу хмуро глядят в окно.

Я прозвал их «ныряющими стрекозами». Замкнутость и отстраненность людей такого типа вызывали у меня искреннее сочувствие. Может, под тяжестью несбыточных надежд они впали в отчаяние...

Мне хочется рассказать о них Манзуре, но я никак не соберусь с духом.

Я ведь знаю: то, что важно и интересно для меня, для нее — пустой звук. И вообще, в последнее время на лице Манзуры, словно маска, застыло выражение гнетущей тоски. Скажешь слово — ей мало, а два — уже много! Может быть... Странные, однако, посещают меня мысли. Скажем, человек вдосталь наелся деликатесов, а придя домой, видит на столе тот же набор закусок. Да разве пойдет ему кусок в горло?

Мне кажется, с Манзурой творится нечто подобное. Когда наши разговоры затягиваются, я чувствую, что ее начинает мутить от моих слов.

Интересно, о чем же говорит она с ним?!

— Я думаю, человеку во веки вечные не избавиться от страданий и горестей...

— Да, но, несмотря на это, он живет и ему не надоедает...

— С той поры, как я узнал вас, Манзура, мне непонятно, что значит быть пресыщенным жизнью или же испытывать скуку.

— В последнее время вы переходите рамки дозволенного.

— Простите, это оттого, что мне казалось, между нами не должно быть границ.

— Простите и вы меня.

— Но... На самом деле они есть, к примеру, ваш настороженный взгляд...

— Вы, удивительный человек! Поймите меня правильно...

— К чему понимать, Манзура, когда позади уже половина жизни?

К чему человеку сознавать, что он живет без надежды...

— А я мечтаю понять все-все: и себя и вас, что мучает нас обоих, и почему наши отношения принимают все больший чувственный оттенок, отдаляемся мы или становимся ближе? Эх, если б обо всем этом поведать людям, но ведь они все равно ничего не поймут, а мне хочется докопаться до сути, понять, отчего у нас все так выходит?

— Я невольно начинаю верить, что это у нас на роду написано.

— Вы читали «Даму с собачкой»?

- ?..
- *Мы напоминаем героев этого рассказа.*
- *Манзура!*
- *Не надо, оставьте! Мне будет горько.*

Ты открыл для себя, что осенние деревья бывают беззащитны, как младенцы, и, печально усмехаясь своим мыслям, осмотрел в зеркале алон.

Пассажиры сверлили нетерпеливыми взглядами твою снину, и лишь человек на заднем сиденье, типичная «ныряющая стрекоза», был безразличен к тому, когда машина тронется. Казалось, он сидел не в «маршрутке», дыша в унисон с десятью другими попутчиками, а где-нибудь у реки в зарослях камыша.

Искося взглянув на часы, ты решил помедлить еще немного, но нетерпение пассажиров нарастало, и ты автоматически нажал на педаль сцепления; с соседнего дерева испуганно вспорхнула стайка птиц, посыпались листья. Девушка в сером плаще, торопливо ступавшая по палой листве, побежала на звук заводимого мотора. Едва она вошла, тебе ударил в нос дразнящий запах дорогих духов. Машина медленно тронулась с места, ты не спешил, на душе у тебя было тихо и спокойно.

Состояние покоя не покинуло тебя и тогда, когда, высадив пассажиров, ты поехал обедать. Казалось, твое сердце способно сегодня вместить целый мир.

На стоянке ты намочил тряпку и, тщательно отжав ее, протер стекла машины, навел лоск на дверных ручках, а затем принялся драить все, что на твой взгляд нуждалось в этом. Протирая спинку заднего сидения, ты заметил на полу какие-то бумаги, но всей вероятности, оброненные кем-то из пассажиров последнего рейса. Из светло-зеленой панки выглядывали края ослепительно-белой бумаги. Усмехнувшись, ты раскрыл пайку. В ней лежала маленькая книжица Хулио Кортасара и какие-то бумаги... «Уж не документы ли это?»— подумал ты, пробегая на всякий случай глазами по верхней странице машинописного текста. Ты можешь поклясться, что у тебя не было иных намерений, будь даже эти листы из золота, они тебя не заинтересовали бы.

Но ты заметил на нолях надпись: «11 августа», и сердце твое екнуло.

11 августа день рождения Манзуры. Тебя вдруг заинтересовало это

случайное: совпадение, ты был настолько заинтригован, что достал из нанки все бумаги. Первым делом ты разложил их по порядку. Ты нашел в кипе первую страницу и вторую, затем, увидев оглавление «Нескончаемые улицы», понял, в чем дело, и, улыбнувшись... стал читать.

«В последние годы писать рассказы стало, по правде говоря, бесперспективно, о чем бы ни был твой рассказ, все равно выходит так, что кто-то, а еще не дай боже из классиков, касался до тебя этой темы, если не по форме, то по крайней мере по содержанию. Как вырваться из этих пут? С ума можно сойти, если окинуть мысленным взором генеалогию рассказа, представить все множество писателей, все напечатанные и ненапечатанные рассказы. Они составят пятый океан!

А раз так. может ли остаться нетронутой, не взятой на карандаш какая-либо тема? Ладно, оставим прошлое. А сейчас? Куда ни глянь — рассказы, какой литературный журнал ни возьми — рассказы, в альманахах, сборниках, газетах — всюду печатаются рассказы. И, кажется, нет им ни конца, ни края. Иногда думаешь: «Все, баста, зачем бесполезно толочь воду в ступе, нора завязывать, а то бог весть что возомнил о себе!» И в это время в руки тебе совершенно случайно попадает рассказ, нет, не просто хороший, а чудесный, совсем непохожий на те, что ты перечитал за долгие годы, и в сердце у тебя появляется надежда,— значит, еще не все потеряно!

Но проходит некоторое время — первое впечатление от прочитанного рассказа ослабевает, и снова на сердце давит тяжелый камень безнадежности. О, почему печатаемые рассказы похожи друг на друга, как две капли воды?!

Ты помнишь, кик мы отмечали твой день рождения. Манзура? Внезапно хлынул ливень, и гости, спасаясь от дождя, вбежали на айван, это был первый дождь за все лето, его ждали три месяца. Гости говорили, что к добру, но когда они ушли, Манзура, ты заплакала. Какую безысходность навеивает этот рассказ!

Ты вспоминаешь Фуэнтеса. Кортасара, и на душе скребут кошки, словно кто-то возьмет и спросит: сумеешь ли ты написать что-либо подобное, способен ли ты на такое? И чтобы успокоить себя, а вернее, обмануть, тебе не остается ничего лучшего, чем блуждать в дебрях теоретизирований.

Но все равно тебе кажется, что те же Фуэнтес и Кортасар заглядывают в укромные уголки твоей души; избавиться от них непросто, ты с карандашом в руках читал их, иногда пытался подражать им к чему лукавить?! В результате, ты приходишь к спасительной мысли — и это признак слабости,— что они — это они, а ты — это ты, но тоже не лыком шит. Хотя у тебя хватает здравого смысла понять, что злые языки устроят головомойку за столь вольное сравнение, вот ведь куда хватил!

Что же делать?

Проще всего — не писать.

Пять, десять дней, ну пусть — месяц ты выдержишь эту пытку, будешь ходить подавленный, мол, из меня писателя не получится. Но твои глаза будут видеть похожие друг на друга, как спичечные коробки, однообразные, как галеты, бесцветные рассказы, и тебе вновь захочется проверить свои силы.

Но то — цветочки, есть и другие препятствия, и одолеть их еще сложнее.

Твоя молодость, неопытность, две маленькие книжицы, изданные тобой, как ни смутно, но очерчивают трудности большой литературы, сердце твое все больше немеет от страха, и словно мало того, что ты ходишь издерганный, того, что не знаешь, о чем писать дальше, а тут еще редактор, старший редактор, главный редактор, прочитав твою рукопись, морщат нос: «Послушай, приятель, твой рассказ не отвечает духу времени. Посмотри, какие огромные изменения происходят в жизни, а герой твой равнодушен к героическим будням и свершениям современников, чьи дела и поступки имеют решающее, можно сказать, значение...» «А он запирается, понимаете ли, в комнате и беседует о снегопадах с духом покойной девушки, которую он когда-то в молодости любил»,— заявляет один из них. Другой утверждает: «Дружище, рассказ ваш неплох, но, тем не менее, нужно иметь хоть капельку совести, ведь он от начала до конца — подражатель Западу, принесите лучше другой рассказ». Третий серьезно и внимательно глядит в твои глаза и, сочувственно пожимая плечами, словно бы и впрямь к тебе расположенный, отчеканивает: «Приятель, твой рассказ любопытен, но действие излишне затянуто», или же: «Друг, в твоём рассказе что-то есть, но это еще не повод, чтобы его печатать» или: «Я, откровенно говоря, не понял, что вы хотели этим сказать».

Но еще хуже откровения друзей... «Старик, а ведь когда ты пере-

сказывал сюжет, что-то было иначе. Видно, ты его не осилил». «Знаешь, Кортасар говорил, что в романах победу одерживают по очкам, а в рассказах — нокаутом».

Но почему то, что является пределом моих устремлений, оставляет их равнодушными? Господи, ведь я тоже человек, ведь есть же вещи, о которых никто, кроме меня, не знает. Может быть, мне больше нравится писать о деревьях, может быть, у меня есть желание издать книгу о птицах».

Ты рад всей душой, будто написал это сам или вместе с кем то: но это не так, Манзура, уж если бы я умел писать, я написал бы о том неизвестном, который появился как привидение в ту ночь, когда хлестал ливень, и тут же исчез, мне кажется, Манзура, что это он нарочно вызвал дождь, или же я написал об осадках, которые нарушают покой и ритм жизни людей.

Нынешняя литература — это литература воображения. Можно написать серьезные вещи о чем угодно. Вот, к примеру, я нахожусь сейчас у моста на Урде, в трех шагах от меня какая-то девчурка чертит на земле. Разве нельзя написать о ней? Можно!.. Или же, вон... подъехал к остановке автобус, из него выпорхнула девушка лет восемнадцати и бросила на меня быстрый оценивающий взгляд. Ведь можно написать рассказ об этой очаровашке или, скажем, о ее мечтах и желаниях и даже об одном ее мимолетном взгляде?! Конечно, можно. А разве нельзя создать замечательный рассказ о людях, столпившихся на остановке?..

В это время, дребезжа, подъехал трамвай. К дверям ринулось с десяток ожидавших, и у меня мелькнула мысль написать рассказ о трамвае.

Случайный разговор, который помог раскрыть таинственное убийство, или же любовь, раскрывшая свой бутон в трамвайном вагоне... Который из этих двух вариантов придется по вкусу нынешнему читателю?

А вон — человек, чего стоит его импозантная внешность... И вправду, один только его вид может послужить поводом для рассказа.

А следом другая впечатляющая картина: мужчина средних лет задумчиво смотрит, опершись о перила моста. На душе у него — слякоть... Он собрался уходить. Подошел еще один трамвай, и снова побежали к нему люди. Нет, мой «герой» не ушел, он достал что-то из

кармана...

Трамвай тронулся. Ой! Человек бросил в реку тетрадь.

Да это же готовый рассказ. Интеллигентный человек приходит в один из осенних вечеров к берегу Анхора, достает из внутреннего кармана тетрадь, обычную школьную тетрадь, и швыряет ее в воду! Я пошел к мосту, а человек — в противоположную сторону. Я посмотрел на воду.

Тетрадь плыла, словно мертвая птица с безвольно распростертыми крыльями.

А тем временем «герой» вернулся назад. Проходя мимо меня, он бросил долгий взгляд на реку, и я успел заметить безысходную тоску и отчаяние в его больших усталых глазах. Весь облик этого человека говорил о его решимости отречься от чего-то важного для него, и было видно, каких нечеловеческих усилий требует от него это отречение.

Наверняка в тетради, которая уплыла по реке, таилась какая-то загадка. И если я найду на нее ответ, то, несомненно, получится хороший рассказ.

Что же это могло быть? Люди сжигают бумаги, от которых хотят избавиться, рвут в клочья, но идти на берег реки, чтобы таким вот странным образом избавиться от груза переживаний? Значит, этот человек хочет, чтобы тетрадь не исчезла бесследно... Пойдите-ка... следующий мост, а за ним... Чего же я медлю? Заладил тут: «Кортасар да Кортасар».

Сбежав по лестнице к воде, я побежал вдоль берега, поглядывая время от времени на поверхность воды. Вот тебе — писать рассказы!

Наконец я приблизился к мосту. Старик, сидевший на травке с газетой в руках, проводил меня удивленным взглядом. Сразу за мостом русло реки заметно расширилось, там же торчали над водой две трубы.

Летом вода закрывала их, а сейчас лишь касалась нижней части.

Когда я приблизился к тому месту, мое сердце радостно забилося и я еле удержался, чтобы не закричать подобно охотнику, настигнувшему дичь. Тетрадь, за которой я гнался, не жалея ног, прилипла к стенке трубы. Осторожно ступая по трубе, я дошел до ее середины и вытащил из реки тетрадь. То ли потому, что я не мог подавить своего волнения, то ли от бега, мне казалось, что тетрадь бьется в моих руках живой птицей.

Домой я шел как человек, нечаянно нашедший клад. Сердце колотилось, словно я нашел сюжет рассказа, способного обернуться сен-

сацией и привлечь всеобщее внимание. Дома я тут же разложил на столе мокрые листы чистой бумагой, но, не выдержав, пока страницы высохнут, стал читать. Почти вся тетрадь состояла из описаний душевных переживаний, лишь местами упоминалось о том или ином случае.

Меня удивило, что любой человек, читающий ее, мог сразу понять, о чем идет речь, но вот кто именно является источником переживаний, определить было невозможно.

Кроме того, было неясно — кому это все адресовалось. Я понял лишь одно: чей-то муж... Но лучше я приведу написанное как есть... Сердце замирает, как у человека, который стоит у порога тайны и не решается распахнуть дверь.

«11 августа.

Что вечно в этом мире, что остается от человека?

Только ли добро?

Неужели все прочее не вечно? Значит, выходит, все, кроме добра, преходяще и ненужно! Оставим пока в стороне практические деяния человека, но ведь вне их духовность ограничена. А ведь людям случается выбирать для себя зло, сохраняя при этом абсолютное спокойствие. Сознывая, что это никак не повредит ему, будучи уверен в том на все сто процентов, человек не найдет для другого и двух добрых слов. Он поступает так, как ему вздумается, хотя знает заранее, что это может причинить вред делу и даже его карьере. Почему же нельзя оценить его недостойное поведение в подобном случае? Почему он удерживается от добрых поступков, хотя знает, что доброе имя человека остается лишь благодаря его благим делам?

Недавно смотрел фильм «Мефистофель». Мефистофель никогда не делает добра, но у него искренние намерения: испытать насколько глубока потребность человека в правоте своего дела, насколько велико его стремление к идеалу, чтобы достичь вершин в своих чувствах и в мастерстве, и чтобы остаться на этих вершинах. Так для чего нужно творить добро? И какие дела входят в категорию добрых? Ведь если поступать так, чтобы было угодно людям, то, кажется, нет ничего проще, чем творить добро. Скажем, твой сосед решил в выходной день поставить новые ворота, и хотя он не просит твоей помощи, а собственных дел у тебя невпроворот, ты выходишь помочь ему, работаешь с раннего утра до позднего вечера. Относится ли этот поступок к категории добрых дел? Или, допустим, брат твоего друга трагически погиб, и ты в течение трех дней, пока не пройдут первые предписы-

ваемые обрядом ритуалы, стоишь рядом с другом, не только страдая за него, но и сам горько переживая утрату,— это тоже относится к добрым поступкам? Или же, переведя брошюрку, весь гонорар, без остатка, отдаешь кому-либо остронуждающемуся, скажем, одинокой старушке или же человеку, обремененному многочисленной семьей, и чтобы они, упаси бог, не обиделись, поясняешь, что даруешь ты эти деньги от всей души, и убеждаешь, что никому не заикнешься об этом — благое ли это деяние? Может ли человек поступать так? О, как же легко сеять разумное, доброе, вечное, оставляя о себе добрую память... К тому же, как пить дать ясно, что человек не может творить добрые дела ежедневно, до конца своей жизни; никто, пожалуй, не возьмется утверждать, что на свете жил когда-нибудь такой благородный, идеальный человек. Человек творит добро лишь время от времени, когда ему вздумается и когда у него есть на то возможность. Мне, например, кажется, что нет на свете ничего более простого, чем творить добро. Поэтому всякий раз я могу поступить так, как моей душе угодно.

11 августа (вечер).

Господи, какой я все-таки идиот! Чтобы убедиться на деле, способен ли я на добрые дела, пошел к одному знакомому и угробил день, крася вместе с ним крышу. Знакомый был изумлен: мы не виделись целый год-

Но на душе по-прежнему муторно. Все кажется легко достижимым, но ненужным. Нет, это все — ребячество, но тут вспоминаю свое детство и начинаю думать иначе: нет, прежде я испытывал совсем другие чувства; все вмещалось в мое сердце и вскоре приедалось. Но в те времена многое было мне неизвестно, а теперь — ясно, как божий день. У меня двое детей, хорошая жена, старшая дочка уже в седьмом классе. На работе я пользуюсь, как это у нас принято говорить: заслуженным авторитетом.

Но полюбил женщину...

11 августа.

Вчера у нес был день рождения. Она сама сказала мне об этом. И испытал странное чувство. Она выглядела грустной и не заметила моего состояния; рассказывала, как в детстве отмечала дни рождения вместе с подружками. В ее глазах какая-то тайна, стоит только заглянуть в них, и уже не оторвать взгляда. Кажется, кто-то прячется в ее зрачках: зовет вас, притягивает. Я преподнес ей... букетик цветов.

Она счастливо заулыбалась и, не скрывая радости, поднесла цветы к лицу. Понюхав, прикрыла глаза и сказала: «Мне никогда не дарили цветов».

Я был взволнован не меньше ее, вздыхал, смотрел на ее красиво уложенные волосы, тонкую беззащитную шею, округлый подбородок и тоже не мог скрыть своей радости, словно ребенок, дождавшийся наконец исполнения своих желаний.

Мы вместе спустились в метро. Был час пик, в вагонах — теснота, и мы стояли почти вплотную. Когда в вагон входили новые пассажиры и теснили нас, она невольно прижималась ко мне и тут же густо краснела, прямо как пятнадцатилетняя девочка, косилась на меня и, видя мой пылкий взгляд, смущенно улыбалась.

Я не знаю, как описать все это; от ее волос, от укромных ямок за мочками ушей исходил дразнящий запах, повергающий в трепет мою душу.

14 августа.

Мы ехали в метро.

Когда ты стоишь рядом с красивой, нравящейся тебе женщиной, то все время хочется смотреть на нее, она, подобно цветку, притягивает твой взор.

Мне очень хочется знать: понимает ли она, что творится в моей душе? Ведь ей не семнадцать, наверно, все-таки понимает?

Что для человека самое важное в жизни? По правде сказать,— это очень глупый вопрос. Ведь для человека не может быть важным одно, а другое — второстепенным. Если ты здоров, как бык, но глуп, или, скажем, у тебя есть все: деньги, ученая степень, кресло, почет, здоровье, но болит душа,— тогда как? Если нет преданных, искренне любящих тебя друзей, верной любящей подруги?

Мне казалось, что в жизни мне не хватает только ее. И вот она нашлась. Поразительно, когда она рядом — мне не нужно ничего на свете, лишь бы видеть ее, слышать ее голос. Во мне тогда нарастает уверенность, я чувствую прилив духовных сил. В тридцать четыре сто года... Не дай бог, узнают,— поднимут ведь на смех...

Как мне быть?

17 августа.

В чем секрет женского обаяния? Найти определенный ответ трудно да и ни к чему. Ведь на вопрос, чем привлекателен цветок, человек тоже затрудняется ответить, так как не знает, какому свойству, качеству или

признаку отдать предпочтение.

Сегодня, выйдя из метро, мы впервые пошли вместе пешком и мне пришла эта мысль.

Мы подошли к перекрестку и остановились в укромном месте. Смеркалось, но мы, увлеченные разговором, не замечали этого. О чем мы только ни говорили, но упаси бог, если я припомню хоть что-то. Она, бедняжка, выглядела страшно усталой. Я непроизвольно взял ее ладони в свои и притянул к себе. Она тихо рассмеялась, хотя глаза ее повлажнели. Я молчал, словно человек, увидевший чудо и потерявший дар речи. Через мгновение я прижимал ее пальцы к губам. Она робко погладила теплой ладошкой мне лицо.

Я вникал в трагическую мучительную жизнь женщины с раненым сердцем, которая всем существом стремилась к любви.

Человек лишь тогда начинает понимать жизнь, когда безумно влюбляется в женщину...Я буквально трясся над ней. Меня совсем не обижали ее колкости или отказы в моих просьбах, даже напротив, они, словно дрова, подбрасываемые в костер, разжигали во мне удивительные чувства.

Мне кажется, что я только начал осознавать, как течет моя жизнь.

Нет, я не могу утверждать, что раньше меня полностью поглощала работа и повседневные заботы. Я и теперь все тот же, разница лишь в том, что теперь я замечаю, как проходит каждый миг, каждый отрезок времени, и понимаю, что у любого из них есть свое место и своя ценность. Иногда становится так тоскливо, что хочется вылезти из своей шкуры, а иногда я чувствую себя на работе таким Гулливером, очутившимся в Лилипутии. Мне невтерпеж слушать сплетни, наблюдать за интрижками и мелочными заботами моих сослуживцев.

Когда я рассказал ей обо всем этом, она закусила губу и пристально взглянула на меня. Тут я не сдержался... поцеловал ее.

Я безумно влюблен в нее. Я люблю ее вместе со всем: с городом, где она живет, с улицами, домами. Я никогда не смогу выразить словами это чувство. Каждый день мы возвращаемся вместе. Каждый день, выйдя из метро, мы бродим из конца в конец безлюдного сквера, расположенного рядом с оживленным перекрестком. Каждый день я с наслаждением вдыхаю терпкий, неповторимый аромат ее волос. Каждый день мне кажется, что она вводит меня в новый мир, который одухотворен ею.

И когда я встречаю на улице рассеянных мужчин, с нахмуренными

от мучительно-сладких переживаний лицами, я говорю про себя: «Видно, он тоже по уши влюблен. Любовь... Она мучает, но и учит стойкости».

По вечерам я вспоминаю ее, думаю о ней и буквально не нахожу себе места.

Недавно моя половина принесла мне успокоительное средство — настойку пустырника. Заботится.

«Я тоже думай) о вас»,— призналась как-то она. «Мы — не дети, к чему лукавить — я люблю вас, мне ничего не нужно, только скажите правду: думаете ли вы хоть иногда обо мне?»—спросил я, и она прошептала, не отводя глаз: «Я все знаю! Я думаю о вас!» Некоторое время мы шли молча. Было неловко, что с детской непосредственностью я выдал себя, и старался отвлечься, глядя на осенние листья, которые падали золотыми бликами, вздрагивая и плавно покачиваясь, на деревья.

Внезапно моя спутница остановилась и посмотрела на меня долгим испытующим взглядом. На ее глазах блестели слезы.

— В последнее время вы переходите рамки дозволенного.

— Простите, это оттого, что мне казалось, между нами не должно быть границ.

Простите и вы меня.

Не в словах, а в тоне, каким они произносились, было столько тоски, что мое сердце наполнилось печалью. С тех нор, как мы поделились друг с другом своим сокровенным, для нас настужь распахнулась дверь сомнений и мук.

Метро! Я ощущал себя, нет, вернее, нас обоих — бабочками, беззаботно порхающими над цветами. Цвета, интерьер и даже запах станций метро стали для меня близкими и дорогими. Как только заканчивался рабочий день, я бежал встречать ее у метро; она приходила, и мы вместе входили в переднюю дверь третьего вагона и забивались в угол, неотрывно глядя друг на друга, говорили глазами, любили глазами, клялись глазами. Я настолько привык к этим поездкам, что не находил себе места в субботние и воскресные дни, разве что не воя от тоски.

Дни теперь стали короче, быстро смеркалось, и мы почти бежали в конец аллеи, которая стала родной, словно дом или улица, где протекало наше детство. Потом мы медленно возвращались назад. Я был подобен лодке, которая оставила надежный, прочный берег и устреми-

лась к зыбкому свету маяка. Чем дальше я удаляюсь от берега, тем глубже осознаю его существование. Но дотяну ли я до маяка?..

Ты ощущаешь, как чувства переполняют тебя, и с удивлением замечаешь, что мысли твои непрерывно кружатся вокруг Манзуры. Ты с горечью и болью признаешься себе в том, что жизнь без Манзуры невыносима, и внезапно понимаешь возможно, где-то прочитал раньше): нельзя чрезмерно увлекаться тремя вещами детьми, женщинами и деревьями.

Она похожа на осень. Почему мы не встретились раньше? Почему, дойдя до перекрестка, мы с безнадежностью и тоской глядим друг на друга, грустно улыбнувшись на прощание, отправляемся по домам, расположенным в разных концах города?

Вчера я внезапно проснулся среди ночи. Долго ворочался, словно постель моя выложена булыжниками. Наконец, не выдержав пытки, встал и стал ходить по комнате. Я ревновал ее к мужу, сердце мое трепетало, и я никак не мог взять себя в руки, страдая так, будто уличил ее в измене.

В конце концов я снова нырнул в постель и теперь думал лишь о ней, вспоминал ее лицо, слова, и вообще, все те счастливые минуты, проведенные вместе с ней за эти три месяца.

Любовь!

Все дороги, по которым мы ходили, заканчивались разлукой. Как бы ни тянулись мы друг к другу, я сознавал, что преграды сильнее наших возможностей. Это было подобно тому, как цветок, которому полагается быть желтым, никогда не станет красным или белым. Предстоящая разлука сквозила в ее взглядах и — о чудо!— явственно ощущалась в запахе ее волос.

Представьте себе: женщина 35 лет, у нее сын и дочка. Ее возлюбленному 34 года, у него тоже дети. Они обыкновенные люди. И вдруг полюбили. В семнадцать, восемнадцать, ну пусть в двадцать пять, это можно было еще отнести к увлечению. Ну, а они? Как же им быть? Что делать? К тому же они привыкли жить честно и, кроме того, они долгое время чувствовали, что чего-то недополучили от природы. Они не отчаивались, не рыдали, не бились головой о стенку. Они жили и мечтали.

Но вот внезапно они встретились и в тот же миг поняли, что всю

жизнь они жили надеждой и ожиданием этой встречи. Они не то, чтобы встретились, они нашли друг друга. В глубине души они знали, что однажды они непременно встретятся, а обретя наконец друг друга, сознавали, что разойдутся и притом навсегда.

В тот день, когда мы горько делились этими мыслями, она плакала, плакала беззвучно, содрогаясь всем телом.

Осень!

Два дня тому назад лил дождь. Не выходя из метро, стоя у самых ступенек, мы долго смотрели на капли дождя, стучащие по асфальту. Она заметно волновалась, в глазах ее было страдание.

Наверно, мы были похожи на кусты сирени, которые расцвели в разных садах. Жить вместе, рядом не позволяли нам преграды, именуемые судьбой. Я никогда не забуду день, когда мы любовались дождем. Мне кажется, что в жизни человека редко выпадают такие мгновения.

Ты бросаешь рукопись на сиденье и бессильно опускаешь веки. Как бы ни было отрывочно и неясно написанное, ты чувствуешь себя довольно странно, словно случайно подслушал чьи-то переживания, чем-то напоминающие твою собственную боль. Ты чувствуешь себя довольно неловко, возражаешь мыслям владельца тетради, глядишь рассеянно на летящие листья деревьев и совершенно не веришь словам о том, что этот рассказ — лишь выдумка. В жизни не редки неправдоподобные случаи, и ты знаешь, что есть ложь, похожая на правду. Сколько бы ни прояснялась истина,— пусть даже завтра или послезавтра ты дойдешь до нее,— все равно не сможешь отличить, где тут ложь, похожая на правду, и где правда, похожая на ложь. Больше того, ты понимаешь, что между ними нет китайской стены, и тогда сомнения слезой выкатываются из твоих глаз и, обжигая щеки, скатываются вниз...

Человек старается сберечь в сердце как дорогое и святое чувство все то, что помогает ему жить, освещает его жизненный путь. Еще не лишившись той вещи или чувства, он нанизывает их, словно драгоценные жемчужины, на нить памяти. Видно, мне тоже придется так поступить. Иначе я навсегда лишусь се не только физически, но и духовно.

Наконец я увидел ее мужа. Мне было очень тяжело смотреть на него, наблюдать за ним. Но чувство злорадства присуще всем, в том числе и мне, и я неотрывно смотрел на него. Потом, поравнявшись с

ним, взглянул в его лицо. Возвратясь домой, я решил, что не надо записывать в дневник свои беспорядочные мысли, что следует порвать или сжечь уже записанное. А потом...

Я не хочу терять ее, я готов на все: ради нее я буду дружно жить с женой и детьми, буду изучать иностранный язык, буду всю жизнь делать добро людям, но это все лишь ради нее.

Вот и все. Но что еще может быть? Если ты замыслил написать рассказ, то обязательно ли выдумывать разные чудеса?

Я выдумал этот рассказ, все, что описано здесь,— ложь. Я выдумал все это для развлечения. Но разве все это не похоже на рассказ? Я как-никак кое в чем смыслю, и некоторые места в рассказе похожи ведь на правду. Но кто его знает, ведь говорят, Писатели чуть ли не с потолка берут темы?!»

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Азраил — ангел смерти.

Айван — веранда, терраса (при доме).

Ака — старший брат, почтительное обращение к старшему мужчине.

Аксакал — старик; букв. «белобородый».

Алпамыш — герой узбекского эпоса «Алпамыш».

Альчик — игорная кость.

Амаки — дядя.

Амин — староста нескольких кишлаков.

Анхор — большой оросительный канал, река.

Апа — старшая сестра; почтительное¹ обращение к старшей женщине, девушке.

Арба — повозка на двух высоких колесах.

Арбакеш — возчик.

Ассалом алейкум — приветствие.

Ата — отец.

Атын; атын-ойи — учительница, почтительное обращение к грамотной женщине.

Ая, аяджан — мать, мама, матушка (обл.).

Аят — стих Корана.

Багурсак — кусочки теста, сваренные в масле.

Байвачча — байский сын, барчук.

Баракалла — bravo, молодец, молодчина; возглас одобрения.

Батман — мера веса, колебавшаяся в разных местах Узбекистана от 2 до 11 пудов.

Бедана — перепелка.

Бейт — двустишие.

Бекмес — упаренный сок винограда.

Бельбаг — кушак, пояс.

Бешик — деревянная колыбель, люлька.

Бешик той — праздник по случаю того, что младенца впервые укладывают в колыбель.

Бобо — дед, дедушка.

Бува — дедушка (разг.).

Буви — бабушка, бувиджан — дорогая бабушка, бабулечка.

Ваалейкум ассалам — ответ на приветствие.

Гап — мужская вечеринка, на которую собираются поочередно у каждого.

Гармала — род растений.

Гиджак — музыкальный инструмент.

Гулям — раб. молодой прислужник.

Гузапая — стебель или кусты хлопчатника, с которых снят хлопок.

Гузар — оживленное бойкое место на дорогах, перекрестках, где расположен небольшой базарчик, чайхана.

Гурия — райская дева.

Гяур — неверный, название всех немусульман у исповедующих ислам.

Дада — отец.

Дастархан — скатерть с угощением.

Джейлау — летовка, горное пастбище.

Джан - душа; дорогой (ая).

Дивана — юродивый, чудной, сумасшедший.

Дувал — глинобитный забор.

Дутар — двухструнный музыкальный инструмент.

Дэв — див, сверхъестественное существо огромной силы.

Зиндан — темница, тюрьма.

Имам — духовное лицо, мулла.

Ичиги — сапожки с мягкой подошвой, без твердого задника и каблука.

Ичкари — женская половина дома.

Кааба — священный храм в Мекке, объект поклонения и паломничества мусульман.

Кавун — дыня.

Кавуши — кожаные галоши национального образца.

Казий — судья, судивший по законам шариата.

Казихона — судебное помещение.

Казы — колбаса из конины.

Каймак — сливки.

Камча — плеть, нагайка, кнут.

Капиши — кожаные галоши национального образца.

Караулбеги — начальник стражи.

Кари — чтец Корана.

Карта — карта, полоса, участок земли.

Каса — большая чашка в форме пиалы, чаша.

Келин — невестка, сноха.

Никох — брачный договор, брачный союз, обряд бракосочетания.

Кишлак — село, деревня.

Кок-чай — зеленый чай.

Кор — снег.

Кошчи — союз бедняков и батраков (1919—1930).

Кукнар — мак; наркотическое средство, приготовленное из сухих корбочек мака.

Кумган — высокий медный кувшин для кипячения воды.

Кураш — национальная борьба.

Курдана — (гулявник везеля)— однолетняя трава семейства крестоцветных.

Курмак — курмак, ежовник (сорняк на рисовых полях).

Курпача — узкое ватное одеяло для сидения, ватная подстилка.

Курт — высушенный в виде небольших шариков кислый творог.

Лаган — керамическое расписное блюдо.

Майдан — площадь.

Манты — крупные пельмени, сваренные на пару.

Мардикер — поденщик, чернорабочий.

Мастава — рисовый суп, заправленный кислым молоком.

Масхарабоз — скоморох, шут, паяц.

Махалля — квартал.

Махзум — почтительное название духовного лица.

Махси кавуши — сапожки с мягкой подошвой, с кожаными галошами.

Мехмонхана — гостиная.

Мурсак — верхний халат с рукавами до локтей.

Мюрид — последователь, ученик ишана, шейха.

Нават — специально сваренный сахар.

Навруз — день Нового года (совпадает с днем весеннего равноденствия — 21 марта солнечного календаря).

Нагора — ударный музыкальный инструмент, литавры.

Нас, насвай — особо приготовленный табак, закладываемый под язык.

Оббо — междометие, выражающее удивление, сожаление.

Овсин — невестка, жена одного брата по отношению к жене другого.

Палван — силач, борец, богатырь.

Пахта байрам — праздник урожая.

Раис — председатель, председатель колхоза.

Райхон — базилик, душистое растение.

Рамазан — название девятого месяца мусульманского лунного года, в течение которого соблюдается пост.

Саиль — праздник весны, народное гулянье.

Сай — горная речка, горный ручей, высохшее русло реки.

Салам алейкум — здравствуйте, приветствие.

Самса — треугольный пирожок с мясом.

Сандаал — углубление в земляном полу с горячими углями.

Сумалак — пицца из пшеничного солода и муки.

Суна — глиняное возвышение в саду или во дворе для сидения или лежания.

Сури — широкая деревянная кровать, деревянный настил для сидения.

Суфий — набожный человек, праведник, служитель мечети, призывающий на молитву.

Суюнчи — подарок за радостную весть.

Сюзане — род гобелена из гладкой материи с машинной или ручной вышивкой.

Табиб — лекарь.

Табут — погребальные носилки.

Тазия — соболезнавание.

Тал — ива.

Тамбур — струнный музыкальный инструмент.

Тандыр — глиняная печь для выпечки лепешек.

«Тановар» — название классической народной музыкальной мелодии.

Танча — низенький деревянный столик над сандалом.

Телпак — треух.

Теша — ручной инструмент тина топорика с лезвием поперек топорика.

Той — празднество, свадьба.

Тулпар — скакун, сказочный крылатый конь.

Ука — младший брат.

Улак — конно спортивное состязание, на котором участники вырывают друг у друга козлиную тушу.

Урда — в тюрко-монгольских феодальных государствах Средневековья — ставка, резиденция правителя.

Хадж — паломничество в священные города.

Хаджи — человек, совершивший паломничество.

Хаит — религиозный праздник.

Халта — пустой мешок.

Халфа — староста религиозной школы.

Хандалак — название сорта скороспелой дыни.

Хантахта — столик на низких ножках.

Хатам-ат-таи — герой фольклора, богач.

Хатин-ош — угощение для женщин.

Хауз — искусственный водоем.

Хафиз — невец.

Хашар — добровольная общественная взаимопомощь при каких-либо работах.

Хирман — ток, гумно, место, где складывают убранный с поля хлопок.

Хола — тетья.

Хорманг — не уставать вам: приветствие.

Чавандоз — искусный наездник, участник улака.

Чалоб — напиток из кислого молока, разбавленного водой, айран.

Чаллар — первое приглашение дочери в дом родителей после свадьбы.

Чанкабыз — национальный музыкальный инструмент.

Чапан — халат, стеганный на вате.

Чарыки — грубая обувь из сыромятной кожи.

Чачван — покрывало для лица, сотканное из черных конских волос.

Чигирик — сорт дыни.

Чилдирма — бубен.

Чилёсин — религиозный обряд, совершаемый в доме, где есть тяжелобольной, сорокакратная молитва ёсин.

Чилим — род кальяна.

Чиммат — покрывало для лица, сотканное из черных конских волос.

Чорная — деревянная кровать.

Шабан — месяц август.

Шавля — рисовая каша с мясом, луком и морковью.

Шалча — небольшой домотканый палас.

Шароб — виноградное вино.

Шилпилдок — большие квадратные куски теста, отваренные в мясном бульоне.

Шурпа — суп, бульон с мясом.

Эна — бабушка.

Элликбаши — пятидесятник.

Янга — жена старшего брата.

Яхтак — летний легкий халат без подкладки; длинная, до колен, рубаха с открытым воротом.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей

ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ

Чулпан. Девушка-«пекарь». *Перевод Н. Владимировой*

Абдулла Кадыри. На улаке. *Перевод Н. Владимировой*

О чем говорит упрямец Ташпулат. *Перевод Н. Владимировой, А. Наумова*

Абдулла Каххар. Тысяча и одна жизнь. *Перевод А. Рахими*

Страх. *Перевод А. Рахими*

Гафур Гулям. Уловки шариата. *Перевод Н. Владимировой*

Воришка. *Перевод А. Наумова*

Айдын. Сапожник откочевал. *Перевод Н. Ивашева*

Шакир Сулейман. Фатима Садыкова. *Перевод Н. Владимировой*

Парда Турсун. Вот так закон! *Перевод П. Владимировой*

Хусаин Шамс. Бутабай прозрел. *Перевод Н. Владимировой*

Миркарим Асим. Томирис. *Перевод М. Салиева*

Юлдаш Шамшаров. Вечная песня. *Перевод Ю. Карасева*

МЫ СТРОИМ ДОМ

Ибрагим Рахим. Усы, нервы и шагомер. *Перевод Б. Привалова*

Рахмат Файзи. Свекровь. *Перевод Н. Владимировой*

Саид Ахмад. Журавли. *Перевод Р. Бородиной*

Тишина. *Перевод Н. Владимировой*

Хамид Гулям. Невестка. *Перевод Н. Владимировой*

Аскад Мухтар. Корни. *Перевод Р. Фатхуллиной*

Мирмухсин. Ключи счастья. *Перевод Ю. Карасева*

Хаким Назир. Сухое дерево тоже гнется. *Перевод А. Зырина*

Саида Зуннунова. Одиночество. *Перевод Ш. Тураева*

Шухрат. Нагоняй. *Перевод Я. Ильясова*

Адыл Якубов. Прощание. *Перевод Н. Владимировой*

Пиримкул Кадыров. Жить хочется. *Перевод А. Наумова*

Самиг Абдукаххар. Ты мне веришь, Салимбай? *Перевод Б. Привалова*

Учкун Назаров. Яблоки. *Перевод С. Шевелева*

Фархад Мусаджанов. Великолепный рассказчик. *Перевод Р.*

Фатхуллиной

Ульмас Умарбеков. Ружье тети Маруси. *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Осенняя погода. *Перевод Н. Владимировой*

Худайберды Тухтабаев. На все руки мастер. *Перевод Л. Самойлова*

Суннатулла Анарбаев. Первый рейс. *Перевод П. Владимировой*

Джонрид Абдуллаханов. Мы строим дом. *Перевод Г. Седова*

Захир Аглям. Удар. *Перевод М. Турсунова, И. Цесарского*

Тахир Малик. Улак. *Перевод Э. Амита*

Анвар Ишанов. Гранаты. *Перевод Н. Владимировой*

Уктам Усманов. Заседание бюро райкома. *Перевод К. Хакимова*

ЖИЗНЬ ВЕЧНА

Шукур Халмирзаев. Пастух. *Перевод Н. Владимировой*

Жизнь вечна. *Перевод Н. Владимировой*

Уткур Хашимов. Дорожное происшествие. *Перевод П. Владимировой,*

А. Атакузиева

Тимур Пулатов. Последний собеседник

Насыр Фазылов. Подарок. *Перевод А. Атакузиева*

Сагдулла Сияев. Воспоминание. *Перевод Н. Владимировой*

Чудные соседи. *Перевод И. Цесарского*

Ннгмат Аминов. Энциклопедист. *Перевод В. Лещенко*

Рассказ для конкурса. *Перевод Т. Благовой*

Хайриддин Султанов. Пластинка. *Перевод А. Атакузиева*

Эркин Агзамов. Племянники. *Перевод Н. Владимировой*

Латиф Махмудов. Миллион штук урюка. *Перевод Ф. Камалова*

Нурали Кабул. Желтые девушки. *Перевод А. Джурабаева, Т. Благовой*

О люди, люди! *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Аман Мухтаров. Дочери Ахмада-ака. *Перевод А. Атакузиева*

Камчибек Кенджа. Белые тополя. *Перевод П. Владимировой*

Мурад Мухаммад Дост. Цена одного жеребенка. *Перевод В. Коткина*

Алишер Ибодинов. Солнце тоже огонь. *Перевод М. Турсунова*

Мамадали Махмудов. Любовь. *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Первые следы. *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Боярышник. *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Тутовник. *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Акилджан Хусанов. Кашгарская красавица. *Перевод А. Марьянина*

Гаффар Хатамов. Нормурад-цыпленок. *Перевод А. Атакузиева*

Эркин Усманов. Подарок от сына. *Перевод Ф. Шайхутдиновой*

Уктам Хакималиев. Финиш. *Перевод М. Даиловой*

Аббас Саидов. Старик и его смиренная собака. *Перевод О. Николаевой*

Нортухта Клычев. Опора. *Перевод Я. Данова*

Маматкул Хазраткулов. Гроза. *Перевод А. Атакузиева*

Надыр Норматов. Пожар. *Перевод Г. Немирно*

Алим Атаханов. Нескончаемые улицы. *Перевод М. Турсунова, И.*

Цесарского

Пояснительный словарь

Литературно-художественное издание

ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ

Рассказы узбекских писателей

Перевод с узбекского

Рецензент — кандидат филологических наук

И. Ф. Каримов

Редактор Л. Казакова

Художник К). Габзалилов

Художественный редактор А. Кива

Технический редактор М. Мирраджабов

Корректор Л. Кумехова

ИБ № 3877

Сдано в набор 06.04.88. Подписано в печать 12.10.88. Формат 60X90 /16. Бумага офсетная №2. Гарнитура «Тип Бодони». Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-оттисков 32,0. Уч.-изд. л. 35,35. Тираж 60000. Заказ №1124. Цена 2 р. 40 к. Договор № 32—88.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30. ГП «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 700129, Ташкент, ул. Навои. 30.

Тысяча и одна жизнь: Рассказы узбекских писателей (Сост.: Н. В. Владимирова, И. У. Гафуров).— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1988.— 512 с.

Жанр рассказа богато представлен в узбекской литературе именами многих талантливых писателей, начиная от основоположников советской литературы — Абдуллы Кадыри, Абдуллы Каххара, Гафура Гуляма, включая среднее поколение — Адыла Якубова, Пиримкула Кадырова, Джонрида Абдуллаханова, Аскада Мухтара, до нынешних молодых авторов Мурада Мухаммада Доста, Эркина Агзамова, Тимура Пулатова и других,— чье творчество также обрело широкое признание. Сборник «Тысяча и одна жизнь»— своеобразная антология узбекского рассказа, достаточно полно рисующая жизнь нашей республики, ее народа.